# СИГИЗМУНД КРЖИЖАНОВСКИЙ

*Тринадцатая категория рассудка*

# Сигизмунд Доминикович Кржижановский

# Тринадцатая категория рассудка

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175173*
*Тринадцатая категория рассудка: Эксмо; М.; 2006*
*ISBN 5-699-18798-7*

## Аннотация

«Прозеванным гением» назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели. «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», – говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют «русским Борхесом», «русским Кафкой», переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского – ярчайший образец интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.

# Содержание


Клуб убийц Букв 9
I 9
II 23
III 51
IV 78
V 126
VI 157
VII 166
Возвращение Мюнхгаузена 169
Глава 1 169
Глава II 183
Глава III 205
Глава IV 218
Глава V 222
1 223
2 230
3 232
4 235
5 238
6 243
7 244
8 252
9 255

10 258
11 262
12 270
13 275
Глава VI 284
Глава VII 300
Глава VIII 321
В зрачке 331
I 331
II 335
III 339
Мост через Стикс 377
Желтый уголь 392
I 392
II 394
III 397
IV 400
V 402
VI 406
VII 410
VIII 412
Квадратурин 417
I 417
II 422
III 425
IV 427

V 430
Собиратель щелей 434
I 434
II 437
III 444
IV 458
V 462
Странствующее «Странно» 464
I 468
II 509
Сбежавшие пальцы 547
I 547
II 550
III 552
IV 555
V 557
Чуть-чути 560
I 560
II 568
История пророка 572
Катастрофа 577
Проигранный игрок 588
Грайи 595
I 595
II 599
III 603

IV 608
Четки 614
I 614
II 621
Старик и море 630
Итанесиэс 634
«Некто» 638
Мухослон 648
I 648
II 649
III 650
IV 652
«Страница истории» 653
Жан-Мари-Филибер-Блэз-Луи де Ку 657
Прикованный Прометеем 661
Кунц и Шиллер 667
Бог умер 677
I 677
II 679
III 680
IV 682
V 683
VI 686
Страна нетов 691
I 691
II 693

III 694
IV 699
V 704
Воспоминания о будущем 707
I 707
II 713
III 724
IV 739
V 748
VI 758
VII 765
VIII 773
IX 782
X 792
XI 799
XII 818
Мишени наступают 830
Серый фетр 844
I 844
II 845
III 848
IV 851
V 852
VI 854
VII 855
VIII 857

IX 860
Когда рак свистнет 862
Дымчатый бокал 872
Боковая ветка 879
Тридцать сребреников 908
I 908
II 911
III 913
IV 917
V 918
VI 919
VII 920
Рисунок пером 922
Неукушенный локоть 931
Смерть эльфа 948
Тринадцатая категория рассудка 960

# Сигизмунд Кржижановский
# Тринадцатая категория рассудка

## Клуб убийц Букв

### I

– Пузыри над утопленником.

– Как?

Треугольный ноготь – быстрым глиссандо – скользнул по вспучившимся корешкам, глядевшим на нас с книжной полки.

– Говорю, пузыри над утопленником. Ведь стоит только головой в омут, и тотчас – дыхание пузырями кверху: вспучится и лопнет.

Говоривший еще раз оглядел ряды молчаливых книг, стеснившихся вдоль стен.

– Вы скажете – и пузырь умеет изловить в себя солнце, сини неба, зеленое качание прибрежья. Пусть так. Но тому, кто уже ртом в дно: нужно ли это ему?

И вдруг, будто наткнувшись на какое-то слово, он встал

и, охватив пальцами локти, оттянутые к спине, зашагал от полки к окну и обратно, лишь изредка проверяя глазами мои глаза:

– Да, запомните, друг: если на библиотечной полке одной книгой стало больше, это оттого, что в жизни одним человеком стало меньше. И если уж выбирать меж полкой и миром, то я предпочитаю мир. Пузырями к дню – собой к дну? Нет, благодарю покорно.

– Но ведь вы же, – попробовал я робко не согласиться, – ведь вы же дали людям столько книг. Мы все привыкли читать ваши…

– Дал. Но не даю. Вот уж два года: ни единой буквы.

– Вы, как об этом пишут и говорят, готовите новое и большое…

У него была привычка недослушивать:

– Большое ли – не знаю. Новое – да. Только те, кто об этом пишут и говорят, это-то я твердо знаю, не получат от меня больше ни единого типографского знака. Поняли?

Мой вид, очевидно, не выражал понимания. Поколебавшись с минуту, он вдруг подошел к своему пустому креслу, пододвинул его ко мне, сел, почти коленями к коленям, пытливо вглядываясь в мое лицо. Секунда за секундой мучительно длиннились от молчания.

Он искал во мне что-то глазами, как ищут в комнате *свою* забытую вещь. Я резко поднялся:

– Вечера суббот у вас – я замечал – всегда заняты. День

к закату. Я пойду.

Жесткие пальцы, охватив мой локоть, не дали подняться:

– Это правда: свои субботы я, то есть мы запираем от людей на ключ. Но сегодня я покажу вам ее: субботу. Останьтесь. Однако то, что будет вам показано, требует некоторых предварений. Пока мы одни – сконспектирую. Вам вряд ли известно, что в молодости я был выученником нищеты. Первые рукописи отнимали у меня последние медяки на оклейку их в бандероль и неизменно возвращались назад, в ящики стола, – трепаные, замусленные и избитые штемпелями. Кроме стола, служившего кладбищем вымыслов, в комнате моей находились: кровать, стул и книжная полка – в четыре длинных, вдоль всей стены доски, выгнувшихся под грузом букв. Обычно печка была без дров, а я без пищи. Но к книгам я относился почти религиозно, как иные к образам: продавать их… даже мысль эта не приходила мне в голову, пока, пока… ее не форсировала телеграмма: «Субботу мать скончалась. Присутствие необходимо. Приезжайте». Телеграмма напала на мои книги утром; к вечеру – полки были пусты, и я мог сунуть свою библиотеку, превращенную в три-четыре кредитных билета, в боковой карман. Смерть той, от которой твоя жизнь, – это очень серьезно. Это всегда и всем: черным клином в жизнь. Отбыв похоронные дни, я вернулся назад – сквозь тысячеверстье – к порогу своего нищего жилья. В день отъезда я был выключен из обстановки, – только теперь эффект пустых книжных полок доощутился и во-

шел в мысль. Помню, раздевшись, я присел к столу и повернул лицо к подвешенной на четырех черных досках пустоте. Доски, хоть книжный груз и был с них снят, еще не распрямили изгибов, как если б и пустота давила на них по перпендикулярам вниз. Я попробовал перевести глаза на другое, но в комнате – как я уже сказал – только и было: полки, кровать. Я разделся и лег, пробуя заспать депрессию. Нет – ощущение, дав лишь короткий отдых, разбудило: я лежал, лицом к полкам, и видел, как лунный блик, вздрагивая, ползает по оголенным доскам полок. Казалось, какая-то еле ощутимая жизнь – робкими проступями – зарождалась там, в бескнижье.

Конечно, все это была игра на перетянутых нервах – и когда утро отпустило им колки, я спокойно оглядел залитые солнцем пустые провалы полок, сел к столу и принялся за обычную работу. Понадобилась справка: левая рука – двигаясь автоматически – потянулась к книжным корешкам: вместо них – воздух, еще и еще. Я с досадой всматривался в заполненное роями солнечных пылинок бескнижие, стараясь – напряжением памяти – увидеть нужную мне страницу и строку. Но воображаемые буквы внутри воображаемого переплета дергались из стороны в сторону, и вместо нужной строки получалась пестрая россыпь слов, прямь строки ломалась и разрывалась на десятки вариантов. Я выбрал один из них и осторожно вписал в мой текст.

Перед вечером, отдыхая от работы, я любил, вытянувшись

на кровати, с увесистым томом Сервантеса в руках, прыгать глазами из эпизода в эпизод. Книги не было: я хорошо помню – она стояла в левом углу нижней полки, прижавшись своей черной кожей в желтых наугольниках к красному сафьяну кальдероновских «Аутос». Закрыв глаза, я попробовал представить ее здесь рядом со мной – меж ладонью и глазом (так покинутые своими возлюбленными продолжают встречаться с ними – при помощи зажатых век и сконцентрированной воли). Удалось. Я мысленно перевернул страницу-другую; затем память обронила буквы – они спутались и скользнули из видения. Я пробовал звать их обратно: иные слова возвращались, другие – нет. Тогда я начал заращивать пробелы, вставляя в межсловия свои слова. Когда, устав от этой игры, я открыл глаза, комната была полна ночью, тугой чернотой забившей все углы комнате и полкам.

У меня в то время было много досуга, – и я все чаще и чаще стал повторять игру с пустотой моих обескнижевших полок. День вслед дню – они зарастали фантазмами, сделанными из букв. У меня не было ни денег, ни охоты ходить теперь за буквами к книжным ларям или в лавки букинистов. Я вынимал их – буквы, слова, фразы – целыми пригоршнями из себя: я брал свои замыслы, мысленно оттискивал их, иллюстрировал, одевал в тщательно придуманные переплеты и аккуратно ставил замысел к замыслу, фантазм к фантазму, – заполняя покорную пустоту, вбиравшую внутрь своих черных деревянных досок все, что я ей ни давал. И однажды,

когда какой-то случайный гость, пришедший возвратить мне взятую книгу, сунулся было с ней к полке, я остановил его: «Занято».

Гость мой был такой же бедняк, как и я: он знал, что право на чудачество – единственное право полуголодных поэтов… Спокойно меня оглядев, он положил книгу на стол и спросил, согласен ли я выслушать его поэму.

Закрыв за ним и за поэмой дверь, я тотчас же постарался убрать книгу куда-нибудь подальше: вульгарные золотые буквы на вспучившемся корешке расстраивали только-только налаживавшуюся игру в замыслы.

По параллели я продолжал работу и над рукописями. Новая пачка их, посланная по старым адресам, к моему искреннейшему удивлению, не возвратилась: вещи были приняты и напечатаны. Оказывалось: то, чему не могли научить меня сделанные из бумаги и краски книги, было достигнуто при помощи трех кубических метров воздуха. Теперь я знал, что делать: я снимал их, одни за другими, мои воображаемые книги, фантазмы, заполнявшие пустоты меж черных досок старой книжной полки, и, окуная их невидимые буквы в обыкновеннейшие чернила, превращал их в рукописи, рукописи – в деньги. И постепенно – год за годом – имя мое разбухало, денег было все больше и больше, но моя библиотека фантазмов постепенно иссякала: я расходовал пустоту своих полок слишком торопливо и безоглядно: пустота их, я бы сказал, еще более раздражалась, превращалась в обык-

новенный воздух.

Теперь, как видите, и нищая комната моя разрослась в солидно обставленную квартиру. Рядом с отслужившей старой книжной полкой, отработавшую пустоту которой я снова забил книжным грузом, стали просторные остекленные шкапы – вот эти. Инерция работала на меня: имя таскало мне новые и новые гонорары. Но я знал: проданная пустота рано или поздно отмстит. В сущности, писатели – это профессиональные дрессировщики слов, и слова, ходящие по строке, будь они живыми существами, вероятно, боялись бы и ненавидели расщеп пера, как дрессированные звери – занесенный над ними бич. Или еще точнее: слыхали вы об изготовлении так называемых каракульча? У поставщиков этого типа своя терминология: выследив путем хитроумных приемов узор и завитки на шкурке нерожденного ягненка, дождавшись нужного сочетания завитков, нерожденного убивают – прежде рождения: это называется у них «закрепить узор». Так и мы – с замыслами: промышленники и убийцы.

Я, конечно, и тогда не был наивным человеком и знал, что превращаюсь в профессионального убийцу замыслов. Но что мне было делать? Вокруг меня были протянутые ладони. Я швырял в них пригоршни букв. Но они требовали еще и еще. Пьянея от чернил, я готов был – какой угодно ценой – форсировать новые и новые темы. Замученная фантазия не давала их больше: ни единой. Тогда-то я и решился искусственно возбудить ее, прибегнув к старому испытанному средству. Я

велел очистить одну из комнат квартиры… но пойдемте, будет проще, если я это покажу.

Он поднялся. Я вслед. Мы прошли анфиладой комнат. Порог, еще порог, коридор – он подвел меня к запертой двери, скрытой портьерой (под цвет стены). Звонко щелкнул ключ, потом – выключатель. Я увидел себя в квадратной комнате: в глубине, против порога, камин; у камина полукругом семь тяжелых резных кресел; вдоль стен, обитых темным сукном, ряды черных, абсолютно пустых книжных полок. Чугунные щипцы, прислонившиеся ручкой к каминной решетке. И все. По беззвучащему шаги безузорному ковру мы подошли к полукругу кресел. Хозяин сделал знак рукой:

– Присядьте. Вас удивляет, почему их семь? Вначале здесь стояло лишь одно кресло. Я приходил сюда, чтобы беседовать с пустотой книжных полок. Я просил у этих черных деревянных каверн тему. Терпеливо, каждый вечер, я запирался здесь вместе с молчанием и пустотой и ждал. Поблескивая черным глянцем, мертвые и чужие, они не хотели отвечать. И я, испрофессионализировавший себя дрессировщик слов, уходил назад к своей чернильнице. Как раз в это время близились сроки двум-трем литературным договорам: писать было *не из чего*.

О, как ненавистны казались мне в то время все эти люди, потрошащие разрезальными ножами свежую книжку журнала, окружившие десятками тысяч глаз мое исстеганное и загнанное имя. Вспомнился – сейчас вот – крохотный случай:

улица, на обмерзлой панели мальчонка, кричащий о буквах для калош; и тотчас же мысль: а ведь – и моим буквам, и его – один путь: «под подошвы».

Да, я чувствовал и себя, и свою литературу затоптанными и обессмысленными, и, не помоги мне болезнь, здоровый исход вряд ли бы был найден. Внезапная и трудная, она надолго выключила меня из писательства: бессознательное мое успело отдохнуть, выиграть время и набраться смыслов. И помню – когда я, еще физически слабый и полувключенный в мир, открыл – после долгого перерыва – дверь этой черной комнаты и, добравшись до этого вот кресла, еще раз оглядел пустоту бескнижья, она, пусть невнятно и тихо, но – все же, все же – заговорила, – согласилась заговорить со мной снова, как в те, казалось, навсегда отжитые дни! Вы понимаете, для меня это было такое… (Пальцы говорившего наткнулись на мое плечо – и тотчас же отдернулись.)

– Впрочем, мы с вами не располагаем временем для лирических излияний. Скоро сюда придут. Итак, назад к фактам. Теперь я знал, что замыслы требуют любви и молчания. Прежде растратчик фантазмов, я стал копить их и таить от любопытствующих глаз. Я запер их все тут вот на ключ, и моя невидимая библиотека возникла снова: фантазм к фантазму, опус к опусу, экземпляр к экземпляру – стали заполнять вот эти полки. Взгляните сюда – нет, правей, на средней полке, – вы ничего не видите, не правда ли, а вот я…

Я невольно отодвинулся: в острых зрачках говорившего

дрожала жесткая, сосредоточенная радость.

– Да, и тогда же я накрепко решил: захлопнуть крышку чернильнице и вернуться назад в царство чистых, неовеществленных, свободных замыслов. Иногда, по старой вкоренившейся привычке, меня тянуло к бумаге, некоторым словам удавалось-таки пробраться под карандаш: но я тотчас же убивал этих уродцев и беспощадно расправлялся со старыми писательскими повадками. Слыхали ль вы о так называемых Gardinetti di S. Francisco – садах св. Франциска? В Италии мне не раз приходилось посещать их: крохотные цветники эти в одну-две грядки, метр на метр, за высокими и глухими стенами – почти во всех францисканских монастырях. Теперь, нарушая традиции св. Франциска, за серебряные сольди разрешают оглядеть их, и то лишь сквозь калитку, снаружи: прежде не разрешалось и этого – цветы могли здесь расти – по завещанию Франциска – не для других, а для себя: их нельзя было рвать и пересаживать за черту ограды; не принявшим пострига не разрешалось – ни ногой, ни даже взглядом касаться земли, отданной цветам: выключенным из всех касаний, защищенным от зрачков и ножниц, им дано было цвести и благоухать *для себя*.

И я решил – пусть это не кажется вам странным – насадить свой, защищенный молчанием и тайной, отъединенный сад, в котором бы всем замыслам, всем утонченнейшим фантазмам и чудовищнейшим измыслам, вдали от глаз, можно бы было прорастать и цвести – *для себя*. Я ненавижу грубую

кожуру плодов, тяжело обвисающих книзу и мучающих, иссушающих ветви; я хочу, чтобы в моем крохотном саду было вечное, неопадающее и нерождающее сложноцветение смыслов и форм! Не думайте, что я эгоист, не умеющий вышагнуть из своего я, ненавидящий людей и чужие *не-мои* мысли. Нет, в мире мне подлинно ненавистно только одно: буквы. И все, кто может и хочет, пройдя сквозь тайну, жить и трудиться здесь, у гряды чистых замыслов, пусть придут и будут мне братьями.

На минуту он замолчал и пристально разглядывал дубовые спинки кресел, которые, став в полукруг около говорившего, казалось, внимательно вслушиваются в его речь.

– Понемногу из мира пишущих и читающих – сюда, в безбуквие, стали сходиться избранники. Сад замыслов для всех. Нас мало и будет еще меньше. Потому что бремя пустых полок тяжко. И все же…

Я попробовал возражать:

– Но ведь вы отнимаете, как вы говорите, буквы не только у себя, но и у других. Я хочу напомнить о протянутых ладонях.

– Ну, это… знаете, Гёте как-то объяснял своему Эккерману ну, что Шекспир – непомерно разросшееся дерево, глушащее – двести лет кряду – рост всей английской литературы; а о самом Гёте – лет тридцать спустя – Берне писал: «Рак, чудовищно расползшийся по телу немецкой литературы». И оба были правы: ведь если наши обуквления глу-

шат друг друга, если писатели мешают друг другу осуществлять, то читателям они не дают даже *замышлять*. Читатель, я бы сказал, *не успевает* иметь замыслы, право на них отнято у него профессионалами слова, более сильными и опытными в этом деле: библиотеки раздавили читателю фантазию, профессиональное писание малой кучки пишущих забило и полки, и головы до отказа. Буквенные излишки надо истребить: на полках и в головах. Надо опростать от чужого хоть немного места для *своего*: право на замысел принадлежит всем: и профессионалу, и дилетанту. Я принесу вам восьмое кресло.

И, не дожидаясь ответа, он вышел из комнаты.

Оставшись один, я еще раз оглядел черный, с полками, подставленными под пустоту, глушащий шаги и слова изолятор. Недоуменное и настороженное чувство прибывало во мне, что ни миг: так себя чувствует, вероятно, подвергаемое вивисекции животное. «Зачем я ему или им, что нужно их замыслам от меня?» И я твердо решил тотчас же выяснить ситуацию. Но когда дверь раскрылась, на пороге уже было двое: хозяин и какой-то очкастый, с круглой, под рыжим ежом, головой: привалившись вялым, будто бескостным, телом на палку, он с порога разглядывал меня сквозь свои круглые стекла.

– Дяж, – представил хозяин.

Я назвал себя.

Вслед за вошедшим на пороге появился третий: это был

короткий сухой человечек с двигающимися желваками под иглами глаз, с сухой и узкой щелью рта, хозяин обернулся навстречу третьему:

– А, Тюд.

– Да, я, Зез.

Заметив недоумение в моих глазах, тот, кого называли Зез, весело рассмеялся:

– После нашей беседы вам нетрудно будет понять, что писательским именам *здесь* (выделил он последнее слово) делать нечего. Пусть остаются на титулблаттах: вместо них каждому члену братства дано по так называемому бессмысленному слогу. Видите ли, был некий чрезвычайно ученый профессор Эббингауз, который, исследуя законы запоминания, прибегал к системе «бессмысленных слогов», как он их называл: то есть попросту он брал любую гласную и приставлял к ней, справа и слева, по согласной; из изготовленного таким образом ряда слогов отбрасывались те, в которых была хотя бы тень смысла: остальное – мнемологу Эббингаузу пригодилось для изучения процесса запоминания, нам же скорее для… ну, это не требует комментарий. Где же, однако, наши замыслители? Время бы.

Будто в ответ, в дверь постучали. Вошли двое: Хиц и Шог. Немного погодя в дверях появился, астматически дыша и отирая пот, еще один: кличка его была Фэв. Оставалось пустым лишь одно кресло. Наконец, вошел и последний: это был человек с мягко очерченным профилем и крутым ско-

сом лба.

– Вы запаздываете, Рар, – встретил его председатель. Тот поднял глаза, они глядели отрешенно и будто издалека.

# II

С минуту длилось молчание. Все смотрели, как Шог, присев на корточки, разводил в камине огонь. Следя за медленными, будто проделывающими какой-то ритуал, движениями Шога, я успел разглядеть его: он был значительно моложе всех собравшихся; блики, заплясавшие вскоре на его лице, резко выделили капризную линию его яркого рта и чутко вздрагивающее вздутие ноздрей. Когда дрова в камине, разыскрясь, засычали, председатель, взяв в руки чугунные щипцы, ударил ими о каминные прутья:

– Внимание. Семьдесят третья суббота Клуба убийц букв открыта. – Затем, делая тот же ритуал, он подошел неспешными шагами к двери: дважды щелкнуло. В протянутой руке Зеза сверкнула бородчатая сталь:

– Рар: ключ и слово.

После паузы Рар заговорил:

– Мой замысел четырехактен. Заглавие: «Actus morbi».

Председатель насторожился:

– Виноват. Это пьеса?

– Да.

Брови Зеза нервно дернулись:

– Так и знал. Вы всегда, будто нарочно, нарушаете традиции клуба. Сценизировать – значит вульгаризировать. Если замысел проектируется на театр, значит, он бледен, недо-

статочно… оплодотворен. Вы всегда норовите выскользнуть сквозь замочную скважину – и наружу: от углей камина – к огням рамп. Остерегайтесь рамп! Впрочем, мы ваши слушатели.

Лицо человека, начавшего рассказ, не выражало смущения. Прерванный, он спокойно отслушал тираду и продолжал:

– Всемирно известный персонаж Шекспира, поднявший вопрос о том, так ли легко играть на душе, как на флейте, отбрасывает затем флейту, но душу оставляет. Мне. Все-таки тут есть некое сходство: чтобы добиться у флейты предельно глубокого тона – нужно зажать ей все ее отверстия, все ее оконца в мир; чтобы вынуть из души ее глубь, надо тоже, одно за другим, закрыть ей все окна, все выходы в мир. Это и пробует сделать моя пьеса; и, следуя терминологии, выбранной Гамлетом, следовало бы сказать, что мой «Actus morbi» не в стольких-то актах, а в стольких-то позициях.

Теперь об изготовлении моих персонажей. В том же «Гамлете» есть один давно уже заинтересовавший меня двойной персонаж, напоминающий органическую клетку, разделившуюся на две не вполне отшнуровавшиеся, как называют это биологи, дочерние клетки. Я говорю о Гильденштерне и Розенкранце, существах, не представимых порознь, врозь друг от друга, являющихся – в сущности – одной ролью, расписанной по двум тетрадкам… и только. Процесс деления, на-

чатый триста лет тому назад, я пробую протолкнуть дальше. Подражая провинциальному трагику, ломающему – эффекта ради – флейту Гамлета пополам, я беру, скажем, Гильденштерна и разламываю это полусущество еще раз надвое: Гильден и Штерн – вот уже два персонажа. Имя Офелия и смысл, в нем сочетанный, я беру то в плане трагедии – *Фелия*, то в комедийном плане – *Феля*. Понимаете ли, ввивая в косы то венок из горькой руты, то бумажные папильотки, можно двоить и это.

Итак, для начала игры, для первой позиции пьесы, у нас уже четыре фишки: двигая ими по воображаемой сцене, как шахматист, играющий не глядя на доску, я получаю следующее…

На секунду Рар оборвал речь. Его длинные и белые, почти сквозистые пальцы, прощупывали что-то сквозь воздух, как бы испытывая лепкость материала.

– Как это говорят: «Сцена представляет…» Ну, одним словом, молодой актер Штерн заперся наедине со своей ролью. Роль угадывается и без монологов: на спинке кресла черный плащ; на столе – среди книжных ворохов и портретов эльсинорского принца – черный берет со сломанным пером. Тут же пиджак и подтяжки. Штерн, небритый, со следами бессонницы на лице, шевелит острием шпаги приопущенную занавеску окна.

– Мышь.

Стук в дверь. Продолжая фиксировать растревоженную шпагой занавеску, левой рукой снимает болт с двери. На пороге *Феля*.

Мы с вами видим ее: миловидное личико с ямками, прыгающими на щеках, – существо, которое в пьесах всегда любят двое и от психологии которого требуется одно: из двух выбрать одного. Но Штерн не видит вошедшую и снова за свое:

– Мышь!

*Феля в испуге приподымает юбку. Диалог.*

*Штерн* (*не оборачиваясь на крик Фели*). Напрасен крик. Молчи. И рук ломать не надо.

Гляди: сейчас твое сломаю сердце.

*Отдергивает занавеску. На подоконнике, вместо Полония, примус и пара пустых бутылок.*

Король из тряпок и лоскутьев,
Глупец, всю жизнь болтавший без умолку.
Пойдем. Ведь надобно ж с тобой покончить.

*В дверях сталкивается с Фелей.*

*Феля*. Куда ты? Без пиджака на улицу. Проснись!

*Штерн*. Ты? О Феля, я… если бы ты знала…

*Феля*. Я знаю свою роль назубок. А вот ты – смешной путаник. Брось свои ямбы – ведь мы не на сцене.

*Штерн*. Ты уверена в этом?

*Феля*. Только, пожалуйста, не начни меня разуверять. Ес-

ли бы тут были зрители, я бы не сделала вот так *(став на цыпочки, целует его)*. Ну что, и это не разбудило?

– Милая.

– Наконец-то: первое слово не из роли.

Засим я перестаю вертеть любовную шарманку: вам важно знать, что сейчас Фелия ближе к Штерну, чем к Гильдену, его сопернику и дублеру; что она хочет ему победы в борьбе за роль. Так или иначе, в обгон диалогу, удостоверяю: разворачиваясь, он придвигает фишку к фишке, Штерна к Феле. Отсюда ремарка: скобка, поцелуй, закрыть скобку, точка. На этот раз и для Штерна – не сквозь роль – а в полной яви. Вглядитесь. А теперь переведите взгляд чуть влево. Дверь, брошенная полуоткрытой, распахивается; на пороге – *Гильден*.

*Гильден* (*улыбаясь, в меру злобно*). Зрители излишни. Удаляюсь.

Но влюбленные, разумеется, удерживают Гильдена. Минута смущенного молчания.

*Гильден* (*перебирает разбросанные повсюду книги*). Роль, я вижу, не так податлива, как… (*взгляд в сторону Фелии*). «Шекспир». «О Шекспире». Гм, опять Шекспир. Кстати, сейчас в трамвае простец какой-то, заметив роль, торчащую у меня из кармана, и желая сделать мне приятное, спросил: «Говорят, и не существовало никакого Шекспира, а только подумать, сколько пьес после него; а вот существуй Шекспир, так, должно быть, и пьес-то этих самых…» – И смотрит

на меня этак идиотически-любознательно.

*Феля хохочет. Штерн остается серьезен.*

*Штерн*. Простец-то простец, но… что ты ему ответил?

*Гильден*. Ничего. Трамвай остановился. Мне надо было выходить.

*Штерн*. Видишь ли, Гильден, еще недавно мне твой пустяк показался бы только смешным. Но после того, как вот уж третью неделю бьюсь над тем, чтоб засуществовать в несуществовании, ну как бы тебе сказать, чтобы вжиться в роль, у которой, скажете вы, нет своей жизни, я осторожно обращаюсь со всеми этими «быть» и «не быть». Ведь между ними только одно *или*. Всем дано выбирать. И иные уже выбрали: одни – борьбу за существование; другие – борьбу за несуществование; ведь линия рампы, как таможенная черта: чтоб переступить ее, чтоб получить право находиться там, по ту сторону ее огней, надо уплатить кое-какую пошлину.

*Гильден*. Не понимаю.

*Штерн*. А между тем понять – это еще не все. Надо и решиться.

*Фелия*. И ты?..

*Штерн*. Да. Я решился.

*Гильден*. Чудак. Рассказать Таймеру – вот бы посмеялся. Хотя пока что наш патрон не проявляет особого веселья. Вчера, когда ты опять пропустил репетицию, он поднял целую бурю. Я затем и зашел к тебе, чтобы предупредить, что если ты и сегодня будешь «несуществовать» на репетиции,

то Таймер грозил…

*Штерн*. Знаю. Пусть. Мне не с чем, понимаешь, не с чем; точнее – не с кем идти на вашу репетицию. Пока роль не придет ко мне, пока я ее не увижу вот здесь, как вижу сейчас тебя, мне нечего делать на ваших сборищах.

*Фелия умоляюще смотрит, но Штерн, точно провалившись в себя самого, не видит и не слышит.*

*Гильден*. Но ведь должна же быть проверка извне: сначала глаза режиссера, затем зрителя…

*Штерн*. Чепуха. Зрители: да если б их шубы, развешанные по номеркам, сняв с крючьев, рассадить по креслам, а зрителей развешать по гардеробным крючьям, – искусство б от этого не пострадало. Режиссер, глаз режиссера – так ты, кажется, сказал: я бы его выколол – из театра. К дьяволу! Актеру нужны глаза его персонажа. Только. Вот если б сейчас сам Гамлет пришел сюда и, отыскав зрачками зрачки, сказал бы мне… знаете что, друзья, не сердитесь, но мне надо работать. Рано или поздно я дозовусь его, и тогда… Уходите.

*Гильден*. Однако, Феля, он с нами заговорил действительно тоном принца. Только и остается – уйти. Тем более что через четверть часа начнется.

*Фелия*. Штерн, милый, пойдем с нами.

*Штерн*. Оставьте меня. Прошу вас. И у меня сейчас… начнется.

Штерн остается один. Некоторое время он сидит без движения, как вот я. Потом (Рар резким движением протянул

руку к затененной пустоте книжных полок: глаза слушающих повернулись туда)… потом… он берет книгу – первую попавшуюся. Конспектирую монолог.

*Штерн*. Итак, попробуем. Действие второе, сцена вторая: «Заговорю с ним опять». Ко мне: «Что вы читаете, принц?» Слова, слова, слова. О, если б дано было знать: какие слова были в *той* книге. Если б: ведь тут узел смыслов. «Но о чем они говорят?» – «С кем?»

В это время – вы замечаете ее? Там, на пороге, беззвучно возникнув в сумерках вечереющей комнаты, появляется *Роль*: она точно, но сквозь муть, как отражение в дешевом зеркале, повторяет собой актера. Штерн, сидящий спиной к дверям, не замечает Роли, пока она, подойдя к нему сзади, не прикоснулась рукой к плечу.

*Роль*. Послушайте, вы хотели узнать слова книги, которую я имею обыкновение вот уже триста двадцатый год кряду перелистывать во второй сцене второго акта? Что ж, слова эти можно бы вам, пожалуй, ссудить – разумеется, не даром.

Черный фантом успел уже бесшумно вдвинуться в пустое кресло против Штерна: с минуту актер и Роль пристально всматриваются друг в друга.

*Штерн*. Нет. Это не то. Я представляю своего Гамлета иначе. Вы, простите меня, жухлый и линялый. А я хочу не так.

*Роль* (*флегматически*). И тем не менее *сыграете* меня – именно так.

*Штерн* (*мучительно оценивая своего двойника*). Но я не хочу, понимаете, не хочу быть, как вы.

*Роль*. Может, и я не хочу быть, как вы. И наконец, я всего лишь вежлив: зовут – прихожу. Придя, спрашиваю: *зачем*?

Пальцы Рара обыскивали воздух, точно в нем кружила невидимкою реплика; казалось, они уже схватили ее и вдруг разжались: Рар внимательно всматривался вслед выпорхнувшему слову.

– Вот тут-то я и попробую, замыслители, закрыть флейте ее первый клапан. Об это *зачем* Штерну нужно удариться. Ему, актеру, то есть существу, профессионально говорящему чужие слова, пожалуй, и не найти своих, чтобы объяснить своему отражению себя – отраженного.

По-моему, тут все довольно просто: каждое трехмерное существо дважды удвояет себя, отражаясь вовне и вовнутрь. Оба отражения неверны: холодное и плоское подобие, возвращаемое нам обыкновенно стеклянным зеркалом, неверно уже потому, что менее чем трехмерно, распластано; другое отражение лица, отбрасываемое им внутрь, втекающее по центростремительным нервам в мозг, состоящее из сложного комплекса самоощущений, тоже неверно, потому что – более чем трехмерно.

И вот – бедняга Штерн хотел объективировать, поднять со дна души к периферии, выманить игрой, зазвать в роль т о, внутреннее подобие себя; на зов пришло другое отражение – стеклистое, мертвое, спрятанное под поверхностями,

отраженное вовне. Он не хочет его, отрекается от назойливого фантома и тем и создает ему объективность бытия вне себя. То, о чем говорю, существует и вне пьес; случалось и будет случаться. Да вот хотя бы Эрнесто Росси: в своих «Воспоминаниях» он рассказывает о посещении развалин Эльсинора. Приблизительно так: на некотором расстоянии от замка Росси останавливает экипаж и пешком к руинам. В сгущающихся сумерках ровным шагом приближается он к замку. Неумирающая история о датском принце овладевает им. Шагая навстречу черному силуэту моста, он – сначала про себя, потом все громче и громче, припоминая первый акт «Гамлета», стал декламировать свое обращение к тени отца. И когда, постепенно втягиваясь в привычную роль, додекламировал до реплики *Тени* и привычным же движением поднял голову, – он увидел ее: выйдя из ворот, *Тень*, бесшумно близясь, шла к брошенному через ров мосту: реплика принадлежала ей. Далее Росси сообщает лишь, что, повернувшись спиной к партнеру, он опрометью бросился назад, отыскал возницу и велел гнать лошадей что есть мочи. Итак, актер бежал – в данном случае от пришедшей к нему роли. Но ведь он мог и *остаться* там, у моста: из мира в мир. И Штерну придется *остаться* – для этого не нужно таланта: достаточно воли. Но давайте включим пьесу. Наш персонаж давно ждет нас: я слишком затянул ему паузу. Итак:

*Штерн*. Значит, меня увидят таким? Как вот ты?

*Роль*. Да.

*Штерн* (*в раздумье*). Так. Еще вопрос: *откуда* ты? И еще: откуда бы ты ни был, тебе придется уйти. Я отказываюсь от роли.

*Роль* (*приподымаясь*). Как угодно.

*Штерн* (*шаг вслед*). Стой. Я боюсь: тебя могут видеть. Мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь, кроме меня… ты понимаешь.

*Роль*. Не торопитесь включать меня в пространство. Дело в том, что видеть меня… ну, скажем, необязательно. Мы существуем, но условно. Кто захочет – увидит, а не захочет… вообще это насилие и дурной вкус быть *принудительно реальным*. И если у вас, на земле, это еще не вывелось, то…

*Штерн*. Постой, постой. Но ведь я *хотел* видеть другого…

*Роль*. Не знаю. Может быть, перепутали подорожные. При переходе из мира в мир это бывает. Сейчас у нас огромный спрос на Гамлетов. Гамлетбург почти опустел.

*Штерн*. Не понимаю.

*Роль*. Очень просто. Вы затребовали из архивов, а вам прислали из заготовочной.

*Штерн*. Но как же это… распутать?

*Роль*. Тоже – просто. Я провожу вас до Гамлетбурга, а там ищите, кого вам надо.

Штерн (*растерянно*). Но где это? И как туда пройти?

*Роль*. Где: в Стране Ролей. Есть и такая. А вот как, этого ни рассказать, ни показать нельзя. Думаю, зрители извинят, если мы… за закрытым занавесом.

Рар спокойно оглядел нас всех:

– Роль, в сущности, права. С вашего разрешения даю занавес. Теперь дальше, позиция вторая: постарайтесь увидеть уходящую от глаза перспективу, ограниченную со всех сторон близко сдвинувшимися стенами и заостренную вверху жесткими каркасами готических арок. Поверхности этого фантастического туннеля сверху донизу в квадратных пестрых бумажных пятнах, поверх которых разными шрифтами, на разных языках одно и то же слово: Гамлет – Гамлет – Гамлет. Внутри, под убегающими вглубь буквами разноязыких афиш, два ряда теряющихся вдалеке кресел. В креслах, завернувшись в черные плащи, длинной вереницей – Гамлеты. У каждого из них в руках книга. Все они склонились над ее развернутыми листами, их бледные лица сосредоточенны, глаза не отрываются от строк. То здесь, то там шуршит перелистываемая страница и слышится тихое, но немолкнущее:

– Слова, слова, слова.

– Слова – слова.

– Слова.

Я еще раз приглашаю вас, замыслители, вглядеться в череду фантомов. Под черными беретами опечаленных принцев вы увидите тех, кто вводил вас в проблему Гамлета: в этот длинный и узкий – сквозь весь мир протянувшийся – глухой коридор. Я, например, сейчас ясно могу разглядеть – третье кресло слева – резкий профиль Сальвиниева Гамлета, сдвинувшего брови над ему лишь зримым текстом. Правее и

дальше под складками черной тяжелой ткани хрупкий контур, похожий на Сару Бернар: тяжелый фолиант с отстегнутыми бронзовыми застежками оттянул тонкие слабые пальцы, но глаза цепко ухватились за знаки и смыслы, таимые в книге. Ближе, под красным пятном афиши, одутлое, в беспокойных складках лицо Росси, дряблеющая щека уперлась в ладонь, локоть в резную ручку кресла; мускулы у сгиба колен напряглись, а у виска пульсирует артерия. И дальше, в глубине перспективы, я вижу нежно очерченное лицо женственного Кемпбеля, острые скулы и сжатый рот Кина и там, у края видения, запрокинутую назад, с надменной улыбкой на губах, с полузакрытыми глазами, то возникающую, то никнущую в дрожании бликов и теней, ироническую маску Ричарда Бэрбеджа. Мне трудно рассмотреть отсюда – это далеко, – но, кажется, он закрыл книгу: прочитанная от знака до знака, сомкнув листы, она неподвижно лежит на его коленях. Возвращаюсь взглядом назад: иные лица затенены, другие отвернулись от меня. Да, возвращаюсь, кстати, и к действию.

Дверь в глубине, подымаясь створкой кверху, как занавес, выбрасывает резкий свет и две фигуры: впереди, с видом чичероне, шествует *Роль*. Вслед за ней робко озирающийся *Штерн*. Ноги его в черном трико: шнурки развязавшихся туфель болтаются из стороны в сторону; на плечах наскоро наброшенный короткополый пиджак. Медленно – шаг за шагом – они проходят меж рядов погруженных в чтение Гамлетов.

*Роль*. Вам повезло. Мы попали как раз к нужной вам сцене. Выбирайте: от Шекспира до наших дней.

*Штерн* (*указывает на несколько пустых кресел*). А тут – почему не занято?

*Роль*. Это, видите ли, для предстоящих Гамлетов. Вот сыграй вы меня, и мне б сыскалось местечко, – ну, не здесь, так где-нибудь там, сбоку, на табуретке, с краешка. А то мы какой конец отломали – из мира в мир, – и вот стой. Знаете, пойдем-ка из страны достижений в страну замыслов: там места сколько угодно.

*Штерн*. Нет. Искать надо здесь. Что это? (*Над дугами сводов – в вышине – проносятся плещущие звуки: стихли*.)

*Роль*. Это стая аплодисментов. Они залетают иногда и сюда: перелетными птицами – из мира в мир. Но мне здесь дольше нельзя: еще хватятся в замыслительском. Шли бы со мной. Право.

*Штерн (отрицательно качает головой; его проводник уходит; один – среди слов, в словах. Жадно, как нищий сквозь стекло витрины, всматривается в ряды ролей. Шаг, другой. Колеблется. Глаза его, постепенно пробираясь сквозь полутьму, начинают различать застывшую в глубине великолепную фигуру Ричарда Бэрбеджа).* Этот.

Но тут один из Гамлетов, который, отложив книгу, давно уже вглядывался в пришельца, поднявшись с кресел, внезапно преграждает ему дорогу. Штерн в смятении отступил, но Роль сама смущена и почти испугана: выступив из полутьмы

в свет, она обнаруживает дыры и заплаты на своем неладно скроенном – с чужого плеча – плаще; на плохо пробритом лице Роли искательная улыбка.

*Роль*. Вы оттуда? (*Утвердительный кивок Штерна*.) Оно и видно. Нельзя ли осведомиться: почему меня больше не играют? Не слыхали? Всем, конечно, известно, что трагик Замтутырский отпетый пьяница и мерзавец. Но нельзя же так. Прежде всего – он меня не выучил. Вы представляете себе, как приятно быть невыученным: не то ты еси, не то не еси. В этой самой бытенебыти, в третьем акте, знаете, мы так запутались, что если бы не суфлер… и вот после этого ни разу у рампы. Ни одного вызова: в бытие-с. Скажите на милость, что с Замтутырским, спился или амплуа переменил: если вернетесь, прошу вас, поставьте ему на вид. Нельзя же так: породил меня, ну и играй меня. А то… (*Штерн, отстраняя пародию, пробует пройти дальше, но та не унимается*.) Со своей стороны – если могу быть чем полезен…

*Штерн*. Я ищу книгу третьего акта. Я – за ее смыслом.

– Так бы и сказали. Вот. Только не зачитайте. Замтутырский, как и вы, на этой книге всю игру строил: меня ни в зуб, ну и ходит по сцене, и чуть что – в книгу. «Раз, – говорит, – Гамлету в третьем акте можно в книжку смотреть, то почему нельзя во втором или, там, в пятом; оттого – говорит и не мстит, что некогда: книжник, эрудит, занятой человек, интеллигент: читает, читает, оторваться не может: убить и то некогда». Так что, если любопытствуете, пожалуйста: пере-

вод Полевого, издание Павленкова.

*Штерн, отстранив налипающую на него замтутыркинскую роль, направляется в глубь перспективы к гордому контуру Бэрбеджа. Стоит, не смея заговорить. Бэрбедж сначала не замечает, потом веки его медленно поднимаются.*

*Бэрбедж*. Зачем здесь это существо, отбрасывающее тень?

*Штерн*. Чтобы ты принял его к себе в тени.

*Бэрбедж*. Что ты хочешь сказать, пришелец?

*Штерн*. То, что я человек, позавидовавший своей тени: она умеет и умалиться, и возвеличиться, а я всегда равен себе, один и тот же в одних и тех же – дюймах, днях, мыслях. Мне давно уже не нужен свет солнц, я ушел к светам рамп; и всю жизнь я ищу Страну Ролей; но она не хочет принять меня; ведь я всего лишь замыслитель и не умею свершать: буквы, спрятанные под застежки твоей книги, о великий образ, для меня навсегда останутся непрочитанными.

*Бэрбедж*. Как знать. Я триста лет обитаю здесь, вдали от потухших рамп. Время достаточное, чтобы домыслить все мысли. И знаешь, лучше быть статистом там, на земле, чем премьером здесь, в мире отыгранных игр. Лучше быть тупым и ржавым клинком, чем драгоценными, но пустыми ножнами; и вообще лучше хоть как-нибудь быть, чем великолепно не быть: теперь я не стал бы размышлять над этой дилеммой. И если ты подлинно хочешь…

*Штерн*. Да, хочу!

*Бэрбедж*. Тогда обменяемся местами: отчего бы Роли не

сыграть актера, играющего роли.

*Обмениваются плащами. Погруженные в чтение Гамлеты не замечают, как Бэрбедж, мгновенно вобрав в себя походку и движения Штерна, пряча лицо под надвинутым беретом, направляется к выходу.*

*Штерн*. Буду ждать вас. (*Поворачивается к пустому креслу Бэрбеджа: на нем мерцающая металлическими застежками книга*.) Он забыл книгу. Поздно: ушел. (*Присев на край кресла, с любопытством оглядывает сомкнутые застежки книги. Со всех сторон – снова шуршанье страниц и тихое: «Слова-слова-слова»*.) Буду ждать.

*Теперь третья позиция: кулисы. У входа, примостившись на низкой скамеечке, Фелия. На коленях ее тетрадка. Зажав уши и мерно раскачиваясь, она учит роль.*

*Фелия*. Я шила в комнате моей, как вдруг… вбегает…

*Вбегает Гильден.*

*Гильден*. Штерна нет?

*Фелия*. Нет.

*Гильден*. Ты предупреди его: если он и сегодня пропустит репетицию, роль переходит ко мне.

*Бэрбедж* (*появившийся на пороге – за спинами говорящих; про себя*). Роль перешла, это правда: но не от него и не к тебе.

*Гильден уходит в боковую дверь. Фелия снова наклоняется над тетрадкой.*

– Я шила в комнате моей, как вдруг

Вбегает Гамлет, плащ на нем разорван,
На голове нет шляпы, грязные чулки
Развязаны и спущены до пят;
Он бледен, как стена; колена гнутся;
Глаза блестят каким-то странным светом,
Как будто бы пришел он из иного мира,
Чтоб рассказать об ужасах его.
Таким…

*Бэрбедж* (*заканчивает*)… «Таким явился он». Не так ли? Колена гнутся… еще бы – пройти такую даль. Но рассказывать было б слишком долго.

*Фелия* (*с изумлением вглядываясь в пришельца*). Как ты хорошо вошел в роль, милый.

*Бэрбедж*. Ваш милый вошел в другое.

*Фелия*. У тебя хотели ее отнять: я отправила вчера письмо. Оно получено!

Бэрбедж. Боюсь, что туда не доходят письма. И притом, как отнять роль у отнятого актера?

*Фелия*. Ты говоришь странно.

– «Это странно
как странника прими в свое жилище».

Вошедшие *Таймер*, *Гильден* и несколько актеров прерывают диалог.

– Режиссер Таймер, не будем придумывать ему наружность, он будет похож, ну хотя бы на меня: желающих просят смотреть, – улыбнулся Рар, оглядывая слушающих.

Кроме меня одного, никто, кажется, не возвратил ему улыбки: замыслители, сомкнув молчаливый круг, ничем и никак не выражали своего отношения к рассказу.

– Таймер видится мне экспериментатором, упрямым вычислителем, придерживающимся методов подстановки: люди, подставляемые им в его постановочные схемы, нужны ему, как математику нужны цифры: когда пришла очередь *той* или иной цифре, он вписывает ее; когда очередь цифры отошла, он перечеркивает отслуживший знак. Сейчас, увидев того, кого он принимает за Штерна, Таймер не удивлен и даже рассержен.

*Таймер*. Ага. Пришли. А роль ушла. Поздно: Гамлета играет Гильден.

*Бэрбедж*. Вы ошибаетесь: ушел актер, а не роль: к услугам вашим.

*Таймер*. Не узнаю вас, Штерн: вы всегда, казалось, избегали играть – в том числе и словами. Что ж. Два актера на одну роль? Идет. Внимание: беру роль и разрываю ее надвое. Это нетрудно – надо лишь угадать линию разрыва. Ведь Гамлет, в сущности, это схватка *да с нет*: они-то и будут у нас центрозомами, разрывающими клетку на две новых клетки. Итак, попробуем: подать два плаща – черный и белый. (*Быстро размечает тетрадки с ролями: одну, вместе с белым плащом, передает Бэрбеджу; другую, вместе с черным, – Гиль-*

*дену.*) Акт третий, сцена первая. Приготовьтесь. Раз, два, три: занавес пошел.

*Гамлет* I (*белый плащ*). Быть?

*Гамлет* II *(черный плащ)*. Или не быть? Вот в чем вопрос.

*Гамлет* I. Что лучше?

*Гамлет* II. Что благороднее?

*Гамлет* I. Сносить и гром и стрелы
Враждующей судьбы. О нет.

*Гамлет* II. Или восстать
На море бед и кончить все борьбою!

*Гамлет* I. Окончить жизнь.

*Гамлет* II. Нет, лишь уснуть.

*Гамлет* I. Не более?

*Гамлет* II. Да, и знать, что этот сон
Окончит все. И тысячи ударов…

*Гамлет* I. Но ведь удел живых…

*Гамлет* II. Такой конец достоин
Желаний жарких.

*Гамлет* I. Умереть?

*Гамлет* II. Уснуть.

*Гамлет* I. Но если сон виденья посетят?
Что за мечты на смертный сон слетят,
Когда стряхнем мы суету земную?

*Гамлет* II. Да, это заграждает дальний путь
И делает страданье долговечным.

Кто снес бы бич и посмеянье века
Бессилье прав, тиранов притесненья,
Обиды гордого, *забытую* любовь…
*Гамлет* I. Презренных душ презрение к заслугам…
*Гамлет* II. Да, если б мог нас подарить покоем
Один удар.
И только страх чего, то после смерти, –
Страна безвестная, откуда путник
Не возвращался к нам.
*Гамлет* I. Неправда, возвратился!

Все с удивлением смотрят на Бэрбеджа, оборвавшего монолог, начавший было расщепляться в диалоге.

*Таймер*. Это не из роли.

*Бэрбедж*. Да, это из Царства Ролей. (*Он принял свою прежнюю позу: над белым, как саван, плащом надменно запрокинута мелово-белая маска: глаза закрыты; на губах улыбка гаера.*) Это было лет триста тому. Вилли играл Тень, я – принца. С утра лил дождь, и партер был весь в лужах. Но народу все же было много. К концу сцены, когда я задекламировал о «мире, вышедшем из колеи», в публике поймали воришку, вытащившего чужие пенсы из кармана. Я кончил акт под чавканье задвигавшихся ног по лужам и глухое: вор-вор-вор. Беднягу тотчас же, как это у нас водилось, вытащили на помост сцены и привязали к столбу. Во втором акте воришка был смущен и отворачивал лицо от протянутых к нему пальцев. Но сцена за сценой – вор освоился и, чувствуя

себя почти включенным в игру, наглея и наглея, стал кривляться, отпускать замечания и советы, пока мы, отвязав его от столба, не сошвырнули прочь со сцены. (*Вдруг повернувшись к Таймеру.*) Не знаю, что или кто привязал тебя к игре. Но если ты думаешь, что твои краденые мыслишки – ценой по пенсу штука – могут сделать меня богаче, меня, для которого писаны вот эти догрелли, – получай свои медяки и прочь из игры.

*Швыряет Таймеру роль в лицо. Смятение.*

*Фелия*. Опомнись, Штерн!

*Бэрбедж*. Мое имя Ричард Бэрбедж. И я развязываю тебя, воришка. Прочь из Царства Ролей!

*Таймер* (*бледный, но спокойный*). Спасибо: воспользуюсь развязанными руками, чтобы… да свяжите же его: видите – он сошел с ума.

*Бэрбедж*. Да, я снизошел к вам, люди, с того, что превыше всех ваших умов, – и вы не приняли…

На Бэрбеджа бросаются, пробуя связать. Тогда он, в судороге борьбы, кричит, понимаете ли, кричит им всем… вот тут, я сейчас…

И, бормоча какие-то неясные слова, рассказчик быстро сунул руки в карман: что-то зашуршало под черным бортом его сюртука. И тотчас же он оборвал слова, расширенными зрачками оглядывая слушателей. Беспокойно вытянулись шеи. Задвигались стулья. Председатель, вскочив с ме-

ста, властным жестом прекратил шум.

– Рар, – зачеканил он. – Вы пронесли сюда буквы? Тая их от нас? Дайте рукопись. Немедленно.

Казалось, Рар колеблется. Затем, среди общего молчания, кисть его руки вынырнула из-под сюртучного борта: в ее пальцах, чуть вздрагивая, белела вчетверо сложенная тетрадь. Председатель, схватив рукопись, с минуту скользил глазами по знакам: он держал ее почти брезгливо, за края, точно боялся грязнить себя прикосновением к чернильным строкам. Затем Зез повернулся к камину: он почти догорел, и только несколько углей, медленно лиловея, продолжали пламенеть поверх решетки.

– Согласно пункту пять устава предается рукопись смерти: без пролития чернил. Возражения?

Никто не пошевельнулся.

Коротким швырком председатель бросил тетрадь на угли. Точно живая, мучительно выгибаясь белыми листами, она тихо и тонко засычала; просинела спираль дымка; вдруг – снизу рвануло пламенем, и – тремя минутами позже председатель Зез, распепелив дробными ударами каминных щипцов то, что так недавно еще было пьесой, отставил щипцы, повернулся к рассказчику и процедил:

– Дальше.

Лицо Рара не сразу вернулось в привычное выражение; видно было, что ему трудно владеть собой, – и все же он заговорил снова:

– Вы поступили со мной, как мои персонажи с Бэрбеджем. Что ж – поделом: и ему, и мне. Продолжаю: то есть поскольку слов, которые я хотел прочесть, уже нельзя прочесть (он бросил быстрый взгляд на каминную решетку: последние угли отыскривались и оттлевали), опускаю конец сцены. Всем ясно, что испуганная происшедшим *она* пьесы, Фелия, переходит вместе с ролью – к Гильдену. Четвертая и последняя позиция заставляет нас вернуться к Штерну.

Оставшись в Царстве Ролей, он ждет возвращения Бэрбеджа. Нетерпение – от мига к мигу – возрастает. Там, на земле, может быть, уже идет спектакль, в котором гениальная роль играет за него себя самое. Над стрельчатыми сводами проносится шумная стая аплодисментов:

– Мне?

В волнении Штерн пробует обратиться к окружающим его углубившимся в свои книги Гамлетам. Его мучают вопросы, наклонившись к соседу, спрашивает:

– Вы должны понять меня. Ведь вы знаете, что такое слава.

В ответ:

– Слова – слова – слова…

И спрошенный, закрыв книгу, удаляется. Штерн к другому:

– Я чужой всем. Но вы научите меня быть всеми.

И другой Гамлет, сурово взглянув, закрывает книгу:

– Слова – слова.

К третьему:

– Там, на земле, я оставил девушку, которая меня любит. Она говорила мне…

– Слова.

И с каждым вопросом, как бы в ответ, Гамлеты подымаются и, закрыв свои книги, один вслед за другим, – удаляются.

– А если Бэрбедж… Вдруг он не захочет вернуться. Как тогда найти путь: туда, назад? И вы, зачем вы покидаете меня? Все забыли: может, и она, как все. Но ведь она клялась…

И снова:

– Слова – слова.

– Нет, не слова: слова сожжены; по ним – я видел – били каменными щипцами – слышите?!

Рар провел рукою по лбу:

– Простите – спуталось; зубья за зубья. Это иной раз бывает. Разрешите с купюрами.

Итак, череда Гамлетов покинула Штерна; вслед им ползут и пестрые пятна афиш; даже буквы на них, выпрыгивая из строк, устремляются прочь. Фантастическая перспектива Царства Ролей с каждым мигом меняет свой вид. Но у Штерна осталась в руках книга, забытая Бэрбеджем. Теперь уже медлить незачем: настало время взять смысл силой, вскрыть тайну. Но книга на крепких металлических застежках. Штерн пробует разогнуть ей переплет. Книга сопротивляется, плотно сжимая листы. В припадке гнева Штерн, кро-

вавя пальцы, все-таки выламывает тайник со словами. На разжатых страницах:

– Actus morbi. История болезни. Больной номер. Так. Шизофрения. Развитие нормальное. Припадок. Температура. Повторный. Бредовая идея: какой-то Бэрбедж. Желудок нормальный. Процесс принимает затяжную форму. Неизлеч…

Штерн подымает глаза: сводчатый длинный больничный коридор. Вдоль ряда перенумерованных дверей справа и слева кресла для дежурных по палате и посетителей. В глубине коридора погруженный в книгу, закутанный в белый балахон санитар. Он не замечает, что дверь в глубине перспективы раскрывается и поспешно входят двое: мужчина и женщина. Мужчина обернулся к спутнице:

– Как бы он ни был плох, но надо было мне дать хотя бы разгримироваться и сбросить костюм.

Оглянувшийся на голоса санитар изумлен: на посетителях под сброшенным ими верхним платьем театральные костюмы Гамлета и Офелии.

– Ну вот видишь: я так и знал, что на нас вытаращатся. К чему была эта горячка?

– Милый, но вдруг бы мы не успели. Ведь если он меня не простит…

– Причуды.

Санитар совершенно растерян. Но Штерн, с просветленным лицом, подымается навстречу пришедшим:

– Бэрбедж, наконец-то. И ты, единственная! О, как я ждал

тебя и тебя. И я смел подозревать: Бэрбедж, я думал, ты украл у меня и ее, и роль, я хотел отнять у тебя твои слова: они отмстили за себя, назвав меня безумцем. Но ведь это только слова, слова, роли, – если нужно играть безумца, хорошо, пусть, – я буду играть. Только зачем вдруг переменили декорацию: это из какой-то другой пьесы. Но ничего: мы пойдем из ролей в роли, чередою пьес, все дальше и дальше, в глубь безграничного Царства Ролей. А почему на тебе нет венка, Офелия? Ведь для сцены сумасшествия тебе нужен майоран и рута. Где они?

– Я сняла, Штерн.

– Да? А может быть, ты утонула и не знаешь, что тебя уж нет, и твой венок плавает сейчас по зыбям меж тростника и лилий, и никто не слышит, как…

– На этом я, пожалуй, оборву. Без излишних росчерков, – Рар поднялся.

– Но позвольте, – надвинулись на отговорившего круглые очки Дяжа, – что же, он умирает или нет? И после мне неясно…

– Мало ли что вам неясно. Я зажал флейте все ее прорези. Все. О дальнейшем *флейтист* не спросит: он должен знать сам. И вообще, после каждого основного остается некое *остальное*. В этом пункте я не расхожусь с Гамлетом: «Остальное – молчание». Занавес.

Рар подошел к двери, повернул ключ дважды влево и, поклонившись с порога, исчез. Замыслители расходились мол-

ча. Хозяин, задержав мою руку в своей, извинился в том, что досадная непредвиденность испортила вечер, и напомнил о следующей субботе.

Выйдя на улицу, я увидел далеко впереди спину Рара: тотчас же он исчез в одном из переулков. Я быстро шел – от перекрестка к перекрестку, стараясь распутать свои ощущения. Мне казалось, вечер этот черным клином вогнан мне в жизнь. Надо выклинить. Но как?

# III

В следующую субботу, к сумеркам, я снова был в Клубе убийц букв. Когда я вошел, все уже были в сборе. Я отыскал глазами Рара: он сидел на том же месте, что и прошлый раз; лицо его казалось чуть заостренным; глаза глубже ушли в орбиты.

На этот раз ключ и слово принадлежали Тюду. Получив их, Тюд внимательно осмотрел стальную бородку ключа, точно ища в ее расщепе темы, затем, переведя внимание на слова, стал осторожно вынимать их одно за другим, столь же тщательно их осматривая и взвешивая. Вначале медленные, слова пошли все скорей и скорей, почти в обгон друг другу; на острых, шевелящихся скулах рассказчика проступили пятна румянца. Все лица повернулись к рассказчику.

– *Ослиный праздник*. Это заглавие. Представляется мне в виде новеллы, что ли. Тема моя отыскивается этак веков за пять до нашего времени. Место? Ну, хотя бы деревенька где-нибудь на юге Франции: сорок – пятьдесят дворов; в центре старый костел, вокруг виноградники и тучные поля. Напомню: именно в ту эпоху и в тех именно местах возник и закрепился обычай справлять ослиные праздники, так называемые Festa asinorum: это последнее латинское определение принадлежит церкви, с разрешения и благословения которой праздник осла странствовал из города в город и из сел в

села. Возник он так: в вербную субботу, сценируя – для вящей назидательности – события предсмертных дней Христа, вводили под пение антифонов осла, обыкновенного, взятого у кого-нибудь из крестьян осла, который должен был напомнить о том прославленном евангелиями животном, которое, будучи проверено во всех своих признаках рядом цитат из закона и пророков, было избрано для своей провиденциальной роли. Вначале, можно предполагать, деревенский ослик, включенный – странным образом – в мессу, не проявлял ничего, кроме растерянности и желания вернуться назад, в стойло. Но очень скоро праздник осла превратился в своего рода мессу наоборот, оброс тысячами кощунств, исполнился буйства и разгула: окруженный толпой гогочущих поселян, среди гиканья и градом сыплющихся палочных ударов, ошалелый от страха, осел кричал и брыкался. Церковные служки, ухватившись за уши и хвост евангельского осла, втаскивали его на престол. Позади ревела толпа, распевающая циничные песни и кричащая ругательства на протяжные церковные мотивы. Кадильницы, набитые всякой гнилью, истово качаясь из стороны в сторону, наполняли храм дымом и смрадом. Из священных чаш хлестали сидр и вино, дрались, и богохульствовали, и гоготали, когда возвеличенный осел со страху гадил на плиты алтаря. После все это обрывалось. Праздник прокатывался дальше, а отбогохульствовавшие поселяне снова, набожно крестясь, отстаивали долгие мессы, жертвовали последние медяки на благолепие

храма, ставили свечи иконным ликам, покорно несли эпитимии и жизнь. До нового азинария.

Полотно загрунтовано. Дальше.

Франсуаза и Пьер любили друг друга. Просто и крепко. Пьер был дюжим парнем, работавшим на окрестных виноградниках. Франсуаза же была больше похожа на вписанных в золотые нимбы по стенам храма женщин, чем на девушек, живших в избах по соседству с ней. Но вокруг ее нежно очерченной головы не было, разумеется, золотого нимба, так как она была единственной помощницей своей матери и придаток этот мог лишь мешать в работе. Франсуазу любили все, и даже престарелый о. Паулин, встречая ее, всякий раз улыбался и говорил: «Вот душа, возжженная перед Господом». И только один раз не сказал о. Паулин своего «вот душа»: это было, когда Франсуаза и Пьер пришли сказать ему, что хотят пожениться.

Первое оглашение было после воскресной мессы: Франсуаза и Пьер, стоя вместе в притворе, с бьющимися сердцами ждали; старый священник медленно взошел по ступенькам амвона, раскрыл требник, долго искал очки, и только тогда прозвучали стоящим друг подле друга их имена, сказанные – сквозь ладан и солнце – друг вслед другу.

Второе оглашение пало на вечернюю службу в среду. Пьера не было: ему нельзя было отлучиться от работы. Но Франсуаза пришла. Полусумрак храма был пуст – лишь две-три нищенки у входа – и снова дряхлый о. Паулин, скрипя кру-

тыми ступенями амвона, поднялся навстречу сводам, вынул требник, отыскивал в карманах сутаны очки и сочетал имена: Пьер – Франсуаза.

Третье оглашение было назначено на субботу. Но в этот-то день – нежданно и буйно – прихлынул праздник осла. Идя к церкви, Франсуаза еще издали услыхала бесчисленные крики и дикий вой голосов, несшийся ей навстречу. У ступеней паперти она остановилась, колеблясь, как пламя, зажженное на ветру. В раскрытые двери кричал и неистовствовал звериными и человечьими голосами ослиный праздник. Франсуаза повернула было назад, но в это время подоспел Пьер: добрый малый не хотел больше ждать – его рукам, привыкшим к кирке и мотыге, хотелось Франсуазы. Он отыскал о. Паулина, заслонившегося сомкнутыми ставнями от неистовствующего храма, и просил его, сконфуженно, но настойчиво, не откладывать ни на единый час последнего оглашения. Старый священник, молча выслушав, перевел взгляд на стоявшую в стороне Франсуазу, улыбнулся одними глазами и так же, не проронив ни слова, быстро пошел к раскрытым дверям храма: жених и невеста – позади. У порога Франсуаза рванула руку из руки Пьера, но тот не отпустил ее: рев сгрудившихся людей, хохот сотен глоток и почти человеческий страдальческий вопль осла оглушили Франсуазу. Расширенные зрачки ее сквозь дымы зловонных курильниц видели сначала лишь взметенные кверху руки, раскрытые рты и вспученные, набрякшие кровью глаза толпы. Затем, толч-

ками ступеней взносимое кверху, покойное и мудрое лицо священнослужителя. При виде его на миг все смолкло: о. Паулин, стоя над морем голов, раскрыл требник и, не торопясь, надевал очки. Молчание длилось.

– Оглашение третье. Во имя Отца и… – глухое гуденье, как во вскипающем котле, прикрытом крышкой, боролось со слабым, но четким голосом священника, – сочетается браком раба Божия Франсуаза…

– И я.

– И я. И я.

– И я. – И я. – И я, – заревела толпа множеством глоток. Котел сбросил крышку. И содержимое его, клокоча и пучась пузырями глаз, кричало, визжало и гудело:

– И я. – И я.

И даже осел, повернув к невесте вспененную морду, вдруг раскрыл пасть и заревел:

– И-и-и я-а-а!

Франсуазу замертво вынесли на паперть. Испуганный и обескураженный Пьер хлопотал около нее, стараясь вернуть ей сознание.

А затем все пошло своим чередом: любящие повенчались. Тут бы, казалось, и всей истории конец. На самом деле – это только ее начало.

Несколько месяцев кряду молодожены жили душа в душу, тело к телу. Днем их разлучала работа, ночи возвращали их друг другу. Даже сны, которые они рассказывали поутру,

были сходны.

Но вот однажды после полуночи, перед вторыми петухами, Франсуазу – она спала чутче – разбудил внезапный шум. Опершись ладонями в подушку, она стала вслушиваться: шум, вначале глухой и далекий, постепенно рос и близился; сквозь ночь, будто ветром, несло неясный гул голосов, прерываемый резким звериным вскриком; еще минута – и можно было различить отдельные вперебой кричащие голоса, другая – и стала слышима проступь слов: «и я – и я»… Франсуаза, вдруг захолодев, тихо скользнула с кровати, подошла к двери и, босая, в одной рубашке, приникнула ухом к дверной доске: да – это был он – ослиный праздник – Франсуаза знала. Сотни и тысячи женихов, пришедших как тати в ночи, вперебой, моля и требуя, повторяли свое: и я – и я. Мириады буйных ослиных свадьб кружили вкруг дома; сотни рук нетерпеливо стучались в стены; сквозь щели в дверях било одуряющим куревом, и кто-то, подобравшись к самому порогу, страдальчески тихо звал: Франсуаза и я…

Франсуаза не понимала, как может так крепко спать Пьер. Смертельный ужас охватил ее: вдруг проснется и узнает: все. В чем было это мучающее и греховное все, она еще не отдавала себе отчета – тяжелая щеколда поддалась, дверь открылась, и она вышла, почти нагая, навстречу празднеству осла. И тотчас же все вкруг нее смолкло, но не в ней. Она шла босыми ногами по траве, не зная, куда и к кому. Неподалеку застучали копыта, звякнуло стремя, кто-то подал ей

тихий голос: может быть, это был странствующий рыцарь, сбившийся в безлуние с пути, может быть, проезжий купец, выбравший ночь потемнее для провоза контрабанды – ночной жених безымянен, – в темную ночь он берет то, что темнее всех ночей: выкрав душу, как тать, придя, как тать, и изникает. Короче, опять прозвенело стремя, застучали копыта, а утром, провожая мужа на работу, Франсуаза так нежно поглядела ему в глаза и так долго не разжимала рук, охвативших его шею, что Пьер, выйдя за порог, нескоро перестал ухмыляться и, раскачивая мотыгой на плече, насвистывал веселое коленце.

И опять жизнь пошла как будто и по-старому. День – ночь – день. Пока опять не накатило это. Франсуаза клялась не поддаться наваждению. Подолгу стояла она, коленями в холодные плиты перед черными ликами икон; много молитв ее окружило по четкам. Но когда снова, разорвав сон, заплясал вкруг нее, все теснее и теснее смыкая круг, неистовый праздник осла, она, снова теряя волю, встала и шла – не зная, куда и к кому. На черном ночном перекрестке ей повстречался нищий, поднявшийся с земли навстречу белому видению, замаячившему ему сквозь тьму: руки его были шершавы, а от гнилых лохмотьев пахло омерзительно едко; не веря и не понимая, он все же жадно взял – и потом: зазвякали медяки в мешке, застучал костыль и, таясь, как тать, – скользя вдоль стены – ночной жених, испуганный и недоуменный, канул в тьму. А Франсуаза, вернувшись в дом, долго слушала

ровное дыхание мужа и, наклоняясь над ним, стиснув зубы, беззвучно плакала: от омерзения и счастья. Прошли месяцы и, может быть, годы; жена и муж еще крепче любили друг друга. И снова, так же внезапно, как всегда, произошло это. Пьер был в ту ночь в отлучке, в десятке лье от деревушки. Позванная голосами, Франсуаза переступила порог в темноте меж смутных контуров деревьев, у самой земли, большим желтым глазом, полз огонь; и Франсуаза, не отрывая глаз от глаза, пошла навстречу судьбе. Минута – желтый глаз превратился в обыкновенный из стекла и железа фонарь; над ручкой его сухие из-под края сутаны пальцы, а чуть выше в мутном блике огня дряблое в тонких складках лицо о. Паулина: с полуночи его позвали к умирающему, – обещав душе небо, он возвращался назад, в плебанию. Встретив среди ночи Франсуазу, нагую и одну, о. Паулин не удивился. Подняв фонарь, он осветил ей лицо, внимательно вглядываясь в дрожь губ и в задернутые тусклой пленкой глаза. Потом дунул на огонь, и в слепой темноте Франсуза услыхала:

– Вернись в дом. Оденься пристойно и жди.

Старый священник шел не спеша, дробным шаркающим шагом, то и дело останавливаясь и переводя трудное дыхание. Войдя в дом женщины, он увидел ее неподвижно сидящей на скамье у стены: руки женщины были ладонью в ладонь, и только изредка плечи ее под тканью одежды вздрагивали, будто от холода. О. Паулин дал ей отплакаться и тогда лишь сказал:

– Покорись, душа, возжегшему тебя. Писанием и Пророками предречено: только на осле, несмысленной и смердящей скотине, можно достигнуть стогнов Иерусалима. Говорю тебе: только так и через это входят в Царствие Царств.

Молодая женщина с изумлением подняла полные слез глаза.

– Да, настало время и тебе, дитя, узнать то, что дано знать не всем: тайну осла. Цветы цветут так чисто и благоуханно оттого, что корни их унавожены, в грязи и смраде. От малой молитвы к великому молению – только через богохульство. Самому чистому и самому высокому, хоть на миг, должно загрязниться и пасть: потому что иначе как узнать, что чистое чисто и высокое высоко. Если Бог, пусть раз в вечность, принял плоть и закон человеческий, то и человеку ли можно ли гнушаться закона и плоти осла? Только надругавшись и оскорбив любимейшее из любимого, нужнейшее из нужного сердцу, можно стать достойным его, потому что здесь, на земле, нет путей бесскорбия.

Старик поднялся и стал зажигать свой фонарь:

– Наша церковь раскрыла храмы празднеству осла: она хочет, чтобы над нею, невестою Христовой, посмеялись и надругались: потому что ей ведома великая тайна. Но в празднество, в радость, с веселием и смехом входят все, – *дальше* идут лишь избранные. Истинно говорю тебе: нет путей бесскорбия.

Наладив огонь, старик повернулся к порогу. Припав губа-

ми к сухим костяшкам его руки, женщина спросила:

– Значит – молчать?

– Да, дитя. Потому что – как раскрыть тайну осла… ослам?

Улыбнувшись, как тогда, в день третьего оглашения, о. Паулин вышел, плотно прикрыв за собою дверь.

Тюд замолчал и, постукивая сталью ключа о ручку кресла, сидел с лицом, повернутым к порогу.

– Допустим, что так, – оборвал паузу председатель Зез, – кладка замысла в каких-нибудь десяток кирпичей. Мы привыкли обходиться без цемента. Поэтому, поскольку времени у нас еще достаточно, не согласились ли бы вы сложить элементы новеллы в каком-нибудь ином порядке. Ну, скажем, первый кирпич – эпоха пусть лежит, где лежала; в центр действия давайте не женщину, а священника; затем придайте центральному действователю значимости за счет значимостей элемента «ослиный праздник»: его можно оторвать, так сказать, от корешков, взяв одни вершки, – и затем…

– И затем, – подхватил толстый Фэв, насмешливо щурясь на рассказчика, – кончить все не в жизнь, а в смерть.

– Просил бы подновить и заглавие, – подхихикнул из угла Хиц.

Желваки под пятнами румянца, расползавшимися по всему лицу Тюда, задергались и напряглись; он наклонился вперед, точно готовясь к прыжку; вся фигура его – короткая и сухая, подвижная и четкая – напоминала в чем-то краткость,

динамичность и четкость новелл, среди которых он, очевидно, жил. Внезапно встав, Тюд зашагал вдоль черных полок и столь же внезапно, сделав крутой поворот на каблуках, повернулся к кругу из шести:

– Идет. Начинаю. Заглавие: *Мешок голиарда*. Уже оно одно позволяет мне остаться в той же эпохе. Голиарды, или «веселые клирики», как их тогда называли, были – думаю, всем вам это известно – странствующими попами, заблудившимися, так сказать, между церковью и балаганом. Причины появления этой странной помеси шута с капелланом до сих пор не исследованы и не объяснены: вероятнее всего, то были священники из захудалых приходов; поскольку ряса не кормила их или кормила вполовину, приходилось прирабатывать чем ни попало: и главным образом не требующим включения в цех ремеслом балаганного лицедея. Герой моего рассказа, о. Франсуаз (разрешите и с именами поступить так, как и со всем остальным, то есть переместить их), был одним из таких. В высоких сапогах из дубленой кожи, с крепким посохом в руке, он мерил пыльные извивы проселочных дорог, от жилья к жилью, меняя псалмы на песни, галльские прибаутки на ученую латынь, звон анжелюса на звяканье бубенцов дурацкой шапки. В дорожном мешке его, стянутом веревочным узлом за его спиной, лежали рядком, как муж с женой, аккуратно сложенные и прижатые друг к другу гаерский плащ из пестрых лоскутьев, обшитый побрякушками, и черная, протершаяся у швов сутана. Сбоку на ремне болта-

лась фляга с вином, вокруг правой кисти в три обмота чернели бусины четок. О. Франсуаз был человек веселого нрава; в дождь и зной он шел среди колосящихся ли полей, по занесенным ли снегом дорогам, насвистывая простые песенки и изредка наклоняясь к фляге, чтобы поцеловать ее – как он любил это называть – в стеклянные губы; никто не видел, чтобы о. Франсуаз целовался с кем-нибудь другим.

Мой странствующий голиард был человеком весьма небесполезным: нужно отслужить требу – развяжет мешок, застегнется в узкую темную сутану, размотает четки, порывшись на дне мешка, вынет крест и, строго сведя брови, свяжет или разрешит; нужно сладить веселую праздничную забаву – сыграть интермедии или выучить роль диавола, слишком путаную и трудную для любителей из какого-нибудь цеха, – и пестрый – из того же мешка, в бубенцах и блестках, – шутовской плащ привычно обматывается вкруг широких плеч о. Франсуаза: тут уж трудно было сыскать ловкача, который умел бы лучше насмешить до слез и придумать столько прибауток, как умел это делать голиард Франсуаз.

Никто не знал о нем, стар он или молод: бритое лицо его было всегда под бронзой загара, а голая кожа на макушке могла быть и лысиной, и тонзурой. Иной раз девушки, насмеявшись до слез во время интермедии или наплакавшись до улыбки во время мессы, как-то по-особенному пристально глядели на Франсуаза, но голиард был странником: отслужив и отыграв, он складывал рясу и плащ с бубенцами, стя-

гивал узлы мешку и шел дальше; руки его сжимали лишь дорожный посох, губы касались лишь стеклянных губ. Правда, шагая полем, он любил пересвистываться с пролетающими птицами, но птицы ведь тоже странники и, для того чтобы говорить с людьми, им хватило б одного слова: «мимо». Тут же, в полях, среди ветра и птиц, голиард любил иногда побеседовать со своим дорожным мешком: он развязывал ему замундштученный веревкой рот и, вытащив на солнце пестрое и черное, болтал, например, такое:

– Suum cuique, amici mei [1]: помните это, черныш и пеструха. И, в сущности, будь на земле пестрые мессы и черный смех, – вам пришлось бы поменяться местами, друзья. Ну, а пока – ты нюхай ладан, а ты наряжайся в винные пятна.

И, выколотив из черного и пестрого пыль, голиард прятал их снова в мешок и, поднявшись, шел по извивам дорог, пересвистываясь с перепелами.

Однажды к вечеру, пыльный и усталый, о. Франсуаз дошагал до огней деревушки. Это было небольшое селение в сорок – пятьдесят дворов, посредине церковь; вокруг зеленые квадраты виноградников. Уже у околицы встретился человек, разменявшийся с путником расспросами: кто – откуда – зачем – куда. И не успел о. Франсуаз присесть под вывеской «Туз кроет все», как его позвали к умирающему. Наскоро хватив стакан и другой, голиард сунул руки в рукава рясы и, застегивая на пути крючки, поспешил к душе, жду-

---

[1] Каждому свое, друзья мои *(лат.)*.

щей отходных молитв.

Дав душе отпущение, он вернулся назад, к недопитой фляге. За это время весть о пришельце успела побывать во всех сорока дворах, и несколько пожилых крестьян, дожидавшихся его в «Тузе, кроющем все», попросили пришельца завтра – день предстоял ярмарочный – позабавить и здешних и пришлых чем-нибудь повеселей и покруче. Звякнули стаканами о стаканы – и голиард сказал: хорошо.

Уже поздно ночью, разыскивая в деревне ночлег, голиард наткнулся на человека, идущего с фонарем в руках: желтый глаз скользнул по его лицу; сквозь слепящий свет голиард увидел сначала крепкую широкопалую руку, охватившую ручку фонаря, а затем и широкое, сверкнувшее зубами и улыбкой лицо молодого парня.

– Не встречался вам о. Франсуаз? – спросил тот. – Я его ищу.

– Что ж, давай искать вместе. Зеркало при тебе?

– А зачем зеркало?

– Ну как же: без зеркала мне о. Франсуаза никак не увидеть. Как тебя зовут?

– Пьер.

– А твою невесту?

– Паулина. Почем вы знаете, что у меня невеста?

– Хорошо. Завтра перед анжелюсом. Если вам нужно прилепиться друг к другу и стать плотью единой, лучшего клея, чем у меня в мешке, не найти. Спокойной ночи.

И, дунув опешившему парню в фонарь, голиард оставил его, объятого тьмой и изумлением.

С утра о. Франсуаз истово принялся за работу: сначала кропил освященной водой больных младенцев и бормотал очистительные молитвы у ложа родильницы, затем, быстро переодевшись в пестрядь шута, аккуратно уложил свои дорожную и священническую одежды в мешок и, оставив его на попечении трактирного слуги, широкоротого и долговязого парня, пошел на рыночную площадь потешать съехавшихся из соседних деревень крестьян. Песня вслед песне, прибаутка к прибаутке: время шло, а поселяне никак не могли насмеяться досыта и не отпускали забавника. Вдруг на колокольне зазвенел анжелюс; крестьяне сняли шапки, а о. Франсуаз, подобрав звякающий бубенцами плащ, бросился почти бегом назад, к трактиру, спеша переодеться и не упустить свадьбы.

В дверях «Туза» его встретил растерянный слуга: в руках у него голиард увидел свой мешок, но странно отощавший, со слипшимися боками.

– Сударь, – промямлил долговязый, развесив свой глупый рот, – мне тоже хотелось послушать вас; а тем временем мешок-то и выпотрошили. Кто бы мог думать.

Голиард сунул руку в мешок.

– Пуст, пуст! – закричал он в отчаянии. – Пуст, как твоя голова, разиня. Как же мне служить сейчас свадьбу, когда у меня не осталось ничего, кроме моей латыни.

На простецком лице трактирного слуги трудно было найти ответ. Сунув мешок под мышку, о. Франсуаз, звеня бубенцами, как был, бросился к церкви. По дороге он еще раз обыскал пустоту в своем мешке: у дна его пальцы наткнулись на крест, оставленный вором: быстро надев его поверх дурацкого балахона, о. Франсуаз размотал четки на своей руке и, вбежав в церковь, начал:

– In nomine…

– Cum spirito Tuo [2], – подхватил было церковный служка и вдруг, выпучив глаза, в испуге уставился на подымающегося по ступеням алтаря шута. Произошло общее смятение: дружки попятились к дверям, старуха крестьянка уронила горящую свечу, невеста, закрыв лицо, заплакала от обиды и страха; а дюжий жених вместе с двумя-тремя парнями выволокли нечестивца из храма и, избив, бросили его невдалеке от паперти.

Ночная прохлада привела голиарда в чувство. Приподнявшись с земли, о. Франсуаз сначала ощупал свои ссадины и синяки, затем еще раз мешок, брошенный рядом с ним; в нем не было ничего, кроме пустоты, но и ее он тщательно завязал в два узла, привычным движением закинул за плечо и, отыскав в траве свой посох, покинул спящую деревню. Он шел сквозь ночь, звеня медными бубенчиками. К утру он встретил в поле людей, которые, увидав его шутовской наряд, испуганно свернули с дороги, дивясь пестрому призра-

---

[2] – Во имя… – С духом Твоим *(лат.)*.

ку, которому место не на черных бороздах полей, а на скрипучем балаганном помосте. Дойдя до ближайшей деревни, голиард решил обогнуть стороной: идя задами дворов и огородов, он старался ступать возможно тише, чтобы не привлечь звяканьем бубенцов чьих-либо глаз. Но облезлый пес, выскочивший ему навстречу, завидев движущуюся пестрядь, отчаянно залаял; на лай вышли люди, и вскоре за шутом, идущим среди полей, потянулась вереница мальчишек, свистящих и гикающих вслед.

Крестьянин, занятый починкой изгороди, не ответил на приветствие балаганного призрака, а женщины, пересекшие путь с кувшинами воды на плечах, не улыбнулись веселой гримасе, опустив глаза, прошли мимо: сегодня был рабочий, трудный день, – занятым и трезвым людям некогда и ни к чему был смех; они отшутили свои шутки, попрятали праздничные одежды на дно своих сундуков, оделись в будничное рабочее платье и начинали долгую, в шесть одинаких серолицых дней, трудовую череду. Непонятый пришелец был праздником, заблудившимся среди буден, нелепой ошибкой, путающей им их нехитрый календарь: глаза отдергивались от голиарда, он видел либо презрительные улыбки, либо равнодушные спины. И он понял, как одинок и бесприютен смех, серафически чистый, шитый из слепяще-пестрых лоскутов, тонкими нитями в острых иглах. Он мог бы подняться до самого солнца, но не взлетал и выше насестей: душа орла, а крылья одомашненной клохчущей курицы; все улыбки со-

считаны и заперты в праздник, как в клетку. Ну нет. Прочь! Голиард, торопя шаги, уже шел по той тропе – что по земле от земли; но земля, темная и вязкая, липла к подошвам, цеплялась травами и сучьями за края одежды, а ветер, потный и пропахший навозом, звонил – изо всей мочи – в бубенцы и подвески гаснущего в сумерках плаща. Дорогу перегородила река. Голиард снял с плеча мешок, распутал узел и поговорил с ним в последний раз:

– Блаженный Иероним пишет, что и тело наше всего лишь одежда. Если так, отдадим его в стирку.

Мешок развесил холщовую пасть и был похож на разиню-слугу из «Туза, кроющего все». Свесившись с обрывистого берега, веселый клирик попробовал нащупать концом своего посоха дно. Не удалось. Неподалеку, вдавившись в землю, лежал омшелый тяжелый камень. Оторвав камень от земли, Франсуаз сунул его внутрь мешка. Вслед за камнем и голову и крепко замотал вкруг шеи веревки. Срыв берега был в одном шаге. Берусь утверждать, что этот шаг был для о. Франсуаза последним.

Тюд кончил. Он стоял, прижавшись спиною к дверной доске: казалось, что черные створы ее, как планки немецкой механической игрушки, щелкнув пружиной, вдруг разомкнутся и, проглотив короткую, игрушечно-миниатюрную фигурку Тюда, автоматически сомкнутся над ним и его новеллами.

Но председатель не дал молчанию затянуться:

– Все снесло течением. Это бывает.

– Тогда бы я не причалил, согласно заданию: конец разрешен в смерть, – парировал Тюд.

– Фэв и не возражает: конец решен. Но в средине вы спутали кубики: думается мне, не по неуменью. Не так ли? Вашу улыбку разрешите считать ответом. Ввиду этого нам предстоит получить от вас штрафной рассказ. Почетче и покороче. Перерыва, я думаю, не нужно. Мы ждем.

Тюд досадливо передернул плечами. Видно было, что он устал: отделившись от порога, он вернулся в свое кресло у камина и с минуту рылся зрачками в россыпях искр и пляске сизых огоньков.

– Ну что ж. Поскольку о людях импровизировать трудно, потому что они живы – даже выдуманные – и действуют иной раз дальше авторской схемы, а то и вопреки ей, – придется прибегнуть к константным героям: короче – я расскажу вам о двух книгах и одном человеке; всего-навсего одном: с ним-то я управлюсь.

Заглавие мы придумаем к концу вместе, а что касается титулблаттов моих книг-персонажей, то вот они: «*Ноткер Заика*» и «*Четвертое евангелие*». Третий, человечий, персонаж принадлежит не к людям-фабулам, а к людям-темам: люди-фабулы очень хлопотны для сочинителя, – в их жизнях много встреч, действий и случайностей; попадая в рассказ,

они растягивают его в повесть, а то и в роман; люди-темы существуют имманентно, бессюжетные жизни их в стороне от укатанных дорог, они включены в ту или иную идею, малословны и бездеятельны: одним из таких и был мой герой, все бытие которого сплющилось меж двух книг, о которых сейчас расскажу.

Человек этот (имя его безразлично) даже при живых родителях производил впечатление сироты, слыл чудаком. С ранних лет он предался клавиатуре рояля и целые дни проводил над выискиванием новых звукосочетаний и ритмических ходов. Однако слушать его если кому и удавалось, то лишь сквозь стену и запертую дверь. Некий музыкальный издатель был однажды чрезвычайно удивлен, когда на прием к нему явился худощавый юноша и, не подымая на него глаз, вынул из папки нотную тетрадь, озаглавленную: «Комментарий к тишине». Издатель, сунув обкусанные ногти внутрь тетради, полистал, вздохнул, оглядел еще раз заглавную строку и возвратил рукопись.

Вскоре после этого юноша запер свою клавиатуру на ключ и попробовал променять нотные значки на буквы; но он наткнулся и тут на препятствие еще менее преодолимое: ведь он был – повторяю еще раз – человеком-темой, а литература наша вся на фабульных построениях; он, понимаете ли, не умел раздробляться и ветвить идеи, он был, как и надлежит человеку-теме, живым стремлением не из единого в многое, а из многого в единое. Иногда в коробках с перьями нет-нет

да и попадется нерасщепленное перо: оно такое же, как и все, и заострено не хуже других, – но писать оно не может.

Однако мой юноша, кстати, к тому времени уже превратившийся в двадцатипятилетнего молодого человека, с упорством нерасщепленной цельной натуры решил насильно овладеть этим самым *множеством*; то есть, конечно, он называл все это по-иному, но верный инстинкт указал ему на путешествие, этот перерабатывающий многих людей метод опестрения и омножествления нашего относительно однородного, так сказать, сплошного опыта. К тому времени он получил наследство, – и поезда повезли его от станций к станциям по разноязыкому и лоскутному миру. Записные тетради кандидата в писатели разбухали от пометок и схем, а вещи, настоящей, до конца в буквы вогнанной вещи, не отыскивалось. Внутри всех сюжетов, за которыми охотился его карандаш, он чувствовал себя так, как чувствует себя каждый из нас в гостиничном номере, где все чужое и равнодушное: и для тебя, и для других.

И наконец, – это случилось после многих месяцев скитания, – они встретились: человек и тема. Встреча произошла в монастырской библиотеке Сен-Галлена, расположенного меж швейцарских взгорий. Был, кажется, дождливый день, скука привела моего героя к полкам редко посещаемой библиотеки, и здесь, среди взбудораженной книжной пыли, был отыскан Ноткер Заика; хотя Ноткер и не был ничьим вымыслом, но успел отсуществовать ровно тысячу лет тому назад:

кроме имени, сразу же заинтересовавшего нашего собирателя фабул, от него не осталось почти ничего; лишь нескольких полуапокрифических данных, выдержавших испытание тысячелетием: это-то и давало возможность сделать его заново, превратить оттлевшее в расцветшее. И наш незадачливый – до сих пор – писатель деятельно принялся за пересоздание Ноткера. Монастырские книги и рукописи рассказали ему о древней, сейчас полузабытой школе сен-галленских музыкантов. Задолго до нидерландских контрапунктистов иноки уединенного, зажатого меж гор Сен-Галлена проделывали какие-то таинственные опыты полифонии; одним из них был Ноткер Заика: предание рассказывает о нем, как однажды, гуляя по горному срыву, он услыхал визг пилы, стук молота и голоса людей; повернув на звук, музыкант дошел до поворота тропы и увидал артель рабочих, крепивших балки для будущего моста, который должен был быть переброшен через пропасть; не подходя ближе, не замеченный рабочими, он наблюдал и слушал, так утверждает предание, как люди, повиснув над бездной, стучали топорами и весело пели, а затем, – вернувшись в келию, – сел за сочинение хорала «In media vita – mors» [3]. Герой наш стал рыться в пожелтевших нотных тетрадях-библиотеки, стараясь найти квадратные невмы, рассказывающие о смерти, вклиненной в жизнь; но хорала нигде не было: все же, с разрешения настоятеля, он унес с собой в номер гостиницы целую ки-

[3] «Посредством жизни – смерть» *(лат.)*.

пу полуистлевших нотных листов и, запершись, целую ночь, под опущенным модератором, вдавливал в клавиши древние песнопения сен-галленцев. Когда все листы были проиграны, он стал напрягать фантазию, стараясь представить себе звучание того неотысканного хорала. И ночью он ему приснился – величавый и горестный, медленно шествующий миксолидийским ладом. А наутро, когда, вернувшись к клавиатуре, музыкант попробовал повторить приснившийся хорал, обнаружилось неожиданное для него сходство Ноткерова «In media» с его собственным «Комментарием к тишине». Продолжая ворошить рукописные кипы Сен-Галлена, наш исследователь узнал, что старый сочинитель музыки, со странным прозвищем Заика, или Balbulus, всю жизнь трудолюбиво подбирал слова и слоги, подтекстовывая музыку; любопытно было то, что, благоговея пред звукосочетаниями, он относился, по-видимому, с полным пренебрежением к так называемой членораздельной человеческой речи: в одной из доподлинных записей Ноткера Заики стояло: «Иногда я втихомолку размышлял, как закрепить мои сочетания из звуков, чтобы они, *хотя бы ценою слов*, избегли забвения». Очевидно, слова были для него лишь пестрыми флажками, мнемоническими символами, закреплявшими в памяти музыкальные ходы; иногда ему надоедало подбирать слова и слоги, – тогда, задержавшись на одном каком-нибудь le alliluja, он проводил его сквозь десятки интервалов, бессмысля слог ради иных заумных смыслов: эти упражнения

Ноткера в области так называемого атексталиса особенно заинтересовали нашего исследователя; погоня за невмами Великого Заики завела его сначала в библиотеку Британского музея, потом в книгохранилище св. Амвросия в Милане. Тут и произошла вторая встреча, встреча двух книг, которым мало было иметь свою судьбу, как это разрешает им пословица, которым самим захотелось стать судьбой. В неустанных поисках материалов для своей книги о сенгалгленце герой мой завернул как-то в лавку одного из миланских букинистов: ничего любопытного, хлам, но, желая компенсировать время, отнятое у хозяина лавки, битый час суетившегося вокруг него, он указал на первый попавшийся корешок: вот эта. И купленная наугад книжка тотчас же очутилась в одном портфеле с его работой, разрозненные черновые листки которой медленно срастались в книгу. Там, в глухом мешке, они пролежали вместе, как муж с женой, листами в листы, «Ноткер Заика» и «Четвероевангелие» (купленный вслепую текст оказался ветхим, одетым в старинные латинские шрифты рассказом четырех благовествователей). Как-то на досуге, оглядев рассеянно покупку, мой исследователь атексталиса хотел уже отложить ее в сторону, но в это время внимание его остановила чернильная заметка, сделанная почерком семнадцатого столетия на полях книги: S-um.

– Бессмысленный слог, – пробормотал из своего угла Фэв.

– Человек, перелистывавший Евангелие, вначале думал приблизительно так же. Но его заинтересовало тире, отры-

вавшее начальное S от um. Продолжая скользить глазами по полям вульгаты, он заметил еще одну чернильную черту, отделявшую от контекста два стиха: «Се отрок Мой, которого Я избрал»… и так далее и «Не воспрекословит, не возопиет и никто не услышит на улицах голоса его». Как бы смутно что-то предугадывая, читавший стал внимательнее, страница за страницей обыскивая глазами поля: двумя главами далее была еле различимая отметина ногтем: «…Господи, сыне Давидове, дочь моя жестоко беснуется». Но Он не отвечал ей ни слова». Затем шли как будто пустые поля. Но сочинитель «Комментария к тишине» был слишком заинтересован, чтобы отказаться от дальнейших поисков: разглядывая книжные листы на свет, он обнаружил еще несколько полусгладившихся, врезанных чьим-то острым ногтем отметин, – и всякий раз против них стояло: «И когда обвиняли Его первосвященники и старейшины, Он ничего не отвечал. Тогда говорит Ему Пилат: не слышишь, сколько свидетельствует против Тебя. И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился». Или: «Наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания»; иногда черты были лишь различимы в лупу, иногда же резко отчеркивали стих; они то были короче обыкновенного тире и выхватывали лишь три-четыре слова, – например: «Но Он уходил в пустынные места…» или: «И Иисус молчал», – то длиннились вдоль цепи стихов, выделяя целые эпизоды и рассказы, – и всякий раз это был рассказ о вопросах, не

дождавшихся ответа, о безмолвствующем Иисусе. То, о чем старые невмы Сен-Галлена говорили точно заикаясь и вообще *говорили*, здесь было отмечено и врезано – острием мимо слов до конца. Теперь было ясно: на полуслипшихся желтых полях ветхой книги рядом с отсказавшими себя четырьмя, благовествовало не нуждающееся в словах, раскрывающееся и с пустых книжных полей пятое Евангелие: *От молчания*. Теперь было понятно и чернильное S – um: оно было лишь сплющенным Silentium. Можно ли говорить о тишине, тем самым не нарушая ее, можно ли комментировать то, что… ну, одним словом, книга убила книгу – с одного удара, – и я не стану описывать, как горела рукопись моего человека-темы. Допустим, что так же, как и…

Тюд резко повернулся в сторону Рара. Но тот не принял взгляда: затенив ладонью глаза, он сидел, полный неподвижности, казалось, не слушая и не слыша.

– Что же касается до заглавия, – поднялся Тюд, – то я думаю, что сюда подошло бы, пожалуй, слово…

– «Автобиография», – отчеканил Рар, возвращая удар. Тюд по-петушьи вскинул голову, раскрыл было уже рот, но его голос потонул в резком – из хихиканий, одышливых, всхрипов, клекота и подвизгов – смехе. Не смеялись лишь трое: Рар, Тюд и я.

Замыслители один за другим расходились. Одним из первых вышел Рар. Я хотел было ему вслед, но знакомое пожа-

тие, охватив локоть, остановило меня:

– Два-три вопроса, – и, отведя меня в сторону, хозяин суббот стал подробно выспрашивать о моих впечатлениях: я отвечал необдуманно и резко, стараясь скорей освободиться, чтобы успеть догнать Рара. Наконец пальцы и вопросы разжались – и я бросился вдогонку за уходившим. Под огненными свесями фонарей я увидел движущуюся в сотне шагов впереди спину. Нагоняя ее, я впопыхах не заметил палки, тыкавшейся впереди идущего о тротуар:

– Простите, что я вас беспокою…

Человек, которого я принимал за Рара, повернул свое лицо и молча уставился в меня нежданно сверкнувшими кругами стекол.

Растерявшись, я забормотал невесть что и шарахнулся вспять. Вопросу, мучившему меня в течение всей этой недели, приходилось дожидаться ближайшей субботы.

# IV

В следующую субботу очередь по вскрытию замыслов принадлежала Дяжу. Я вошел в комнату пустых полок как раз в момент, когда рассказ должен был начаться. Стараясь спрятаться от круглых очков, вскинувшихся мне навстречу, я отодвинул свое кресло к камину, дергающему за черные тени неподвижно застывших людей, – и тотчас же стал беззвучен и неподвижен, как и все.

Дяж, боднув воздух рыжей щетиной и подперши подбородок набалдашником палки, изредка отстукивая ее концом точки и тире, начал рассказ.

– Эксы: так называли или, вернее, будут когда-нибудь называть те машины, о которых попробую сегодня рассказать. Собственно, в науке они были известны под более сложными и длинными наименованиями: дифференциальные идеомоторы, этические механоустановки, экстериоризаторы и еще не помню как; но масса, сплющив и укоротив имена, называла их просто: эксы. Однако все по порядку.

Можно считать утерянной дату дня, когда идея об эксах впервые впрыгнула в голову человека. Кажется, это было чуть ли еще не в средине двадцатого столетия или и того раньше. У скрещения двух улиц большого, достаточно шумного и сутолочного города, в одно из солнечных и ветро-

вых утр под магазинной витриной стояло, крича вперебой, несколько продавщиц бюстгальтеров. Ветер, вырывая их товар из рук, дергал за тесемки и сферически вздувал кружевной батист. Люди, толкаясь и торопясь, шли мимо, не обращая внимания ни на проделки ветра, ни на назойливые приставания продавщиц. Только один человек, переходивший как раз в это время через грохочущую улицу, вдруг задержал шаг и пристально уставился в реющие в воздухе формы. Продавщицы, заметив взгляд, закричали и закивали ему с тротуара: у меня – не у нее – у меня – не берите у них – мои дешевле! Автомобиль, почти налетев на созерцательного пешехода, круто стал, – и шофер яростно кричал сквозь стекло, грозя расплющить в лепешку. Но человек, вдруг оторвавшись глазами от батиста, подошвами от асфальта, продолжал путь, не превращаясь ни в лепешку, ни в покупателя. И если б некий суматошный юноша, который принял нашего прохожего, очевидно, за кого-то другого, подскочивший и отскочивший, умел бы сквозь глаза видеть и то, что за ними, – он бы понял раз на всю жизнь: все всегда всех принимают *за других*.

Но ни юноша, ни шофер, ни продавщицы, наткнувшись глазами на проходящего чудака, конечно, не видели и не подозревали, что именно в этот миг и именно в эту голову впрыгнула идея об эксах. Ассоциации в голову таинственного прохожего, не оставившего векам ничего, кроме разрозненных черновых безымянных листков, шли так: «ветер –

отрыв и наполнение внешних форм – эфирный ветер – отрыв, объективация, наполнение *внутренних форм* мысли – вибрации, виброграммы внутри черепа; если под удар эфирного ветра – то все «я» наружу, в мир, – и к черту тесемки». Затем лёт ассоциаций попал в скрепы; заработала логика и заворошился десятилетиями копимый опыт: «необходимо социализировать психики; если ударом воздуха можно сорвать шляпу с головы и мчать ее впереди меня, то отчего не сорвать, не выдуть из-под черепа управляемым потоком эфира все эти прячущиеся по головам психические содержания; отчего, черт побери, не вывернуть все наши in в ex».

Человек, застигнутый идеей об эксах, был идеалист, мечтатель; его несколько пестрая и разбросанная эрудиция не могла реализовать идеи, впрячь мечту в хомут. Легенда говорит, что Аноним этот, оставивший людям свои гениальные наброски, умер полуголодным и безвестным и что все его формулы и чертежи, во многом наивные и практически бессильные, долго странствовали из рук в руки, пока не попали наконец к инженеру Тутусу. Для Тутуса мышление отождествлялось с моделированием, упиралось в вещи, как ветер в паруса; еще в юности, заинтересовавшись старым принципом идеомоторности, он тотчас же конкретизировал его в модель идеомотора, то есть машины, подменяющей физиологическое стяжение мускула механическим извне – из машины – привнесенным воздействием на мускул. Старинные опыты с тетанусом у лягушки, еще до знакомства Туту-

са с черновиками Анонима, были им разработаны и довершены путем смелых и четких опытов. Включая, например, слабую мускульную сетку, охватывающую глаз, в цепь своего идеомотора, Тутус заставлял глаз двигаться в ту или другую сторону, останавливая его – при помощи той же машины – на фиксировании любого предмета, вызывал истечение слез, поднятие и опускание века. Однако даже эти довольно примитивные опыты над созданием – как выражался Тутус – «искусственного зрителя» были мало показательны и плохо закрепляли феномен: дело в том, что физиологическая, идущая из нервных центров иннервация продолжала действовать, отклоняя, как бы интерферируя искусственную иннервацию, получаемую из машины. Знакомство с замыслами Анонима сразу же расширило кругозор и размах опытов Тутуса: он понял, что необходимо захватить машиной именно те движения и мускульные сжатия человека, которые имеют ясную *социальную* значимость. Записки Анонима говорили о том, что *действительность*, слагающаяся из действий, «имея слишком много слагаемых, слишком мала как сумма». Лишь отняв иннервацию у разрозненных, враздробь действующих нервных систем и отдав ее единому центральному иннерватору, учил Аноним, можно планово организовать действительность, раз навсегда покончив с кустарничающими «я». Заменив толчки воль толчками одной, так называемой этической машины, достроенной согласно последним достижениям морали и техники, можно добиться того,

чтобы все отдали все, то есть полного ех.

Тутус и ранее, совершенствуя свой идеомотор, о предсказанности которого он ничего не знал, успел включить в круг его действия основные, связанные с центробежной и системой мозга мышцы. Но один несколько неприятный казус надолго остановил и спутал ему работу: казус заключался в следующем. Тутусу довелось познакомиться с неким видным общественным деятелем, человеком большой воли и властности, но страдающим странно осложнившейся болезнью: вначале это была простая гемиплегия, расползшаяся затем по всему телу и атрофировавшая почти всю управляемую волей мускульную систему. Болезнь обезмускуливала этого человека постепенно; элементарнейшее движение руки, каждый шаг, артикуляция слова, стоили – что ни день – все больших и больших усилий, и по мере того, как воля закалялась и, концентрируясь в борьбе за выявление, непрерывно интенсифицировалась, круг действий – что ни день – стягивался: тело обезмускуливалось и расслаблялось, пока дух этого человека не оказался как бы накрепко завязанным внутри мешка из кожи и жира, безвольно обвисшего и почти бездвижного. Ища выхода, несчастный обратился к помощи Тутуса. Тот приступил к пробуждению деятельности. Каждый день клавиатура иннерватора, стягивая и разряжая мускулы больного, заставляла тело шагать от стены к порогу и обратно, двигать руками и артикулировать выстуканные ею слова. Но действенность, приданная пациен-

ту, была чрезвычайно ограничена: волоча за собой извивы проводов, тело политика двигалось, точно на корде, толчкообразно и мертво, вслед стукам машинных клавишей. Правда, пациент мог еще и без помощи машины писать медленные и трудные каракули, определявшие программу очередных сеансов. Однажды, после трех недель попыток прорыва в жизнь, наглухо завязанный мешок из кожи и жира, повозив обвислыми пальцами с вдетым меж них графитом по бумаге, накаракулил: *самоубейте*. Тутус, обдумав программу дня, решил превратить ее в своего рода experimentum crucus [4]: даже в опытах с этим, казалось бы, начисто обезмускуленным объектом работу механического иннерватора все же портили не поддающиеся учету каракули воли, впутывавшиеся в точную партитуру машины. Трудно было предугадать все возможности волевых сопротивлений, и в опыте с самоубийством следовало ждать момента наиболее резкого, критического конфликта между волями машины и человека. Экспериментатор действовал так: удалив из револьверного патрона порох, он ввинтил в пустую гильзу пулю и, войдя в поле зрения своего живого объекта, показал ему патрон, тут же, на глазах, сунул его в гнездо стального барабана, поднял спусковую скобу и вложил орудие смерти в бездвижные торчки пальцев. Затем начала работать машина: пальцы самоубиваемого, дернувшись, схватили револьверную ручку; указательный дал неточный рефлекс, – Тутус подошел и по-

---

[4] Испытание (доказательство) крестом, пыткой *(лат.)*.

правил, вплотную вдвинув заупрямившийся палец во вгиб курка. Еще нажим клавиши, – и рука, подпрыгнув, согнулась в суставе и – добавочным движением – дуло к виску. Тутус, снова подойдя к объекту, внимательно осмотрел его: лицевые мускулы в порядке, без противодействий, правда, глаза дернули ресницами и точки зрачков поползли черными пятнами вширь. «Очень хорошо», – пробормотал Тутус и повернулся, чтоб нажать последний клавиш, но – странно – клавиш не поддавался. Тогда экспериментатор нажал сильней: и тотчас же у виска объекта сухо щелкнуло. Тутус сначала осмотрел машину и несколько раз подымал и опускал вновь свободно задвигавшийся тугой клавиш. Затем повернул выключатели, и вдруг человеческий мешок с непонятным своевольством стал сползать с кресла вниз, взмахнул, как подстреленная влет птица, конечностями, и оземь. Тутус бросился к объекту: тот был мертв.

Черновики Анонима, вернувшие – как я уже сказал – нашего экспериментатора к экспериментам, прежде всего заставили отказаться от старомодной системы проводов, зажимов и скреп, за которые моделирующий ум его, боявшийся прорывов в материк, так долго держался, стремясь закрепить непосредственность связи между передатчиком и приемником поступка. Тутуса впервые при перелистывании выцветших строчек безвестного мечтателя коснулось дуновение того «эфирного ветра», о котором грезил предвосхититель. Я слишком плохо разбираюсь в энергетике, чтобы идти за Ту-

тусом в конструкционных деталях его новых беспроводных идеомоторов. Но и сам изобретатель скоро запутался в, казалось бы, вдоль и поперек известной ему области энергетической техники: дело в том, что физиологическая иннервация сопротивлялась толчкам, вынутым из проводов и рассеянным в эфире еще стойче, – и почти отчаявшийся Тутус после множества повторных опытов наконец понял, что, лишь изолировав – раз и навсегда – мускульную сеть от воздействий нервной системы экспериментируемых, как бы оторвав одну от другой, можно дать полное включение поступков, так называемого *поведения*, в идеомотор. В это-то время до него дошли вести об опытах итальянских бактериологов Нететти. Нететти-старший, еще задолго до работ Тутуса, открыл так называемых *паразитов головного мозга*. И до него наукой было полуустановлено существование миелофагов – форменных элементов, которые, усваивая мякоть периферических нервов, способствовали развитию так называемого неврита. Но можно считать, что Нететти, пользовавшийся всеми средствами микроскопии, и в особенности методами хемотаксиса, впервые натолкнулся на существование чрезвычайно сложной, часто ускользавшей от луча сильнейшего ультрамикроскопа, фауны мозга. Мало того, подражая терпеливым садоводам, как любил он говорить, Нететти искусственно получил всяческие виды и подвиды мозговых бактерий, собранных им в виде обыкновенных желатинных разводков внутри запаянных колбочек его коллекции. Он не мог в сво-

ей стеклянной бактериоразводне делать то, что делал некогда Мендель с пыльцой, во-первых, потому, что сами бактерии были неизмеримо меньше пылинок пыльцы, во-вторых, скрещивание тут было бессильно по бесполости микроорганизмов; но у него было другое преимущество: бактерии, поселявшиеся, например, на так называемых перехватах Ранвье, наиболее утонченных частях нейрофибрилл, в течение суток давали приблизительно столько же поколений, сколько мировая история числила за человечеством на протяжении всей нашей эры; таким образом, обладая более, как выражался Нететти, компактным временем, экспериментатор мог, постепенно меняя термические и химические воздействия, добиться в мире бактерий тех результатов, какие при опытах, скажем, с прирученными животными потребовали бы тысячелетий. Короче, ему удалось вывести особый вид паразитирующих на мозге микроорганизмов, названных им *виброфагами*. Виброфаги, введенные особой инъекционной иглой под мозговые оболочки, тотчас же, стремительно множась, нападали, как гусеницы на ветви плодовых деревьев, на разветвления выводящих нервов, скучиваясь главным образом у места их выхода из-под мозговой коры; виброфаги не были, в точном смысле этого слова, ни паразитами, ни сапрофитами, – пробираясь внутрь неврилеммы, крохотные хищники эти пожирали *не материю, а энергию*, то есть питались вибрациями, энергетическим разрядом нервных клеток: заполняя все выходы нервной энергии, застив мозгу все

его окна в мир, бактерии эти как бы перехватывали мозговые сигналы и разряды, перерабатывая вибрации нервных волн в движенья своих крохотных телец. Открытие это давало возможность Нететти-старшему приступить наконец к опыту, к которому он готовился всю жизнь. Надо вам знать, что человек этот, имевший бычью шею и голос скопца, всю жизнь лелеял мысль дать опытное обоснование давно, казалось бы, схороненной и забытой философической легенде о «врожденных идеях». «Стоит двинуть на новорожденный мозг в обгон первым ощущениям армию моих виброфагов, – думал Нететти, – и они, не повреждая материальной субстанции мозга и его ответвлений, не пустят, *перехватят мир*, втекающий по нервным приводам в мозг; при этом необходимо лишь иммунировать, поскольку возможно, двигательные нервы, особенно аппарат артикуляций, – и тогда душа расскажет нам свои ideae innatae» [5].

Этот жестокий чудак (большинство чудаков жестоки), открывавший незримости, был слеп на очевидное – уверовав в ветхие Декартовы призраки, он стал производить свои рискованные опыты над младенцами прививочного пункта, при котором находилась его лаборатория. Результатом был нелепый и «жуткий», как писалось в тогдашних газетах, процесс. Старого ученого обвиняли и обвинили в смерти десятков детей: начав в лаборатории, он кончил в тюрьме. Работы бактериолога, надолго опороченные и как бы смытые кровью

---

[5] Врожденные идеи *(лат.)*.

жертв, были оставлены и забыты.

И Нететти-младший, захотевший реабилитировать имя, наследованное от отца, поневоле стал экспериментировать как бы *от противного*: отец старался закупорить *входы* в мозг, сын стремился живыми пробками бактерий закрыть все *выходы* из мозга. Нететти-младший, над которым *тяготел поступок*, опозоривший его отца, точно хотел покончить раз навсегда со всеми поступками. Казалось бы, не было человека более чуждого идеям Анонима, учившего об обогащении действительности действиями, и вместе с тем это и был тот человек, какой был нужен для реализации идей Анонима.

Молодой Нететти вскоре добился получения новой разновидности виброфагов: разновидность эта паразитировала только на двигательной системе нервной сети, селясь как бы между волей и мускулом. Но упрямому исследователю этого было мало: изучая химические процессы внутри двигательных нервных волокон, Нететти установил трудноуловимое различие между хемотаксисами отдельных нервных стволов: обнаружился, неожиданно для самого исследователя, совершенно изумительный факт: волокна, заведующие произвольными движениями человека, давали несколько иные химические реакции, чем волокна симпатической системы и вообще иннерваторов, выключенных из сферы волевого усилия. Старик Нететти, любивший старые философские схемы, наверное, стал бы опытно обосновывать давно всеми от-

брошенное учение о свободе воли, – но сын его, чуждый метафизическим реминисценциям, шел дальше, не оглядываясь ни на какие схемы: пользуясь все тем же методом хемотаксиса, он как бы переманил виброфагов на систему так называемой произвольной иннервации и, когда свойства этого нового подвида были закреплены, назвал эту своеобразную микрокультуру именем акциофагов, или, как определял он их впоследствии, «пожирателями фактов». Теперь, не рискуя сгнить в тюрьме, можно было инъецировать культуры «пожирателей фактов» внутрь фибрилл нервной системы. Но память о судьбе отца и, может быть, самое соприкосновение с проблемой ликвидации поступков делали Нететти-младшего чрезвычайно осторожным в области поступков: пройдя обычный путь, ведущий от кроликов и морских свинок к homo sapiens'у, перед sapiens'ом он заколебался.

В одно из предвечерних раздумий бактериологу доложили о приезжем издалека, требующем свидания. «Просите». Перешагнув порог кабинета, посетитель сразу же – три длинных шага – надвинулся на короткотелого итальянца, зажал его пухлую ладонь в своих тонких и цепких фалангах и, наклоняя сверкающие пломбы над вздернувшимся кверху удивленным лицом Нететти, произнес:

– Тутус. Инженер. У вас – мельничные крылья, у меня – ветер – мелево пополам. Согласны?

– Какое мелево? – вскинулся Нететти, пробуя выдернуть-

ся из охвативших руку фаланг.

– Человеческое. Само собой. Я сяду, – и гость вдвинулся длинным костлявым телом в кресло. – Давайте мне ваших бактерий, а я вам – мой эфирный ветер, вдувающий в мускулы сжатия и расжатия, – и мы построим всю человечью действительность заново: сверху донизу – понимаете? Мы рыли туннель с разных концов – и вот встретились: киркой в кирку. Я давно слежу за вашими работами, хотя вы скупы на публикации. Я тоже. Но предугадываю: если соединить ваше *все* с моим все – они опрокинут все. Вот тут схемы (Тутус придвинул принесенный с собою портфель): но ex за in. Ну, покажите-ка мне ваших бацилл.

– Их не так легко увидеть, – попробовал отшутиться застигнутый врасплох Нететти.

– Смысл их видеть еще трудней. Но я вижу, понимаете ли, насквозь и всецело.

– Тут есть риск, – замялся было бактериолог.

– Беру на себя, – ударил Тутус портфелем о стол, – к делу. Вот список мускулов, которые надо эмансипировать от нервной системы. Иннервацию растительных процессов, кое-что из аппарата психических автоматизмов, пожалуй, можно бы им оставить: людям. Остальное под удар эфирного ветра: я закружу все лопасти и мельничные крылья в ту сторону, в какую хочу. О, мои эксы дадут чистый помол!

– Но нужны капиталы…

– От них не будет отбою. Увидите.

Состоялся своего рода конкордат.

И через малое время после его заключения правительства наиболее крупных держав получили – в порядке срочности и тайны – краткий мемориал Нететти – Тутуса, который, упираясь в точнейшие цифры схемы, предлагал реализацию эксов и исчислял необыкновенные выгоды, – как финансовые, так и моральные, – которые должны были явиться следствием сооружения этих установок. До некоторых адресатов проект не дошел, застряв в министерских канцеляриях, в некоторых был отвергнут, но иные правительства – главным образом, те, в которых валюта шаталась, государственный долг рос и где соломинки рассматривались всерьез и казались спасительными, – проект был передан в комиссии, спешно рассмотрен и дебатирован. Тутус сразу получил вызов из двух столичных центров, так что одному из правительств пришлось даже ждать. На ряде тайных заседаний, по выслушании докладов, было принято решение применить идею механической иннервации в деле борьбы с душевными болезнями. Дело в том, что в эпоху, о которой рассказ, количество душевнобольных непомерно возросло. Все усилия науки не могли справиться с этим бедствием, слишком тесно связанным с ростом психических нагрузок и кривизнами быта. Опасность усугублялась тем, что процент заболеваемости шел гигантскими прыжками вверх в области наиболее антисоциальных психозов: изоляция буйных, одержимых клептоманией, эротическими формами, манией убийств и так да-

лее, приобретавших обычно неизлечимый характер, требовала огромных средств и ложилась тяжелым бременем на государственные бюджеты. «Государство должно, – аргументировал проект, – для ухода за оторванными болезнью миллионами рабочих рук, отрывать еще сотни тысяч работников, расходуя при этом с каждым годом растущую сумму на постройку новых изоляторов, содержание персонала и так далее. Но вместо того чтобы изолировать здоровых от больных, не лучше ли *изолировать болезнь от здоровья в организме душевнобольного*: ведь при психическом заболевании поражается лишь нервная система, система же мускульная остается незатронутой. Если ввести в организм выключенного из социальной работы душевнобольного путем инъекции, бактерий, открытых профессором Нететти, то мускульная система, похищаемая вместе с мозгом у общества, возвращается его законному собственнику; стоит лишь соорудить экс – и мускулы всех душевнобольных, переключенные со своих явно негодных и даже опасных для общества нервных центров на единый центральный иннерватор типа «Тутус А-2», будут работать совершенно безвозмездно – на пользу общества и государства, которому постройка относительно дешевого экса не только поможет снять с бюджета финансовый балласт, но и даст сразу огромное количество новой рабочей силы».

И вскоре – длинными стеклянными соломинами – пополз из земли экс. От прозрачных трубчатых складышей его по-

тянулись туго натянутые из стеклистого металла, казалось, растворявшиеся в воздухе тросы и нити, – так что когда в день открытия и пуска первого экса праздничная толпа хлынула к металлическим загородкам, окружавшим гигантский экстериоризатор, она ничего не увидела, кроме огороженной мглистой пустоты (день был туманен). Тотчас пошли россказни об украденных инженерами деньгах, о мнимых предприятиях и дутом бюджете. На трибуну взошел премьер-министр, снял с плеши цилиндр и, тыча рукой в пустоту, заговорил о какой-то светлой эре, надсадно и длинно: выколачивая из себя слова, как пыль из старого и затоптанного ковра, премьер щурился близорукими глазами в огороженную пустоту – и вдруг как-то поперек слов подумал: «А что, если его и в самом деле нет?» Впоследствии экс отомстил премьеру, превратив его – в ходе событий – в экс-премьера.

Толпа, отслушав речь, разочарованная и насмешливая, начала уже расходиться, когда в воздухе нежданно возник звук: это было тихое и тонкое, будто стеклянное, дребезжание, подымавшееся вверх и вверх, как голос непрерывно натягиваемой струны: экс начал свою работу.

На следующий день, уже с самого утра, торопящиеся к началу служб заметили появление на улицах города каких-то не совсем понятных прохожих: прохожие эти, одетые, как и все, шли как-то толчкообразно и вместе с тем метрономически, – точно отстукивая по два шага на секунду, их локти были неподвижно вжаты в тело, голова точно наглухо вколоче-

на меж плеч, и из-подо лбов неподвижные же, словно ввинченные, круглые зрачки. Торопящиеся по своим делам не сразу догадались, что это первая партия сумасшедших, выпущенная из изоляторов, – людей, с отсепарированными по методу Нететти мускулами, включенными в поле действия экса номер один.

Организмы этой первой серии были предварительно обработаны виброфагами; отделенная, совершенно безболезненно, от мозга и настроенная соответствующим образом мускульная сеть каждого из этих новых людей представляла собой естественную антенну, которая, воспринимая эфирную волю гигантского иннерватора, проделывала машинную, единую на всех них, действительность.

К вечеру слух о движимых эфирным ветром людях обежал весь город; люди, сгрудившись у перекрестков, в радостной ажиотации приветствовали криками возвращающихся с работы эксовых людей, но те, ни единым движением не реагируя на происходящее, шли тем же толчкообразным – по два удара на секунду – шагом, с локтями, притиснутыми к телу. Женщины прятали от них своих детей: ведь это же сумасшедшие – а вдруг? Но их успокаивали: чистая работа.

У одного из перекрестков произошла неожиданная сцена: какая-то старуха в одном из проходящих новых людей узнала своего сына, которого еще два года тому свезли, скрутив рукавами смирительной рубашки, в изолятор. С радостным криком мать бросилась к нему, называя его по имени. Но

включенный в экс прошагал мимо, мерно стуча подошвами об асфальт, ни единый мускул не дрогнул на его лице, ни единый звук не разжал его крепко стиснутых губ: эфирный ветер веял, куда хотел. Забившуюся в истерике старуху унесли.

Первая серия экс-людей, как назвал их кто-то в насмешку, умела проделывать лишь чрезвычайно несложные движения, слагавшиеся в процесс ходьбы, подымание и опускание какого-нибудь рычага – и только. Но уже через две-три недели, путем постепенного введения так называемого дифференциального снаряда, человеческое содержимое изолятора для умалишенных стало получать более сложную обработку: жизнь, сорганизованная в них по системе Нететти – Тутуса, расширялась и сложнилась: так, появились чистильщики сапог, с особой эксовой методичностью движущие щетками по поставленному на колодку сапогу: вверх – вниз, вверх – вниз; в одной из фешенебельных гостиниц предметом любопытства, собиравшим толпы к ее подъезду, стал приводимый в движение эксом швейцар, который, стоя с утра до ночи с рукой на ручке выходной двери, то открывал, то закрывал короткими и сильными толчками. Но строителями первого иннерватора не были учтены все случайности. По крайней мере, однажды произошло следующее: знаменитый публицист Тумминс, выйдя из своего номера в гостинице, спускался по лестнице: он шел медленно и, цепляясь глазами за вещи и лица, настойчиво искал нужную ему для очередной книж-

ки журнала тему: случайно зрачки его зацепились за зрачки швейцара, автоматическим движением раскрывшего перед ним выходную дверь: зрачки эти заставили Тумминса попятиться, – он ударился спиной о стену и, не отводя глаз от феномена, раздумчиво прошептал: «Тема».

И вскоре появилась, подписанная именем популярнейшего писателя, статья, озаглавленная: «В защиту in». В статье с внушающей талантливостью описывалась встреча двух пар зрачков: отсюда и оттуда. Тумминс приглашал всех граждан и строителей эксов в первую очередь почаще заглядывать в глаза машинизированных людей, и тогда, писал он, все они поймут, что нельзя покушаться на то, на что покушаются эксы. Нельзя вгонять в человека насильственную, чужую ему жизнь-фабрикат. Человек существо свободное. Даже сумасшедшие имеют право на свое сумасшествие. Опасно передавать функции воли машине: мы не знаем еще, чего эта машинная воля захочет. Пламенная статья заканчивалась лозунгом: in против ex.

В ответ на выступление Тумминса в ближайшем номере официоза появилась передовица, которую молва приписывала Тутусу. В передовице указывалось на несвоевременность истерических выкриков по поводу каких-то зрачков, когда дело идет о спасении всего социального организма; тирады о «свободной воле» передовица объявляла запоздавшими на несколько веков – и даже чуть смешными в эпоху научно обоснованного и проверенного детерминизма; насущно важ-

но, поскольку речь идет об опасных для общества волях душевнобольных, дать им не свободу воли (которую пришлось бы тоже искусственно изготовлять – за неимением таковой в природе), *а свободу от воли*, направленной антисоциально. По этому пути правительство намерено идти неуклонно и неустанно, делая новые и новые человеческие включения в экс.

Но Тумминс не унимался: на аргументы он отвечал аргументами и, не довольствуясь журнальной полемикой, стал организовывать «Общество доброго старого мозга», как он назвал однажды группу единомышленников, которые, собираясь на митинги протеста, вдевали в петлицы металлическое изображение двух полушарий мозга с лозунгом поперек: in contra ex. И когда правительство начало строить рядом с эксом номер один новый мощный экстериоризатор номер два, сторонники «доброго старого мозга» двинулись было толпой к месту стройки, грозя разрушить машины. К месту происшествия были двинуты войска, и в поддержку им, как бы в доказательство способности экса к самозащите, по улицам зашагали, методически отстукивая свои два шага в секунду, отряды иннервируемых машиной вооруженных «экс-людей».

Ждали новых репрессий и в первую голову арестов среди членов тумминсовской организации, но таких не воспоследовало. На тайном заседании министров, по докладу Тутуса, постепенно забиравшего все большую и большую власть,

было принято решение, выполнение которого возлагалось на экс. Внезапно Тумминс куда-то исчез, – ненадолго, дня на три, – после чего ошеломляюще скоро переменил свое contra на pro. Говорили, что Тумминс подкуплен, что он действует под угрозой смерти и так далее: все это было неверно – Тумминс был просто включен в экс. Усовершенствованный дифферениатор, овладев артикуляцией знаменитого оратора, завладев движениями его пера, повернул все его слова, так сказать, оглоблями назад. В душе Тумминс все так же ненавидел и проклинал эксы, но мускулы его, оторванные от психики, проделывали четкую и пламенную агитацию, проводя кампанию по постройке новых этических машин. Сначала почитатели великого идеолога, не веря в измену своего вождя, говорили о подлоге и подмене рукописей, но автографы Тумминса, фотографически воспроизведенные и даже выставленные за стеклом витрины городской ратуши, заставили замолчать самых отъявленных скептиков. Обезглавленная партия постепенно распалась, тем более что перспективы, связанные с постройкой новых машин, многим и многим казались заманчивыми. Так, правительство обещало переложить воинскую повинность с здорового населения на включенных в эксы душевнобольных, заявляя, что с точки зрения социальной этики и гигиены рациональнее жертвовать негодными, чем годными. Для многих здоровых, таким образом, название «этических», приписываемое машинам, казавшееся вначале неестественным и смешным, теперь по-

лучало некое оправдание и приобретало вовсе не смешной смысл.

Городок эксов рос и рос. Казалось бы, время было задать вопрос: зачем их столько; не слишком ли много, если имеют в виду одних сумасшедших. Но увлечение стройкой захватило всех. Казалось, эфирный ветер, перейдя за указанную ему черту, сдул прочь все критицизмы и скептицизмы в мире. Боюсь, как бы он не сдул мне и моих слов…

Дяж, вдруг перестав отстукивать палкой об пол свои тире и точки, как-то застопорился и беспокойно оглядел нас кругами стекол:

– Да, я чуть-чуть не проскочил стрелки: тут тема – как я ее вижу – расходится двумя вариантами. Можно, совершенствуя эксы, превратить их эфирное дуновение в вихрь, против которого окажутся бессильными все естественные физиологические иннервации, и тогда… но тут мне пришлось бы распроститься с побочной темой «пожирателей фактов». Это не годится: раз введен образ, ему должно досуществовать до конца. Структура сюжета, как и структура экса: включение возможно – выключение нет. Поэтому попробую сквозь тему на косом парусе. Итак…

Работы бактериологической лаборатории Нететти не прекращались. Доверив своим помощникам получение возможно более стойкой разновидности виброфагов, сам ученый занялся проблемой, возможен ли – по отношению к пожирателям фактов – иммунитет. Вскоре оба задания были более

или менее выполнены: с одной стороны, была получена разновидность чрезвычайной сопротивляемости, способная переносить засушивание, колебание температур, сохраняющая жизнеспособность, правда, на не слишком продолжительное время и вне мозга, в любой среде, – с другой стороны, самим Нететти было открыто новое химическое соединение, названное им инитом, которое, будучи введено в кровь, проникало в мозг и, оставаясь совершенно для него безвредным, убивало виброфагов; самый организм, после введения в него инита, оказывался навсегда иммунизированным по отношению к виброфагам. Были проделаны испытания инита, после введения вещества в кровь нескольких включенных в эксы буйнопомешанных болезнь снова хлынула к ним из мозга в мускулы: экспериментируемые, бившиеся с пеной у рта на полу лаборатории, тотчас же были уничтожены, а результаты испытаний были признаны удачными. По настоянию Тутуса профессор Нететти занялся изготовлением инита. На очередном тайном собрании Верховного Правительственного Совета Тутус, поблескивая пломбами, докладывал:

– Я считал бы себя сумасшедшим, если б согласился ограничиться применением эфирного ветра к одним лишь сумасшедшим. Невидимый лес эксов растет с каждым днем. Я давно уже отказался от метода искусственной настройки мускульных систем. В сущности, любая мускульная сеть, если ее изолировать от мозга, может быть включена в иннервацию соответствующей частоты. Каждый из построенных эк-

сов рассчитан на волны той или иной частоты и, будучи пущен в дело, включит в себя целую, ну, скажем, серию людей, как бы самовключающихся в данную частоту. Разумеется, при условии изолированности их мускульных приемников от иннервации изнутри, то есть опять того же, черт бы его побрал, «доброго старого мозга», с которым у нас было и, боюсь, будет еще много неприятных хлопот. Резюмирую: наша страна – как это всем известно – поставляет на мировой рынок всяческие консервы, экстракты, сушеные фрукты и прессованные питательные вещества. Новая разновидность виброфага достаточно жизнеспособна, чтобы, пройдя сквозь прессование, сушку и проч., и проч., добраться до организмов наших всесветных потребителей, а там по токам крови в мозг и… Инит мы сохраним, разумеется, только для себя. О преимуществах, которые даст нам все это, о той новой мировой ситуации, которая должна быть отыскана между инитом и эксом, вам, государственным мужам, объяснять излишне.

И вскоре после этого бесчисленные разводки виброфагов, впрессованных в бульонные кубики, засушенных и замороженных внутри всякой снеди, запаянных в миллионы консервных банок, застранствовали навстречу миллионам ртов доверчиво проглотивших себя самих, – если мне поволено будет так выразиться. Первые же граммы инита, изготовляемого чрезвычайно медленно самим Нететти, без допуска каких бы то ни было помощников, не вышли за узкий круг пра-

вителей и их приближенных: дело в том, что эти люди, отдавшие эксам всех умалишенных, обезопасить от возможного включения в машину решили в первую голову наиболее здравомыслящих, то есть самих себя. Разумеется, в дальнейшем, по мере получения новых граммов и скрупул, постановлено было распределять их от центра к периферии среди всех полномочных граждан государства, на деньги которых, собственно, и строились все эксы, но… Но внезапно умер Нететти: его нашли со вспухшей шеей и вспученными белыми глазами среди химических стекляшек его тайной лаборатории. Никаких записей и формул изготовления инита обнаружено не было. Стеклянный пузырек с несколькими граммами инита, который ученый носил при себе, сберегая от посторонних глаз (об этом знали лишь Тутус и члены Тайного Совета), отыскан не был. Даже Тутус был взволнован и растерян. На экстренном собрании Совета он, привыкший лишь отвечать или не отвечать, впервые спросил:

– Что делать?

Тогда поднялся самый молодой из всей коллегии по имени Зес.

– Почему не Зез? – вскинулся председатель и обвел нас всех недоуменной улыбкой.

Замыслители переглянулись.

Но Дяж продолжал отстукивать свои точки.

– Так вот. Встал, говорю я, некий Зес, ничем особенным

себя до сих пор не проявивший. Это был человек умный, но жестокий, – тот, скажем, традиционный злодей, без которого не обходится ни одно фантастическое, принужденное заменять характеры схемами, повествование. Д-да. И ответ был дан: пустить в дело эксы. Все. И немедля.

В коллегии произошло движение. Тутус возражал:

– Но ведь план иммунизации не проведен. Следовательно, в эксы могут включиться и…

– Тем лучше. Чем меньше управляющих, тем больше управляемость. И после: учтен ли собранием факт исчезновения инита? Наши замыслы, вместе с тайной инита, могут попасть – если уже не попали – в чужие руки. Пока мы будем медлить, слухи о наших замыслах переползут через границу, но и ранее того наши сограждане, если в них есть хоть капля здравого смысла, успеют разделаться и с эксами, и с нами: или вы думаете, что они простят нам наш иммунитет?

– Да, – заколебался Тутус, – но пуск эксов все же преждевременен. Ведь бациллы не успели еще добраться до всех мозгов и на всей планете. И затем, я не уверен, что наши предельно мощные эксы, даже будучи пущены все сразу, включат в сферу своего действия – скажу закругляя – более двух третей человечества. Возможны индивидуальные отклонения мускулатур – всех не разберешь по сериям.

– Очень хорошо, – подхватил Зес, – две трети мускулатуры всего мира – это более чем достаточно, чтобы выключить невключенных и из жизни: начисто. Предлагаю конкретное

решение: бациллинированные консервы пустить и на внутренний рынок. По самым дешевым ценам. Второе: какой бы ни было ценой, в ближайшие же дни достроить последний сверхмощный экс. Третье: немедленно после его окончания перейти, так сказать, от науки к политике.

Но события надвигались даже быстрее, чем их расчисливал Зес, соглашавшийся с Тутусом в том, что бациллы скорее мыслей проберутся в мозг. Уже наутро после экстренного заседания рабочие не вышли на стройку экстериоризатора; на улицах было заметно какое-то недоброе оживление: по рукам ходили свежеотпечатанные подпольные листовки; за городом загудел митинг; войсковая часть, посланная для окружения сборища, не выполняла приказа. Зес понял, что на счету даже минуты, он не стал тратить их на созыв Совета, а бросился, вместе с десятком приверженцев, в невидимый городок, где стояли прозрачные мачты иннерваторов: никто не остановил их – весь персонал, обслуживающий машины, находился сейчас на митинге.

Толпа, созванная прокламациями, сгрудилась – голова к голове – в огромной ложбине, начинавшейся тотчас же за городской чертой. Ораторы кричали с деревьев по-птичьи пронзительно: одни о заговоре, будто бы уже полураскрытом, другие – о народных деньгах, невесть на что растраченных, третьи – об измене народу, четвертые – о мщении и расправе. Из шевелящегося муравейника выдергивались кверху кулаки и палки, прокатывались грохоты гимнов и

рев проклятий. Из-за шума никто не слышал тихих, стеклисто-тонких звуков, внезапно всверлившихся в воздух. Внезапно уже начало происходить что-то странное: часть толпы, вдруг отделившись, выклинилась из митинга и двинулась назад в улицы. Ораторы, сидя на своих деревьях, подумали было вначале, что это их *слова* толкают к действию, но они ошибались – это было дело пущенных в ход первых эксов. Толпа примолкла. Теперь были ясно слышны сплетающиеся звоны иннерваторов; вот зазвучал еще один, острый и вибрирующий, и новая процессия, накапливающая людей, как магнит железные опилки, потянулась, безлюдя митинг, под углом в девяносто градусов к первой. Даже некий молодой агитатор, сидевший на дубовом суку, теперь уже ясно видел, что так не идут на месть и разгром: все, включавшиеся в шествие, шагали, как-то странно втиснув локти в тело и автоматически четко отстукивая шаг. Пока юный агитатор, почти плача от обиды и гнева, пытался кричать вслед уводимым, невидимое что-то, вдруг охватив его мускулы, разжало кисти руки и притянуло локти к телу; теряя равновесие, юноша грохнулся с сука оземь, но не успел уже закричать: невидимое что-то притиснуло челюсть к челюсти, пресекло крик и, задвигав вдруг тяжами расшибленных ног, заставило их, сгибая и разгибая им колени, присоединить агитатора к процессии: в душе у юноши бушевала ненависть и бессильное бешенство: «Только бы добраться до дому, взять оружие – и тогда посмотрим», – бунтовал мозг, но мускулы задви-

гали тело в сторону, противоположную дому: «Куда я иду?» – металась изолированная мысль, а тем временем шаги, точно отвечая на вопрос, медленно – по два удара на секунду – подводили собственника мыслей к железной ограде невидимого городка. «Тем лучше, – обрадовался агитатор, – вас-то я и искал», – и он почти со сладострастием представил себе, как будет бить чем ни попало по прозрачным нитям, как подкопает стеклянную мачту и порвет провода от подземных роторов: шаги, как бы поддакивая, подвели его к сплетениям самого большого, еще не вполне законченного сверхсильного экстериоризатора; юноша напряг все силы, – казалось, таинственное что-то помогало ему, – он схватился за стеклянную, полуввинченную трубу, и тут руки, как будто нечаянно соскальзывая с скользкой поверхности, стали медленно, но методически довинчивать мачту: только теперь несчастный понял, что вместе с другими, автоматически распределившимися по площади городка людьми, он работает над достройкой эксов.

Эфирный ветер, начав дуть от невидимого городка, быстро поопрокидывал конституции государств, окружавших страну, приютившую идею Нететти – Тутуса. В несколько порывов эфира было сделано несколько революций: Зес называл их «революциями из машины». Делалось это чрезвычайно просто: дергая людей за мускулы, как за веревочки у движущихся кукол, экс, действующий по определенному радиусу, накапливал их в столичных центрах, окружал кук-

лами государственные учреждения и дворцы, заставляя толпы артикулировать – всех, как один человек, – какой-нибудь несложный в два-три слова лозунг. Людям, избегнувшим включения в иннерватор, оставалось бежать – подалее от эфирных щупалец машины. Но вскоре был закончен и пущен в ход сверхсильный экс, достававший до мускулов и через океаны. Сбившиеся в беспорядочные толпы беглецы пробовали организовывать сопротивление: на их стороне были некоторые преимущества – гибкость и многосложность движений, которых не было у толчкообразно движущихся, шагающих по прямым линиям, не способных к ориентировке новых людей. Тогда началось методическое, по квадратам, истребление невключенных. Идеально ровные шеренги «новых» шли, как косари по зрелой пашне, – от межи до межи, – скашивая все живое прочь с пути. В смертельной тоске люди прятались в чащу лесов, зарывались в землю; иные же, имитируя автоматические движения новых, примыкали к шеренгам их, лишь бы не быть убитыми. Работа по очистке человечьего сора – как выразился однажды наш Зес – корректировалась на местах специальными наблюдателями из числа тех двух-трех сотен иммунизированных, на которых работали эксы. Когда эфирная метла кончила мести – все территории были соединены в одно мировое государство, которому было дано имя, сочетающее название машины и реактива: Эксиния.

После этого диктатор Зес объявил о переходе на мирное

строительство. Прежде всего необходимо было озаботиться о создании человеческого аппарата, который мог бы достаточно точно, с квалифицированной автоматичностью, обслуживать аппараты системы Тутуса. Дело в том, что в период переворота и борьбы у машин приходилось работать все той же горсточке иммунизированных: управление эксами требовало сложной системы движений и учета столь же сложной сигнализации. Последнее создание Тутуса – экс для управления всеми эксами, был наконец воздвигнут и освободил олигархов в значительной степени от нервной и трудной работы по подаче иннервации. Второй реформой была ликвидация в Эксинии народного образования: представлялось совершенно излишним обучать тому или этому людей, если и это и то могли проделать иннерваторы: графа расходного бюджета по просвещению массы была заменена графой расходов на усовершенствование единой центральной нервной системы, сконцентрированной в невидимом городке. Затем «ех» каждого человека, его мускульная потенция была взята на учет, и, сидя у клавиатуры центрального экса, Зес с точностью знал ту сумму мускульной силы, запас труда, который можно было в любой момент бросить на выполнение того или иного задания, распределить и перераспределить как угодно. Вскоре города Эксинии украсились грандиозными, циклопической мощи сооружениями, правда, застройка велась по единому плану, ориентирующему по линиям эфирных волн: прямые, как дорожки кегельбанов, улицы – от жи-

лых корпусов к фабрикам и обратно – легли все и всюду по параллелям к меридианам и линиям долгот. Сами работники, из которых иннерваторы брали все наличие их сил, стали жить в просторных и светлых дворцах, получая изобильную пищу, но радовало ли их это – неизвестно. Психика их, отрезанная от внешнего мира, изолированная в их, разлученных с мускулами, мозгах, не давала ни малейшего знака о своем бытии.

Правительство, неуклонно проводя план полной эксификации жизни, заботилось и о ее продлении. Плановая организация любви потребовала сооружения еще одного, так называемого Случного экса, который, действуя периодически, короткими, но сильными ударами эфира, бросал мужчин на женщин, случал и разлучал с таким расчетом, чтобы наименьшая затрата времени давала наибольшее число зачатий. Кстати – один из иммунизированных, личный секретарь Зеса, молодой человек с этакой прядью волос, как вот у нашего Шога, – ну, чтобы не искать долго имени, – назовем его Шагг.

– У вас довольно бесцеремонная манера изготовления имен, – дернулся в кресле Шог, – и я советовал бы вам…

– К порядку. Право делать замечания принадлежит здесь только мне, – возвысил голос председатель, – продолжайте рассказ.

– Так вот, этот Шагг, еще задолго до всяких эксификаций тщетно вздыхавший о некоей даме, которая, невзирая на приятные качества оного Шагга, ставила его ни во что, – Шагг этот решился на следующий шаг: прибегнуть к помощи экса. Машине было все равно. В указанный юношей час она привела женщину в указанное место, но сама, так сказать, не уходила, то есть нервный и мнительный юноша ощущал ее и внутри любви – он почти с галлюцинаторной ясностью слышал: кружили стальные роторы, смыкались и размыкались выбрирующие токи, тянулся нудный и тонкий высвист. Да, друзья мои, ветер, дергавший – в тот, помните, первый день – за тесемки легких полукружий, умел наполнить их, в сущности, только воздухом – ну, и эксы могли приготовить все, что угодно, кроме эмоций. Одним словом, наутро наш бедный Шог… виноват, Шагг был грустен и неразговорчив, и когда его патрон, благоволивший к юноше, потирая руки, похвастал, что перестройку мира можно считать вчерне законченной, – он наткнулся на молчание и угрюмый блеск глаз.

Наступили месяцы и годы отсчитываемой на счетчиках, точно дозируемой и распределяемой действительности; история, заранее, почти астрономически, вычисленная, превратилась в своего рода естествознание, осуществляемое при помощи двух классов: инитов, которые управляли, и эксонов, которыми правили. Казалось, что Pax Exiniae [6] ничем не может быть нарушен, но тем не менее…

---

[6] Мир эксонов *(лат.)*.

Первые «выпадения из плана», как запротоколировали их на заседании Верховного Совета, имели видимость случайных исключений в мире включенных. Так, например, вместо того чтобы проходить мосты вдоль, некоторые, – очевидно, неточно иннервированные, – эксоны стали переходить их поперек; таким образом, с мускульного запаса пришлось списать изрядное количество выбывших особей; амортизация эксов получала несколько высокий коэффициент. Обнаружились перебои в работе случной машины: виды на человеческий урожай не оправдывались, – рождаемость давала довольно низкий балл. Все бы это ничего, но положение стало тревожным, когда обнаружились какие-то технически не учтенные отклонения и неправильности в работе иннерватора, приводившего в действие «аппарат» Эксинии. Тутус, которого взяли в кольцо вопросов, раздумчиво покачивал головой и в конце концов заявил: «Чтобы выверить машину, есть один способ: остановить ее».

После длительного совещания решено было, в виде опыта, остановить экс номер один, во-первых, потому что он, как наиболее длительно работающий, давал максимум перебоев, во-вторых, потому что в него, как вы помните, были включены душевнобольные – казалось наиболее гуманным принести в жертву именно их.

В назначенный день и час номер один прервал подачу иннервации, и несколько миллионов людей, подобно парусам, лишенным ветра, мгновенно опали, дрябло обвисли книзу и

– кто где был – неподвижно распластались на земле. Иные иниты, проходя мимо списанных со счета эксонов, видели двигавшиеся и в неподвижных тушах глаза, вздрагивающие ресницы и дышащие ноздри (кое-какие мелкие мускулы оставлялись людям, как безвредные для социоса, в их распоряжение); через три-четыре дня мимо обездвиженной человечины нельзя было пройти, не затыкая носа, так как она начала заживо сгнивать; проверка машины не была закончена, поэтому – в интересах социальной гигиены – всю эту дергающую ресницами человечину… пришлось свалить в ямы и сровнять над нею землю.

А между тем долгий и тщательный осмотр номера один, разобранного на мельчайшие составные части, дал совершенно неожиданные результаты.

– Иннерватор в абсолютном порядке – был и есть, – с гордостью заявил Тутус, назначенный главным экспертом. – Обвинение, предъявленное машине, считаю неправильным. Но если причина эксцессов не в эксах, то… ее надо искать в эксонах, в изолированности и безнадзорности их психик. Недавно я наблюдал чрезвычайно элементарный и потому показательный случай: эксон, поставленный у ручки аппарата и иннервируемый на вращение ее справа налево, на самом деле толкал рычаг то вправо, то влево, как если б в мускулах его действовали две направленных друг против друга иннервации. Да, отрезав доступ их мозгам в мир, мы и себе отрезали наблюдение над их психикой. Через порог комнаты,

запертой на ключ, не переступить: ни извнутри – ни извне. Меня, разумеется, совершенно не интересуют все эти душеобразные придатки, претендовавшие в прежние варварские времена на нелепейшие названия вроде «внутреннего мира» и так далее…

– Но это не интересует и вас, Дяж, – ударил по рассказу звонкий голос Шога. Повернув пылающее лицо к прерванному им рассказчику, не обращая внимания на предостерегающий жест председателя, скороговоркой, почти глотая слова, Шог бросил их во фланг рассказу: – Да, вас, как и ваших тутусов и зесов, не интересует единственно интересное во всей этой фантасмагории – проблема обезмускуленной психики, духа, у которого отняли его действенность; вы входите в факты извне, а не извнутри; вы хуже ваших бактерий: они пожирают факты, вы – смыслы фактов. Подайте нам не историю об эксах, а историю об эксонах, и тогда…

– Представьте себе, мой Шагг был того же мнения. На описываемом мною собрании после выступления Тутуса он – несколько неожиданно для патрона – вскочил со своего места и, сверкая глазами, стал говорить о том, что… но от повторения его «что» Шог меня освобождает. Спасибо. Иду дальше. Так вот, надо вам знать, этот самый Шагг, о бытии которого я уже докладывал собранию, отдавал свои досуги сочинительству повестушек. Разумеется, тайно и, разумеется же, «для себя», так как найти «других»… – в век

эксов литература, отрезанная вместе с «внутренними мирами» напрочь и начисто, – найти других, говорю я, она, конечно, не могла. Одна новелла Шагга, называвшаяся, кажется, «Выключенник», рассказывала о некоем якобы гениальном мыслителе, который к моменту переворота, произведенного невидимым городком, досоздавал свою систему, открывавшую новые великие смыслы; внезапно включенный в ряды автоматов, он проделывал вместе с ними какую-то элементарную, в пять-шесть движений, изо дня в день одну и ту же работу и был бессилен бросить человечеству свою всеспасающую мысль: в мире, где действование и мышление, замысел и овеществление разобщены, – он, видите ли, выключенник.

В другом этюде повествовалось о некоей от глубины души до кончиков ногтей прекрасной даме (биография зачастую лезет, куда ее не просят) – даме, которую машина отдает именно тому, кому отдано и ее сердце, но «он», изволите ли видеть, – не знает этого и никогда не сможет узнать. В произведении этом было много зачеркнутых строк и чернильных клякс, так что разбираться в нем подробнее не берусь.

Наконец, «симпатичное дарование» нашего автора остановилось на теме о жизни, попадающей и в бытие и в машину *одновременно*: то есть рассказывалась история ребенка, постепенно вырастающего в отрока, пробуждение сознания в котором застает его уже включенным в экс; для существа этого не существует мира за пределами экса: экс для него

трансцендентален, все же его собственные поступки представляются внешними вещами, как для нас предметы и тела окружающего нас мира; собственное тело видится ребенку отодвинутым от сознания и никак с ним не связанным, – короче, ход машины, обуславливающий все объективно происходящее, представляется ему как бы третьей кантовской формой чувственности, в равных правах с временем и пространством. Притом эксобразное мышление этого существа, не знающего о возможности перехода от воления к поступку, от замысла к осуществлению, естественно приходит к признанию бытия мира замыслов и волений *в самих в себе*, то есть к крайнему спиритуализму. И все же, шаг за шагом, Шагг выводил своего героя за черту сомкнутого круга, заставляя отыскивать и отыскать его некий ех, переступающий за грани эксовой логики: для этого автор пользуется, как это намечалось и в предыдущем его рассказе, случайными совпадениями (пусть чрезвычайно редкими) между желанием, возникающим в душе, и поступком, привносимым извне, из экса; наблюдения над этими случайными моментами гармонии приводят эксона к мечте об ином умопостигаемом мире, в котором исключения эти превращены в правило и… но не буду кончать, потому что и Шагг не кончил: радиограмма от Зеса требовала немедленного его прихода.

Явившись к своему патрону, Шагг застал его в обществе, – хотя слово «общество» тут вряд ли подойдет, – застал его стоящим перед двумя эксонами, вдвинутыми в сиденья кре-

сел.

– Вы хотели вшагнуть в потустороннее, если я вас правильно понял на последнем собрании. Закройте дверь. Так. А теперь я вам распахну души вот этих двух. Садитесь и наблюдайте.

– Но я не понимаю… – пробормотал Шагг.

– Сейчас поймете. Два часа сорок минут тому назад я ввел им в кровь почти по грамму инита. Тут вот в пузырьке хватит еще на два-три таких же опыта. Инит действует к концу третьего часа. Внимание.

– Но, значит, Нететти… его смерть, – и Шагг почувствовал, что глаза его заблудились меж манекенов, Зеса и крохотного пузырька, поставленного на столе.

– Бросьте о пустяках. Смотрите: один начинает шевелиться. Несколько минут тому я приказал их выключить из экса. Значит, вы понимаете…

И действительно, один из манекенов вдруг странно дернулся, выгнул грудь и сжал кулаки. Глаза его оставались закрытыми. Затем меж губ его проступила, пузырясь, пена, он вдруг раскрыл немигающие глаза и мутно уставился в стоящих перед ним людей. Казалось, мозг его, в течение долгих лет разлученный с мускулами, ощупью отыскивал к ним дорогу – и вдруг произошел контакт: рванувшись с места, эксон с звериным ревом бросился на стоявшего в двух шагах от него Зеса. Мгновение – и они покатились по полу, ударяясь о ножки стола и опрокидывая мебель. Шагг бросился к

свившимся в клубок телам и, замахнувшись головкой ключа, зажатого еще в его руке, изо всей силы ударил эксона в висок. Зес, высвободившийся из тисков, поднялся, с трудом ловя воздух разбитыми губами. Первыми его словами было:

– Добейте. И свяжите другого. Немедля.

Когда Шагг стягивал узел на схваченных веревкой руках живого эксона, тот зашевелился, как шевелится человек, просыпающийся после долгого глубокого сна.

– Скрутите ему ноги, – торопил Зес, сплевывая кровь на пол, – с меня достаточно и одной схватки.

Человек, связанный по рукам и ногам, раскрыл наконец глаза. Судороги, стягивавшие его тело, не были похожи на движения буйного помешанного; он не кричал, а только тихо и жалобно, почти по-собачьи, скулил и всхлипывал; из синих пустых глаз его текли слезы. Зес, постепенно приходя в себя, пододвинулся вместе с креслом и с чуть печальной улыбкой оглядывал связанного человека.

– Я знавал их обоих, Шагг, в их прежней доэксовой жизни. Вот этого, еще живого, я почти любил, и почти как вас. Это был прекрасный юноша, философ и немного поэт. Признаюсь: для опыта освобождения я выбирал с пристрастием – я хотел людям, когда-то близким мне, вернуть их прежнюю неомашиненную жизнь, отдать им назад свободу. И вот: сами видите. Но будет с этим. Сделаем выводы: если эти двое, бывшие до включения в иннерватор людьми с абсолютно здоровой психикой и крепкой мыслью, не выдержали отлу-

чения от действительности, то у нас есть основание думать, что и другие психики эксификации не вынесли. Короче, мы окружены безумием, миллионами умалишенных, эпилептиков, маньяков, идиотов и слабоумных. Машины держат их в повиновении, но стоит их освободить, и все они бросятся на нас и растопчут – и нас, и нашу культуру. Тогда – Эксинии конец. Заодно уж скажу вам, мой романический Шагг: приступая к этим опытам, я мнил приблизить иную эпоху, эпоху инита. Я думал, уж не ошибся ли я, выключив Нететти и иных: одних из жизни, других из свободы. Но теперь я вижу… одним словом – это кстати, что пузырек с последними граммами инита во время нашей схватки разбился.

Выйдя на улицу, Шагг автоматически повернул вдоль улицы и шел, сам не думая куда. Это был час, когда серии возвращались с работы; попав в шеренги медленно и методически – два удара в секунду – шагающих людей, наш поэт и не заметил, как вскоре подчинился четкому и точному ритму шеренг, – ему даже нравилась та легкая бездушная пустота, какую привносило в него соприкосновение с мертвыми толчками машин; после происшедшего в кабинете Зеса ему хотелось возможно дольше не думать, выиграть время у мысли, и он нарочно, как бы включаясь в какую-то игру, притиснул локти к телу, как и те, что вокруг, и, уставившись глазами в круглый затылок впереди идущего эксона, подумал: «Надо, как он, все, как он, – так легче». Затылок, мерно качаясь, повернул от перекрестка влево. И Шагг. Затылок по прямо-

му разбегу проспекта двигался к стальному горбу моста. И Шагг. Шли по гулкому взгорбию меж каменных параллелей перил. Вдруг затылок – как шар, заказанный от двух бортов, ткнулся о перила справа, потом – под углом отражения – по прямой на перила слева. И Шагг. Затылок, круглясь и алея, свис с борта и нырнул в лузу – вниз: всплеск. И Шагг: всплеск.

Когда Зесу, принимавшему доклад дежурного по иннерваторам, сообщили о смерти секретаря, он лишь на секунду судорожно свел брови и тотчас же поднял глаза на прервавшего рапорт инита:

– Дальше.

«Дальше» было очень тревожное: случаи неподчинения иннервациям множились с часу на час и начинали принимать массовый характер. Эксонов-аппаратчиков, обслуживавших центральный экс, требовавший чрезвычайно точных сложных мускульных разрядов, пришлось снять с работы и уничтожить: они становились слишком опасными. У клавиатур всех аппаратов, как в период борьбы за Эксинию, снова стали иниты. Пододвинулись трудные и черные дни: отвыкшие от работ, изнеженные олигархи должны были снова почти бессменно встукивать в клавиши грандиозного инструмента искусственное бытие. Но гармонии, прежней точно исчисленной гармонии не получалось: клавиши как бы заскакивали, толчки иннерваторов рассеивались в эфире, не доходя до мускулов, вдруг отказав в повиновении, партиту-

ра факто-сочетаний не вошла в смычки. Прозрачные мачты невидимого городка еще продолжали звучать роем тонкопоющих стеклянных ос, но мудрая гармония их была разорвана на груды бьющих друг о друга эфирных волн, и пресловутый Pax Exiniae оказывался нарушенным и искаженным.

Каждый день на колючих проволоках, густыми рядами которых невидимый городок, собравший сейчас в себя всех инитов, был обмотан, – находили трупы эксонов, стремившихся прорвать стальное кольцо. Большинство наблюдателей – из числа инитов, – работавших на местах, погибли насильственной смертью; остальные бежали в центр. Послать кого-нибудь им на смену не представлялось возможным, – городок сказался изолированным и окруженным: проволокой, безумием, безвестностью.

Трупы самовыключившихся подвергались вскрытию; тщательно исследовались их мозг и система двигающих нервов. Вскоре в мозгу их было обнаружено присутствие неведомого науке вещества: оно вырабатывалось внутри нервных тканей в чрезвычайно ничтожном количестве: очевидно, это была какая-то защитная внутренняя секреция, постепенно накапливавшаяся в организмах самовыключавшихся и как-то связанная с процессом выпадания из экса. Зез пригласил к себе заведующего химической лабораторией, просил точно описать феномен и, выслушав все пункты, вынул ждавшие под пресс-папье тонкие пожелтелые листки и придвинул их к глазам химика. «Почерк Нететти», – забормотал тот сму-

щенно, выпрыгивая глазами из строк.

– Мне говорили – вы химик, а не графолог. К делу. Сходно ли это с формулой новооткрытой секреции?

– Тождественно.

– Спасибо. В таком случае, будем считать, что вами вторично открыто вещество, а мною его имя: инит.

На последнем собрании коллегии, отслушав мнения, Зес резюмировал:

– Итак, in восстало на ex. Исход борьбы инита с виброфагами ясен. Но пока виброфаги не открыли фронта, пока миллионы безумий не прорвались к мускулам, мы еще можем свести игру на ничью. Я предлагаю: остановить эксы. Немедля – сразу и все.

При голосовании – все воздержались. Кроме Зеса: один его голос оказался достаточным, чтобы остановить все голоса невидимого городка. Жужжание эксов, закачавшись в воздухе, стало медленно утишаться, скользя хроматически вверх, и исчезло, будто рой ос, прогнанный дымом. И в тот же миг десятки миллионов людей застлали землю неподвижными или слабо дергающимися телами.

Отряд инитов вышел из своего проволочного заточения. Разделяясь по пути на группы, иниты двигались среди издыхавших тел. На третий день исхода иным из группы пришлось пробираться среди трупного смрада и разложения; другие успели уже дойти до безлюдья, точней, – до беструпья. Впрочем, в лесах и пещерах, где укрылись иниты, не бы-

ло вполне безлюдно; там уже жили – полуодичавшими кланами и ордами – спасшиеся по дебрям и чащам, изгнанные из культуры, свеянные первым эфирным ветром человеческие особи. Они ютились, селясь подалее от опушек, врываясь в землю, в вечном страхе включения в волю невидимых иннерваторов; свою городскую одежду они давно уже заменили звериными шкурами и лыком и пугали своих детенышей, взращенных в лесах, именем злого бога Экса. Малочисленным инитам пришлось частью вымереть, частью слиться с этой человеческой фауной лесов. И колесо истории, описав полный круг, снова заворочало своими тяжкими спицами. Но если б человек, скрытый под именем Анонима, чуть не попавший в тот, – помните, первый рассказанный мною день, – под обыкновеннейшее колесо обыкновеннейшего автомобиля, все-таки попал бы под него и был расплющен, вместе с идеей, – то, как знать, может быть, все завращалось бы в другую сторону. Хотя…

Дяж, стащив стекла за стальные усики – с глаз, наклонился над ними, протирая коричневым футляром. Зрачки его, вдруг затупившиеся, вщуренные в красные разморгавшиеся веки, казалось, перестали видеть тему.

Молчание разомкнулось не сразу. Затем задвигались кресла. Первым к порогу двинулся Рар. Я боялся, что председатель и на этот раз преградит мне дорогу вопросами, но Зез сидел, глядя в потухший камин, казалось, весь включен-

ный в какую-то трудную мысль. Я вышел вслед за Раром, незамеченный и неокликнутый.

В подъезде я нагнал его. Мы вышли вместе на полуночную, почти пустынную улицу.

– Боюсь, что запутаюсь в словах. Вы можете не отвечать, но я не могу не спросить. И именно вас. Вы единственный среди них, о котором я думаю: человек. Можно?

– Я слушаю, – бросил Рар, не поворачивая головы. Мы продолжали идти – локоть к локтю – вдоль безлюдной панели.

– Среди вас, замыслителей, – как вы себя называете, – мне как-то странно и трудно. Я так просто, а вы… ну, одним словом, я не хочу быть эксоном среди инитов. Зачем я вам? Убивайте свои буквы, но у меня их нет: ни замыслов – ни букв. Повторяю – я не хочу быть эксоном!

– У вас верный инстинкт – «эксон», это неплохо. Я не имею права отвечать, но все же отвечу. Вините во всем меня, инита. – И, полуобернув ко мне лицо, Рар оглядел меня – сквозь ласковую полуулыбку.

– Вас?

– Да. Не затей я спора с Зезом об игле и нити, у нашего камина вряд ли бы появилось восьмое кресло.

– Об игле и нити?

– Ну да. За неделю до вашего появления на очередном субботнем собрании я стал доказывать, что мы не замыслители, а попросту чудаки, безвредные лишь вследствие само-

изоляции. Замысел без строки, утверждал я, то же, что игла без нити; колет, но не шьет. Я обвинил и их и себя – в страхе перед материей. Помнится, я так и сказал: материебоязнь. Они напали на меня, и пуще всех Зез. Защищаясь, я заявил: сомневаюсь, чтобы все наши замыслы были *замыслами* – они не проверены солнцем. «И замыслы, и растения растут в темноте, ботаника и поэтика в данном случае обходятся без света», – аргументировал было Тюд, поддерживая Зеза. «В таком случае, если вам угодно бить аналогиями, – ответил я, – бессолнечный сад может взрастить лишь *этиолированную* поросль», – и рассказал им об опытах взращивания цветов без доступа света: получается – это любопытно – всегда чрезвычайно длинное ветвистое растение, но стоит такой этиолированный экземпляр выставить на свет, рядом с обыкновенными, и в смене ночей и дней живущими цветами, и тотчас же обнаруживается ломкость, никлость и вялая окраска взращенного тьмой. Одним словом, спор наш поставил на очередь вопрос: способны ли наши замыслы выдержать испытание светом, действенны ли они и за пределами нашей черной комнаты? Решено было временно включить пару ушей извне, среднего читателя, воспитанного на обуквлениях: достаточно ли *видимой* окажется пустота наших полок? Но тут забеспокоился Фэв. «Темнота, – сказал он, – превращает людей в воров, – это вполне естественно: а что, если этот втируша, которому мы сами набьем голову – по самое темя – замыслами, сумеет их вынуть из нее и обме-

нять на деньги и славу?» – «Пустяки, – успокоил его Зез, – я знаю одного человека, который подойдет для этого дела. Перед ним можно спокойно раскрыть все темы всех суббот. Он не тронет ни одной». – «Но почему?» – «Да просто потому, что он *без – рук*: существо, которое у Фихте названо – «чистый читатель»: к чистым замыслам лучше и не подобрать». Вот. Кажется, все. Простите.

Он сжал мне руку и скрылся за поворотом улицы. С минуту я стоял в ошеломлении и растерянности. Рар ушел, но слова его еще кружили меня, и я не знал, как от них отбиться. Когда я несколько пришел в себя, то понял, какую ошибку я сделал, не досказав и не доспросив о главном: черная узкая улица тянулась предо мной, как нить, выскользнувшая из иглы.

# V

Сначала было я решил не посещать более суббот Клуба убийц Букв. Но к концу недели мысль о Раре заставила меня перерешить. С первого же вечера этот неповторимый в его своеобразии человек показался мне нужным и значимым: самое имя его, как ни притворялось оно бессмысленным слогом, единственное среди всех их имен напоминало о каком-то смысле, но адресный стол не обменял бы мне его на адрес. Мне необходимо было видеть Рара, хотя бы раз, и сказать до конца: ведь он не их, а наш: зачем ему оставаться среди убийц и исказителей; сначала рукопись, а потом и… мне необходима была встреча с Раром. И так так возможна она была лишь там, меж черного каре пустых книжных полок, – то с наступлением субботы я решил – в последний раз, говорил я себе, – присутствовать на заседании клуба.

Когда я вошел в круг собравшихся, Рар, сидевший уже на своем привычном месте, с удивлением поднял на меня глаза. Я попробовал удержать его взгляд, но он тотчас же отвернулся с видом полной выключенности и равнодушия.

После выполнения обычного ритуала слово было предоставлено Фэву. В маленьких, с трудом протискивавшихся сквозь жир глазках Фэва замерцал какой-то хитрый блик. Он повернулся в кресле, затрещавшем под грузом жира и мышц.

– Моя астма, – начал Фэв, с трудом присасывая воздух, – не любит, когда я пускаюсь в длинные повествования. Поэтому попробую лишь набросать вчерне давно уже мной задуманную *Историю о трех ртах*.

Экспозиция ее такая: в кабаке «Трех королей», пропивая последний талер, увеселялись трое. Для имен их мне достаточно трех букв: Инг, Ниг и Гни. Было уже за полночь: время, когда бутылки пустеют, а души наполняются до краев, – и приятели под музыку стаканов развлекались – всякий на свой лад. Инг был мастер поговорить; стучась стеклом в стекло, он провозглашал тосты и спичи, цитировал святых отцов и рассказывал препестрые историйки. Ниг был охотником до поцелуев и знал в них толк (как никто): и сейчас он едва успевал отвечать на вопросы и тосты, потому что губы его были в работе, – и толстая девка, сидевшая у него на коленях, если б ей платили попоцелуйно, в один вечер сделалась бы богатой невестой. Гни не нуждался ни в словах, ни в поцелуях: вздувшиеся щеки его были перепачканы жиром, а рот присосался к огромной бараньей кости, с которой он терпеливо и трудолюбиво обдирал зубами мясо.

Вдруг девка, меж двух поцелуев Нига, сказала:

– Почему у людей не по три рта?

– Чтобы целоваться сразу с тремя? – захохотал Ниг, снова придвинувшись губами к губам.

– Погоди, – остановил его Инг, почуяв новую тему, достойную правильной риторической разработки, – не лезь с

поцелуями меж слов.

– Я и говорю, – повернулась Нигова подруга к Ингу, – если б каждому из вас да по три рта, чтоб сразу и говорить, и есть, и целоваться, тогда бы…

– Вздор, – оборвал Инг и учительно поднял палец, – силлогизмов из-под юбки не вынуть. Умолкни. Спросим лучше святое предание и формальную логику: трижды блаженный Августин научает, что человек, в отличие от несмысленного зверя, есть существо *избирающее*. Не на этом ли и зиждется liberum arbitrium [7], способность из многого выбрать наилучшее. Аристотель же учит нас различать первоцель, энтелехию, от случайных или подчиненных соцелей; а Фома из Аквинь дополняет их, отделяя субстанциальный смысл от акцидентального, исходящее от привходящего. Рот, os, как сказал бы он, причастен и пище, и целованью, и слову; но в чем его главное свойство? Как ты думаешь, любезный друг Гни? Вынь кость изо рта и ответь.

Кость чуть посторонилась, чтобы дать протиснуться словам.

– Мне кажется, – проговорил Гни, – что за аргументами незачем шарить по книгам. Они вот тут, – на моей тарелке: ясно, рот – чтобы есть. А остальное все так – припутано.

– Мой добрый друг, – закачал головой Инг, – не следует искать доводов среди объедков. Почему же припутано?

– Потому, – отвечал Гни, предварительно влив в себя доб-

---

[7] Свободное суждение *(лат.)*.

рую пинту вина, – что если б мы с тобой не пили и не ели, то смерть давно развела бы нас – меня в рай, тебя в ад – и согласись, на таком расстоянии тебе трудно было бы спрашивать, да мне незачем отвечать.

– Мне жаль ангелов, – вмешался в спор Ниг, дернув ус над пухлой и алой губой, – если им когда-нибудь придется тащить в горние выси вот этакую тушу. Пойми, простец, что не будь на земле поцелуев, не было бы и рождений. А если б никто не родился, то некому было бы и умирать. Понял?

Но Инг, не скрывая улыбки сострадания, перебил обоих:

– И ты, Ниг, прав только в том, что называешь неправым Гни. Чем губы какой-нибудь шлюхи лучше тарелки, полной объедков? Будем рассуждать строго логически: поскольку при поцелуе рту нужен другой рот, то этим самым вводится категория *другого*, ιο ετερον, как выражался Платон. Это отодвигает вопрос, вместо того чтобы его решить. Теперь по порядку: не будь вкушения пищи, не было бы жизни – так; но не будь поцелуев, не было бы рождения живых, – и это так; но – слушайте со вниманием – не скажи Господь слов «да будет» – не родилось бы само рождение, не возникло бы ни жизни, ни смерти и мир пребывал бы дьявол его знает где. Я утверждаю (оратор даже стукнул кулаком о стол), что истинное назначение рта не в шлепанье губами о губы, не в пожирании яств и питий, а в проглаголаньи слов, дарованных свыше.

– А если так, – не унимался Гни, – то почему же в Писа-

нии сказано, что не входящим в уста, но исходящим из уст сквернится человек? Что ты мне на это ответишь?

Отвечать стали сразу и Инг и Ниг, вперебой друг другу, и спор затянулся бы до света, не приди сон, залепивший спорщикам глаза снами, рты – храпом.

В сновидении Ингу явилось чудовищное трехротое существо, – беспрерывно шевелившее шестью губами: Инг пробовал существу доказывать, что оно не существует, но отвратительный трехротыш, говоря сразу всеми своими ртами, не давал себя переспорить. Инг проснулся в холодном поту. За окном алела тонкая прорезь зари. Он стал будить своих товарищей. Ниг, едва продрав глаза, спросил, где Игнота; Гни, подумав, что это название кушания, угрюмо пробормотал: «Съели». Ниг захохотал и, объяснив, что это имя его вчерашней подруги, добавил:

– Вернее, она нас съела. Ловко было спрошено. Нет, куда она исчезла?..

– Как призрак, – докончил Инг, – если верить сну, то твоя Игнота слишком много знает: может быть, это и не девка, а суккубус – наваждение, тень.

– Черт возьми, – ухмыльнулся Ниг, – эта тень отдавила мне колени. Расскажи сон.

И из сна спор вернулся, будто и он отоспался и отдохнул, назад в явь. Три рта кричали вперебой о главном назначении рта:

– Чтобы есть.

– Врешь – чтоб целовать.

– Оба врете. Чтобы говорить. И тут я, знаете, бросаю весла и доверяюсь течению: ведь зачем мне измышлять, посудите сами, зачем трудолюбиво скрипеть уключинами, раз я догреб до того мощного течения, которое само понесет мой сюжет, вместе с сюжетами о «кривде и правде», о странствующих браминах «Панчатантры» и прочих прочестях: то есть я хочу сказать, что Инг, Ниг и Гни, не доспорившись ни до чего, отправляются во славу канонов сюжетосложения бродить по свету, прося у всех встречных разрешить их спор. Нелогичность этих странствующих споров, житейская неоправданность их не должна смущать того, кто знает, что жизнесложение и сюжетосложение лишь скрещиваются, но не совпадают. Сюжетика бросает эти споры, как растение бросает споры: в пространство, где они прорастают. Итак – плыву…

– Да, вы плывете, – Зез гневно ударил каминными щипцами по головешкам – искры прянули навстречу удару, – плывете, но не на книжном ли шкапу, набитом осыпью букв? Должен вам сказать, друзья мои, что за последнее время от всех ваших замыслов разит типографской краской: один берет набитые буквами книги в «персонажи» своих новелл, другой, изволите ли видеть, «бросает весла» (кстати, труднее и придумать более обстуканную о все типографские станки метафору), чуть его втянуло в чернильный поток сюжетокро-

пательства, – этак мы скоро…

Жилы Фэва налились кровью:

– Вы слишком трусите книжного переплета: меня ему не захлопнуть, потому что я… не мышь. Я не побывал, как иные, в знаменитых писателях, и алфавит для меня не приманка, – а вот…

Но тут Зез, сделав знак молчания, круто повернулся ко мне:

– Наш спор я предлагаю на суд нашего гостя: со стороны ему виднее и легче быть справедливым.

Все глаза были на мне. И я ответил:

– Этим вы превратите ваш спор в «странствующий спор», против допустимости которого только что сами возражали.

– Отказанный гамбит, ловко сыграно. С дороги, Зез, посторонись и дай пройти моим трем героям, туда, куда им давно уже пора. Ведь заря ширится. Того и гляди, проснется хозяин и потребует за ночевку и битую посуду. А во всех карманах ни медяшки. Инг, Ниг и Гни вышли на цыпочках из «Трех королей». Городок еще спал, зажмурив ставни, а навстречу уж, с мешком и колокольцем на конце палки, двигался сборщик-монах. Он протянул свою звякающую суму, но вместо милостыни получил вопрос:

– Для чего тебе дан Богом рот: для пищи, поцелуев или речи?

Монах перестал встряхивать мешком, колокольчик за-

молчал, молчал и он. Ниг заглянул под капюшон.

– Это камедул, – присвистнул он, – мы сразу же наткнулись на обет молчания. Твое дело плохо, Инг. Ведь это почти ответ: святость обходится без слов.

– Да, но она налагает на себя и посты. Кроме того, думается мне, целовать шлюх – это тоже мало помогает спасению души. Выходит, что рот вообще ненужная дыра на лице, которую надо поскорей заштопать и жить в ус себе не дуя. Нет, тут что-то не так. Идем дальше.

Вновь зазвякавший колокольчик и трое спорщиков разминулись. У городских ворот Ингу, Нигу и Гни повстречалась глухая старуха; как ни кричали ей – сначала в один, потом в два, наконец, в три голоса вопрос о рте, она все твердила свое:

– С черным пятном на лбу. Корова. Не видали ли? Черное пятно на лбу. Корова.

– У всякого своя забота, – вздохнул Инг.

В это время, ржаво скрипя, распахнулись створы городских ворот. Мои трое начали странствование.

Пройдя пару лье, они встретили грохочущую телегу, на которой, свеся ноги, с краюхой хлеба меж губ, раскачивался длинный детина. Инг крикнул было ему вопрос, но из-за грохота колес детина вряд ли расслышал, а если и расслышал, то рот его был слишком забит, чтобы решать проблему о рте. Шагали дальше.

К полудню меж качаемых ветром колосьев увидели стран-

ника: на плече у него был мешок, в руке посох, он шел с веселым – сквозь пыль и загар – лицом, пересвистываясь с перепелами: может быть, это был один из странствующих клириков (лицо его было тщательно выбрито), возможно, даже, – ваш о. Франсуаз, –

– обернулся вдруг рассказчик к Тюду и приветственно поднял правую руку кверху. Тюд, улыбнувшись, сделал ответный жест: две темы, как корабли, чьи рейсы пересеклись, отсалютовали друг другу – и Фэв продолжал.

– Отчего у человека один рот, а не три? – спросил, поклонившись клирику, Ниг.

Спрошенный остановился и оглядел странников. Сначала он ополоснул горло из винной фляги, болтавшейся у него на ремне, затем подмигнул и сказал:

– А вы уверены, дети мои, да пребудет благодать Божья с нами, что у вас так-таки по одному рту? Когда я уйду, спустите штаны и проверьте: не два ли. А если доберетесь до ближайшего веселого дома, – любая девка докажет вам, что три. Добрый путь.

И, зашагав своими длинными, затянутыми в дорожную юфть, ногами, о. Франсуаз быстро скрылся из виду и из рассказа.

– А ведь поп хотел нас одурачить, – зачесал в затылке Гни.

– И чисто сделал дело, – сплюнул с досадой Ниг.

– Дурачить, – ответил Инг, – это забавляет только дураков. Людские умы стали грубы и плоски – как вот это поле: гоготать легче, чем мыслить. Где логизмы великого Отагирита, где дефиниции Аверроэса и иерархия идей Иоганнуса из Эригены? Люди разучились обхождению с идеями: вместо того чтобы смотреть идее в глаза, они норовят заглянуть ей под хвост.

И трое молча продолжали путь.

Навстречу изредка попадались крестьяне, возвращающиеся с работ, купцы, дремлющие под звон бубенчиков на своих мулах. После встречи с голиардом решено было соблюдать осторожность и не обращаться с вопросом к каждому встречному и поперечному. После дня ходьбы вдали, над пригнувшимися к земле маслинами, показались зубчатые стены города. Пыль и жар опадали. Цикады в траве пели громче, а солнце из неба светило тише. Почти у самых ворот города, на зеленой лужайке, примыкавшей к дороге, странники увидели женщину, сидевшую на траве, среди шуршания цикад, со спеленутым ребенком на руках. Женщина не сразу ответила на приветствия путников, так как была занята своим: расстегнув грудь, она приблизила розовый сосок к рту младенца, тотчас же жадно задвигавшего губами, и, наклонившись, с улыбкой всматривалась во вздувшееся личико сосуна.

– Клянусь гусем, – рявкнул Гни, – спеленайте меня, потому что мне захотелось молока.

Ниг только облизал губы. А Инг, покачав головой, сказал:

– Если не вся истина, то две трети ее открыто младенцем: поглядите на этот крохотный беззубый ртишко, – ему дано то, что не дано нам – умение сразу и есть, и целовать. Этот несмышленыш заставляет меня, о друзья мои, возвратиться мыслью от этих скудных и пыльных слов к пышным кущам райского сада, где все было дано человеку не частями и не враздробь, а целостно и полно. Но райские рощи отцвели, и трем смыслам, увы, стало тесно в одном рте. Скажите, милая, чей это ребенок?

– Я служу супруге здешнего судьи. Имя моей госпожи Фелиция, – отвечала кормилица.

Поднявшись с земли, она поклонилась чужестранцам и пошла назад к городу. Ниг послал ей вслед воздушный поцелуй. Друзья решили, перед тем как войти в город, передохнуть здесь же на лужайке. Сели. Гни жевал в зубах пахучую травку. Ниг сдувал одуванчикам их серые шапочки. Инг, охватив руками худые колени, раз за разом вздыхал, бормоча что-то под нос.

– О чем ты там? – спросил наконец Гни, которого начинал уже мучить голод.

– Ах, – отвечал Инг, вздохнув еще раз, – я вспоминаю о словах, которые я ей говорил.

– Кормилице? – зевнул Ниг.

– Нет, ее госпоже. Счастливые люди, нашедшие причал. Может быть, и я не шлялся бы с вами от костра к костру, а

грелся бы у своего очага, в карманах у меня катались бы талеры, а вокруг ползали бы вот этакие крохотные пискуны… Да-да, не смейтесь, а послушайте-ка лучше историю, которую сейчас расскажу.

Мы оба были тогда юны – и я, и Фелиция. Она была дочерью разбогатевших купцов, живших неподалеку отсюда в одном из приморских городов. У родителей было много мешков с золотом, у дочери – много поклонников. По праздникам, разрядившись в богатое платье, они садились вкруг прекрасной Фелиции и молча пялили на нее глаза, неподвижные и глупые, как мешки, набитые трухой. Все эти парни умели лишь разевать рот, а я знал и иное его употребление. Я рассказывал юной девушке о странах, в которых не бывал, о книгах, в которые и не заглядывал, о звездах и о светляках, о рае и аде, о прошлом народов и о будущем нас двоих: меня и Фелиции. Девушка любила слушать меня, наставив прозрачное розовое ушко и полураскрыв свои алые губки: однажды, вся закрасневшись, она посоветовала мне поговорить с ее родителями. С этими, конечно, было труднее. Когда я попробовал, подкрепляя слова цитатами из Горация и Катулла, объяснить скряге-богатею вечные права страсти, – тот присвистнул и показал мне спину.

Тогда, посоветовавшись с Фелицией, я решил пробраться к счастью в обход. У Фелиции была старая нянька: долгими уговорами удалось добиться ее участия в нашем плане. Решено было так: в назначенную ночь Фелиция вместе с нянь-

кой придут ко мне. Нянька останется за порогом стеречь нас, а Фелиция… ну, одним словом, к утру мы поставим старых дураков перед свершившимся, после чего священнику придется наспех связать нас и на небесах, а скрягам, проспавшим дочь, развязать мешки с золотом. В условленный вечер я услыхал стук в дверь, – и через минуту мы остались с Фелицией в полутьме, за закрытой дверью, одни.

– Ну-ну, – заторопил Ниг, пододвинувшись на локте к рассказчику.

– Ну, и я начал шептать ей о величии и значении этой ночи, о том, что мы наконец одни, что даже звезды за окном потупили очи и что только Бог…

– Дурак, – сказал Ниг и отполз на локте на старое место.

– Я говорил ей о прославленных любовниках древности – о Леандре и Геро, о Пираме и Фисбе, о Феоне и Сафо. Впрочем, спохватился я, почувствовав прикосновение ее руки к моим губам, если примеры язычников ей кажутся неубедительными или опасными для души, то можно обратиться и к свидетельствам Ветхого Завета, – и я начал припоминать, книга за книгой, о Руфи и Воозе, о… Помню, как раз на Воозе меня прервал шум за дверью. Приоткрыв ее, я увидел: старуха нянька, сидевшая с ухом, прижатым к замочной скважине, успела задремать и слегка похрапывала. Я разбудил ее и, вернувшись к Фелиции, продолжал оборванный рассказ.

– Дурак, – простонал Ниг и, заткнув уши пальцами, лег

ртом в землю, а Гни, дожевав свою травку, спросил:

– И вы не проголодались?

– Нет, во мне теснилось столько красноречивейших любовных строф, изысканных метафор и гипербол, что я не замечал, как текло время. Уж небо за окном стало чуть сереть, когда я перешел к завлекательнейшему «Ars amanti» [8] Назона, пробуя передать изящнейшие утонченности Овидиевой эротики, этого удивительнейшего искусства ловить мгновения, искусства выкрадывать счастье, борьбу за поцелуй, объятие, за… Она сидела, ставшая видимой мне в сумерках рассвета, сурово сжав губы и почти отвернувшись от меня. Я спросил, что с ней? Не отвечая, Фелиция подошла к двери и громко постучала.

– Идем, – сказала она няньке, и голос ее дрожал от непонятного мне гнева, – идем, может, удастся вернуться незамеченными. Скорей.

– Постойте, – закричал я, теряя всякое понимание, – а как вы докажете, что были у меня?

Но Фелиция не замечала меня, как если б мои слова потеряли всякий звук и смысл.

– Скорей, – воскликнула она, – и если мне удастся вернуться к ложу не узнанной никем, даю обет: избрать в мужья самого молчаливого из всех, кто меня захочет.

И они скрылись в мгле предутрья, не оглядываясь на мои крики. После этого мы не встречались.

---

[8] «Искусство любви» *(лат.)*.

– Ну вот видишь, – зазлорадствовал Ниг, – пойми ты подлинное назначение рта, и история твоя не кончилась бы так печально.

– Она еще не кончилась, – возразил Инг, подымаясь с земли, – конец ее ждет меня вот за этими воротами.

И трое вошли в город.

Ночь пришлось провести без крова. Гостиница была заполнена паломниками из соседних городов, пришедшими поклониться чудотворной иконе, которой был прославлен городок. Притом карманы друзей были пусты, и ночью их мучили голодные сны.

Наутро мимо них потянулась цепь паломников: Инг попробовал было преградить им дорогу вопросом о ртах, но те шли, погруженные в молитвы и с пальцами, впутанными в четки. Тогда трое примкнули к процессии и вскоре очутились перед сверкающей золотом риз и блеском драгоценных камней иконой: Ниг поцеловал ризы, Гни, наклонившись к лику, ловко выкусил самый крупный камень из оправы, а Инг, взглянув на него искоса, громко сказал, ударяя себя в грудь; «Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa» [9]. Через два-три часа в карманах у Инга, Нига и Гни – чудесным образом – зазвенели золотые монеты.

Начать пить легко – кончить трудно. Скоро вокруг трех пришельцев захлопали пробки и забулькало вино. Сначала пили сами, потом угощали, затем принимали угощение,

---

[9] Моя вина, моя вина, моя тягчайшая вина *(лат.)*.

опять угощали и так до звезд и ночной колотушки сторожа. Когда под лавками стало людней, чем на лавках, Гни пополз на четвереньках, пробуя в раскрытые, как воронки, рты храпящих вливать вино, Ниг лез целоваться с печной заслонкой и замочной скважиной, а Инг, хитро подмигивая и похохатывая, рассказал о чудесном превращении камня в золото. Рассказ имел успех, его стали повторять и за порогом кабака. А наутро Инг, Ниг и Гни, проснувшись, не могли даже протереть глаз, так как руки их были закованы в колодки.

Судья, к которому привели их по делу о краже драгоценного камня, был самым молчаливым человеком в округе: он оглядел их, порылся носом в бумагах и снова молча уткнулся в них глазами. Тогда Инг, не слыша вопросов, переглянулся с товарищами и спросил сам:

– Достопочтеннейший господин судья, как ни тревожат нас обстоятельства, приведшие к вам на суд, но еще более тревожит нас троих вопрос: для чего создан рот? Один из нас утверждает: для поцелуев. Другой: для еды. А я говорю: для произнесения слов. Мы пришли сюда издалека в поисках ответа. Наша свобода и жизнь в ваших руках, но прежде, чем умереть, мы бы хотели знать: для чего даны людям рты?

Судья пошевелил губами, почесал пером нос и снова врылся в бумаги. А через минуту зазвучала труба гарольда и секретарь суда, поднявшись торжественно с места, прочел приговор:

«Признав виновными, освободить из-под стражи, отдав

под надзор всех, кто видит и слышит. Осужденному, именем Инг, воспрещается говорить; осужденному, именем Ниг, воспрещается целовать; осужденному, именем Гни, воспрещается есть. Всякий, заметивший нарушение вышеназванных запретов, обязуется немедленно донести о таковом, после чего нарушитель запрета должен быть немедленно схвачен и предан смерти. Решение действительно с момента оглашения. Обжалованию не подлежит».

С несчастных сняли оковы и выпустили их на свободу. Сотни злорадных улыбок тотчас же окружили их со всех сторон. Они шли рядком, точно с замазанными ртами, не отвечая на насмешки и ругань горожан.

– Что ты скажешь на это? – спросил наконец Ниг, повернувшись к непривычно молчаливому Ингу, и тотчас же осекся.

Инг пугливо огляделся по сторонам, губы его было дрогнули, но он сжал их крепче и покорно понурил голову. Завернули в таверну. По знаку Гни им подали блюдо с дымящимся мясом: Инг и Ниг взялись за ложки и тотчас же их опустили: бедный Гни сидел, отвернувшись, у края лавки, жадно глотая слюну. На минуту он поднял свои глаза – в них блестели слезы.

Началась жизнь, мало похожая на жизнь. В городе было достаточно миловидных и сострадательных девушек, которые со вздохом и сочувствием поглядывали на статного Нига: губы его потрескались – от любовной жажды, щеки вва-

лились и глаза стали мутны; он ходил, стараясь не глядеть на пунцовые бутоны девичьих уст, бормоча проклятия и жалобы. Но болтуну – Ингу – нельзя было даже пожаловаться: язык ему щекотало множеством невысказанных слов, которые приходилось проглатывать вместе со скудной пищей, которую делил он с Нигом. Они совестились есть в присутствии изголодавшегося Гни. Прежде чем разломать пополам сухарь, Ниг и Инг отходили куда-нибудь за дверь или за угол, чтобы не видел Гни. Тому, что ни день, становилось все хуже: от слабости и истощения он уже не мог ходить и двое друзей водили его за собой, держа под локти и помогая переставлять ноги. Вскоре несчастный впал в состояние полусна-полуяви и бредил видениями жирных окороков, шипящих колбас, прошпигованных пулярок и всякой снеди, непрерывно вращавшейся на вертелах – перед его духовными глазами с благоуханием и сыком.

Ингу же нельзя было даже бредить: из страха, как бы не заговорить во сне, он почти не смыкал глаз.

Лучше всех держался Ниг. Не поддаваясь отчаянью, он дважды, выждав удобный момент, заводил беседы с часовым, стоявшим у ворот города. После второй беседы, отозвав в сторону Инга, Ниг сказал так:

– Послушай, болтун, ворота города, может быть, и можно открыть, но золотым ключом. Надо торопиться. С Гни плохо: он превратился из спутника в поклажу, но все равно – надо спасать его, да и себя тоже. Всю жизнь ты только бол-

тал, теперь придется поработать, дружище. Я говорю о жене судьи. Кончай роман, иначе мы все погибли. Молчание знак согласия. Вечереет. Я высмотрел: окно судьихи в это время всегда открыто. Поблизости никого. Идем, и я докажу тебе – при помощи твоего же рта, чудак, что ты ошибался относительно его назначения.

Инг страдальчески промычал, как глухонемой или человек с вырезанным языком, и покорно поплелся спасать, подбодряемый пинками друга.

Последние инструкции ему были даны уже под окном, настежь раскрытым в ночь:

– Итак, помни: действуй поцелуем. Еще: если скажешь хоть слово, я сам донесу и тебе вмиг оттяпают голову. Буду слушать и сторожить тут, под окном: я не старуха нянька и не засну, не надейся. Вот спина: полезай. Ну?..

И пятки обреченного, оторвавшись от земли, сначала уперлись в плечи Нигу, затем, подтянувшись к подоконнику, громко стукнулись об пол. За окном раздался сначала женский вскрик, потом испуганный шепот. Ниг, привстав на цыпочки, с ухом, прижатым к стене, жадно слушал. Женский шепот завозмущался, вспрыгивая на вопрошающие высокие ноты; никто ему не отвечал. Короткое молчание. Потом громкие укоризны с плачем вперемешку. Молчание чуть подлиннее. И вдруг – тихий, заглушенный поцелуй. Ниг одернул шляпу и перекрестился. Поцелуи, что ни миг, становились внятнее и чаще. Ниг зажал уши ладонями и обли-

зывал ссохшиеся губы.

Сначала сверху упал мешок, мягко звякнув о землю. Затем с подоконника свисли пятки Инга, мучительно обшаривающие воздух. Ниг быстро подставил плечи, и через минуту они шли, крадучись вдоль стен, к воротной башне города, где их дожидалась заранее туда доставленная живая кладь – Гни.

И Гни, и мешок с золотыми монетами половину своего веса оставили в стенах города, так что беглецы не слишком пыхтели под своей ношей. Еще до утра им удалось добраться до глухой лесной сторожки, где несколько золотых кружков обеспечили им относительную безопасность и отдых. Ниг тотчас же перемигнулся с краснощекой сторожихой, Гни стали откармливать, набивая его пищей, как матрац сеном, а честно потрудившегося Инга никак нельзя было уговорить перестать говорить и отдохнуть: раззудевшийся язык не мог улечься во рту; ведь молчание – самая неисчерпаемая тема для россказней.

Но чуть трое окрепли, окреп и четвертый – спор. Каждый, вспоминая недавние события, норовил истолковать их в свою пользу: мнения, что гвозди, – чем сильней по ним бьют, тем глубже их вгоняют. И после того как каждый из трех ртов был на время разлучен: один – с поцелуями, другой – со словами и третий – с пищей, ни одна из трех голов не хотела больше расставаться со своим смыслом, вогнанным болью по самую шляпку. И так как лесное безлюдье отвеча-

ло только эхами, – решили идти дальше.

И пусть идут, но нам, друзья замыслители, пора повернуть вспять. Дело в том, что линия пути с этого места делается для меня как бы пунктирной: череду встреч ведь можно удлинять и укорачивать, сюжет странствующего спора допускает свободное развитие: путь – от исхода к концу – разматывается, как веревка лассо, – важно одно – добросить до ускользающего конца и изловить его в петлю. И конец тут, я думаю, должен быть такой. Разумеется, начерно и примерно.

Ведомые спором, трое идут и идут, пока путь им не пресекло море. Они повернули вдоль берега и вскоре очутились в одном из портов, откуда и куда уплывают и вплывают корабли. Но море под штилем, ни зыби, паруса обвисли, – и расстранствовавшемуся спору приходится дожидаться ветра.

Мешок, подаренный Ингу, еще позвякивает десятком монет. Зашли в харчевню. Когда вино развязало языки, Инг, обратившись к матросам, дюжим, просоленным морем парням, собутыльничавшим с ними, спросил:

– Как по-вашему, в чем смысл рта? – и предложил им выбрать один из трех ответов.

Парни чесали в затылках и конфузливо переглядывались.

– А разве все три этих, как их… смысла в один рот не влезут? – ответил наконец один из матросов, опасливо оглядываясь на пришельцев.

Тогда Инг, снисходительно улыбнувшись, стал растолко-

вывать:

– Смысл смыслу рознь. Причины – учит Дуно Скотус – бывают полные, или исчерпывающие, и неполные… ну, для простоты, скажем, пустые. Вот три бутылки: две пустых и одна полная. Видишь?

– Вижу, – отвечал парень, собрав лоб в складки.

– Ну вот. Поставь их перед зрячим и скажи ему: выбирай. Ясно, зрячий протянет руку к той, что с вином. Так?

– Так, – как эхо повторил парень, и лоб его покрылся испариной.

– Ну а теперь закрой глаза.

Парень захлопнул веки, а Инг быстро и неслышно переставил бутылки:

– Бери одну. Живо.

Парень протянул руку и ухватился за горлышко порожней. Грохнул смех. И Инг, глядя в виновато мигающие глаза моряка, закончил:

– Так и со смыслом. Люди слепы: оттого и смыслы их пусты. И редко кто пьет не из пустой бутылки.

Наступило почтительное молчание, пока старший из среды моряков, сокрушенно вздохнув, не сказал:

– Мы люди простые и не учены: где нам отвечать на этакие вопросы. Но ветры дуют во все концы мира. Кончится штиль, и я повезу груз соленой рыбы: на том берегу мне обменяют ее на изюм и фисташки. Едем со мной: может быть, там, за морем, и вам обменяют ваши вопросы на ответы.

Тем временем заря протерла черные окна светом, и трое, расплатившись, вышли на улицу. Невдалеке от порога харчевни, прижавшись тощей спиной к стене, сидела женщина: ее щеки были раскрашены под цвет зари, но никто не взял ее на эту ночь – и только утренний холод, не заплатив ни гроша, шарил ледяными пальцами, пробираясь все глубже и глубже под пестрые тряпки потаскухи.

– Бедняжка дрожит, – прищурился Ниг, – но пока что не от страсти. Чего она ждет?

– Твоих поцелуев, Ниг, – толкнул его локтем Инг, – язва на ее губах соскучилась по тебе.

– Ну, нет. Лучше ты скажи ей несколько слов в утешение.

Инг сострадательно наклонился к женщине:

– Дочь моя, не сгнив на земле, не процветешь на небесах.

Но Гни не дал ему продолжать. Пнув его ногой, он придвинулся к иззябшему существу и, порывшись в карманах, ни слова не говоря, вытащил ломоть хлеба и сунул ей в рот. Худые руки женщины тотчас же ухватились за край краюхи, проталкивая ее навстречу быстро зажевавшим зубам.

– Скажи, крошка, – улыбнулся Гни, с умилением следя за работой ее челюстей, – ну не правда ли, Бог сделал в лице дыру не для того, чтобы сквозь нее высыпать слова или заклеивать дурацкими поцелуями, а для того, чтобы человек – при посредстве ее – познал радость пищеприятия.

Хлебный ломоть долго не давал женщине ответить. Наконец трое услышали:

– Не знаю, право: в нашем ремесле – кто не целует, тот не ест. И не меня вам надо спрашивать, а идите вы вдоль берега вот по этой тропе, приведет она вас к пещере. Пещера не пуста: живет в ней мудрец – отшельник: он все знает – оттого все и бросил.

– Отшельников мы еще не пробовали. Пойдем, что ли, – и странствующий спор продолжал свой путь по извивам тропы.

А к закату дня опередивший спутников Гни сунул голову в тьму пещеры и спросил:

– Что пристало рту лучше: поцелуй, слово или еда?

На что из тьмы послышалось:

– Откуда роса – с земли или с неба?

– Говорят, с неба.

Подошли Инг и Ниг.

– С неба, – подтвердили они.

Недоумевая, Гни снова сунулся головой в тьму, и тотчас же что-то тяжелое ударило его в лоб, сшибло с ног и, выкатившись наружу, легло у входа в пещеру: это был обыкновенный чугунный горшок. Друзья осмотрели его и снаружи и изнутри, но ответа в горшке не нашли.

– Спрашивайте теперь вы, – сказал Гни, держась за расшибленный лоб, – с меня довольно.

Отошли в сторону от входа в пещеру и решили заночевать, с тем чтобы утром продолжать путь. Горшок как упал на траву, донцем кверху, так и остался лежать.

Первым проснулся Гни – разбудила шишка, вздувшаяся на лбу. В рассветном блеске он увидел сидевшего рядом с ним незнакомца. Незнакомец, приветливо улыбнувшись, спросил:

– К отшельнику?

– Д-да. И вы тоже?

Незнакомец не отвечал и, пряча улыбку в седую клочкастую бороду, разглядывал распестренные зарей росины, сверкавшие с зеленых остриев травы.

– Если и вы к отшельнику, то лучше не ходите.

– Почему?

– Потому что вместо ответа получите вот это. Точнее: этим, – и Гни с досадой пнул чугунный горшок; горшок откатился в сторону, и на травинах, спрятавшихся под его донцем, Гни с изумлением увидел дрожащие в переливах огней крупные живые росины.

– Черт возьми, – воскликнул Гни, – как они пробрались с неба под крышку горшка?!

– Чтоб объяснить то, – заговорил незнакомец, – что внутри печного горшка, незачем карабкаться на небо – ответ тут же, под донцем, у земли. А чтоб объяснить то, что зародилось в голове – незачем странствовать по свету: ответ тут же, под теменем, рядом с вопросом. Загадка всегда делается из разгадки, и ответы – так было и будет – всегда старше вопросов. Не буди спутников, пусть отоспятся: вам предстоит долгий и трудный возврат.

И, прихватив с собою горшок, старик скрылся в тьме пещеры.

В тот же день трое направились в обратный путь.

Добрая традиция сюжетосложения требует, чтобы *туда* рассказывалось на долгих, а *назад* – на перекладных. Итак, предположим, что мои трое, стоптав дюжину подметок, подходят к исходу: их встречает родной городок; церковный служка, пробиравшийся, подоткнув рясу, меж луж, чинно раскланивается с Ингом; девушка со вспучившимся животом, завидев Нига, роняет ведра в грязь, завсегдатаи «Трех королей», высунувшись в окно, кричат и машут Гни, – но трое, не выпуская из рук посохов, – мимо и дальше; впереди Ниг: он ведет их к Игноте.

Пришли. Во дворе пусто: лишь колесная колея, насвежо вдавленная в грязь, да ветки хвои, от ворот к порогу. Стучат: никого. Ниг толкает, дверь – отскочила; входят в сени. «Здесь», – но и дверь в каморку Игноты настежь; на лежанке мятая солома; в воздухе ладан, и никого. Ниг снял шляпу. Двое других за ним. И, выйдя молча, путники – вслед за зелеными иглами хвои – к ограде кладбища. И меж крестов никого. Только издалека чавкающая о землю лопата. На звук. Провожавших, если и были, уже – нет. Замешкался только могильщик: земля была тугая и противилась лопате.

– Здесь Игнота? – спросил Ниг.

– Здесь. Только если вам от нее что-нибудь нужно, приходите попозднее, когда кончится вечность.

– Нам ничего от нее не нужно, кроме ответа на один вопрос.

– Наше дело – закапывать трупы, а не откапывать вопросы. А трупы, как вам известно, неразговорчивы: о чем ни спроси, и рта не раскроют. Хотя вру, – ухмыльнулся могильщик и хитро подмигнул, – ракрывать-то они его раскрывают, будто слово какое хотят последнее, только сказать его им не дают – сначала тесьмой зубы к зубам, потом забьют рот землей, и какое это слово, слово мертвых, так никто никогда и не слыхал. А любопытно бы.

– Неуч, – процедил Инг.

– Почему нет креста? – осведомился Гни.

– Таким не ставят, – пробурчал могильщик и снова взялся за заступ.

Тогда трое, скрестив посохи, увязали их в крест; когда он раскинул свои прямые деревянные руки над Игнотой, Инг сказал:

– Да, страна вопросов все ширится и множит свои богатства, страна вопросов – цветет все пестрее, все ярче и изобильнее, но страна ответов пустынна, нища и уныла, как вот это кладбище. Поэтому…

– Выпьем. Аминь, – подсказал Гни. Все трое закончили историю там, где ее и начали: в «Трех королях». Уф, все.

Фэв сидел, неровно и хрипло дыша. Глаза нырнули назад, в жир. Председатель не сразу нарушил молчание:

– Что ж, и для вашей истории найдется место в нашей несуществующей библиотеке, – он окунул пальцы в черную пустоту полок, как бы выбирая место, куда поставить ненаписанную книгу, – тема ваша – это, по-моему, какой-то веселый катафалк; быстро кружа спицами средь весело мигающих факелов, он пляшет на ухабах, раскачивая пестрыми кистями и погребальной мишурой, и все-таки это катафалк, и путь его к кладбищу. Можете считать меня брюзгой, но вы все, уважаемые замыслители, норовите свалить сюжетные концы в одну и ту же могильную яму. Так не годится. Искусство литературного эндшпиля требует более тонких и многообразных разработок. Упасть в яму – легко, выбраться из нее, – если она притом глубока, – труднее. Ведь не затем же мы отшвырнули перья, чтобы взять в руки лопаты могильщиков.

– Может быть, вы и правы, – качнул головой Фэв, – мы действительно, не знаю почему, чаще делаем ход с белой клетки на черную, чем с черной на белую. Тематические разрешения у нас неблагополучны, потому что… неблагополучны. Но если уж на то пошло, я берусь показать, что умею плыть и против ветра. Это будет недлинно: я столкну экспозицию моей темы в могилу, на самое дно; а затем прошу наблюдать, как она будет оттуда выкарабкиваться – наверх – в жизнь.

– Ну-ну, послушаем, – улыбнулся Зез, пододвигаясь с креслом к рассказчику, – дерзайте.

Фэв поднял лицо кверху, как бы усиливаясь что-то вспомнить, фиолетовые блики прыгнули с потолка на вспучившиеся пузыри его щек.

– Замысел этот закопошился во мне много лет тому. Я тогда был и подвижнее, и любопытнее, ощущал еще тягу пространства и часто путешествовал. Произошло это так: в один из моих приездов в Венецию, идя по предполуденным раскаленным калле и виколетто, я свернул – по нужде – к одному из тех мраморных приспособлений, которые торчат там чуть не из каждой стены и пахнут аммиаком. Вокруг стока, облепив стену пестрыми квадратиками, лезли в глаза адреса венерологов. А чуть в стороне, отгородившись узкой черной рамкой, как-то отдергиваясь всеми своими чинными черными по белому буквами от аммиачной компании, квадратилось четкое, под черным крестиком, авизо:

«Вы не забыли помолиться о тех 100 000, которым предстоит умереть *сегодня*?»

Конечно, это был – так, пустяк, сухая статистическая справка, ловко изловленная черным квадратиком, вежливо напоминавшим – всего лишь *напоминавшим*.

Я не стал молиться о ста тысячах душ, уводимых в смерть, но когда я вышел из тени стены на яркое солнце, тысячи и тысячи агоний заслонили мне день: тысячи погибающих сегодня обступили меня, тысячи солнц ссыпались в тьму: я видел множество восковеющих, проостренных лиц, выкаты бе-

лых глаз; сладковатая тлень, вгниваясь сквозь ноздри в мозг, не давала ни думать, ни жить. Помню, это пронизало меня почти физически. Я присел к одному из ресторанных столиков – мне придвинули прибор, и в ту же секунду я увидел тысячи их – на столах, с западающими ртами, медленно холодеющих, беспомощных и пугающих, выключенных *из сегодня в никогда*. Я не стал есть медленно остывающего минестроне, и мысль моя делала лихорадочные усилия, лишь бы вышагнуть из проклятого черного квадрата. Тогда-то и пришла мне на помощь *моя тема*. Она вхлынула в меня как-то сразу. Схваченный ею, помню, я механически поднялся и, быстро расплатившись с…

Тут рассказчик – вслед за ним и другие – повернул голову на звук резко отодвигаемого кресла. Неожиданно для себя я увидел Рара, вышагнувшего из круга замыслителей; в руке у него был ключ, который за секунду до того лежал на выступе камина.

– Ухожу, – коротко бросил он.

Ключ металлически щелкнул, дверь рванулась с порога, и шаги Рара оборвались за глухо хлопнувшей где-то внизу створой.

Все с недоумением переглянулись.

– Что с ним? – приподнялся Шог, как если б хотел догнать ушедшего.

– К порядку, – раздался сухой голос Зеза, – сядьте. Или,

если уж встали, прикройте дверь. Мимо. Фэв продолжает.

– Нет, Фэв кончил, – отрезал тот, гневно пузыря щеки.

– Потому что ушел этот? – запнулся Зез.

– Нет. Потому *что с этим* ушла – вы только представьте себе – *и та*: тема.

– Вам хочется, очевидно, перечудачить Рара. Пусть. Будем считать заседание закрытым. Но давайте условимся о программе следующей субботы. Очередь Шога. Предлагаю ему прыгать с трамплина, поставленного Фэвом. Пусть он – вы слышите, Шог, – увидит себя у стены, перед бумажной наклейкой в черной кайме, пусть перемыслит – вслед Фэву – мириад агоний в одном «сегодня», и затем желаю ему допрыгнуть: с черного на белое.

Шог откинул упрямую прядь со лба:

– Будет сделано. Мало того, разбег к трамплину – как вы это называете – я возьму сквозь отсказанную, первую тему сегодняшнего собрания. Пусть это будет бег в мешке. Но у меня неделя срока. Авось допрыгну.

# VI

С каждым днем, придвигавшим меня к следующей субботе, я все крепче запутывался в собственных своих догадках и домыслах. Как было понять «ухожу» Рара? Была ли это простая демонстрация, направленная против Фэва, или протест, бьющий гораздо сильнее и дальше: может быть, это было твердое решение, а может быть, и минутный каприз: от чего он отстранялся – от ста тысяч или от шести? Вспоминалось бледное, в себя глядящее лицо, неровный, удаляющийся шаг. Может быть, ему нужна моя помощь? И я уже не думал – идти или не идти. К тому же притяжение суббот, втягивающая сила пустых полок, черный соблазн бескнижия, очевидно, начинали действовать и на меня.

Дождавшись дня и часа, я подходил к Клубу убийц Букв. Над затоптанным снегом мглилось уже первое предвесеннее тепло, а ледяные сосули, проникая с крыш, плакали, дробно стуча слезами с панелей. Когда дверь впустила меня в комнату собраний, первое, что я увидел: пустое кресло Рара. Пришли все: кроме него.

Как всегда – раз и еще раз щелкнул ключ, как бы отделяя комнату черных полок от мира, – и я почувствовал короткий и теплый толчок в мозг.

Шог, которому предстояло говорить, тоже несколько раз кряду, с выражением беспокойства, оглядывал *место*, не до-

ждавшееся человека. Председатель подал знак – тогда, повернувшись лицом к темной яме камина (близящаяся весна потушила его), он сделал усилие сосредоточиться и начал:

– Марка Лициния Септа нашли у порога полутемного таблинума: он лежал мертвый меж развернутых свитков.

Рабы покойного Септа, Манлий и старый хромой Эзидий, перенесли тело на каменную скамью таблинума, наскоро одели в лучшую тогу с тонкой красной каймой, омыли лицо и рот, облипшие кровавой пеной, разжали стиснутые смертным спазмом зубы и, вложив в них медный обол, занялись похоронными хлопотами.

Две старых плакальщицы, нюхом учуяв покойника, уже стучали бронзовым молотком у дверей заднего дворика; там у шепеляво брызжущего фонтана Эзидий спорил с пискливыми старушечьими голосами, стараясь выторговать хоть десяток-другой сестерций: покойный Марк Септ был беден – приходилось экономить.

Манлий побежал заказывать похоронную лектику, купить благовоний, условиться с факельщиками и оповестить двух-трех друзей покойного. Марк Септ жил бедно и одиноко среди папирусов и вощеных дощечек, чуждаясь близости с людьми. Манлий думал управиться до захода солнца.

Но труп нельзя оставлять без призора: этим могут воспользоваться злые ларвы и бродячие тени.

– Фаба, эй, Фаба, где ты?.. Опять на улице, шалунья. По-

ди сюда. Вот скамеечка: сядь у ног господина. Не бойся, что он белый и не шевелится, – господин умер. Ну, тебе еще не понять: сиди здесь смирно, пока Эзидий не кончит со старухами. А там подоспею и я.

У маленькой шестилетней Фабы было свое важное дело, и не прикажи ей так строго отец, она ни за что не осталась бы в полутемной комнате: за домом, у перекрестка, расположился, со своим лотком, продавец засахаренных фиников, изюма и фиг: смотреть и то приятно. А здесь…

Фаба села на скамеечку, поджав ноги, и стала прислушиваться: в таблинуме было тихо; синяя большая муха прогудела и затихла; но и сквозь стены доносился голос продавца: «Финики, финики – по оболу вязка. Купите сладких фиников – по оболу – только по оболу…»

– О если б, – забилось маленькое сердце, и Фаба облизнула пунцовые губки.

Марк Лициний Септ лежал, зажав обол меж каменеющих губ, и *тоже* слушал: пройдя отоненным смертью слышаньем сквозь голоса плакальщиц, выкрики продавца; дальше – сквозь шумы и клики улицы; дальше – сквозь говоры земного круга – он ясно различал и дальний плеск Харонова весла, и печальное шептание теней, зовущих и его туда, к черным водам Ахерона. Мертвому Септу звучали – и шаг звезд, идущих по дальним орбитам, и шорохи букв, копошащихся в свитках папируса, не убранного с пола, были внятны и думы Аида, и мысли маленькой Фабы, дочери раба, сидящей

вот тут, у его изголовья. В остеклевающих зрачках – сквозь муть – просинели сиявшие из дрожи ресниц глаза дитяти: жизнь. И тотчас же зрачки стало медленно втягивать мглой.

Весло Харона плеснуло ближе.

– Сладкие финики, сушеные финики – по оболу, только по оболу.

– О, владычица Юно, если бы мне… – прошептала Фаба.

И страшным последним усилием каменеющих мускулов Лициний Септ разжал зубы (от усилия пелена вкруг глаз сгустилась – застлав Фабию, стены и весь круг земли), и медный новенький обол, скользнув из губ, покатился по полу и с легким звоном лег у ног изумленной Фабы. Она поджала ножки к самой доске скамьи и часто дышала. Все было тихо. Неподвижный господин ласково улыбался ей прозрачно-белым лицом. Фаба протянула руку к оболу.

Финики были очень вкусны. А Марка Лициния Септа похоронили *так*, без обола: недоглядели.

Сроки Септу исполнились. Вознесенный над землею, скользил он среди жалобно шепчущих теней к обиталищу мертвых. Позади пронзительные визги и ритмические выкрики сторговавшихся-таки плакальщиц, впереди плескание черных волн Ахерона.

Вот и срыв берега. Звук весел – чу. Ближе. Еще. Ладья отерлась бортом о берег. Шаткие тени слетались на шум: с ними и Септ. Старец Харон уперся ступнею в берег. В блесках кровавых зарниц выступало и никло его лицо: выдвину-

тая вперед нижняя челюсть, обросшая спутанной седой бородой, хищный блеск глаз. Трясущейся костистою рукою Харон быстро, привычным движением ощупывал рты мертвецов – и оболы, один за другим, звенящею струей, падали в кожаную суму, прикрепленную к набедрию старца. Пальцы его коснулись и губ Септа.

– Обол, – спросил перевозчик, – где твой обол за переправу?

Септ молчал. Тогда Харон оттолкнулся веслом; ладья, наполненная тенями, отчалила. Септ остался один у опустевшего берега Смерти.

На земле: день – ночь – день – ночь – день. А у черных вод Ахерона: ночь – ночь – ночь. Без брезга, без полдня, без сумерек. Тысячи раз причалила, тысячи раз отчалила ладья перевозчика, а Марк Септ все оставался один – меж жизнью и смертью. Всякий раз, заслышав плеск ладьи, приближался он к шуму вод, и всякий раз скряга Харон отстранял его, не принесшего обола, от борта. Так бродил Септ, не принесший обола, у черных вод: покинувший жизнь и не принятый в смерть.

Просил он у слетавшихся теней об оболе: но те, стиснув крепче в замерших губах плату Земли Аиду, пролетали мимо. Тьма смыкалась за ними. Понял Септ – мольбы напрасны: и, обернувши лицо к земле, стал он ждать, годы и годы, когда придет к Ахерону та, которой он отдал свой обол мертвых.

Финики были сладки, это так – но жизнь горька и безрадостна. Девочку Фабию, дочь раба, после внезапной смерти господина четырежды перепродавали. Когда Фабия стала красивой синеокой девушкой, зацеловали губы ее и заласкали тело. Так переходила она из рук в лапы, из лап в щупальца. Печаль вошла в синие глаза рабыни и не уходила из неперепроданной души ее. Время катилось от года к году, как стертый обол, оброненный наземь. Последний хозяин тела, старый проконсул Кай Ригидий Приск, был щедр к своей наложнице: Фабия спала на мраморном ложе среди курений и веющих опахал, но странный неотступный сон трижды посетил ее: снились плески черной реки; чье-то знакомое, милое-милое, лицо с окаменевшим, мучительно разжатым ртом; чей-то печальный, из далей зовущий шепот: обол – отдай мне обол – мой обол мертвых.

Целые горсти их раздала Фабия нищим и в храмы: но видение не изникало.

Проконсул Ригидий умер. Фабии предстояло перейти к его наследнику, по инвентарному списку. Когда слуги наследника пришли к ее порогу, никто не откликнулся за пурпуровой завесой. Вошли внутрь: Фабия лежала на мраморном ложе, неподвижно раскинув руки: как для объятий. Вещь, занумерованную в инвентарном списке номером пятым, пришлось, с соблюдением соответствующих формальностей, вычеркнуть: кладбище самоубийц приняло новый труп.

Марк Септ узнал близящуюся тень: она скользила в веренице мертвых, с запрокинутой назад головой, с прозрачно-белыми руками, раскрытыми будто для объятий; меж бледных губ мерцало полукружие обола. Подплыла ладья. Септ преградил путь Фабии.

– Ты узнала?

– Да.

– Здесь меж смерти и жизни – годы и годы – жду. Отдай обол, отдай мне обол мертвых!

Тогда…

И рассказ вдруг остановился, как если бы и ему преградили путь.

– И тогда, – повторил Шог, медленно обводя глазами круг своих слушателей, – как бы с этим «тогда» поступили ну хотя бы вы, Хиц?

Спрошенный удивлялся не более секунды; быстро выставившись навстречу вопросу остриями подбородка и локтей, он стал притискивать слово к слову:

– К вашему «тогда» незачем приискивать «когда». Бесполезно. Вы завели тему в такой мистический туман, в котором легче потерять начало, чем найти конец. Выбирайтесь как знаете. Я к Ахеронам не ходок.

– Ну, а вы, Дяж? – продолжал Шог, и нельзя было разобрать, шутит ли он или спрашивает всерьез.

Круглые стекла мотнулись из стороны в сторону:

– Любезный Шагг, то есть, виноват, Шог, с вашими тенями я бы распорядился так: один обол на двоих. Все же больше, чем ничего. Получив его, Харон пускает в ладью и Фабию, и Септа. Но, доплыв до средины Ахерона, меж двух берегов, смерти и жизни, божественный скряга говорит им: «Вы уплатили мне за полупуть». И герои ваши, над которыми уже занесено грозное весло адского перевозчика, принуждены высадиться посреди реки: прямо к знаменитым, воспетым Эврипидом и Аристофаном, божественно квакающим ахеронским лягушкам. Туда и дорога.

Шог, поблагодарив кивком головы, повернулся к следующему:

– Фэв?

– Тому, в чьих легких расселась одна из этих ахеронских жаб, – дно реки, обтекающей смерть, не всегда внушает смех. Скажу одно: от вашего рассказа у меня медный привкус на губах. Спрашивайте следующего.

Но следующий, Тюд, не стал дожидаться своего имени. Придвинувшись к Шогу – колени к коленям, – он быстро заговорил:

– Мне кажется, я угадываю ваш, вернее, наш конец, Шог: «и тогда…» – постойте – и тогда Фабия приблизила к Септу обол, сверкавший меж ее губ. Септ потянулся к нему изжаждавшимся ртом. Сначала слились губы, потом – души. А оброненный обол, скользнув вниз, канул в черные воды межмирья. Ладья отчалила без них. Двое остались меж смер-

ти и жизни, потому что любовь это и есть… понимаете? Вот мне интересно, что скажет Зез.

– Я скажу, – глухо отозвался тот, – что вместо придумывания концов лучше передумать заново *начало*: я бы строил его совсем по-иному…

– Почему?

– Не знаю. Может быть, потому, что я человек… человек, крепко зажавший свой обол меж зубов. Мой рассказ в следующую субботу сделает мои слова ясными: для всех и до конца.

# VII

Возвратившись домой, я долго не ложился, вспоминая все перипетии вечера. В череду образов от времени до времени вдвигалось пустое, молчаливое кресло Рара. Как бы поступил *он* с оболом мертвых? Затем я стал думать о причинах, заставивших его уклониться от собрания. И странно: беспокойство, мучившее меня всю прошлую неделю, как-то утишилось и улеглось. Возможность случайности устранялась. Было ясно, что Рар порвал с кружком. Тем лучше. План мой был таков: посетить еще одно собрание замыслителей, окончательно убедиться в решении Рара и осторожно выведать его настоящее имя, а если можно, и адрес.

Всю эту неделю мне слегка нездоровилось. Я не выходил из дому. За окнами комнаты агонизировала зима: снег чернел и ник: из гнилых луж гляделись грязные комья земли; на голых деревьях, будто дожидаясь тления, сутулило крылья воронье, о жесть подоконника размеренно, по-псаломщичьи, бормотали капли.

Шесть раз переменил мой отрывной календарь цифры, прежде чем я увидел слово: суббота.

Перед вечером, в обычный час, я отправился на собрание. Я шел медленно, шаг за шагом, обдумывая, к кому и в какой форме обратиться с моими расспросами о Раре. Приближаясь к дому, где происходили наши собрания, я увидел чело-

века, быстро сбегавшего со ступенек подъезда. Под развевающейся пелериной и надвинутыми полами шляпы угадывалась фигура Тюда, – я хотел уже окликнуть его, но не знал как. Тем временем он нырнул за угол дома. Недоумевая, я взошел на крыльцо и позвонил. Дверь тотчас же открылась, и навстречу мне, осторожно озираясь, выглянуло лицо самого Зеза. Я хотел войти, но он загородил дорогу:

– Собрания не будет. Вы знаете о Раре?

– Нет.

– Как же. Дуло меж зубов и… Завтра под лопату.

Я стоял ошеломленный, не в силах ни спросить, ни ответить. Лицо Зеза придвинулось ближе:

– Ничего. Придется прервать собрания: на неделю-другую – не больше. Возможен визит полиции. Пусть: никому еще не удавалось, обыскивая пустоту, найти. Вы, кажется, взволнованы? Бросьте. Что бы ни случалось, надо уметь одно: крепко зажать меж зубов свой обол. И только.

Дверь захлопнулась.

Я хотел позвонить еще раз. Потом раздумал. И, возвратившись к себе, долго не мог преодолеть оцепенение, охватившее меня. Пододвинувшись с креслом к столу, я сидел, глядя в черную ночь за окном, – тупо и бессмысленно. На стене размеренно цокал маятник.

Я их не ждал: они пришли сами – одна вслед другой – пять суббот. Я гнал их из памяти прочь: но они не уходили. Тогда я притянул руку к чернильнице и отщелкнул крышку. Суб-

боты закивали головами, так-так, – губы их зашевелились; и начался диктант. Я еле поспевал за пером: слова, вдруг хлынувшие из пяти ртов, тискались вперебой под расщеп. Изголодавшиеся и торопливые, они жадно глотали чернила и вперегонки мчали меня со строк на строки. Пустота черных полок вдруг заворошилась: я едва успевал управляться с нахлынувшими образами.

Вот уже четвертая ночь на исходе. На исходе и слова. Мое писательство, начавшееся – так нежданно для меня, – еле родившись, и умрет. Без воскресения. Ведь я писательски безрук, это правда – словами я не владею; это они овладели мной, взяли меня напрокат как орудие мщения. Теперь, когда их воля выполнена, я могу быть отброшен.

Да, эти полупросохшие листки научили меня многому: слова злы и живучи, – и всякий, кто покусится на них, скорее будет убит ими, чем убьет их.

Ну, вот и все, вот и ткнулся в дно. Опять без слов – навсегда. Экстазы четырех ночей взяли из меня все: до предела. И все же пусть ненадолго, на скудные миги, но удалось же мне разорвать орбиту и вышагнуть за я!

Вот – отдаю назад слова; все, кроме одного: жизнь.

# Возвращение Мюнхгаузена

## Глава 1
## У всякого барона своя фантазия

Прохожий пересек Александер-плац и протянул руку к граненым створам подъезда. Но в это время из звездой сбежавшихся улиц кричащие рты мальчишек-газетчиков:

– Восстание в Кронштадте!

– Конец большевикам!

Прохожий, сутуля плечи от весенней зяби, сунул руку в карман: пальцы от шва до шва – черт! – ни пфеннига. И прохожий рванул дверь.

Теперь он подымался по стлани длинной дорожки; вдогонку, прыгая через ступеньки, грязный след.

На повороте лестницы:

– Как доложить?

– Скажите барону: поэт Ундинг.

Слуга, скользнув взглядом со стоптанных ботинок посетителя к мятой макушке его рыжего фетра, переспросил:

– Как?

– Эрнст Ундинг.

– Минуту.

Шаги ушли – потом вернулись, и слуга с искренним удивлением в голосе:

– Барон ждет вас в кабинете. Пожалуйте.

– А, Ундинг.

– Мюнхгаузен.

Ладони встретились.

– Ну вот. Придвигайтесь к камину.

С какого конца ни брать, гость и хозяин мало походили друг на друга: рядом – подошвами в каменную решетку – пара лакированных безукоризненных лодочками туфель и знакомые уже нам грязные сапоги; рядом – в готические спинки кресел – длинное с тяжелыми веками, с породистым тонким хрящем носа, тщательно пробритое лицо и лицо широкоскулое, под неряшливыми клочьями волос, с красной кнопкой носа и парой наежившихся ресницами зрачков.

Двое сидели, с минуту наблюдая пляску синих и алых искр в камине.

– На столике сигары, – сказал наконец хозяин.

Гость вытянул руку: вслед за кистью поползла и мятая в цветные полоски манжета: стукнула крышка сигарного ящика – потом шорох гильотинки о сухой лист, потом серый пахучий дымок.

Хозяин чуть скосил глаза к пульсирующему огоньку.

– Мы, немцы, не научились обращаться даже с дымом. Глотаем его, как пену из кружки, не дав докружить и постлаться внутри чубука. У людей с короткими сигарами в зу-

бах и фантазия кургуза. Вы разрешите?..

Барон, встав, подошел к старинному шкафу у стены, остро тенькнул ключик, резные тяжелые створы распахнулись – и гость, повернувшись глазами и огоньком вслед, увидел: из-за длинной и худой спины барона на выгибах деревянных крючьев шкафа старый, каких уже не носят лет сто и более, в потертом шитье, камзол; длинная шпага в обитых ножнах; изогнутая в бисерном чехле трубка; наконец, тощая, растерявшая пудру косица, срезом вниз – бантом на крюке.

Барон снял трубку и, оглядев ее, вернулся на старое место. Через минуту кадык его выпрыгнул из-под воротничка, а щеки вытянулись внутрь навстречу дыму, переползавшему из чубука в ноздри.

– Еще меньше мы смыслим в туманах, – продолжал курильщик меж затяжками, – начиная хотя бы с туманов метафизических. Кстати, хорошо, Ундинг, что вы заглянули сегодня: завтра я намереваюсь нанести визит туманам Лондона. Заодно и живущим в них. Да, белесые флеры, подымающиеся с Темзы, умеют расконтуривать контуры, завуалировать пейзажи и миросозерцания, заштриховать факты и… одним словом, еду в Лондон.

Ундинг встопорщил плечи:

– Вы несправедливы к Берлину, барон. Мы тоже кое-чему научились, например, эрзацам и метафизике фикционализма.

Но Мюнхгаузен перебил:

– Не будем возобновлять старого спора. Кстати, более старого, чем вам мнится: помню, лет сто тому назад – мы проспорили всю ночь с Тиком на эту тему, правда, в иных терминах, но меняет ли это суть? Он сидел, как вот вы, справа от меня и, стуча трубкой, грозился ударить снами по яви и развеять ее. Но я напомнил ему, что сны видят и лавочники, а веревка под лунным светом хотя и похожа на змею, но не умеет жалить. С Фихте, например, мы пререкались куда меньше. «Доктор, – сказал я философу, – с тех пор, как не-я выпрыгнуло из я, ему следует почаще оглядываться на свое *откуда*». В ответ герр Иоганн вежливо улыбнулся.

– Разрешите мне улыбнуться не столь вежливо, барон. Это противится критике не больше, чем одуванчик ветру. Мое «я» не ждет, когда на него оглянется «не-я», – а само отворачивается от всяческих н е. Так уж оно воспитано. Моей памяти не дано столетий, – поклонился он в сторону собеседника, – но нашу первую встречу, пять недель тому, я как сейчас помню и вижу. Доска столика под мрамор, случайное соседство двух кружек и двух пар глаз. Я – глоток за глотком, вы же сидели, не касаясь губами стекла, и только изредка – по вашему кивку – кельнер на место невыпитой кружки приносил другую, остававшуюся тоже невыпитой. Когда хмелем чуть замглило голову, я спросил, что вам, собственно, надо от стекла и пива, если вы не пьете. «Меня интересуют лопающиеся пузырьки, – отвечали вы, – и когда они все лопнут, приходится заказывать новую порцию пены». Что ж, всякий

развлекается на свой лад, мне вот в этой жиже нравится ее поддельность, суррогатность. Пожав плечами, вы оглядели меня – напоминаю вам это, Мюнхгаузен, – как если бы и я был пузырьком, прилипшим к краю вашей кружки…

– Вы злопамятны.

– Я памятлив на всякое: до сих пор еще в моем мозгу кружит пестрая карусель, завертевшаяся там, у двух сдвинутых кружек. Мы пересекали с вами моря и континенты с быстротой, опережающей кружение Земли. И когда я, как мяч меж теннисных ракеток, перешвыриваемый из стран в страны, из прошлого в грядущее и отбиваемый назад, в прошлое, выпав случайно из игры, спросил: «Кто вы такой и как вам могло хватить жизни на столько странствий?» – вы – с учтивым поклоном – назвали себя. От поддельного пива и опьянение поддельно и запутывающе, реальности лопаются, как пузыри, а фантазмы втискиваются на их место, – вы иронически качаете головой? Но знаете, Мюнхгаузен, – между нами – как поэт, я готов верить, что вы – *вы*, но как здравомыслящий человек…

В разговор всверлился телефонный звонок. Мюнхгаузен протянул длиннопалую руку, с овалом лунного камня на безымянном, к аппарату:

– Алло! Кто говорит? А, это вы господин посол? Да, да. Буду, через час.

И трубка легла на железные вилки.

– Видите ли, любезный Ундинг, признание поэтом моего

бытия мне чрезвычайно льстит. Но если бы вы даже перестали верить в меня, Иеронима фон Мюнхгаузена, то дипломаты не *перестанут*. Вы подымаете брови: почему? Потому что я им необходим. Вот и все. Бытие де-юре, с их точки зрения, ничем не хуже бытия де-факто. Как видите, в дипломатических пактах гораздо больше поэзии, чем во всех ваших виршах.

– Вы шутите.

– Ничуть: на жизнь, как и на всякий товар, спрос и предложение. Неужели вас не научили этому газеты и войны? И состояние политической биржи таково, что я могу надеяться не только на жизнь, но и на цветущее здоровье. Не торопитесь, друг мой, зачислять меня в призраки и ставить на библиотечную полку. Да-да.

– Что ж, – усмехнулся поэт и оглядел длинную, с локтями на поручнях кресла, фигуру собеседника, – если акции мюнхгаузиады идут вверх, я, пожалуй, готов играть на повышение: до степени бытия включительно. Но меня интересует конкретное *как*. Конечно, я признаю некую диффузию меж былью и небылью, явью в «я» и явью в «не-я», но все-таки как могло случиться, что вот мы сидим и беседуем без помощи слуховой и зрительной галлюцинации. Мне это важно знать. Если в слове «друг», подаренном вами мне, есть хоть какой-нибудь смысл, то…

Мюнхгаузен, казалось, колебался.

– Исповедь? Это скорее в стиле блаженного Августина,

чем барона Мюнхгаузена. Но если вы требуете… только разрешите хоть изредка, иначе я не могу, из тины истины в вольный фантазм. Итак, начинаю: представьте себе этакий гигантский циферблат веков; острие его черной стрелы – с деления на деление – над чередой дат; сидя на конце стрелы, можно разглядеть проплывающие снизу: 1789–1830–1848–1871 – и еще, и еще, – у меня и сейчас еще рябит в глазах от бега лет. Теперь вообразите, любезный друг, что ваш покорный слуга, охватив коленями вот эту самую, повисшую над сменой годов (и всего, что в них) стрелу, кружит по циферблату времени. Да, кстати, крючья шкафа, который я забыл запереть, помогут вам увидеть тогдашнего меня яснее и детальнее: коса, камзол, шпага, свесившись над циферблатом, качается от толчков. А толчки стрелой о цифры все сильнее и сильнее: на 1789 крепче стискиваю колени, на 1871 приходится и руками и ногами за края стрелы, но с 1914 тряска цифр делается невыносимой: ударившись о 1917 и 1918, теряю равновесие и, понимате ли, сверкнув пятками, вниз.

Навстречу – сначала неясные, потом вычетчивающиеся сквозь воздух пятна морей и континентов. Протягиваю руку, ища опоры: воздух и ничего, кроме воздуха. Вдруг – удар о ладони, сжимаю пальцы – в руках у меня шпиль – представьте себе, обыкновенный, как игла над наперстком, надкупольный шпиль. Над головой – в двух-трех футах – флюгер. Подтягиваюсь на мускулах. Легким ветерком флюгер поворачивает из стороны в сторону – и я могу спокойно оглядеть рас-

пластавшуюся под моими подошвами в двух-трех десятках метров ниже землю: радиально расчерченные дорожки, мраморные марши, стриженые шеренги деревьев, прозрачные гиперболы фонтанных струй – все это как будто уж знакомо, не в первый раз. Скольжу по шпилю вниз и, усевшись на дымовой трубе, внимательно оглядываю местность: Версаль, ну конечно же. Версаль, и я на краю Трианона. Но как сойти? Упругие пары дыма, скользящие по моей спине, подсказывают мне простой и легкий способ. Напоминаю: если я теперь, так сказать, оброс и приобрел некоторую весомость, то в тот первый дебютный день я был еще немногим тяжелее дыма: и я ныряю в дымовой поток, как водолаз в воду, и плавно опускаясь, – я вскоре у дна, то есть, отбрасывая метафоры, внутри камина – такого же, как вот этот (лакированный туфель рассказчика ткнул носком в чугунную решетку, огни за которой уже успели оттлеть). Я огляделся: никого. Вышагнул наружу. Камин находился, если судить по заставленным книгами и папками длинным сплошным полкам, в библиотеке дворца. Я прислушался: за стеной шум сдвигаемых кресел, потом тишина, размеченная лишь дробным стуком маятника, потом заглушенный стеной чей-то ровный шаркающий по словам, как туфли по половицам, голос. Мне, человеку, свалившемуся со стрелы на циферблат, конечно, еще не было известно, что это одно из заседаний Версальской конференции. На библиотечном столе картотека, последние номера газет и папки с протоколами. Я тотчас же погрузил-

ся в чтение, быстро ориентируясь в политическом моменте, когда вдруг за стеной – шум раздвигаемых стульев, смутные голоса и чей-то шаг к порогу библиотеки. Тут я… нет, видно, еще раз придется навестить старый шкаф.

И Эрнст Ундинг, наклонившийся всем корпусом навстречу рассказу, следил нетерпеливыми глазами, как барон, прервав рассказ, не торопясь приблизился к торчавшим из глубины шкафа крючьям и опустил руку в топорщащийся карман старинного камзола.

– Ну вот, – повернулся Мюнхгаузен к гостю. В протянутой его руке алело сафьяном небольшое в золотом обрезе с кожаными наугольниками ин-октаво. – Вот вещь, с которой я редко расстаюсь. Полюбуйтесь: первое лондонское издание еще 1783 года.

Он отогнул ветхий истертый переплет. Зрачки Ундинга, вспрыгнув на титулблатт, скользнули по буквам: «Рассказы барона Иеронимуса фон Мюнхгаузена о его чудесных приключениях и войнах в России». Переплет захлопнулся, и книга поместилась рядом с рассказчиком на разлапистой ручке кресла:

– Боясь прослыть за шпиона, неизвестно как подобравшегося к дипломатическим тайнам, – продолжал Мюнхгаузен, снова отыскав подошвами край каминной решетки, – я поспешил спрятаться: открыв свою книгу – вот так, – я насутулился, подобрал ноги к подбородку, голову в плечи, сжался, сколько мог, и впрыгнул меж страниц, тотчас же захлопнув

за собой переплет, как вы, скажем, захлопываете за собой дверь телефонной будки. В этот миг шаги переступили порог и приблизились к столу, на котором, сплющившись меж шестьдесят восьмой и шестьдесят девятой страницами, находился я.

– Должен вас перебить, – привскочил с кресла Ундинг, – как вы могли укоротиться до размеров вот этой книжечки? Это во-первых, а…

– А во-вторых, – ударил ладонью по сафьяну барон, – я не терплю, когда меня перебивают… И, в-третьих, плохой же вы, клянусь трубкой, поэт, если не знаете, что книги, если только они книги, иногда *соизмеримы*, но никогда не *соразмерны* действительности!

– Допустим, – пробормотал Ундинг.

И рассказ продолжался:

– Случаю было угодно, что человек, чуть не заставший меня врасплох (кстати, это был один из онеров трепаной дипломатической колоды), привел и себя и меня к новому расплоху: пальцы дипломатического туза, отыскивая какую-то там справку, скользя от переплетов к переплетам, нечаянно зацепили за сафьяновую дверь моего убежища, страницы разомкнулись, и я, признаюсь в некотором смущении, то растрехмериваясь, то снова плющась, не знал, как быть. Туз выронил сигару изо рта и, откинув руки, опустился в кресло, не сводя с меня круглых глаз. Делать было нечего: я вышагнул из книги и, сунув ее себе под мышку, вот так, сел в

кресло напротив и придвинулся к дипломату, колени к коленям. «Историки запишут, – сказал я, ободряюще кивнув, – что открыли меня вы». Отыскав слова, он наконец спросил: «С кем имею?» Я опустил руку в карман и молча протянул ему вот это.

Прямо против глаз откинувшегося к спинке Ундинга проквадратилась визитная карточка – готическим шрифтом по плотному картону:

*барон*
*ИЕРОНИМУС фон МЮНХГАУЗЕН*
*Поставка фантазмов и сенсаций.*
*Мировым масштабом не стесняюсь.*
*Фирма существует с 1720.*

Пять строк, постояв в воздухе, перекувырнулись в длинных пальцах барона и исчезли. Маятник стенных часов не успел качнуться и десяти раз, как рассказ возобновился:

– Во время паузы, длившейся не дольше этой, я успел заметить, что выражение лица дипломатического лица меняется в мою пользу. Пока его мысль – из большой посылки в малую, я услужливо пододвинул вывод: «Более нужного человека, чем я, вам не сыскать. Верьте честному слову барона фон Мюнхгаузена. Впрочем…» – и я раскрыл свое инокатаво, готовясь ретироваться, так сказать, из мира в мир, но дипломат поспешно ухватил меня за локоть: «Ради бога, прошу вас». Ну что ж, подумав, я решил остаться. И мое старое обжитое место, вот тут – между шестьдесят восьмой

и шестьдесят девятой – не угодно ли взглянуть, – опустело: думаю, надолго, а то навсегда.

Ундинг взглянул: на отогнутой странице меж разомкнувшихся абзацев из тонких типографских линеек длинная рамка: но внутри рамки лишь пустая белая поверхность книжного листа – иллюстрация исчезла.

– Ну вот. Моя карьера, как вам это, вероятно, известно, началась со скромного секретарства в одном из посольств. А затем… впрочем, минутная стрелка разлучает нас, любезнейший Ундинг. Пора.

Барон нажал кнопку. В дверях просунулись баки лакея.

– Подайте одеться.

Баки – в дверь. Хозяин поднялся. Гость тоже.

– Да, – протянул Мюнхгаузен, – они сняли у меня мой камзол и срезали мне косицу. Пусть. Но запомните, мой друг, настанет день, когда эту вот ветошь (длинный палец, блеснув лунным овалом, пророчески протянулся к раскрытому шкафу), эту вот тлень, сняв с крючьев, на парчовых подушках, в торжественной процессии, как священные реликвии, отнесут в Вестминстерское аббатство.

Но Эрнст Ундинг отвел глаза в сторону:

– Вы перефантазировали самого себя. Отдаю должное – как поэт.

Лунный камень опустился книзу. Нежданно для гостя лицо хозяина сплиссировалось в множество смеющихся складочек, как-то сразу старея на столетия, глаза сощурились в

узкие хитрые щелочки, а тонкий рот, разжавшись, обнажил длинные желтые зубы:

– Да-да. Еще в те времена, когда я живал в России, они сложили про меня пословицу: у всякого барона своя фантазия. «Всякого» это позднее присказалось, – имена ведь, как и иное все, затериваются. Во всяком случае, льщу себя надеждой, что я шире и лучше всех других баронов *использовал право на фантазию*. Благодарю вас, и тоже, как поэт поэта.

Цепкая сухая ладонь схватила пальцы Ундинга:

– И как хотите, друг: можете верить или не верить Мюнхгаузену и… в Мюнхгаузена. Но если вы усомнитесь в моем рукопожатии, то очень обидите старика. Прощайте. Да, еще – крохотный совет: не всверливайтесь глазами во всех и все: ведь если просверлить бочку – вино вытечет, а под обручами только и останется глупая и гулкая пустота.

Ундинг улыбнулся с порога и вышел. Барону подали одеваться. Элегантный секретарь, шмыгнув в комнату, расшаркался и протянул патрону тяжелый портфель. Одернув лацкан фрака, Мюнхгаузен скользнул большим и указательным левой руки по обрезу папок, торчавших из портфеля. Мелькнули: протоколы Лиги Наций – подлинные документы о Брестском мире – стенограммы заседаний Амстердамской конференции, Вашингтонского, Версальского, Севрского и иных, иных и иных договоров и пактов.

Брезгливо сощурясь, барон Мюнхгаузен поднял портфель за два нижних угла и вытряхнул все его содержимое на пол.

И пока секретарь и слуга убирали бумажные кипы, барон подошел к терпеливо дожидавшемуся – на ручке кресла – томику в сафьяне; томик нырнул внутрь освободившегося портфеля, звонко над ним защелкнувшегося.

# Глава II
# Дым делает шум

Сначала под ногами у Ундинга побежали ступеньки, потом сыростью сквозь протертые подошвы асфальт тротуара. За спиной загудело авто барона и, обдав пешехода грязью, метнулось желтым двуглазием сквозь мглистые весенние сумерки.

Ундинг, наставив воротник пальто, прошагал сквозь гудящую арку, под повисшими в воздухе четырьмя параллелями рельс и по широкой прями бывшей улицы Короля. Справа прочертились каменные кубы, дуги и навеси дворца. По укатанной шинами стеклистой слизи асфальта тянулись – нитью фиолетовых бус – отражения фонарных огней: с выступов в креп сумерек овитого дворца свешивались, обмокшие в дожде, флаги революции. Затем, справа и слева, мимо глаз чугунные скамьи Унтер-ден-Линден – и навстречу, – утаптывающая бронзовыми копытами воздух, – черная квадрига Бранденбургских ворот.

Идти было не близко. Сквозь длинный Тиргартен и потом по Бисмаркштрассе, мимо десяти перекрестков к окраинной линии Шарлоттенбурга. Влажный и дымный воздух казался дешевой и неискусной подделкой под воздух; вспучившиеся стекла фонарей, казалось, вот-вот легкими пенными пузырями вверх, а на крыши и панель беззвучным обвалом рух-

нет тьма. Замелькавшие мимо шагов голые деревья Тиргартена напомнили пешеходу об искромсанных снарядами перелесках, потом ассоциации придвинули ближе глаз, внутрь черепа, скрещение фантастических траншейных улиц. Пешеход остановился и, вслушиваясь, думал, что гул города – там, за Тиргартеном, похож на уползающие грохоты артиллерийского боя. Под большим и указательным правой руки, еще помнившей недавнее прикосновение пальцев Мюнхгаузена, вдруг ясно ощутилась, почти обжигая кожу, раскаленная выстрелами сталь ружейного замка.

– Фантасмагория, – пробормотал Ундинг, оглядывая звезды, фонари, деревья и стлань аллей.

Чья-то зыбкая тень, будто ее назвали по имени, несмело приблизилась к поэту. Под обмокшим каркасом шляпы выпяченные голодом и румянами скулы: проститутка. Ундинг отвел глаза и пошел дальше. Вначале он пробовал придумать уменьшительное к имени фантасмагория. Но ни хен, ни лейн не прирастали. Тогда, вслушиваясь в ритм своих шагов, он привычным психическим усилием завращал в себе ассонансы и ритмы, внешний мир для него стал короче полей его фетра, – и немая клавиатура слов зашевелила своими клавишами.

Толчок плечом о чье-то плечо опрокинул строфу: роняя рифмы, поэт поднял глаза, оглядывая улицу. Подъезд его дома оказался пройденным. Вдруг ощутилось: к коленям тяжелыми гирями – усталость. Ундинг с досадой прикинул в уме:

два раза по двести – итого четыреста шагов чистой убыли; вот и весь гонорар.

Эрнст Ундинг далеко не каждый день читал газеты. Правда, после прощального разговора с Мюнхгаузеном он натолкнулся на заметку в три строки о члене дипломатического корпуса бароне фон М., выбывшем с экспрессом – по делам, не подлежащим оглашению, – в Лондон. Еще через неделю крупный шрифт газетной депеши сообщал об успешном представительстве фон М. в влиятельнейших сферах Англии. Остальные буквы имени будто проваливались в лондонский туман. Ундинг с улыбкой отодвинул газетный лист. Дальнейшие информации прошли мимо него: Ундинг простудился и слег, выключившись на пять или шесть недель из всех событий. Когда больной поправился настолько, что мог подойти к окну и раскрыть ему створы, – из-за стекол ударило солнечным весенним воздухом. Снизу, рикошетируя о стены, вперебой голоса газетчиков. Перегнувшись через подоконник, Ундинг услышал – сначала конец выкрика, потом начало, потом все:

– Сенсационно! Барон Мюнхгаузен о Карле Марксе!!!

– Мюнхгаузен о…

Полохнуло ветром. Выздоравливающий сомкнул окно и, трудно дыша, опустился на стул. Губы его, беззвучно шевельнувшись, проартикулировали:

– Начинается.

Тем временем барон Мюнхгаузен, благополучно прибыв в Лондон, был, по его словам, чрезвычайно любезно принят местными туманами. Туманы верно и покорно служили ему. Он умел наполнять ими головы по самое темя ловчее опытной молочницы, разливающей свой товар по бидонам.

«Лошади и избиратели, – говаривал барон в узком дружеском кругу, – если не надеть на них наглазников, непременно вывалят вас в канаву, и я всегда был поклонником теннирсовой техники, дающей возможность черному стать белым, а белому породниться с черным: через серое. Нейтральные тона в живописи, нейтралитет в политике, и пусть себе Джоны, Михели и Жаны пучат глаза в туман: что там – луна или фонарь?»

Впрочем, парадоксы эти редко переступали порог трехэтажного коттеджа на Бейсвотер-род, где поселился барон. Дом был нарочно выбран в некотором отдалении от грохочущего Черинг-Кросса, обменивающего людей на людей. Позади коттеджа просторные и не слишком шумные улицы Паддингтона, а из окон верхнего этажа – за длинным извивом ограды, молчаливые аллеи Кенсингтонского парка: зимой – на его деревьях клочьями ваты снег, летом – под его деревьями закапанный чернильными пятнами теней шафранный песок дорожек.

Поселившись здесь, барон Мюнхгаузен прежде всего распорядился перекопать крохотный палисадник, прижавшийся орнаментами своих ковровых цветов и стриженой травы к

красным кирпичам дома, и собственноручно насадил семена турецких бобов, привезенных им в особой старинной коробочке на дне дорожного чемодана. Бобы после первых двух-трех поливок со странной быстротой закружили своими спиралями по стене вверх и вверх. Еще в полдень они были на уровне первого этажа, а к вечеру, когда сквозь сизо-коричневый туман прорезался мутный серп луны, тонкие усики зеленых витуш уже дотянулись до окна кабинета в третьем этаже, где хозяин в это время работал, придвинув какие-то старые в бисеринах букв записные тетради к зеленому колпачку лампы. Бобовые спирали поводили тонкими нитями усиков, явственно нацеливаясь ими в лунный серп. Но Мюнхгаузен строго оглядел странников и, погрозив пальцем, сказал:

– Опять?

И наутро удивленные прохожие, покачивая головами, созерцали буйную поросль, которая, докружив до самой крыши, вдруг обвисла зелеными спиральными свесями назад к земле. С этого дня дом на Бейсвотер-род прозвали «коттеджем сумасшедших бобов».

Распорядок дня барона Мюнхгаузена подтверждали слова модного американского писателя: «Духовные вожди человечества работают не более двух часов в сутки, – притом они работают далеко не каждый день». Обычно, встав с постели, барон просматривал газеты, выпивал чашку кофе мэрвайс и, выкурив трубку, менял ночные туфли на остроносые штиблеты. После этого начиналась прогулка. Первую

ее часть барон совершал пешком: он пересекал зеленолистный Кенсингтон от северных ворот к западным. Ему нравилось видеть прыгающие по дорожкам пестрые лучи, песочные города, крохотных головастиков, которым старые – недопревратившиеся в миссис – мисс читают сказки из большебуквых с раскрашенными картинками книг. Слева выгибала серые чешуи Змеиная река. Справа – навстречу шагам – сквозь паутину ветвей – памятник несуществовавшему Питеру Пэну, у западных ворот дожидается лимузин. Шофер Джонни откидывает дверцу, и барон под защелк – неизменное:

– К самому несуществующему.

Джонни – «слушаю». И лимузин, обогнув ограды Кенсингтона и Гайд-парка, поворотом руля вправо добавляет еще четыре колеса к тысячам колес, скользящим вдоль одетой в стекло и камень Пикадилли. А там, по странду – и справа затканные в туман над ребрами кровель – башни Тампля и круглый купол св. Павла. У ступеней собора Джонни снова откидывает дверцу: приехали.

Барон раздает пенни нищим и входит в храм. Чаще всего он посещает знаменитую Галерею Шепота, умеющую пронести сквозь сотни футов малейший шорох еле слышного слова; но иногда он направляется к величественным мраморам гробницы Веллингтона. Тут всегда кучка туристов, шмыгающих глазами по акантным завиткам капителей, кистям балдахина и буквам, врезанным в камень. Но Мюнхгаузена ин-

тересует другое. Подозвав служку, он протягивает палец к аллегорическим фигурам, затерявшимся среди деталей надгробия:

– Что это?

– Правдивое изображение Истины и Лжи, сэр.

– А которая из них Истина? – прищуривается барон.

– С вашего разрешения, вот эта.

– В прошлый раз, помнится, вы называли ее Ложью, – подмигивает барон, и правая бровь его выгибается кверху. Тут служка, привыкший уже к причудам посетителя, знает, что наступил момент, когда надо смотреть не на Истину и не на Ложь, а на серебряный шиллинг, блеснувший из щепоти богатого посетителя, потом благодарно откланяться и исчезнуть. Из собора Мюнхгаузен выходит с ясным, чуть не просветленным лицом и, ставя ногу на ступеньку авто, неизменно произносит:

– Когда к Богу ни приди, никогда его нет дома. Попробуем к другим.

Произносится адрес – и Джонни поворачивает руль или вправо – к Патерностер-стрит, или влево – к суете Флит-стрита, расшвыривающего буквы по всей земле; отсюда уже двадцативерстные радиусы Лондона – то тот, то этот – протягиваются под шуршащие шины лимузина.

Отдав два-три визита, барон кивает шоферу: домой. Назад едут чаще всего нищими кварталами Ист-Энда. Грязные дома похожи на прессованный туман, но человек, откинув-

шийся к кожаным подушкам лимузина, думает, что только одно в мире не рассеять и не свеять ветрами: нищету.

В коттедже сумасшедших бобов уже дожидаются интервьюеры. Карандаши их приходят в движение. Мюнхгаузен терпеливо и любезно отвечает на все вопросы:

– Мое мнение о парламентаризме? Извольте: как раз вчера я закончил вычисление о количестве мускульных усилий, потребовавшихся для подъема и опускания языков у всех ораторов Англии: из расчета по три оппонента на одного докладчика, беря Нижнюю и Верхнюю Палату, перемножая число годовых заседаний на число лет, считая с 1265-го по 1920-й, просчитав фракции, комиссии и подкомиссии и переведя все в пудо-футы и лошадиные силы, получим – вы только представьте себе – силовой разряд, достаточный для возведения двух хеопсовых пирамид. Какое величественное достижение. Только подумать. И социалисты после этого утверждают, что мы не знаем физического труда.

– Моя тактика борьбы? В социальном плане? Чрезвычайно простая. До примитивизма. Даже африканские дикари умели ее сформулировать. Да-да: у них на озере Виктория есть водопад; когда подъезжаешь – уже за много километров слышен шум; приблизившись – видишь гигантское облако водяной пыли – от неба до земли. Дикари называли это – Мози-са-Тунья, что значит: *дым делает шум*. Вот.

– Вы там бывали, сэр? – интересуется репортер.

– Я бывал в небывалом: это значительно дальше. И вооб-

ще я полагаю – вы записываете? – реальны лишь две силы: шум и ум. И если б когда-нибудь они соединились… Впрочем, давайте на этом кончим.

Барон встает, интервьюеры прячут блокноты и откланиваются.

После этого слуга докладывает: обед подан. Мюнхгаузен спускается в столовую. Среди череды блюд всегда и его любимые жареные утки. Насытившись, барон переходит в кабинет и усаживается в мягкое кресло; пока слуга хлопочет у вытянутых ног барона, меняя штиблеты на пуховые туфли, барон, благодушно щуря глаза, с сытой созерцательностью наблюдает, как лондонский дождь там, за стеклом, заштриховывает зеленый пейзаж парка. Наступает час, который в коттедже сумасшедших бобов принято называть: час послеобеденного афоризма. На пороге, бесшумно ступая, появляется чинная мисс и, выдвинув из угла столик с пишущей машинкой, кладет пальцы на клавиатуру. Мюнхгаузен не сразу приступает к диктанту: сначала он долго сосет свою трубку, передвигая ее из одного угла рта в другой, как бы выбирая, каким углом курить, каким говорить. Курит барон удивительно: сначала сизо-белые вращающиеся сфероиды, потом вкруг них прозрачными сатурновыми кольцами – одно кружит вправо, другое влево – медлительные дымные извития:

– Пишите. Старому лимбургскому сыру никого не жалко, но он все-таки плачет.

– Раньше, чем устрица успеет составить мнение о запахе лимона, ее уже съели.

Уши мисс спрятаны под тугие рыжие пряди, и сидит она, отвернувшись от афоризмов, с глазами в косые линейки дождя, но пальцы стучат по клавишам, дождь стучит по стеклу, – и диктант длится, пока барон, вытряхнув пепел из трубки, не произнесет:

– Благодарю. Завтра – как обычно.

Он пробует приподняться, но дремота отяжелила ему тело, затуманила мысли, – и явь, вместе с рыжеволосой мисс, неслышно ступая, выходит за порог.

А под смеженными веками череда видений: снящийся автомобиль везет Мюнхгаузена по снящимся улицам; они странно безлюдны и немы, и, ни разу не нажав сигнального рожка, Джонни останавливает шуршание шин у колоннады св. Павла. Мюнхгаузен уже опустил ногу к ступеньке, как вдруг собор приходит в движение: голова его под гигантско-круглой шапкой наклоняется, бодая крестом воздух, двускатная спина выгнулась, и чудовище, шевеля всеми своими колокольными языками, кричит: «Сэр, как пройти в Савлы, прямо и не сворачивая?» Расторопный Джонни включил мотор и крутым поворотом руля – назад; но чудовище, шагая двенадцатью гигантскими колоннами и с грохотом волоча свое длинное каменное тулово, – вслед. Коробка скоростей, проскрежетав, швыряет стрелку на максимум. Но чудище, проворно перебирая колончатыми лапами,

все ближе и ближе. Машина – на полном ходу – сворачивает в одну из узких улиц Ист-Энда. Собор пробует протискаться вслед, проталкиваясь прямоуголием каменного плеча в уличную щель. И тут Мюнхгаузен, вскочив на сиденье, кричит в сотни квадратных глаз, протянувшихся справа и слева: «Эй, вы, чего уставились, не пускайте его!» И дома по первому же оклику, послушно придвигая окна к окнам, загораживают собору путь; со вздохом облегчения барон опускается на подушки, но в это время он видит повернувшееся к нему смертельно бледное лицо Джонни: «Что вы наделали, – мы гибнем». И действительно, только теперь барон видит, что ведь дома нищего Ист-Энда, лишенные промежутков, впаяны друг в друга, кирпичи в кирпичи, образуя одну лишь цифрами номеров членимую массу: и как только те позади придвинулись друг к другу, передние кирпичные короба принуждены делать то же – и улица медленно сдвигает стены, грозя расплющить и мчащийся автомобиль, и тех, кто в нем; оси машины – нет-нет – чиркают о стены, скорей, – впереди просвет площади; но поздно – гигантская плющильня зажала бессильно жужжащее авто в затиск многоэтажных коробов, ее стальные крылья и кузов хрустят, как елитры насекомого, попавшего меж земли и подошвы. Ударом ноги Мюнхгаузен вышибает надвигающуюся справа на него оконную раму и впрыгивает внутрь дома. Но бедному Джонни не повезло – он в пролете меж двух окон – улица уперлась кирпичами в кирпичи, – короткий крик, затерявшийся в удары громад о

громады, – все стихло. И вдруг позади: «Стекольщику будете платить вы, мистер». Мюнхгаузен оборачивается – он внутри бедной, но опрятно убранной комнаты; посередине – кухонный стол, за столом над дымящимися мисками пожилой человек без пиджака, костлявая женщина с больным румянцем на скулах и двое мальчуганов; свесив ноги со скамьи, с ложками, увязшими во рту, дети восхищенно разглядывают пришельца. «И должен вас предупредить – стекло подорожало, – продолжает мужчина, размешивая содержимое миски. – Том, пододвинь стул мистеру, пусть присядет».

Но Мюнхгаузен и не думает присаживаться: «Как вы можете сидеть тут, когда Савл в Павлах, улицы нет и вообще ничего нет». Мужчина, к удивлению барона, не удивлен: «Если к ничего прибавить ничего, все равно выйдет ничего. И тому, кому некуда идти, мистер, – зачем ему улица. Кушайте, дети, стынет».

Барон, будто новая стена надвинулась на него, пятится к двери, опрокинув любезно подставленный стул, и по ступенькам: квадрат двора меж четырех стен. «А вдруг и эти тоже?» Скорее под низкие ворота: опять квадрат меж четырех нависших стен; ворота ниже и уже – и снова квадрат меж еще ближе сдвинувшихся стен. «Проклятая шахматница», – шепчет испуганный Мюнхгаузен и тотчас же видит: посреди квадрата – на огромной круглой ноге, вздыбив черную лакированную гриву, шахматный конь. Ни мига не медля, Мюнхгаузен впрыгивает коню на его крутую шею; конь прянул де-

ревянными ушами, и, ловя коленями скользкий лак, Мюнхгаузен чувствует: шахматная одноножка, пригнувшись, прыгает вперед, еще вперед и вбок, опять вперед, вперед и вбок; земля то проваливается вниз, то, размахнувшись шпилями и кровлями, ударяет о круглую пятку коня; но пятка – Мюнхгаузен это хорошо помнит – подклеена мягким сукном, бешеная скачка продолжается: мелькают – сначала площади, потом квадраты полей и клетки городов – еще и еще – вперед, вперед, вбок и вперед; круглая пятка бьет то о траву, то о камень, то о черную землю. Затем ветер, свистящий в ушах, затихает, прыжки коня короче и медленнее – под ними ровное снежное поле; от его сугробов веет холодом; конь, оскалив черную пасть, делает еще прыжок и прыжок и останавливается среди леденящей равнины – подклеенная сукном нога примерзла к снегу. Как быть? Мюнхгаузен пробует понукать: «К g-8 – f-6; f-6 – d5, черт, d5 – b6», – кричит он, припоминая зигзаг «защиты Алехина». Тщетно! Конь отходил свое: деревянная кляча отходит. Мюнхгаузен плачет от гнева и досады, но слезы примерзли к ресницам, от холода нельзя устоять и секунды – и, растирая ладонями уши, он шагает – вперед, вперед и вбок, и снова вперед, еще вперед и вбок, разыскивая хоть единое пятнышко на белоснежной скатерти, аккуратно, без морщинки, застилающей огромный круглый, лишь горизонтом отороченный, стол. И вдруг он видит: там, впереди, скользя легкой тенью, какая-то длинная из острых готических букв – колючая и верткая многоножка.

Мюнхгаузен ловит глазами черную вереницу букв и прочитывает их: это его имя. Изумление обездвижило Мюнхгаузена. Тем временем осьмнадцатибуквое БАРОН фон МЮНХГАУЗЕН не теряет времени: выгибая слоги, оно скользким ползом внезапно к выставившемуся из земли пограничному столбу: на столбе доска, на доске знаки. Мюнхгаузен, с трудом отрывая примерзающие подошвы, вслед улепетывающему имени. Но имя уже доползло до столба и шлагбаума, занесшего красные и белые полосы над белой равниной, и оборачивается, чтобы взглянуть на преследователя – далеко ль? В это время – Мюнхгаузен ясно видит – шлагбаум быстро опускается: бело-красные полосы ударили по восьмой букве, и имя, как змея, рассеченная ножом, мучительно выгибает разлученные слоги: МЮНХГАУЗЕН – по ту сторону столба, БАРОНФОН – по эту. Став на чернилоточащем Н, бедное БАРОНФОН мечется из стороны в сторону, не зная, что предпринять. Глаза Мюнхгаузена от букв на снегу к знакам пограничного столба: СССР. С минуту он стоит, раскрыв рот, потом мысль: бросить имя и бежать. Но подошвы башмаков успели вмерзнуть в снег. Он тянет было правую ногу, потом дергает левую – вдруг пограничное четырехбуквие шевельнулось, в ужасе Мюнхгаузен выпрыгнул из своих башмаков и в одних носках по ледяному насту; холод хватает за пятки, в отчаянии он мечется из стороны в сторону и… просыпается.

Правая туфля сползла с ноги и под пяткой прохладный

вощеный квадрат паркета. О стекла кабинета шуршит дождь, но тонкие штрихи его струй застлало ночью. Кукушка на камине кричит семь раз. Барон фон Мюнхгаузен протягивает руку к колокольчику.

Коттедж сумасшедших бобов зажигает огни и готовится к встрече вечерних гостей. Снизу о дубовую дверь стучит и снова стучит молоток: сначала появляется король биржи, через минуту – дипломатический туз. Затем – старая леди, посвятившая себя спиритизму; когда, наконец, над порогом возникают уныло свисшие усы лидера рабочей партии, Мюнхгаузен, радушно подымаясь навстречу, восклицает с видом удачливого игрока:

– Коронка до валета. Прошу к нам в игру. Вас только и недоставало.

Но сверх тех, которых недоставало, приезжает и бывший министр без портфеля, которого уютный коттедж встречает, впрочем, столь же радушно и тепло.

Обмениваются новостями, не забывая ни альковов, ни парламента, гадают о предстоящих назначениях, о событиях в Китае; с министром без портфеля барон беседует об одном портфеле без министра, а дама-спиритка рассказывает:

– Вчера у Питшлей мы вызывали дух Ли-Хунг-Чана: «Дух, если ты здесь, стукни раз, если нет – стукни два раза». И представьте, Чанг стукнул два раза.

В это время внизу у двери двойной удар молотка.

– Неужели Ли? – вскакивает хозяин, готовый радушно

встретить призрака.

Но на пороге слуга.

– Его святейшество епископ Нортумберлендский.

И через минуту рука в перстнях благословляет присутствующих.

Беседа продолжается. Слуга приносит тартинки, чай в фарфоре и тонконогие рюмочки с кюмелем. Некоторое время слова кружат от ртов к ртам, затем святейшество, отодвинув чайную чашечку, просит хозяина что-нибудь рассказать. С разрешения дамы барон Мюнхгаузен берет в руки трубку и, похрипывая изредка чубуком, приступает к рассказу. И тотчас же внимательно наставленные уши слушателей начинают вянуть: сначала у краев, потом по раковинному хрящу – внутрь и внутрь и, свертываясь, как листья по осени, ухо за ухом, бесшелестно и тихо, одно за другим – на пол. Но дисциплинированный слуга с метелкой и скребком, появившись за спинами гостей, неслышно сметает уши в скребок и уносит за дверь.

– Случай этот имел место во время моего последнего пребывания в Риме, – шевелит клубы дыма голос рассказчика, – было свежее, осеннее утро, когда я, спустившись со ступенек кафедры св. Петра, перешел площадь, охваченную колоннадою Бернини, и повернул влево в узкую Борго сан-Анджело. Если вам приходилось там бывать, вы, вероятно, помните пыльные окна с «antichita» [10] и лавчонки особого рода комис-

---

[10] Древностями *(итал.)*.

сионеров, которые, получив у вас вещь и несколько сольди, обязуются через неделю возвратить ее вам без сольди, но с папским благословением. Поскольку благословение присутствует в вещи невидимо, заказы выполняются бойко и всегда в срок. Тут же можно приобрести за недорогую цену амулет, зуб змеи, исцеляющий от лихорадки, коралловые джеттатуры от сглазу и полный набор прахов – от св. Франциска до св. Януария включительно, – аккуратно рассыпанный по аптечным мешочкам. Я завернул в одну из таких лавок и спросил прах св. Никто. Хозяин лавки пробежал пальцами по бумажным мешочкам: «Может быть, синьор удовлетворится св. Урсулой?» Я отрицательно покачал головой: «Я мог бы услужить синьору св. Пачеко: чрезвычайно редкий прах». Я повторил свое: «Der heilige Niemand» [11]. Хозяин был, очевидно, честным человеком – он развел руками и с грустью признался, что требуемого в его лавке нет. Я повернулся было к двери, как вдруг внимание мое привлек один из предметов, стоящий в углу на полке: это была крохотная черная коробочка, из-под полуоткинутой крышечки которой торчали желтые космы всклоченной пакли. «Что это?» – обернулся я к прилавку, и услужливые пальцы прахопродавца тотчас же пододвинули товар. Оказалось, это был кусок недогоревшей пакли, участвовавший в ритуале апостолизирования Пия X. Как это всем известно, при посвящении папы над тонзурой избранника сжигают кусок пакли, произнося сакраменталь-

[11] Святой Никто *(нем.)*.

ное «sic transit gloria mundi» [12]. И вот, как клялся мне хозяин лавки, которому я не имел основания не верить, – во время совершения этой церемонии над Пием, как раз в момент произнесения сакраментальных слов, внезапным ветром унесло кусок пакли, который ему, собирателю раритетов, и удалось приобрести за некую сумму: «Синьор может сам убедиться, – раскрыл прахопродавец коробочку, – что пакля обожжена у краев и пахнет гарью». Это было действительно так. Я спросил о цене. Он назвал круглую цифру. Я ее пополам. Он сбавил – я прибавил: в результате коробочка с папской паклей очутилась в моем кармане. Я же – двумя часами спустя – в поезде Рим – Генуя. Мне, видите ли, не хотелось пропустить очередного конгресса христианских социалистов, заседания которого были назначены как раз в это время в генуэзском Palazzo Rosso: для любителя неосуществимостей, к каким я позволю себя причислить, посещение подобного рода собраний бывает иной раз поучительным. Окна в вагоне были открыты; сырой воздух марены, затем ближе к Генуе, ряд туннелей, смена духоты сквозняком, – меня продуло, и уже в середине первого же заседания христиан-социалистов я почувствовал недомогание. Нужно было принять лечебные меры. Сунув руку в карман, я наткнулся на коробочку и вспомнил, что вата, а за неимением ее и пакля, вложенная в уши, радикальное средство от простуды. Я открыл черную крышечку и сунул в левое и пра-

---

[12] Так проходит мирская слава *(лат.)*.

вое ухо по клочку папской ваты. И тотчас же… О, если бы вы знали, что произошло! Ораторы говорили, как и до пакли, рты шевелились, артикулируя речи, но ни единого звука, кроме тиканья моих часов, не доходило до моих барабанных перепонок. Я ничего не понимал: если оглох, то каким образом, не слыша слов, слышу тиканье маятника; если пакля, закупорившая мне уши, глушит звуки, ослабляет слышание, то каким образом громкие голоса тише еле слышимого хода часов. Расстроенный, я покинул собрание, прошел мимо беззвучно говорящих ртов и был радостно удивлен, когда, очутившись на улице, еще не успев сойти со ступенек подъезда, вдруг я сквозь паклю услышал: «mancia» [13]. Слово было сказано старухой-нищенкой. Ясно, пакля прекратила свое тормозящее действие. Навстречу мне из грязных лохмотьев старушечья ладонь, но я, торопясь проверить свой вывод, бросился назад в зал заседаний. Я спешил, но вывод был еще поспешнее: опять перед глазами шевелящиеся рты, но изо ртов ничего, кроме артикулированной тишины. Что за дьявол – простите, ваше святейшество, беру дьявола обратно – что бы это могло значить? Строю гипотезы вслед за гипотезами и вдруг вспоминаю, что пакля, торчащая из моих ушей, особенная, сакраментальная, отгоняющая вместе с дымом и всю gloria mundi; и что сквозь нее не пройти ничему преходящему, пекущемуся о славе мирской. Несомненно, это было так. Я не переплатил за мою покупку прахоторгов-

[13] Подаяния *(итал.)*.

цу с Борго сан-Анджело: но только почему же речи адептов христианского социализма вязнут в моей вате и не пролезают в слух?

Погруженный в тягостное размышление, я возвратился в номер гостиницы. К следующему заседанию я решил усовершенствовать мой фильтр, отцеживающий христиан от прихристней и не пропускающий сквозь свои поры никакой тщеты. Я рассуждал так: если ни одно греховное слово не в силах протиснуться сквозь освященную паклю, застревая в тесном сплетении ее нитей, то что должно произойти, если сухим и жестким фибрам пакли придать некоторую *скользкость*? Должно будет произойти, и это вполне естественно, следующее: слова будут по-прежнему по своей медлительности и грубости (все-таки из воздуха) застревать и в скользкой пакле, но мыслям, скрытым в них, вследствие их эфирности и утонченности, наверное, удастся-таки проскользнуть меж скользких волокон и впрыгнуть в слух. Вынув из ушей паклю, я внимательно осмотрел оба комка: наружная поверхность их была под грязноватым налетом. Очевидно, след от докладов. Счистив эту, так сказать, стенограмму, я, прежде чем вложить паклю назад в левое и правое ухо, спустил ее в ложечку с жиром, обыкновенным, растопленным на свечке гусиным жиром. Часы напоминали мне, что через какие-то минуты заседание конгресса возобновится. Проходя по кулуарам, я слышал смутные голоса из зала: значит, уже началось. Приоткрыв дверь, я просунул запаклеванные уши в

зал: конгресс был в сборе – на кафедре стоял благообразного вида человек в корректном, застегнутом на все пуговицы сюртуке и, елейно улыбаясь, площадно ругался. В недоумении я оглядел ряды тех, к кому адресовалась ругань: зал благоговейно слушал, и сотни голосов одобрительно качались в такт оскорблениям, сыпавшимся на эти же самые головы. Лишь изредка речь прерывалась аплодисментами и оратору кричали: «кретин», «льстюга», «флюгер», «подлец», – в ответ оратор прикладывал руку к груди и благодарно кланялся. Не в силах долее терпеть, я заткнул уши… то есть как раз наоборот, ототкнул их: оратор говорил о заслугах съезда в деле борьбы с классовой борьбой: отовсюду слышалось – «браво», «вашими устами истина», «как метко и тонко». Только теперь я стал понимать, что несколько грамм пакли, спрессованной внутри моей коробочки, стоят доброго философского метода. И я решил процедить сквозь мою деглориоризирующую паклю весь мир. Набросав план опытов, я в ту же ночь отбыл с экспрессом, направляясь в…

И рассказ продолжается. Кукушка кричит одиннадцать и двенадцать и только поздно за полночь трубка Мюнхгаузена вытряхивает пепел, а хозяин, досказав, провожает гостей до холла. Рабочий день кончился. И вкруг коттеджа сумасшедших бобов, с каждым вечером ширя и ширя разлет своих линий, завиваются новые и новые спирали: тонкие усики их уже за Ла-Маншем, грозя додлинниться до самых дальних меридианов земли. Афоризмы барона, он это знает, на пю-

питрах обеих палат, рядом со стенограммой и повесткой дня, рассказы и старинные историйки, начатые у сизого тягучего дымка трубки, дымными туманами оползают коттеджи сумасшедших бобов, пробираясь под все потолки, от языка к языку, и в неслышавшие уши. И, шаркая туфлями к теплой постели, барон смутно улыбается и бормочет:

– Мюнхгаузен спит, но дело его не смыкает глаз.

# Глава III
# Ровесник Канта

Хотя барон фон Мюнхгаузен предпочитал туфли штиблетам и досуг работе, но вскоре пришлось проститься с послеобеденной дремой и домоседством. Дым от старой трубки легко было рассеять ладонью, но «сделанный» дымом шум нарастал со стихийностью океанского прибоя. Телефонное ухо, раньше спокойно свисавшее со стальных вилок в кабинете барона, теперь неустанно ерзало на своих подставках. Дверной молоток без устали стучался в дубовую створу двери, телеграммы и письма лезли отовсюду, пяля свои круглые штемпеля на Мюнхгаузена: среди них рассеянно скользящие глаза барона наткнулись как-то на элегантно оттиснутое – старинным шрифтом по картону – извещение: группа почитателей просит высокоуважаемого барона Иеронимуса фон Мюнхгаузена посетить собрание, посвященное двухсотлетию деятельности высокопочитаемого барона. Юбилейный комитет. Сплендид-отель. Дата и час.

Парадные покои Сплендид-отеля иззолотились множеством электрических огней. Зеркальная дверь подъезда, бесшумно вращаясь, впускала новых и новых гостей. В центральном круглом зале задрапированный герб Мюнхгаузенов: по диагонали щита пять геральдических уток – клюв, хвост, клюв, хвост, клюв – летели, нанизанные на нить;

из-под последнего хвоста латинскими литерами: mendace veritas [14].

Вдоль длинных, древнеславянским мыслете расставленных столов – фраки и декольте. Члены дипломатического корпуса, видные публицисты, филантропы и биржевики. Уже много раз прозвенели бокалы и восторженные «гип» вслед за пробками взлетали к потолку, когда поднялся юбиляр. Ему принадлежала реплика:

– Леди и джентльмены, – начал Мюнхгаузен, оглядывая примолкшие столы, – в Евангелии сказано: «В начале было слово». Это значит: всякое дело нужно начинать словами. Я говорил это на последней международной мирной конференции, позволю себе повторить и перед настоящим собранием. Мы, Мюнхгаузены, всегда верно служили фикции: мой предок Гейно участвовал, вместе с Фридрихом II, в крестовом походе, а один из моих потомков был членом либеральной партии. Что можно против этого возразить? Одна и та же историческая дата привела нас в мир: меня и Канта. Как это, вероятно, известно достойному собранию, мы с Кантом почти ровесники, и было б несправедливо в этот торжественный для меня день не вспомнить и о нем. Конечно, мы кое в чем расходимся с создателем «Критики разума»: так, Кантово положение: «Познаю лишь то, что привнесено мною в мой опыт», – я, Мюнхгаузен, интерпретирую так: привношу, а другие пусть попробуют познать привнесенное мной,

---

[14] Лживая правда *(итал.)*.

если у них хватит на это опыта. Но в основном наши мысли не раз встречались – так, наблюдая, как взвод версальцев, вскинув ружья, целился в обезоруженных коммунаров (это было у стен Пер-Лашеза), я не мог не вспомнить один из афоризмов кенигсбергского старца: «Человек для человека – цель и ничем, кроме цели, быть не должен». Мистер Шоу, – повернулся оратор к краю заставленного цветами и бокалами мыслете, – в одной из своих талантливых пьес утверждает, что мы недолговечны лишь потому, что не умеем *хотеть* своего бессмертия. Но я, да простит меня мистер Бернард, иду гораздо дальше в отыскании секрета бессмертия: не нужно самому хотеть продления своей жизни в бесконечность, достаточно, чтобы *другие* захотели мне, Мюнхгаузену, долгой жизни, и вот я (голос оратора дрогнул) силой ваших хотений вступаю на путь Мафусаила. Да-да, не возражайте, леди и джентльмены, в ваших руках, протянутых мне навстречу, не только бокалы: вы открыли мне текущий счет на бытие. Сегодня я списываю со счета двести. В дальнейшем – как угодно: подтвердите счет или закройте его. В сущности, стоит вам вытряхнуть меня из зрачков, я нищ, как само ничто.

Но последние слова были смыты волной аплодисментов, хрусталь зазвенел о хрусталь, десятки ладоней искали ладонь юбиляра, он еле успевал менять улыбки, кланяться и благодарить. Затем столы к стенам, скрипки и трещотки заиграли фокстрот, а юбиляр, сопровождаемый несколькими дымящимися лысинами, проследовал мимо танцующих пар

в курительную комнату. Тут кресла были сдвинуты в тесный круг и некое дипломатическое лицо, наклонившись к уху юбиляра, сделало конфиденциальное предложение. Момент, как это будет видно из дальнейшего, был знаменателен. В ответ на предложение брови Мюнхгаузена поползли вверх, а указательный палец с лунным камнем на третьей фаланге скользнул по краю уха, как бы пробуя потрогать слова на ощупь. Тогда лицо, придвинувшись еще ближе, назвало некоторую цифру. Мюнхгаузен колебался. Лицо привесило к цифре ноль. Мюнхгаузен все еще колебался. Наконец, выйдя из раздумья, он вщурился в опустившийся к глазам смутно мерцающий овал лунного камня и сказал:

– Я уже бывал в тех широтах лет полтораста тому назад и не знаю, право… вы толкнули маятник – он качается меж да и нет. Конечно, я не такой человек, которого можно испугать и, так сказать, вышибить из седла, и даже опыт первого моего путешествия в страну варваров, чье имя только что здесь прозвучало, сэр, дает достаточный материал для суждения и о них, и обо мне. Кстати, если не считать кое-каких мелких публикаций, материал этот до сих пор остается неоглашенным. Знакомство мое с Россией произошло еще в царствование покойной приятельницы моей императрицы Екатерины II, впрочем, я отклоняюсь от вопроса, поставленного в упор.

Но дипломатическое лицо, верно учитывая возможности, сделало знак соседям, и те изъявили в лицах восторженное внимание:

– Просим.

– Прелюбопытно бы узнать…

– Я весь внимание.

– Слушаем.

Кто-то из недослуживших, взмахнув фрачным двуххвостием, побежал к дверям и замахал руками на танцующих: фокстрот отодвинулся в более отдаленную залу. Барон начал:

– Когда наш дилижанс подъезжал к границе этой удивительной страны, пейзаж резко изменился. По эту сторону пограничного столба цвели пышным цветом деревья, по ту его сторону – расстилались снежные поля. Пока перепрягали лошадей, мы переменили наши легкие дорожные плащи на меховые шубы. Шлагбаум поднялся и… но я не стану рассказывать о приключении с песенкой, замерзшей внутри рожка нашего возницы, о случае с лошадью, повисшей на колокольне, и множестве других, – всякий культурный человек знает их не хуже, чем свой бумажник или, скажем, отченаш, – остановим колеса дилижансу у въезда в столицу северных варваров, тогдашний Петербург. Надо вам сказать, что чуть ли не с предыдущим дилижансом в город святого Петра приехал небезызвестный в свое время философ, некий Дени Дидро: это был – на мой взгляд – пренесносный кропатель философем, выскочка из мещан и притом с явным материалистическим уклоном. Я, как вам известно, не терпел и не терплю материалистов, людей, любящих напоминать – кстати и

некстати, – что благоуханная амбра на самом деле экскремент кашалота, а букет цветов, в который прячет лицо прелестная девушка, на самом деле лишь связка оторванных половых органов растений. Кому нужно это дурацкое *на самом деле*? Не понимаю. Но к делу. Мы были приняты при дворе оба: Дидро и я. Не скрою: вначале императрица благоволила как будто больше, вы только представьте себе, к этому невоспитанному выскочке: Дидро мог, поминутно нарушая этикет, расхаживать взад и вперед перед самым носом коронованной собеседницы, перебивать ее и даже в пылу спора хлопать по коленке. Екатерина, милостиво улыбаясь, выслушивала его нелепейшие проекты: об уничтожении пьянства в России, о борьбе с взяточничеством, реформировании мануфактур и торговли и рационализации рыбных промыслов на Белом море. Я спокойно, отодвинутый в тень, ждал своего случая и своего часа. И как только этот пачкун в платье, забрызганном чернильными кляксами, принялся, по соизволению царицы, за расширение рыбных промыслов, я тоже перешел от замыслов к делу: у местных охотников я приобрел несколько изловленных капканами лисиц и начал за глухими и высокими стенами заднего двора усадьбы, где я жил, свои – вскользь уже описанные в моих мемуарах, вы помните? – опыты принудительного выселения лисиц из их шкур. Все шло как нельзя лучше, притом с соблюдением полной тайны. И пока Дидро пробовал ловить рыбу из замерзшего моря, я, явившись к царице, уже успевшей несколько разочароваться

в своем любимце, почтительнейше просил ее присутствовать при одном показательном опыте, который может произвести переворот в пушном промысле. В назначенный день и час царица и ее двор прибыли ко мне на задний двор: четверо дюжих гайдуков с плетьми в руках и лисица, привязанная за хвост к столбу, уже были готовы к их появлению. По данному мною знаку плети заходили вверх и вниз, и животное, рванувшись раз и другой, выпрыгнуло из своей кожи, тотчас же попав в руки пятого гайдука, только этого и дожидавшегося. Кто читал Дарвина, джентльмены, тот знает удивительную приспособляемость животных к среде. Выпрыгнув на мороз, голая лисица стала тотчас же покрываться мелкими шерстинками, шерстинки – тут же на глазах – длиннились в шерсть, и вскоре, обросши новой шубой, бедняжка перестала дрожать, но, увы, лишь затем, чтоб снова очутиться у столба, под нахлестом плетей. И так – вы представляете себе – до семи шкур, пока животное, так сказать, не выпрыгнуло и из жизни. Приказав убрать падаль, я разложил семь шкур в ряд по снегу и, склонившись, сказал: «Семьсот процентов чистой прибыли». Императрица много смеялась, и я был допущен к руке. Затем мне было предложено составить письменный доклад о методах и перспективах пушной промышленности, что и было сделано незамедлительно. Начертав на докладе «гораздо», ее величество, собственною рукою зачеркнув всюду «лисицы, лисицам, лисиц», изволила проставить: «люди, людям, людей» и «исправленному ве-

рить. Екатерина». Оригинальный ум, не так ли?

Рассказчик скользнул глазами по кругу из улыбок и продолжал:

– После этого нос господина Дидерота вытянулся, как если б его ущемило табакеркой за миг до приятнейшей понюшки. Парижский мудрец, привыкший быть запанибрата и с истиной и с царицей, остался при одной истине. Общество вполне подходящее для подобного рода парвеню, хе-хе. Бедняге не на что было убраться восвояси – пришлось продавать за какие-то там сотни ливров библиотеку: приобрела ее императрица. На следующий же день, явившись на прием, я презентовал ее величеству тетрадь с описанием моих странствий и приключений. Прочтя, она сказала: «Это стоит библиотек». Мне были пожалованы поместья и сто тысяч душ. Желая отдохнуть от придворной лести и некоторых обстоятельств более деликатного характера, о которых умолчу, заметив лишь, что мне не слишком нравятся полные женщины, – я отправился смотреть свои новые владения. Странен, скажу я вам, русский пейзаж: среди поля, как грибы под шляпками, семейка кое-как прикрытых кровлями курных изб; входят и выходят из избы через трубу, вместе с дымом, над колодцами, непонятно для чего, длинные шлагбаумы, притом часто в стороне от дорог; бани, в отличие от крохотных хибарок, строятся в семь этажей, называемых у них «полками». Но я отвлекаюсь от темы. Среди просторов чужбины мне часто вспоминался мой родной Баденвердер:

острые аксан-сирконфлексы его черепичных кровель, старые полустертые буквы девизов, вчерненных в известь стен. Ностальгия заставляла меня беспокойно блуждать, лишь бы убить время, с ружьем через плечо по кочкам болот и тростниковым зарослям, ягдташ мой никогда не бывал пуст, – и вскоре слава обо мне, как об охотнике, – кое-что попало в мои мемуары, но незачем повторять то, что знает наизусть любой школьник, – прошла от Белых вод до Черных. Но вскоре на смену бекасам и куропаткам – турки. Да-да, была объявлена война с турками, и мне пришлось, повесив свой охотничий штуцер на гвоздь, взять в эти вот руки, говоря фигурально, двести тысяч ружей, не считая фельдмаршальского жезла, от которого я, помня наши прежние отношения с царицей, не счел возможным отказаться. После первого же сражения мы не видели ничего, кроме неприятельских спин. В битве на Дунае я взял тысячу, нет, две тысячи пушек; столько пушек, что некуда было их девать, – коротая боевые досуги, мы стреляли из них по воробьям. В одно из таких боевых затиший я был вызван из ставки в столицу, где на меня должны были возложить знаки ордена Василия Блаженного из четырнадцати золотых крестов с бриллиантами: верстовые столбы замелькали мимо глаз быстрей, чем спицы колес двуколки, к которым я иногда наклонялся с сиденья. Въезжая в столицу на дымящихся осях, я велел замедлить конский бег и, приподняв треуголку, проехал мимо высыпавших мне навстречу толп к дворцу. Кланяясь направо и налево, я

заметил, что все россияне были без шапок; поначалу это показалось мне естественным проявлением чувств по отношению к триумфатору, но и после того, как церемония въезда и принятия почестей была закончена, эти люди, несмотря на холодный ветер с моря, продолжали оставаться с обнаженными головами. Это показалось мне несколько странным, но не было времени на расспросы, снова замелькали версты – и вскоре я увидел ровные шеренги моих армий… – выстроившиеся для встречи вождя. Подъехав ближе, я увидел: и эти без шапок. «Накройсь», – скомандовал я, и, тысяча дьяволов, команда не была выполнена. «Что это значит?!» – повернул я взбешенное лицо к адъютанту. «Это значит, – приложил он дрожащие пальцы к непокрытой голове, – что мы врага шапками закидали, ваше высокопревосх…»

В ту же ночь внезапная мысль разбудила меня под пологом фельдмаршальской палатки. Я встал, оделся и, не будя ординарцев, вышел на линию передовых постов; два коротких слова – пароль и лозунг – открыли мне путь к турецкому лагерю. Турки не успели еще выкарабкаться из-под груд засыпавших их шапок, и я беспрепятственно добрался до ворот Константинополя, но и здесь, так как многие из шапок дали перелет, все, по самые кровли, было засыпано шапочным градом. Придя к дворцу султана, я назвал себя и тотчас же получил аудиенцию. План мой был чрезвычайно прост: скупить все шапки, засыпавшие войска, жителей, улицы и пути. Султан Махмуд сам не знал, куда девать как снег на го-

лову свалившиеся шапки, и мне удалось скупить их за бесценок. К тому времени осень превратилась в зиму, и население России, оставшись без шапок, мерзло, простужалось, роптало, грозя бунтами и новым смутным временем. Правительство не могло опереться и на знать: лысые головы сенаторов мерзли в первую голову, и горячая любовь к престолу заметно охлаждалась с каждым днем. Тогда я погрузил корабли и караваны с моими шапками и через нейтральные страны направил в мириадоголовую Россию; товар шел чрезвычайно бойко, и чем ниже падала ртуть в термометрах, тем выше ползла цена.

Вскоре миллионы шапок вернулись к своим макушкам, и я стал самым богатым человеком в разоренной войной и контрибуциями Турции. К тому времени я успел сдружиться с султаном Махмудом и решил вложить свои капиталы в дело восстановления страны. Однако дворцовые интриги заставили султана вместе со мною и гаремом переменить резиденцию: мы переехали в Багдад, богатый если не золотом и серебром, то сказками и преданиями. И я опять затосковал о моем далеком, пусть убогом, но близком сердцу Баденвердере. Когда я стал просить у моего венчаного друга отпустить меня на родину, султан, роняя слезы в бороду, говорил, что не переживет разлуки. Тогда, желая, по возможности, укоротить время предстоящих нам разлук, потому что и я не мог жить, хоть изредка не навещая родового гнезда моих дедов и прадедов, – я решил соединить Баденвердер и Багдад сталь-

ными параллелями рельс. Так возник, увы, не скоро дождавшийся своего осуществления, проект Багдадской железной дороги. Мы почти уже приступили к работе, но…

Барон вдруг прервал свой рассказ и замолчал, вперив глаза в мерцающий глаз лунного камня на указательном пальце правой руки.

– Но почему же вы остановились на полдороге? – сорвалось с чьих-то уст.

– Потому, – обернулся на голос барон, – что в то время железная дорога, видите ли, еще не была изобретена. Всего лишь.

По кругу пробежал легкий смех. Но барон оставался серьезным. Наклонившись к дипломатическому лицу, он тронул лицу колено и сказал:

– Воспоминания овладели мной. Согласен. Еду. Как это говорит их пословица: «Когда русский при смерти, немец чувствует себя вполне здоровым». Хе-хе…

И, подняв голос навстречу протянувшимся отовсюду ушам, добавил:

– О, наша геральдическая утка никогда еще не складывала крыльев.

Затем последовали рукопожатия, шарканье ног, а через минуту швейцар у вращающихся стекол подъезда Сплендид-отеля кричал:

– Авто барона фон Мюнхгаузена!

Щелкнула дверца, сирена рванула воздух, и кожаные по-

душки, мягко раскачиваясь, поплыли в торжественную, иллюминированную звездами и фонарями, ночь.

# Глава IV
# In Partes Infidelium [15]

Оферта и акцепт получили деловое оформление. Барон уезжал в Страну Советов в качестве корреспондента двух-трех наиболее видных газет, поставляющих политическое кредо в семизначном числе экземпляров самым отдаленным меридианам Соединенной империи. От акцептанта требовалось возможно строгое инкогнито, вследствие чего количество цилиндров, черневших под окнами вагона, предоставленного барону фон Мюнхгаузену, было весьма ограничено, а кодаки и интервьюеры и вовсе изъяты. За минуту до отправного сигнала барон показался на площадке вагона: на голове у него круглилась поношенная серая кепка, из-под пальто-клеша поблескивала кожаная куртка, на ногах – сапоги гармоникой. Костюм вызвал одобрительное качание цилиндров, и только епископ Нортумберлендский, пришедший взглянуть на барона, быть может, в последний раз, вздохнул и сказал: In partes infidelium, cum Deo [16]. Amen.

Дипломатическое лицо, подтянувшись на ступеньку, сделало знак отъезжавшему, – тот нагнулся.

– Дорогой барон, не шутите с перлюстраторами. Подпи-

---

[15] В чужие края (лат.).

[16] С Богом *(лат.)*.

сывайте чужим именем, как-нибудь там…

Барон кивнул головой:

– Понимаю: «Зиновьев» или…

Но поезд, лязгнув буферами, тронулся. Лицо подхватили под локти, цилиндры приподнялись над головами, занавеска за уплывающим окном задернулась, – и недосказанные слова вместе с недосказавшим – отправились.

Дувр. Ла-Манш. И снова задернутая занавеска – мимо гудящих дебаркадеров, – вычитание километров из километров.

Только один человек на всем континенте знал о дне и часе, когда Мюнхгаузен будет проезжать через Берлин. Это был Эрнст Ундинг. Но письмо, отправленное ему из Лондона, не сразу нашло адресата. Венец сонетов, над которым работал в это время поэт, выглядел, словно он был из терна – в мозг, и платил бессонницами, отнюдь не пфеннигами. И Ундинг, после тщетных препирательств с голодом, принужден был принять предложение косметической фирмы «Веритас» разъезжать в качестве агента фирмы по городам и городкам Германии. Письмо несколько дней кряду гонялось за ним, обрастая штемпелями, пока адресат не был настигнут им в городе Инстербурге на линии Кенигсберг – Эйткунен, в тридцати с чем-то километрах от границы. Письмо пришло как раз вовремя. Сопоставив цифры путеводителя с данными письма, Ундинг легко высчитал, что берлинский поезд, с которым должен ехать Мюнхгаузен, пройдет сегодня в де-

вять тридцать вечера мимо Инстербурга. Карманные часы показывали восемь пятьдесят. Боясь опоздать к встрече, Ундинг оделся к вокзалу. В назначенное время берлинский экспресс подкатил к перрону. Ундинг быстро прошагал вдоль поезда – от локомотива к хвосту и обратно, – заглядывая во все окна: Мюнхгаузена не было. Через минуту поезд опростал рельсы. В недоумении Ундинг отправился в станционное бюро: тот ли поезд и когда следующий. Бюро ответило: тот, следующий дальнего следования к границе через два часа с минутами. Ундинг заколебался: дела вынуждали его с десятичасовым в Кенигсберг – в кармане уже лежал билет. Повертев в руках картонный прямоугольничек, он прокомпостировал его в кассе и, сев на скамью внутри вокзала, стал следить глазами кружение часовой стрелки на стене. Он ясно представлял себе близившуюся встречу. Окно вагона упадет вниз, над ним протянутая рука Мюнхгаузена – длинные костистые пальцы с лунным бликом на указательном; ладони встретятся, и он, Ундинг, скажет, что если б в мире и не было иной реальности, кроме этого вот рукопожатия, то… За стеной загрохотало: экспресс. Ундинг, стряхнув мысли, бросился к выходу на перрон: надвигающиеся огни паровоза, шипение тормозов – и снова вдоль вагонов, до фонаря, красным карбункулом выпятившегося с последней стенки последнего вагона: ни одно из окон не упало вниз, ничей голос не окликнул, ничья рука не протянулась навстречу руке. Ударило медь о медь – и снова голые рельсы. Поэт Ундинг долго

стоял на ночном перроне, обдумывая ситуацию: было совершенно ясно – Мюнхгаузен *изменил маршрут*.

Наутро, сидя в дешевом номере одной из кенигсбергских гостиниц, Ундинг набросал стихи, в которых говорилось о длинном, в сорок-пятьдесят вагонов-годов, поезде, груженном жизнью, годы, лязгая друг о друга, берут крутые подъемы и повороты; равнодушные стрелки переводят с путей на пути, кровавые и изумрудные звезды гороскопов пророчествуют гибель и благополучия, пока катастрофа, разорвав все сцепы годов с годами, не расшвыряет их врозь друг от друга, кромсая и бессмысля, по насыпи вниз.

После этого, уж если пользоваться образами Ундинга, прокружили дни одного года, лязгнув буферами, стал надвигаться следующий с календарной пометой поверх пломбированной двери «1923», когда имя Мюнхгаузена, исчезнувшее со столбцов всех газет мира, снова появилось на первых страницах официозов Англии и Америки. От этого огромные тиражи их гигантизировались. Впрочем, не только тиражи: и глаза людей, раскупавших корреспонденции барона Мюнхгаузена, неизменно расширялись, как если б в его сообщениях был атропин. И только одна пара глаз, наежившаяся колючими ресницами, внутри красных каемок век, встретившись с подписью Мюнхгаузена, сузила зрачки и дернула бровью. Чьи они были, эти два недоверчивых глаза, говорить излишне.

# Глава V
# Черт на дрожках

Тем временем строки мюнхгаузиад, как селитренные нити огонь, перебрасывали вновь вспыхнувшее имя от свечи к свече, и вскоре вся увитая мишурой и путаницей, блесткой канители, мировая пресса оделась, как рождественская елка, в желтые язычки. Еще неделя, другая, месяц – и имени барона стало тесно в газетных листах: выскочив из бумажных окладышей, оно ползло на афишные столбы и качалось буквами световых реклам – по асфальтам, кирпичу и плоским доньям туч. Афиши возвещали: барон фон Мюнхгаузен, только что вернувшийся из Страны Советов, прочтет отчет о своем путешествии в большом зале Королевского Общества в Лондоне. Кассы осаждались толпами, но внутрь старинного здания на Пикадилли вошли лишь избранные.

В обещанный афишами час на кафедре появился Мюнхгаузен: рот его был еще спокойно сжат, но острый кадык меж двух углышков крахмального воротника слегка шевелился, как пробка, с трудом сдерживающая напор шампанского. Долгий грохот аплодисментов переполненного зала заставил лектора склонить голову и ждать. Наконец аплодисменты утихли. Лектор обвел глазами круг: у локтя стакан и графин с водой, слева экран для волшебного фонаря, прислоненная к экрану лакированная указка, похожая на

непомерно раздлинившийся маршальский жезл. И отовсюду – справа, слева и спереди навстречу словам сотни и сотни ушных раковин; даже мраморные Ньютон и Кук, выставившись из своих ниш, казалось, приготовились тоже заслушать доклад. К ним-то и обратил барон Иеронимус фон Мюнхгаузен свои первые слова.

## 1

– Если некогда капитан Кук, отправившийся открывать дикарей, был ими съеден, то, очевидно, мои паруса попали под удар более милостивых ветров: как видите, леди и джентльмены, я жив и здоров (легкое движение в зале). Великий британский математик, – протянул оратор руку к нише с Ньютоном, – следя падение яблока, оторвавшегося от ветки, перечислил движение сфероида, называемого «земля», этого гигантского яблока, некогда тоже оторвавшегося от солнца; слушая на ночных перекрестках Москвы их распеваемую всеми и каждым революционную песнь о «яблочке», я всякий раз пробовал понять, куда же оно, в конце концов, покатилось. Уточню: и докатилось. Но к фактам. Отправляясь в страну, где все, от наркома до кухарки, – правят государством, я решил так или иначе разминуться с русской таможней; не только в голове, но и в кармане моей куртки я вез кое-какие слова, не предназначенные для осмотра. До Эйткунена я не предпринимал никаких шагов. Но ко-

гда вагон, в котором я находился, проехав крохотное буферное государствьице, собирался ткнуться буферами в границу РСФСР, я решил устроить пересадку: с рельсов на траекторию. Как вам, вероятно, известно, леди и джентльмены, я умел в молодости объезжать не только диких коней, но и пушечные ядра. У меня, не считая содержимого моих карманов, не было никакого багажа, и я быстро добрался до одной из пограничных крепостей, обратившей свои жерла к Федерации республик: любезный комендант с фамилией, начинающейся на ПШТШ, узнав из бумаг, кто я, согласился предоставить в полное мое распоряжение восемнадцатидюймовый стальной чемодан. Мы отправились к бетонной площадке, на которой, задрав свой длинный прямой хобот кверху, громоздилось стальное чудовище. По знаку коменданта, орудийные номера стали снаряжать меня в путь: орудийный затвор открылся, подкатила тележка с коническим чемоданом, щелкнуло сталью о сталь, и комендант козырнул: «Багаж погружен, просим пассажира занять место». Орудие опустило, как слон, которому дети протягивают сквозь решетку пирожное, свой длинный хобот, – я вспрыгнул на край, внимательно вглядываясь в дыру: как бы не пропустить нужный миг. Затем залитая железом дыра снова поползла кверху и Пштш скомандовал: «Трубка 000, по РСФСР господином бароном… пли!» – и… закрыв глаза, я прыгнул. Неужели уже? Но, открыв глаза, я увидел, что сижу под железным слоном, а вокруг все те же улыбающиеся рожи Пштш'ов. Да, я сразу

же должен был признать, что технику не перешагнешь: даже фантазмам не перегнать ее: оседлать современный снаряд не так легко, как прежнюю неповоротливую чугунную бомбу. И только после двух, сознаюсь, неудачных попыток мне удалось наконец оседлать гудящую сталь. Секунд десять воздух свистел в моих ушах, пробуя сдунуть меня со снаряда; но я опытный кавалерист и не выпускал из-под сжатых колен его разгоряченные круглые бока, пока толчок о землю не прекратил полета. Толчок этот был так силен, что я как мяч подпрыгнул вверх, потом вниз, опять вверх, пока не ощутил себя сидящим на земле. Оглядевшись по сторонам, я увидел, что излетным концом траектория, по счастью, ткнулась в копну сена, стоящую на болоте; правда, сено вплющилось в кочки, но кочки, как рессоры, смягчили удар, избавив меня не только от гибели, но даже от ушибов.

Итак, граница позади. Вскочив на ноги, я прокружил глазами по горизонту. Ровное, незасеянное поле. Низкий потолок из туч, только где-то вдалеке подпертый десятком дымков. «Деревня», – подумал я и направился к дымам. Вскоре из земли выкочковались и дома. Приблизившись на расстояние человеческого голоса, я увидел у края деревни человеческие фигуры, движущиеся от дома к дому, но не стал их окликать. Солнце, как и я, описав свою траекторию, падало к земле; в глухой деревушке зажигались огни, пахло паленым мясом, навстречу мне ползли черные длинные тени, и я, невольно задержав шаги, спрашивал себя: следует ли блю-

ду торопиться к ужину? Положение было трудным: некого спросить, не с кем посоветоваться. Другой на моем месте растерялся бы: но я прибыл в Страну Советов не за советами и после минуты размышления знал, что предпринять.

Дело в том, что сапоги мои были перешиты из старых охотничьих сапог, обладавших некоторыми особенностями. Много лет тому, когда я потерял своего любимого пса, что уже рассказано однажды в моих мемуарах, я решил не отягчать сердца новыми привязанностями, влекущим и новую боль утрат, и стал охотиться без собаки. Ведь собаку могут с успехом заменить хорошие дрессированные сапоги, да-да, – и так как к тщете воспоминаний о погибшем псе присоединилась и старая ревматическая боль, мешавшая мне ходить по болотам, то я с терпением и упорством, свойственным всем из рода Мюнхгаузенов, принялся за дрессировку моих охотничьих сапог. В конце концов мне удалось добиться благоприятных результатов, и мои одинокие прогулки со штуцером за плечами происходили обычно так: дойдя до болотистого места, где водится дичь, я снимал с ног сапоги и, поставив их носками в нужную сторону, говорил: «Шерш! Шерш!» И сапоги, с кочки на кочку, шагали, шурша кожей о камыш, и вспугивали дичь. Мне же оставалось только, сидя на сухом месте, спускать курки. Дичь падала мне внутрь голенищ. После этого короткое «Апорт», – и дрессированные сапоги возвращались назад, чтобы покорно подставить кожаные раструбы под хозяйские пятки.

Так и теперь: стащив сапоги с ног, я поставил их носками к деревне и – шерш. Сапоги, успевшие за несколько дней пребывания в вагоне застояться, быстро зашагали навстречу огням. Они шли, подняв кверху свои петельчатые ушки, то растягиваясь, то приседая на своей гармошке, с видом опытных и осторожных лазутчиков. Я провожал их глазами до самой деревни. Но тут произошло нечто непредвиденное: группа людей, заметив пару сапог, идущих на них, с криками ужаса бросилась врассыпную. Внезапная мысль осенила меня: ведь я в стране суеверов и невежд, что, если паре сапог удастся вселить ужас в эту деревню и в следующую, и в ту, что за ней, – и мы пройдем – пара сапог и я, – гоня перед собой охваченные страхом толпы темного крестьянства, которое, смыв на пути города, заразив древним киммерийским ужасом массы и сонмы, очищая избы и дворцы, хлынут за Урал. Тогда я, подтянув за петельчатые уши подошвы к пяткам, из какого-нибудь Краснококшайска – радиограмму: «Взял Россию голыми ногами. Подкреплений не надо». И, развивая успех, я поднялся с места, готовый развернуть стратегему до конца, хотя б ценою мозолей на пятках. Но ситуация вдруг резко переменилась: отступившая было деревня, внезапно ощетинившись вилами и кольями, пошла дикой, галдящей ордой в контратаку на мои сапоги. Те было попробовали носками вспять, но было уже поздно. Ревущая орда, крестясь сотнями рук и размахивая вилами, сомкнула кольцо. Затем все смолкло и я не мог видеть, что происхо-

дит внутри круга из людей. Подобравшись, сколько мог ближе к попавшим в плен сапогам, я услышал несколько спорящих голосов, вскоре, однако, уступивших чьей-то медленной старческой речи. Отслушав, все разошлись, оставив на месте происшествия лишь одного старика, который, скинув лапти, не торопясь, натягивал на ноги мои сапоги. Выждав, когда старик обулся, я, прячась в высокой траве, сначала тихо свистнул (сапоги, заслышав мой голос, повернули в мою сторону), затем крикнул: «Апорт». Старик хотел было носками к избе, но не тут-то было: сапоги, схватив его дряхлые ноги, зашагали им в противоположную сторону. Тщетно пробовал он, цепляясь руками за кусты и траву, остановить свои ноги, – мои верные сапоги продолжали шагать вместе со стариком, в них вдетым, назад к своему хозяину. Бедняга, видя, что ему не справиться с сильнейшим противником, попытался было спиной на землю, но сапоги, согнув ему ноги в коленях, продолжали тащить тело спиной по земле, пока похититель не очутился передо мной. И я верю, леди и джентльмены, что рано или поздно все национализированное вернется к своим собственникам, как мои сапоги вернулись ко мне. Это же сразу сказал я и поверженному старику, добавив, что стыдно ему, убеленному сединой, менять бога на социализм. Старик, объятый священным ужасом, выдернулся из сапогов и побежал, роняя портянки, к деревне. Вскоре все население деревни вышло мне навстречу крестным ходом с хлебом-солью, кладя земные поклоны, под звон

колоколов. Я принял приглашение добрых поселян и остановился на ночлег в их деревне. Пока я спал, слух обо мне, не смыкая глаз, бродил по окрестным селам. К утру у моего окна собралась огромная толпа жалобщиков и просителей. Я выслушал все просьбы и никому не отказал. Например, жители одной деревеньки обратились ко мне за разрешением их давнишнего спора, поделившего деревню на две враждебные стороны. Дело в том, что одна половина деревни занималась извозным промыслом, другая – землепашеством. Но гражданская война уменьшила число лошадей в телеги – плуги хоть на себе тащи; впрячь в плуги – телеги самим возить. Воспоминания помогли мне разрешить этот трудный казус: я приказал принести пилу – и, одна за другой, лошади были распилены надвое, вследствие чего и количество их удвоилось. Передние ноги впрягли в телеги; задние – в плуги, и дело пошло на лад. Так я боролся с безлошадностью, и если б правительство Советов приняло, как в этой, так и в других областях народного хозяйства, мою точку зрения, оно б избежало годов разрухи и оскудения. (По залу шорох аплодисментов.) Крестьяне не знали, как и благодарить меня. Они подарили мне одну из двуногих лошадей, я оседлал ее, и продолжал свой путь, направляясь к ближайшей станции железной дороги.

## 2

Крестьяне предупреждали меня, что близ железнодорожных путей неспокойно и в темную ночь легко попасть в руки бандитов. Не заблудись я в русском бездорожье, я успел бы до сумерек добраться до станции. Но путаные проселки кружили меня до самой ночи. Половина коня устало перебирала двумя копытами, когда я услышал надвигающийся топот множества лошадей. Это была банда. Я пустил в дело шпоры, но на двуногом от четырехногих не ускачешь. Вскоре всадники сомкнули вокруг меня кольцо: я протянул руку к эфесу, но вспомнил, что шпага моя осталась в Берлине, в шкафу, на Александер-платце. Бандиты сузили круг: я протянул руку к своему темени, решив выдернуть себя за косу из неподходящего общества (как некогда вытащил себя таким же способом из болота), но, проклятие, – пальцы мои ткнулись о стриженый затылок: увы, приходилось сдаться. И я сдался. Впрочем, разбойники не причинили мне ни малейшего зла и вообще отнеслись ко мне радушно, почти как к своему. В ту же ночь они выбрали меня в атаманы. Так как все это происходило ночью, в абсолютной тьме, то не знаю, что руководило этими людьми, может быть, инстинкт.

Скрепя сердце я должен был подчиниться: люди добры, пока им не противоречишь. Например, отношения между мною и вами, леди и джентльмены, построены на том, что я

вам не противоречу: вы говорите, что я есмь, хорошо, не будем спорить, – но если вы скажете… впрочем, вернемся к событиям. Я не честолюбив, и титул атамана мне мало льстил: чуть ли не каждый день я предлагал им меня свергнуть, перейти к республиканскому образу правления и сослать меня, ну хотя бы в Москву. Банда в конце концов и соглашалась отпустить меня, но с тем, чтобы я дал за себя выкуп: деньгами или добрым советом, чем и как хочу. Что ж. Подумав с минуту, я составил план рационализации разбойного промысла. Каждому ясно, что в разоренной стране положение труженика «дубовой иглы» (термин, принятый в их стране) весьма незавидно и хлопотно. Днем ему приходится таиться в лесах, опасаясь встреч с красноармейскими винтовками, и только безлунные ночи дают ему возможность заняться, так сказать, перемещением ценностей, ловить своим карманом укатывающиеся монеты, как энтомолог ловит своим сачком упархивающих бабочек. Таким образом, все лунные ночи, дающие монете лишний шанс ускользнуть, оказывались бездоходными. Вот в одну из таких залитых лунным серебром ночей я вывел банду к опушке леса и, построив ее в ряд, тремя десятками ртов в луну приказал дуть на небесное светило. У людей этих были завидные легкие (русский народ развивает их, раздувая свои самовары): под ветром дружных дыханий луна мигнула, вытянула свои зеленые языки и погасла. Застигнутые врасплох безлунием обозы и путники попали в наши руки.

Еще несколько повторных упражнений, и шайка уже не нуждалась больше в инструкторе. Это привело к ряду затмений последних лет и вообще недостаточно точно объясненных, таинственных явлений на небесном своде: причина кроется, как я это беру смелость заявить здесь в святише науки, в одном из лесов прирубежной России. Мой друг Альберт Эйнштейн, которого я забыл заблаговременно предупредить, несколько поспешил, исходя из этих небесных аномалий, сделать свои последние выводы: то, что можно объяснить экономически, и в этом прав Маркс, не нуждается в астрономических выкладках; в поисках причин незачем рыться в звездах, когда они могут быть отысканы тут вот, под подошвой, на земле. И если найдется впоследствии человек, который, вразрез сказанному, захочет писать о «непогашенной луне», то пусть он остерегается встречи со мною, Мюнхгаузеном: я изобличу его во лжи.

(Оратор, оборвав на секунды, наклонил хрусталь графина к стакану; в зале была такая тишина, что даже из последних рядов было слышно бульканье воды в горлышке графина.)

## 3

Тридцать винтовок салютовали мне в час прощания. Оставив за спиной опушку леса, я направился, держа путь на паровозные свистки, изредка ориентировавшие меня в путаном клубке полевых дорог. Наконец я добрался до зате-

рянного на равнине полустанка и стал дожидаться поезда на Москву. Платформа была завалена мешками и кулями, у которых и на которых сидели и лежали люди, поджидавшие, как и я, прихода поезда. Ожидание было долго и томительно. Безбородое лицо моего соседа, расположившегося на пустом (как показалось мне на первый взгляд), но в три узла перевязанном мешке, успело покрыться рыжей щетиной, когда на горизонте наконец показался долгожданный дымок. Поезд полз со скоростью дождевого червя, и я боялся, как бы он, червю подобно, не уполз в землю, оставив над пустыми рельсами лишь серую спираль дымка.

Многим из присутствующих в зале, может быть, покажется странным это мое ощущение, но мне, сангвинику, все медленное, измеренное и тягучее всегда казалось мнимым, нереальным, и, может быть, потому неторопящаяся, вся на замедленных скоростях, переключенная с секундных стрелок на часовые, Россия дала мне целый комплекс призрачностей и ощущений галлюцинаторности. В вагоне, дожидавшемся сигнала к отправке, моим соседом был тот же в рыжей щетине с пустым мешком на плечах человек. Правда, пустота эта неожиданно звякнула при ударе о вагонную полку.

– Что вы везете? – не мог я не полюбопытствовать.

– Шило в мешке, – ответила щетина.

– Думаете продать?

– Конечно. В Москве на это спрос.

Я повеселел. Ведь и мой товар был приблизительно та-

кого же ассортимента. Притом поезд тронулся, что повысило мое настроение еще больше. Но не надолго. Проклятый червь над каждой шпалой делал остановку, как если бы шпала была станцией. Пассажиры, однако, не выражали удивления, как если бы все было в порядке вещей. К вечеру мы доползли до следующего полустанка. Желая размять ноги, я прошел вдоль поезда до паровозной трубы, сыплющей в черную, как земля, ночь пригоршни красных зерен: при их свете я увидел, что в тендере не уголь и не дрова, а груды книг. Изумленный такой странной постановкой библиотечного дела, я, дождавшись, когда толчок двинувшегося поезда разбудил соседа, обратился к нему с новыми вопросами. В разговор наш вмешались и другие пассажиры, и вскоре многое для меня стало ясно – в том числе и причина нашего толчкообразного, от шпалы до шпалы, движения.

– Видите ли, – заобъясняли мне со всех сторон, – наш машинист из профессоров, ученейший человек, ни одной книжки не пропустит, уж он от доски до доски пока не прочтет – в топку не бросит, нет: вот и едем, полено за поленом, то есть книга за книгой, пока не…

– Но позвольте, – вспылил я, – мы должны жаловаться, пусть его уберут и дадут другого машиниста.

– Другого? – вытянулись со всех полок встревоженные шеи. – Ну еще неизвестно, какой попадется, другой-то ваш: вот на соседней ветке машинист, так тот кроме «Анти-Дюринга» никаких и никого – все книги в топку, грудами, до

раскала, на полный ход, но если попадется ему, упаси господи, «Анти-Дюринг» – глазами в книгу… ну, и уж тут без крушения не бывает. Нет уж, другого нам не надо; этот хоть эйле-мит-вэйле, хоть по вершку в день, да тянет, а «другого» еще такого допросишься, что антидюрингнет с насыпи колесами кверху, и вместо Москвы – царствие небесное.

Я не стал спорить, но к числу нотабене, спрятанных в записную книжку, прибавилось еще одно. По приезде в Москву выясню, надолго ли хватит запасов русской литературы.

## 4

Когда мы подъезжали к московскому вокзалу и я уже взялся за ручку двери, стрелочник развернул красный советский флаг, что у них означает «путь закрыт». И в виду самой Москвы, бросившей в небо тысячи колоколен, пришлось прождать добрый час, пока стрелка пустила поезд к перрону.

Первое, что бросилось мне в глаза, объявление на вокзальной стене, в котором Наркомздрав Семашко почему-то просит его не лузгать. Я поднял брови и так и не опускал за все время пребывания в Москве. Готовый к необычайностям, с бьющимся сердцем вступил я в этот город, построенный на кровях и тайнах.

Наши европейские россказни о столице Союза Республик, изображавшие ее, как город наоборот, где дома строят

от крыш к фундаменту, ходят подошвами по облакам, крестятся левой рукой, где первые всегда последние (например, в очередях), где официоз «Правда», потому что наоборот, и так далее и так далее – всего не припомнишь, – все это неправда: в Москве домов от крыш к фундаменту не строят (и от фундамента к крышам тоже не строят), не крестятся ни левой, ни правой, что же до того, земля или небо у них под подметками, не знаю: москвичи, собственно, ходят без подметок. Вообще голод и нищета отовсюду протягивают тысячи ладоней. Все съедено – до церковных луковиц включительно; некоторое время пробовали питаться оптическими чечевицами, из которых, говорят, получалась неуловимо прозрачная похлебка. Съестные лавки – к моменту моего приезда – были заколочены, и только у их вывесок с нарисованными окороками, с гирляндами сосисок и орнаментом из редисочных хвостов или у золотых скульптурных изображений кренделей и свиных голов стояли толпы сгрудившихся людей и питались вприглядку. В более зажиточных домах, где могли оплатить труд художника, обедали, соблюдая кулинарную традицию по-старому. У стола: на первое подавали натюрморт голландской школы с изображением всевозможной снеди, на третье – елочные фрукты из папье-маше. К этому присоединялся и товарный голод: на магазинных полках, кроме пыли, почти ничего. Смешно сказать, когда мне понадобилась палка, обыкновенная палка (тротуары там из ухабов и ям), то в магазине не оказалось палок о двух концах:

пришлось удовольствоваться палкой об одном конце. Или вот пример: когда один из москвичей, доведенный бестоварьем до отчаяния, попробовал повеситься, оказалось, что веревка свита из песку: вместо смерти пришлось ограничиться ушибами. Безобразие.

Внутренние разногласия, во время моего пребывания в столице, еще усугубляли разруху и бедность. Так, однажды, проходя мимо ряда серых, паутинного цвета домов, я с удовольствием остановился у особняка, выделявшегося свежим глянцем краски и рядами застекленных окон. Но когда на следующий же день случаю угодно было привести меня к этому же дому, я увидел: стены пожухли и покосились, а улица перед фасадом под обвалившейся штукатуркой и битым стеклом.

– Что произошло в этом доме? – обратился я к прохожему, осторожно пробиравшемуся, стараясь не занозить своих голых пяток о стекло.

– Дискуссия.

– Ну, а после?

– После: лидер оппозиции, уходя, хлопнул дверью. Вот и все.

– Чушь, – обернулся на наши голоса встречный, – уходя, он прищемил о дверь палец. А суть дела в том, что…

– Для меня, – угрюмо перебил первый, внезапно захромав, – суть в том, что из-за ваших расспросов я порезал себе пятку.

Две спины разошлись – влево и вправо, оставив меня в полном недоумении.

Оратор нажал кнопку. Свет сменился тьмой, и на матовом квадрате экрана дрогнули, стали и отчетчились удвоенные контуры дважды заснятого дома: до и после.

Сквозь иные из голов продернулась было ассоциация: старые, полузабытые фотографии Мартиникского землетрясения. Но прежде чем воспоминание досозналось, – кнопка сомкнула провода, вспыхнули лампионы и оратор продолжал, не давая вниманьям отвлечься в сторону.

## 5

Если взглянуть на Москву с высоты птичьего полета, вы увидите: в центре каменный паук – Кремль, всматривающийся четырьмя широкораскрытыми воротами в вытканную им паутину улиц: серые нити их, как и на любой паутине, расходятся радиально врозь, прикрепляясь за дальние заставы; поперек радиусов, множеством коротких перемычек, переулки; кое-где они срослись в длинные раздужья, образуя кольца бульваров и валов; кое-где концы паутинным нитям оборвало ветром – это тупики; и сквозь паутину, выгибаясь изломленным телом, затиснутая в цепких двулапьях мостов синяя гусеница – река. Но разрешите птице опуститься на одну из московских кровель, а мне сесть в пролетку.

– Куда? – спрашивает возница, разбуженный моим при-

косновением к плечу.

– В Табачихинский переулок.

– Миллиардец с вашей милости.

Возница стегает полуиздохшую лошаденку, пролетка с булыжины на булыжину, – и мы, взяв горб моста, вкатываемся в путаницу Замоскворецких переулков; в одном из них крохотный, в раскосых окнах, со скрипучим крылечком, домик.

– Профессор Коробкин дома?

– Пожалуйте…

Вхожу. Маститый ученый косит мне навстречу из-под стекол очков. Я объясняю цель прихода: иностранец, хотел бы ознакомиться с материальными условиями, в которые поставлена русская наука. Профессор извиняется: он не может подать руки. Действительно, пальцы замотаны в марлю и перетянуты бинтами. Озабоченно расспрашиваю. Оказывается: лишенные самых необходимых научных пособий, как, например, грифельной доски, ученые принуждены бродить с куском мела в руке, отыскивая для записей своих выкладок, чертежей и формул хоть некие пособия досок. Так, профессору Коробкину, не далее как вчера, удалось найти весьма неплохую черную спинку кареты, остановившейся где-то тут неподалеку у одного из подъездов; профессор приладился к ней со своим мелом, и алгебраические знаки заскрипели по импровизированной доске, как вдруг та, завертев колесами, стала укатывать прочь, увозя с собой недооткрытое открытие. Естественно, бедный ученый бросился вслед за улепе-

тывающей формулой, но формула, сверкнув спицами, круто в переулок, навстречу оглобли, удар – и вот: замотанные в марлю конечности досказывали без слов. Очутившись снова на улице, я стал внимательнее следить за стенками карет и автомобилей. Вскоре, проходя мимо одного из отмеченных серпом и молотом подъездов, я увидел быстро подкативший к ступенькам подъезда автомобиль: на задней стенке его, расчеркнувшись белыми линиями по темному брезенту, недочерченный чертеж. Взглянув по направлению, откуда приехал чертеж, я вскоре отыскал глазами и чертежника: из длинной перспективы улицы, с мелком, белеющим из протянутой руки, бежал, астматически дыша и бодая лысиной воздух, человек. Чисто спортивная привычка заставила меня, вынув хронометр, толчком пружины пустить стрелку по секундам и осьмым. Но в это время хлопнула дверца автомобиля: человек с глазами, спрятанными под козырек, с портфелем под наугольником локтя, вышагнувший из машины, прервал мои наблюдения:

– Иностранец?

– Да.

– Интересуетесь?

– Да.

– Так вот, – протянул он палец к добегающей лысине, – скажите вашим: красная наука движется вперед.

И, повернувшись к дверям подъезда, он сделал пригласительный жест. Мы поднялись по лестнице в кабинет с трина-

дцатью телефонами. Пробежав губами по их мембранам, как опытный игрок на свирели по отверстиям тростника, человек указал мне кресло и сел напротив. Мне неудобно было спрашивать, но сразу было видно, что предстоит разговор с человеком видным и значимым. Собеседник говорил кратко, предпочитал вопросительный знак всем иным, без вводных и придаточных: он подставил свои вопросы, как подставляют ведра и лохани под щели в потолке при приближении дождя, и ждал. Делать было нечего: я стал говорить о впечатлении нищеты, безхлебья, бестоварья, от которых приезжему с Запада положительно некуда спрятать глаза. Сперва я сдерживался, вел счет словам, но после недавние впечатления овладели мной, я дал свободу фактам – и они ливнем хлынули в его лохань. Я не забыл ничего – до палок об одном конце включительно.

Дослушав, человек снял картуз, и тут я увидел глаза и лоб, слишком знакомые для всех, хоть изредка заглядывающих в иллюстрированные Йирбуки, чтоб их можно было не узнать.

– Да, мы бедны, – поймал он мне зрачками зрачки, – у нас, как на выставке, – всего по экземпляру, не более. – (Не оттого ли мы так любим выставки.) – Ведь я угадал вашу мысль, не так ли? Это правда: наши палки об одном конце, наша страна об одной партии, наш социализм об одной стране, но не следует забывать и о преимуществах палки об одном конце: по крайней мере ясно, каким концом бить. Бить, не выбирая меж тем и этим. Мы бедны и будем еще беднее. И все

же, рано или поздно, страна хижин станет страной дворцов.

С минуту я слушал дробь его пальцев о доску стола. Потом:

– Почему вы не спрашиваете о литературе?

Признаюсь, я вздрогнул: сощуренные глаза явно пробрались под обшлаг моей куртки и хозяйничали внутри записной книжки.

– Вы угадали мою мысль…

– И имя, – смех раздвинул и сдвинул щель рта, как диафрагму при короткой выдержке, – ведь литературному образу естественно заинтересоваться литературой. «Как пахнет жизнь?» Типографской краской: для людей, населяющих книги или эмигрировавших в них. Так вот: всем перьям у нас дано выбрать: пост или пост. Одним – бессменно на посту; другим – литературное постничество.

– Но тогда, – возразил я, понемногу оправляясь от смущения, – начатое паровозной топкой, вы хотите закончить…

Он встал. Я тоже.

– За конкретностью – по этому адресу, – чернильная строчка, оторвавшись от блокнота, придвинулась ко мне, – ученая лысина, кажется, дочертила чертеж. Мне пора. Я мог бы отправить вас назад и через дымовую трубу, как это было принято в Средние века: вот эта телефонная трубка плюс три буквы вместо экзорцизма, – и вас, как пыль ветром. Но, зная nomen [17], предвижу и вашу omen [18]. Пусть. Иностранствуйте.

---

[17] Имя *(лат.)*.

Мы обменялись улыбками. Но не рукопожатием. Я вышел за дверь. Ступеньки, как клавиши, выскальзывали из-под подошв. Только прохладный воздух улицы вернул мне спокойствие.

## 6

Адрес на блокнотном листке привел меня к колоннам барского особняка на одной из затишных московских улиц, сторонящихся биндюжного грохота и трамвайных звонков. Тот же блокнотный листок открыл дверь рабочей комнаты, в которой, как мне сказал слуга, находится сейчас хозяин дома. Переступив порог, я увидел огромный, широко раздвинувший свои углы зал, лишенный каких бы то ни было признаков меблировки. Весь пол залы – от стен до стен – был застлан гигантским ослепительно белым бумажным листом, растянутым на кнопках: скользнув глазами по многосаженной странице, я увидел у дальнего края ее человека, который, стоя на четвереньках, двигался слева направо, перемещаясь по невидимым линейкам. Вглядевшись лучше, я увидел, что из-под пальцев рук и ног человека торчат острия вечных перьев, быстро ерзающихся по бумажной равнине. Работая со скоростью заправского полотера, он, скрипя четырьмя перьями, тянул от стены к стене четыре чернильных борозды, постепенно придвигаясь все ближе и ближе ко мне.

---

[18] Примета *(лат.)*.

Теперь уже, вщурившись, я мог различить: верхней строкой тянулась трагедия, футом ниже трактат о генерал-басе и строгих формах контрапункта; из-под левой ноги простра-чивались очерки экономического положения страны, а из-под правой – скрипел водевиль с куплетами.

– Что вы делаете? – шагнул я к полотеру, не в силах более удерживать вопрос.

Повернувшись ко мне, труженик поднял голову, близоруко всматриваясь сквозь вспотевшие стекла пенсне:

– Литературу.

Я ушел на цыпочках, боясь помешать родам.

На этом мое знакомство с научным и художественным миром Москвы не закончилось: я нанес визит составителю «Полного словаря умолчаний», был у известного географа, открывшего бухту Барахту, посетил скромного коллекционера, собирающего щели, присутствовал на парадном заседании «Ассоциации по изучению прошлогоднего снега». Другими словами, я вошел в курс волнующих вопросов, которым посвятила свои труды красная наука. Недостаток времени не позволяет мне, как ни заманчива эта тема, остановиться на ней подолее.

## 7

Странствуя из мышления в мышление, стучась во все ученые лбы, я не заметил происходящего аршином ниже: рус-

ская пословица о том, что кота взяло поперек живота, нуждается в поправках – коты давно уже были все съедены, и когда пробовали перечеркнуть вопрос о голоде поперек, он лез вкось, гневно урча из всех желудков, грозя, если не дадут хлеба, поглотить революцию. Я филантроп по натуре, имена Говарда и Гааза вызывают на моих глазах слезы, – и я решил посильно помочь сожженной пожарами и солнцем стране: я дал шифрованную телеграмму, – и вскоре из Европы прибыло несколько поездов, груженных зубочистками. Вы представляете, леди и джентльмены, те чувства, с какими население голодных губерний встретило эти поезда. Первый успех удвоил мои силы: питательные пункты, организованные правительством Советов, не могли бороться со стихией голода: пункты раздавали по маковой росинке на человека, чтобы никто не мог сказать, что у него росинки во рту не было; это предотвращало ропот, но оставляло желудки пустыми. Я предложил было прибегнуть к помощи заклинателей крыс: были мобилизованы все заклинатели. Каждый питательный пункт получил по человеку с дудочкой, который, обходя дома, высвистывал из-под полов и подвалов прячущихся там крыс: ведомая мелодией, длинной вереницей – нос в хвост, хвост в нос – пища шла сама к кухонным чанам и котлам.

Были пущены в ход и врачи-гипнотизеры: голодающего сажали в покойное кресло и, произведя над ним пассы, говорили: «Это вот не пепельница с окурками, а тарелка супа с клецками. Ешьте. Вот так. Теперь вы сыты. Утритесь сал-

феткой. Следующий».

Но особенным распространением пользовались так называемые «Мюнхпиты», открытые по моему предложению (пришлось сослаться на литературный источник, не раскрывая, разумеется, своего инкогнито): несложное оборудование мюнхпита состояло из длинной бечевки, а пищевой запас из крохотного кусочка сала, которого хватало на неопределенно большое число… кувертов, скажу я, поскольку подача пищи происходила несколько a couvert [19]: в обеденный час люди выстраивались в очередь, лицами к раздатчику: раздатчик, привязав к бечевке сало, давал проглотить первому рту – и затем, вы помните моих уток, ну, вот: если очередь нарастала, к свободному концу бечевки подвязывали запасный шнур, если нужно было – к шнуру еще шнур и так далее: интересующихся отсылаю к практическому руководству по устройству мюнхпитов, вышедшему в сотнях тысяч экземпляров под заглавием: «Нететка». Кстати, люди, пообедавши таким образом, не сразу могли расстаться друг с другом; за первым шел второй, а за вторым – volens-nolens [20] третий… так вошли в обычай торжественные шествия, которые в настоящее время получили там, и по миновании голода, столь широкое распространение; даже обиходные слова вроде «крепить связь», «единая нить», «стержень» и другие являются, по-моему, отголосками мюнхпитовского периода.

---

[19] Здесь: порционно *(франц.)*.

[20] Волей-неволей *(лат.)*.

*Пока* я наблюдал, странствовал по смыслам, сгружая их внутрь своих записных книжек, толкал вперед общественность и боролся с катаклизмом голода, время тянуло свою бечевку дней, подвязывая к дням дни и к месяцам месяцы. Подражая отрывному календарю, медленно осыпавшемуся квадратиками своих листов, и деревья на московских бульварах стали ронять листы. «Насытить телесный голод, – думал я, – это только полдела. Пробудить голод духовный – вот вторая его половина». Я старый, неисправимый идеалист, мои долгие беседы с Гегелем не прошли бесследно ни для меня, ни, думаю, для него: свобода – бессмертие – Бог – вот три ножки моего кресла, на которые я спокойно са… виноват, я хочу сказать, что и материалисты побеждают лишь постольку, поскольку они… **идеалисты своего материализма**. Пресловутая метла революции, которая больше пылит, чем метет, попробовала было идеалистов, как сор из избы, но, конечно, думалось мне, многие и многие из них зацепились за порог – и сколько спудов, столько светильников духа. Надо бы заглянуть в подспудье. Хотя бы раз. Случай помог мне: проходя по рынку, где нищие и торговцы вперемежку протягивают ладони и товар, я наткнулся глазами на почтенного вида даму, предлагавшую каминные щипцы: и щипцы и дама стояли, прислоненные к стене, очевидно, долго и устало дожидались покупателя. Я подошел и приподнял шляпу:

– Чтоб дотянуться до углей моего камина, мадам, нужны щипцы длиной в тысячу километров. Боюсь, ваши не подой-

дут.

– Но ими можно бить мышей, – заволновалась женщина.

Не споря, я уплатил требуемое и сунул щипцы под мышку: в торчавшую из-под моего локтя деревянную ручку был врезан графский герб. Я повернулся, чтобы идти, но графиня остановила меня:

– Меня мучит мысль, что мои щипцы все же несколько короче тех, которые вы ищете…

– Да, на девятьсот девяносто девять целых девятьсот девяносто девять десятых…

– Какая досада. Но может быть, я могла бы возместить недомер, познакомив вас с человеком, который видит на тысячу верст и тысячу лет вперед.

Я изъявил готовность – и вскоре один из спудов приоткрылся. То есть приоткрылась, собственно, скрипучая дверь в лачугу, где вместо обойного узора – пятна от сырости и клопов, а из раскрытой печки – обуглившиеся торчки родословного древа. Сумрачный человек, которого любезная хозяйка представила мне, назвав достаточно известное имя автора книг о грядущих судьбах России, долго сидел, уставясь зрачками в носки своих сапог. Хозяйка, видя мое нетерпение, попробовала перевести глаза провидца с концов ботинок на конец вселенной. Человек скривил губы, но не сказал ни слова. Переглянувшись со мной, хозяйка переменила тему:

– Вы заметили, что вороны на Тверском вместо «кра» ста-

ли кричать «ура». К чему бы это?

– Ни к чему, – пробурчал пророк и перевел зрачки от носков к торчкам из печки.

Графиня сделала мне знак: сейчас начнется. И действительно:

– Сказано в летописях: «Дымий град». И еще: «Над Московою солнце кроваво за дымью всходища». А в Домострое: «Аки пчелы, от дыму, ангелы отлетяша». И когда мы стали безангельны, дымы подымались из пространств во времена и настало неясное, как бы сквозь дымку, «смутное время». И самое время стало смутностью, смешались века, тринадцатый на место двадцатого: inde [21] – революция. Один из наших великих уже давно озаглавил ее: «Дым». Другой, еще давнее, писал о «Дыме отечества», который нам «сладок и приятен». И дымьих сластен, любителей дымком побаловаться, дегустаторов гари и тлена прибывало и прибывало, пока отчизна, убывая и убывая, с дымом уйдя, не обратилась в дым, им столь сладостный и приятный. Взгляните на диски уличных часов: разве стрелы на них не вздрагивают от мерзи, отряхая с себя гарь и копоть секунд; разве глаза ваши не плачут, изъеденные дымом времен, разве… кстати, ваша печка, графиня, слегка дымит. Разрешите мне щипцы.

Мы с хозяйкой переглянулись: а вдруг пророк догадается, что его антиципации о дыме запроданы вместе с щипцами мне. Желая замять неловкость, я заговорил в свою оче-

---

[21] Затем, вследствие этого *(лат.)*.

редь, предлагая вниманию собеседников целую коллекцию вывезенных с запада новостей. Пророк сидел, опустив голову на ладони, и свесившиеся пряди волос закрывали от меня выражение его лица. Но графиня положительно расплывалась от удовольствия и просила еще и еще. Я говорил о водопадных грохотах европейских центров, о ночах, превращенных в электрический день, о реке автомобилей, дипломатических раутах, спиритических сеансах, модных дамских туалетах, заседаниях Амстердамского Интернационала и выездах английского короля, о модной бостонской религии и восходящих звездах мюзик-холлов, о Черчилле и Чаплине, о… Навстречу моему взгляду сквозь синий туман (печка действительно пошаливала) мелькнуло тающее от восторга лицо слушательницы, но я, не предвидя последствий, продолжал еще и еще; дойдя до описания аудиенции, данной мне императором всероссийским, я поднял глаза… и не увидел графини: кресло ее было пусто. В недоумении я повернулся к провидцу. Он поднялся и, вздохнув, сказал:

– Да, ни щипцов, ни графини: растаяла. И убийца – вы.

Затем, подвернув брюки, он перешагнул через лужу, еще так недавно бывшую графиней. Мне оставалось – тоже. Связанные тайной, мы вышли, плотно прикрыв дверь.

Кривая улица, тусклые фонари, тщетно пробующие дотянуться лучами друг до друга. Мы шли молча меж пустых стен; вдруг на одной из них свежею краской четыре знака: СССР. Спутник протянул руку к буквам:

– Прочтите.

Я прочел, дешифрируя знаки. Он гневно тряхнул волосами:

– Ложь! Слушайте – я открою вам криптограмму, разгаданную избранными: СССР – SSSR – Sancta, Sancta, Sancta, Russia – трижды святая Россия. Аускультируя буквы, слушая, как они дышат, вы подмечаете лишь их выдохи, – мне слышимы и вдохи: истинно, истинно говорят они – трижды святой и единой: Богу подобной.

И кривая улица повела нас дальше. Дойдя до перекрестка, спутник вдруг круто остановился:

– Дальше мне нельзя.

– Почему?

– Тут начинается мостовая из булыжника, – глухо уронил пророк, – людям моей профессии лучше подальше от камней.

Оставив неподвижную фигуру спутника у края асфальтной ленты, я зашагал по булыжникам: в роду Мюнхгаузенов нет, слава богу, пророков.

Рядом со мной шагала мысль: два миллиона спин, спуды, жизнь, разгороженная страхом доносов и чрезвычайностей, подымешь глаза к глазам, а навстречу в упор дула, сплошное dos a dos [22]. И опыт подтвердил мою мысль во всей ее мрачности: увидев как-то человека, быстро идущего в сторону от жилья, я остановил его вопросом:

---

[22] Спина к спине *(лат.)*.

– Куда?

В ответ я услышал:

– До ветру.

Эти исполненные горькой лирики слова на всю жизнь врезались мне в память: бедный, одинокий человек, – подумал я вслед уединяющемуся, – у него нет ни друга, ни возлюбленной, кому бы он мог открыться, только осталось – к вольному ветру! Два миллиона спин; спуды-спуды-спуды.

## 8

Лектор сделал паузу: кадык нырнул в воротниковую щель и отдыхал. Зато кнопка звонка, зашевелившись, топнула раз и другой – вспыхнул экран. По залу точно ветром пронесло испуганное «ах», и десятки людей, натыкаясь в темноте друг на друга, бросились к порогам.

– Свет, – крикнул лектор и, когда вновь зажглись лампионы, – займите ваши места, я продолжаю. Диапозитив, так испугавший вас, леди и… джентльмены, казалось бы, заслуживает иных эмоций: перед нами вспыхнула и погасла секундная жизнь существа, олицетворяющего собой идеал социальной справедливости, каждая часть тела которого строго соответствует по величине своей ценности. Другими словами, вы видели так называемого статистического человека, портрет которого уже известен тем, кто имел дело со страхованием рабочих. Телосложение статистического человека тако-

во: каждый орган прямо пропорционален по величине размеру суммы, какая выплачивается застрахованному в случае потери этого органа: таким образом, глаза у статистического человека, как вы, вероятно, успели это заметить (орган, который у нас с вами значительно меньше, скажем, ягодиц, что несправедливо, потому что ценность его для работы гораздо больше), глаза его выползают из-под растянутых век огромными мячами, левая рука еле достает до бедер, а правая волочится пальцами по земле, ну и так далее, и так далее. Признаюсь, что, когда я в первый раз наткнулся зрачками на выпяченные глазные яблоки справедливо телосложенного, я был близок к тому, чтоб удивиться. Но помимо Горациевой максимы «ничему не удивляйся» у меня есть правило и собственного изготовления: «удивляй ничем». Итак, мы встретились с справедливо телосложенным на одной из скамей московского бульвара. Мимо сновали мальчишки с облизанными ирисами. Чистильщики сапог охотились за грязными голенищами. Лицо случайного соседа, которого я застал уже сидящим на скамье, было спрятано за газетой. Скользнув глазами по бумажной ширме, я сказал:

– А реформисты опять пошли вправо.

– Нулям, если они хотят что-нибудь значить, один путь: вправо.

Газета сложила листы, и тут-то, навстречу моему спрашивающему взгляду, – вытиснувшиеся из орбит гигантизированные глаза. Я невольно отодвинулся, но за мной по-

тянулась саженная длинная рука: большой и указательный, разросшиеся за счет остальных трех, делали ее похожей на клешню. Поймав меня у самого краешка скамьи, клешня стиснула мне пальцы.

– Будем знакомы: наглядное пособие. А вы? От вас как будто тоже, – потянул он вспучившейся ноздрей, – книгой попахивает…

– Да, вам действительно нельзя отказать в наглядности, – отклонил я вопрос.

– Настолько, – осклабился клешняк, показав разнокалиберье зубов, – что ни одна она «ненаглядным» не назовет.

– Кто знает, – решился я на робкий комплимент, – красоты в мире мало, дурного вкуса много.

– Да, чем хуже, тем лучше: прежде это называли: «предустановленная гармония», harmonia predestinate. Но если хотите, чтобы я для вас был пособием, спрашивайте: все цифры от нуля до бесконечности к вашим услугам.

Я вынул записную книжку:

– Сколько было самоубийств за время гражданской войны?

– Ноль случаев.

– Как так?

– А так: прежде чем ты сам себя, а уж тебя *другие*…

# 9

Тем временем октябрьский ветер сорвал последние листья с уличных деревьев, и ртуть в термометрах и дни укоротились, крышу и землю прикрыло снегом. Я согревался обычно быстрой ходьбой. Однажды, обгоняя вереницу трамваев, медленно лязгавших по промерзшим рельсам, я заметил, что на передней площадке каждого из них, на выдвижной скамеечке, рядом с вагоновожатым сидит по одному старцу, сгорбленному бременем лет со снежными хлопьями седины из-под шапки. Я остановился и пропустил мимо себя череду вагонов: всюду рядом с рычагами вагоновожатых лица ветхих стариков. Недоумевая, я обратился к прохожему:

– Кто они?

– Буксы, – буркнул тот и прошагал дальше.

Я тотчас же отправился в библиотеку Исторического музея. Десяток аристократически закрючившихся носов и столько же выпяченных нижних губ еще раз прошли в моем воображении. Я спросил «Бархатную книгу» и стал листать родословия: Берсы есть, Брюсы есть, Буксов нет.

Что бы это могло значить? Размышляя о судьбе затерявшегося в книгах старинного рода Буксов, я снова вышел на улицу – и тут вскоре все разъяснилось: спускаясь по склону одного из семи холмов, на которых разбросалась Москва, я

увидел еще один вагон, который, скрежеща железом о железо, тщетно пробовал взять подъем. Тогда по знаку вагоновожатого ветхий букс спустился с площадки и заковылял впереди вагона вдоль рельса: при каждом шаге старика с него сыпался песок, и трамвай, тоже по-стариковски, кряхтя и дребезжа, пополз по присыпанным песком рельсам вверх.

При такого рода системе тамошние трамваи оказываются удобными лишь для чиновников, при помощи их опаздывающих на службу. Я всего лишь раз доверился этим железным черепахам, но должен признаться, что они чуть-чуть не завезли меня… чрезвычайно далеко. Дело в том, что, спутав остановки, я взял вместо одиннадцатикопеечного билета восьмикопеечный. Контроль уличил меня. Проступок был запротоколирован, дело направлено к расследованию, а затем и дело, и я – в суд. Слушание дела о недоплате трех копеек состоялось в Верховном суде: меня провели меж двух сабель, к скамье подсудимых. Огромная толпа любопытных наполнила зал. Слова «высшая мера» и «смертная казнь» ползали от ртов к ртам.

Свою защиту я построил так: так как мой поступок, рассматриваемый как проступок, есть результат комплекса условных рефлексов, то пусть и наказание будет условным. Суд, отсовещавшись, постановил: признав виновным, расстрелять… из пугачей.

В назначенное для казни утро меня поставили к стене против дюжины дул – и я глазом не успел моргнуть, как грох-

нул залп и меня расстреляли. Сняв шляпу, я извинился за беспокойство и вышел на улицу: теперь я был на положении условного трупа.

Так как расстреливают обычно на рассвете, то улицы были еще пусты, как дорожки кладбища: к тому же это был воскресный день, когда жизнь пробуждается несколько позднее. Я шел в легком возбуждении, чувствуя еще на себе пристальные дула. Город постепенно просыпался. Открывались трактиры и пивные. В горле у меня пересохло. Я толкнул одну из дверей под зелено-желтой вывеской – навстречу запах пива и гомон голосов. Сев у столика, я оглядел кружки и лица, и многое мне показалось странным: никто из посетителей, сидевших уткнувшись в свои кружки, ни с кем не разговаривал, но все непрерывно говорили. Вслушавшись, я стал различать слова, их было меньше, чем говоривших, так как все посетители повторяли, лишь незначительно варьируя, одно и то же национальное ругательство. По мере того как пиво в кружках убывало, красные лица с налитыми глазами свирепели все более и более и, казалось, все поры воздуха забиты отборной руганью. Все лица, все глаза мимо друг друга, никто ни на кого не обижен, и только искусственная пальма нервно вздрагивает остриями под градом несмолкаемой брани. Ничего не понимая, я поманил пальцем официанта и просил разъяснить мне смысл происходящего. Лениво улыбнувшись, тот информировал:

– Торговцы.

– Что ж из этого?

– Известно что: шесть дней терпеть от покупателя всякое, – ни товару, ни людям ни дня покоя: щупают, перещупывают, спросят, переспросят, то не так и это не то, показывай, прячь, мерь, перемеривай и молчи: ну вот, шесть дней и молчат, а на седьмой…

И, смахнув полотенцем гороховую шелуху со столика, официант отошел к прилавку.

Я улыбнулся: значит, эти люди отдавали назад в воздух, пользуясь праздничным перерывом в работе, все то, что вобрали в себя сквозь глаза и уши за долгую рабочую неделю.

Да, я улыбнулся, но, конечно, не грубым ругательствам, звучавшим вокруг меня, а смутному воспоминанию, пробужденному ими: мне вспомнился – вероятно, и вы не забыли о нем – тот удивительный рожок почтальона, в котором, как улитка в раковине, пряталась замерзшая песня, чтобы при случае запеть себя навстречу теплу и весне. Но ругани вообще везет больше, чем песням: увы, в календаре поэта нет воскресений, и если ему удастся иной раз не замерзнуть в пути, то сердце у него все же в морозном ожоге. Так я, условный труп, сидя в пивнушке, размышлял об условных рефлексах.

## 10

Сквозь всю залу – от задних рядов к передним, – ныряя

и выныривая из-за плеч, пробирался вчетверо сложенный клочок бумаги; достигнув кафедры, он на секунду остановил речь.

– Я получил записку, – заулыбался лектор, взмахнув листком, – чей-то женский почерк спрашивает об общественном положении женщины в Советском Союзе и о ее правах на любовь и брак. Я не предполагал касаться этих вопросов, но если аудитория требует – вот в двух словах: отношение к женщине в бывшей России коренным образом улучшилось – дисгармоническое существо, у которого «волос долог, а ум короток», добилось наконец, чтобы и волос у него был короток.

Что касается до практического изучения вопроса о любви и браке, то мои двести лет отчасти снимают с меня обязанность отчитываться в этом пункте. Правда, желая быть добросовестным до конца и помня, что любопытство может сойти за страсть, я попробовал было затеять легкий флирт с парой прелестных глазок. Познакомились мы так: иду по улице – впереди стройная девушка, ведущая за руку крохотного мальчугана. «Вероятно, бонна», – думаю я – и, нагнав, заглядываю под шляпку. Незнакомка смущенно отворачивается, и в это время шар, красный надувной детский шар, выдернув веревочку из ее пальцев, вверх мимо окон и по скату кровель. Я тотчас же руками и коленями по водосточной трубе, вдогонку за крашеным пузырем. Бегу по грохочущей жести, но внезапным порывом ветра шар перебрасывает на

соседнюю кровлю. Пригибаю колени и прыгаю с дома на дом: веревка в моих руках. Отталкиваюсь от выступа кровли и плавно опускаюсь на детском шарике к ногам изумленной незнакомки и развесившего рот мальчугана. Далее все, разумеется, своим естественным порядком: глазки назначили мне свидание, я уже внутренне торжествовал, но глупый случай испортил все. Желая форсировать успех, по пути к глазкам я завернул в магазин. В Москве под одной и той же вывеской продают: живые цветы и конину, кровососные пиявки и мясные консервы и так далее, и так далее. На жестяном прямоугольнике, под который я шагнул, было проставлено черным по синему: Кондитерские изделия и Гроба. Я просил отпустить мне коробку конфет побольше, но, очевидно, ткнул пальцем не совсем туда. Мне вручили большую коробку продолговатой формы, изящно обернутую в бумагу и перевязанную розовой ленточкой. С бьющимся сердцем стучался я у дверей прелестницы. Увидев подарок, глазки засияли – все шло как нельзя лучше. Чувствуя себя на полпути от взглядов к поцелуям, я сдернул с коробки ленточку, девушка с улыбкой сластены развернула бумагу, и мы оба откачнулись к спинке дивана: из бумажного вороха предстал маленький синий в белом обводе детский гробок. Поезд счастья, свистнув, промчался мимо. О, как круты и узки эти проклятые московские лестницы!

Да, не боюсь быть откровенным, скажу, что людям с фантазией вообще нечего делать в любви: ведь настоящий шах-

матист умеет играть, не глядя на доску; и если уж любить, то лучше не глядя на женщину. Ведь подумать! Кто пользуется успехом у дам? Я до сих пор не могу забыть прыщеватое лицо одного архивариуса из Ганновера, который, имея всю жизнь дело с тесемками архивных папок, научился так быстро развязывать их, что, транспонируя пальцевую технику, сделался, по его уверению, неотразим: раньше чем мне успеют сказать «да» или «нет», все тесемки уже развязаны, – хвастал архивариус, и я склонен думать, что не все в его словах было хвастовством.

Так или иначе, в дальнейшем отказавшись от практики, я решил ограничиться теоретическим ознакомлением с проблемой. Кипы советской беллетристики привели меня к чрезвычайно отрадным выводам и прогнозу: в то время как газеты твердят о непримиримой ненависти класса к классу, беллетристика их не признает никакой иной любви, кроме как любви чекиста к прекрасной белогвардейке, красной партизанки к белому офицеру, рабочего к аристократке и детитулированного князя или графа к простой черноземной крестьянке. Таким образом, доверившись старым реалистическим традициям русской беллетристики, мы можем смело ждать, что все вбитое молотом будет срезано серпом… луны: рано или поздно соловей пересвистит фабричную сирену. Так было, так будет: антитезисы всегда будут волочиться за тезами, но стоит им пожениться, и друг дома синтезис уж тут как тут.

Сейчас еще мнения по этому вопросу как бы во взвешенном состоянии и не успели осесть и закрепиться: одни требуют применить лозунг «все на улицу» и к любви, другие с боем отстаивают нетушимость семейного очага. Тициановские Amor profana и Amor celeste [23], изображенные мирно сидящими по обе стороны колодца, взяли друг друга за волосы и пробуют столкнуть одна другую в колодец.

Не пускаясь в область догадок, все же надо констатировать великий почин в деле переустройства любви, «почин дороже денег» – как сказала одна девушка, за пять минут до того бывшая невинной, когда ей не уплатили условленной суммы. Я не верю, чтобы законы, придумываемые юристами, могли бороться с законами природы. Еще великий методолог Фрэнсис Бэкон определял эксперимент так: «Мы лишь увеличиваем или уменьшаем расстояние между телами, – остальное делает природа». Если принять во внимание, что жилищные условия страны, из которой я возвратился, не допускают дальнейшего уменьшения расстояний, то… разрешите мне вернуться к докладу.

## 11

Восстановление хозяйства СССР началось медленно, с неприметностей, точно подражая их северной весне, которая с трудом проталкивает почки сквозь изледенелую голую ко-

---

[23] Любовь земная и любовь небесная *(итал.)*.

жу ветвей. Если память мне не изменяет, началось с бревен, которые люди начали вынимать из глаз друг друга. Раньше они не хотели замечать даже сучков в глазу, но нужда делает нас зоркими: вскоре запас бревен, вытащенных сквозь зрачки наружу, был достаточен, чтоб приступить к постройкам; на окраинах города, то здесь, то там, стали появляться небольшие бревенчатые домики, образовались жилищные кооперативы, и дело, в общем, пошло на лад.

Было приступлено к посадке деревьев на бульварах (от старых торчали лишь пни): при этом применялся простой, но остроумный способ ускоренного их взращивания – к комлю вкопанного в землю деревца привязывался канат; канат перебрасывали через блок и тянули дерево кверху, пока оно не вытягивалось до довоенной высоты. Таким образом, в две-три недели голые бульвары покрылись тенистыми деревьями, вернувшими улице ее прежний благоустроенный вид.

Множество плакатов, расклеенных по всем стенам и заборам, наставляли прохожих практическими советами, как, например: «так как рыба портится с головы, то ешь ее с хвоста» или «если хочешь сберечь подметки, ходи на руках». Всего не упомнишь. С плакатами состязались театральные афиши, анонсировавшие грандиозные постановки и народные зрелища. Увлеченный этой волной, я не мог оставаться безучастным зрителем и предложил кое-какие проекты и схемы: так, я, консультируя одному московскому режиссеру, посоветовал ему поставить гоголевского «Ревизора», так

сказать, в моих масштабах, по-мюнхгаузеновски, перевернув все дыбом, начиная с заглавия. Пьеса, как мы ее спроектировали, должна была называться «Тридцать тысяч курьеров»: центр действия перемещался от индивидуума к массам; героями пьесы оказывались бедные труженики, служащие в курьерах у жестокого эксплуататора петербургского сановника Хлестакова; он загонял их, пакеты сыплются на курьеров дождем, пока те, сорганизовавшись, не решаются забастовать и перестать носить пакеты. Тем временем у Хлестакова роман с прекрасной… не помню, как там у них – «городничихой» или «огородничихой»: одним словом, Хлестаков посылает ей письмо с первым курьером, назначая свидание вечерком на огороде (у русских это принято); но забастовавший курьер не относит письмо по адресу; Хлестаков, прождав всю ночь на огороде, раздосадованный, возвращается в Департамент и посылает второе письмо такого же содержания и по тому же адресу со вторым курьером; результат тот же – и второй, и третий, и тысячный, и тысячепервый не выполняют поручения. Хлестаков три года кряду ходит безрезультатно по ночам на огород, все еще не теряя надежды покорить сердце неприступной красавицы; он постарел и похудел и все шлет новых и новых курьеров: 1450, 1451, 2000-й. Эпизоды следуют за эпизодами. Опытный волокита не терпит волокиты в любви. Он забросил все свои дела и пишет каждый день уже не по одному, а по десяти, по двадцати, по сто писем, не зная, что все их относят в стачечный

комитет. Тем временем и огородничиха, которая вовсе не неприступна, годы и годы ждет хотя бы строчки от избранника; огород ее увяз и зарос чертополохами. И вот среди забастовавших находится штрейкбрехер: это как раз последний тридцатитысячный курьер, который, не выдержав напряжения стачки, относит письмо по адресу.

После этого события с быстротой падающего камня в катастрофу Хлестаков спешит к огородничихе: наконец-то! Но и стачечный комитет не дремлет: штрейкбрехера выследили, но письмо номер тридцать тысяч уже ушло из рук забастовщиков. Тогда они вскрывают двадцать девять тысяч девятьсот девяносто девять недоставленных. Вы представляете эффект этой сцены, когда тридцать тысяч разорванных конвертов летят в воздух, падая белыми квадратами на головы зрителям. Хор гневных голосов – здесь мы прибегли к коллективной декламации – читает тридцать тысяч почти идентичных текстов, по залу, колебля стены и потолок, гремит: «приди на огород». И тридцать тысяч восставших стройными рядами идут на огород, чтобы расправиться с сановником-соблазнителем. Парочка, шептавшаяся у плетня, пробует бежать, но со всех сторон курьеры – курьеры – курьеры. Ночь стала бела, как день, от тридцати тысяч белых листков, протянутых к глазам сановника. Жизнь его на волоске. Самоотверженная огородничиха кричит, что готова отдать себя всем тридцати тысячам, лишь бы спасти единственного. Курьеры смущены и готовы спрятаться внутрь своих конвертов.

Тогда раскаявшийся Хлестаков всенародно признается, что он вовсе не сановник, а свой брат – титулярный советник, такой же рабочий человек, как и все. Примирение. В руках у тридцати тысяч заступы; под звуки народной песни «Всякому овощу свое время» заступы ударяют о землю, взрыхляя заросший чертополохами огород. Алое сияние зари. Отерши трудовой пот со лба, Хлестаков протягивает руку навстречу грядущему дню: «пелена упала с моих глаз». Вслед за пеленой падает и занавес. Каково? А?

Начались уже репетиции, но тут мы наткнулись на неожиданное препятствие: на роли тридцати тысяч были ангажированы из ближайших к Москве округов две дивизии, но власти, вероятно, боясь военного переворота, воспротивились введению такого количества войска в столицу. Вскоре я уехал, прося режиссера, в случае если постановка все-таки когда-нибудь наладится, не раскрывать на афише моего инкогнито. Я думаю, он не нарушит обещания.

В бытность мою в Москве я старался не пропускать ни одной научной лекции. Общее экономическое оживление отразилось самым благоприятным образом на темпе научных работ и изысканий в стране. С вашего разрешения, леди и джентльмены, я позволю себе сконспектировать содержание двух последних лекций, на которых мне удалось присутствовать.

Первая была посвящена вопросу о прарифме: лектор, почтенный академик, посвятивший себя изучению славянских

корнесловий, задался вопросом о первой рифме, прозвучавшей на старорусском языке. Многолетняя работа привела его к IX в. нашей эры: оказывалось, что изобретателем рифмы был Владимир Святой, прорифмовавший слова – «быти» и «пити». От этой прарифмы, – доказывал красноречивый докладчик, – и пошла, постепенно усложняясь, вся русская версификация; но отнимите у нее «пити», и ей не с чем будет рифмовать своего «быти», непоколебленная база сделает шаткими и все надстройки, и домик из книг немногим устойчивее карточного. В заключение лектор предлагал освежить терминологию, классифицируя поэзию не на лирическую и эпическую, как это делали прежде, а на самогонную и ректификованную.

Вторая лекция, входившая в цикл чтений, организованных Институтом нивелирования психик, привлекла меня уже самим своим названием: «По обе стороны пробора». Маститый физиолог демонстрировал работы Института по нивелированию в области электрификации мышления; оказывается, группе научных деятелей Института удалось доказать, что нервные токи, возникающие в мозгу, подобно электрическим токам, распространяются лишь по поверхности мозговых полушарий, являющихся полюсами электромышления. Затем уже было делом чисто технических усилий поднять мышление еще на два-три сантиметра кверху, локализировав его на поверхности черепной коробки; пробор, проведенный от лба к затылку, расчесывал мыслительные про-

цессы налево и направо, удачно имитируя как бы спроектированные на сферическую поверхность полушария мозга; нечего, конечно, подробно объяснять, что волосы заменяли собой в этом смелом опыте провода, радировавшие мысль в пространстве.

После сжатого теоретического сообщения ученый приступил к демонстрациям: на помост ввели человека с глухим латунным колпаком на голове, надвинутым по самые уши. Колпак сняли, и мы все увидели аккуратный прямой пробор и гладкие, будто вутюженные в череп – справа налево и слева направо, – волосы. Экспериментатор, взяв в руки стеклянную палочку, придвинул ее к левому полушарию испытуемого:

– Идея – «государство» локализуется у данного субъекта вот тут, на острие волоска влево от пробора. Пункт отмечен красной крапиной: близоруких прошу подойти и убедиться. Теперь внимание: нажимаю «государство».

Стеклянное острие ткнулось в крапину, через пробор справа налево метнулась искра, и челюсти объекта, разжавшись, произнесли: «Государство есть организованное насилие…» Рука со стеклянной палочкой отдернулась: челюсти, ляскнув зубами о зубы, сомкнулись. Ученый сделал знак ассистенту:

– Перечешите пробор влево. Вот так: теперь вы видите, что красная точка переместилась на правую сторону от пробора. Контакт.

И снова – стекло тычком в точку, искра слева направо, челюсти врозь и: «Государство есть необходимый этап на пути к…»

– Остальное оставим за зубами, – взмахнул палочкой экспериментатор.

Челюсти сомкнулись, и на место отреагировавшего ввели другого. Этот имел взъерошенный и непокорный вид; четверо институтских сторожей с трудом водворили его на эстраде, из поднятых торчмя волос с сухим треском сыпались искры, но судорожно стягивающийся рот был закляпан кляпом.

– Включите слова, – распорядился экспериментатор.

Кляп удалили, и хлынули слова, вызвавшие тихий говор среди многоголовой аудитории: «контрреволюция», «белая идеология», «стопроцентный буржуй», «революция в опасности», а кто-то, вскочив с места, кричал: «За такое к стенке».

Но ученый протянул руки, утишая волнение:

– Граждане, к порядку. Прошу не прерывать эксперимента. Машинка номер 0.

Ассистент метнулся к инструментарию, – и обыкновенная парикмахерская машинка (лишь с несколько удлиненными ручками в стеклянных чехлах) заскользила по черепу экспериментируемого, поспешно сбривая ему мышление. И по мере того как железные зубья, оголяя череп, снова и снова перекатывались через темя, речь контрреволюционера теря-

ла слова, бледнела и спутывалась. Машинка кончила свое дело, и сторож выметал веником остриженное миросозерцание. Руки испытуемого обвисли, как плети, но язык уныло, как деревянная колотушка, подвешиваемая корове к шее, продолжал отстукивать, повторяя вновь и вновь всего лишь два слова: «свобода слова – слово свобода – слово свободы – свобо…»

Экспериментатор с озабоченным видом подошел к объекту и внимательно оглядел оголенный череп. Вдруг лицо ученого прояснилось, и он протянул широкопалую руку к темени пациента.

– Тут вот еще два волоска, – осклабился он в сторону аудитории и, притиснув два квадратных ногтя к невидимому чему-то, дернул, – теперь чисто. Ни гугу!

Ученый дунул себе на пальцы и отшагнул к кафедре. Сторож, кончив уборку, собирался вымести психический сор за порог. В это-то время где-то в задних рядах послышался тихий звук: не то зевок, не то глухой спазм. И, выждав долгую паузу, ученый строго обвел очками притихшие ряды и сказал:

– Спокойствие. Вспомним русскую пословицу: «Снявши волосы, по голове не плачут».

## 12

Кто не бывал на первомайской демонстрации в Москве,

тот не знает, что такое народное празднество. Навстречу маю распахнуты створы всех окон, в весенних лужах, спутавшись с отражениями белых облаков, дрожат красные отсветы знамен; из улиц в улицу стучат барабаны, слышится твердый марш колонн, миллиононогие потоки текут на Красную площадь, чтобы людским водопадам свергнуться вниз к раскованвшейся из льда такой же весенне-стремительной, выхлынувшей за свои берега Москве-реке. Раструбы труб бросают в воздух Интернационал, красные флаги шевелятся в ветре, как гигантские петушиные гребни, а трехгранные клювы штыков, задравшись в небо, колышутся перед трибунами. Затиснутый в толпе, я долго наблюдал этот кричащий свои боевые крики, веющий алым оперением стягов и лент, с трехгранью гигантского клюва, готового склевать все звезды неба, как мелкую крупу, с тем чтобы бросить в него горсти алых пятиконечий, – этот исполненный великого гнева от полюса к полюсу простерший готовые к взлету крылья, – праздник, который вдруг разбудил во мне одну легенду, незадолго до того отысканную мною в одном из московских книгохранилищ, но тотчас же забытую в быстрой смене дней и дел. Легенда, стал припоминать я, рассказывала об одном французе, который еще в 1761 году, приехав в Москву за тем, чтобы… но в это время медные трубы в тысячный раз закричали Интернационал, толпа качнулась, кто-то наступил мне на мозоль, и я потерял нить.

Только к вечеру праздник стал спадать, как вешний цвет

на ветру. Стены еще горели зигзагами огней, но толпы поредели; потом окна сомкнули стеклянные веки, огни погасли, и только я один шагал по обезлюдевшей улице, стараясь вспомнить в деталях полузабытую легенду: постепенно в память вернулось все до заглавного листа с его четким: «Черт на дрожках».

В 1761 году, рассказывала легенда, некий француз приехал издалека в Москву, с целью разыскать одного чрезвычайно нужного ему человека, но в пути он его потерял и лишь смутно помнил, что разыскиваемое лицо живет у Николы Малого на Петуховых Ногах. Прибыв в Москву, француз нанял извозчика и велел ему ехать к Николе на Петуховых Ногах. Извозчик, покачав головой, сказал, что не знает такого: есть Никола Мокрый, Никола Красный Звон, Никола на Трех горах, но Николы на Петуховых Ногах… Тогда приезжий велел ему ехать от перекрестка к перекрестку, решив спрашивать у прохожих. Возница взмахнул кнутом и тронул. Прохожие, повстречавшиеся с экипажем, вспоминали: кто Николу Постника, кто Николу в Пыжах, другие Николу на Курьих Ножках или Николу в Плотниках. Но Николы на Петуховых Ногах никто не знал. И колеса вертелись дальше, ища затерявшийся храм. Подошла ночь, устали и лошадь, и возница, и кнут, – но настойчивый француз сказал, что не слезет с сиденья, пока не отыщутся Петуховые Ноги. Возница дернул вожжи, и обода рыдвана снова застучали по ночным улицам Москвы. В то время город рано от-

ходил ко сну, и лишь два-три прохожих, остановленных голосом, выкатившимся из темноты, поторопились ответить «не знаю» и поскорее скрыться в домах. Зажглось солнце, погасло, вновь вспыхнуло и вновь кануло в тьму, а поиски все продолжались. Усталая кляча, спотыкаясь, еле тащила рыдван, возница сонно качался на козлах, но упрямый приезжий, коверкая чужие ему слова, требовал – дальше и дальше. Теперь они уже останавливались у каждой церкви, и, если была ночь, возница шел и стучался в соседние окна. Разбуженные люди высовывались навстречу вопросу о Николе на Петуховых Ногах, но окна тотчас же захлопывались, бросив короткое – «нет». И спицы снова кружили вокруг оси в поисках потерянного храма. Однажды сторож церкви Миколы Малого, что на Курьих Ножках, поднявшей свои кресты над путаницей переулков, пересеченных двумя Молчановками, услышал костистый стук в окно своей сторожки. Поднявшись с лежанки, он увидел (ночь была лунной) обросшее космами волос лицо, прилипшее к стеклу снаружи. «Кто там? – воскликнул сторож. – Чего надо?» И чей-то голос за дверью коверканно, но внятно, отвечал: «Пти Никола на Петуховый Ног». Сторож закрестился, испуганно шепча молитвы, а терпеливый француз, вернувшись в свой рыдван, продолжал поиски. Вскоре вокруг странного приезжего стала разрастаться легенда: люди, которым повстречался таинственный рыдван, рассказывали о черте на дрожках, который разъезжает по ночным улицам Москвы, ища подземный

храм сатаны, у которого левая пятка, как известно, петушья.

Теперь уже прохожие, заслышав стук таинственного экипажа, бросались в боковые переулки, не дожидаясь ни встречи, ни вопроса. И черт на дрожках тщетно кружил от перекрестков к перекресткам, нигде не встречая ни единой живой души.

Отдавшись образам старой легенды, я шел по отшумевшим улицам, наступая на тени и лунные пятна, пока случай не завел меня в узкий и длинный тупик. Я повернулся, чтобы выбраться из каменного мешка, но в это время, там, за поворотом, вдруг тихий, но четкий близящийся стук колес. Я участил шаги, пробуя опередить. Нет, было уже поздно: ветхий рыдван перегораживал мне выход из тупика. Да, это были они: захлестанная кляча, а меж ее дышащих ребер лунные лучи, протянувшие по мостовой скелетное плетение теней; возница с вожжами в костяшках рук и смутный силуэт седока, пытливо вглядывающегося в перспективу улиц. Я прижался спиной к стене, стараясь укрыться за выступом дома. Но меня уже заметили: низкий дорожный цилиндр, каких уже давно не носят, приподнялся над головой седока, и мертвые губы зашевелились. Но я, опережая вопрос, громко бросил в смутное картавое бормотание:

– Послушайте, вы, видение, где ваше видение? Будет ломать легенду. Вы ищете храм на Петушиных Ногах. Но их тут тысячи: стучите в любую дверь, и она введет вас. Разве не треплются красные петушьи гребни над кровлями их до-

мов, разве не проблистали поднятые в небо стальные клювы. Каждый дом (если верить их сказкам), каждая идея (если верить их книгам) на петушьих ногах. Попробуйте троньте, – и все это, топорща перья, бросится на нас и расклюет, со всеми Круппами, как крупу. А вознице вашему я б посоветовал немедля в профсоюз: пусть взыщут с вас по такое за сто пятьдесят два года. Эксплуататор, а еще черт!

И, рассердившись, я без церемонии прошагал сквозь призрак. События дня утомили меня до предела. Сон давно уже дожидался моего возвращения. Поутру я с трудом распутал клубок из яви, сна и легенд.

## 13

То, что я сообщил здесь уважаемому собранию, – лишь так, несколько мелких пенни, вытряхнутых сквозь рот, как сквозь отверстие туго набитой копилки. Вся Россия вот здесь, под этим теменем. И мне понадобится по меньшей мере дюжина томов, чтобы уместить в них весь опыт моего путешествия в Страну Советов.

Так или иначе, почувствовав, что копилка полна, я решил, что пора подумать о возвращении. Получить заграничный паспорт в СССР удается весьма немногим. Первый же чиновник, к которому я обратился, отвечал в тоне надписей над входом в Дантов ад:

– Ни живой души.

Но я не смутился:

– Помилуйте, какая ж я живая душа, когда меня условно расстреляли?

И, выправив нужные удостоверения, я двинул дело с мертвой точки. После нескольких недель хлопот в кармане у меня лежали билет и пропуск.

Настал последний день. Поезд мой отходил в шесть с минутами. На небе сияло полуденное июльское солнце: в моем распоряжении было несколько часов, – и я решил их отдать прощанию с Москвой. Неторопливым шагом дошел я до одного из мостов, переброшенных через реку, и, свесившись с перил, в последний раз наблюдал волны и пену, уносимые быстрым, как время, течением. С илистых берегов доносилось протяжное кваканье лягушек, в последний раз напоминавшее мне предание о том, как строился этот удивительный город (начало предания вы можете прочесть у известного русского историка Забелина) в далеком прошлом, когда вместо домов тут были кочки, вместо площадей затянутые тиной болота, вместо людей лягушки, пришел неведомо откуда царевич Мос и посватался неведомо зачем к царевне Ква. Построили среди болот и топей брачные хоромы и отпраздновали свадьбу. Но как только Мос и Ква остались одни, слышит Ква, кто-то зовет ее по имени. «Пойди, – говорит она мужу, которому бы к жене, а не от жены: – Посмотри, кто меня зовет?» Досадно Мосу, но вышел, смотрит – на кочке жаба и – ква-ква. Прогнал Мос жабу, но только вернулся к

жене, а уж с другой кочки опять ее кто-то по имени. И снова жена: «Пойди – узнай». Обозлился Мос и велел построить брачные хоромы в другом месте. Но и там, чуть остался с молодой женой, отовсюду и со всех кочек зовут царицу Ква по имени, от мужа отрывают. Заплакала царица Ква и просит построить дом в третьем месте. А там и в четвертом, и в пятом, и в тридцать третьем. Стучат топоры, растут дом за домом и дом к дому; и где были кочки – там кровля, где озера – там площади; где топи и болота с квакающими лягушками – там большой город с людьми, говорящими на чистом акающем диалекте чистейшего русского языка. И теперь уже никто не мог помешать тому, чтоб Мос и Ква наконец соединились, даже именами: «Москва».

Оторвавшись от перил, я тем же неторопливым шагом направился по знакомым улицам. Вот порывом ветра опрокинуло мальчишке-продавцу его лоток с мармеладом; мальчишка ползает по земле, собирает просыпавшиеся мармеладины и, всполоснув их в ближайшей лужице, аккуратно раскладывает на лотке. Иду дальше. Мимо глаз доски знакомого забора: на верхней, грея свои рыжие буквы на солнце, протянулись слова: *на соплях повис*. На секунду я задерживаю шаги, пробуя образно представить смысл написанного. И опять, с чувством резиньяции, мимо и дальше.

Вот, спиной в афишный столб, с гармоникой меж прыгающих локтей, пьяный. «Эх, яблочко, – поет он, – сбоку листики, полюбил бы тебя – боюсь мистики». Но афишный столб,

внезапно повернувшись, роняет и певца и песню на землю. Дальше.

Навстречу плывет громадная площадь: в центре площади пятью крестами в небо – собор; рядом с громадой собора высокое мраморное подножие памятника, очевидно, сброшенного революцией. Должен признаться, что я никогда не мог пройти мимо пустого подножия пьедестала. Неполнота, незавершенность всегда меня раздражает. Так и теперь: я быстро вскарабкался на мрамор постамента и принял спокойную, исполненную достоинства и монументальности позу. Внизу проходил уличный фотограф. Стоило бросить серебряную монету, и голова его тотчас же нырнула под черное сукно. Стоя с рукой, протянутой к падающему солнцу, я мог видеть, как вокруг памятника постепенно накапливалась толпа, наблюдавшая, с возгласами одобрения, эффектную съемку. Впрочем, экран скажет короче и убедительнее. Вот – (гром аплодисментов приветствовал табло, выпрыгнувшее из волшебного фонаря на плоскость экрана. Докладчик, откланявшись, попросил, движением руки, тишины).

Я не хотел бы, леди и джентльмены, чтобы это было истолковано как намек. Но, возвращаясь к рассказу, должен сообщить, что москвичи, заполнившие площадь вокруг памятника, отнеслись ко мне так же, как и вы, заполняющие этот зал: рукоплескания, крики «возвращайтесь», «пока» и «на кого вы нас покидаете» долго не давали мне сойти с постамента; если присоединить к этому и то обстоятельство,

что фотограф сделал очень долгую выдержку, то для вас не покажется удивительным, что я опоздал к поезду: он ушел перед самым моим носом, оставив меня одного с билетом в руках, на пустой платформе.

Положение получалось чрезвычайно серьезное. Дело в том, что поезда к границе отправляются из Москвы (точнее, отправлялись в то время, о котором я рассказываю) не чаще одного раза в месяц. Это разрушало все мои планы, мало того, лишало меня возможности сдержать обещания, данные моим контрагентам на Западе, превращая меня, барона Мюнхгаузена (странно даже подумать и выговорить), – в лжеца и обманщика, изменяющего своему слову.

Но делать было нечего. Я вернулся в город и всю ночь просидел на одной из скамей Страстного бульвара, обдумывая, как быть. Тем временем время растягивало секунды в минуты, минуты в часы: дата, вштемпелеванная в мой билет, сделалась вчерашней, и тут вдруг мысль: а не попробовать ли мне разыскать вчерашний день?

Я тотчас же отправился в редакцию газеты и сунул в окошечко приемщика объявлений текст: «УТЕРЯН вчерашний день. Нашедшего просят за приличное вознаграждение…» ну и так далее.

– Хорошо, дня через два пустим.

– Позвольте, – загорячился я, – но через два дня это уже будет не вчерашний, а – как это вы называете?

– Третьевый, – ответили из-за оконца, а стоявший за моей

спиной в очереди посоветовал:

– Четвертевый, пусть пишут четвертевый, вернее, с запасом, раньше не напечатают.

– Но как же так? – заметался я меж двух советов. – Мне нужен не третьевый и не девятеревый, а вчерашний день, я же говорю вам чистым русским…

– А если вам непременно вчерашний, – возразило окошечко, – то нужно было заявить об этом третьего дня: порядка не знаете.

– Но как же… – вскинулся было я, но, поняв, что лишь понапрасну растрачиваю время, решил действовать иным путем. Перебирая в памяти имена учреждений и лиц, куда бы я мог обратиться, я вспомнил об «Ассоциации по изучению прошлогоднего снега». Звонок по телефону, короткий разговор, и извозчик везет меня в Архив Ассоциации. Пролетка пересекает город по диагонали, мы минуем заставу; за городом, в стороне от пыльного летнего шоссе, красная кровля Архива, полуспрятанного за высоким обводом глухой каменной стены. Подъезжаем к воротам. Тяну за ржавую петлю звонка. В ответ длинная мертвая тишина. Еще раз за петлю. За глухой стеной медленно близящийся шаг – и странно: земля под ногами похрустывает и скрипит (что такое?). Наконец, ржавый голос ключа, и кованная в медь калитка приоткрывается. Я в изумлении: июльский снег. Да-да, за оградой, внутри обвода высокой стены, замешкавшаяся на несколько месяцев зима; на голых ветвях ледяные сосули и

повсюду на грядках старого заглохшего сада, окружившего ветхое здание Архива, сугробы и хрупкий белый наст. Слуга, сгорбленный морщинистый старик, медленно переставляя ноги, ведет меня по аллее к крыльцу, а в воздухе мягкие белые хлопья, неслышно приникающие к земле. Я не спрашиваю – я знаю: это падает прошлогодний снег.

Заведующий Отделом Вчерашних Дней, лысый господин с глазами, заштопанными синим стеклом, предупрежденный о моем посещении, встретил меня очень любезно.

– Бывает, бывает, – улыбнулся он мне, – один упустит мгновение, другой, глядь, жизнь. А если к нам и: diem perdidi [24], то мы, как библейская Руфь, подбирающая оброненные серпом колосья, собираем отжатое и отжитое. У нас ничего не пропадет: ни единой оттиканной секунды. Руфь собирает Русь, хе. Вот – получите вам вчерашний день.

И ко мне пододвинулась аккуратная занумерованная коробочка паутинного цвета. Я открыл крышку: под ней, замотанный в вату, наежившись щетиной из шевелящихся секундных стрелок, сонно ворочался мой вчерашний день. Я не знал, как благодарить.

Синие очки предложили мне осмотреть архив Руфь-Руси, но я, боясь еще раз потерять потерянное, извинился и поспешил к выходу. Хлопья прошлогоднего снега провожали меня до калитки. Весь белый, я вышел за ограду, и летнее солнце вмиг растопило снежный налет и высушило одежду.

---

[24] Потерянный день *(лат.)*.

Я прыгнул в пролетку.

– Вокзал.

Извозчик дернул вожжи, и мы поехали. Но мне как-то не верилось в реальность происшедшего, и хотя время незримо, но глаза мои искали доказательств. И вдруг, взглянув на уличный циферблат, я увидел, что часовая стрелка пятится по кругу назад: с шести на пять, с пяти на четыре и так далее. Навстречу бежал газетчик:

– Экстренный выпуск! Последние известия!

Тронув спину извозчика, я остановил его, чтобы обменять пятак на газету. С бьющимся сердцем развернул я вчетверо сложенный лист: слава богу – под заголовком ясно оттиснутая вчерашняя дата. И мы покатили дальше.

Теперь я спокойно разглядывал убегающую из-под колес улицу. Вот промелькнул вчерашний мальчишка: вчерашний ветер опрокинул ему лоток с мармеладом, и бедняга снова, обмывая в луже мармеладины, раскладывал их на доске. Вот и пьяный, прислонившийся спиной к афишному столбу, с гармонией меж прыгающих локтей: «Эх, яблочко, с боку листики»… и я знаю, что афишный столб сейчас повернется и уронит певца и песню в грязь. И я отворачиваюсь, – в сущности, «вечное возвращение», о котором теоретизировал Ницше, если и не заслуживает критики, то заслуживает зевков.

Наконец мы добрались до вокзала. Я снова на платформе. Подают поезд; он медленно ползет задом наперед и вкатывается в вокзал. Для меня, как для условного трупа, осо-

бый вагон: это товарная, сбитая из красных досок клеть на четырех колесах; поверх двери мелом: «для скр. прт. гр.», над дверью зеленая ветка хвои. Мрачновато, но делать нечего: даю себя погрузить. Дверь, накатываясь по шарнирам, задвигается. Сидя в полной темноте, я слышу, как запломбировывают снаружи вагон.

Затем… затем два дня пути в темной клетке – время достаточное, чтобы обдумать все виденное и слышанное, отвеять шелуху от зерна и сделать последние выводы. Но все это с вашего разрешения, леди и джентльмены, мы оставим пока нераспломбированным. Я кончил.

Барон Мюнхгаузен поклонился собранию и сделал шаг к ступенькам, сводящим с кафедры. Но тут его застигла овация. Стены Лондонского Королевского Общества еще никогда не слыхали такого грохота и рева: тысячи ладоней били друг о друга и все рты кричали одно лишь имя: Мюнхгаузен.

# Глава VI
# Теория невероятностей

Барон был человеком достаточно тренированным в славе: поскольку слава из слов, он умел ее полуслушать, покорно подставляя себя под стеклянные глаза объективов, полуулыбался, полуотвечал, протягивал то три пальца, то четыре, то два, не давая руке распухнуть от рукопожатий. Слуга в коттедже сумасшедших бобов знал, что каждые два часа надо менять корзину для рваной бумаги, так как письма, теле– и радиограммы дождили с упорством лондонского дождя.

Но даже выработанное долгим опытом умение обращаться со славой на этот раз не могло спасти барона Мюнхгаузена от некоторого чувства усталости и пресыщения. Каждый день он получал дипломы на звание члена-корреспондента, доктора философии от всевозможных академий и университетов; американское объединение журналистов выбрало его своим шефом; на теле барона, кстати, достаточно длинном, уже не хватало места для орденов, и приходилось их вешать с некоторыми отступлениями от статуса. Испанский король прислал ему художественно выполненный язык из золота, усыпанный бриллиантовыми прыщами, а один из самодержцев всероссийских бронзовую медаль с надписью: «За спасение погибающих».

Был избран Комитет по сбору пожертвований на построй-

ку памятника Иеронимусу Мюнхгаузену; монеты катились отовсюду в фонд Комитета – и вскоре на одной из лондонских площадей состоялась торжественная закладка.

Барону редко удавалось остаться наедине со своей старой трубкой, пищущая машинка тщетно подставляла клавиши под послеобеденные афоризмы: Мюнхгаузен был занят более важной и ответственной работой – лекция его, подхваченная всеми газетами мира, день за днем разрасталась в книгу, над которой он работал, часто отказываясь от сна и пищи. Правда, иному репортеру, проскальзывающему чуть ли не сквозь замочную скважину в дом, изредка удавалось остановить перо Мюнхгаузена. Неизменно вежливый, он поворачивал злое лицо навстречу расшаркивающемуся человеку:

– Десять секунд. Секундомер пошел. Жду: раз – два…

Ошарашенный репортер выбрасывал первый попавшийся вопрос вроде:

– Из каких отделов должна состоять солидно поставленная газета?

И через шестую долю секунды звучал ответ:

– Из двух: официального и официантского. Восемь – девять – десять. Имею честь.

Стоя за порогом, интервьюер читал и перечитывал карандашную строку, не зная, как с ней быть.

Вообще, как это заметили даже завсегдатаи коттеджа сумасшедших бобов, характер барона начинал несколько пор-

титься. Мало того, в поведении его обнаружились странности, которых раньше никто в нем не замечал.

Первая странность дала о себе знать в тот достопамятный для Лондона день, когда по главным улицам столицы были пронесены, под гром оркестров и пение клира, на парадных парчовых подушках: старая треуголка, истертый камзол, шпага и косица триумфатора. Шествие, начавшееся от здания ратуши, должно было пройти мимо дома самого Мюнхгаузена и затем повернуть к Вестминстерскому аббатству, под сводами которого, рядом со священнейшими реликвиями старой Англии мюнхгаузенову шпагу, камзол и треуголку ждали бессмертие и почетный покой.

Стараниями друзей от Мюнхгаузена удалось скрыть все приготовления к празднеству. Друзья (в том числе епископ Нортумберлендский) наперед предвкушали эффект, который произведет этот грандиозный сюрприз на обязательнейшего и милейшего барона. Но им пришлось жестоко разочароваться: заслышав шум приближающейся процессии и пение клира, барон Мюнхгаузен зашлепал туфлями к окну и выглянул наружу, стараясь понять, в чем дело. Внизу, среди колышущейся толпы, медленно плыли парчовые подушки, а поверх подушек его – что за дьявол – Мюнхгаузеновы: камзол, коса, шпага, треуголка. Радостный рев толпы взмыл навстречу барону, но тот, отступив на шаг, обернулся и увидел неслышно вошедшего в комнату епископа Нортумберлендского.

– Куда? – хрипло спросил барон.

Весь сияя и радостно потирая руки, епископ отвечал:

– К святыням Вестминстера. Поистине не всякий король…

Но тут произошло нечто неожиданное, неприличное и не предвиденное церемониалом празднества. Вдруг побагровев, Мюнхгаузен снял с правой ноги туфлю и швырнул ее в ликующую толпу: описав параболу, туфля шлепнулась где-то меж хоругвей и сверкающей парчи, образовав в толпе, как снаряд, ударивший о землю, широкую воронку из пятящихся людей.

– Может быть, вам нужен и мой ночной горшок?! – заорал барон, перегнувшись через подоконник, в приумолкшую толпу.

Тысячи испуганных лиц поднялись к раскрытому окну лишь затем, чтобы увидеть, как оно с треском захлопнулось. Оконфуженный епископ скользнул за дверь. Распорядители выбивались из сил, восстанавливая нарушенный порядок, и так как хвост шествия, бывший за поворотом улицы, напирал на голову, то процессия по инерции продолжала двигаться, но хор пел нестройно и фальшиво, хоругви суматошно качались из стороны в сторону, празднество потускнело и скислилось.

Вечерние выпуски газет изложили события лавирующим языком, осторожно обходя или замалчивая досадную непредвиденность. Но барон Мюнхгаузен только начинал

ряд странностей, заставивших души лондонцев проделать всю гамму чувств: тоника – восторг, медианта – недоумение, октава – негодование.

Процессия ушла, и Бейсвотер-род опустел, а человек, прогнавший восторг из тысячи голов, шагал из угла в угол, что-то гневно бормоча себе под нос, затем присел к столу и стал вычеркивать абзацы и страницы из своих черновиков. Лишь несколько успокоившись, он приступил ко второй странности: через два часа после водворения реликвий в Вестминстере главный кустод аббатства получил доставленное срочной почтой письмо: письмо, помеченное гербом баронов фон Мюнхгаузенов, в резких и лаконических словах требовало немедленного возврата присвоенного аббатством камзола его законному собственнику. «Пребываю в надежде, – заканчивалось послание, – что Соединенное Королевство Великобритании и обеих Индий не захочет обогащаться, отнимая у бедного человека его носильное платье».

Кустод, до крайности озадаченный, отправился за советом к викарию, викарий рассказал отцу казначею, казначей… одним словом, еще Лондон не успел зажечь своих огней, как одиозные слова, перепрыгнув через зубчатую ограду аббатства, заскользили по телефонным проводам и зашуршали в мембранах, готовясь нырнуть внутрь обмотки трансатлантического кабеля. Атмосфера делалась напряженной. Незадолго до полуночи последовал приказ свыше: согласно заявления иностранного подданного Мюнхгаузена, лишив

реликвию номер (последовала цифра) всех прав и преимуществ, реликвиям присвоенных, возвратить ее названному иностранцу.

Наутро ни один репортер не посмел приблизиться к порогу коттеджа на Бейсвотер-род, если не считать Джима Чильчера, сотрудника третьестепенной газетки, для которого все вообще пороги были высоки до непереступаемости. У Чильчера не было денег на автобус, и поэтому свой утренний маршрут, от Оксфорд-стрит до Москоу-род, он начинал раньше других и проделывал пешком: сегодня, как и всегда, он шагал вдоль длинного выгиба Бейсвотер-род, скользя глазами по решетке Кенсингтонского парка. Голова его, втянутая утренним холодом в плечи, решала математическую задачу: если из пенсов, сберегаемых ежедневно на автобусе, вычесть пенсы на амортизацию расползающейся обуви, то на какое число дней нужно помножить данную разность, чтобы получилось произведение в двенадцать шиллингов, пятьдесят пенсов, необходимое на покупку новой пары штиблет; получалось нечто вроде знаменитой Ньютоновой задачи о коровах на лугу – коровы неустанно пожирают траву, но трава-то тем временем растет, – и Чильчер так погрузился в разрешение сложной головоломки, что не сразу заметил, как кто-то осторожно придержал его за правый рукав пальто, остановив шаги и цифры. Впрочем, не кто-то: оглянувшись через плечо, Джим Чильчер не увидал ни души, но тем не менее чьи-то цепкие пальцы не выпускали пуговицы над за-

пястьем руки. Чильчер дернул руку, и вслед за ней потянулась длинная зеленая спираль, не выпускавшая и теперь из своих упругих изгибов попавшей точно в пружинный капкан руки. Журналист поднял глаза кверху, увидел стену, сплошь увитую зелеными кольцами, и понял, что он стоит у коттеджа сумасшедших бобов. В тот же миг двери коттеджа распахнулись и старик-лакей, выглянув наружу, любезно спросил:

– Вы репортер?

– Да-а… Ваши бобы…

– Барон просит, – поклонился слуга, раскрывая шире дверь.

Джим Чильчер был так потрясен приглашением, что и не заметил, что заставило сумасшедший боб расцепить свои кольца. Подгибающиеся ноги подняли его по лестнице холла, но слуга уже распахивал дверь в кабинет барона, приветливо привставшего навстречу растерянному репортеру. Кресло, услужливо накатившееся сзади, подсекло Чильчеру ноги, принудив сесть, а вопрос, ударивший в упор, заставил пальцы репортера запрыгать из кармана в карман в поисках карандаша и бумаги.

– Вы забыли блокнот? – улыбнулся барон. – Не трудитесь искать – вот эта записная книжечка заменит вам его. Не стоит благодарности. Карандаш? Он уже сделал свое: задал вопросы и ответил на них. Ведь вас интересует, простите – ваше имя… очень приятно, – вас интересует, мистер Чильчер, зачем Мюнхгаузену понадобился камзол? Не так ли? В ва-

ших руках автографическое доказательство того, что камзол нужен *не мне*. Вы, вероятно, торопитесь. Я тоже.

Джим Чильчер, выбежавший с чувством радостной оторопи на улицу, не заметил, как озорно шевелились в утреннем ветре длинные зеленые усики бобов, тонкими змеями овивающих коттедж.

Экстренный выпуск рептильной газетки, в которой работал Чильчер, в десять утра стоил пять пенсов; к полудню за него платили шиллинг; к двум часам номер нельзя было достать и за полфунта. Рептилия осведомляла о реликвии – и этого было достаточно, чтобы миллионы глаз потянулись к сенсационному интервью, вывернувшему вопрос о камзоле, так сказать, подкладкой вверх. Выяснилось, что пером Мюнхгаузена водило не желание уколоть британского льва, отнюдь, а решение дать урок великодушия колючей пятиконечной звезде: условный труп проявлял чувство достаточно живой благодарности, жертвуя свой двухсотлетний камзол в пользу Комиссии по улучшению быта ученых СССР. «АРА, – заканчивал интервью барон, – не откажется, я полагаю, переслать мой textile для вручения его беднейшему из русских молодых ученых».

Жест был настолько величественен и христианск в лучшем смысле этого слова, что иные газеты отказывались верить сообщению. Но в руках у Чильчеровой газетки имелся автограф: фотография с него, показавшая раскосый почерк барона, рассеяла последние сомнения. Капитал славы, кото-

рый барон, казалось, хотел расшвырять, неожиданно возрос, собрав множество круглых слезинок, льнущих к ресницам, как крохотные нолики к косой черте, обозначающей %%. «Дейли-Мейль» восхищалась недряхлеющим сердцем, отдающим все свои семьдесят два удара в минуту на пользу человечества. «Таймс» писал, что добрейший барон Мюнхгаузен возрождает образ диккенсовского чудака, умеющего и в добрых делах быть эксцентричным, придворный проповедник капеллы Сен-Джемса прочел проповедь о ленте вдовицы, а торжественная «Пел-Мел», ведущая, как известно, – к Букингэмскому дворцу, асфальтным ковром подостлалась под ноги Мюнхгаузену: короче, ему назначалась аудиенция у короля. Но тут-то пришел черед третьей странности, которая… впрочем, по порядку.

Барон Мюнхгаузен и мистер Уилки Доули, сдвинув свои кресла, беседовали в кабинете коттеджа на Бейсвотер-род. За окнами разблистался на редкость солнечный для города туманов день – и даже на раструбе слуховой трубки, выставившейся из уха престарелого ученого, профессора Доули, мерцал веселый блеск:

– Через час вам предстоит предстать… – и Доули попробовал отодвинуть кресло от кресла.

Но пальцы барона не отпустили поручня:

– Час – это три тысячи шестьсот раз проколебавшийся маятник. Вы разрешите поделиться с вами, как с непререкаемым авторитетом в области математической дисциплины,

мистер Уилки, одним моим сомнением, мыслью, качающейся меж двух цифр?

Слуховая трубка пододвинулась ближе к барону, изъявляя готовность слушать. После минутной паузы Мюнхгаузен продолжал:

– Я, конечно, дилетант в математике. Но меня всегда чрезвычайно интересовала разработка и практические выводы так называемой теории вероятностей, которой посвящены многие из ваших глубоких и обстоятельнейших трактатов, достопочтенный мистер Уилки. Мой первый вопрос: теория вероятностей не приводит ли нас к так называемой теории ошибок?

Трубка кивнула раструбом: да.

– Мой вопрос: а что, если теория ошибок, примененная к теории вероятностей, признает ее ошибкой? Я хочу сказать, символическая змея, кусающая себя за хвост, ведь может им и подавиться, не правда ли, и тогда основание издохнет от своего следствия, а теория вероятностей окажется невероятной, если только теория ошибок не окажется ошибочной.

По лбу мистера Доули, как по поверхности воды, в которую бросили камень, побежали морщины:

– Но позвольте. Теорема Бернулли…

– Вот о ней-то я и хочу. Ведь мысль Бернулли можно сформулировать и так: с увеличением количества опытов увеличивается и точность исчисления вероятностей, разность $(m/n - p)$ делается неопределенно малой, то есть по ме-

ре того как число исчисляемых событий все больше и больше превышает *единицу*, колебание маятника цифр укорачивается, предполагаемое переходит в достоверное и теория вероятностей получает прочный математический контур и практическое бытие: иначе цифры и факты совпадают. Правильно ли я изложил закон больших чисел?

Мистер Доули пожевал губами:

– Если исключить некоторую странность вашей терминологии, то я бы не стал возражать.

– Прекрасно. Итак, стоит только числу так называемых событий или опытов превысить единицу, появляется Бернулли, теорема нарастания больших чисел и теория вероятностей приводится в действие. Но стоит тому же числу событий чуть сгорбиться, сделаться *меньше единицы*, и с такой же необходимостью появляются: Мюнхгаузен, контртеорема, закон несбывшихся событий и недождавшихся ожиданий, колеса вертятся в противоположную сторону и *теория невероятностей* на полном ходу. Вы уронили трубку, сэр: «Вот – прошу вас».

Но старый математик уже стучал своим длинным и черным ушным придатком по ручке кресла, словами по нонсенсу:

– Но учли ли вы, любезнейший мистер Мюнхгаузен, что теория вероятностей оперирует целыми числами, принимая каждое событие за единицу. Вы, как и все дилетанты, борясь за математические символы, переабстрагируете их, хо-

тите быть математичнее математики: реальная *действительность*, слагающаяся из действий – моих, ваших, чьих хотите, не знает, разумеется, событий, меньших единицы. Мы, реальные люди, в реальном мире или действуем, или не действуем, события или происходят, или не происходят. Подчеркиваю: исчисление вероятностей оперирует лишь целыми числами, единицей и кратным ей.

– В таком случае, – зачеканил Мюнхгаузен в придаток, успевший подобраться к уху собеседника, – в таком случае фактам и цифрам не по пути: им остается раскланяться и разойтись. Вы говорите: «События или происходят, или не происходят». А я утверждаю, события всегда лишь *полупроисходят*. Вы мне предлагаете свои целые числа. Но зачем они, эти целые числа, *нецелому существу* , называемому «человек»? Люди – это дроби, выдающие себя за единицы, доращивающие себя словами. Но дробь, привставшая на цыпочки, все-таки не целое число, не единица, и все поступки дроби дробны, все события в мире нецелых не целы. Целы лишь цели нецелых, которые всегда, заметьте, остаются недостигнутыми, потому что ваша теория вероятностей, бормочущая что-то о совпадении ожидаемого события с событием происшедшим, непригодна для нашего мира невероятностей, где ожидаемое никогда не наступает, где клятвы об одном, а факты о другом, где жизнь обещает начаться в вечном завтра. Математики, обозначающие осуществление через p, а неосуществление через q, разбираются в своих же

знаках хуже глупой кукушки, всем и всегда предсказывающей одно лишь: q – q.

Престарелый математик, не отводя раструба от слов, давно уже сопел носом и гневно щелкал вставными челюстями:

– Но позвольте, мистер, вместе с нашими цифрами вы вышвыриваете и мир. Ни больше, ни меньше. Ваша… э-э… метафизика, получи она распространение, превратилась бы в интеллектуальное бедствие. Вы зачеркиваете все цифры, кроме нуля. А я говорю: больше лояльности по отношению к бытию. Всякий джентльмен обязан признать действительность действительной, иначе он… ну, не знаю, как сказать… ведь эти стены, улицы, Лондон, земля, мир – не пепел, который я вот стряхиваю ударом пальца с сигары: это гораздо серьезнее, и я удивляюсь, сэр…

– Я тоже удивляюсь, как вы можете обвинять меня в неуважении к вашим домам и стенам: ведь только врожденная учтивость заставляет меня ходить не сквозь них, а мимо, хотя все ваши улицы для меня дороги в поле, а дворцы и храмы – трава, по которой я мог бы прошагать прямиком, если бы не уважал запрета, лондонезировавшего мир: «Традиций не рвать, идей не водить, святынь не топтать». И скажите мне, милейший мистер Доули, какой смысл безногим приторговывать у меня мои семимильные сапоги. Гораздо проще и дешевле, не двигаясь ни шагу с места, рассуждать о шагах.

На минуту беседу расклинило молчанием, потом старый

профессор сказал:

– Все это не лишено занимательности. Но и только. Стены стоят, где стояли, факты – тоже. И даже пепел с моей сигары не исчез, а лежит вон тут – в пепельнице. И вы нарочно, добрейший мистер Мюнхгаузен, все время оперируете широкими схемами, чтобы избежать узких и тесных, скажем так, фактов, в которые вашу теорию невероятностей никак не вдеть: для ног ихтиозавра башмачки Сандрильоны, хе-хе, согласитесь, тесноваты. Вашу теорию невероятностей, вы меня извините, строят метафоры, наша же теория вероятностей – результат обработки конкретнейшего материала. Приведите мне хоть один живой пример, и я готов буду…

– Извольте, из вашей же работы, мистер Доули. Вы пишете: «Если из ящика, в котором находятся черные и белые шары, вынуть один из них, то можно с некоторой долей вероятности предсказать, что он будет, скажем, белым, и с полной достоверностью, что он не будет красным». Но ведь мы с вами, мистер Доули, разве мы не наткнулись своими жизнями на казус, когда в ящике были лишь черные и белые, а рука истории – ко всеобщему конфузу – вытащила… красное.

– Опять метафоры, – вскинулся профессор, – но мы с вами заговорились, а время аудиенции близится. Боюсь, вы не успеете дать мне ни одного конкретного примера, ни одной невероятности, ограничившись чистой теорией таковых.

– Как знать, – привстал Мюнхгаузен вслед за расправлявшим тугие колени гостем. Снизу, сквозь толщу стены, по-

слышался шум поданной к крыльцу машины. Снизу же по лестнице близились шаги слуги, идущего докладывать о том, что время ехать.

– Как знать, – повторил Мюнхгаузен, вщуриваясь веселыми глазами в собеседника, – скажите, какой поступок со стороны человека, которому через двадцать минут предстоит аудиенция у короля, согласились бы вы назвать наиболее невероятным?

– Если б этот человек… – начал было Уилки Доули, но на пороге появился слуга.

– Хорошо, скажите Джонни – я сейчас. Ступайте. Я весь внимание, мистер Доули. Вы сказали: если бы этот человек…

– Ну да… если б этот человек (вы говорите, конечно, о себе, мистер) в час, скажем точнее – в минуту, назначенную для встречи с королем, повернулся бы к королю… спиной…

– Мистер Доули, – наклонился Мюнхгаузен к самому раструбу трубки, – вы даете слово джентльмена никому не говорить о той вещице, которую я выну сейчас из жилетного кармана?

– Можете быть спокойны. Ни одна душа.

Лунный камень на пальце барона нырнул внутрь жилетного кармана и тот час же выблеснулся назад: меж указательным и большим, пододвигаясь к испуганным глазам Доули, желтел картон железнодорожного билета.

– Прошу проверить знаки: поезд в четыре девятнадцать,

аудиенция в четыре двадцать. Кстати, вы лучше знаете Лондон, скажите: можно ли войти на платформу Черинг-Кросса, не повернувшись спиной к Букингэмскому дворцу?

– Но ведь это же не…

– Невероятно, хотите вы сказать? О, достопочтенный мистер Доули, для осуществления еще одного плана необходима еще одна невероятность, на которую я твердо рассчитываю. Пододвиньте трубку – вот так. И заключается эта невероятность в том, что человек, давший слово, сдержит его. Не правда ли, сэр?

Такова была третья странность барона Мюнхгаузена: удалось увернуться из-под удара тяжкой лапы британского льва. От Лондона до Дувра всего ведь два часа пути. Притом человеку, проскользнувшему меж пяти лучей, трудно ли разминуться с пятью когтями?

# Глава VII
# Баденвердерский затворник

В четыре двадцать две король сморщил брови. В четыре двадцать три придворный церемониймейстер бросился к телефону, вызванивая Бейсвотер-род: из коттеджа сумасшедших бобов отвечали, что барон выехал. Церемониймейстер распорядился передвинуть стрелки часов на пять минут вспять и велел раскрыть двери из внутренних апартаментов в аудиенц-зал. В четыре двадцать пять по стенам дворца зашуршало слово «шокинг». В четыре тридцать король гневно дернул плечом, повернулся на каблуках, а церемониймейстер, поймав взгляд монарха, заявил придворным чинам, что аудиенция отменяется.

Но было уже поздно: короля заставили ждать! Если аккуратность – вежливость королей, то аккуратность по отношению к королям – священный долг. Десять веков истории ниспровергались десятью минутами: король ждал. Даже палачи, отрубавшие головы английским королям, не смели запоздать ни на секунду, и меч ударял вместе с ударом колокола на старых часах Тауэра, и вдруг… какой-то заезжий болтун. Немецкий агент, тершийся среди московских большевиков… Десять веков грузно ворочались, подымая могильные камни для удара, но десять минут, свесив ноги с часовой стрелки, весело отстукивали: дал – ждал – ждал.

Версия о похищении Мюнхгаузена на пути от коттеджа к дворцу шайкой коммунистов продержалась всего лишь несколько часов. Шофер Джонни показал, что он сам отвез барона на вокзал к поезду четыре девятнадцать. В доме барона был произведен обыск, но ничего подозрительного, кроме туфли с левой ноги, разлученной со своей парой, обнаружено не было. Маститый Уилки Доули, имевший разговор с бароном за полчаса до оскорбления величества (показание прислуги), был тоже подвергнут допросу, причем вел себя как сообщник: на вопросы – знал или не знал – неизменно следовало: «Я дал слово ни слова более», – и, теория невероятностей, как бы торжествуя победу, посадила ни в чем не повинного ученого в тюрьму, где он вскоре и умер не то от старости, не то от огорчения.

Работы по возведению памятника барону Иеронимусу фон Мюнхгаузену, разумеется, были тотчас же прекращены, и посреди одной из широких лондонских площадей, окруженной кружением колес и криками автомобильных сирен, долго еще высился пустой пьедестал, напоминая кое-кому из памятливых людей рассказ Мюнхгаузена о его последнем московском дне.

Британская пресса реагировала энергично, но без многословий вслед спине, показавшей свои лопатки королю, из всей стаи литературных лоханей плеснуло помоями, после чего лохани подставили себя под новые злобы новых дней. Джим Чильчер успел купить новые штиблеты, но и только:

карьера его была безнадежно проиграна, и Ньютоновы коровы пожрали, вместе с алгебраической травой, все цветы его надежд.

Тем временем барон Мюнхгаузен, добравшись до континента, кружил по сплетениям железнодорожных нитей, как паук, которому порвали паутину. Шуцман, стоявший ночную смену на углу Фридрихштрассе и Унтер-ден-Линден, видел автомобиль барона, промчавшийся по направлению к Александер-платцу. Но к полудню, когда весть о внезапном приезде барона разнеслась по городу, портье из дома на Александер-платце на все звонки отвечал:

– Был и выбыл.

Чиновником, дежурившим в министерстве, в то же утро был получен пакет, адресованный знакомым ему мюнхгаузеновским почерком. Чиновник передал пакет своему шефу. Чиновник был не из болтливых, но все же не мог удержаться, чтобы не сообщить двум-трем о странной приписке в правом углу конверта: «Адрес отправителя: г. Всюду, тридевятый дом на Тридесятой улице».

День спустя кто-то из берлинских знакомых барона, возвращаясь из Ганновера в столицу, на одной из промежуточных станций увидел, как ему показалось, лицо Мюнхгаузена в окне встречного поезда, дожидавшегося сигнала к отправлению. Берлинец поднял котелок, но вагонные окна поплыли мимо окон вагона, и котелок, не получая ответа, недоуменным зигзагом вернулся и притиснул виски.

Прошло несколько месяцев. Поля подстриглись ежиком. Летнюю пыль прибило дождями к земле. Давно ли журавлиные косяки кривыми бумерангами прорезали небо с юга на север, чтобы теперь – замыкая круг – падать назад в юг. Имя безвестно исчезнувшего Мюнхгаузена вначале шумело, потом под модератор, а там и смолкло. Слава как звук, брошенный в горы: череда эх, раздвинувшиеся паузы, последний дальний и смутный отголосок – и снова каменная тишина, подставляющая гигантские уши ущелий под новый звук. Мюнхгаузеновские поклонники и почитатели продолжали почитать и поклоняться кому-то другому. Друзья… но разве великому стагириту [25] не сказалось как-то: «Друзья мои, а ведь нет дружбы на свете!» Примечательно, что жаловаться на это обстоятельство пришлось все-таки… друзьям. Психологическая антиномия эта выдвигается здесь лишь затем, чтобы читатель не удивлялся, когда ему скажут, что в одно из осенних утр поэт Эрнст Ундинг получил письмо, подписанное: «Мюнхгаузен».

Пальцы Ундинга слегка дрожали, когда он перечитывал скупые строки, принесенные ему узким и глухим конвертом. Барон просил не отказать ему «в последней встрече с последним человеком». Следовал адрес, который предлагалось, запомнив, уничтожить.

Ундинг мог бы отнестись с недоверием к словам из узкого конверта: он хорошо еще помнил пустой перрон и поезда,

---

[25] *Стагирит* – уроженец г. Статры (в Македонии); здесь: Аристотель.

проходящие мимо. Но случилось так, что, пересчитав свои марки, заработанные у фирмы «Веритас», вечером того же дня он выехал по линии Берлин – Ганновер.

Выполняя волю письма, Ундинг, беспокойно проворочавшийся всю ночь на жесткой скамье вагона, сошел, не доезжая двух-трех станций до Ганновера. Деревенька, примыкающая к железнодорожному поселку, спала, и лишь петухи вперебой выкликали зарю. Дойдя до последнего дома, так опять-таки требовало письмо, – надо было остановиться, постучать и вызвать Михеля Гейнца. На стук высунулась чья-то голова и, услышав имя, не спрашивая о дальнейшем, сказала:

– Хорошо. Сейчас.

Затем за оградой двора звук копыт и колес, минутой спустя скрип открывающихся ворот, – и деревенский возок, выкатив на улицу, подставил свою железную подножку приезжему.

В это время линия зари прочертилась на горизонте. Михель толкнул лошадей; разбрызгивая лужи, колеса двинулись по перпендикуляру к заре. Ундинг, сунув руку в боковой карман, нащупал – рядом с колючими углами конверта – вдвое сложенную тетрадь. Он улыбнулся смущенно, но гордо, как улыбаются поэты, когда их просят прочесть стихи. Дорога тянулась среди оголенных полей. Потом перекатилась через холм; подымающееся солнце било в глаза: отвернувшись влево, Ундинг увидел шеренгу четвероруких мельниц, гостеприимно машущих навстречу экипажу, но Михель

дернул правую вожжу и экипаж, повернувшись к мельницам задними колесами, покатил по боковой дороге, направляясь к сине-серому сверканию пруда. Загрохотал под ободами мост, убегая от копыт, закрякали утки, расположившиеся было поперек дороги, и Михель, протянув длинный бич к черепице двух-трех кровель, желтевших из двойного охвата деревьев и каменной изгороди, сказал:

– Баденвердер.

Широко раскрытые ворота дожидались гостя. Навстречу, по аллее парка, припадая на палку и волоча ногу, шел старый, сгорбленный дворецкий. Низко поклонившись, он пригласил гостя войти в дом:

– Барон нездоров. Он дожидается вас в библиотеке.

Преодолевая нетерпение, Ундинг с трудом тормозил мускулы, приноровляя свой шаг к медленному ковылянию старика. Они прошли под фантастическим сплетением ветвей. Деревья стояли тесно, и длинные утренние тени выстилали аллею черным ковром. Дошли до каменных ступенек, вводящих в дом. Пока дворецкий искал ключи, Ундинг успел скользнуть взглядом по ветхой, кое-где растрескавшейся и осевшей стене: справа и слева от входа – из серо-желтой штукатурки, полусмытые дождями, проступали готические буквы девизов:

Справа: *Красного и белого не покупайте,*
*Ни «да», ни «нет» не говорите.*

Слева: *Тот, кто строил меня, не жив;*
*Того, кто живет во мне, ждут неживые.*

Половицы, скрипя под ногами, провели мимо причудливого леса оленьих рогов, выраставших ветвящимися горизонталями из стены. По запутанным арабескам ковров слуга и гость прошли мимо ряда почернелых портретов, скудно освещенных узкими окнами. Наконец, витая лестница быстро закружила шаги, сверху пахнуло нежной книжной тленью – и Ундинг увидел себя в длинной сумрачной зале со стрельчатым окном в глубине. Вдоль стен тесно составленные шкафы и полки; казалось, стоит убрать книжные кипы, упершиеся в потолок, и тот, лишенный опоры, поползет вниз, плюща по пути рабочий стол, кресла и того, кто в них.

Но сейчас кресла были пусты: Мюнхгаузен, присев на корточки, раскладывал по полу какие-то белые квадратики. Погруженный в свою работу, с полами старого шлафрока, расползшимися по ковру, он не слышал шагов Ундинга. Тот приблизился:

– Что вы делаете, дорогой барон?

Мюнхгаузен быстро поднялся, стряхивая с колен квадратики; руки встретились в крепком и длинном пожатии.

– Ну вот, наконец-то. Вы спрашиваете, что я делаю? Прощаюсь с алфавитом. Пора.

Только теперь Ундинг рассмотрел, что разбросанные по узору ковра квадратики были обыкновенной складной азбу-

кой, кусочками картона, на каждом из которых по черной букве греческого алфавита. Одна из них еще продолжала оставаться в пальцах у барона.

– Вы не находите, милый Ундинг, что Омега своим начертанием до странности напоминает пузырь, ставший на утиные лапки. Вот вглядитесь, – придвинул он квадрат к гостю, – а между тем, как ни печально, это единственное, что осталось мне от всего алфавита. Я оскорбил буквы, и они ушли, как уходят мыши из обезлюдевшего дома. Да-да. Любой школьник, складывая эти вот значки, может учиться сочетать с мирами миры. Но для меня знаки лишились значимости. Надо стиснуть зубы и ждать, когда вот этот осклизлый пузырь на утиных лапах, неслышно ступая, подкрадется из-за спины и…

Говоривший бросил омегу на стол и замолчал. Ундинг, не ожидавший такого вступления, с тревогой вглядывался в лицо Мюнхгаузена: небритые щеки втянуло, кадык острым треугольником прорывал линию шеи, из-под судорожного росчерка бровей смотрели провалившиеся к дну глазниц столетия; рука, охватившая колючее колено, выпадала из-под рукава шлафрока изжелклым ссохшимся листом, одетым в сеть костей – прожилок; лунный камень на указательном пальце потерял игру и потух.

С минуту длилось молчание. Потом где-то у стены прохрипела пружина. И гость и хозяин повернули головы на звук: бронзовая кукушка, выглянув из-за циферблата, крик-

нула девять раз. Кадык Мюнхгаузена шевельнулся.

– Глупая птица жалеет меня. Забавно, не правда ли? К моей омеге она предлагает присоединить свое q – букву, которой математики обозначают несовпадение заданного с данным, неуспех. Но мне не нужен этот птичий подарок: я давно оставил за спиной мирок, в котором неуспех перед успехом, в страданье радость, и в самой смерти воскресение. Оставь себе, кукушка, свое Q – ведь это твое единственное все, если не считать пружины, заменяющей тебе душу. Нет, друг мой Ундинг, циферблатному колесу, кружащему двумя своими спицами, рано или поздно ободом о камень – и крак.

– Вот-вот, – приподнялся поэт, – наши образы пересеклись и, если вы позволите…

Рука Ундинга скользнула в карман пиджака. Но глаза Мюнхгаузена равнодушно смотрели куда-то мимо, вокруг рта его шевелились брюзгливые складки. И листы тетради, хрустнув под пальцами, не покинули своего укрытия. Только теперь Ундингу стало ясно, что человеку, простившемуся с алфавитом, все эти буквы, сцепляющиеся в строфы и смыслы, тщетны и запоздалы. Ладонь гостя вернулась назад и к поручню кресла, и гость понял, что иного искусства, кроме искусства слушать, от него не требуют.

Ветер раскачивал желтой листвой, изредка тыча веткой в окно, под замолчавшей кукушкой размеренно цокал маятник. Барон поднял голову:

– Может быть, вы устали с дороги?

– Нисколько.

– А я вот устал. Хотя и не было никакой дороги, кроме топтания по треугольнику: Берлин – Лондон – Берлин – Баденвердер – Лондон – Берлин – Баденвердер. И все. Вас, может быть, удивляет выключение из маршрутов Москвы?

– Нет, не удивляет.

– Прекрасно: я знал – вы поймете меня с полуслова. Ведь как ни разнствуют наши взгляды на поэтику, мы оба не умеем не понять: нельзя повернуться лицом к своему «я», не показав спину своему «не я». И, конечно, я не был бы Мюнхгаузеном, если б задумал искать Москву… в Москве. Для людей смысл – некие данности, в которые можно войти и выйти, оставив ключ у швейцара. Я всегда знал лишь созданности, и прежде чем войти в дом, я должен его построить. Ясно, что, приняв задание «СССР», я тем самым получал моральную визу во все страны мира, кроме СССР. И я отправился в мой старый, тихий Баденвердер, вот сюда – к тишине и к книжным полкам, где я мог спокойно задумать и построить свою МССР. Выскользнув из всех глаз, я ввил себя в глухой и тесный кокон, чтобы после, когда придет мой час, прорвать его и бросить в воздух пеструю пыльцу над серой пылью земли. Но если уточнять метафору, крылья летучей мыши лучше прирастают к фантазии, чем бабочкины крылышки. Вам, конечно, известен опыт: в темную комнату, где от стены к стене нити и к каждой нити подвешено по колокольчику, впускают летучую мышь: сколько бы ни кру-

жила, прорезывая тьму крыльями, птица, ни единый колокольчик не прозвенит – крыло всегда мимо нити, мудрый инстинкт продергивает спираль полета сквозь путаницу преграды, оберегая крылья от толчков о не-воздух.

И я бросил свою фантазию внутрь темного и пустого для меня четырехбуквия: СССР. Она кружила от знака к знаку, и мне казалось, что ни разу крылья ее не зацепили о реальность, фантазмы скользили мимо фактов, пока не стала выштриховываться небывалая страна, мир, вынутый из моего, Мюнхгаузенова, глаза, который был, на мой взгляд, ничем не хуже и не тусклее мира, втискивающегося своими лучами насильно извне внутрь наших глаз.

Я работал с увлечением, предвкушая эффект, когда сооружение из вымыслов, взгроможденных друг на друга, закачавшись, рухнет на лбы моих слушателей и читателей. О, как должны будут развесить рты лондонские зеваки, пялившие глаза на зеленые спирали моих бобов, когда я вовью их умы в пестрые спирали фантазмов.

Одно лишь обстоятельство путало образы и беднило композицию: теперь, как и всегда, готовясь вчеканить в чужие мозги мои фантасмагоризмы, я должен был отыскивать наклон и скат от высокого вымысла к вульгарному вранью, единственно доступному глазам в наглазниках, мутным шестнадцатисвечным мышлениям, воображению короткого радиуса. Пришлось, как всегда, притушить краски, затупить острия, взять за основу ткани обиходные бредни привычных

людям газет, оставив за собой лишь уток. Так или иначе, когда Россия была докомпонована, вот эта спиральная лестничка вернула меня людям. Результат моих выступлений вам известен.

Я снова попал в круг из втаращенных в меня глаз, подставленных под каждое мое слово ушей, ладоней, протянутых за рукопожатием, милостыней или автографом. Давнишнее раздражение художника, принужденного двести лет кряду снижать форму, на этот раз как-то особенно сильно заговорило во мне. Когда же они наконец поймут, эти хлопочущие вокруг меня существа, думал я, что мое бытие – лишь простая любезность. Когда они увидят и увидят ли когда, что мои чистые вымыслы приходят в мир за изумлениями и улыбками, а не за грязью и кровью. И так всегда у вас на земле, мой Ундинг: мелкие мистификаторы все эти Макферсоны, Мериме и Чаттертоны, смешивающие вино с водой, небыль с былью, возведены в гении, а я, мастер чистого, беспримесного фантазма, ославлен, как пустой враль и пустомеля. Да-да, не возражайте, я знаю, только в детских комнатах еще верят старому дураку Мюнхгаузену. Но ведь и Христа поняли только дети. Что же вы молчите, или вы брезгуете спорить с запутавшимся в своих путаницах путаником. Вот она, горькая плата земли: за мириады слов – молчание.

Ундинг отыскал глазами глаза и тихо погладил сухие костяшки рук Мюнхгаузена: в лунном камне на выгнувшемся крючком пальце вдруг снова заворошился тусклый и слабый

блик. Мюнхгаузен перевел частое дыхание и продолжал:

– Простите старика. Желчь. Впрочем, теперь вам будет легче понять тогдашнее мое состояние раздражения и натяженности нервов. Достаточно было малейшего толчка… толчок не заставил себя ждать. Вы помните нашу берлинскую беседу, когда я, указывая на крючья моего шкафа…

– Предсказали, – подхватил Ундинг, – что рано или поздно ваши камзол, косица и шпага, лежа на парчовых подушках, отправятся в Вестминстерское аббатство.

– Вот именно. И вы можете представить себе мое изумление, когда в одно проклятое утро, распахнув окно, я увидел всю эту ветошь, – сорвавшись с крючьев на парчу, она плыла над головами толпы прямо на Вестминстер. Первый раз за двести лет я сказал правду. К щекам моим хлынула краска стыда и в ушах звенело, как если б крыло летучей мыши задело за нить колокольчиком. Ха. Фантазм ударился о факт. Шок был так неожидан и силен, что я не сразу овладел собой. Эти дураки, шумевшие за окном, разумеется, ничего не поняли. Удивляюсь, как их попы не канонизировали мою туфлю, включив и ее в свой реликварий.

Весь остаток дня я провел над черновыми листами книги, посвященной СССР. Теперь уже мне казалось, что то тот, то этот абзац грешит против неправды; много строк попало под перечерк пера, но, раз заподозрив себя в правдивости, я – вы понимаете – не мог успокоиться, и в каждом слове мне чудилась вкравшаяся истина. К вечеру я отодвинул ис-

кромсанную рукопись, и тяжелое раздумье овладело мной: неужели я заболел истиной, неужели эта страшная и стыдная morbus veritatis [26], осложняющаяся или в мученичество, или в безумие, пробралась и в мой мозг? Пусть припадок был коротким и не сильным, но ведь и все эти Паскали, Бруно, Ньютоны тоже начинали с пустяков, а потом – брр… острое в хроническое, «hipotesas non fingo» [27].

После двух-трех дней колебания я понял и решился: отбросив путаницу домыслов и сомнений, сравнить портрет с оригиналом, страну, вынутую из расщепа моего пера, с доподлинной, защепленной в своих границах страной. Покинув Лондон, я вернулся сюда, в мое уединение. В пути я задержался лишь на несколько часов в Берлине: необходимо было ликвидировать мою дипломатию и обеспечить себе покой и невмешательство. Я отослал им все их полномочия, присоединив письмо, в котором заявлял, что на первую же попытку раскрыть тайну моего местопребывания отвечу раскрытием их тайн. Теперь я мог быть спокоен: сыск не допустит меня разыскать, да и число любопытствующих, я думаю, с каждым днем падает: слава, как и Мюнхгаузенова утка, сложила крылья и никогда больше их не расправит.

Надо было аускультировать рукопись и приниматься за ее лечение. При помощи двух-трех подставных лиц я затеял переписку с Москвой, мне удалось достать их книги и газеты,

---

[26] Болезнь правдивости *(лат.)*.

[27] Гипотез не строю *(лат.)*.

пользуясь сравнительным методом, сочетать изучение внутрирубежной России с зарубежной, пресса и литература которой у нас всех под руками. Берясь за систематическую правку рукописи, я твердо решил там, где рассказ и действительность параллельны, поступать, как музыкант, наткнувшийся при чтении партитуры на параллельные квинты.

Понемногу материал стал притекать и накапливаться: далекое *оттуда* бросало сотнями конвертов вот сюда, – Мюнхгаузен протянул палец к затененному углу библиотеки, где спинкой в книжные корешки, выгнув, будто под тяжким грузом, тонкие ножки, стоял старинный бювар, – да, сотнями конвертов и каждый из них, чуть ему разрывали рот, начинал говорить такое, что… но, может быть, вы думаете, я преувеличиваю: увы, болезнь отняла у меня даже и эту радость. Взгляните сами. Вот.

Ведя за собой Ундинга, Мюнхгаузен подошел к бювару и откинул покатую крышку: под ней белела груда вскрытых конвертов; сквозь окна марок, пестревших поверх, выглядывали маленькие человечки в красноармейских шлемах и рабочих блузах. Пальцы Мюнхгаузена, разворошив груду, выдернули почтовый листок наудачу. За ним другой и третий. Еще и еще. Перед глазами Ундинга замелькали чернильные строки. Длинный ноготь Мюнхгаузена, прыгая с листка на листок, влек за собой внимание читавшего:

– Ну вот, хотя бы здесь: «Геноссе Мюнхгаузен, по интере-

сующему вас вопросу о голоде в Поволжье спешу вас успокоить: сведения, данные вашей лекцией, не столько неверны, сколько неполны. Действительность, я бы позволил себе сказать, несколько превзош…» Как вам понравится? Или вот это: «Уважаемый коллега, я и не знал, что погашенный рассказ о непогашенной луне является отголоском факта, имевшего место с вами на пути от границы к Москве. Теперь для меня ясно, что автор рассказа, своевременно погашенного, мистифицировал читателей относительно источника такового, вся же правда – от слова до слова – принадлежит вам и только вам… Позвольте мне, как писатель писателю…» Какая фантастическая глупость: мне бы никогда такой и не придумать. Или вот: «…а что до пустого постамента, то такой есть. Только никакого Мюнхгаузена, позвольте доложиться, на нем не стояло, а сидел – дня три или четыре – папье-машевый царь Александр, да и того веревками слезли, и где было пусто, там и теперь пусто, и будет ли что другое, того не знаем. И надпись про на-соплю была, сам видел, только теперь, как у нас строительство, закрасили. А еще ежели вам сомнительно…» – ну и так далее. Лучше вот это, – ноготь побежал по строкам, – прочли? И вот тут. Мог ли я думать? Нет, вы скажите, что это: я сошел с ума, или…

Ундинг еле успел отдернуть пальцы, – крышка бювара звонко захлопнулась, и задки туфель гневно зашлепали от бювара к креслу. Повернувшись, Ундинг увидел: Мюнхгаузен сидел, спрятав лицо в ладони. И прошла долгая пауза,

прежде чем двое вернулись к словам.

– Добило меня книгами их эмигрантов. Сочиняя свою историю о московских спудах и пророке, я не знал, что найдутся люди, которые так легко перефантазируют меня и посмеются над исписавшимся выдумщиком. Я не завидую, но мне грустно, как может быть грустно старому обезлистевшему дереву, которое погибает, теснимое отовсюду буйной юной порослью.

Но давайте без лирики. Можно б было продолжать ревизию, но с меня было достаточно. Я видел: факты в основном контуре стали фантазмами, а фантазмы фактами, и тьма вкруг летучей мыши звенела тысячами колокольцев; каждый удар крыла о нить, вкруг каждого слова, каждого движения пера – изнизанный звоном смеющийся воздух. Я и сейчас это слышу. И в яви, и во сне. Нет-нет. Довольно. Пусть распахнут тьму и выпустят птицу: зачем ее мучить, раз опыт сорван?!

– Вы, вероятно, досадуете на меня, вы думаете: зачем вызывал меня – сквозь сотни километров – этот ненужный ни мне, ни себе брюзга, зачем…

– Если б вы знали, как вы для меня единственны, вы бы не говорили так, учитель!

Мюнхгаузен поправил кольцо, соскользнувшее было с иссохлого пальца, и, казалось, улыбался каким-то воспоминаниям:

– Впрочем, не я – болезнь позвала вас. Мог ли я думать,

что буду когда-нибудь исповедоваться, рассказывать себя, как старая шлюха в решетку конфессионале, пущу правду к себе на язык. Ведь, знаете, еще в детстве любимой моей книгой был наш немецкий сборник чудес и легенд, который средневековье приписывало некоему св. Никто. Мудрый и благостный der heilige Niemand был первым святым, к которому я обращал свои детские молитвы. В его пестрых рассказах о несуществующем все было иное, иначе, и когда я, тогда еще десятилетний мальчуган, переиначивал его Иначе, пробовал ввести в таинственную страну несуществований моих товарищей по играм и школе, они называли меня врунишкой, и не раз, ратуя за святого Никто, я натыкался не только на насмешки, но и на кулаки. Однако der heilige Niemand воздал мне сторицей: отняв один мир, он дал их мне сто сот. Ведь люди так обделены миром: он дан им всего лишь в одном экземпляре на всех, бедняги ютятся все и всегда в своем одном-единственном, – а я уже в юности получил в дар многое множество вселенных – и притом на себя одного. В моих мирах время шло быстрее и пространство было пространнее. Еще Лукреций Кар спрашивал: если пращник, ставший у края мира, метнет свой камень, где упадет камень – на черте или за чертой? Я тысячу раз дал ответ, потому что моя праща – лишь за пределы существующего. Я жил в безграничном царстве фантазий, и споры философов, вырывающих друг у друга из рук истину, казались мне похожими на драку нищих из-за брошенного им медного гроша. Несчаст-

ные и не могли иначе: если каждая вещь равна себе самой, если прошлое не может быть сделано другим, если каждый объект имеет один объективный смысл и мышление впряжено в познание, то нет никакого выхода, кроме как в истину. О, как смешны мне казались все эти ученые макушки, унификаторы и постигатели: они искали «Εν και παν», «единое во многом», и не находили, а я умел найти *многое в одном*. Они закрывали двери, притискивая их к порогам сознаний, – я распахивал их створами в ничто, которое и есть все; я вышел из борьбы за существование, которая имеет смысл лишь в темном и скудном мире, где не хватает бытия на всех, чтобы войти в *борьбу за несуществование*: я создал недосозданные миры, зажигал и тушил солнца, разрывал старые орбиты и вчерчивал в вселенную новые пути; я не открывал новых стран, о нет, я *изобретал* их; в сложной игре фантазмами против фактов, которая ведется на шахматнице, расквадратенной линиями меридианов и долгой, я особенно любил тот означенный у шахматистов двуточием миг, когда, дождавшись своего хода, снимаешь фантазмом факт, становясь несуществующим на место существующего. И всегда и неизменно фантазмы выигрывали – всегда и неизменно, пока я не наткнулся на страну, о которой *нельзя солгать*. Да-да, на равнинный квадрат меж черных и белых вод, заселенный такой неисчислимостью смыслов, примиривший в себе столько непримиримостей, разомкнувшийся в такие дали, которых не передлиннить никаким *далее*, выдвинувший такие фак-

ты, что фантазмам остается лишь – вспять. Да, Страна, о которой нельзя солгать! Мог ли я думать, что этот гигантский красный ферзь, прорвав линию моих пешек, опрокинет всю игру: помню, как он стоял под ударами чуть ли не всех моих фигур; с победно бьющимся сердцем, я по-наискосу ферзя пешкой, и напрочь; но не успела улыбка до моих губ, как я увидел, что пешка моя, непонятным образом вспучившись и развалившись, превратилась в только что сброшенного красного ферзя. Такое бывает лишь в снах: втягиваемый кошмаром, я схватился за встопыренную гриву своего коня и, проделав зигзаг, снова сшиб алого ферзя с доски; я слышал – он грохотал, падая гигантскими зубцами оземь, и из пустого места опять он, подымающий над меридианной сетью кровавые зубцы; я рокировался и по-прями турой; снова грохот рухнувшего и снова превращение; в бешенстве я ударил по проклятой клетке косым ходом леуфера: опять! И я увидел, мои клетки пустуют, король брошен под шах, а неистребимый красный ферзь есть, где был, на вскрытом раззвездье линий. Теперь настал миг, когда мне нечем ходить: все мои фантазмы проиграны. Но я и не подумаю сдаваться: в той игре и в тех масштабах, в каких мы ее ведем, если не с чего, *так с себя*. Я уже пробовал когда-то, взяв себя за темя, выдернуться из кочкастого болота. Что ж – ход самим собой: проигранному игроку больше ничего не остается, и я не слишком цепляюсь пятками за землю. Но мой цейтнот истекает. Пора. Оставьте меня, друг. Если вы подлинно мне друг.

Ундинг сначала поднял тяжелеющие веки, потом себя: он искал прощальных слов и не находил их. Но нельзя же было так отслушать и уйти, как если бы и не слышал. Он обежал глазами комнату: ряды притиснувшихся друг к другу книжных корешков, диск циферблата в бронзовой оправе, защелкнувшаяся крышка бювара, в углу не замеченная им раньше подставка для чубуков, на подставке старая, обездымевшая трубка, и тут же рядом, свесясь со спинки кресел, рукавами в землю, тот старый, сбежавший из Вестминстера камзол. Ундинг, глядя в сморщенные лопатки камзола, спросил:

– Как? Разве вы его не отослали, как это писалось в газетах, какому-то молодому ученому в Москву?

– Камзол может еще пригодиться и мне, – послышался уклончивый ответ, – а об ученом бедняке из Страны, о которой не солгать, не беспокойтесь. Ему посланы, в виде компенсации, мои черновики, если он владеет хотя бы ножницами и клеем, рукопись поможет ему выбиться на литературную дорогу.

Хозяин и гость простились. Обернувшись еще раз с порога, Ундинг видел: из-под сдвинувшейся на лоб шапочки барона выглядывала тщательно заплетенная, отрастающая длиннящимися седыми нитями косица.

Скрипучая витуша снова закружила медленные шаги уходящего.

# Глава VIII
# Истина, уклонившаяся от человека

Михель Гейнц оттянул вожжи, и колеса стали. Подножка, потом обитые ступеньки станционного домика. Ундинг поднял глаза к вправленному в стену циферблату и подумал: «Надо поправить метафору в циферблатном колесе, – как спицы ни кружи, обод всегда недвижен». И тотчас же сквозь мозг длинная череда образов. Встречи с Мюнхгаузеном (это испытывал на себе не только Ундинг) всегда частили и четчили пульс идей и давали полный – до отказа – завод фантазии. И под мерный стук и качание вагона карандаш Ундинга не отпускал пальцев, мчался по синей линейке, намечая контур новой поэмы. Поезд уже подъезжал к Берлину, когда было отыскано и заглавие: «Речь к спинкам стульев». Бывают и на корабле слов катастрофические миги, когда душа свистит «всех наверх», и отовсюду – с укачивающих коек, из-за закрытых дверей и даже из темного трюма – заслышавшие сигнал слова торопятся на поверхность бумажных страниц, то подымающихся, то падающих, как палуба в бурю: поглощенный работой, Ундинг пропустил Фридрихштрассе-бангоф и, высадившись на Моабите, шел сквозь город, не слыша из-за звона своих строф ни стука колес, ни гомона людей.

Только добравшись до порога комнаты с именем Эрнста Ундинга на наружной доске двери, поэт вспомнил, кто он и

где он.

Затем глубокий сон перевел стрелку часов на девять часов вперед. Свесив ноги с постели, Ундинг втолкнул их в ботинки, но зашнуровать не успел: нахлынувшее в память *вчера* овладело отдохнувшим сознанием. Перипетии поездки в Баденвердер предстали ему во всей их непоправимости. «Если я ехал помочь, – забередило в мыслях, – то почему я молчал? Разве можно помочь молчанием?» У изголовья лежала вчерашняя запись; Ундинг, скользнув глазами по карандашным каракулям, горько усмехнулся: «Ведь вот, заговорил же я со спинками стульев, но почему не с человеком». Однако слова рукописи зацепились уже за зрачки, и поэт не заметил, как недосказавшиеся строфы снова притиснули пальцы к бумаге, и воля поэмы стала его волей: опять стал виден воображаемый зал, в перспективу которого уходили бесконечные ряды деревянных существ и у каждого – и спереди и сзади – спина на четырех неподвижных выгибах ног; глядя в тесно сомкнутые шеренги, поэт бил словами по мертвым спинам, отдаваясь пафосу безнадежности; он говорил о неслышимости всех мыслей, захотевших стать словами, и об игре глухого Бетховена на клавикордах, из-под молоточков которых вывинчены струны; он восхищался благородной откровенностью своих неслушателей и ставил их в образец людям, которые трусливо скрывают, что и они, откуда к ним ни подойди, лишь спины на ввинченных в землю ногах; от строфы к строфе, разгораясь горечью и гневом, он писал… но нехо-

рошо заглядывать через плечо лирического поэта, когда он обращается не к тебе, а к спинке своего стула.

Так или иначе, только к сумеркам, когда воздух стал под цвет графитным строкам, поэма была вчерне закончена и карандаш отпустил пальцы. Ундинг не ел весь день; набросив пальто, он вышел на вечернюю улицу и толкнул дверь ближайшей бирхалле: при помощи ножа, вилки и пары челюстей проголодавшийся лирик быстро справился с порцией сосисок; от капусты остался лишь легкий капустный запах, а шпигельайер тщетно пялил желтые глаза, умоляя о пощаде. Прогнав первый приступ голода, Ундинг протянул руку к кружке пива, пододвинул ее к себе, и вдруг пальцы его отдернулись от стеклянной ручки: на поверхности напитка, налипая на граненые края, вспучивались и лопались крохотные пузырьки пены: точь-в-точь как те, которые несколько лет тому познакомили его с Мюнхгаузеном. Теперь, когда припадок эгоизма, который историки искусства называют «вдохновение», прошел, образ оставленного друга вшагнул в самый центр сознания и стал неотступным. Ундинг в эту ночь долго ворочался на горячих подушках, пока не дождался сна. Но в сон пришло сновидение: низкий потолок, подпертый кипами книг; позади тихий птичий шаг; Ундинг оборачивается – по поверхности письменного стола, осторожно подбирая пятки, крадется пузырь на утиных лапах; Ундинг хочет бежать, но ноги у него из дерева и ввинчены в пол; надо не позволить омеге зайти за спины, – это-то он твердо помнит, –

но ведь и сзади спина, и спереди спина – отовсюду; и пузырь, растягивая одетые в бег бликов вспучины, раздувается – еще и еще – уже стол, а там и книги, потолок, вся комната и он, Ундинг, в пузыре, – утончающиеся вспучины растягиваются, еще сейчас… разрыв – и в смерть: Ундинг сжимает веки и видит себя… с раскрытыми глазами на постели. Сквозь переплет окна – рассвет.

В течение всего дня беспокойство нарастало. Брал ли Ундинг в руки газету, вписывал ли в блокнот очередные распоряжения заведующего конторой «Веритас», сквозь всю суету ему виделся человек с лицом, запрятанным в пергаментные ладони; свесившаяся с макушки косица, медленно длиннясь, казалось, угрожала чем-то непоправимым. И снова в числе пассажиров вечернего поезда Берлин – Ганновер был Эрнст Ундинг.

Михель Гейнц, разбуженный стуком и голосом, опять, как несколько дней тому, выкатил на своем деревенском возке; Ундинг ногой о подножку, и колеса завертелись в сторону Баденвердера. На этот раз было чуть холоднее, и, глядя на медленно располыхивающуюся зарю, Ундинг слышал, как под ударами копыт то и дело лопалась и хрустела льдистая перепонка луж. Когда из утреннего тумана замаячили навстречу колесному стуку брошенные в небо ладони ветряных мельниц, мозг задело внезапной мыслью: «А что, если все, рассказанное бароном в последний раз, мистификация, самая причудливая и ловкая из всех мюнхгаузиад?!» Ундинг

представил себе смеющееся лицо баденвердерского отшельника, довольного, что ему удалось поймать на озорство, заставить поверить в невероятное. Ундинг уже не чувствовал холода, сердце его стучало быстрее, но колеса все так же медленно. В нетерпении он нагнулся к вознице:

– Нельзя ли разбудить лошадей, герр Гейнц?

Михель вытянул бич, и экипаж свернул на боковую дорогу. Вспугнутая стая уток с отчаянным кряканьем шарахнулась из-под зачастивших копыт; под колесами что-то хрястнуло: Ундинг оглянулся – одна из уток, очевидно, не успела: впластав в землю крылья, она вытянула поперек пути обездвиженную ободом шею. Взяв разгон, возок Гейнца весело перекатил через холм и грохотал уже о бревна моста, когда Ундинг вскрикнул: «Стойте!»

В растуманившемся утре на берегу озера виднелась группа людей, наблюдавшая за ходом лодки, медленно плывшей вдоль озера: в лодке сидело четверо, в руках у них были багры; то ныряя, то выныривая, багры ощупывали дно. Среди столпившихся Ундинг различил сутулую фигуру старика-дворецкого; тот, обернувшись на шум колес, очевидно, тоже узнал гостя и торопливо, поскольку позволяла старость, направился к мосту. Не в силах дожидаться, Ундинг выпрыгнул из экипажа и поспешил навстречу дворецкому:

– Случилось недоброе? Говорите.

Старик понурил голову:

– Вот уж второй день, как господин барон исчез неизвест-

но куда. Я поднял на ноги всех слуг. Мы обыскали дом, парк, лес, теперь обыскиваем дно. Нигде.

С минуту Эрнст Ундинг молчал. Потом:

– Прекратите поиски. Это ни к чему. Едем.

В голосе гостя звучала уверенность. Старик повиновался, тем более что, оставаясь в течение двух дней без хозяина, он чувствовал потребность хоть в чьих-либо приказаниях. Лодка причалила к берегу, багры легли на землю, а экипаж двинулся к дому. По дороге Ундинг успел узнать подробности:

– После того как вы уехали, – докладывал дворецкий, – все шло как обычно. Хотя нет: барон отказался от обеда и просил не беспокоить его без надобности. В шесть, как всегда, я поднялся в кабинет. В этот час барон имеет обыкновение выпивать рюмку кюммеля. Я поставил поднос на стол, барон, как всегда, сидел в кресле с книгой в руках – я хотел спросить, не подогреть ли обед, но мне был дан знак уйти…

– Я вас перебью: вы не помните, какая книга была в тот вечер в руках у барона?

– Переплет красный; кажется, из сафьяна; с золотым обрезом. Она и сейчас лежит на столе, как ее оставил барон. Дело в том…

– Благодарю вас. Дальше.

– Спустившись вниз, я не отходил никуда, думая, что барон, вероятно, болен и может каждую минуту позвать. В доме у нас так тихо, что я ясно слышал шаги в библиотеке. Потом они прекратились. Я позвал Фрица (мой внук), велел ему

стать у лестницы и не отходить ни на шаг, слушая, не позовет ли барон. Сам я отправился по хозяйству, одно-другое, – когда я вернулся, была уже ночь. «Выходил барон?» – спрашиваю Фрица. «Нет». – «Звал?» – «Нет». Что такое?! У Фрица слипались глаза – я отпустил его и, придвинув скамейку к ступенькам, что наверх, сел и стал слушать. Шагов не было. Уж не болен ли? Сверху ни шороха. Так час и еще час. Потом незадолго до полуночи вдруг – оттуда, сверху, – будто тронули колокольчик: язычком о край, и стихло. Может быть, почудилось, думаю, а может, и нет. Подымаюсь к двери в библиотеку. Постучал, жду, ничего. Приоткрыл и спрашиваю: «Господин барон, изволили звать?» Не отвечает. Тут уж я решился и вошел – вижу: в комнате никого; кресла пусты; на краю стола закрытая книга – та самая, в сафьяне; пустая рюмка упала и закатилась под стол, и только край скатерти чуть качается, как если б ее только что задели коленом. Подхожу к окну: закрыто. Пресвятая Дева, что же это?! Посмотрел по полкам: книги и книги. Может быть, барон спрятался: но где? Да и стары мы, не дети, и он, и я, чтоб играть в прятки. Позвал Фрица: обыскали все. Потом сторожу: «Не выходил?» – «Нет». Пошли с факелами по саду. Ну и началось – два дня бьемся. Скажите, сударь, возможная ли это вещь, чтоб человек, не выходя из комнаты, вышел из нее, а?

Но в это время возок остановился у ворот усадьбы, что избавило Ундинга от необходимости отвечать. Спрыгнув на землю, он направился к дому, не дожидаясь шагов дворецко-

го. Фриц, взъерошенный и сонный, открыл ему дверь, и Ундинг, миновав череду оквадраенных в тусклое золото портретов, – по спирали лестницы, входящей в библиотеку. Удар ладонью о дверь, и поэт, держа шляпу в руке, переступил порог. Все так, как тогда. Впрочем, нет: часы, которые, очевидно, забыли завести, молчали; а спинка кресла, с которой прошлый раз свешивал пустые руки старый камзол барона, – пуста. Сафьяновый том? Да, слуга описал точно: у края стола, на расстоянии протянутой руки от кресла. Ундинг подошел и притронулся к кожаному наугольнику алого сафьянового переплета. Да. Та самая. Волнение остановило было на минуту пальцы, но нельзя было медлить – внизу хлопнула дверь и слышались близящиеся шаги. Ундинг потянул за наугольник, откинул переплет: страницы – третья – дальше – тридцать девятая – еще дальше – шестьдесят пятая, шестьдесят седьмая – сейчас. Пальцы, чуть дрогнув, перевернули лист: пустой квадрат в черной типографской кайме был не *пуст*: барон Мюнхгаузен, ссутулив плечи, стоял посреди.

На нем был все тот же традиционный камзол и косица, свесившаяся меж лопаток. Правда, у правого бедра не было, как в издании 1783 года, шпаги, а волосы заметно побелели. Но посторонний наблюдатель, видевший другие экземпляры издания, сказал бы: «Стирается краска от времени и блекнет». Во всяком случае, во всем мире не нашлось бы другого такого чудака, который подумал бы то, что подумал поэт Эрнст Ундинг: «Так вот он последний ход – *самим собой*». И

почувствовал бы: где-то в ресницах запуталась едкая капля. Еще этого недоставало. Поэт гневно сдвинул брови и протянул руку к карандашу: но слова эпитафии не приходили. С минуту он сидел локтями в поручни кресла, вглядываясь в смутный и умаленный контур друга, возвратившегося наконец в свою старую книгу. Ему казалось – листы ее благоухают, как сама вечность.

Но шаги дворецкого, замешкавшиеся было где-то в путанице коридора, зазвучали вдруг совсем близко. Надо было торопиться. Ундинг бережно и благоговейно, касаясь пальцами кожаных науглий, опустил сафьяновую крышку переплета. Затем, с книгой в руке, он подошел к рядам выставившихся с полок корешков, отыскивая место, куда поставить сафьяновый гроб. Вот тут: отершись алой тканью о кожу и пергамент, книга стала меж чинным Адамом Смитом и «Сказками Тысячи и одной ночи». Дверь позади скрипнула. Обернувшись, Ундинг увидел дворецкого.

– Барон не вернется, – бросил он, проходя мимо, – потому что не уходил.

И старику, заковылявшему было вдогонку за более ясным ответом, не удалось нагнать ни ответ, ни Ундинга. Не прошло и пяти минут, как поэт сидел в экипаже, глядя в спину Михеля Гейнца, изредка учащавшего топот копыт свистом длинного и певучего бича. Колеса, хрустя по заморозкам, уже подкатывали к мосту, когда поэт, внезапно наклонившись, тронул Гейнца за плечо.

Гейнц, обернувшись с козел, увидел притиснутую к коленям седока раскрытую записную книжку. Он не выразил удивления, закурил, поправил шлею и стал ждать. А текст, сцепляясь из прыгающих серых букв, говорил:

«Здесь под сафьяновым покровом ждет суда живых, вплющенный в двумерье нарушитель мира мер *барон Иеронимус фон Мюнхгаузен*.

Человек этот как истинный боец ни разу *не уклонялся* от истины: всю жизнь он фехтовал против нее, парируя факты фантазмами, – и когда, в ответ на удары, сделал решающий выпад – свидетельствую, – сама Истина – *уклонилась* от человека. О душе его молитесь святому Никто».

Эрнст Ундинг сложил листки и сделал знак вознице: дальше. Под ободами колес снова зазвенели тонкие ледистые пленки луж.

# В зрачке

## I

Любовь у людей пуганая и с зажмурью: ныряет в сумерки, шмыгает по темным углам, шушукает, прячется за занавески и тушит свет.

Я не ревную к солнцу. Пусть его заглядывает – лишь бы вместе со мной под отщелкивающиеся кнопки. Пусть подсматривает сквозь окна. Меня это не смущает.

Да, я всегда был того мнения, что для романа полдень подходит гораздо лучше, чем полночь. Луну, на которую потрачено столько восторженных междометий, это ночное солнце под синим мещанским абажуром я попросту не терплю. И история об одном «да» и его последствиях – этому посвящен рассказ – началась при ярком солнце, у окна, раскрытого настежь в свет. Я не виноват, если конец подстерег ее меж днем и ночью, в тусклом брезге. Виновата она, не история, а та она, «да» которой я так долго и страстно ждал.

Впрочем, и до «да» произошли некоторые события, о которых необходимо упомянуть. Можно с уверенностью утверждать, что в любви глаза, ну, как бы это сказать, всегда забегают вперед. Это и понятно: они подвижнее и умеют делать свое, то есть смотреть и *через*. Пока тела влюбленных,

по сравнению с их глазами неповоротливые и огромные, прячутся друг от друга за тканью одежд, пока даже слова как-то ежатся и переминаются на губах, боясь спрыгнуть в воздух, глаза – в обгон всему – уже отдаются друг другу.

О, как ясно вспоминается мне тот яркий, пролазуренный небом день, когда мы оба, став у окна, распахнувшегося в солнце, разом, точно по уговору, взглянули… разумеется, не в окно, а друг на друга. Тут-то и появился *третий*: это был крохотный человечек, уставившийся на меня из ее зрачка, мое умаленное подобие, успевшее уже туда пробраться. Я еще не смел коснуться края ее одежд, а он… Я улыбнулся и кивнул ему. Человечек вежливо ответил. Но глаза отдернулись, и мы не встречались с ним до самого «да».

Когда оно позвало меня, это крохотное, еле слышимое «да», я не стал переспрашивать; охватив кисти покорных рук, я увидел его: выставившись сквозь круглое зрачковое оконце, он близил и близил свое взволнованное лицо. На миг его задернуло ресницами. Потом он снова мелькнул и скрылся: лицо его, как я успел заметить, сияло радостью и гордым удовлетворением; он был похож на удачливого администратора, хлопочущего и суетящегося по чужим делам.

С тех пор при каждой новой встрече, прежде чем отыскать губами губы, я взглядывал под ресницы возлюбленной, отыскивая его, крохотного устроителя любви: он всегда был на своем месте, аккуратный и обязательный, и как ни крохотно было лицо человечка в зрачке, но я всегда с точностью

угадывал его выражение – то мальчишески веселое, то чуть усталое, то покойно-созерцательное.

Как-то, во время одной из встреч, я рассказал моей подруге о человечке, пробравшемся к ней в зрачок, а также и мои мысли о нем. К моему удивлению, рассказ был принят холодно и даже чуть враждебно.

– Какой вздор, – и я увидел, как зрачки ее – инстинктивным движением – отодвинулись от меня. Я взял ее голову в ладони и попробовал насильно разыскать человечка. Но она, смеясь, опускала веки.

– Нет, нет, – и мне показалось, что в смехе ее был и не смех.

Иногда привыкнешь к пустяку, выдумаешь ему смысл, офилософишь его – и, глядь, пустяк подымает голову, вступает в спор с важным и реальным, нахально требуя прибавки бытия и досмысления. Я уже начал привыкать к пустяковому человечку из зрачка; мне было удобно, рассказывая то или это, видеть, что слушают и *она*, и *он*. Притом в обиход наших встреч вошла постепенно своего рода игра (мало ли что не придумывают влюбленные), заключавшаяся в том, что женщина прятала человечка, я же его отыскивал: при этом было много смеху и поцелуев. И вот однажды (мне до сих пор как-то странно и трудно вспоминать это)… однажды, близя губы к губам, я заглянул ей в глаза и увидел: человечек, выглянувший из-под ресниц, кивнул мне – лицо его было печально и настороженно – и вдруг, круто повернув спину, дробно

семеня, стал уходить внутрь зрачка.

– Ну, скорее целуй, – и человечка задернуло веками.

– Назад! – крикнул я и, не помня себя, стиснул ей пальцами плечи. В испуге женщина подняла глаза, и из глубины ее расширившегося зрачка мне еще раз мелькнула фигура уходившего крохотного *меня*.

На тревожные расспросы я промолчал, припрятав ответ. Я сидел, глядя в сторону, и знал: игра кончена.

# II

Несколько дней я не показывался – ни ей, ни людям. Затем меня отыскало письмо: внутри узкого кремового конверта – с десяток вопросительных знаков: не уехал ли я внезапно, не болен ли? «Может быть, и болен», – подумал я, перечитав косые паутинные строки, и решил пойти – тотчас же, ни минуты не медля. Но неподалеку от дома, где жила моя подруга, я присел на уличную скамью и стал дожидаться сумерек. Несомненно, это была трусость, совершенно нелепая трусость: я боялся – понимаете ли, – боялся не увидеть того, что уже раз не увидел. Казалось бы, проще всего тогда же, на месте, обыскать зрачками зрачки. Наверное, это была обыкновенная галлюцинация – призрак зрачка, не более. Но в том-то и дело, что самый факт проверки казался мне признаком отдельного реального бытия человечка в зрачке, представлялся мне проявлением болезни, психического сдвига. Невозможность нелепого пустяка нужно было – как я думал тогда – опровергнуть чисто логически, не поддаваясь искушению эксперимента: ведь ряд реальных действий, предпринятых ради нереального, придадут ему некую долю реальности. Страх свой мне удалось, конечно, легко от себя скрыть: оказывалось, что сижу я на скамье, потому что хорошая погода, потому что я устал, потому что, наконец, человечек из зрачка неплохая тема для рассказа и почему бы

его вот тут, сейчас, на досуге, не обдумать, хотя бы так, в общих чертах; наконец, придвинувшийся вечер впустил меня в дом. В темной передней я услышал «кто»: голос был ее, но чуть *другой*, точнее – для другого.

– Ну вот. Наконец-то!

Мы вошли в комнату. Рука ее, смутно белея сквозь сумерки, протянулась к выключателю.

– Не надо.

Я рванул ее к себе, и мы любили друг друга безглазой, наглухо замотанной в тьму любовью. И в этот вечер мы не зажигали огня. Условившись о новой встрече, я вышел с чувством человека, получившего отсрочку.

Нет нужды рассказывать это подробно: чем дальше, тем неинтереснее. В сущности, досказать эту главу может любой человек с гладким золотым кольцом на пальце: встречи наши, резко передвинувшись от полудня к полуночи, стали тягучи, слепы и сонливы, как ночь. Любовь наша постепенно превратилась в общегражданскую, двухспальную, со сложным инвентарем – от мягких туфель до ночного горшка включительно. Я шел на все: страх наткнуться на ее зрачки, увидеть, что они пусты, без меня, будил меня каждое утро за час до рассвета. Я тихо вставал, одевался, стараясь не нарушить сна моей возлюбленной, и осторожно, на цыпочках, уходил. Вначале эти ранние исчезновения казались ей странными. Потом и это вошло в обиход. Благодарю вас, человек с кольцом на пальце, дальше я расскажу сам. И каждый раз,

шагая в зябком городском предрассветье к себе, на другой конец города, я размышлял о человечке из зрачка. Постепенно – от размышления к размышлению – мысль о нем переставала пугать меня: если раньше я опасался его реального бытия, думал о нем с тревогой и подозрительностью, то теперь мне казалось грустным несуществование человечка. Самая призрачность и иллюзорность его.

«Сколько их, этих крохотных отражений, рассеиваем мы по чужим глазам, – размышлял я обычно, идя вдоль глухих, пустынных улиц, – и если бы собрать их, крохотные подобия, расселенные по чужим зрачкам, в целый народец моих модифицированных, умаленных „я“… Конечно, они существуют, пока я смотрю на них, но ведь и я существую, пока кто-то, не знаю кто, смотрит на меня. Закроет глаза и… что за чушь. Но если чушь, если я не чье-то видение, а сам по себе, тогда и тот, в зрачке, тоже сам по себе».

Тут сонные мысли обычно спутывались, и я разматывал их наново.

– Странно. Зачем ему было уходить? И куда? Ну хорошо, ну, предположим, в зрачках у нее пусто. Что из этого? Зачем мне нужен какой-то крохотный лицеподобный блик? Есть – нет, не все ли равно? И как могло случиться, что какой-то зрачковый человечишко смеет лезть в мои дела, призрачнить жизнь и разлучать человека с человеком?

Ткнувшись в эту мысль, случалось, я уже готов был повернуть назад, разбудить спящую и добыть из-под ее век тайну:

там он или не там.

Но возвращался я всегда не ранее вечера; мало того, если в комнате был свет, я отворачивал лицо и не отвечал на ласки. Я был, вероятно, угрюм и груб, пока темнота не завязывала нам глаз. Тогда я смело приникал лицом к ее лицу и спрашивал ее – снова и снова: любит ли? И ночной обиход вступал в свои права.

# III

В одну из таких ночей я почувствовал – сквозь слои сна, – как невидимое что-то, уцепившись за одну из ресниц моего левого века, больно дергает ее книзу. Я раскрыл глаза: что-то мелькнуло кувырнувшимся пятнышком у левого моего глаза, затем, скатившись по щеке внутрь ушной раковины, пискливо крикнуло мне в самое ухо:

– Черт возьми! Как в пустую квартиру: ни отклика.

– Что это? – проговорил я тихо, не зная точно, явь ли это или смена сна сном.

– Не что, а кто – это во-первых. А во-вторых – пригните-ка ухо к подушке, чтобы я мог спрыгнуть наружу. Ближе. Еще. Так.

У края наволочки, белеющей сквозь серый воздух рассвета, сидел человечек из зрачка. Упершись ладонями в белые ворсины, он понурил голову и тяжело дышал, как путник, совершивший долгий и трудный переход. Лицо его было печально и сосредоточенно. В руках лежала черная, на серых застежках, книга.

– Значит, ты не мнимость?! – вскрикнул я, изумленно оглядывая человечка.

– Дурацкий вопрос, – отрезал он. И затем: – Не шумите: этак мы разбудим вот эту. Ближе ухо. Ну вот. Имею сообщение.

Он вытянул усталые ноги, уселся поудобнее и зашептал:

– Рассказывать о моем зрачковом новоселии ни к чему. Мы оба все это хорошо знаем и помним. Мне нравилось мое новое помещение: полное стеклистых отсветов, с окном в круглой радужной раме, оно казалось мне уютным и веселым; выпуклые стекла аккуратно промывало слезой, по ночам опускались самодвижущиеся шторы – одним словом, квартира с удобствами. Правда, позади тянулся темный коридор, уводящий неизвестно куда, но я почти все время проводил у края окна, дожидаясь вашего прихода. Что там – за спиной, – меня не интересовало. Случилось, что одно из назначенных вами свиданий не состоялось: я шагал взад и вперед по коридору, стараясь не отходить далеко, чтобы в любой миг успеть вас встретить. Тем временем день за круглой прорезью зрачка гас. «Не придет», – подумал я. Мне стало немного скучно: не зная, чем себя развлечь, я решил дошагать до конца коридора. Но в зрачке, как я уже сказал, было сумеречно, и после нескольких же шагов я очутился в полной темноте. Протянутая вперед рука не находила упора. Я хотел уже повернуть назад, когда тихий, заглушенный звук, исходивший оттуда, из глубины узкого коридорного хода, привлек мое внимание. Я постарался вслушаться: это было похоже на протяжное пение нескольких голосов, фальшиво, но упрямо тянувших какую-то мелодию. Мне казалось даже, что ухо мое различает отдельные слова: «сучок», «смерть» – дальше было невнятно.

Феномен показался мне любопытным, но я решил, что будет благоразумнее вернуться на старое место, пока веко, опустившись, не преградит мне путь назад тьмой.

Дело этим не кончилось. На другой же день, даже не отходя никуда со своего места, я снова услыхал за спиной голоса, сочетавшиеся в какофоническом неистовом гимне: слова были все еще плохо различимы, но было совершенно ясно, что хор исключительно из мужских голосов. Это обстоятельство заставило меня погрустнеть и задуматься. Нужно было обследовать ход, уводящий внутрь, до конца. Не скажу, чтобы мне очень хотелось пускаться в розыски, с риском наткнуться неизвестно на что и потерять путь назад, к окну и в мир. В течение двух-трех дней явление не повторялось. «Может быть, мне почудилось?» – думал я, стараясь себя успокоить. Но как-то среди бела дня, когда мы с женщиной присели каждый к своему окну, дожидаясь встречи, звуковой феномен возник снова, и на этот раз с неожиданной яркостью и силой: нестройный разброд слов с тягучей навязчивостью, повторяясь снова и снова, лез мне в уши, и смысл их был таков, что я твердо решил добраться до певцов. Любопытство и нетерпение овладели мной. Но мне не хотелось уходить, не предупредив: мы простились – помните? – может быть, несколько неожиданно для вас, – и я быстро зашагал внутрь зрачка. Было совершенно тихо. Свет, долго тянувшийся вслед за мной по узкому пещерному ходу, постепенно слабел и ник. Вскоре шаги мои зазвучали в абсолютной тьме.

Я шел, ловя руками скользкие стены зрачкового хода, изредка останавливаясь, чтобы прислушаться. Наконец, издалека смутно замерцал мне желтый мертвый свет: такой же унылой огненной мутью светят, вероятно, бродячие болотные огни. Усталость и тупое безразличие вдруг овладели мной. «Чего я ищу, чего мне нужно в этих катакомбах, – спрашивал я себя, – зачем мне менять солнце на желтую гнилую муть?» И может быть, я еще повернул бы вспять, но в этот-то миг пение, о котором я стал было забывать, возобновилось; теперь я мог уже различать отдельные голоса, выклинивавшиеся из дикого гимна:

Чел-чел-чел, человек, человечек,
Не спросясь у зрачка, ты не делай скачка.
Нечет.
Если ж впрыгнул в зрачок, знай: в зрачке есть сучок –
Шеей в петлю – и сгинь. Клином клин.
Чет.
Ловче век человек берегись, не сорвись.
Жизни врозь – смертью сквозь. Дно дано дням одно.
Не-чет.
Человек – чело-чел-че-ч:
Был и нет. Свеян след. Чу!
Чет.

Нелепица тянула меня, как крючок рыбу. Навстречу шагам придвигалось круглое отверстие, из которого и исходил

желтый свет. Ухватившись за края дыры, я просунул голову внутрь: снизу из пустоты выла дюжина глоток; желтое свечение заслепило мне глаза. Всматриваясь, я наклонился над провалом, но в это время склизкие края отверстия стали раздвигаться, и, беспомощно ловя руками воздух, я грохнулся вниз. До дна пещеры было, очевидно, недалеко; я быстро поднялся на локтях и сел, озираясь вокруг. Глаза мои, постепенно приспособляясь к свету, стали различать окружающее: я сидел как бы внутри стеклистой, но непрозрачной, с пульсирующими стенками бутылки, как раз в центре ее выгнутого дна. Подо мной расползалось светящееся желтое пятно, вокруг меня десяток полуспрятанных тенью человечьих контуров – пятками в свет, головами в стену – торжественно допевали припев:

Человек – чело-чел-че-ч:
Был и нет. Свеян след. Чу!
Чет.

Вопрос мой: «Где я?» – канул в вой. Ища выхода, я приподнялся было со вспучины, но первый же шаг потянул меня вниз, по наклону, и – под общий хохот, радостный рев – я, вскинув пятками, уселся меж двух обитателей колодца.

– Тут становится слишком людно, – пробурчал сосед слева и отодвинулся в сторону. Но сидевший справа участливо повернул ко мне свое лицо: оно было, я бы сказал, приват-доцентовского типа, с эрудитским шишковатым лбом, раз-

мышляющими глазами, бородкой гвоздем и тщательно зачесанной лысой макушкой.

– Кто вы все? И где я?

– Мы… предшественники. Понимаете? Женский зрачок, как и всякое помещение: сначала вселяют – потом выселяют: и все – сюда. Я вот, например, – Шестой, этот, слева от вас, – Второй. Вы – Двенадцатый. Правда, распределяемся мы не строго по номерам, а в порядке ассоциаций. Доходит или еще популярнее? Впрочем… может быть, вы ушиблись?

– О стенку?

– Нет: о смысл-с.

С минуту мы помолчали.

– Да, кстати: не забудьте зарегистрировать свою забытость. Ах эти женские зрачки, – затеребил он бородку, – зрачки, зовущие под сень ресниц. Подумать только: такой чудесный, одетый в блистанье радуг вход и этакое темное поганое дно. Когда-то и я так вот…

Я перебил:

– А кто тут регистрирует?

– Квагга.

– Никогда не слыхал такого имени.

– Ну а о телегонии слыхали?

– Нет.

– Гм… тогда, чего доброго, вы и о кобыле лорда Мортона ничего не знаете.

– При чем тут?..

– Одно при другом: была кобыла, то есть, виноват, сначала был лорд Мортон, – у кобылы от Квагги родился полосатый жеребенок, а у Мортона от Квагги и кобылы родилась теория телегонии: дело в том, что, с кем ни спаривали означенную кобылу, приплод ее всегда был в полоску, – так сказать, в память Квагги, бывшего ее первым. Отсюда сделаны выводы, что связь женской организации с *ее* первым вообще *непрекратима* и продолжает жить как бы внутри последующих связей, несмываемо и неистребимо. Первый обитатель зрачка, на дне которого мы с вами находимся, поскольку хронология за него, претендует на роль Квагги. Правда, я не раз ему объяснял, что теория эта давно уже опровергнута мистером Юартом, но чудак пробует диктаторствовать, утверждая, что он почва, а мы насосы и что все наши попытки повторить неповторяемое…

– Скажите, – переспросил я, – а эта телегония, или как вы сказали, действительно опровергнута раз навсегда или?..

– Так и знал, – улыбнулся приват-доцент, – я давно замечаю: чем выше номер, тем выше и интерес к вопросу: в полоску любовь или так? Но давайте после. Слышите: Первый зовет вас.

– Забытый номер Двенадцать, сюда!

Я поднялся и, скользя ладонями по стене, пошел на звук. Переступая через протянутые поперек пути ноги, я заметил: очертания зрачковцев были разной степени ясности и вычерченности: некоторые до того сливались с желтой мглой при-

донья, что я невольно натыкался на них, не замечая выцветших, как бы полустертых фигур. Вдруг две невидимых, но цепких руки охватили мои щиколотки.

– Прошу отвечать на вопросы.

Я наклонился, чтоб рассмотреть руки, окандалившие меня, но их нельзя было увидеть: номер Первый ясно вытусклился до конца и был под цвет воздуху. Невидимые пальцы освободили меня, отщелкнули переплет книги. Вот этой. Испещренные знаками листы ее подымались, и падали, и снова подымались, пока не раскрылась пустая страница, помеченная моим номером.

И анкета потянулась десятками вопросов: начиналось с даты вселения, основания такового, сколько времени вы предполагали квартировать (против этого пункта стояло друг над другом: а) вечно, б) по гроб, в) до приискания лучшего – отвечаемое просят подчеркнуть); кончалось, кажется, перечнем ласкательных и уменьшительных имен и вашим отношением к ревности. Вскоре моя страница была заполнена. Невидимый палец слегка отогнул ее: под ней забелели чистые листы.

– Ну вот, – сказал Квагга, закрывая книгу, – еще один новопреставленный; книга помаленьку наполняется. Все. Не удерживаю.

Я возвратился на старое место между Вторым и Шестым. Белесая бородка Шестого сунулась было мне навстречу, но, наткнувшись на молчание, тотчас же спряталась в тень.

Я долго сидел, погруженный в размышления о незаполненных белых листах книги прописок. Внезапный шум вернул меня в действительность.

– Одиннадцатый, на середину, – прокричал голос Квагги.

– Одиннадцатый, Одиннадцатый, – послышалось со всех сторон.

– Что это? – обернулся я к соседу.

– Дежурный рассказ, – пояснил тот, – в порядке номеров: так что в следующий раз придется и вам…

Мне незачем было расспрашивать подробнее, так как вызванный номер уже взбирался на вспучину дна. Грузная фигура его мне сразу же показалась знакомой. Мой предшественник, усевшись на желтом пятне, спокойно огляделся по сторонам. Поймав губами свисающую тесемку своего пенсне, он задумчиво жевал ее, шевеля обрюзглыми щеками:

– Н-да. Смешно вспомнить, но ведь было время, когда единственной моей целью, как и у каждого из вас, было: так или иначе, правдами-неправдами, пробраться в зрачок к нашей хозяйке. Ну вот мы и здесь. Что же дальше?

Он намотал тесьму пенсне на палец, сдернул стекла с глаз и, брезгливо щурясь, продолжал:

– Человеколовка. Да-с. Но к делу. Первая же встреча решила все. Помню: наша *она* была в тот день в черном глухом платье. И лицо ее казалось тоже как бы наглухо застегнутым, губы сурово сжаты, веки полуопущены. Причина меланхолии сидит сейчас слева от меня: это наш уважаемый Деся-

тый. Рассказ его, выслушанный нами в прошлый раз, у всех на памяти: ведь забытые не забывают. Но тогда я еще не имел чести его знать. То есть, конечно, я и тогда уже догадывался, что в прячущихся под ресницами зрачках не все обстоит благополучно, – и действительно, когда мне удалось наконец заглянуть в глаза женщины, в них было столько *оставленности*, что я, подыскивавший себе в то время подходящие зрачки, тотчас же решил занять пустое помещение.

Но как это было сделать? У каждого своя манера пролезать в душу. Моя – в накапливании мелких и по возможности дешевых услуг: «Вы читали то-то такого-то?» – «Нет, но хотела бы…» Наутро посыльный вручает неразрезанную книжку. Глаза, в которые вам нужно пробраться, встречают под переплетом вашу почтительную надпись и имя. Затерялся наконечник от шляпной булавки, игла для чистки примуса, запоминайте, крепко запоминайте всю эту дребедень, с тем чтобы при ближайшей же встрече, преданно осклабляясь, выковырять из жилетного кармана и иглу, и наконечник, и билет в оперу, и пирамидон в облатках, и мало ли там что. Ведь, в сущности, человек в человека проникает крохотными дозами, маленькими, еле зримыми человечками, которые, накопившись в достаточном числе, в конце концов завладевают сознанием. И среди них всегда есть один – такой же до жалости крохотный, как и другие, – но уйди он, и с ним уйдет смысл, понимаете ли, распадется – сразу и непоправимо – вся эта атомистика: впрочем, вам, зрачковцам, растол-

ковывать это не приходится.

Итак, я пустил в ход систему мелких услуг: всюду – среди безделушек, книг, картинок, лепившихся по стенам комнаты, в которой жила тогда наша хозяйка, – стали появляться мои ходатаи; ее глазам некуда было уйти от крохотных человечков, пробравшихся во все углы, изо всех щелей подшептывающих мое имя. Рано или поздно, размышлял я, тот или другой протиснется к ней в зрачок. Но пока что работа шла туго: веки женщины, как если б в них было бог весть сколько весу, почти не поддавались, что для меня, человека из зрачка, создавало весьма трудную ситуацию.

Помнится, в ответ на энную мою услугу женщина, улыбнувшись куда-то в сторону, сказала:

– Вы, кажется, ухаживаете за мной. Бесполезно.

– Ничего, – отвечал я покорно, – на средине пути, ведущему к прибрежью Крыма, мне случилось как-то во время остановки поезда выглянуть в окно: я увидел унылый кирпичный домишко, торчавший меж желтых пятен полей; на домишке доска, на доске: станция Терпение.

Глаза моей собеседницы приоткрылись.

– По-вашему, это середина пути? Забавно.

Не помню, что я сболтнул в ответ, но помню, что поезд, дойдя до станции Терпение, слишком долго не двигался дальше. Тогда я решил прибегнуть к вашей помощи, мои любезные предшественники. Я еще не знал, кто вы и сколько вас, но инстинктом я чувствовал, что зрачки ее, так сказать,

обжиты, какие-то иксы мужского пола наклонялись над ними, отражения их… Ну, одним словом, я решил, сунув ложку в прошлое, по самое дно, замешать и возмутить его снова. Если женщина *уже* не любит одного и *еще* не начала любить другого, то *еще*, если в нем есть хоть капля здравого смысла, должно растолкать *уже* и не давать ему забвенья, пока оно не покажет всех подступов и подходов.

Ложкой моей я орудовал приблизительно так: «Таких, как я, не любят. Знаю. Тот, которого вы любили, был непохож на меня. Не правда ли? Тот или те? Не скажете? Ну конечно. Наверное, это был…» – и с тупым усердием рабочего, приставленного размешивать сусло, я продолжал вращать свои вопросы. Сначала мне отвечали молчанием, потом полусловами. Я видел: на поверхности ее сознания, подымаясь со дна, стали вспучиваться и лопаться пузыри, мгновенные радужности, казалось, навсегда схороненные в прошлом. Ободренный успехом, я продолжал свою работу мешальщика. О, я прекрасно знал, что нельзя разворошить стимулы эмоции, не разворошив и самое эмоцию. Отлюбленные образы, поднятые со дна, тотчас же опускались назад, в тьму, но оттрепетавшее было чувство, разбуженное вместе с ними, не хотело утишиться и продолжало держаться у поверхности. Глаза женщины все чаще и чаще как-то вскидывались навстречу вопросам. И я не раз уже сгибал колени, готовясь к прыжку… Но то мое огромное подобие, в зрачке у которого я тогда находился, по неуклюжести и громадности сво-

ей упускало момент за моментом. Наконец наступил решительный день: я, или мы, застали ее у окна: плечи ее зябко ежились под теплой шалью.

– Что с вами?

– Так. Лихорадит. Не обращайте внимания.

Но человеку, придерживающемуся метода мелких услуг, не обращать внимания не разрешается. Я тотчас же повернул к выходу, а через четверть часа мне было приказано:

– Отвернитесь.

Уткнувшись в кружение минутной стрелки, я слышал, как прошелестел шелк и отщелкнулась кнопка: термометр водворялся на подобающее ему место.

– Ну что?

– 36,6.

Наступил момент, когда даже моя нелепая громадина не могла ошибиться в диагнозе. Мы придвинулись к женщине.

– Вы не умеете. Позвольте мне.

– Оставьте.

– Сначала встряхнуть. Вот так. А потом…

– Не смейте.

Глаза были близко друг к другу. Я изловчился – и прыгнул: зрачки женщины подернуло той особой туманной пленкой, которая является вернейшим признаком… Ну, одним словом, я неверно рассчитал прыжок и повис на выгибе одной из ее ресниц, бившейся из стороны в сторону, как ветвь, застигнутая бурей. Но я знаю свое дело, и через несколь-

ко секунд, пролезая сквозь зрачок внутрь, запыхавшийся и взволнованный, я услыхал позади – сначала звон поцелуя, потом звон оброненного на пол термометра. Снаружи меня тотчас же захлопнуло веками. Но я не любопытен. С чувством исполненного долга я уселся под круглым сводом, раздумывая о трудной и опасной профессии человечка из зрачка: будущее показало, что я был прав. Больше того: оно оказалось мрачнее самых мрачных моих мыслей.

Одиннадцатый замолчал и сидел, уныло свиснув с светящегося всхолмия. И забытые снова запели – сначала тихо, потом все громче и громче – свой странный гимн:

Чел-чел-чел, человек, человечек,
Не спросясь у зрачка, ты не делай скачка.
Не-чет.

– Этакое наглое животное, – резюмировал я, встретив спрашивающий взгляд Шестого.

– Из нечетов. Они все такие.

Я с недоумением переспросил.

– Ну да. Разве вы не заметили: с одной стороны от вас я, Шестой, с другой – Второй, Четвертый. Мы, четные, держимся тут особняком, потому что, видите ли, все эти нечеты – как на подбор – нахалы и задиры. Так что нам, людям спокойным и культурно настроенным…

– Но чем же вы это объясняете?

– Чем? Как вам сказать: наверное, у сердца существует

свой ритм, смена воль, своего рода диалектика любви, меняющей тезис на антитезис, нахалов на смиренников вроде нас с вами.

Он добродушно захихикал и подмигнул. Но мне не хотелось смеяться. Шестой тоже согнал со своего лица веселость.

– Видите ли, – заговорил он, придвигаясь ко мне, – не следует торопиться с осуждением: стиль оратору создает аудитория – вскоре вы в этом убедитесь на самом себе. Одиннадцатому нельзя отказать в некоторой наблюдательности. Скажем, так: к уменьшительным именам прибегают для выражения увеличительных процессов эмоции; значимость растет – знак умаляется; ведь уменьшительными именами мы называем тех, кто для нас *больше* других, и недаром в старославянском языке слова *мил* и *мал* отождествлены. Да, я, как и Одиннадцатый, убежден, что любят не тех громадных человечищ, которые вытряхивают нас из зрачков в зрачки, а именно нас, странствующих человечков, ютящихся всю жизнь по чужим глазам. Затем: если снять пошлотцу с теории мелких услуг, то и здесь Одиннадцатый прав: влюбить – значит завладеть так называемой ассоциативной массой влюбляемого; больше того – самая любовь, говоря схематично, не что иное, как частный случай *двухсторонней ассоциации*…

– Это что за?..

– А вот что: расклассифицировывая наши ассоциации и так и этак, психологи не заметили, что связь представлений

либо односторонняя, либо двухсторонняя… Погодите-погодите, – заторопился он, заметив мой жест нетерпения, – минутку скуки, а дальше интересно – вот увидите. Влюбляющий, конечно, сочетает не идею и образ, не образ и понятие, а образ (человека) и эмоцию; он должен помнить, что процесс этот – или от эмоций – к образу, или от образа – к эмоции. И пока не произойдет двойного, так сказать, замыкания, пока… Что? Неясно? А вы подумайте, не могу же я за вас думать. На примерах? Извольте. Случай первый: эмоция уже в наличии, но не направлена, не ассоциировалась с образом; вначале «душа ждала кого-нибудь», беспредметные волнения, разряд в пустоту, затем «нибудь» это самое отпадает, – в это-то время в вакантное «кто» попасть чрезвычайно легко и несложно. Второй случай – когда образу приходится дожидаться эмоции: тут срастание ассоциативных элементов происходит иной раз медленно и трудно. Романы юности чаще всего движутся по первому маршруту, вторая молодость – по второму. Но закон ассоциаций приносит влюбленным чрезвычайно много хлопот: при бесперебойной любви необходимо, чтобы всякий раз, когда в комнату входит так называемый любимый человек, возникало бы – по ассоциации – и чувство любви к нему; равным образом всякое сексуальное волнение, казалось бы, должно немедленно же вызвать образ того же самого пресловутого «любимого человека». Но на самом деле чувство и образ связываются обычно, как токи катодной цепи, в которую включен детектор, то есть *од-*

*носторонне*. На этих односторонних полулюбвях строится, в сущности, большинство связей: первый тип отношений, когда ассоциативный ток идет только от образа к эмоции, но не обратно; максимум измен, но хорошая страстность. Почему? Господи, он ничего не понимает: ну, вместо детекторной связи возьмем протекание крови через сердце: стремясь в одну сторону, кровь всякий раз открывает сердечные клапаны, двигаясь в другую – закрывает их, тем самым преграждая путь себе самой. Так и здесь: каждая встреча страстна, мало – каждая мысль, входящая в сознание, в данном случае образ, влечет прилив страстного чувства – кровь, так сказать, сама открывает себе клапаны; но эмоция, возникнув в отсутствие носителя образа, легко направляется по другим путям; люди этого типа влюбления влюблены только при встречах, образ избранника всегда быстро находит дорогу к чувству, но чувство их не знает дороги к избраннику, кровь, устремляясь к любви, сама себе закрывает сердечные клапаны. Вы, кажется, зевнули. Нервное? Так. Второй тип влюбления дает, изволите ли видеть, малый процент измен, но зато и слабую страстность: приступ любовного голода вызывает в сознании – и при встречах, и вне встреч – всегда этот, и только этот образ, но образ, если он вступил первым в сознание, не ведет за собой эмоции: этого рода односторонняя ассоциированность очень удобна для отношений изо дня в день, семейственна и чуждается катастроф. Но только третий случай, двухсторонняя ассоциация, когда образ и эмоция нераз-

лучны, дает то, что я, пожалуй, соглашусь назвать любовью. Нет, что ни говорите, Одиннадцатый знает, где зарыта собака, но не умеет ее откопать. А вот я…

– А зачем откапывать всякую падаль, – вспылил я.

С минуту Шестой сидел, не отвечая, с видом человека, тщательно ссучивающего разорванную нить мыслей:

– Потому что то, до чего дошел, но у чего остановился Одиннадцатый, и является основным, наиострейшим вопросом для тех, кто, как вот мы с вами, попал в эту черную зрачковую яму и… Ведь чего скрывать, мы все больны здесь какой-то странной хронической бесцветностью; время скользит по нас, как резинка по карандашным строкам, мы гибнем, как волны в безветрие; бесцветясь все больше и больше, я скоро перестану различать оттенки своих мыслей, раскантурюсь и провалюсь в ничто. Но досадно мне не это, а то, что вместе со мной погибнет столько наблюдений, научных фактов и формулировок. Ведь выберись я отсюда, и я показал бы всем этим Фрейдам, Адлерам и Майерам подлинную природу забвения. Что могли бы противопоставить эти разгениальничавшиеся собиратели обмолвок и описок человеку, вышедшему из черной ямы, самое имя которой: забвение. Только вряд ли: легче из смерти, чем отсюда. А забавно бы. Ведь я, знаете ли, еще с юных лет всеми мыслями в проблеме забвения. Встреча с проблемой была почти случайной. Перелистываю томик чьих-то стихов, и вдруг:

За лётом птиц, за стланью пыли
Диск солнца гас:
Если меня забыли,
То вот теперь, сейчас.

Задумавшись над горстью слов, я и не подозревал, что, войдя в мысль, не выйду из нее никогда. Представления, стал рассуждать я тогда, постоянно скитаются из сознания в бессознательное и обратно. Но иные из них так далеко заходят в бессознательное, что не умеют найти дороги назад к сознанию. И меня заинтересовал вопрос: как гибнет представление, – гаснет ли оно, как медленно оттлевающий уголь или как свечка, потушенная толчком дыхания; постепенно или сразу; после продолжительной и тяжкой или скоропостижно. Вначале я согласился с поэтом: процесс забвения представлялся мне в виде медленно подготовляющегося, но мгновенного обвала: было – нет. Помню, пользуясь мнемоническими рядами Эббингауза, я пробовал даже исчислить миг исчезновения, смыва, распада того или иного представления. Сразу же мое внимание привлек вопрос о забытых эмоциях. Ведь это в самом деле прелюбопытно: такая-то *n* раз встречается с таким-то, причем оба они всякий раз испытывают некую взволнованность; но на *n+1-ой* встрече такая же, скажем, приходит к такому же, а взволнованность не приходит; такой-то, разумеется, всячески ее фальсифицирует и даже, оставшись один, тщательно обыскивает свою душу, стараясь разыскать потерянное. Но все напрасно: вспом-

нить образ ушедшей возможно, но вспомнить чувство, раз оно ушло, совершенно невозможно: ящерица, так сказать, убежала, оставив в руке хвост, ассоциация образа с эмоцией диссоциировалась. Исследуя процесс охлаждения, делающий милое постылым, я не мог не поддаться аналогиям: для меня сразу же стало очевидным, что существует что-то общее между процессом охлаждения страсти и, ну, скажем, остывания куска обыкновенной серы. Отнимая калории у серы, мы переводим кристаллы ее из одной системы в другую, то есть заставляем менять ее свою форму, принимать другой вид, образ; мало того, дознано: химическое тело, например фосфор, постепенно охлаждаемый, не только меняет кристаллическое оформление и цвет, из фиолетового превращается в красный, а из красного в черный, но и теряет – на известной ступени охлаждения – всякую вообще форму, декристаллизируется, делается аморфным. Вот уловить этот момент обесформления… Ведь если можно наблюсти секунду, когда сверкающий углерод, называемый нами бриллиантом, превращается в обыкновенный уголь, об который мы боимся запачкаться, то отчего нельзя наблюсти миг, когда «люблю» переходит в…

Но, оставаясь даже в области химических знаков, сделать это было не так легко: кристалл, прежде чем деформироваться, потерять грани и стать бесформенным аморфным телом, проходит через стадию так называемой *метастабильности*, чего-то среднего между формой и бесформием. Аналогия

эта показалась мне убедительной: отношения многих и многих людей именно метастабильны, где-то посредине между таянием льда и точкой кипения; любопытно, кстати, что метастабильность дает наивысший показатель вязкости. Аналогии вели дальше. Раскаленное тело, если предоставить его самому себе, естественно и непрерывно охлаждается; то же и с эмоцией. Лишь меняя объекты ее, лишь подбрасывая в чувство новые и новые поленья, можно не снизить раскала. Тут, помнится, мне показалось, что аналогии завели меня в тупик, из которого не сумеют вывести. Но наука, отвечая на вопрос, в каких именно случаях температурное охлаждение превращает кристалл в аморфное нечто, как бы ответила мне, в каких именно случаях процесс естественного эмоционального охлаждения превращает, так сказать, алмаз в уголь, дорогое в безразличное, оформленное в бесформенное. Оказывалось, что кристаллическое тело, претерпевающее охлаждение, стремится не обесформиться, отнюдь, а лишь *переменить* форму, но так как скорость охлаждения превышает скорость перекристаллизации, то последняя не успевает совершиться, частицы, охваченные на полпути – от формы к форме – холодом, останавливаются, и в результате – стылое и безвидное, или, переводя с химизмов на психизмы, постылое и забвенное. При таких условиях устойчивая и длительная связь объяснима только так: она есть ряд измен друг другу друг с другом. Что вы выпятили глаза? Именно так: ведь если б нашелся хотя один человек, абсолютно вер-

ный такому-то образу, вгравированному в него, как рисунок в медную доску, то любовь его могла б просуществовать, ну, день-два, и то вряд ли. Ведь реальный объект любви непрерывно меняется, и любить вас сегодня можно, лишь изменяя с вами вам вчерашнему. Знаете, будь я беллетристом, я попробовал бы написать фантастический рассказ: герой мой встречает девушку – ну, там, юное прелестное созданье, семнадцатая весна. Хорошо. Любовь. Взаимность. Потом дети. Год к году, год к году. Любят, как любили: крепко, хорошо, просто. Конечно, там, у него – астма, у нее – морщинки вокруг глаз и блеклая кожа. Но все это родное, привычное, свое. И вдруг: открывается дверь, и входит она, но не та, или, точнее, не такая, какой была час или день тому, а та прежняя, семнадцатилетняя, подруга, та самая, которую клялись любить вечно и неизменно. Герой мой растерян и, пожалуй, ошарашен: пришелица же с недоумением оглядывает постаревшую, чужую жизнь. Ее дети, которых она не рожала. Обрюзглый полузнакомый человек, испуганно оглядывающийся на дверь в соседнюю комнату; не вошла бы та другая та же самая. «Вчера ты мне обещал», – говорит юное созданье, но астматик смущенно трет лоб: «Вчера» – это было лет двадцать тому, он путается и не понимает, не зная, что делать с гостьей. В это время близящиеся к двери шаги другой, теперешней той же самой.

– Вам надо уйти, если она застанет…

– Кто?

– Вы. Торопитесь же…

Но уже поздно. Дверь открылась, и герой мой, ну, скажем… проснулся, что ли…

– Послушайте, Шестой, нельзя же так: из психологии в химию, из химии – в беллетристику. Я не вижу, как вы отсюда вернетесь в свою кристаллизацию не то образов, не то фосфора и угля.

– А вот и вернусь. Слушайте: любят некоего А, но сегодняшнее А назавтра уже А1, а через неделю А2. Следовательно, чтобы угнаться за непрерывно перекристаллизовывающимся существом, нужно непрерывно же перестраивать образ, то есть перенаправлять эмоцию с представления на представление; с кочки на кочку – с кочки на кочку, с А-секунду изменять А-приму, с А… И если эта серия измен, обуславливаемая изменяемостью любящих, идет в тех же скоростях, что и изменение в любимом, то все, так сказать, на своем месте, – и как гуляющий человек, пройдя сотню шагов, не знает, что тело его сто раз падало, но всякий раз вовремя подхватывалось мускулами, так и любовники, прожив друг с другом ряд недель и, может быть, годов, никогда не подозревают, что *сколько встреч, столько и измен.*

Он закончил с видом модного лектора, ожидающего аплодисментов. Но теоретизирование действует на меня, как сонные капли. Шестой, помолчав минуту, снова завертел шарманку: разность скоростей, измена, не поспевающая за изменением, изменение, отстающее от измены… Глаза мои слип-

лись, и я провалился в сон. Даже и здесь меня преследовали кружащие рои каких-то химических значков и алгебраических символов: с тонким и злым жужжанием они совершали свой брачный полет.

Не знаю, сколько бы времени продолжался мой сон, если б меня не разбудили толчки и голоса:

– Двенадцатый, на средину.

– Послушаем новичка.

– Двенадцатый…

Нечего было делать. Подталкиваемый и понукаемый справа и слева, я взобрался на желтый светящийся холм. Десяток пар глаз, щурившихся на меня из темноты, готовились вобрать в себя, растаскать по мозгам тайну двоих. И я начал свой рассказ: вам он известен. Мимо. Когда я кончил, они запели свой странный гимн. Тупая тоска охватила меня за виски, и, закачавшись из стороны в сторону, пустой и мертвый, я пел вместе с другими:

Шеей в петлю – и сгинь. Клином клин.
Чет.

Наконец они мне дали вернуться на свое место. Я проворно вполз в тень. Мелкая дрожь расцепила мне зубы. Редко когда я чувствовал себя мерзее. Бородка справа сочувственно закивала мне, и Шестой, наклонясь к уху, шептал:

– Забудьте. Стоит ли. Отсказались, и ладно. Эк вас раз-

дергало.

И сухие пальцы – коротким движением – сжали мне руку.

– Послушайте, – повернулся я к Шестому, – ну, пусть мы, я и вот эти, но что вам нужно от любви, зачем вы топчетесь тут вместе с нами по зрачковому дну? Ведь у вас библиотечная душа, с вас достаточно книжных закладок, – жили бы с ними да с формулами, носом в строки, вместо того чтобы соваться не в свое, лезть, куда вас не просят.

Доцент смущенно поник:

– Видите ли, со всяким случается… Говорят, даже Фалес, гуляя с лицом, поднятым к звездам, упал как-то в колодезь. Ну, вот и я. Я вовсе не хотел, но если тебе подставляют зрачки… В двух словах: я читал тогда психологию на Высших женских. Ну, там, семинарий, практикум, рефераты и всякое такое. Естественно, курсистки приходили ко мне, иногда и на дом, за темами, справками, источниками. Среди них и та, наша. Раз, другой. Я тогда еще не знал, что для женщин наука, как и все вообще, персонифицируется. Вопросы – ответы – и снова вопросы. Не скажу, чтобы она была особенно понятлива. Однажды, растолковывая ей логарифмы раздражения в формуле Вебера – Фехнера, я заметил, что она не слушает. «Повторите». Она молчала, не подымая глаз и чему-то улыбаясь. «Не понимаю, зачем вы сюда ходите», – вспылил я и, кажется, хлопнул по столу книгой. Тогда она подняла на меня глаза, и я увидел в них слезы. Не знаю, что в таких случаях делают, я придвинулся ближе и имел неосторожность

заглянуть в ее влажные зрачки. Тут мне и…

Шестой махнул рукой и смолк.

И снова желтая муть колодца сомкнулась над нами. Я скользил глазами по стеклистым цилиндрически сомкнутым стенам и думал: неужели это мое последнее жилище, неужели настоящее отнято у меня навсегда и безвозвратно?

Тем временем пришел черед Первого. Поверх желтого пятна легло черное. Рядом с ним – вот эта книга (Квагга с ней не расставался).

– При помощи одного интимного признака, – начало черное пятно, – всех женщин легко расклассифицировать на четыре категории. К первой принадлежат те, которые, подарив свиданье, дают себя и раздеть, и одеть. К этому типу я отнес бы многих кокоток высшего ранга и вообще женщин, знающих искусство превращения своих любовников в покорных рабов, на которых возлагается вся ответственность и вся лихорадочная работа по отстегиванию и застегиванию крючков и прыгающих в пальцах кнопок. Первая категория при этом как бы ни при чем, она закрывает глаза и только позволяет. Вторая категория – это женщины, которых раздевают, но которые одеваются сами. Мужчина в это время сидит, глядя в окно или в стену, или раскуривает папиросу. Третья категория – пожалуй, самая опасная – это те, которые сами показывают дорогу к крючкам и кнопкам, но заставляют после влюбленно служить им во всех крохотных и трогательных мелочах их туалета. Это по большей части злостные кокет-

ки, любительницы скользких разговоров, опытные хищницы, одним словом, тип «поди сюда». Наконец, четвертая категория, раздевающаяся и одевающаяся самостоятельно, пока партнеры с большим или меньшим терпением ждут, – это так, рублевые проститутки, увядающие супруги и мало ли кто. Теперь спрошу: к какой из категорий причисляете вы, мои любезные преемники, нашу хозяйку?

Пятно сделало паузу. И тотчас же со всех сторон вперебой:

– Разумеется, к первой.

– Что вы! Ко второй.

– Врешь! К третьей.

И чей-то хриплый бас, перекрывая крики, рявкнул:

– К последнющей.

Черное пятно задергалось от беззвучного смеха.

– Так и знал: мнения не могли не разойтись. Эта книга – вот она у меня в руках – знает много и о многих. Конечно, у нее еще достаточно белых листов и мы не все в сборе. Но рано или поздно настанет время, когда зрачки хозяйки утратят способность притягивать и заманивать в себя. И тогда, вписав последнего на эти вот страницы, я займусь составлением «Полной и систематической истории одной очаровательности». С приложением предметного и именного указателей. Мои категории – это лишь схема, имеющая методологическое значение, как сказал бы наш Шестой. Двери – из категории в категорию – все да настежь, – нет ничего удивитель-

ного, что наша *она* прошла сквозь все.

Вы все знаете, со мной она начала быть женщиной. Это было лет… впрочем, единственное важно, что это было. Нас познакомили на каком-то литературном чае: «Приезжая, только что из провинции, прошу любить и жаловать». Немодный костюм, жестчивший девичью хрупкость, подтверждал. Я попробовал поймать глазами глаза, но нет – взмахнув ресницами, они вырвались – и в сторону.

Затем мы все болтали ложечками в стаканах и кто-то, путая листки, читал. Устроитель культурной скуки, отведя меня в сторону, просил проводить барышню-провинциалку: одна, знаете ли, ночь, еще заблудится. Помню: у ее пальто была оторвана вешалка.

Вышли. Ливень. Я крикнул извозчика, и сквозь косой хлест дождя мы нырнули под кожаный капор пролетки. Она что-то сказала, но под нами уже затарахтели булыжники, и я не мог расслышать слов. Поворот, еще поворот. Я осторожно сжал ей локоть: девушка вздрогнула и попробовала отодвинуться, но отодвигаться было некуда. Расскакавшийся булыжник короткими, нервными ударами толкал нас друг к другу. Где-то тут, рядом, в темноте были ее губы: я захотел узнать где, наклонился – и в ту же секунду произошло нечто для меня неожиданное. Резко подавшись вперед, она рванула кожаный фартук пролетки и выпрыгнула на ходу. Помнится, я читал в чьих-то романах о подобного рода приеме, но там, в романах, его проделывали обычно мужчины,

причем проливной дождь, кажется, не входил в композицию. Несколько мгновений я сидел рядом с пустотой, совершенно обескураженный и растерянный, столько же времени понадобилось, чтобы разбудить извозчика и остановить его клячу. Возница, видя, что я выпрыгиваю из пролетки, понял это по-своему и закричал о плате: еще несколько потерянных секунд. Наконец я бросился вдоль мокрой панели, стараясь в черноте ночи различить силуэт беглянки. Фонари были потушены. У перекрестка, мне казалось, я настиг ее; она обернулась и, неожиданно блеснув огоньком меж зубов, позвала: «Пойдем спать». Это была уличная женщина. Я бросился дальше. Перекресток – разброд улиц: нигде. Почти отчаявшись, я направился наугад поперек улицы и вдруг почти наткнулся на мою беглянку: она стояла, вся иззябшая и исхлестанная дождем, очевидно запутавшись в переулочной сети и не зная, куда идти. Не стану передавать нашего разговора: много раз вам его пересказывал. Раскаянье мое было искренним: я целовал ей мокрые пальцы, умоляя простить, и грозил стать на колени прямо в лужу, если она не перестанет сердиться. Мы снова разыскали пролетку, и, как ни подталкивали меня булыжины, я просидел всю дорогу смирно, стараясь отводить плечо от плеча. Оба мы иззябли и стучали зубами. На прощанье я снова поцеловал холодные пальцы, и вдруг моя спутница молодо и весело засмеялась. Через день-два я явился с визитом, принеся с собою кучу заверений и Доверовы порошки. Последние пригодились: бедняжка каш-

ляла и жаловалась на озноб. Я не прибег к вашему способу, Одиннадцатый, в то время он был еще… преждевременен. Малейшая неосторожность легко могла разрушить налаживавшуюся дружбу. Я в то время представлял из себя нечто лучшее, чем вот это блеклое серое пятно. Мы часто, сидя на вздрагивающих пружинах софы, беседовали до поздних сумерек. Неопытная девочка не знала ни города, ни мира, ни меня. Темы наших бесед будто ветром швыряло из стороны в сторону: то я терпеливо объяснял, как обращаться с керосинкой, то, сам путаясь и перевирая, излагал предпосылки Кантовой критики. Забившись в угол софы, поджав ноги, она жадно слушала – и про керосинку, и про Канта, – не сводя с меня глубоких и темных глаз. Да, было и еще одно, чего она не знала: себя. И вот в одной из бесед, затянувшихся до поздних сумерек, я попробовал объяснить ей ее самое, попробовал отстегнуть застежки книге, которую сейчас вот, полуисписанную и затрепанную, вы все видите в моих руках. Да, в тот вечер мы говорили о ее будущем, о ждущих ее встречах, увлечениях, разочарованиях и снова встречах. Я настойчиво стучался в ее будущее. Она то смеялась, коротко и сухо, то делала поправки, то слушала молча и не перебивая. Случайно (погасла папироса, что ли) я чиркнул спичкой, и в желтом свете я увидел, что лицо у нее *другое*, старше и женственнее, как если б и оно привиделось мне из грядущего. Задув спичку, я бросился дальше в время: первая любовь, первые удары о жизнь, полынь разлук, повторные опыты с сердцем оста-

лись уже позади. Торопливой скороговоркой я приближался к годам, когда чувство захлестано и устало, когда страх увядания заставляет торопиться и комкать счастье, когда любопытство берет верх над страстью, когда… тут я снова чиркнул спичкой и с изумлением глядел глазами в глаза, пока мне не обожгло пальцы. Да, достопочтенные преемники, если бы ставить мой опыт правильно, дюжина фосфорных спичек показала бы мне все ее лица, расхватанные вами. Но она, вырвав из моих рук коробку, отбросила ее прочь. Наши пальцы спутались и дрожали, как если б сверху хлестало холодным ливнем. Дальше, пожалуй, не стоит?

И человекоподобное мутное пятно стало медленно оползать книзу.

– Ну, как вам наш Квагга? – полюбопытствовал Шестой.

Я невежливо молчал.

– Э, да вы, кажется, ревнуете. Признаюсь, претензии этого Квагги, чванствование первенством, было время, раздражали даже меня. Но прошлого не свергнешь: оно царее царей. Приходится мириться, и притом, если вдуматься, то что такое ревность?..

Но я повернулся к лекции спиной и сделал вид, что сплю. Шестой, пробурчав что-то о некорректных людях, обиженно замолчал.

Сперва я притворялся спящим, потом заснул вправду. Не знаю, сколько времени длилось забытье: внезапный свет, пробравшийся под мои веки, заставил меня раскрыть глаза.

Вокруг меня было фосфорически синё. Я поднялся на локте, ища источник странного свечения. С огромным изумлением я увидел, что свет исходит из меня самого: тело мое было охвачено фосфорическим нимбом, короткие лучи которого терялись в нескольких футах. Самое тело мое стало легко и упруго, как это бывает иногда в снах. Вокруг все спали. Одним прыжком я вспрыгнул на вспучину желтого пятна, и два свечения, скрестив лучи, наполнили воздух переливами радуг. Еще усилие, и легкое мое тело, лунатически скользя, стало взбираться по отвесу стены к своду пещеры. Почти сомкнутая щель в нем разъялась, и, ухватившись за ее края руками, тело мое, тягучее и гибкое, легко проникло наружу. Передо мной протянулся низкий коридор, заманивший меня ко дну. Однажды я уже блуждал по его извивам, натыкаясь на тьму и стены. Но сейчас свет, синевший вкруг меня, указывал дорогу. Надежда всколыхнулась во мне. Я шел, в своем фосфорическом обводе, назад, к выходу из зрачка. По стенам, обгоняя меня, скользили какие-то блики и контуры, но мне не было времени разглядывать их. Сердце билось у меня в горле, когда я наконец достиг до круглого зрачкового окна. Наконец-то. Я бросился сослепу вперед и больно ударился об опущенное веко. Проклятый кожаный ставень преграждал выход. Размахнувшись, я ударил в него кулаком, но веко даже не дрогнуло: женщина, очевидно, крепко спала. Взбешенный, я стал бить по заслону коленями и плечом, веко вздрогнуло, и тут свет, окружавший меня, начал блек-

нуть и гаснуть. Растерявшись, я бросился назад, боясь, что останусь в полной тьме; лучи втягивались назад в мое тело, вместе с ним возвращалась в меня и тяжесть; свинцовеющими шагами, задыхаясь от бега, я достиг наконец отверстия в своде пещеры: оно покорно распялилось мне навстречу, и я спрыгнул вниз. Мысли метались, как песчинки в ветре: почему я вернулся, какая сила швырнула меня опять ко дну, из свободы в рабство; или, может быть, все это нелепый кошмар? Но почему же тогда… Я дополз до своего места и стал трясти за плечо Шестого; он вскочил и, протирая глаза, принял на себя град моих вопросов.

– Постойте, постойте, вы говорите, сон, – переспросил он, внимательно вглядываясь в последние никлые вспышки моего отгоравшего нимба, – гм… пожалуй, тут действительно происходит сон, и этот сон (только не удивляйтесь) – вы. Да-да, это случалось здесь и с другими: ее сны иногда будят нас и заставляют блуждать, как лунатиков, неведомо зачем и куда. Вы ей сейчас снитесь, понимаете. Погодите, тут у вас еще светится. Э, погасло – значит, доснились.

– Шестой, – зашептал я, хватая его за руку, – я не могу так дальше. Бежим.

Но сосед мой отрицательно покачал головой:

– Невозможно.

– Но почему же? Я только что был там, у входа в мир. Если б не веко…

– Невозможно, – повторил Шестой, – прежде всего, кто

вам даст гарантии, что, выбравшись из ее глаза, вы найдете своего хозяина. Может быть, они уже расстались, пространство громадно, а вы… заблудитесь и погибнете. А во-вторых, тут и до вас находились смельчаки, пробовавшие бежать. Они…

– Что они?

– Представьте себе, вернулись.

– Вернулись?

– Да. Видите ли, отверстие в своде раскрывается лишь для снящихся и для тех, кто приходит оттуда, из мира. Но сны водят нас на корде, отделив от яви приспущенными веками, и швыряют отснившихся назад, к дну. Остается второй способ: выждав момент, когда щель в своде раскроется навстречу новому пришельцу, выпрыгнуть наружу, – и там дальше пещерными ходами (вы их знаете) – и свобода. Казалось бы, просто. Но тут есть одна деталь, сводящая все на нет.

– Не понимаю.

– Видите ли, в момент, когда выбираешься наружу, приходится встретиться – голова к голове, плечо к плечу – с тем новым, впрыгивающим на ваше место внутрь. И тут искушение взглянуть на преемника, хотя бы мельком, на миг, обычно бывает так сильно… ну, одним словом, теряешь миг, теряешь и свободу: отверстие смыкается, и беглец вместе с пришельцем падают вниз к дну. Такова, по крайней мере, была судьба всех попыток. Тут, понимаете ли, психологическая

западня, из которой никак.

Я молча слушал, и чем чаще повторялось слово «невозможно», тем больше крепло мое решение.

Несколько часов я провел, детально обдумывая план. Тем временем подошла очередь Второго. Молчаливый сосед слева выполз в желтый свет. Я впервые увидел его линялый сутуло-тусклый облик. Смущенно кашлянув, он начал, слегка заикаясь:

– Все произошло так. Однажды я получил письмо: длинный этакий конверт. Слабо пахнет вербеной. Вскрыл: паутинные этакие раскосые буквы. Читаю: что такое?..

– Тише, – прозвенел вдруг голос Квагги, – прекратить рассказ. Там, вверху… Слышите?

Рассказчик и голоса вкруг него сразу смолкли. Сначала как будто ничего. Затем – не то почудилось, не то въявь – издалека над сводом – легкий и осторожный шаг. Оборвался. Опять. Смолкло.

– Слышите? – зашептал мне в ухо Шестой. – Объявился. Бродит.

– Кто?

– Тринадцатый.

И мы, сначала тихо, чтобы не спугнуть, потом все громче и громче, запели наш гимн забытых. Изредка – по знаку Квагги – мы прерывали пение и вслушивались. Шаги, казалось, были уж совсем близко и вдруг стали отдаляться.

– Громче, да громче же! – прикрикнул Квагга. – Замани-

вайте его, заманивайте. Не уйдешь, голубчик, не-е-т.

И наши хриплые голоса, стервенея, бились о склизкие стены тюрьмы.

Но тот, Тринадцатый, притаившись где-то там, в темных переходах, очевидно, колебался и путал шаги. Наконец все мы выбились из сил. Квагга разрешил отдых, и вскоре все вокруг меня погрузилось в сон.

Но я не дал усталости овладеть собой. Припав ухом к стене, я продолжал вслушиваться в тьму.

Сначала все было тихо, потом опять зазвучал – там, над сводом, – близящийся шаг. Отверстие в своде стало медленно-медленно раздвигаться. Хватаясь за скользкие выступы стены, я попробовал взобраться наверх, но тотчас же сорвался и упал, ударившись о какой-то твердый предмет: это была Книга забвений. Стараясь бесшумно двигаться (вдруг проснется Квагга), я отстегнул ей застежки и, пользуясь их петлями, стал быстро подтягивать свое тело, от выступа к выступу, пока рука моя не ухватилась за расползающиеся края выходного отверстия. Навстречу мне свесилась чья-то голова, но я, зажмурясь, коротким усилием выбросил свое тело наружу и, не оглядываясь, бросился вперед. После своих двукратных блужданий по зрачковому лабиринту я даже в темноте кое-как ориентировался. Вскоре навстречу мне из-под полуопущенного века забрезжил смутный свет. Выбравшись наружу, я выпрыгнул на подушку и зашагал, борясь с порывами встречного дыхания.

– А вдруг не он, не мой? – думал я, колеблясь между страхом и надеждой. И когда наконец в свете предутрия я стал различать мои гигантизированные черты, когда я увидел после стольких дней разлуки вас, хозяин, я поклялся не покидать вас более и никогда не шляться по чужим зрачкам. Впрочем, не как я, но как вы…

Человечек из зрачка замолчал и, сунув под мышку свой черный фолиант, поднялся. По окнам бродили розовые пятна зари. Где-то вдалеке застучало колесо. Ресницы женщины чуть вздрогнули. Человечек из зрачка опасливо оглянулся на них и снова повернул ко мне свое усталое личико: он ждал распоряжений. «Будь по-твоему», – улыбнулся я ему и пододвинул к человечку, сколько мог, свои глаза. Одним прыжком он взобрался под мои веки и шагнул в меня: но что-то, вероятно острый угол книги, торчавший у него из-под локтя, больно задело меня за край зрачка и отдалось острой болью в мозг. В глазах у меня почернело, я думал – на миг, но нет: заря из розовой стала черной; вокруг молчала черная ночь, как если б время, пригнувши лапы, отползло вспять. Соскользнув с кровати, я торопливо и тихо оделся. Открыл дверь: коридор; поворот; дверь; еще дверь, и, шаря по стенке, ступенька к ступеньке – наружу. Улица. Я шагал прямо, не сворачивая, не зная, куда и зачем. Понемногу воздух стал редеть, высвобождая контуры домов. Я оглянулся: меня догонял иссиня-алый второй рассвет.

Вдруг где-то вверху, на колокольной насести, завороши-

лись, хлопая медью о медь, колокола. Я поднял глаза. С фронтона старенькой церкви, вмалеванное в треуголие, вперялось в меня сквозь мглу гигантское око.

Меж лопаток колючими циркульными точечками зябь: «Крашеные кирпичи». Всего лишь. Выпутывая шаги из ворсин тумана, я повторял: крашеные кирпичи – и только.

Навстречу из изнизанной светом мглы знакомая скамья: здесь я ждал – давно ли это было – в попутчицы тьму. Теперь доска скамьи была в брезге и розбрызге ранних росин.

Я присел на ее влажный край и вспомнил: здесь же, смутно еще вычерчиваясь, посетила меня новелла о человечке из зрачка. Теперь у меня было достаточно материала, чтобы попробовать закрепить тему. И я стал придумывать тут же, навстречу близящемуся дню, как рассказать людям все, ничего не рассказав. Прежде всего надо перечеркнуть правду, зачем она им? Потом распестрить боль до пределов фабулы, да-да; чуть тронуть бытом и поверх, как краску лаком, легкой пошлотцой – и без этого ведь никак; наконец, два-три философизма и… читатель, ты отворачиваешься, ты хочешь вытряхнуть строки из зрачков, нет-нет, не покидай меня на длинной и пустой скамье: ладонь в ладонь – вот так – крепче, еще крепче – я слишком долго был один. И я не скажу это никому другому, но тебе скажу: зачем, в конце концов, пугать детей тьмой, когда можно ею их утишить и ввести в сны?

# Мост через Стикс

Инженер Тинц бросил чертеж на прикроватный столик и подтянул одеяло к подбородку. Лежа с закрытыми глазами, он ощущал и сквозь веки сине-зеленый свет лампы и бродящее по ретине сетчатое отражение ферм, еще не успевших вместе с отброшенным листом выпасть из зрения. Мысль его, проверяя цифры и знаки, шла обходом из формул в формулы.

Рядом с чертежом, в углу столика, недопитый чай. Не открывая глаз, Тинц нащупал стекло и приблизил к губам: почти холодный. Под веки, как в магазинные двери в момент, когда за ними хочет прочернеть «Закрыто», протискиваются запоздавшие мысли. Они настойчивы и злы, стучатся в стекло ли, в зрачки ли, тыча реснитчатые стрелки часов и не соглашаясь на завтра. И под тяжелеющими веками Тинца продолжался впуск и отпуск. Сине-зеленый свет – точно он сквозь стоялую зацветающую воду – всачивался в глаза. В горле было сухо. Тинц еще раз протянул руку к столику: «Должно быть, совсем холодный».

Действительно, то, к чему прикоснулись его пальцы, было холодным и скользким, но не как стекло – оно вдавливалось под стиском фаланг и, отершись кожа о кожу, упруго выпрыгнуло из руки.

Тинц мгновенно раскрыл глаза и оторвал голову от по-

душки. Под синим колпачком лампы, поверх нижнего края чертежа, сидела, кругля глаза навстречу его взгляду, жаба. Белое вяло пульсирующее брюшко ее почти сливалось с белью бумаги, а зелено-сизые пятна спины были под цвет света, дряблый и жирный зад жабы был опасливо отодвинут к краю стола, а настороженная выгибь перепончатых лапок выражала готовность в любой миг отпрыгнуть из светового круга в тьму. Даже ноздри Тинца ощущали тиноватый, с болотным припахом, запах, исходивший из феномена. Он хотел крикнуть, махнуть рукой на неподвижно выпучившуюся на него пару жабьих глаз, но те, не расцепляя сцепки зрачков с зрачками, успели предупредить: рот жабы шевельнулся, и – что было страннее всего, – вместо квака из него выдавились слова:

– Будьте любезны, далеко ли отсюда до смерти?

Тинц, отодвинувшись к стене, недоуменно молчал. Выждав паузу, жаба раздраженно шевельнулась на распяленных перепонках:

– Вижу, я окончательно заблудилась.

Голос у говорившей был мягкий и обволакивающий; в свисающих углах длинного рта – выражение искренней горечи и разочарования.

Пауза.

– Вы неразговорчивы, – продолжал белый рот, почти страдальчески выгибая свою дугу, – между тем должен кто-нибудь мне помочь пропрыгнуть из застиксия в абсолютное и

окончательное *из*, если уж вам не нравится слово, только что названное мною. Видите ли, я в положении транзитного путешествия из киспендента в трансцендент (метафизики, надеюсь, не рассердятся на мое cis [28]). И как это часто случается с путешественниками, мне пришлось увязнуть в…

– Это очень странно: ночью, на моем столике – и вдруг…

Жаба, заслышав первые ответные слова, округлила улыбкой рот и мягким полупрыжком пододвинулась к ближнему краю стола:

– Поверьте, мне еще страннее. Я ни разу за все эти тысячелетия не меняла тины на путь. И вот я, принципиальная домоседка дна, ночью на чьем-то столике… Странно, чрезвычайно странно.

Тинц, постепенно привыкая к пленчатым глазам, тягучему голосу и извивистому абрису ночной гостьи, подумал, что правильное обращение со снами в том, чтобы дать им досниться. Он не высказал этой мысли, не желая быть невежливым к собеседнику, вполне корректно и доверчиво расположившемуся в полуметре от его уха. Но мысль, очевидно, была угадана.

– Да, – сказала жаба, задергивая глаза пленкой, – еще Ювенал писал о «Лягушках из Стикса, в которых не верят даже дети, бесплатно моющиеся в бане». Но об этом лучше бы спросить у тех, кого омывают за плату в один обол чистейшие из всех вод, воды Стикса: ново-, но не рожденных,

---

[28] По сю сторону *(лат.)*.

а преставленных. Впрочем, меньше всего мне нужна вера в мое бытие: быть сном – это дает некоторые преимущества, развязывает от связанности связностью, хотя я и не намереваюсь злоупотреблять этой прерогативой. Притом, если сновидец может не верить в реальность своего сновидения, то и сновидение, в свою очередь, может усомниться в бытии того, кому оно видится. Весь вопрос в том, кто кого предупредит: если люди раньше перестанут верить в Бога, чем Бог разуверится в них, то Богу приходится плохо, но если б Богу первому удалось перестать верить в реальность своей выдумки, то есть мира, то… О, на стиксову поверхность всплывает много пузырей, круглых, как «о», и все они неизменно лопаются. Но мы отвлеклись от темы: если мне будет разрешено сослаться на Гегеля, который считает, что некоторые народы, например ваш, имеют бытие, но обделены историей, внеисторичны, то почему бы мне, происходящей из древнего рода стиксовых жаб, даже при выключенности из бытия (ставлю Гегеля на голову) не рассказать своей истории, если опять-таки мне не будет отказано во внимании. Наконец, все явления даны сознанию явочным порядком, они впрыгивают – не осведомляясь о разрешении – прямо в мозг, как вот я, и этот метод впрыга… но незачем перебессвязнивать и слишком вквакиваться в метафизику – не так ли?

Тинц еще раз с успокоенной пристальностью оглядел рассевшуюся под синим светом лампового колпака обитательницу стиксовых тин. Приготовляясь начать рассказ, она под-

жала поудобнее свой жирный зад и охватила налепью задних бугристых лапок рант стола. Круглые глаза, круглый живот, казалось, обтянутый белой жилетной тканью, и узкогубый по-английски подобранный рот напоминали сеймуровский абрис флегматического Пиквика в тот момент, когда исследователь пескариной жизни Темпшайрских прудов собирается рассказать одну из своих историй. Тинц улыбнулся улыбке и, отделив спину от стены, холодившей тело, подоткнул опадающий край одеяла и приготовился слушать: после нескольких «гм» и «кх» бело-зеленый под синью колпака ночной впрыг начал так:

– Как уже упоминалось, чуждее всех чуждостей нам, жильцам стиксовых тин, перемещения из одного *тут* в другое *тут*. Путешествие – это беспутство – кх, м-да, – так, по крайней мере, думают лучшие умы дна. Ведь сколько вы, переползни земли, ни опутываете ее путями, все ваши странствия, все и всех, неизменно кончаются ямой, последним тут, из которого никто и никогда не выкарабкивался. Глупо ждать, пока тебя догонит одноногая, но проворная лопата, – проще заблаговременно и самому зарыться в ил. Но не всем дано беседовать с древней мудро-чавкающей тиной придоний Стикса, реки, в которую впадают все смыслы. Притом жизнь, по сравнению со смертью, это глухая провинция. Парадокс? Отнюдь. Когда ты, Тинц, достигнешь наших тин… О, чего только нет в *нет!* Уверяю тебя, вся эта ваша мишурящаяся в звезды и солнца жизнь лишь так… застиксье. Жить

– это дезертировать от смерти. Правда, все вы, сбежавшие из *нет*, в *нет* возвращаетесь: рано или поздно, потому что иного нет.

Но нам, сididомам стиксового придонья, излишни какие бы то ни было выпрыги во вне. У нас есть все, что есть, когда оно уже не есть. Ведь воды Коцита, Леты, Ахерона и Стикса слиянны, и в страну смерти, овитую ими, можно вступить, лишь оставив память о жизни в безволнии наших вод. Таким образом, мириады человеческих памятей сбрасывают в черные глуби Стикса все свое содержимое, весь груз отжитых жизней: они медленно осаждаются, распадаясь на дни и миги, сквозь межкапельные щели вод, к нам на дно. Жизни поверх жизней, слоями на слои, мутные и выцветшие сростки из дней, контуры деяний и отмысль мыслей. Положительно шагу нельзя сделать, чтобы не разворошить человечьих памятей, выстилающих стиксово дно: многоязыкие россыпи отзвучавших слов, вязкие тайны преступлений и ласк шевелятся при каждом перепрыге над и подо мной, налипая на эти вот пленки.

Лягушка остановила на секунду рассказ, пододвинула к углу подушки опальченные концы своих передних лапок. Тинц внимательно вглядывался в белую под зеленоватыми пятнышками в осыпи из пузырчатых бугорков кожу жабьих пальцев.

– Итак, – продолжала говорившая, мягким толчком задних лап поддав тело на угол подушки, к самому уху собесед-

ника, – итак, ясно, что нам, обитательницам дна дней, незачем покидать его. Мы не подражаем обыкновенным речным лягушкам, охотящимся за мухами. Зачем? Отжитые жизни сами ткут чернонитный ковер, выстилающий стиксово русло. Зарывшись по самые глаза в дно дней, мы слушаем лишь высокий и дальний плеск Харонова весла и видим скользящую тень его ладьи, блуждающую меж берегами: живым и мертвым. В иле мертвы все «или»; тенистая прохладная вечность тинится тончащимися нитями сквозь нас, бархатами ила, нирвана нирваны, сливаясь вкруг мысли, замыслья, зазамыслья и…

Закатившиеся пленки жабы спрятали ее глаза, втиснутая в зелено-белое бесшеее тело голова запрокинулась кверху, выпячивая влужье губ.

– Но как же тогда случилось, что?..

Голос Тинца сдернул пленки с запрокинувшихся в себя глаз гостьи; но слова ее не сразу покинули молчание.

– Видишь ли, произошло нечто, заставившее меня эмигрировать. Да, знаю, в моих устах, после всего сказанного, это должно звучать странно. Однако цепь событий редко совпадает с цепью умозаключений. Дело в том, что население стиксова дна не единомысленно. Пестрота памятевых осадков, очевидно, оказывает некоторое влияние и на нас. В вопросе о смерти мы делимся на либералов и консерваторов. Я принадлежу к последним. Но партия либерального отношения к смерти в последнее время, увы, стала забирать

верх. Мы, старые жабы Стикса, придерживаемся проверенного веками принципа: мертвое должно быть *вполне мертвым*; нам не надо полуфабрикатов смерти, всех этих недожитков, самоубийц, павших в боях, одним словом, всех этих выскочек в смерть, раньше времени лезущих в священные воды реки рек. Я и мои единомышленники, мы полагаем, что наскоро, кое-как сделанный мертвец – не вполне мертвец; смерть должна работать терпеливо и тщательно, медленно, год за годом, всачиваясь в человека, постепенно бесконтуря его мысли и бессиля его эмоции; память его, бесцветясь, должна – под действием болезней или старости – постепенно сереть, приобретать гравюрные тона, и только тогда она будет под цвет стиксовым илам. Все же эти насильно брошенные в Стикс жизни, непросмертеванные, оборванные на ходу, сохраняют в себе еще жизненную инерцию; Лета отказывается от них и сносит их взбудораженные, полные пестрот памяти, к нам, в Стикс. И они нам нарушают и уродуют небытие. Казалось бы, так просто и понятно. Но либералы, играющие всегда на алчности, на преклонении перед количеством, давно уже выдвинули лозунг: *побольше мертвых*.

Разумеется, мы не сдавались, мы всячески противились экстенсивной и захватнической политике смерти. Борьба шла с переменным успехом. Либералы, должны признать это, лучше нас умели воздействовать на вульгус. От времени до времени они собирали стрыгивающиеся в митинг хоры лягушек, и тогда над Стиксом подымалось громкое ква-

канье, требующее массовых смертей. Обычно шум их голосов, звучащий все сильнее и сильнее, доносился до земли, будил голоса человечьих толп, которые, вслед за расквакавшимися лягушками Стикса, требовали смертей самим себе, кх. И тогда начинались войны. Груз боев втискивал Харонову ладью по самые борты. И на время выкликающая смерти клика успокаивалась…

Но, однако, как это и можно было предвидеть, аппетиты партии оптовых смертей, что ни столетие, разрастались все больше и больше. Раздемагогствовавшиеся вожди либералов вперебой похвалялись, что перекрасят воды Стикса в кровавый цвет. Почти все, чуть ли не до головастиков, были распропагандированы. Тонконогая молодь, выпрыгивая целыми стаями на отмель и повернувшись тысячами ртов к земле, кричала: еще – еще.

Становилось тревожно и напряженно. Надвигалось – не то из жизни, не то из смерти – неотвратимое. Даже я, тысячелетиями не покидавшая дна, однажды, всплыв на замутненную поверхность, пристально оглядела оба берега: один, наш, мертвый, был из рыхлых пеплов, плоский и беззвучный. Над ним не было воздуха, и потому черное небо падало прямо в пеплы всей своей обеззвездненной толщей; другой, ваш, был задернут завесами туманов, но и сквозь них омерзительно лучилось оно, ваше солнце, и ворочались груды радуг, запутавшихся в его лучах. Жизнь, б-р-р, какая гадость – я отдернула глаза и поскорее назад, в ил.

Тем временем долго выкликаемое миллионосмертье началось: оно заахало – оттуда, с земли – тысячами запрокинувшихся железных горл, оно ползло протравленным туманом, гася радуги и обрывая солнцу лучи, его пулевые ветры несли прямо на Стикс свеянные одуванчики душ. Сластолюбивое кваканье чуть ли не всего стиксова придонья встретило первые нахлыни смертей. Не знаю, что – может быть, вращение их земли – сделало людей извращенными, даже в войнах: дурачье, они швыряют в смерть самое смертенепригодное, свою молодь. Памяти юношей еще не заполнены, пусты и потому, попадая на поверхность Леты и снесенные течением в Стикс, они, по пустоте своей, не способны затонуть и плавают поверху, полуневтиснутые в Стикс. Это молодевое межсмертье срастается в ряскоподобное пленчатое нечто, разлучающее дно реки рек с ее поверхностью.

Мы, жабы старого закала, пробовали прорвать настлань идей отпрыга, отзовизма, как сказали бы у вас на земле. Помню, я прочла лекцию в одном из самых глубоких ядовий дна на тему о садовнике, который, желая ускорить рост цветка, тянул его за стебель кверху, пока не вырвал с корнем напрочь. Мои аргументы не собрали многочисленной аудитории. Все усилия были тщетны, расквакавшаяся кровавым кваком чернь из черни превращалась в краснь, потому что вхлынувшие в Стикс бои всачивались кровью в издревле черные воды. Весло Харона вязло в сукровице. Перегруженные борты его ладьи глотали воду Стикса. Тогда-то души и

бросились вплавь, взвалнивая извечно недвижные воды.

Это переполнило чашу. Дольше нельзя было терпеть: прощайте, родные илы, прощай, бездвижная вечность и ты, беззвучье, поющее смерть! Я решила спасаться – туда, в пеплы. Пленки моих лап в несколько ударов подняли меня к поверхности. Я выставила голову, ища глазами мертвого берега. Тут-то и началось: как я ни всматривалась, я не могла понять, где жизнь и где смерть; оба берега были испепелены и обезлюдены, глубокие воронки, могильными въямьями, изоспили их, и туман, смешанный с стланью ядовых газов, застилал левую и правую даль. Как быть? Надо было решаться. И я выпрыгнула наугад.

Осторожные толчки пят вели меня вглубь и вглубь. Постепенно задымленный воздух стал проясняться, навстречу запылали мне зарева городов, и оказалось, что, волею случайности…

– Что ты на земле? Ну, ну, – Тинц, выдавив локоть из подушки, пододвинулся вплотную к досказу.

– Увы, да, иначе встреча наша вряд ли была бы возможна. Разумеется, я попробовала вспять. Но не нашла своих следов. Блуждая наугад, я то и дело натыкалась на человечьи гнездовья. Что было делать? Днем я, прячась от желтых щупалец вашего солнца, пережидала во влажье прудов и омутов. Одомашненные жизнью речные лягушки в страхе распрыгивались прочь от меня, гостьи из Стикса. Но с наступлением ночи я выбиралась наверх, ища попутчиков туда, назад,

в смерть. Попытки мои были не слишком удачны. Помню, один раз, это было ночью, как вот сейчас, я впрыгнула на подушку чахоточной восемнадцатилетки. Юное существо, раскружив свои косы по горячему полотну, ловило воздух частыми, короткими вздохами. Мне захотелось, как это делают иногда шпионы Стикса, доктора, обнадеживающе пошутить. Всунувшись ртом в ухо, я скаламбурила: «Пневмоторакс, кворакс». Но странно, попутчица вскрикнула; на крик чьи-то шаги; и мне пришлось, подобрав пятки, через бумажные хвосты рецептов, задравшихся из-под пробок, – назад в тьму.

Другой раз мне удалось вскользнуть под тощее одеяло к наборщику, умиравшему от свинцового отравления. Да, кх… алфавит, из пересыпей которого вы мастерите свои молитвенники и политграмоты, в достаточной мере ядовит. Помню, я притиснулась ушной перепонкой, аускультируя слабеющее сердце, и… да, кстати, меня легко запутать в фольклоре застиксья, этот ваш из-под фабричной гари запев: «Ей, ухнем», – не значит ли это: «Приложим ухо, подслушаем, ухнем», – повторяю, я не тверда на ваших словесных кочкованиях…

– Не напутывай вздора, подожди, – Тинц резко отодвинул глаза от вспузыренных зрачковых прорезей жабы, – если ты только к попутчикам, то, значит, я…

Над ртом жабы вздулся пузырь, лопнул, и вслед ему:

– К сожалению, нет. Видишь ли, пока я странствовала по

свету, тьма мыслей странствовала во мне. Я много видела и наблюдала, я испрыгала пространства по ту и по эту сторону Стикса. И вот мой вывод: дело не в войнах живых с живыми, не в том, что вы, люди, существуете для взаимных похорон, а в извечной войне двух берегов Стикса, в непрекращающейся борьбе смерти с жизнью. Я предлагаю перемирье. И мой впрыг не столько к тебе, сколько к этому вот чертежу.

– Не понимаю.

– А между тем так просто. Что такое страна смерти? Такая же страна, как и все другие, но с несколько повышенной таможенной пошлиной – с живого при переходе граничной черты взимается сто процентов жизни. Только и всего. Итак, перечеркивается черта. Мертвые могут репатриироваться на земную родину, те же, что слишком живы для жизни… но не будем углубляться в детали. Мои идеи и твои цифры могут сдвинуть великое дело коинциденции мертви и живи, так сказать, с мертвой точки. Все равно – к этому идет, безумцев, овладевших стиксовым дном, не перекваквать. Пусть. Пусть. Единственный amor, доступный мне, выселенке некогда черных вод, это – amor fati [29]. Мы начнем с мелочей, незаметно вштриховывающихся в жизнь…

– Например?

– О, за этим дело не станет. Скажем, у всех перекрестков изящно сконструированный автомат: по вертикали из земли доска; в доске на высоте кармана узкая щель для впрыга мо-

---

[29] Любовь к неотвратимости рока *(лат.)*.

нет, на высоте лба щель диаметром в поперечник пули. Вы подходите к автомату, опускаете монету и получаете пулю в лоб. Дешево, общедоступно и, при бесшумности выстрела, что возможно при применении системы глушителей, почти нестеснительно для прохожих. Или… но мимо, и к главному: твой чертеж моста очень кстати попал мне под пальцы: точные и легкие формы; твои цифры вгибают и выгибают сталь, как воск; но пора перебросить технику в иные масштабы; надо открыть материал легче паутины и прочнее железобетона, невидимее стекла и тягучее золотых нитей, потому что пора, давно пора строить мост через Стикс. Да-да! Он повиснет меж вечным «нет» и вечным «да». Из ночи в день и из тени в свет, спаями своими вновь сочетая рассочетанные смерть и жизнь. И тогда над извивами Стикса мы раскроем черные пасти экскаваторов; мы вычерпаем ими все затонувшие памяти мира; все канувшее в забвение века, осевшие поверх веков, историю и праисторию, смешанные со стиксовыми илами, мы подымем назад, под ваше солнце. Мы опустошим забвение до дна. Смерть раздает все свои богатства нищим – оболы и жизни, – и посмотрим, как вам удастся остаться живыми среди восставших смертей. Итак, мы начинаем работу. Оба: во славу Obiit [30]. Нет? О, наш мост превращает «нет» в «да». С разрешения соавтора, я как-нибудь так… поближе к мыслям. Кхе. Тут жестковато, не правда ли, и у всех на виду, в то время как под висковыми костями можно в полной

---

[30] Здесь: отошел (в мир иной), преставился *(лат.)*.

прикровенности…

Тинц отшатнулся к стене. Он видел: глаза жабы выпятились злыми пузырями, а задние ноги изогнулись, готовя прыжок. И прежде чем защитный рефлекс вскинул его руку, мягкий и скользкий удар в мозг запрокинул его голову на подушки. Тинц вскрикнул и… разжал глаза.

Комната была полна ровным и ясным дневным светом. На прикроватном, под забытым серо-синим, изжухленным солнцем светом лампы, развернутый план пятипролетного моста. У науглия столика опрокинутый стакан: круглый стеклянный рот его навстречу глазам, а с бело-зеленого края блюдечка серебряный плоский язычок ложечки, выскользнувший из стекла наружу; поверх штрихов схемы влажные следы: не то раздробь капель, не то…

Инженер Тинц еще раз закрыл глаза, стараясь удержать быстро тающие в дне образы дна. Затем он отбросил вместе с одеялом – ночь. Ноги его искали на полу привычных туфель, а мозг вдевался в привычные схемы и цифры.

# Желтый уголь

## I

Экономический барометр Гарвардского университета все время показывал дурную погоду. Но даже и его точные цифры не могли предвидеть такого быстрого углубления кризиса. Войны и стихия превратили землю в растратчицу своих энергий. Нефтяные фонтаны иссякали. Черный, белый, голубой и зеленый угли, что ни год, давали все меньший энергетический эффект. Небывалая суть, казалось, спутала десятком экваторов изнемогающую землю. Хлеба были сожжены на корню. Загорались от зноя леса. Сельвасы Америки и джунгли Индии пылали чадным пламенем. Аграрные страны были разорены в первую очередь. Правда, на смену испепеленных лесов вставали пепельными стволами леса фабричных дымов. Но и их годы были сосчитаны. Бестопливье грозило машинам бездвижьем. Даже снежные покровы ледников, растопляемые неуходящим летом, не могли служить надежным резервом водной энергии; дно выпячивалось из мелеющих рек, и вскоре турбогенераторы должны были стать.

Землю температурило. Захлестываемая желтыми бичами солнца, она кружилась вкруг него, как дервиш, доплясывающий свою исступленную пляску.

Сними государства свои политические межи, приди они друг другу на помощь, спасение было бы возможно. Но идеи ататизма только закреплялись бедами, и все ново– и старосветные райхи, стааты, республики и ланды, как рыбы на высыхающем дне озер, обрастали вязкой цистой, заматывались в границы, как в коконную нить, подымая таможенные пошлины до небывалых размеров.

Единственным международного типа органом была Комиссия по изысканию новых энергий: КОНОЭ. Человеку, который бы открыл неизвестный энергетический ресурс, силу, не включенную в движители земли, была обещана некая семизначная сумма.

# II

Профессор Лекр был слишком занят, чтоб замечать людей. Его глаза были отгорожены схемами, мыслями, страницами книг и не успевали отражать лиц. Матовый экран впереди окна защищал от улицы; черный футляр автомобиля с задернутым окошечком выполнял ту же роль. Еще несколько лет тому Лекр читал лекции, но постепенно отказался и от них, всецело отдавшись своим изысканиям по теории квант, ионного возбуждения и проблеме викариата чувств.

Таким образом, двадцатиминутная прогулка профессора Лекра, первая за десять последних лет его жизни, была чистой случайностью. Вначале Лекр шел в окружении своих мыслей, не замечая ни улиц, ни лиц. Но первый же перекресток спутал ему шаги, ученый принужден был поднять голову и оглядеться по сторонам, ища пути. И тут впервые о его зрачки отерлась улица.

Солнце сквозь тент туч всачивалось тусклою желчью в воздух. Вдоль панели, злобно тычась локтями в локти, торопились прохожие. В раскрытые двери магазинов вдавливались и выдавливались, застревая друг в друге, люди: их красные от натуги и злости лица были повернуты оскалами друг к другу.

Плывущие над трамвайными рельсами ступеньки были забиты пассажирами: груди лезли на спины, но спины, злоб-

но шевеля лопатками, не уступали ни дюйма; перепутавшиеся поверх вертикали поручня пясти были стиснуты хищным стиском, – казалось, будто стая слетевшихся стервятников вырывает друг у друга добычу.

Трамвай проехал, и за ним, как за отодвинувшимся занавесом, по ту сторону улицы – новая сцена: двое, тряся кулаками один на другого, били друг друга словами; и тотчас же круг из злорадных зрачков, и вкруг круга круг, и еще; над месивом плеч, влипших в плечи, поднятые палки.

Лекр, оглядываясь, двинулся дальше. Внезапно колено его наткнулось на протянутую поперек пути руку. Выставившись из грязного тряпья, ладонь требовала подаяния. Лекр порылся в карманах: денег при нем не было. Распрямленная ладонь продолжала ждать. Лекр еще раз обыскал себя: кроме записной книжки – ничего. Не отводя взгляда от нищего, он отшагнул в сторону, из глаз калеки, полуслепленных гноем, вместе с слизью сочилась неутолимая, бессильная злоба.

Профессор Лекр все опасливее и опасливее разглядывал скрежещущую ободами и жужжащую растревоженным людским роем улицу. Люди сменялись, но ничего не сменялось в людях; стиснутые скулы, бодающие воздух лбы и протаранивающие путь локти непрерывно одни вослед другим. Сначала брови знаменитого физиолога были разведены удивлением, затем они сжались, затиснув бьющуюся в них мысль. Лекр, задержав шаг, раскрыл записную книжку, подыскивая точные слова. Но чей-то локоть ткнул его колючим ударом в

ребра, он шатнулся в сторону и, ударившись спиной о столб, выронил листки. Но даже боль не могла заставить Лекра перестать улыбаться: мысль, туго связанная с ассоциативными нитями, была брошена на самое дно мозга.

# III

Конкурс, объявленный КОНОЭ, притянул около сотни помеченных девизами пакетов. Среди состязающихся проектов был и проект профессора Лекра. Большинство вскрытых пакетов несли в себе теоретические или практические неосуществимости; некоторые, подвергнутые более внимательному обсуждению, давали подобие исхода, но требовали слишком больших капитальных вложений. Соискатель, избравший девиз «Oderint» [31], может быть, и не выдержал бы состязания с остроумной и тонко проработанной научной оффертой, предлагающей заставить самое Солнце платить убытки, причиненные им планете: повышенная солнечная активность в отдельных точках земли, говорил проект, должна быть доактивизирована до температур, способных совершать работу путем переключения тепла в механическую энергию. Идея впрячь солнце в труд восстановления полуразрушенной промышленности была уже близка к семизначью премии, но… у председателя комиссии углы глаз были чуть с желтинкой, а в стеклах пенсне зампредседателя иной раз блуждал колючий блик.

Оба склонялись к проекту солнцевпряга, но председатель, не желая быть согласным с заместителем председателя, назло ему в последний момент перебросил свой голос, и oderint

---

[31] Ненавидящий *(лат.)*.

перевесило.

На следующее закрытое заседание комиссии был приглашен профессор Лекр. Отвечая на просьбу сконспектировать идею, Лекр начал так:

– Контур моего проекта прост: я предлагаю использовать энергию злобы, рассеянную по множеству человеческих особей. Дело в том, что на длинной клавиатуре чувств, чернеющих ее клавиш, злоба имеет свой специфический, резко обособленный тон. В то время как другие эмоции, скажем нежность, симпатия и т.д., сопровождаются снижением мускульного тонуса, некоторым расслаблением моторной системы организма, злоба насквозь мускульна, она вся в тяжении мышц, в сжатии кулаков и стиске зубов. Но чувство это безвыходно, оно под демпферами, глушителями социально притушено, как лампа, и потому дает копоть, а не свет. Но если снять глушители, если позволить желчи хлынуть через социальные плотины, то этот, сказал бы я, желтый уголь завращает остановившиеся маховики наших фабрик, засияет электрическою желчью из миллионов ламп и… попрошу не перебивать… Как это сделать? Извольте кусок мелу, и я начерчу вам схему моего миелоабсорбатора: АЕ из 0 перпендикуляр, здесь под углом по поверхностному щиту пунктир вбирающих устьиц.

Видите ли, идея экстрериоризации мускульных усилий (я давно ее уже провел сквозь все закоулки своего мозга) вполне осуществима, ведь если мы возьмем стык нерва с муску-

лом, то мы увидим, что нервное волокно, несущее энергетический заряд, стремится, расщепляясь на тончайшие фебриллы, охватить мускул такого вот рода, будьте любезны, губку, сетью. Гистологическое описание ее дал впервые Краузе, но вполне точная картина плетений нервной сетки принадлежит мне. Гм, на чем мы, м-да?.. Проблема ставилась так: изловить сеть в сеть, и улов – на берег, вовне, за пределы человечьей кожи. Если вы вглядитесь теперь в пунктир устьиц абсорбатора, то вам станет ясно, что…

Доклад длился около двух часов. К последнему слову Лекра примкнуло несколькоминутное молчание. Затем председатель, шевельнув желтыми углами глаз, сказал:

– Допустим. Но уверены ли вы, что запасы человеческой злобы, которые вы предлагаете эксплуатировать, достаточно велики и, главное, надежны? Ведь в данном случае приходится иметь дело не с неподвижным пластом, дожидающимся кирки, а с эмоцией, которая возникает и изникает, вы меня понимаете?

Профессор Лекр отвечал коротким:

– Вполне.

Комиссия отнеслась очень сдержанно к вопросу о промышленном использовании желтого угля. На первое время решено было ограничиться малыми масштабами, не выходя за пределы эксплуатационно-хозяйственной разведки.

# IV

Это произошло в ранний предслужебный час на окраинах одной из столиц Европы. К трамвайной остановке, запруженной торопящимися портфелями, медленно огибая закругления, подкатил вагон, волочащий за собой прицепу. Портфели, вхлынувшие в оба вагона, второпях не заметили, что конструкция заднего слегка отличалась от обычного типа: снаружи по лакированному красному боку вагона тянулась желтая черта, от поручней ныряли внутрь под металлическую кожу прицепы тонкие нити проводов, а латунная поверхность сидений была под сыпью мелких устьиц, уходящих куда-то вглубь.

Звонок из вагона в вагон, вагоновожатый нырнул к буферам, потом назад; щелкнул ведущий рычаг, и передний вагон, бросив прицепу, набитую людьми, стал быстро удаляться. Недоумение, охватившее пассажиров беспомощного вагона, длилось секунды. Изумленно разведенные ладони одна за другой стали сжиматься в кулаки. Злоба, усиливаясь от своего бессилья в бешенство, зашевелила всеми ртами.

– Что же это такое, бросить посреди улицы, как сор?!

– Мерзавцы!

– Видали ли вы такое? Распроподлецы!!

– Понасажали там…

– Да я б их сама собственными руками…

И, точно отвечая на розбрызг слюны и слов, прицепа вдруг, чуть слышно скрипнув осями, сдвинулась с места. На ней не было ролика, площадка для вагоновожатого была пуста, и все же, непонятным образом набирая скорость, прицепа кружила свои колеса вдогонку за бросившим ее вагоном. Пассажиры растерянно переглядывались; чей-то женский голос истошно закричал: «Спасите!» И тотчас же все содержимое вагона, охваченное паникой, бросилось к дверям. Но никто не хотел уступать первенства. Плечи втиснулись в плечи и локти в локти; густое человечье тесто месило само себя сотнею увязающих кулаков. «Прочь!» – «Куда?» – «Пусти!» – «За-дави-и-и-ли!..» И вагон, начавший было замедлять скорость, раскружил колеса на полный ход. Люди, сыпясь со ступенек врасшиб на мостовую, постепенно порожнили непонятную прицепу. И колеса ее застопорились. Но это было в десятке метров от доски, отмечающей остановку. Новая толпа ожидающих, не слушая объяснений, забила вагонный короб, и через минуту он, скрежеща железом о железо, снова тянул свою желтую полосу сквозь воздух.

К вечеру необычайную прицепу загнали в парк, но фотоизображения ее продолжали странствовать внутри миллионов зрачков покупателей вечерних газет. Сенсация гудела в сети проводов и кричала себя из всех радиораструбов. Дату эту принято считать началом новой промышленной эры на земле.

# V

В первые месяцы при постепенном переводе промышленности на энергию желтого угля опасались, что ресурсы злобы, таящиеся в человечестве, могут быть быстро растрачены и исчерпаны. Ряд вспомогательных лекровскому проектов предлагал методы искусственного иннервирования злобы, на случай, если б энергия ее стала опадать. Так, известный этнолог Кранц опубликовал двухтомный труд «Классификация межнациональных ненавистей». Основной мыслью Кранца было признание необходимости возможно более мелкого национального дробления человечества, что дало бы максимум «кинетической злобы» (термин Кранца), но анонимный автор небольшой брошюры, выпущенной под заглавием «Одиножды один – один» шел дальше: он предлагал возродить древнюю «bellum omnium contra omnes», войну всех против всех; конечно, доказывала брошюра, война contra omnes постистории должна резко отличаться от одноименного статуса праистории; если pra [32] бросает всех людей против всех, то это от недохвата в них «я», от недочеловечности, – post [33] дает схватку излишков «я»: при практическом осуществлении каждое «я» претендует на всю землю со всеми ее богатствами, это логичнейшая философская система, дающая

[32] До *(лат.)*.

[33] После *(лат.)*.

земле сразу около трех миллиардов абсолютных монархов и соответственно этому неисчислимость войн и злоб, которые лишь приблизительно могут быть определены цифрой, какая получится при исчислении всех возможных сочетаний единицы с тремя миллиардами других единиц и еще вдобавок умноженной на три миллиарда.

Но наибольший успех среди широкой публики имела книга психолога Жюля Шардона «Оптическая пара». Шардон, владевший искусством метафоры, начинал с сопоставления двойных звезд супружеским парам; как в астрономии, двузвездия могут быть или физическими, т. е. от пространственной близости звезды к звезде, или оптическими, когда пара разделена десятками световых годов, но проектируется глазом наблюдателя в угловую близость, так и в матримониологии, изучающей наиболее выгодные для человечества сочетания из двух. Если до сих пор для государства оказывалась выгодной любовь, системы бракосочетательных рефлексов, то с переходом к использованию злободвижущихся тел необходимо перестроить институт брака: процент оптических супружеств должен быть поднят и постепенно доведен до ста; холод, а по возможности и отвращение, помноженное на близость, будут давать злобу высокого напряжения, которую остается лишь подхватить в соответствующий абсорбатор легкого переносного типа и гнать по проводам в центральный аккумулятор, созлабливающий все злобы, весь приход желчи в единый желтый фонд.

Было бы трудно закончить список предложений, искавших способа повысить питание абсорбаторов постепенно множащимися сериями – подбиравшихся все ближе и ближе к эмоции. Вскоре выяснялось, что все эти искусственные интенсификаторы злобы почти не нужны – естественные запасы многообразных видов этой энергии, начиная от брезгливости и кончая бешенством, были до неопределимости огромны и, по-видимому, неистощимы.

Оказывалось, что энергии какой-нибудь потенциальной драки, вовремя рассосавшейся по горам уличного абсорбатора, вполне достаточно для полусуточного раскала калорифера, обслуживающего целый этаж. Даже без принятия каких-либо матримониологических мер путем расстановки двух миллионов т. н. пористых двухспалок, пододвинутых вплотную к семейным счастьям, можно было поддерживать работу огромной лесопильни.

Вся жизнь с лихорадочной быстротой перестраивалась и переоборудовалась заново. Двери учреждений и магазинов делались уже, чтобы их покрытым невидимыми порами ребрам легче улавливать энергию втиска и вытиска человечьих тел. Вертуши бульваров, спинки театральных кресел, рабочие столы и станки, всасывая особыми пористыми вставышами эмульсию желчи, сочетали капли в струи, струи – в потоки, потоки – в кипящее и пузырящееся желчевое море.

Дрожи ненавистей, ознобы злоб, скрежеты гнева, нырнув в провода, трансформировались в стальные визги пил, виб-

рацию поршней и скрежет сцепляющихся зубцов.

Злоба дня, собранная в аккумулятор, дожидалась, когда ей позволят, вжелтившись в угли дуговых фонарей, сдержанно мычать над изрезанной лучами ночью.

# VI

Мистер Фрэнсис Дедл был против ожелчения жизни, и он не был одинок. Чтобы не ходить далеко: священник его прихода и свояченица, девушка лет сорока, с руками, привычными к кухонной стряпне и молитвеннику, вполне разделяли его взгляд. С нескольких амвонов уже прозвучали проповеди о желтом наваждении, охватывающем мир. Ожидалась почему-то запоздавшая энциклика папы.

Оппозиция постепенно собирала силы, и хотя сторонники перевода всей промышленности и культуры на желтый уголь презрительно говаривали, что среди антижелчистов лишь одни сутаны и юбки, – но на самом деле они недооценивали численности противника. Орган протестантов «Сердце против печени» расходился довольно бойко.

М-р Дедл с первых дней существования сердцистской организации стал одним из ее деятельнейших членов. Правда, работу приходилось вести со связанными руками. Пропаганда сердцизма рассматривалась правительством как срыв желтого строительства. Благотворительные общества были закрыты. Проповедям приходилось звучать перед пустотой. В результате – организация, притиснутая к стене (впрочем, и стены были под пунктирами абсорбирующих устьиц)…

В одно из утр м-р Дедл проснулся в чрезвычайно мрачном настроении. Из дверной щели вместе с номером «Серд-

це против печени» торчал угол конверта. Дедл вскрыл: предписание от ЦК сердцистов:

«Сэр, с получением сего предлагается Вам в двухчасовой срок полюбить человечество. Пример – начало спасения».

М-р Дедл повертел бумажный листок в руках и почувствовал, что день испорчен. Стрелка часов показывала девять. Поймав взглядом римское одиннадцать, м-р Дедл пробормотал: «Ну, у нас еще есть время», – и, зажмурив глаза, постарался представить себе смутное многоголовье, называемое человечеством. Затем, приподнявшись на локте, он развернул газетный лист, скользя по заголовкам: «Ого! – Ну-ну… – Вот как! – Черт»… И строки – сначала в скомкивающий затиск пальцев, потом швырком на пол: «Спокойствие, спокойствие, старина, ведь сегодня к одиннадцати тебе предстоит…» Дедл мечтательно улыбнулся и стал одеваться. Проходя мимо скомканного газетного листа, он нагнулся, поднял и тщательно разгладил сморщившиеся строки.

Без четверти десять м-р Дедл приступил к брэкфесту. Сперва два-три ломтика ветчины, потом стук ложечки по острой макушке яйца. Желток, вспучившись злым глазом из-под скорлупы, напоминал, что… м-р Дедл сразу вдруг потерял аппетит и отодвинул тарелку. Стрелка часов подползала к десяти. «Однако надо, гм, что-нибудь предпринимать, нельзя так вот – никак». Но в это время – металлической дрожью сквозь воздух телефон. «Не буду подходить, ну их к дьяволу!» Телефон, выждав паузу, зазвонил длиннее и на-

стойчивее. Дедл с досадливым чувством притронулся ухом к мембране:

– Алло. Да, я. Звоните после одиннадцати. Я занят: дело всечеловеческого масштаба. Срочно? Мне тоже. Что? Да говорят же вам, занят, а вы лезете, как…

Трубка гневно одернула крючок. Мистер Дедл, стиснув кисти рук за спиной, прошелся от стены к стене. И случайно взгляд его наткнулся на тоненькую стеклянную трубку, расцифрованной выгибью выставившуюся из абсорбатора, рассыпавшего по его стене, как и по стенам всех комнат всего мира, свои еле видимые поры. Ртуть в стекле индикатора, цепляясь за цифры, медленно приподымалась. «Неужели я?.. Нет, нет, к делу». Дедл шагнул к окну и стал вглядываться в жизнь улицы: панель была, как всегда, черна от людей; они ссыпались в толпы, лезли из всех дверей и ворот.

– Милое человечество, дорогое человечество, – бормотал Дедл, чувствуя, что пальцы его почему-то сами сжимаются в кулаки, а по спине – с позвонка на позвонок – колючая дрожь.

В стеклах дребезжали и бились хриплые вскрики сирен авто, мякиш толпы, точно выдавливаясь из всех щелей, продолжал уминаться меж стен улицы.

– Любимые мои, братья-люди, о, как я вас… – И зубы Дедла скрипнули. – Господи, что же это? Без двадцати одиннадцать, а я…

Дедл задернул улицу шторой и, стараясь разминуться гла-

зами с индикатором, сел в кресло.

«…Попробуем in abstractio [34]. Поднатужься, старина, и полюби этих мерзавцев. Ну хоть на четверть часика, хоть чуть-чуть. Вот назло им всем возьми и полюби их. Черт, уже без пяти. О Господи, помоги мне, сделай чудо, чтобы ближний полюбил ближнего своего. Ну, человечество, приготовься, я начинаю: возлюбленные мои…»

Легкий стеклистый звон заставил Дедла вздрогнуть и повернуть свое облипшее потом лицо к абсорбатору: индицирующая трубка, не выдержав напряжения, рассыпалась стеклянной пылью, роняя на пол раззерненную ртуть.

---

[34] Отвлеченно *(лат.)*.

# VII

Если вначале техника добывания и аккумулирования желтого угля натыкалась на ряд неудач, то, постепенно совершенствуясь, она делала невозможными случайности вроде той, которая только что была описана. Самые слова «неудача», «неудачник» потеряли свой прежний смысл: именно неудачники, озлобленные жизнью желчевики оказались наиболее удачно приспособленными к новой культуре. Их злоба на жизнь стала рентабельной, начала давать им средства к жизни. Все человечество подверглось переквалификации. Индивидуальные счетчики, прикрепленные к телу каждого человека, указывали меру оплаты, соответственную количеству злобы, излученной данным человеком. Лозунг «Кто не злится, пусть постится» пластался своими буквами над всеми перекрестками. Добродушные и мягкосердые были выброшены на улицу и или вымирали, или ожесточались. В последнем случае цифры индивидуального счетчика приходили в движение, спасая от голодной смерти.

Еще до реализации идеи Лекра была учреждена особая подкомиссия при КОНОЭ для проработки вопроса об эксплуатации классовой вражды. Подкомиссия работала втайне: члены КОНОЭ прекрасно понимали, что именно эта разновидность вражды требует особо осторожного с собой обращения. Естественно, что переход на желтый уголь вызвал

волнение среди рабочих, обслуживавших старую промышленность. Капиталисты, сплотившиеся около КОНОЭ, решительно отбросили старую политику соглашений, уступок, вообще мер, умеряющих гнев рабочих коллективов, направленный против эксплуатирующего их класса. Ведь наступало время, когда самую ненависть к эксплуатации можно было… подвергнуть промышленной эксплуатации, вобрать в абсорбаторы и бросить ее к станкам и машинам. Фабрики отныне могли довольствоваться одною ненавистью рабочих, сами рабочие были им не нужны. Заводы и фабрики производили массовые увольнения, оставляя лишь самый немногочисленный подбор людей для обслуживания злобоприемников. Волна протестов, забастовок, прокатившаяся по всей земле, только повысила уровень желчевой энергии в аккумуляторах и дала хороший дивиденд. Оказывалось, что наиболее чистую злобу, почти не требующую отфильтровывания, дают безработные. На первой же конференции по вопросам злобосбора маститый немецкий экономист заявил о наступлении новой светлой эры, когда работу можно совершать при помощи забастовок. Сдержанный злорадный переплеск ладоней окружил эти слова. Индуцирующие стрелки асборбаторов конференц-зала слегка вздрагивали.

# VIII

Действительно, наступало некое подобие золотого века. Притом за золотом незачем было врубаться в земные дебри, незачем был промывать его в водных стоках – оно само желтыми желчинками высачивалось из печени и промывалось в круговращении крови, оно было тут, близко, под прослоями кожи. Печень для каждого превращалась в туго набитый и чудесно неиссякающий кошелек, который носят не в кармане, а в глубине тела, куда не пробраться руке вора. Это было удобно и портативно. Небольшая размолвка с женой оплачивала обед из трех блюд. Затаенная зависть горбатого урода к стройному сопернику давала возможность уроду, так сказать, переложив золото из внутреннего кармана во внешний, утешиться с дорогостоящей кокоткой. Вообще, что ни день, жизнь становилась дешевле и налаженнее. Энергия аккумуляторов строила новые дома, растягивала жилищные квадратуры, превращала хижины в дворцы, разыгрывала бытие не в серых сукнах, а в сложных и красочных конструкциях; стремительный поток желчи, трансформируясь из энергий в энергии, смывал копоть с неба и грязь с земли. Если прежде люди теснились, тычась друг в друга, по темным короткометражным закоулкам, то теперь они жили в просторных высоких комнатах, подставляющих широко врезанные окна под удары солнца. Если прежде, скажем, дешевые ботинки, точ-

но тоже обозленные своей дешевостью, больно кусали гвоздями пятку, то теперь аккуратно сработанные подошвы бархатом стлались под шаги. Если прежде беднота предместий зябла у нетопленых печей, тая под выкостеванными голодом скулами веками накопленную мутную безвыходную злобу, то теперь перемещенная в аккумуляторы раззлобленная злоба нежно грела змеиными извивами калориферов, создавая уют и комфорт. Теперь все были сыты. Вместо желтых ощёчий румяные налитые щеки. Талии набирали сантиметры, животы и жесты круглились, и самая печень стала подергиваться мягким жировым налетом. С этого-то и начался конец.

Казалось, внешне все было благополучно: машины на полном ходу, людской поток бьется о щели дверей, аккумуляторы желтого угля гонят энергию по проводам и сквозь эфир. Но то здесь, то там – сначала дробными мелочами – стало возникать нечто, не предвидимое схемами Лекра. Так, например, в один из ясных предосенних дней в полицей-амт города Берлина под охраною шуцманов были приведены трое улыбающихся. Это было возмутительно. Заведующий амтом, втиснув в желтый кант воротника пунцовое лицо, топал и кричал на правонарушителей:

– Сегодня вам придет в голову улыбнуться в общественном месте, а завтра вы выйдете на улицу голыми!

Три улыбки были подведены под статью о хулиганстве, и виновные расплатились штрафом.

Другой случай был много серьезнее: некий молодой человек, находясь в трамвае, позволил себе уступить место дряхлой старухе, полусплющенной меж протиска локтей и плеч. Когда наглецу был указан § 4 Правил для пассажиров «Всякому уступившему место предлагается пересесть в тюрьму на срок от – до», преступник продолжал упорствовать. Сама старуха, по сообщению газет, была до глубины души возмущена поведением нахала.

Какая-то не сразу понятая болезнь мелкой сыпью инцидентов стала пятнить гигантское тело социоса. Весьма симптоматичным оказался громкий судебный процесс об одном школьном учителе, сказавшем во время урока совершенно открыто:

– Дети должны любить своих родителей.

Школьники, разумеется, не поняли архаического слова «любить», за разъяснениями обратились к взрослым; из взрослых тоже не все смогли припомнить, что это за «любить». Но старики растолковали одиозный смысл фразы, и развратитель юношества предстал перед судебным жюри. Но что оказалось совершенно уже сенсационным, судьи оправдали негодяя. В правительстве заволновались. Желтая пресса (пресса в эту эпоху вся была желтой) подняла кампанию с требованием кассировать приговор. Портреты вновь назначенных судей были помещены во всех экстренных изданиях: но лица их, пластанные в газетные листы, были как-то странно беззлобны, одутлы и бездумны. В результате развратитель

остался на свободе.

Надо было принимать немедленные меры. Тем более что уже не желтая общественность, а желтая промышленность начала давать перебои. Зубья механических пил на одной из фабрик, будто устав прожевывать древесные волокна, внезапно стали. Колеса вагонов кружили чуть медленнее. Свет за стеклом ламп стал чуть жухлее. Правда, аккумуляторы, наполненные веками гнева, могли питать им приводные ремни и зубчатки в течение четырех-пяти лет, но питание их новой живой силой слабело от дня к дню.

Правительства всех стран напрягали силы, чтобы предотвратить медленно надвигающийся крах. Надо было искусственно поднять злобоизлучение до прежней высоты. Решено было от времени до времени прекращать подачу света и тепла. Но люди с опустошенными печенями терпеливо, не жалуясь и даже не брюзжа, сидели теперь по своим огромным темным комнатам, не пытаясь даже придвинуться к стынущим печам. Тщетно было бы зажигать свет, чтобы увидеть выражение их лиц: на лицах их не было никакого выражения, они были пусты, румяны и психически мертвы.

Бросились было за помощью к врачам. Пробовали применять возбуждающие активность печени пилюли, воды, электрическую иннервацию. Все было тщетно. Печень, высказавшись до конца, завернулась в жировой кокон и крепко спала. Как ни стегали ее патентованными средствами, ростом доз и героическими мерами всякого рода терапий, положи-

тельного эффекта, имеющего промышленную ценность, не получалось.

Время уходило. Для всех становилось ясным: отлив моря желчи уже никогда не сменится приливом. Надо искать новых источников энергии, нужен новый Лекр, который открыл бы нечто, перестраивающее жизнь сверху донизу. КОНОЭ, в последние годы ликвидированное, возобновило свою деятельность. На помощь призывались изобретатели всего мира. Но в ответ почти ни единого хоть сколько-нибудь значимого проекта. Изобретатели были, но изобретательность исчезла вместе со злобой. Теперь нигде, даже ценою семи-, восьми– и девятизначной суммы, нельзя было сыскать тех прежних озлобленных умов, гневных вдохновений, изостренных, как жала, перьев, омоченных в желчь. Пресные же чернила, без подмесей крови и желчи, не ферментированные ничем, умели делать лишь расплывчатые, глупые, как кляксы, каракули мысли. Культура гибла – бесславно и бессловно. И в эти предсмертные ее годы среди ширящейся энтропии беззлобья не могло даже возникнуть сатирика, который достойно бы осмеял рождение и гибель эпохи желтого угля.

# Квадратурин

## I

Снаружи в дверь тихо стукнуло: раз. Пауза. И опять – чуть громче и костистее: два.

Сутулин, не подымаясь с кровати, протянул – привычным движением – ногу навстречу стуку и, вдев носок в дверную ручку, дернул. Дверь наотмашь открылась. На пороге, головой о притолоку, стоял длинный, серый, под цвет сумеркам, всочившимся в окно, человек.

Сутулин не успел опустить ног с кровати, как посетитель вшагнул внутрь, тихо втиснул дверь в раму и, ткнувшись портфелем, торчавшим из-под обезьянедлинной руки, сначала об одну стенку, потом о другую, сказал:

– Вот именно: спичечная коробка.

– Что?

– Говорю, комната ваша: спичечная коробка. Сколько здесь?

– Восемь с десятыми.

– Вот-вот. Разрешите?

И Сутулин не успел рта раскрыть, как посетитель, присев на край кровати, спешно отстегнул свой туго набитый портфель. И продолжал, понизив голос почти до шепота:

– Имею дело. Видите ли: я, то есть мы производим, как бы сказать, – ну, опыты, что ли. Пока негласно. Не скрою: в деле заинтересована видная иностранная фирма. Вы хотите выключатель? Нет, не стоит: я только на минуту. Так вот: открыто – пока это тайна – средство для ращения комнат. Вот, не угодно ли.

И рука незнакомца, выдернувшись из портфеля, протягивала Сутулину узкий темный тюбик, напоминающий обыкновенные тюбики с красками, с плотно навинченной пломбированной головкой. Сутулин растерянно повертел скользкий тюбик в пальцах и, хотя в комнате было почти темно, различил на его этикетке четко оттиснувшееся слово: *Квадратурин*. Когда он поднял глаза, они наткнулись на неподвижный немигающий взгляд собеседника.

– Итак, берете? Цена? Помилуйте, gratis [35]. Только для рекламы. Разве вот, – и гость стал быстро перелистывать вынутую из того же портфеля конторского типа книжечку, – простая подпись в книге благодарностей (краткое изъявление, так сказать). Карандаш? Вот и карандаш. Где? Тут: графа III. В порядке.

И, захлопнув подпись, гость распрямился, круто повернул спину, шагнул к двери, – а через минуту Сутулин, щелкнув выключателем, рассматривал с недоуменно поднятыми бровями четко выпяченные буквы: Квадратурин.

После более внимательного обследования оказалось, что

---

[35] Здесь: пустое место *(лат.)*.

цинковый пакетик этот плотно обтянут снаружи, как это часто делается изготовителями патентованных средств, тонкой прозрачной бумагой, концы которой искусно вклеены друг в друга. Сутулин, сняв бумажный чехол Квадратурина, развернул свороченный трубочкой текст, проступавший сквозь прозрачный глянец бумаги, и начал читать:

> «СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ
>
> Разведя квадратуриновую эссенцию в пропорции чайная ложка на стакан воды, смочив получившимся раствором кусок ваты или просто чистую тряпочку, смазывают ею внутренние стены комнаты, предназначенные к разращиванию. Состав не оставляет никаких пятен, не портит обои и даже способствует – попутно – выведению клопов».

До сих пор Сутулин только недоумевал. Сейчас недоумение стало обрастать каким-то другим, тревожным и острым чувством. Он встал и попробовал зашагать из угла в угол, но углы жилклетки были слишком близко друг к другу: прогулка сводилась почти к одним поворотам, с носков на каблуки и обратно. И Сутулин, круто оборвав, сел и закрыл глаза, отдался мыслям, которые начинались: а что?.. а если?.. а вдруг?.. Слева в расстоянии аршина от уха кто-то вбивал в стену железный костыль, молоток, то и дело срываясь, бухал, казалось, метя Сутулину по голове. Стиснув виски руками, он раскрыл глаза: черный тюбик лежал посреди узкого столика, умудрившегося как-то втиснуться меж кроватью,

подоконником, стеной. Сутулин сорвал пломбу, и головка тюбика, винтообразно кружась, отскочила. Из открывшейся круглой щелочки потянуло горьковато-пряным запахом. Запах приятно растягивал ноздри.

– Ну-ну. Попробуем. Хотя.

И, сняв пиджак, обладатель Квадратурина приступил к эксперименту. Табурет был пододвинут к дверям, кровать выставлена на середину комнаты. На кровать взгромождён стол. Толкая вдоль половиц блюдце, в котором стеклилась прозрачная, с чуть желтоватым отливом жидкость, Сутулин полз вслед за блюдцем, систематически макал носовой платок, накрученный на карандаш, в Квадратурин и мазал им вдоль досок и обойного узора. Комнатка действительно, как сказал тот, сегодняшний, в спичечную коробку. Но Сутулин работал медленно и аккуратно, стараясь не оставлять непромазанным ни одного уголка. Это было довольно трудно, так как жидкость действительно мгновенно испарялась или впитывалась (он ничего не разбирал), не оставляя даже самого легкого налета, и только запах ее, все более острый и пряный, кружил голову, спутывал пальцы и заставлял чуть дрожать прижатые к полу колени. Когда с половицами и низом стен было покончено, Сутулин, поднявшись на странно ослабевающих и тяжелых ногах, продолжал работать стоя. Изредка приходилось подбавлять эссенции. Тюбик понемногу пустел. За окном была уже ночь. На кухне, справа, загремел болт. Квартира готовилась ко сну. Стараясь не шуметь, экс-

периментатор с остатками эссенции в руках взобрался на кровать, с кровати на шатающийся стол: оставалось выквадратуринить потолок. Но тут застучали кулаком в стену:

– Чего вы там. Люди спят, а он…

Обернувшись на звук, Сутулин сделал неловкое движение: склизский тюбик выпрыгнул из рук и упал вниз. Сутулин, осторожно балансируя, спустился с обсохшей кистью на пол, но было уже поздно. Тюбик был пуст, и вокруг него одуряюще благоухало быстро иссыхающее пятно. Хватаясь от усталости за стену (слева снова недовольно заворошились), он, напрягая последние усилия, расставил вещи по их местам и, не раздеваясь, бухнулся в кровать. Черный сон тотчас же упал на него сверху: и тюбик, и человек стали пусты.

# II

Два голоса начали шепотом. Затем по ступеням звучности – с piano на mf, с mf на f: ff – прорвало сон Сутулину.

– Безобразие. Мне чтоб этих жильцов из-под юбки… Крик разводить?!

– Не на помойку…

– Знать не знаю. Сказано вам: ни собак, ни котов, ни котов, ни детей… – и после этого последовало такое fff, что с Сутулина окончательно сшибло сон и он, все еще не раскрывая сшитых усталостью век, потянулся – привычным движением – к краю стола, на котором стояли часы. Тут-то и началось: рука долго тянулась, щупая воздух: ни часов, ни стола не было. Сутулин тотчас же раскрыл глаза. Через миг он сидел на кровати, растерянно оглядывая комнату. Стол, обычно стоявший тут, у изголовья, отодвинулся на середину какой-то полузнакомой, просторной, но нескладной комнаты.

Все вещи были те же: и коврик, затертый и куцый, выползший вслед за столом куда-то вперед, и фотографии, и табурет, и желтые узоры на обоях, – но все это было расставлено непривычно широко внутри растянувшегося комнатного куба.

«Квадратурин, – подумал Сутулин, – вот это сила».

И тотчас же стал приспособлять мебель к новому пространству. Но ничего не получалось: коротенький коврик,

пододвинутый назад, к ножкам кровати, обнажал истертые голые половицы; стол и табурет, притиснувшиеся по привычке к изголовью, освобождали пустой пропаутиненный угол с выставившейся наружу всякого рода рванью, прежде искусно маскированной тесными углами и тенью стола. Когда Сутулин с торжествующей, но чуть испуганной улыбкой обходил, тщательно всматриваясь во всякую мелочь, свою новую, чуть не в квадрат возведенную квадратуру, – он с неудовольствием заметил, что комната разрослась не совсем равномерно: наружный угол, затупившись, гнал стенку куда-то вкось; у внутренних углов Квадратурин работал, очевидно, слабее; как ни тщательно проделал Сутулин смазку, опыт давал несколько неравные результаты.

Квартира понемногу просыпалась. Мимо дверей шмыгали люди. Хлопала дверь умывальной. Сутулин подошел к порогу и повернул ключ направо. Затем, сунув руки за спину, попробовал зашагать из угла в угол: вышло. Сутулин радостно засмеялся. Ну вот, наконец. Но тотчас же подумал: шаги могут услышать – там за стенами – справа, слева, сзади. Постояв с минуту без движенья, он быстро нагнулся, – в виске вдруг заныла вчерашняя острая тонкая боль, – и, сняв штиблеты, отдался удовольствию прогулки, беззвучно шагая в одних носках.

– Можно?

Голос хозяйки. Он было подошел к двери и взялся за ключ, но тотчас же вспомнил: нельзя.

– Одеваюсь. Погодите. Сейчас выйду.

«Все хорошо, но осложняет. Скажем, буду запирать и ключ с собой. Ну а замочная скважина? А после вот окно: надо занавесить. Сегодня же». Боль в виске утоньшилась и стала тягучей. Сутулин поспешно собирал бумаги. Пора на службу. Оделся. Вдвинул боль в картуз. Послушал у двери: будто и никого. Быстро открыл. Быстро вышел. Быстро защелкнул ключом. Так.

В прихожей терпеливо дожидалась хозяйка.

– Я хотела с вами об этой, как ее. Представьте, подала заявление в домком, что у нее…

– Слышал. Дальше.

– Вам ничего. От восьми квадратных метров не оторвешь. Но вы войдите в мое…

– Спешу, – качнулся картузом, и по ступенькам.

# III

Возвращаясь со службы, Сутулин остановился у витрины мебельщика: длинная выгибь дивана, раздвижной круглый стол… хорошо бы – но как их внесешь мимо глаз и расспросов? Догадаются, не смогут не догадаться…

Пришлось ограничиться покупкой метра канареечно-желтой ткани (все же занавеска). В столовую он не заходил: аппетит исчез. Нужно скорей к себе – там все это легче: не спеша обдумать, оглядеться и приладить. Вдвинув ключ в дверь своей комнаты, Сутулин посмотрел по сторонам, – нет ли подгляда: нет. Вшагнул. Дал огонь и долго стоял, распластав руки по стене, с сумбурно бьющимся сердцем: *этого он не предвидел* – никак.

Квадратурин *продолжал* делать свое дело. За восемь-девять часов, пока хозяин был вне, он успел раздвинуть стены на добрую сажень; вытянутые невидимыми тяжами половицы зазвенели от первого же шага, как органные трубы. Вся комната, растянутая и уродливо развороченная, начинала пугать и мучить. Не раздеваясь, Сутулин присел на табурет и оглядывал свой просторный и вместе с тем давящий сверху гробовидный жильевой короб, стараясь понять причину нежданного эффекта. Тут он вспомнил, – ведь потолок остался несмазанным: эссенции не хватило. Жилкороб расползался только вбок и вдоль, ни на дюйм не подымаясь

кверху.

«Остановись. Надо остановить эту квадратуринью штуку. Или я…» Он зажал ладонями виски и слушал, как едкая боль, еще с утра забравшаяся под череп, продолжала вращать сверло. Хотя окна в доме напротив были черны, Сутулин закрылся от них желтым платом занавесок. Голова все не унималась. Он тихо разделся, защелкнул свет и лег. Сначала был короткий сон, потом разбудило чувство какой-то неловкости. Подоткнув плотнее одеяло, Сутулин заснул опять, и снова то же неприятное ощущение безопорности впуталось в сон. Он поднялся на ладони и свободной рукой провел вокруг себя: стены не было. Чиркнула спичка. Ну да: он дунул на огонек и охватил руками колени, так что локти чуть хрустнули. «Растет, проклятая, растет». Стиснув зубы, Сутулин сполз с кровати и, стараясь не шуметь, осторожно придвинул сначала передние, потом задние ножки кровати вслед уползающей стене. Слегка знобило. Не зажигая больше света, он пошел искать в углу на гвозде пальто, чтобы укрыться теплее. Но на стене крюка на вчерашнем месте не было, и несколько секунд нужно было шарить по стене, пока руки не наткнулись на мех. После этого дважды в ночь, длинную и тягучую, как боль в виске, Сутулин прижимался головой и коленями к стене, засыпая, и, проснувшись, снова возился у ножек кровати. Проделывая это механически беззлобно и мертво, он, хотя вокруг еще было темно, старался не раскрывать глаз: так лучше.

# IV

Когда к следующим сумеркам, отслужив свой день, Сутулин подходил к порогу своей комнаты, он не торопил шагов и, войдя, не испытал ни изумления, ни ужаса. Когда зажглась, где-то там, далеко под низким длинным сводом, тусклая шестнадцатисвечная лампочка, желтым лучам которой трудно было и дотянуться до черных, врозь расползшихся углов огромной и мертвой, но пустой казармы, которая еще недавно, до Квадратурина, была такой тесной, но такой своей, обжитой и теплой крохотушей, – он покорно пошел навстречу желтому, умаленному перспективой квадрату окна, пробуя сосчитать шаги. Оттуда с жалко и трусливо затиснувшейся в приоконный угол кровати он смотрел тупо и устало сквозь глубоко всверлившуюся боль на качание теней, приникнувших к половицам, на низкую и гладкую навись потолка. «Вот – вытеснится этакое из тюбика, расквадратится: квадрат в квадрат, квадрат квадратов в квадрат. Надо думать в обгон: если его не передумаешь, перерастет оно и…» И вдруг в дверь гулко ударили кулаком:

– Гражданин Сутулин, вы дома?

И оттуда же издалека приглушенный и еле слышный голос хозяйки:

– Дома. Спит, верно.

Сутулина обдало потом: «А вдруг не успею дойти – и они

раньше…» И, стараясь беззвучно ступать (пусть думают, что спит), он долго шел сквозь темноту к двери. Вот.

– Кто?

– Да откройте, что вы там заперлись. Комиссия по перемеру. Перемерим и уйдем.

Сутулин стоял, припав ухом к двери. Там, за тонкой доской, топотали тяжелые сапоги. Произносились какие-то цифры и номера комнат.

– Теперь сюда. Откройте.

Одной рукой Сутулин охватил головку штепселя, стараясь скрутить его, как скручивают голову птице: штепсель брызнул светом, затем кракнул, бессильно завертелся и обвис. В дверь снова ударили кулаком:

– Ну.

Тогда Сутулин повернул ключ влево. В раму двери вдвинулась черная широкая фигура.

– Зажгите свет.

– Перегорела.

И, цепляясь левой рукой за дверную ручку, правой – за жгут провода, он пытался заслонить расползшееся пространство. Черная масса отшагнула назад.

– У кого там спички? Дай-ка коробок. Посмотрим все-таки. Для порядку.

И вдруг запричитала хозяйка:

– Да что смотреть-то там? Восемь аршин по восьми раз смотреть. Оттого что меряете, небось не прибавится. Чело-

век тихий, после службы прилег – отдохнуть не дадут: мерить да перемеривать. Вот другие, которые и права-то на площадь не имеют, а…

– Оно и впрямь, – пробурчала черная масса и, качнувшись с сапожища на сапожище, осторожно и даже почти ласково втянула дверь в свет. Сутулин остался один на подгибающихся ватных ногах среди четырехуглой, ежесекундно растущей и расползающейся тьмы.

# V

Выждав, когда шаги угомонились, он быстро оделся и вышел на улицу. Еще опять придут, по перемеру, недомеру или мало там кто. Лучше додумать здесь – от перекрестка к перекрестку. К ночи поднялся ветер: он тряс голыми иззябшими ветвями деревьев, раскачивал тени, гудел в проводах и бился о стены, будто пробуя их свалить. Пряча изострившуюся боль в виске от ударов ветра, Сутулин шел, то ныряя в тень, то окунаясь в светы фонарей. Вдруг что-то тихо и нежно, сквозь грубые толчки ветра, коснулось локтя. Обернулся. Под бьющими о черные края перьями знакомое, с задорно прищуренными глазами лицо. И еле слышимо сквозь гудящий воздух:

– Да узнайте-ка же вы меня. Смотрит мимо. И поклонитесь. Вот так.

Легкая фигура, запрокинутая ветром, стоя на цепких и острых каблучках, вся выражала неподчинение и готовность к борьбе.

Сутулин наклонился козырьком картуза книзу:

– Но ведь вы должны были уехать. И здесь? Значит, помешало что-то…

– Да – вот это.

И он почувствовал, как замшевый палец тронул ему грудь и тотчас же назад, в муфту. Он отыскал под пляской черных

перьев узкие зрачки, и показалось, что еще взгляд, еще одно касание, удар по горячему виску, и *то* отдумается, отвеется и отпадет. В то время она, близя лицо к лицу, сказала:

– Пойдем к вам. Как тогда. Помнишь?

И тотчас все оборвалось.

– Ко мне нельзя.

Она отыскала отдернувшуюся руку и цепко держалась за нее замшевыми пальцами.

– У меня… нехорошо, – ронял он в сторону, снова отдернув и руки, и зрачки.

– Вы хотите сказать: тесно. Боже, какой смешной. Чем теснее… – ветер оторвал конец фразе. Сутулин не отвечал. – Или, может быть, вы не…

Дойдя до поворота, он оглянулся: женщина продолжала стоять, прижав муфту к груди, как щит; узкие плечи ее свело зябью; ветер цинично трепал ей юбку и задирал полы пальто. «Завтра. Все завтра. А сейчас…» И, частя шаги, Сутулин решительно повернул назад.

«Именно сейчас: пока все спят. Собрать вещи (самое необходимое) и уйти. Бежать. Дверь настежь, пусть и они. Почему одному мне? Пусть и они».

Действительно, квартира была сонной и темной. Пройдя по коридору – прямо и направо, Сутулин решительно открыл дверь и, как всегда, хотел повернуть выключатель, находившийся у входа, но тот, бессильно завертевшись в пальцах, напомнил, что ток прерван. Это было досадным препятстви-

ем. Делать нечего; порывшись в карманах, Сутулин отыскал коробку спичек: она была почти пуста. Значит, три-четыре вспышки – и все. Надо экономить и свет, и время. Дойдя до вешалки, он чиркнул первый раз: свет пополз желтыми радиусами сквозь черный воздух. Сутулин нарочно, преодолевая искушение, сосредоточился на освещенном клочке стены и свесившихся с крючьев пиджаках и френчах. Он знал, что там, за спиной, расползшееся черными углами мертвое оквадратуриненное пространство. Знал и не оглядывался. В левой руке дотлевала спичка, правая сдергивала с крючьев и швыряла на пол. Понадобилась еще вспышка; глядя в пол, он направился в тот угол, – если он еще угол и если еще там, – куда, по его расчету, должна была сползти кровать, но нечаянно огонек попал под дыханье, – и черная пустыня сомкнулась вновь. Оставалась последняя спичка: он чиркнул ею раз и другой: огня не получалось. Еще раз – и шуршащая головка ее, отвалившись, выскользнула из пальцев. Тогда, повернувшись, боясь идти дальше вглубь, человек двинулся назад к узлу, брошенному под крючьями. Но поворот был сделан, очевидно, неточно. Он шел – шаг к шагу, шаг к шагу – с пальцами, протянутыми вперед, и не находил ничего: ни узла, ни крючьев, ни даже стен. «Дойду же наконец. Должен же дойти». Тело облипло холодом и потом. Ноги странно выгибались. Человек присел на корточки, ладонями в доски пола: «Не надо было возвращаться. А так – одному, как стоишь, начисто». И вдруг ударило: «Жду тут, а она растет, жду, а

она…»

Жильцы квадратур, прилегавших к восьми квадратным гражданина Сутулина, со сна и со страху не разбирались в тембре и интонации крика, разбудившего их среди ночи и заставившего сбежаться к порогу сутулинской клетки: кричать в пустыне заблудившемуся и погибающему и бесполезно, и поздно: но если все же – вопреки смыслам – он кричит, то, наверное, *так*.

# Собиратель щелей

## I

Сказка лежала, блестя непросохшими буквами, на письменном столе, рядом с чернильницей. Когда я, тронув кой-где пером, стал сворачивать рукопись, мне показалось, будто самые буквы ее норовят вон из строк: скорее в зрачки.

Но час был полуденный. Чтение же назначено к девяти. Солнце не любит фантазмов, а вот лампы, те иной раз и не прочь, внимательно наставив абажуры, прослушать сказку-другую.

Итак, буквам приходилось дожидаться сумерек.

Скудная авторская радость была наперед слажена и обеспечена: сказку ждала тихая, с грустными городскими цветами на окнах, комната; в комнате дюжина благожелателей. И вдруг (кто бы мог ждать) встреча с человеком, перечеркнувшим фантазм.

Произошла встреча тотчас же после последней правки текста. Близился час обеда. Оставив рукопись на столе, я оделся и вышел на улицу. Но я не сделал и сотни шагов, как внимание мое было привлечено высокой, будто застывшей фигурой человека, прислонившегося к фонарному столбу: человек стоял против белого с золотым обводом цифербла-

та, кругляющегося с куска жести, привешенного над дверью часового магазина, и пристально всматривался в две намалеванные черные стрелки, ткнувшиеся в римские цифры диска. Сначала я было прошел мимо. Затем оглянулся: незнакомец, не меняя позы, все еще стоял, подняв чуть прищуренные глаза к нарисованным цифрам. Взглянул и я: на вывеске – двадцать семь второго.

И тщательно бритое лицо незнакомца, и его тщательно чищенное платье – заношены и блеклы: платье – в складках, лицо – в морщинах. Люди, сталкивая друг друга локтями с тротуарных лент, растыкав глаза по витринам, плакатам, афишным столбам, а то и с зрачками в носки своих сапог, не замечали созерцателя.

Лишь я да мальчишка с лотком на ремне оценили феномен. Между тем созерцатель, отвернув полу пальто, вынул карманные часы и, медленно переводя глаза с крохотного диска, зажатого в руке, на намалеванный диск вывески, ставил свои часы по нарисованному времени. Мальчишка загоготал. Я, отвернувшись, продолжал путь. Навстречу, меж вывесочных квадратов, овалов и прямоугольников, снова прокруглился белый циферблат. Не имею обыкновения смотреть на вывески, но сейчас взглянул: на диске две черных неподвижных стрелы; под остриями стрел – цифры: двадцать семь второго. Тут-то и вошло в меня какое-то недоброе смутное предчувствие. Я ускорил шаг, но теперь зрачки мои сами рылись среди кусков крашеной жести, ища диски

и цифры. Новый диск отыскался у поворота в темный переулок: две его черных стрелы, повиснув над переулочной щелью, спрятались в черную тень многооконной каменной громады дома, но и сквозь тень обозначалось – двадцать семь второго. Я остановился с поднятой к цифрам головой: мне казалось, стрелки должны двинуться, сойти с фатальных делений. Но на нарисованном циферблате ничто не шевелилось; мутно мерцал узкий золотой обод, а черные стрелы, будто отыскав нужное, притиснули острия к краям диска и стали – навсегда.

Вокруг шуршали шины, стучали подошвы. До полудюжины локтей ткнулось в меня. Тяжелый куль пнул в плечо; я оторвал глаза от диска: какой-то малец, с лотком на ремне, в рваном картузишке, осклабясь, вогнал в меня глаза. Оставалось идти дальше.

Вечерело, когда я вернулся к рукописи. Буквы на нумерованных страницах присмирели и черными скрюченными уродцами глядели со строк. Я сунул их в карман: стрелка часов подползала к девяти.

# II

Все сели кругом. Молчание. Слово предоставлялось рукописи. Придвинувшись к лампе, я начал: «*Собиратель щелей.* Сказка. Это было в…» – в прихожей дернулся жестяным всхлипом звонок. Я оборвал. Хозяин прошел на цыпочках в переднюю. Через минуту лицо его, несколько смущенное, показалось в дверях: рядом с ним, в наглухо застегнутом длинном сюртуке, стоял, не глядя ни на кого, *тот*, встреченный у уличного циферблата человек. Нежданный гость, все не подымая глаз, сделал общий учтивый поклон и молча уселся в углу, у порога. Хозяин зашептал мне: «Он не помешает. Это так – чудак. Математик, философ».

Я опустил глаза к рукописи (настроение пропало) и начал снова:

«Собиратель щелей. Сказка. Это было в стране, самое имя которой давно забыто. Вдали от мощенных камнями дорог и мшистых троп, за вязью ветвей, в чаще старого глухого леса жил в давным-давнее время дряхлый Отшельник…»

И дальше, после обычного сказочного приступа, рассказывалось о благости Отшельника: как лечил он лесу сломанные ветром ветви и стебли, мятые-рваные звериным топом – травы; как кормил-поил сирот – птенцов в покинутом сорокопутом гнезде; как научил повилику кружить не как попало, а вверх и вверх в небо, где у Бога рай; как наказывал ма-

лым, бедным разумом цветикам, перед смежением лепестков ко сну, Богу маливаться; как понуждал иссохшие травы свершать поутру росную жертву, вознося на остриях к Богу – кому по капле, кому по полукапле (малым былинкам – по водной пылинке): всякому по достатку его.

– И за малую влажь вашу, – проповедовал Отшельник, подымая триперстие, чтобы благословить и травы и росы, и мхи и корни, и птичьи стаи и мушьи рои, – напоит вас Господь щедрым дождем: будете чисты и безжадны. И было по слову Его.

Сам Господь улыбался с небес речам Старца.

Однажды глухою ночью, когда и гады, и птицы, и дубы, и травинки крепко спали, – продолжала сказка, – Господь, покинув небо, пришел к Старцу, под низкий навес шалаша:

– Проси: жизни ли райской, богатств ли и царств земных – все дастся тебе.

И ответствовал Старец:

– Просить ли мне о рае, Господи: не по милости, но по правому Суду Твоему отверзаются врата раевы. Просить ли богатств и царств мира: разве не ношу в глазах моих весь мир Твой, от солнц до солнц. И пристало ли мне искать сует людских: разве не ушел я от путей и троп. Но об одном молю, Господи: даруй мне власть над всеми, большими и малыми *щелями*, вщеленными в вещи. Да научу и их правде.

Улыбнулся Господь: будет по слову твоему.

Прошли чередой – утро, полдень, предвечерие. В пред-

вечерии, когда солнце ушло, встал Старец среди глухой поляны лесной и воззвал к щелям. И щели, позванные тихим словом, повыдергивались и повытянулись из всех вещей, где какая ни была, и все – малые и большие, широкие и узкие, извилинные и прямые – стали сползаться на поляну пред очи Старца.

Ползли: и длинная щель, точащая камень скал; и малые витые щелочки, выерзнувшие из стен, скрипучих половиц, рассевшихся печей; и гигантские зеленотелые щелины с иссохшего и растрескавшегося лунного диска; и махонькие щелочки, выдернувшиеся из скрипичных дек. И когда сползлись, стал их Старец учить:

– Худо быть Божьему миру не целу. Вы, щели, раскол вщелили в вещи.

А отчего? Оттого, что тела свои щелиные растите, извивы свои холите и ширите. Длиннитесь, трещинкой малой возникните, ан глядь, она уж и щелью вается. А там и в расселину расползлась. И гибнет от вас единство и братское слияние вещи с вещью. Расседается камень. Горы, точимые вами, рушатся. В полях отнимаете дождную влагу у слабого корня. Точите плод. Дерева дуплите. Смиритесь, сестры щели, умерщвляйте плоть свою. Ибо что она: пустоты извитие. Только.

И щели, разлегшись на росинах трав, внимали проповеданию. Обычно, отмолвив, Старец благословлял их всех дрожащим триперстием и дозволял ползти назад, по своим до-

мам. Выгибая пустоты, тихо расползались щели и вщелялись снова, кому где зиять назначено: скальная трещина в скалу, печные щели в печи, лунный зигзаг в лунный диск. Так и повелось: каждый день, о повечерии, быть миру безщельну: целу. И тот час был часом тишины и покоя великих: даже черепные швы, запрятанные под кожу людских голов, и те – выщелившись из кости, уползали к Старцу: головы переставали расти, и люди хоть час-другой могли отдохнуть от ростов мысли. И никто и нигде из вщеленных не посмел не внять зову: однажды приволоклось даже, увязая в лесоствольe, и горное ущелье, но Старец на него только рукой замахал – ползи, незваное, ползи назад, Христос с тобою.

И ущелье, огорченное, уползло назад, в кряж. Но, говорят, в эту ночь в одной из горных теснин скалы, внезапно сомкнувшись, расплющили лепившуюся у их внутренних срывов деревушку.

Правда, часом спустя, скалы снова чудесно раздались, но внутри были лишь развалины да трупы.

На минуту я оторвал глаза от строк: человек в углу слушал, охватив колено костистыми длиннопалыми руками.

– Старец отпускал щели, – продолжала сказка, – загодя, до зари. Но однажды, уча истово, не унял слов во благовремении. Прокричал петух. Прокричал еще раз. А Старец все учил. И лишь когда предзорье проступило алыми знаками над овидью земли, поднял Старец триперстие для благословения.

Но было уже поздно: разгоралась заря, там-здесь, тут-там по дорогам и тропам застучало колесом и ободом, конским топом и человечьим шагом. Щели проворно уползали, водя пустыми изгибами изо всех сил, по дорогам, тропам и бездорожью. Но там, глядь, одну щель переедет тяжким ободом, там другую прищемит подошвой. И иные, не доползши до своих пределов, стали вщеляться кто куда и как попало: горная расщелина лезла в скрипичную деку, дековая щелина пряталась в черепную кость прохожему. Дальше всех было лунным зигзагам: поняв, что не доползти, толкались туда-сюда, зарождая панику. Иные же щели, окруженные колесным гулом и топотом шагов, сбивались в большие щелиные рои и тут же, на дорогах, вонзались в землю: внезапно разверзлись провалы; люди, кони, телеги с разбегу и расскоку срывались в ямы. Щелиные рои, испуганные грохотом и толчками сверху, вползали глубже и глубже, – и земля смыкалась над людьми и их скарбом. Людская паника множила щелиные страхи; щелиный ужас множил беды людям. И был тот день ущербен и горестен для земли. Старцу и сквозь листные стены и ветвную вязь внятны были стоны и грохоты, проклятия и мольбы, всколебавшие землю: подняв руку с вытянутыми к небу пальцами, он воззвал: эй, Господи, слышишь ли? Вот рука, возьми меня и введи, как хотел, в Твой пресветлый рай: ибо отныне постыла мне земля.

Долго ждали пальцы, протянувшись в небо: не дождавшись, упали вниз и сжались в кулак. Оглянулся Отшельник

и видит: теперь он лесу не друг – цветы, встречая его взгляд, брезгливо смыкают лепестковые веки, столетние дубы отворачиваются, злобно ворочаясь на толстых узловатых корнях. Глаз Старца отыскал тропу, тропа отыскала проселок, проселок повел на битую дорогу. И великий святой стал великим грешником, богохульцем и блудодеем.

Я сложил тетрадь и повел глазами по стенкам: вокруг были рты, приоткрытые и растянутые улыбками в длинные узкие щели. Из щелей выдавливалось:

– Недурно.

– Очень мило.

– Только вот конец у вас – того… смят.

– Кстати, тут есть один штрих…

Высвободив взгляд из роя глаз, я глянул в угол у двери – человек в наглухо застегнутом сюртуке молчал.

Сцепленные костистые руки не выпускали колена; рот будто слипся.

Мне было чуть не по себе:

– Однако не пора ли нам?

Человек, молчавший в углу у двери, расцепив руки, поднялся во весь свой высокий рост и отчеканил сухим негромким голосом:

– Двадцать семь второго.

Затем, учтиво мне поклонившись, повернулся к двери и исчез за порогом.

– Так поздно? Не может быть.

Десятки пальцев зашарили в жилетных карманах: да, действительно.

– До свиданья.

– Прощайте.

Иные еще улыбались. Другие уже зевали.

# III

– Мне налево. И вам?

– Нет.

Я вышел на прямую линию бульвара и тихо шагал меж длинного ряда теней, снятых лунным лучом с древесных крон и аккуратно уложенных им вдоль по песку аллеи. Бульвар был безлюден. Скамьи пусты. Но вдруг со скамьи слева прочернел чей-то длинный и тонкий силуэт; силуэт был будто знаком, – нога за ногу, колено, схваченное руками, лицо затенено широкополым фетром, надвинутым на лоб. Да, это он.

Я замедлил шаги.

– Поджидаю вас здесь.

Не меняя позы, он лишь нервным движением плеча указал на скамью. Я сел рядом. С минуту длилось молчание.

– Скажите, – начал он вдруг, внезапно распрямляясь и близя лицо к лицу, – среди щелей, сползавшихся к Старцу, была ли и та неистребимая щель, что всегда меж «я» и «я»? Вот – сейчас сидим рядом: от головы до головы аршин… а может быть, и миллионы миль? Не правда ли? Кстати, – незнакомец приподнял шляпу, – меня зовут – Лёвеникс, Gotfrid Lцvenix, – ударил он по слогам, будто стараясь мне что-то напомнить.

Мы крепко пожали друг другу руки.

– Ну вот. К делу: подзаголовок «Собирателя щелей», – начал он, снова складываясь в привычную позу (нога на ногу, колено в ладони, острые углы плеч кверху), – «сказка», не так ли?

– Да.

– Гм. Я думаю: если бы в сонм снов явилась явь, – они, сны, приняли бы ее *как свою*. По-вашему, «сказка», а по-моему, – протокол. Научный факт. Правда, понятия ваши спутаны и даны не в точных словах. Но спутанность – не фантазм. Фантазм (я не поэт, мне трудно судить) легче делать из цифр, чем из туманов. Вам, должно быть, неинтересно?

– Напротив.

– Primo: ошибка в эмоции; *этому* не улыбаются: улыбкой вы как щелью отрезали себя от темы о щелях. Вам мнится, будто темой играете *вы*, будто *она* в расщепе пера, – но на самом деле, стоит лишь вдуматься, не вы темой, тема играет и вами, и мной… и все вот *это* (он описал рукою круг, – прокружив за рукою глазами, я увидел сперва землю у ног, потом верхушки деревьев, потом россыпь звезд вверху, а там скаты кровель и снова землю у ног), – да, все это, я утверждаю, ущемлено пустой щелью. Да-да. «Тема о щелях»: да знаете ли вы, что у ее дна? Вы вот боитесь покинуть пространство. Так принято – говорить о щелях в доске, в почве там, и так далее. Но если б властью хотя бы фантазии, что ли (не этим ли жива поэзия), вы попробовали пересадить ваши щели из дюймов в секунды, из пространств во время, то вы

увидали бы…

– Мне не совсем понятно, – пробормотал я.

– Совсем понять – тут и нельзя, – грубо оборвал Готфрид Лёвеникс, – может, и лучше – *недопонять*. Кстати, давно ли вы начали думать об этом?

– Не помню. Тема, собственно, так, случайно, подвернулась под перо. Месяца два, может, три тому назад.

Лёвеникс улыбнулся.

– Ага. Ну а я вот уж тринадцатый год не покидаю моего щелиного царства. У меня не от сказок пошло – нет. Тринадцать лет тому назад, во время первых моих опытов по психофизиологии зрительного процесса, я наткнулся на вопрос о прерывности нашего видения.

Как бы ввести вас в суть: например, вы в авто; взрывы бензина внутри моторного цилиндра – прерывисты, толчками бьют о поршень. Это внутри. Снаружи же – непрерывное плавное кружение колес. Есть, как бы сказать, известная видимость видения: человеку с обнаженным зрачком мнится, что фиксируемая им вещь непрерывно, во все доли доль секунды, – как бы связана с зрачком не рвущимся ни на миг лучом. Однако я усомнился в этом. Искровая вспышка электрической машины длится всего одну пятидесятитысячную секунды. Но удерживается в глазу в течение одной седьмой секунды. Таким образом, семь кратких мельков искр, отделенных друг от друга паузами почти в седьмую долю секунды, будут восприняты глазом как непрерывное, секунду для-

щееся горение искры. Но ведь подлинное-то ее горение в данном случае отняло лишь семь пятидесятитысячных секунды.

То есть 49993/50000 длительности опыта – была тьма, воспринятая как свет. Поняли? Растяните теперь: секунду в минуту, минуту в час, час в год, в век, взрастите искру в солнце, – и окажется: можно убрать солнце с орбиты на девяносто девять сотых дня, и мы, живущие под солнцем, *не заметим* этого, понимаете, не заметим и, брошенные в тьму, будем радоваться мнимому солнцу и мнимому дню. Вам скучно?

– Нет.

– Мысль моя оперлась на опыты. Собственно, опыты были сделаны до меня: самый факт толчкообразности видения, прерывистости восприятия, скажем, кинофильмы, продергивающейся перед глазом, достаточно известен. Но стать перед фактом – мало: надо уметь *войти в факт*. Меж мгновениями, когда лента, сняв с ретины одно изображение, продергивается, с тем чтобы дать другое, вклинен миг, когда у глаза все уже отнято и ничего еще не дано: в этот миг глаз перед пустотой, но он *видит* ее: видение мнится ему видением.

Я не спешил с обобщениями. Меж лучом киноаппарата и глазом перпендикулярно к лучу так называемый обтюператор: это равномерно вращающийся диск с узкой щелью у одного из своих краев; поворачиваясь к лучу то глухим сек-

тором, то щелью, обтюператор попеременно то рвет, то сращивает луч. При помощи особого дифференциального регулятора можно замедлять число оборотов диска, длиння этим паузу меж двумя мельками света. Я так и сделал; экспериментируя в лаборатории над группой молодежи, я изредка чуть удлиннял световые паузы: но ни экспериментируемые, ни я сам не заметили в жизни серых фигур, сдвигавшихся на экране, ничего, что бы прервало, хотя бы на миг, их серое и плоское бытие.

Осмелев, я удлиннил в двух-трех местах свои черные вставки; никто их не приметил, кроме меня.

Понятно: управляя обтюператором, я точно знал, где и когда их ждать. Мало того, экспериментируемые (несколько студентов и студенток физического семинария) вообще не знали, чего от них хотят. Но ведь и мы все, над которыми ежедневно экспериментируют с солнцем, в сущности, тоже не знаем: чего от нас хотят?

Ободряемый успехом, я расширил черные щели вдвое. Для большинства и это прошло незаметно, но два-три человека уже заговорили о каком-то черном мелькании, один сказал о «перебоях в образах», другой – о «черной подмеси к ровному свету аппарата». Но удивил меня только один, чрезвычайно скромного облика блеклолицый и узкоплечий студент: «Правда, – согласился он, – и я заметил перебои. Но разве этого не бывает вообще, в жизни?» Товарищи улыбнулись. Смутившись, он замолчал. Дня через два случайная

встреча с узкоплечим дала мне возможность расспросить его подробнее. Конфузясь и путаясь, будто изловленный на какой-то недоброй тайне, он сказал, что еще в детстве дважды испытал чувство как бы полного выпадения мира из глаз. Правда, оба раза на ничтожную долю времени. Происходило это при ясном свете дня и непрерывности сознания, так что к разряду мгновенных обмороков это не относилось (студент оказался медиком). При расспросе моем – посещает ли его этот феномен и сейчас – студент отвечал: да, но не в полном своем проявлении: вещи лишь тускнеют, отодвигаются от глаза дальше и дальше, обращаются в крохотные пятнышки и точки, а после, опять разбухая, делаются четче и ярче и возвращаются на прежние места. И только.

Разговор этот, не дававший права на определенные выводы, помню, все же до странности взволновал меня. Гипотезы громоздились на гипотезы: если меж систолой и диастолой сердца вклиняется пауза, думал я, то отчего бы не быть и солнечным паузам. И я начал мою вот уж двенадцать лет длящуюся, ни на единый день, нет, миг, не прерываемую слежку за Солнцем; я усомнился, понимаете ли, усомнился в этом желтом диске, врезанном в лазурь. Теперь все знают: солнце в черных пятнах. Но многим ли открыто: само оно лишь черное пятно, черными лучами бьющее по планетам. Мне случалось и раньше замечать, иной раз среди яркого полдня, как бы момент ночи, вдруг выставившейся черным телом своим в день. Испытали ли вы хоть раз это жутко сладкое чувство?

Лучи от солнца к земле, будто вдетые в колки струны, натягиваются все сильнее и сильнее, тончатся и ярчатся, и вдруг оборвались: тьма. На миг. А там – все как было. Опять лучи, лазурь и земля.

Ночь ведь и днем *никуда* не уходит: разорванная на мириады теней, она таится здесь же, в дне: приподнимите с земли лист лопуха, и черный обрывок ночи тотчас же юрко метнется под корень. Всюду: под сводами, у стен, под листвою деревьев ждет разорванная на черные клочья ночь. И когда солнце устанет, отовсюду – из-под листвы, каменных нависей стен, склонов гор – осторожно выползают черные лоскутья и снова срастаются в тьму. И как можно и в сиянии полдня выследить и изловить глазом и чу́тью вот эту чисто оптическую ночь, ждущую лишь знака, чтобы из тайной стать явной, так и иная ночь, – ночь, я бы сказал, онтологическая не покидает души и вещи. Ни на миг. Но это уже философия: в те годы я еще боялся обобщений. Для мысли моей порог, отделивший лабораторию от мира, был еще слишком высок.

Я все возился с цифрами, с вгибами и выгибами оптических чечевиц, офтальмоскопом, цветосмешивающими дисками Геринга и скучной шарманкой фильм. И если бы не один случай… – рассказчик чуть слышно хрустнул пальцами, – да, если бы не он…

Лёвеникс вдруг насторожился: на крытой лунным бликом аллее бульвара внезапно возникли двое; они шли молча, устало и покорно ступая вслед своим черным теням, полз-

шим впереди них по песку аллеи.

– Ведомые тенями, – прошептал Лёвеникс и продолжал: – Тогда я… любил. Теперь не умею. Но тогда… четко помню тот прозрачный безветренный осенний день, когда я, меж тронутых золотом и багрянцем лип, шел к назначенному месту у скрещения аллей. Встреча была условлена в половине второго. Я торопился, боясь упустить хотя бы миг. Оставался один поворот. У поворота, шагах в десяти передо мной, сквозистая, но длинная и раскидистая, поперек всей аллеи, тень липы. С чрезвычайной ясностью помню и сейчас тот миг: я был весь, насквозь и сплошь, – любовь. До тени десять-пять-три шага: я наступил на нее, и вдруг произошло нечто чудовищное: тень, будто разбуженная ударом подошвы, качнулась, мгновенно густясь в черный ком, и поползла, разворачиваясь с невероятной быстротой – вверх, вперед, вправо, влево, вниз. Миг, и все кануло в тень: аллея, деревья, лазурь, солнце, мир, «я». Ничто. Потом – миг – и опять желтая лента песка; на песке малая и скудная тень, с боков – шпалеры деревьев, сверху – лазурь. В лазури – диск. Изникнув, все возникло вновь и было, как до мига, но *чего-то* не было. Я ясно ощущал: что-то осталось там: в ничто.

Механически я сделал шаг вперед. Сделав шаг, подумал: куда? Вспомнил: не сразу и с усилием. И вдруг стало ясно, чего нет. В сердце было до странности пусто и легко. Я вспомнил «ее» всю, от вибрации голоса до дрожи ресниц, мысленно увидел ее, ждущую там, за поворотом аллеи, и не

мог понять, зачем мне она: чужая; ненужная, как все. Да, черная щель, сомкнувшись, возвратила все, кроме *одного*: оторванное от сердца, брошенное в ночь, вместе с солнцами и землями, оно не нашло пути назад; солнце в лазури, как и до мига, земля на орбите, как и до мига, а этого – нет: щелью втянуло.

Странная слабость овладела мной: шумело в ушах; подкашивались ноги; я сел на ближайшую скамью. Машинально вынул часы, двадцать семь второго.

До условленного часа – три минуты. Преодолевая слабость, я поднялся и автоматически зашагал к воротам парка. Мое «я» стало будто нежилым: идя меж шеренг домов, я механически останавливался у пестроты витрин, всматриваясь в какие-то вещи, совершенно мне ненужные и неинтересные, складывал в слова аршинные буквы афиш и не понимал их. Простоял довольно долго у какого-то пропыленного и облезлого мелкобуквого объявления, читая, тотчас забывая прочитанное, с тем чтобы опять начать чтение сначала. Случайно на глаза мне попался какой-то вывесочный циферблат, глянув на его будто застрявшие в цифрах стрелки, я хотел пройти мимо, но стрелки не отпускали глаз; сделал усилие, пробуя оторвать зрачки, и вдруг осознал: нарисованное время указывало – двадцать семь минут второго: мой час.

И с тех пор циферблаты стали мучить меня. Обыкновенно, стараясь забыться, я прибегал к быстрой ходьбе по полным гула улицам. Попробовал и теперь, но нет; стоило мне

выйти на панель – и отовсюду круглились циферблаты, десятки мертвых циферблатов; и почти на каждом – двадцать семь минут второго. Пробовал не смотреть, но черные стрелы, внутри синих – черных – золотых обводов тянулись к глазу черными остриями, а проклятые диски, нежданно пробелев, ударяли о глаза все тем же цифросочетанием. И я прятался от улиц за стенами и дверью комнаты. Но и там, даже в снах, не было забвения: из ночи в ночь мне снилось мертвое безлюдье улиц. Зажаты ставни. Потушены огни. Пуста панель; и только я иду от перекрестка к перекрестку один, среди сотен, тысяч белых дисков, облепивших стены, и на каждом диске одни и те же цифры; и меж одних и тех же цифр под одним и тем же углом вправо скошенные стрелки; и у остриев их – всюду-всюду – двадцать семь второго – двадцать семь минут второго – второго двадцать семь.

Тогда я еще не понимал, да и не скоро понял, что водит рукою маляров, красящих вывески для часовых лавок.

По теории вероятностей, если сочетать все возможные положения минутной и часовой стрелок, лишь один из семисот двадцати закрашенных ими циферблатов должен был указывать час двадцать семь. А однако, как вы вероятно заметили, в семи случаях из десяти…

– Да, – прервал я живо, – и мне бы хотелось знать: как вы объясняете это?

Но собеседник не отвечал, он сидел, еще глубже запрятав голову в плечи, видимо, отдаваясь воспоминаниям.

Предутренний ветер качнул тенями деревьев и снова положил их на место, у наших ног, Лёвеникс вышел из забытья:

– Да, все это осталось там, позади. Вскоре порог моей низкой и тесной лаборатории, со всей ее жалкой утварью и книжными методами, тоже отошел назад. Я сдернул с себя потолок и стал приучать мысль покрываться одним лишь небом. Проблема ставилась так: у океана свои отливы, и у бытия – тоже. Чувство бытия может быть дано двояко: как *есмь* и *есть*. «Я» знает себя как *есмь*. «Не-я» известно ему как некое *есть*.

Скажите, не были ли вы, хоть раз за всю жизнь, в трех примкнутых друг к другу моментах. Первый: *есмь* и *есть*. Второй: *есмь*. И только. Третий: *есть* в *есмь*. Путано? Сейчас поясню: после того как мир раз и еще раз был взят от меня бытийной щелью, нет-нет да расщепляющейся в бездну, глотающей землю и солнце, – я стал подозрителен к миру и както не верю ни в прочность протоптанных его планетами орбитных эллипсов, ни в негасимость его солнц. Правда, провалы в ночь редки и знающие о них редки, но щель, грозящая катаклизмом, никогда не сдвигает вплотную своих краев; каждый миг грозит она их раздвинуть, прозиять мироемлющей бездной; не я один разорван щелью надвое. Разве вы не расщеплены ею? Разве Гейне не писал – «через мою душу прошла великая мировая трещина».

Он был поэтом и не знал, что это больше, чем метафора. И если бы…

Лёвеникс вдруг оборвал на полуслове и резким движением протянул руку вперед.

– Взгляните.

Уйдя в слушание, я и не заметил: ночь отошла. Заря проступала узкою алою щелью меж земли и неба. Медленно-медленно ширилась. Звезды втягивали в себя свои лучи. И ночь, ища укрытий под сводами и нависями, уже разорвалась на черные лоскутья теней. Снова возникали вещи: сначала очертаниями, потом и красками.

– Мне пора.

Собеседник повернул ко мне лицо. Только теперь я мог рассмотреть его: лицо Готфрида Лёвеникса – чуть одутлое, со смело прорезанным ртом, было как-то заостренно и сквозисто, и только в раскале неподвижных, но обжигающих глаз таилась неистребимая жизнь. Мне вспомнилось, будто я видел уже это лицо и взгляд: где-то со старой гравюры в книге с чьей-то давно отлетевшей жизни.

– Но вы не досказали…

– Всего не доскажешь. Вот суть: если нет единой нити времени, если бытие не непрерывно, если «мир не цел», расколот щелями на разные, чужие друг другу куски, – то все эти книжные этики, построенные на принципе *ответственности*, связанности моего завтра с моим вчера, отпадают и замещаются одной, я бы сказал, *щелиной этикой*. Формулу? Вот: за все оставленное позади щели я, переступивший щель, не отвечаю. Я – здесь, поступок там: назади. Свершен-

ное мной и я – в разных мирах; а из миров в миры – нет окон. О, это-то я давно постиг. Вы поняли?

– Да.

– Ведь та, что ждала тогда за поворотом аллей, помните, не дождалась. Я оборвал без слов. Письма отсылал нераспечатанными. Как-то случайно в газете попалось в глаза ее имя (ее звали София, да, София): «…выбросилась в окно. Причина неизвест…» – но к чему это я вам?

Он вдруг резко отвернулся. Мне виден был лишь острый выступ плеча и черная тулья шляпы; поля ее чуть вздрагивали.

– Что с вами?

– Ничего. Так. Простите.

Он поднялся. Я тоже.

– Но вы не объяснили нарисованных циферблатов.

– Ах да. Об этом в другой раз.

Я задержал его руку в руке.

– Но когда же будет «другой раз»?

Он медлил с ответом.

Тогда я вынул рукопись.

– Не мне – вам.

Он слабо улыбнулся: спасибо. И, назвав свой адрес, быстро зашагал по аллее бульвара. Я снова опустился на скамью. Начиналась дневная жизнь. Шагали, тревожа пыль, люди, стучали, выбивая искры из булыжин, копыта и обода.

Пора было и мне. Но я медлил: какое-то странное недове-

рие и к солнцу, и к земле, и к себе самому связывало мне мускулы: казалось, вот – сделаю шаг, и всё – от солнца до искр под копытами, от земли, подостланной под всю нашу суету до крохотных пылинок, растревоженных подошвами, – всё вдруг канет в ночь, и обещанного зарей дня не будет.

# IV

Долго я не решался посетить собирателя щелей. Подзадоривали крашеные уличные циферблаты: жирно намалеванные стрелки будто толкали пойти за загадкой их цифр.

Комната Лёвеникса отыскалась где-то на шестом этаже у последней ступени витой черной лестницы: потолком в чердак. Но, к моей досаде, она была пуста. Готфрид Лёвеникс выбыл. Куда?

После долгих расспросов в домовой конторе удалось получить только имя крохотного заштатного городка, куда выехал Лёвеникс. Я решил не терять следа и тотчас написал письмо, обозначив на конверте лишь имена – человека и городка. Дойдет ли?

Ответа долго не получалось: значит, не дошло. Но однажды, когда я перестал ждать, мне вручили серый квадратный конверт. В конверте:

«Милостивый государь.

Надеюсь, Вы извинили мне некоторую неровность в обращении: я конченый чудак. Только теперь, перечитав и Вашу сказку, и Ваше письмо, вижу, что был не прав, вдруг зачуждавшись Вас: мы связаны, хотя бы общностью темы. Спешу прежде всего успокоить Вас относительно циферблатов. Тут нет никакой особой тайны: если морской отлив имеет свои

в точных секундах выраженные сроки, то и отливу бытия, который, правда, не каждодневен, – должно иметь свои излюбленные часы, минуты и, может быть, секунды в дне. Сознания людей – грубы. Но бессознательное, в философе ли, в маляре ли, – всегда мудро. Рука маляра, который, конечно, действует бездумно, бессознательно, закрашивая вывесочный циферблат, – мудрее самого маляра: ему все равно куда деть стрелки на диске, но бессознательному в нем не все равно; всюду и всегда пишет оно *свой* час, час бессознанности, отмены всех сознаний: час пустот. И люди, топчущиеся по панели, не знают, чем им грозят с жестяных листов черные стрелы дисков, повисших над их жизнью. И не узнают.

Все мои доселешние наблюдения лишь подтверждают эту гипотезу, и я думаю руководствоваться в предпринимаемом мною ряде *опытов с ничто* именно этим, известным Вам и мне, сочетанием часа и минуты.

Готовый к услугам Г. Лёвеникс».

Я отвечал немедля. В теплых словах я благодарил за письмо, гипотезу и просил тоном ученика, если возможно, приоткрыть мне сущность метода, который Лёвеникс кладет в основу намечаемых им опытов. Второе письмо собирателя щелей, называя меня молодым другом, сообщало, что мысль его, Лёвеникса, пройдя сквозь формулы физики и максимы этики, вступила в новую фазу.

«Только теперь, – писал учитель, – оправдана для меня

онтологическая канва Вашей сказки. Вам, поэтам, то, что дается, дается смутно, но *сразу*. Нам, философам, – ясно, но в постепенности. Перечитываю Декартовы Meditatisas [36]: его мысли о «промышлении миром» – удивительны: «Промысел, – дедуцирует он, – не бережь бытия, а длящееся в веках творение мира, который в каждую долю мига (беру Декарта in extenso [37], срывается в ничто, но создается вновь и вновь, из мига в миг, весь, от солнц до песчинки, мощью творческой воли. Но ясно, что меж двух Декартовых «вновь» возможны и перерывы – *мертвые точки*: в их пунктир и уперлось мертвое дьяволово царство, меж-мирие, черная Страна Щелей.

Один из вас, поэтов, давно это было, вошел в провалы царства мертвых. Должно и метафизику сойти туда же.

Фактуру опытов опасаюсь доверить почтовому конверту. Если интересуетесь, приезжайте сами: покажу, что могу.

Но, во всяком случае, время медитаций прошло. Пора стать «ушельцем в щель».

Особенность моего метода такова: людям неведомо даже то, о чем знают все уличные циферблаты. Почему? Потому что щель, расщепляя бытие, поглощает вместе с ним и их сознания, бытие отражающие. Выброшенные назад в бытие, бедняки и не подозревают, что за миг до того *их не было*, – и только отдельные, как бы утаенные вновь сросшейся ще-

---

[36] Размышления *(лат.)*.

[37] В развитии *(лат.)*.

лью вещи и люди, не возвращенные вместе с ними назад, под солнце, возбуждают некоторый страх и недобрые предчувствия. О затерявшихся говорят: «умерли-погибли неизвестно где». И не знают, что каждый миг грозит нам «неизвестно где»: всему и всем.

Но узнать *внутреннее* бездны может лишь тот, кто не отдаст расщепившейся щели своего сознания; тот, кто, исчислив точно час и миг катаклизма, властью воления и веры – останется быть один среди небытия, войдет живым в самую смерть. Тут мало Дантовых терцин; нужны цифры и формулы; и то, что поэт мог делать лишь с образами и подобиями вещей, метафизику должно уметь сделать с самими вещами.

Числа меня не обманут. Вера – тоже. День опыта близок. Да поможет мне Бог. Г. Л.»

Письмо взволновало меня. Вестей в течение недели не приходило. Я собрал кой-какой ручной багаж, и утренний поезд мчал меня к разгадке.

# V

Поезд должен быть прибыть к полудню, но опоздал на час. Оставив багаж на вокзале, я пошел разыскивать квартиру Лёвеникса. На часах было без четверти два, когда я нажимал щеколду калитки, вправленной в высокую глухую стену; внутри стены двор; в глубине двора маленький, в три окна, домик. Ни души. Дверь полуоткрыта. Я вошел.

Сени; постучал: тихо. Нажал ручку – дверь подалась.

В первой комнате – только книги. Я позвал. Ответа не было. Недоумевая, я заглянул в открытую дверь соседней комнаты: стол, у стола кресло; в кресле – Лёвеникс; головой в стол, с руками, странно обвисшими до полу.

Окликнул. Молчит. Еще раз. Молчит. Тронул за плечо. Сильнее: голова, вдруг как-то подвернувшись, беззвучно легла на левое ухо, – и я увидел мертвый, остекленившийся, с застывшим выражением ужаса в белом зрачке глаз. Под отвалившейся вбок головой, прилипнув к щеке, лежала мелко исписанная тетрадь. Приподняв голову (она была еще чуть тепла), я выдернул тетрадь, спешно роясь глазами в ее последних, еще не просохших строках. Сунул в карман и вышел, плотно прикрывая за собой одну, потом другую, потом – третью дверь. Ни во дворике, ни на улице – ни души. Через час я сидел в поезде.

Я не понял всех цифр и формул, вписанных в тетради Лёвеникса. Одно мне понятно: с моей сказкой покончено. Покоряюсь. Но цифры Лёвеникса хотят большего: им нужны все вымыслы, мои и не мои, писаные и неписаные. Они требуют отдать им все до последнего фантазма. Нет, вчера я бросил щелиное наследие – в огонь. Вымыслы и домыслы – сочлись. Фантазм – отмщен.

# Странствующее «Странно»

*…Это «странно» – как странника прими в свое жилище.*
***«Гамлет», д. 1, сц. 5.***

– На циферблате шесть. Ваш поезд в девять?

– В девять тридцать.

– Что ж, постранствуйте. Это так просто: упаковать вещи и перемещаться в пространстве. Вот если бы пространство, упаковав звезды и земли, захотело путешествовать, то вряд ли бы из этого что-нибудь вышло. Путное, разумеется.

Мой собеседник, запахнув халат, подошел, топча плоские цветы ковра, к подоконнику, и глаза его, щурясь из-под припухлых старческих век, с состраданием оглядели пространство, которому некуда было странствовать.

– Странно, – пробормотал я.

– Вот именно. Все железнодорожные путеводители и приводят в конце концов сюда: в странно. Мало: странствия превратят вас самого, ваше «я», в некое «Странно»; от смены стран вы будете страннеть, хотите вы этого или не хотите; ваши глаза, покатившись по свету, не захотят вернуться назад в старые удобные глазницы; стоит послушаться вокзальных свистков, и гармония сфер навсегда замолчит для вас; стоит растревожить кожу на подошвах ног, и она, раззудевшись,

превратит вас в существо, которое никогда не возвращается.

Я смотрел на дуговидные морщинки, шевелившиеся вокруг рта старика, и думал: этот раз, вероятно, последний. Когда вернусь, скоро ли это будет, придется искать его не здесь – на кладбище. А там уж какие разговоры. И я решился форсировать тему.

– Учитель, – спросил я, отыскав зрачками его острые, даже чуть колющие зрачки, – правда ли все то, что говорят о ваших путешествиях? Мне мало простых железнодорожных указателей. Мне бы хотелось увезти с собой хотя бы несколько ваших указующих слов. Мой опыт беден и тускл. Вы же… помогите мне, учитель, – хотя бы маршрутами. Или воспоминаниями: поверьте, то *странно*, в которое превратят меня странствия, как вы сказали, сохранит все ваши слова, не сдвинув в них ни единой буквы.

– Видите ли, – начал старый маг, усаживаясь в истертое кожаное кресло, – с тех пор как я служу в Кооперотопе, я забросил и самую мысль о путешествиях: пусть земля ерзает по своей орбите, как ей угодно, – с меня довольно. Вероятно, и счетная костяшка, которую вечно гоняют по стержню, считает себя заправской путешественницей. Но неусидчивость не выводит ее, как известно, за квадрат счетной рамы. Так. Но в юности, разумеется, думалось по-иному: тогда я откликался на зовы пространства, хотел дойти до *куда* всех дорог, наступить подошвой на все тайны, обогнать знаки и черточки, облепившие глобус, и ощупать своими собствен-

ными глазами всю шершавую кожу планеты.

– Представляю себе. И мне бы хотелось, учитель, получить от вас схему одного из ваших самых длительных и трудных путешествий: такого, которое бы брало землю тысячеверстными кусками, которое бы…

– Боюсь, что первые же мои слова разочаруют вас, мой юный друг: самое длительное и самое трудное мое путешествие передвинуло меня в пространстве всего лишь на семьдесят футов. Виноват, семьдесят один с половиной.

– Вы шутите?

– Нисколько. И мне кажется, что можно менять страны на страны, не прибегая даже к этим на пальцах отсчитанным футам: последние четыре года, мой друг, я, как вы знаете, немногим подвижнее трупа. Моя оконная рама не сдвинулась никуда ни на дюйм. Но та страна, людей и дела которой я, не без любопытства, наблюдаю, уже не та страна; и мне не нужно было, как вы это хорошо знаете, хлопотать о билетах и визах для того, чтобы превратиться в чужестранца и переехать из Санкт-Петербурга в Ленинград.

Я улыбнулся:

– Пожалуй. Но все же я повторяю свою просьбу: если не вы, то пусть хоть ваша память проявит активность. Рассказ о путешествии с маршрутом в семьдесят футов, думаю, не отнимет много времени.

– Не скажите. Хотя, если мне только удастся разминуться с деталями, может быть, я и успею. Который сейчас?

– Шесть тридцать.

– Так. Может быть, у вас есть еще какие-нибудь дела?

– Нет, учитель. До девяти я могу слушать.

– Хорошо. Тогда садитесь. Нет, не сюда: в кресло. Так. Начну.

# I

– Сейчас, когда вся моя эзотерическая библиотека давно уже выменена на муку и картофель, я не могу с книгой в руках показать вам те сложные формулы и максимы, которые путеводили нами, магами, в годы наших ученических странствий. Но суть в следующем: самое имя Magus от потерявшего букву слова magnus: большой. Мы – люди, почувствовавшие всю тесноту жилпланетных площадей, захотевшие здесь, в малом мире, мира *большего*. Но в *большее* – лишь один путь: через *меньшее*; в возвеличенье – сквозь умаление. Гулливер, начавший странствия с Лилипутии, принужден был закончить его в стране Великанов. Правила нашего магического стажа, – поскольку они хотят сделать нас большими среди меньших, великанами среди лилипутов, естественно, стягивают линии наших учебных маршрутов, вводя нас в магизм, то есть в возвеличение, лишь путем трудной и длительной техники умаления.

Рельсы, дожидающиеся вас, мне всегда напоминали длиннящий в бесконечность свои параллели *знак равенства* (=).

Говоривший сделал двукратный жест.

– Но есть и другой знак. Вот: (скользнув глазами за ладонью, вклинившей в воздух острие угла, я молча кивнул головой и продолжал слушать). Я хорошо помню то сквозистое июньское утро, когда *мой учитель*, это было уже сорок с

лишком лет тому назад, призвав меня к себе, начертил именно этот простой, из двух карандашных линий, знак и, перенеся свой указательный палец, прижатый к бумаге влево от знака, на правую его сторону, сказал:

– Вам пора: отсюда – туда.

Я смотрел на линию своего маршрута и молчал.

– Вам, юным, – добавил наставник, – подавай семимильные сапоги. Но терпение: раньше чем позволить шагу из аршинного стать семимильным, надо научить его микромикронности.

Я продолжал молчать. Тогда наставник, отщелкнув двумя поворотами ключа крышку костяной шкатулки, стоявшей у него на столе, показал мне три тщательно обернутых в вату стеклянных пузырька. Под притертыми пробками их внутри вспучившегося стекла мутно мерцали жидкости: желтая, синяя и красная.

– Вот эта тинктура, – перед глазами у меня, вымотавшись из ваты, просверкал рдянью третий пузырек, – эта тинктура обладает поразительной силой стяжения. Содержимого стекляшки хватило б на то, чтобы тело слона стянуть в комок меньше мушьего тела. И если б это драгоценное вещество добыть в таком количестве, чтобы обрызгать им всю землю, нашу планету легко можно было бы сунуть в одну из тех сеток, в которых дети носят свои крашеные мячи. Но мы с вами начнем с другого флакона.

С этими словами наставник передал мне желтую тинкту-

ру. Только теперь я увидел: поверх билетика, налепленного на стекло, чернели еле различимые бисеринки букв.

– Способ употребления, – пояснил мне мастер, – послушайтесь этих букв, и вы сами станете в рост им. Сегодня же, до заката, тинктура должна сделать свое дело. Счастливого пути.

Взволнованный, колеблясь меж нетерпением и страхом, я вышел на улицу. Желтые солнечные пятна, ползающие по раскаленной полднем панели, не давали мне забыть о десятке желтых капелек, запрятанных в моем жилетном кармане и ждущих внутри своей стеклянной скорлупы близящегося с каждым моим шагом срока. Я шел будто на спутанных ногах: воображение начало действовать раньше тинктуры; мне казалось – самые шаги мои то странно укорачиваются, то неестественно длиннятся. Сердце под ребрами ворошилось, как испуганная птица в гнезде. Помню, я присел на одну из уличных скамей и позволил своим зрачкам кружить, как им вздумается. Я прощался с пространством: с привычным, в лазурь и зелень раскрашенным, *моим*, пространством. Я смотрел на сотни шагающих мимо ног: размеренно, подымая и опуская ступни, сгибая и разгибая колени, движением, напоминающим стальной аршин, уверенно шагающий, под толчками пальцев приказчика, вдоль мерно разматываемой штуки материи, – они разматывали и мерили свое, привычное пространство, которое видишь и с закрытыми глазами, которое несешь в себе, обжитое и исхоженное, почти застег-

нутое вместе с телом, под пуговицы твоего пальто, в тебя. Я вслушивался в трение одежд о тело, вглядывался в акварельные пятнышки облачной ряби, тонко выписанной по синему фону, ловил каждый звук и призвук, ввившийся в мои ушные завитки, цеплялся глазом за каждый блик и отсвет, запутавшийся в моих ресницах. Я прощался с пространством. Мимо глаз, раскачиваясь в сетке, прополз чей-то пестрый мяч. Я поднялся и пошел дальше. Где-то на перекрестке мне сунули в руки газету. Я развернул ее еще влажные листы и, скользнув по столбцам, тотчас же заметил крохотные буквы петита, сотнями беззащитных черных телец согнанные в строки. Тотчас же ассоциация дернулась у меня в мозгу, и, скомкав газету, я быстро сунул руку в карман и нащупал там холодный дутыш пузырька. Стоило швырнуть его на камень, наступить подошвой – и…но я этого не сделал. Нет: именно в этот момент нетерпение заслонило страх, и я быстро зашагал к себе, мимо шумов и бликов, будто выдергиваясь из пространства, и единственное, что я видел тогда, с почти галлюцинаторной ясностью, это бледный и длинный палец учителя, который, переступив по ту сторону ломаной черты, за знак неравенства, звал меня: туда.

Вскоре, впрочем, припадок возбуждения утих. На предпоследний этаж дома, в котором снимал я комнату, я подымался с чувством твердой, но холодной решимости. В полутьме подъезда на одном из поворотов узкой лестницы мне пришлось обменяться кивками с моими соседями, жившими

надо мной: встречи наши, довольно редкие, всегда происходили здесь, в полумраке лестницы, и потому нам никогда не удавалось друг друга рассмотреть. Я знал только, что астматически дышащий ворох из пледов, кашне и пелерин поверх пелерин, тычащий палкой в ступеньки и мучительно шаркающий подошвами о камень, – это заслуженный профессор и чуть ли не академик, возящийся с какими-то ретортами и пипетками, с матрикулами студентов, а также и с женой, которая и в эту встречу, как во все иные, прошуршав мимо меня шелками юбок и наполнив полутьму запахом «Шипра» и терпкой тревогой, – став у верхней площадки, терпеливо ждала спотыкающуюся десятью ступеньками ниже палку.

Я открыл свою дверь и, войдя в комнату, повернул ключ в замке слева направо. Потом, выдернув его из замочной скважины, спрятал в одном из ящиков письменного стола. Солнце было на излете. Вынув часы, я положил их перед собой: шесть тридцать. Теперь пузырек: лупа, растянув черные значки поверх пузырька, быстро и точно раскрыла их смысл. Стиснув стекло меж пальцев, я осторожно повернул ему пробку: о, как непохож был этот колющий ноздри прогорклый запах на благоухание, оставшееся там, за защелком ключа, над ступеньками лестницы. На миг мне показалось, будто астма старого профессора переползла в мои легкие: мне стало трудно дышать. Подойдя к окну, я толкнул его створами наружу. Тем временем минутная стрелка успела уже сделать дугу в сто восемьдесят градусов. Надо было ре-

шаться: я поднес пузырек к губам – через мгновение он был пуст. После этого я еле-еле успел, выполняя волю букв на этикетке, запрятать пустой пузырек в заранее намеченное мною укромное место: у пола, меж стеной и обоями. Тело мое, уже в ту секунду, когда я запихивал стекло в обойную щель, стало вдруг стягиваться и плющиться, как прорванный воздушный пузырь: стены бросились прочь от меня, рыжие половицы под ногами, нелепо разрастаясь, поползли к внезапно раздвинувшемуся горизонту, потолок прянул кверху, а плоский, желто-красный обойный цветок, который я за секунду перед тем, возясь с пузырьком, отогнул, прикрывая пальцами руки, вдруг неестественно ширясь желто-красными разводами, пополз, забирая рост, пестрой кляксой вверх и вверх. Мучительное ощущение заставило меня на минуту зажать веки: когда я раскрыл их, то увидел себя стоящим у входа в довольно широкий стеклянный туннель с неправильно изогнутыми круглыми прозрачными стенами. Прошло несколько времени, пока я понял: это пузырек, очевидно, оброненный моим нечаянным движением в то последнее мгновение, когда я, сейчас лишь жалкое, в пылиночный рост существо, *мог* еще его обронить.

На одном из прозрачных выгибов туннеля я увидел огромные черные знаки; в тот же миг я вспомнил их смысл, и сердце радостно заколотилось во мне. Ведь в надписи на пузырьке ясно говорилось о способе возврата в прежнее тело и в прежнее пространство: стоило лишь отыскать на внут-

ренней плоскости донышка пузырька-туннеля врезанный в стекло магический знак и прикоснуться к нему, – и немедленно должно произойти обратное превращение.

Сломя голову я бросился внутрь стеклянного раструба: звон моих шагов бился о круглые стены. Я добежал до прямой стеклянной стены… «А вдруг, – всполохнулось во мне, – пузырек упал знаком кверху. По скользкой и гладкой стене мне никак не добраться до спасения. И я погибну, на расстоянии дюйма от знака: дюйм преградит мне путь назад в тысячеверстия земли».

Но, по счастью, знак оказался у нижнего края стены. Я быстро отыскал глазами знакомое им сцепление двух линий математического *знака неравенства*. Упав острым науглием книзу, знак расправлял свои врезавшиеся в стекло линии, как птица расправляет крылья, занесенные для полета. «Свобода», – прошептал я, протягивая руку к знаку. «Страх», – услыхал я в себе полусекундой позже. Я не повторил этого слова, но оно звучало громче, чем то, первое. Да, мое *назад* было близко, на расстоянии протянутой руки, но я, отвернувшись от него, медленно ступая по гулкому стеклу, направился в безвестное *вперед*. И прежде, и теперь я всегда предпочитал и предпочитаю загадку разгадке, заданное данному, дальний конец алфавита с иксом и зетой – элементарным абецедам и абевегам: и в данном случае я не изменил своему обыкновению.

Минуты слишком быстро ползут по циферблату, мой

друг, чтобы я мог позволить себе дробное и кропотливое, день за днем, описание моих странствий, начатых с зарею следующего дня. Вспомнив, что от пола к подоконнику моей комнаты прощелилась, как я это когда-то заметил во время уборки, глубоким, всползающим по стене зигзагом, щель, – я решил использовать ее для подъема на плато подоконника. Мне пришлось затратить довольно много часов, пока я не отыскал ее нижнего ущелистого края и не начал своего двухдневного подъема кверху. Впоследствии, когда я с группой альпинистов брал Кляузеновский перевал, они дивились моей тренированности и выносливости: объяснять им, что этим я обязан стенной щели длиной в три фута, я, конечно, не стал. Так или иначе, намучившись на кривых изломах и срывах своего почти отвесного пути, я наконец, к утру третьего дня достиг подоконничного края. Ступив на его плоскую поверхность, покрытую геологическими пластами растрескавшейся белой краски (эти трещинки, которые еще неделю тому назад я слабо ощущал, скользя ладонью по подоконнику, сейчас учили меня рекордным прыжкам), – я чувствовал себя горцем, рассматривающим, стоя меж глыб горного перевала, провалы далей, втягивающих в себя глаз. Створы окна, оставленные прежним «мною» открытыми, давали доступ воздуху, а следовательно, и ветру. Мне очень трудно было бороться с его воздушными ударами: цепляясь за выступы облупившихся пластов краски, прячась за их приподнятыми краями, я прилагал все усилия, чтобы не быть свеянным

вместе с уличной пылью, осевшей на подоконник, прочь с его поверхности. Позади был срыв к желтевшему где-то снизу полу моей комнаты, впереди – отвесная кирпичная стена, падающая в бесконечно глубокий провал улицы. Продолжать прятаться по щелям меж краской и деревом на унылой и плоской белой равнине подоконника было бессмысленно и скучно. Надо было решаться: и я решился.

Цепляясь зеленой лапой за наружный край подоконника, кверху по кирпичному русту полз плющ. Подъем по этой зеленой витой лестнице был, конечно, опасен, но я, пользуясь наступившим внезапным безветрием, хватаясь за ворсинчатые торчки живой лестницы, стал смело взбираться кверху. От времени до времени я отдыхал внутри липких складчатых листьев плюща. Но после нескольких дней подъема я заметил, что зеленые площадки моей лестницы все уже и меньше и что самая спираль ее, сделав еще несколько оборотов, обрывается в пустоту. Подсчитав пройденные кирпичные рубцы, я понял, что нахожусь на полпути меж двух подоконников, в трех футах от квартиры старого профессора.

– Дело не так плохо, – сказал я себе, раскачиваясь в изумрудном гамаке, подвешенном на упругом тяже к стеблю: надо лишь запастись терпением и положиться на силу роста, скрытую в плюще, – и моя лестница сама подымет меня кверху.

Так для меня настали дни бездейственного ожидания: днем солнце, озеленив лучи, пробиралось ко мне сквозь нер-

вюры ткани внутрь листа; по ночам, пододвинувшись к рубчатому краю своего обиталища, я мог любоваться россыпью желтых и синих звезд, зажигавшихся где-то внизу, подо мной. Вначале это перемещение звездного неба несколько озадачило меня, но после я понял: тинктура, стянув в пылинку мое саженное тело, укоротила и радиус моего видения: глаза не могли уже дотянуться до Сириуса и Полярной звезды, но обыкновенные уличные фонари заменяли им, как умели, созвездия.

Часто я старался представить себе то, что ждет меня там, за окном старого профессора и его юной жены. В то время я был так же молод, как и вы, мой друг. И конечно, не только жизненная сила, скрытая в спиралях плюща, но и иная, таимая во мне, тянули меня вверх к подоконнику юной профессорши. Иногда, в бессонные ночи, к горьковатому запаху растительных смол примешивался, как мне мнилось, знакомый легкий, но дразнящий «Шипр». И пока плющ, расправляя свои зеленые мышцы, полз на хватких лапах, усиками кверху, мое воображение, обгоняя его, давно уже было там, за окном.

Но когда три фута, спираль за спиралью, были взяты, и я наконец, сделав рискованный прыжок, вскарабкался на край подоконника, о котором так долго мечтал, меня ждал неожиданный удар: стекло и рама окна, тщательно замазанные и оклеенные, преграждали путь. Я забыл, в своем юношеском оптимизме, о том, что дряхлый профессор даже и в июль-

ские жары ходил под полудюжиной пледов и что окна в его квартире почти никогда не открывались.

Раздосадованный и злой, целый день бродил я вдоль тщательно замазанной щели: нигде – ни прохода, ни даже лазейки.

Мне оставалось: или спуститься по извивам плюща назад, или с неиссякающим терпением дожидаться своего *вперед*. И на этот раз я выбрал последнее.

Тем временем июль – я вел аккуратный счет дням, – поначалу довольно прохладный и влажный, становился все суше и жарче. Мучаясь под раскаленным стеклом окна от нарастающего зноя, я вместе с тем радовался ему и молил небо о еще большей жаре: ведь только тропическая температура могла разжать стеклянные створы, преграждавшие мне доступ внутрь.

Томительные дни тянулись друг за другом, разделенные короткими черными прокладками ночи, тоже душной и знойной, – я уже было начал отчаиваться, когда вдруг, как-то поутру, стекло и рама затряслись от ударов изнутри. Колоссальные глыбы замазки падали сверху. Я еле успел юркнуть в узкую пещеру, рытую червем-древоточцем, как что-то грохочущей тенью, сыпля сверху скалы и лапилли, пронеслось надо мной. Выбравшись наружу, я увидел: путь был свободен.

Вначале у меня было чувство человека, забравшегося по веревочной лестнице в дом своей желанной. Вероятно, это

романтическое чувство и заставило меня дожидаться ночи: я медленно, шаг за шагом, вздрагивая и припадая к земле при каждом шуме, продвигался к внутреннему краю подоконника. Мне все еще трудно было привыкнуть к своей невидимости, и казалось, что все мои движения заметны обитателям комнаты.

Когда к вечеру я, свесив ноги внутрь одной из подоконничных щелей, сидел, грезя о своем *завтра*, – вдруг меня ударило сильным током воздуха и прикрыло сверху гигантской, весь горизонт застлавшей тенью. Вскочив, я поднял глаза кверху и увидал две рушащихся на меня своими вершинами горы. В ужасе я сжал веки, приготовившись к смерти, но близкий и острый запах «Шипра» заставил веки разжаться снова. Да, это была она: два огромных, таких знакомых мысли и глазу знака неравенства, одетых не в карандашный графит и не в стекло, но в гигантскую массу обнаженного тела, уперлись, вправо и влево от меня, своими остриями в подоконник: это были руки жены профессора.

С минуту я, забыв опасность и риск, двигался навстречу дурманящему и влажному живому жару, пышущему мне навстречу.

– Какая теплая ночь, – прозвенело надо мною.

– Да. А все-таки, душенька, окно лучше бы закрыть, – прошелестело что-то голосом комкаемой бумаги из глубины комнаты.

– Но ведь воздух так чист: ни пылинки. И я не вижу ни-

чего, чтобы…

– Мало ли, что ты не видишь, душенька, – закомкалась снова бумага, – пролезет что-нибудь этакое, ну, невидимое, бацилла какая-нибудь или ну черт ли его знает что. Ты его не видишь, а оно в тебя втирушей этакой в альвеолы, в кровь, и возись потом…

Окно с грохотом закрылось, отрезая мне обратный путь. Но я уже успел добежать до торчащих мне навстречу ворсин платья юной женщины: обхватив одну из ворсин руками и коленями, я с бьющимся сердцем ждал событий.

– И-и, душенька, брось дуться. Вот принеси-ка мне лучше карты: нет, не там, на этажерке. Левее, левее. Ну-ну, поглядим: ведь вот проклятый пасьянс, никогда не выходит. Хоть ты что: ни так, ни этак. Ну вот: опять этот червонный король все напутал.

– Не выходит, так и бросил бы…

– Нет-нет, постой-погоди, я загадал: говорят, если выйдет, то надо карты под подушку, и все сбуд… гкх… гкх, черт, опять этот червонный дурак вытасовался.

Тем временем я, описав гигантские зигзаги по комнате, был внезапно почти придавлен к краю стола. Лишь ловкий кульбит спас меня от гибели, но все же сила толчка была так велика, что тело мое, сорвавшись с ворсины, за которую оно крепко держалось, больно ударилось о доску стола. Не теряя самообладания, я приподнялся на локте с желтой клеенки стола и увидел: целые стаи огромных бумажных прямоуголь-

ников, взлетев с шуршащим птичьим шумом, тотчас же мягко опали своими черными и красными знаками книзу. Я понял происшедшее: женщина смешала карты.

Это могло бы осложнить разговор, но в это время в глубине комнаты, почти из-за пределов моего видения, прозвучал третий голос:

– Барин, а барин, тут к вам с матрикулом. Который в шестой уже раз. Что им сказать: дома вы или нету?

Я слышал, как где-то внизу шумно зашаркали туфли. Вслед им четко и дробно застучали «каблучки», как подумал я, все еще не умея выключить свое мышление из старых схем.

Оставшись, как я полагал, один, я направился к хаотической куче игральных карт, расшвыренных по столу. Новый, пока еще смутный план начинал возникать в моей голове. Сперва я прошел поперек дамы треф и высунувшегося из-под нее алого ромба бубновой двойки. Что-то черное поползло мне под подошвы: выйдя из задумчивости, я увидел перед собой две довольно длинные аллеи, протянувшиеся вдаль: деревьев, собственно, не было, но неподвижные черные тени каких-то странно широких у земли и причудливо тонких у комля растений легли вдоль снежно-белой поверхности прямоугольного сада. Я было сделал несколько шагов вдоль одной из черных аллей, но тут только заметил, что путь мне дважды пресечен такими же тенями таких же деревьев, невидимо растущих посредине аллеи. Я понял: это была де-

сятка пик. Конечно, ее черные пятна бессильны были перегородить мне дорогу, но какое-то странное чувство заставило меня, сойдя с аллей, ворожащих смерть, обойти ее прямоуглый сад стороной, по обочине.

Тут впервые недоброе предчувствие вонзилось десятью черными остриями в меня. Не глядя по сторонам, медленно продолжал я шагать с карты на карту. Вдруг:

– Эй, вы, послушайте: вы наступили мне на сердце. Или вы полагаете, что это щетка для вытирания подошв? Отойдите.

Я повел глазами навстречу голосу и тут только увидел, что у меня под ногами, у закругленного края карты, на которую я только что, в рассеянии, ступил, дергается красное плоское сердце, странно сплющившееся под налетом бумажного глянца. С трудом удерживая равновесие, я добалансировал до края сердца и выпрыгнул на белую поверхность карты: теперь я ясно различал округло очерченные красные губы короля червей, которые, ероша рыжую щетину длинной бороды, недовольно и брезгливо шевелились.

– Кто вы, пришелец, вшагнувший в меня? – услыхал я.

– Умаленный человек, – отвечал я.

– Нет умаления горче моего, – проговорили бумажные губы, – и как бы ни была печальна история, принесенная вами, история, которую вы унесете отсюда, будет еще печальнее. Приблизьтесь и слушайте.

Я, выбрав себе место на оконечине золотого плоского ски-

петра короля червей, уселся поудобнее и, протянув усталые ноги, подставил свои ушные раковины под рассказ.

– Теперь моему царству, – зашевелились снова бумажные губы, – и вот в этой картонной коробке для карт – просторно. И царство, и власть мои давно источены червями: наш маститый род стал глупой мастью, и я, который некогда со своими министрами *игрывал* в людей, я, превращенный в обыкновеннейшую карту, должен позволять им, людям, играть в нас, *в карты*. О, странник, можешь ли ты понять мир, в котором мили превратились в миллиметры, в дворцах и хижинах которого полы и потолки срослись в одну сплошную плоскость?

– Могу. Продолжайте.

– Мой род – отец, дед, прадед, прапрадед и я – столетиями сидел на нашем троне, окруженный трепещущими и благоговеющими подданными. Земля была слишком грязна для касания наших пят. Колеса, седла, носилки, лектики, спины камер-лакеев сделали для нас ноги излишними, а придворные козни и тайные заговоры создавали положение, когда иметь всего лишь одну голову оказывалось недостаточным. Вы понимаете, – ладонь говорившего, не покидая плоскости, опустилась «сверху вниз»: я кивнул головой. – Результатом приспособления нашей династии, говоря в терминах дарвинизма, к среде – является хотя бы то, что у меня, как видите, две головы плюс нуль ног. Но не это было причиной гибели моей и царства. Дело в том, что в каждой моей груди билось по

два сердца: большое и малое. Вот они. – Я, не прерывая рассказа, скользнул глазом по глянцу карты и подтверждающе наклонил голову. – Мое большое сердце любило маленькую женщину; мое маленькое сердце любило великий народ. И обоим им, большому и малому, было тесно под моей королевской мантией. Они бились друг о друга, мешая друг другу биться. Это беспокоило и мучило меня. Случилось так, что, проездом через королевство Червей, при дворе моем гостил ученый хирург из страны Пик. Однажды я, решившись покончить с своим двусердием, призвал хирурга. Он выслушал меня и мои бьющиеся друг о друга сердца и нахмурился.

– Пиковый интерес, – пробормотал он, прибавив к этому дюжину латинских слов.

– Но нельзя ли оперировать лишнее сердце?

– Которое из них вы, ваше величество, считаете лишним?

Три дня и три бессонных ночи промучился я над словом *которое*. Но, увы, народ, который я любил моим малым сердцем, был где-то там, далеко, за стенами дворца; а женщина, которой я отдал свое большое сердце, была тут, возле, у самых расспорившихся сердец, и сумела защитить от ножа то из них, в котором жила она.

На четвертый день я призвал к себе хирурга:

– Пустите в дело ваши инструменты, – приказал я. – Малое в большом я предпочитаю большому в малом.

– Но, ваше величество, учтены ли вами те последствия?..

– Последствия, которые грозят вам в случае ослушания

приказу короля, издревле учтены нашими законами. Повинуйтесь, или…

Он вынул свои черные острия, и вскоре я лежал вот на этом столе, ожидая прикосновения скальпеля. Искусной транссекцией он отделил мое малое сердце, бившееся навстречу народу, и положил его к краю операционного стола, вот сюда – где вы его видите и сейчас. Острая боль, полоснув меня по мозгу, оборвала сознание. Когда оно вернулось, я увидел вокруг себя испуганные лица и спину черного доктора, склонившегося над своими закровавившимися черными лезвиями. Обеспокоенный их беспокойством, я попробовал приподнять голову с плоскости операционной доски кверху: мне это почему-то не удавалось. Сиделки, заметившие мою попытку, тотчас же, льстиво и испуганно улыбаясь, стали вперебой просить меня не приподыматься: «Для вас это сейчас невозможно, ваше величество, поостерегитесь, ваше величество».

Им долго, пользуясь моей слабостью, удавалось скрывать от меня истину. Но когда я, почувствовав себя несколько крепче, решился, вопреки уговорам и мольбам, покинуть плоскость операционного стола, мне, после сотни отчаянных попыток, открылась страшная истина: отныне мне никогда не подняться кверху от операционной доски, потому что самое *кверху* оказалось ампутированным вместе с сердцем: правда, моя застарелая запущенная «любовь к народу» окончательно отвязалась от меня… но все-таки, знаете… лучше

бы уж…

Тщетно после этого министры пробовали мне помочь: острая плоскостность перешла в хроническую. Напрасно хирург, в операционную к которому каждый день сваливали шесть-семь из числа моих подданных, вырезая сердце за сердцем, пробовал привить их мне, – ничего не выходило: в результате лишь белые поверхности столов покрывались кровавыми шестерками, семерками, девятками. В конце концов, когда почти весь народ был вырезан, вивисектор тайно бежал и всю эту возню с отрехмериванием плоского пришлось бросить.

Так угасло некогда сильное королевство Червей, а моя слава и власть оттлели и стали снедью червей. Но и тут, в изгнании и умалении, где пышность прежних королевских выходов заменилась простым участием в пасьянсах какого-то профессорствующего дурака (правда – благодаря мне – они у него никогда не выходят), – надежда не покидает меня, о путник. Тут, в плоской коробке для игральных карт, затасованный в трепаную колоду, жду я интервенции. Ведь остались еще монархии на земле. И не могут же они потерпеть, чтобы…

– Ваше величество, – отвечал я, – увы, черви времени не менее искусны, чем ваш черный хирург, и короли, еще королевствующие за пределами вашего бумажного царства, от дня к дню делаются все более и более плоскими, как и вы. Говорят, недалеко то время, когда королям из европейской ко-

лоды, привыкшим к забавной «игре в люди», придется превратиться из тех, которые играют, в тех, которыми играют. Я не язычник, но верю в Немезиду.

Наступило тягостное молчание. Поняв, что случай делает легко осуществимым тот план, который понемногу, еще до встречи с королем, стал отчетчиваться в моей голове, я, подойдя к самому уху плоского монарха, зашептал с конфиденциальностью заговорщика:

– Во всяком случае, ваше величество, я обещаю огласить ваши мемуары в печати. Сейчас это единственный способ, доступный нам с вами, чтобы довести ваши слова до слуха тех, которыми вы хотите быть услышаны.

– Выражаем вам свое благоволение. Просите о чем хотите.

– Мне бы хотелось, ваше величество, чтобы прерванный пасьянс удался.

Золотая корона качнулась в знак согласия. Спрятавшись внутрь расщепленного угла одной из карт, я стал ждать дальнейшего. Вскоре раздались шаги возвращающегося профессора. Огромные руки его забегали по картам: я то взмывал на своей бумажной плоскости, как на планере, в воздух, то скользил вместе с нею книзу. Меня обдавало запахом терпентина и табачной гари и трясло меж дрожащих пальцев старика.

Вдруг:

– Ага, а вот и вышло. Душенька, поди посмотри: вышло. А что я загадал, то загадал: гкх-гкх. Ну, теперь карты под

подушку, и все *сбудется*. Ыгкх-ыгкх.

Именно на этом и был построен весь мой расчет: проникнуть к ней на ложе. Когда минуту спустя я, запертый вместе с королем червей внутрь тесной и темной коробки, очутился меж матрацем и подушкой, что-то вроде стыда и сожаления забрезжило во мне: история о двух сердцах короля и ее плачевный конец звучали для меня почти угрозой. Мне вспоминалось строгое лицо наставника, беседовавшего всегда лишь с моим «большим сердцем», и я ясно понимал, что сюда, под чужую подушку, я приведен другим, маленьким, похотливо трущимся о ребра сердчишком. Предчувствие говорило мне: лишь великое сможет вывести меня из моей малости; малое замкнет меня в моем теперешнем бытии накрепко и навсегда. Но мне не дали долго размышлять: внутрь коробки, вдруг мягко закачавшейся на матрацных пружинах, стал все сильнее и сильнее проникать смешанный запах терпентина и «Шипра». Кровь ударила мне в голову: быстро вскочив, я побежал к ближайшей стенке футляра и, отыскав замочную щель его, опрометью выпрыгнул наружу.

– Да-да, кстати: у вас под рукой штепсель. Темно: почти как тогда. Включите свет. Так. Теперь вижу: вы улыбаетесь, мой юный друг. Как и я: *сейчас*. Но тогда мне было не до улыбок.

Не успел я добраться до края наволочки, как началось нечто почти апокалиптическое: полотняная почва задерга-

лась подо мной, вздымаясь шумными антиклиналями. Неизмеримо огромные массы тел задвигались с угрожающей силой вокруг меня. Чувствуя себя схваченным каким-то катаклизмом, я тщетно пытался ухватиться за край бельевой пуговицы, на которую меня швырнуло резким и стремительным толчком. Отовсюду меня било горячим ветром и отовсюду же нависали грозящие рухнуть и расплющить меня колоссальные толщи костей и мяса. Очевидно, профессор пробовал осуществить загаданное. Почти обезумев от ужаса и омерзения, то проваливаясь в складки разбушевавшегося полотна, то взлетая кверху вместе с его вздувающейся и хлопающейся, как парус под зюйд-остом, тканью, я вдруг с разлету наскочил на какое-то огромное, величиной в слона, движущееся и живое существо. Под прыгающим одеялом было абсолютно темно, – но моя ладонь, тянувшись в тьму, нащупала топорщащиеся твердые круглые чешуи чудовища. При первом же моем прикосновении оно взмыло куда-то вверх. И, представьте, страх, сцепивший мои пальцы вкруг одной из его чешуи, оказался спасительным: вместе с жестокожим прыгуном я пролетел сквозь душную тьму и вместе с ним же упал книзу. Снова гигантский прыжок, – и тут уж я понял: блоха. Я доверчиво прижался к ее скользкому телу и в два-три перелета был за пределами катаклизма.

Но у наружного края матраца, куда меня вынес мой сказочный конь, пружины продолжали еще кряхтеть и шевелиться. Чуть отдышавшись, я стал спускаться по шелковым

волосинам одеяла, отброшенного катаклизмом в сторону, книзу, стремясь поскорей добраться до половицы. Но резкий запах аммиака, ползший мне навстречу, путал мои дрожащие от отвращения пальцы, притом шелк скользил под подошвами, – я сорвался и полетел во тьму. Через миг какие-то гибкие ветви захлестали, точно розгами, по моему телу. Хватаясь руками за их упругий изгиб, я, срывая кожу и ногти, рухнул книзу, что-то мягким обухом ударило меня по затылку, – и сознание во мне погасло.

Не скажу точно, сколько времени длилось мое забытье. Когда мне удалось наконец открыть глаза, то первое, что я увидел, были стволы какого-то фантастического безлистного леса, причудливо сплетающего надо мной свои комли. При тусклом брезге дня, еле проникавшем сквозь густую заросль, я разглядел, что стволы деревьев были разных цветов – от черного до светло-рыжего. В некоторых местах их толща была сквозиста, так что сквозь одни стволы можно было смутно разглядеть контуры других. На рыхлой и будто изрытой кротовыми ходами песчано-желтой почве леса не было ни травинки и ни цветка: и даже самый запах этого нового для меня леса говорил не столько о цветах, сколько об обыкновенной дубленой коже. Очарование быстро рассеялось, так как я не мог не понять, что нахожусь не в заколдованном лесу Армиды, «губительницы храбрых», а под волосатым слоем ковровой шкуры, положенной на пол у двуспальной кровати профессорской четы.

И тотчас же я вспомнил все. О, как жгуче я ненавидел тогда *ее*: если б я мог, то растоптал бы ее, как гадину, но, увы, от этого ей не было бы даже щекотно. И когда я, поднявшись на локте, попробовал сделать более резкое движение, стало ясно, что мне нельзя мечтать не только о мести, но даже о том, чтобы немедля покинуть шкуру, на которую ведь каждую секунду могла спуститься туфля профессора, плюща меня в ничто. Да, я был слишком неопасным соперником.

Но пока я продолжал неподвижно лежать в чаще шерстистого леса, мысль моя семимильными шагами шагала дальше и дальше.

Абстрагируя ситуацию, я начал с максим, так называемой народной мудрости: что ж, «слоны трутся, комаров давят». Затем от народной мудрости я перешел к мудрости не народной. Мне вспомнился трактат Канта о лиссабонском землетрясении, а также примечательные размышления Аруэ Вольтера на ту же тему. Понемногу силлогизмы выводили меня за пределы узкого, вершкового горизонта, и я, смыв с себя желчь и эгоистическую накипь, стал представлять себе недавнюю катастрофу на матраце, жертвой которой я чуть не сделался, так сказать, sub specie aeternitatis [38].

Еще Аристотель сказал, медитировал я, что общество – это «большой человек». Допустим, но тогда, значит, я, попавший весьма некстати, меж двух для меня, маленького человечка, несомненно «больших людей», очутился в том по-

---

[38] С точки зрения вечности *(лат.)*.

ложении, в котором личности, микрочеловеку, суждено пребывать по отношению к обществу, то есть макрочеловеку. Да, в тот день я чуть не сделался анархистом, мой друг.

Здоровье мое быстро поправлялось, и вскоре можно было перейти от размышлений к действиям. Как только я смог подняться на ноги, я побрел, еще нетвердо ступая, от ствола к стволу, ища выхода из лесу. Но не тут-то было. Как Данте, заблудившийся в лесной чаще, я временами начинал думать, что близок даже не к средине, а к концу моего жизненного пути. И воспоминания, и предчувствия равно мучали мой утомленный мозг. Если б я мог, я бы бросил позади себя порог дома, завлекшего меня, черту города, в обводе которой я жил раньше, границу и берег страны, которой я был рожден и того ранее, – а между тем я, день к дню, бессмысленно блуждал среди унылых безлистых стволов, не в силах будучи выйти за пределы какой-то дурацкой, вонючей, пропыленной, в аршин длиной, мертвой шкуры.

В конце концов мне удалось достигнуть опушки. Я решил, прячась от подошв в половичные щели, добраться до порога профессорской квартиры и вернуться назад, к пузырьку. Но не успел я сделать и десятка шагов, как вдруг увидел новый лес, который, подобно Бирнгэмскому, сам двигался на меня. Я уже хотел было бежать назад, предпочитая неподвижный лес лесу, бегающему на своих корнях, но тот, бесшумно скользя, весь в облаках пыли, уже настиг меня. С ловкостью, выработанной во мне опытом последних дней, я схватился

за одну из его движущихся вершин, – и в то же мгновение мы заскользили, всем лесом, назад, вдоль половичной щели, по направлению моей мысли: к порогу. Лишь когда лес-самобег остановился именно там, где мне было нужно, и я осторожно, по его наклонным вершинам, добрался до порога, – я понял, что выигрышем времени всецело обязан половой щетке, выметавшей меня в обгон мыслям вон из чужой квартиры.

Я оглядел прощальным взглядом мир моих злоключений и готовился перевалить через порог. Но внезапно тихий шуршащий звук привлек мое внимание. Я вслушался: шуршание овнятилось в слова. Правда, иные из них западали, как клавиши разбитого рояля. Считая, что порог за мной обеспечен, я пошел навстречу словам, желая разгадать феномен. Близясь к звуку, я очутился в куче скомканных паутин и сора, вместе с которым я странствовал на щетке. Сначала я не различал говоривших. Затем, вглядевшись сквозь плетение паутин внимательнее, я заметил несколько странных мохнатолапых существ, которые, усевшись чинно в кружок, о чем-то беседовали. Мохнатолапые не замечали меня: двое из них, бывшие ближе всех к моему глазу, сидели, повернув ко мне узкие спины, обросшие серой, под цвет пыли, клочкастой шерстью. Ростом они были несколько ниже моего. Смысл их речей, сразу же заставивший меня притаить дыхание, сделал для меня ясным, что я присутствую на очередном заседании обыкновенных домашних Злыдней.

Еще год тому назад, работая по фольклору, я ознакомился

довольно точно с нравами и обычаями этой мелкой домашней нежити, обычно ютящейся по стенным трещинам комнат и странствующей вместе с домашним сором из угла в угол, с тем, чтобы серой, скучнящей все пылью, пропылиться человеку в глаз и в уши, в мозг и в самые его мысли, делая ему работу неспорой, а жизнь неладной. Это Злыдни, засев внутрь игольного ушка, мешают, вороша мохнатыми лапками, вдеться нитке в иглу; это Злыдни же, пробравшись внутрь уха, умеют зашептать одинокого насмерть. Не могло быть никакого сомнения: сейчас я слышал именно их.

– К порядку дня, – прошушукал старый серо-седой Злыдень, почесав круглым коготком облезлую сутулую спину. – С недавних пор стали поступать донесения, что от хозяина нашего трупом тянет. Значит, быть ему под лопатой. Верный признак. Предлагаю заранее обсудить: как нам быть с вдовой. Ширх, вы только что вернулись из командировки. Были ли вы там, куда вас посылали: удалось ли вам, Ширх, добраться до губ хозяйки и записать ее шепоты. Ведь мысль людей любит прошептываться наружу, и часто так, что и сами они этого не слышат. Итак, доложите собранию, каковы результаты.

В ответ послышался долгий и трудный кашель, после чего докладчик начал:

– Результаты таковы, товарищи Злыдни, что я промочил ноги и простудился. Вот.

Новый припадок кашля задержал на минуту речь.

– Дело в том, что подступы к бабьим ртам, как известно почтенному собранию, трудны – не за что уцепиться: ни волоска. Желая вернее выполнить свою миссию, я пробрался на любимую диванную подушку хозяйки, на которой она не прочь посумерничать, когда остается одна. После двух дней ожидания мне удалось-таки очутиться у самого ее лица, но вышло так, что место, в котором я находился, оказалось под одной из ее бровей. «Плохо», – подумал я, так как знал, что отсюда до верхней ее губы добрый час ходьбы. Надо было не мешкать. Ведь каждую минуту она могла оставить подушку, и тогда ищи, где хочешь, ее бабьих шепотов. Я быстро зашагал, стараясь поспеть вовремя, но тут, как раз когда я продирался сквозь ее ресницы, огромными черными дугами упершиеся в золотое шитье подушки, на меня полил сверху соленый дождь. Я ускорял шаги, стараясь поскорее добраться до сухого места, но…

– …Но вы дошли все-таки до шепота? – перебил нетерпеливо председатель.

– Видите ли, – пробормотал Ширх, – выбравшись на сухое место, я присел на минутку, чтобы переобуться. Только на минутку. Башмаки мои промокли насквозь. А у меня давний ревматизм. Не могу же я ради бабьих слез рисковать своим здоровьем.

– К черту ваше здоровье, – заскрипел председатель, – из-за вашего дурацкого переобувания вы выпустили из своих ушей то, за чем были посланы: слова. Как вы смели, шурший

сын, явиться сюда без единого хозяйкиного слова.

– Ну одно-то я все-таки поймал. Правда, издали и краем уха. И если собранию угодно… – Он стал рыться коготками внутри своего вдруг зашуршавшего бумагами портфеля.

– Мы слушаем.

И среди наступившей мертвой тишины я услыхал, как прозвучало *мое имя*.

И через много лет после этого я старался понять, как это могло произойти: Злыдень мог просто недослышать. Может быть, и я не расслышал недослышавшего Злыдня. А может быть… но к чему нам сейчас возиться со всеми этими «может быть». Важно одно: тогда я не усомнился. Радость, острая радость полоснула меня лезвием по сердцу. Вероятно, я даже вскрикнул или сделал резкое движение, потому что Злыдни вдруг замолчали и, пригнув головы к ступням, свернулись круглыми комьями пыли, слившись, до неразличимости, с серой грудой сорин и мусора. О, мой друг, никогда, ни прежде, ни после, я не переживал того чувства прозрачной чистоты и растускленности духа, как здесь, внутри грязной кучи мусора, когда я, идя вслед за моим именем, ласково и печально звавшим меня, повернулся спиной к порогу и спешил, раздвигая канаты паутины, преграждавшие путь, навстречу новым приключениям.

Конечно, лишь завязав глаза логике, можно было решиться на это безумие, но меня влекла та алогичная сила, которая притягивает железную пылинку к магниту и заставляет

камень падать назад к земле.

Я находился на огромном, прикрытом сверху темнотой, квадрате прихожей, из которой расходились врозь три двери (о последнем обстоятельстве я узнал много позже). Тут не было ни восходов, ни заходов солнца, лишь изредка вспыхивало и гасло ввинченное неподвижно в зенит тускло-желтое светило, которое на прежнем своем языке я бы назвал электрической лампочкой. Ориентироваться было очень трудно, и нет ничего удивительного в том, что я спутал двери. Перейдя через один из трех порогов, я стал продвигаться вдоль половицы, не подозревая того, что вместо будуара я попал в лабораторию. Лишь когда вместо милого «Шипра» мне оцарапало ноздри острым запахом ртути и спирта, я понял, что сбился с дороги. В дальнейшем я решил не доверяться моему миллимикронному шагу (о, если бы к моему бедру в те дни привесить педометр, не знаю, хватило ли бы у него в его барабане цифр) и пользоваться по возможности более быстрыми способами передвижения. Сообразив, что старый профессор ходит, и, наверное, регулярно, из будуара в лабораторию и обратно, я решил, подражая бацилле, о которой с таким страхом он однажды говорил, использовать его тело как некое старое, заклепанное судно для дальнейшего рейса.

Но, вспомнив рассуждение Злыдня о подступах и подходах, я подумал, что мне опасно иметь дело с подметками шаркающей руины и что гораздо лучше будет устроиться где-нибудь внутри манжеты, что ли. Но доступ к манжетам

был возможен лишь с плоскости рабочего стола, по которому шарили, ползая меж приборов, бумаги и склянок, волосатые пальцы ученого. Я решил действовать именно так: искусство брать высоту было мне уже знакомо. Не стану описывать, как после двух-трех дней борьбы за вертикаль я наконец очутился на огромном лабораторном столе. Отовсюду сверкали металлические и стеклянные трубы. Взобравшись на край одного громадного сосуда, я увидал себя на крутом металлическом берегу сине-серого овального озера. Сизые ртутные пары клубились над ним; это была ртутная ванна. Сильная головная боль заставила меня искать других мест для прогулок. Вскоре путь мне преградила стеклянная колоссальных размеров труба, вздутая снизу, наподобие того пузырька, который был виновником всех моих приключений. Подняв глаза кверху, я увидел, что стройный вертикальный стеклянный ствол трубы взят в черную и синюю череду делений и цифр: перспектива, умаляющая предметы, помогла мне понять, что это термометр. Справа и слева, в охвате огромных железных колец, виднелись ряды таких же в цифры одетых стеклянных башен с острыми сверкающими шпилями у вершин. Не было никакого сомнения: здесь работали над исследованием температур.

Вначале мне как будто повезло: после двухчасовой погони за пальцами профессора, ползавшими вслед за карандашом по блокноту, мне удалось-таки впрыгнуть на один из волосков и взобраться на бугроватый мизинец экспериментатора.

Но через минуту мизинец, покинув бумагу, стал кружить, вместе со всей пятерней, над торчащей снизу, из железного обода, стеклянной трубой термометра. Любопытство подтолкнуло меня, – цепляясь за бугры кожи, я пробрался поближе к верхушке термометра: на ней не было стеклянного шпиля («Не запаян», – мелькнуло в мозгу), – и, свесившись с ближайшего к стеклу волоска, я мог видеть раскрывшуюся подо мной длинную дыру стеклянного колодца, над которым я наклонился, качаясь на волоске. В ту минуту мне и в голову не могло прийти, что вспугнутые мною Злыдни следят за вторгшимся в их дом существом и что один из них тут же, в трех шагах за моей спиной. И прежде чем я успел осознать опасность, что-то мохнатое прыгнуло мне на спину, вонзившись круглым когтем в кисть руки, охватывавшей волос. Застонав от боли, я попробовал стряхнуть с себя мохнатолапое что-то, цепко охватившее меня сзади. Но от этого волос, на котором повисли мы оба, качнуло еще сильней, а коготь, разрывая мне рану, делал боль нестерпимой. Слабея, я разжал руку и полетел вниз в раскрытое жерло стеклянного колодца. Жгучая влага залепила мне рот, глаза и уши, но, все еще не теряя сознания, я, нырнув раз и другой, всплыл на поверхность, тщетно цепляясь руками за скользкие стенки. Но влага сама держала мое легкое тело полупогруженным, и вскоре, прислонив спину к стене колодца, я отыскал позу, дающую мне хотя бы подобие отдыха. Рана моя почти мгновенно стянулась, не кровоточа, а два-три глотка той жидкости,

поверх которой я всплыл поплавком, наполнили мою голову вопреки всему случившемуся радостным шумом, а мускулы – жаждою борьбы: термометр, очевидно, был спиртовой.

Однако, когда первое действие спирта кончилось и возбуждение упало, я начал чувствовать признаки тоски и страха. Но естественная сонливость, приходящая вслед опьянению, спутала все в моей голове, и я крепко заснул, ногами в спирт, головой в стекло.

Открыв глаза, я увидел: дыра, зиявшая сверху, была остеклена. Я оставался совершенно один, в наглухо запаянном термометре. Выход в жизнь мне, пылиночному человечку, был невозможен: замурованный навсегда в стекле, я должен был ждать лишь одного – смерти.

Однако смерть не приходила: казалось бы, остекленная пустота с выкачанным воздухом должна бы быстро отнять дыхание, а там и жизнь. Но, очевидно, желтая тинктура придавала моему телу особую, повышенную смертеупорность. Я и раньше удивлялся своей способности подолгу оставаться без пищи, выдерживать сильные толчки, а главное, той несоразмерной моему теперешнему росту силе, которая позволяла мне преодолевать, казалось бы, и непреодолимые препятствия. Сейчас все это лишь затягивало борьбу, не давая ни малейшей надежды на успех. Злыдни, в дела которых вздумал было я вмешаться, ликвидировали меня: будь я еще там, у тонкого стеклянного шпиля термометра, я мог бы еще надеяться проломать тонкую стеклянную крышку тюрьмы, но

здесь, внизу, среди толстых прозрачных стен, я был похож на муху, безнадежно бьющую крылышками об оконное стекло. Да, черная десятка точно предсказала мне мою судьбу. Мир был близко, тут, за стеклянной стеной, но я навсегда был отрезан от него и выключен из бытия. С мучительной ясностью я вспоминал образ женщины, завлекшей меня сюда, внутрь остекленной пустоты, и страстная жажда вернуться в тот мир, где *она*, овладевала мною: я бился головой о стеклянные стены термометра, прильнув к ним лбом, искал глазами среди маячащих из-за стен контуров очертание ее, – но у глаз алела лишь обратным выгибом цифра 18. Термометр стоял на восемнадцати.

Однажды поутру, глянув на стекло, я увидел, что восемнадцать выросло в двадцать. Не прошло и часу, как двадцать поползло куда-то книзу, а сверху надвинулось двадцать один, потом двадцать два. Лифт пришел в движение и медленно подымал меня кверху. Теперь, вглядываясь в стеклянный купол своего колодца, я заметил, что он значительно ближе. Поднявшись еще на два-три деления, я увидел широкую царапину, ползшую зигзагами по внутренней поверхности стеклянного колодца к месту запайки. Правда, от нижнего края царапины, представлявшейся мне довольно глубокой рытвиной, меня отделяло еще семь или восемь цифр, чередой подымавшихся по наружным стенкам термометра, – но тотчас же план освобождения, если только оно было возможно, стал ясен сознанию: ждать, пока температура не подымет

до царапины, а там, цепляясь за ее края, ползти вверх по зигзагам к хрупкому и тонкому куполу, проломать его, и…

Сердце расстучалось во мне от волнения. Я торопил медлительные цифры. По ночам я не спал, стараясь и сквозь темное стекло угадать смену их красных контуров. До края царапины оставалось лишь два деления. Но когда я, дождавшись рассвета следующего дня, готовый начать свой путь к свободе, взглянул наружу, то увидал у самых глаз очертание оставленной позади цифры: термометр опускался. Очевидно, период поздних летних жар закончился, там, за стеклом, был уже август, – и сейчас, видя, как зигзагообразная рытвина медленно уползает кверху, я в отчаянии думал, что раньше весны мне никак не добраться до ее края.

Но судьба продолжала дразнить меня: не прошло и нескольких дней, как контуры предметов за стеклом переменились. Вокруг меня заползали длинные тени, термометр раз и другой сильно качнуло, и мое тело, опустившееся было до цифры четырнадцать, вдруг быстро стало подниматься от цифры к цифре вверх: очевидно, мы с термометром участвовали в каких-то опытах по термодинамике. Следя за сменой цифр, я чувствовал себя, как путешественник, который после долгих странствий возвращается на родину и, глядя сквозь стекло вагона на плывущие мимо глаз названия станций и полустанков, ждет последней пересадки, обещающей ему близкий отдых и радость встреч.

Я видел ее, дразнящую своим уползающим вверх зигза-

гом, проклятую рытвину, видел почти у глаз: еще толчок, еще одна калория, и я бы дотянулся пальцами до ее края, и тогда… но спасающая черта снова стала отдаляться. Сдерживая накапливавшееся во мне бешенство, я успокаивал себя, говоря, что опыты еще будут повторены, что еще не раз старый профессор будет меня гонять по вертикали вверх и вниз, пока я не достигну-таки, рано или поздно, нужной мне черты.

Но опыты не повторились. И странно: самые движения контуров и теней, окружавших меня ранее, почему-то прекратились. Я долго ломал себе голову, стараясь понять причину внезапной обездвиженности мира за стеклом, пока одна фраза из разговора Злыдней, всплыв как-то в памяти, не дала более или менее вероятного объяснения происходящему. Наверное, профессор серьезно заболел и работа в лаборатории остановилась. Тысячи предположений, одно другого мрачнее, закопошились в моем мозгу: если *она*, – думалось мне, сделается свободной, то как захочет она использовать свою свободу? И нужно ли мне, здесь, в стеклянном мешке, ждать освобождения от весеннего тепла: весны делают свое дело не только внутри стеклянных трубок, но и внутри артерий и вен; она юна, нас ничего не связывает, кроме десятка случайных встреч на лестнице и у подъезда, мы не сказали друг другу ни единого слова, кроме того, которое украли у нее Злыдни, – и на что могу рассчитывать я, человек внутри стеклянной пустоты.

Нервы мои были натянуты до последней степени. И когда однажды, глянув сквозь толщу стекла, я увидел одного из Злыдней, который, уцепившись снаружи за слой краски, из которой была сделана цифра, с злорадным любопытством разглядывал меня, диковинное существо, изловленное ими в стеклянную клетку, я не выдержал и закричал от стыда и гнева, но крика не получилось: безвоздушная пустота убила его прежде рождения, и я бессильно и беззвучно бился внутри своего колодца.

Только теперь я догадался, почему контуры и тени, отмаячившие вокруг меня, все время были беззвучны: приди сейчас *она* и повтори мне *то* слово, я, включенный в безвоздушье, не мог бы услыхать его. Я дошел до той черной черты, дальше которой нельзя. Меня жалили мысли, и я решил вырвать им их жало: не видя иного способа, я стал пить. Ведь я плавал поверх спирта: стоило мне лишь нагнуться, и после десятка глотков в голову всачивалась муть, мысли качались и тухли. Сознание, перед тем как погаснуть, вспыхивало причудливыми грезами и фантазиями: самый запах спирта преображался в тонкое благоухание «Шипра» и по мерцающему стеклу прозрачной темницы, как в сказке Андерсена, ползали скользкие и пестрые сны.

Проснувшись с головной болью, я оглядывал все тот же обездвиженный и обеззвученный мир вокруг меня и снова гасил сознание спиртом: вскоре можно было заметить, что я, говоря без всяких метафор, *опускаюсь*: деление за деле-

нием, цифра за цифрой. Видя уходящий, с каждым днем все дальше и дальше от глаз потолок, понимая, что жажда моя, делавшаяся неутолимее от дня к дню, тянет меня к дну и отнимает единственный шанс, я пробовал бороться с нею и не мог: спирт убывал, и вместе с ним опускался книзу и я. Внутри своего безвоздушия я не слыхал, как отпевали старика профессора, и с пьяных глаз не уловил момента, вероятно, внезапно возникшей вокруг меня похоронной суетни и движения: я уже успел привыкнуть к тому, что алкоголь раскачивал и шевелил контуры и тени, в которые был впутан я, и утратил грань между реальным и нереальным. Поэтому я не сразу осознал, что произошло, когда меня вдруг ударило звуком о слух и сильно и резко швырнуло в сторону. Привычным движением я потянулся к стенке, но вместо стенок была пустота. Сразу же, отряхнув с себя хмель, я недоуменно огляделся по сторонам: ни справа, ни слева, ни сверху стекла не было; я стоял, ясно чувствуя опору под собой, по грудь в луже спирта, неподалеку же сверкала огромная глыба битого стекла, а об уши бился чей-то грузный удаляющийся шаг. Как я узнал впоследствии, термометр, в котором я провел шесть месяцев сряду, был разбит случайно во время той обычной уборки и перестановки вещей, какая происходит после похорон, когда нужно как-то по-новому заполнить пустоту, оставленную той вещью, которую вынесли, запрятав в гроб, прочь из привычного сцепления вещей и тел с вещами и телами.

Но в самый момент освобождения я мало был склонен к размышлению о причинах и следствиях: нежданно брошенный из смерти в жизнь, я с трудом верил своему счастью, – и, боясь, что стеклянный мешок снова сомкнется вокруг меня, я то шел, то бежал, боясь, что смерть возобновит свою погоню.

Теперь я точно знал, куда иду: к склянке и к знаку. Я уже видел себя в своем прежнем большем теле, я уже видел мои встречи с нею, но по пути мне все же надо было опасаться ее подошв; попади я сейчас, до преображения, под одну из них, и меня бы вымели вместе с сором и пылью вон, не удостоив даже тех торжественных обрядов, какие были применены к праху старого профессора.

В дальнейшем возвратный мой путь был довольно благополучен: достигнув порога, я очутился на лестнице. Ступеньки ее были для меня опасны: я стал спускаться по железной штанге, скрепляющей их сбоку; ее ровный наклон и скользкая поверхность позволили мне сократить время путешествия, спускаясь по ней сверху, как по ледяной горе. Раньше, чем я мог рассчитывать, я был у двери, вводящей в мою комнату. Добраться до замочной скважины было чрезвычайно трудно. После двух-трех неудачных попыток я стал искать иной лазейки: вскоре узкая щель меж порогом и дверью помогла мне, правда, с трудом, но протиснуться в свое старое обиталище. Затем два дня форсированного марша вдоль хорошо знакомой мне половицы, и я снова стоял у стеклянно-

го туннеля-склянки. Помню, у самого входа в стеклянный колодезь склянки, как ни жадно стремился я к ней, я на минуту задержал шаги: после всего, что произошло, я боялся входить внутрь стекла; мне казалось, что я могу быть опять изловлен в стеклянный мешок. Но, преодолев пустой страх, я, конечно, достиг магического знака и коснулся его; в тот же миг будто что взорвалось в моем теле: разбухая со страшной силой, оно заполнило всю полость туннеля; стеклянные стены его хрустнули, как скорлупа яйца; а тело, все разбухая и разбухая, возвратило меня в мою прежнюю меру и в старое пространство.

Я сделал шаг-другой к двери, в одну секунду свершая труд моего прежнего страннического дня, – и вдруг услышал топот подошв и шум голосов за доской двери. В первый момент близкий звук подошв заставил меня инстинктивно скорчиться и искать укрытия, чтобы не быть раздавленным. Но, вспомнив, что превращение уже позади, я громко засмеялся и, отыскав ключ, подошел к двери. За дверью как-то тревожно, почти испуганно, зашептали. Помедля минуту, я вдел ключ в замочную скважину, но, странно, – бородка его встретилась с бородкой другого ключа, одновременно сунувшегося в скважину снаружи. Столкнувшись, оба ключа тотчас же выдернулись обратно.

– Кто там? – спросили нетвердым голосом.

Я спокойно назвал себя. И тотчас же я услышал шум убегающих подошв. Недоумевая, я вложил ключ в опроставшу-

юся скважину и отщелкнул замок. Что-то мешало снаружи открыть мне дверь: я дернул сильнее, дверь распахнулась, а у ног моих на обрывках веревки лежала сломанная сургучная печать. Очевидно, комната моя, в месяцы безвестного отсутствия, была опечатана, и комиссии, пришедшей вскрыть ее, довелось встретиться с безвестно отсутствующим, проникшим в свою комнату сквозь опечатанную дверь. Мои прежние серьезные занятия обеими магиями не создали мне ореола, но достаточно было одного глупейшего случая со стальными бородками, ткнувшимися друг в друга, чтобы создать мне славу новоявленного Калиостро. Да, мой милый, люди никогда не умели отличить мистерии от фокус-покуса.

# II

Когда я днем позже встретился с той, с которой потерял было надежду встреч, мы обменялись улыбками и поклоном. Ее лицо было обернуто в складки крепа, под ногами стлался скрипучий мерзлый снег, но во мне, обгоняя медленные календарные листы, уже наступала весна. И когда из-под оттаявших булыжин города поползла, тискаясь в щели, анемичная желто-зеленая травка, а синие стебли уличных термометров тоже стали длинниться навстречу солнцу, – и я и она, мы перестали прятать друг от друга те простые, но вечные слова, которые по весне вместе с почками, зябко втиснувшимися в ветви, прорывая тусклую кожуру, лопаются и раскрываются наружу, в мир.

Скоро я стал частым гостем в стране моих долгих и трудных странствий. Мы не стали выжидать, пока черви, как полагается, доедят профессора, – и отдались друг другу. Счастливую развязку ускорило и то интригующее мою возлюбленную всезнание, которое я обнаружил, рассказывая ей в первых же наших беседах о всех интимнейших деталях ее жизни, которые знали лишь она, Злыдни да я. Многое во мне пугало ее и казалось странным, но таинственность и страх верные союзники на пути к женскому сердцу.

Время быстро катило вперед, и часовая стрелка, высунувшись из его кибитки, задевала о дни с той же быстротой, с ка-

кой шпага Мюнхгаузена стучала при тех же обстоятельствах о верстовые столбы. Сначала я отдавал любимой женщине все досуги; потом досугов не хватило – я стал красть для нее время у рабочих дней. Учитель мой хмурился.

– Предупреждаю вас, – сказал он мне однажды, – если история о двух сердцах, которую открыла вам моя желтая тинктура, ничему вас не научила, – мне придется прибегнуть к склянке с синими каплями. Сила стяжения, скрытая в них, много больше. Но и испытание, и путь, таимые в ней, труднее и жестче.

Я не донес с собой слов учителя дальше порога. И так как я обронил слова, то вскоре мне предстояло получить пузырек, полный притягивающих, но страшных возможностей.

Тем временем солнечно-ясный мирок, в котором я продолжал жить, стал мутнеть и блекнуть, и любовь моя день ото дня становилась все тревожнее и печальнее. Глаза подруги глядели уже не так и были уже не те. К ясному звуку ее голоса примешались какие-то мучающие обертона, к меду – полынь, а к вере – подозрение и ревность. Иногда я видел в руках ее какие-то узкие конверты, инстинктивно отдергивающиеся от моего взгляда; иной раз, придя раньше условленного часа, я не заставал ее дома; раз или два, во время внезапной встречи с ней на улице, я подметил выражение досады и испуга, скользнувшее по ее лицу. Объяснения ее были как-то спутаны и гневно возбуждены. Мне отвратительны нелепые сцены или хотя бы расспросы: я молчал, но се-

рая паутина подозрений оплеталась вокруг меня все цепче и цепче, и какие-то пыльные дробные мысли топтались на серой корке мозга.

«Кто знает, – говорил я себе, – если Злыдни столкнули меня тогда в пустоту, то не они ли толкнули под руку того, кто ее уронил и тем раскрыл для меня мою прозрачную тюрьму?» Да, я чувствовал, как серые мохнатолапые Злыдни заворошились во мне, полня собою мои глаза и уши, – и я стал думать, что только им, неприметным, ведомы все те неприметности, которые, оседая серыми пылинными слоями, мучили меня и не давали мне жить. Я – существо, вернувшееся в свое неповоротливое и огромное тело, – потерял сейчас власть над ускользающей от касания и видения неприметностью, в которой и пряталось то мучащее меня *что-то*, которое превращало все «да» в «нет», все «ты» в «он».

«Что ж, – размышлял я, – может быть, опять предпринять путешествие к Злыдням? Они знают. Но захотят ли они сказать? И чему больше верить – нежитям или жизням: моей и ее?»

Помню, эта мысль впервые затлела во мне в одни из сумерек, когда я, – что теперь все чаще и чаще случалось, – сидел в будуаре, дожидаясь знакомых легких шагов. Но она все не приходила.

Помню, в нетерпении я поднялся и зашагал из угла в угол: под подошвы мне то и дело попадалась мягкая шкура, глушащая шаги. Вдруг я остановился, помню и это ясно, и,

став на колени, долго и пристально рассматривал рыже-бурую шкуру, вороша ее шерсть меж пальцев. Воспоминания вдруг хлынули на меня – и я, день за днем, час за часом, с лицом, наклоненным над густой щетиной ковра, повторял труды и мысли оставленного позади пути.

– Опять заблудился, – прошептал я и поднялся с колен. Новый путь звал меня. Наутро я получил от учителя синюю тинктуру. Оставалось лишь сделать некоторые приготовления и довериться будущему, ждущему меня под притертой пробкой еще невскрытой склянки. От неизвестности, всочившейся в меня, я бежал в неизвестность, запрятанную внутрь синих капель. Настало время: сменить стук сердца на стук шагов.

Мой второй старт состоялся в один из дней ранней осени. За окном ветер рвал и комкал листья и швырял пылью в окна. Я не застал ее – женщины, которую любил: это, конечно, нисколько меня не удивило. В прощаниях я не нуждался.

На привычном месте, у края будуарного столика, лежали ее любимые, старинной работы, часики. Сегодня она забыла и их.

С минуту я слушал звонкое тиканье, напоминавшее чей-то мерный и дробный шаг, а потом подумал: пора. Сняв одутлое хрупкое стеклышко с циферблатных цифр, я выпилил тонким напильником, припасенным заранее, еле заметную треугольную выемку в край стекла. Затем вставил его обратно. Теперь для меня имелись проломные воротца, вводящие

на белую поверхность циферблата.

План мой был прост: зная, что женщина, одиночество которой я хотел изучить, редко когда расстается с этим вот металлическим, тихо тикающим существом и часто ищет своих условленных минут и сроков у остриев шевелящихся стрелок дискообразного существа, я решил поселиться на скользкой эмалевой коже его циферблата и сквозь прозрачный купол наблюдать за всем происходящим.

Проделав операцию, сплющившую меня в существо много меньше Злыдня, я без труда отыскал треугольную лазейку. Когда я вступал на край циферблата, часовая стрелка, против острия которой я впилил свой импровизированный вход, успела отползти относительно недалеко, и, повернувшись влево, я мог ясно видеть ее, черным и длинным висячим мостом протянувшуюся над головой. Металлический пульс, резонируя о стеклянную навись высоко вверх уходящего свода, с оглушительным звоном бился о мои уши. Сначала огромный белый диск, по которому я шел, направляясь к центру, сразу же мне почему-то напомнивший дно круглого лунного кратера, – долгое время казался мне необитаемым. Но вскоре мной овладело то ощущение, какое испытывает путник, проходящий, во время горного подъема, сквозь движущиеся, смутно видимые и почти неосязаемые облака. Лишь после довольно длительного опыта и я стал различать те странные, совершенно прозрачные, струящиеся существа, которые продергивались мимо и сквозь меня, как

вода сквозь фильтр. Но вскоре я все же научился улавливать глазом извивы их тел и даже заметил: все они, и длинные, и короткие, кончались острым, чуть закорюченным, стеклисто-прозрачным жалом. Только пристальное изучение циферблатной фауны привело меня к заключению, что существа, копошившиеся под часовым стеклышком, были *бациллами времени*.

Бациллы времени, как я вскоре в этом убедился, множились с каждым дергающимся движением часовой, минутной и даже секундной стрелки. Юркие и крохотные Секунды жили, облепив секундную стрелку, как воробьи ветвь орешника. На длинной черной насести минутной стрелы сидели, поджав под себя свои жала, Минуты, а на медлительной часовой стреле, обвив свои длинные, членистые, как у солитера, тела вокруг ее черных стальных арабесков, сонно качались Часы. От стрел, больших и малых, отряхиваемые их толчками, бациллы времени расползались кто куда: легко проникая сквозь тончайшие поры, они вселялись в окружающих циферблат людей, животных и даже некоторые неодушевленные предметы: особенно они любили книги, письма и картины. Пробравшись в человека, бациллы времени пускали в дело свои жала: и жертва, в которую они ввели токсин длительностей, неизбежно заболевала Временем. Те из живых, на которых опадали рои Секунд, невидимо искусывающие их, как оводы, кружащие над потной лошадью, – жили раздерганной, рваной на секунды жизнью, суетливо и загнан-

но. Те же… но воображение вам, мой друг, доскажет лучше моего.

До своих блужданий по циферблатной стране я представлял себе, что понятия порядка и времени неотделимы друг от друга: живой опыт опрокинул эту фикцию, придуманную метафизиками и часовщиками. На самом деле сумбура тут было больше, чем порядка! Правда, почти каждая, скажем, Секунда, вонзив в мозг человеку жало на глубину, равную себе самой, тотчас же выдергивалась из укушенного и возвращалась назад под циферблатное стекло доживать свой век в полной праздности и покое. Но случалось иногда, что бациллы времени, выполнив свое назначение, не уступали места новым роям, прилетевшим им на смену, и продолжали паразитировать на мозге и мыслях человека, растравляя пустым жалом – свои старые укусы. Этим несчастным плохо пришлось в дни недавней революции: в них не было…м-м… *иммунитета времени*.

О да, мой друг, уже несколько лет спустя, работая в своей лаборатории, я положил много труда, стараясь, подобно Шарко, изготовившему свою противочумную сыворотку, дать страждущему человечеству *прививку от времени*. Мне проблема не далась: значит ли это, что она не дастся и другим?

Мой первоначальный план пришлось в корне изменить: то, чего я искал за стеклом, оказалось тут, под стеклом. Все прошлое моей возлюбленной, правда, разорванное на мгно-

вения, ползало и роилось вокруг меня.

Как-то случайно, изловив одну из юрких Секунд, я, несмотря на ее злобное цоканье и тиканье, крепко сжал ее меж ладоней, всматриваясь внутрь ее бешено извивавшегося тела, – и вдруг на прозрачных извивах Секунды стали проступать какие-то контуры и краски, а цокающий писк ее вдруг превратился в нежный звук давно знакомого и милого – милого голоса, прошептавшего тихо, но внятно мое имя. Я вздрогнул от неожиданности и чуть не выпустил из рук изловленного мгновения: несомненно, это была та выслеженная Злыднями Секунда, которая вела меня, уже несколько дней кряду, и сквозь радость, и сквозь страдание. Теперь *она* была в моих руках: отыскав тонкий и гибкий волосок, я стянул его петлю вокруг бессильно шевелящегося жала Секунды и стал водить ее всюду за собой, как водят комнатных мопсов или болонок.

Дальнейшая моя охота за бациллами времени только подтверждала феномен: очевидно, бациллы длительностей, введя в человека время, вбирали в себя из человека в свои ставшие полыми железки *содержания времени*, то есть движения, слова, мысли, – и, наполнившись ими, уползали назад в свое старое циферблатное гнездовье, где и продолжали жить, как живут отслужившие ветераны и оттрудившиеся рабочие.

Однако, если я наблюдал и изучал эти странные существа, то и сам я, в свою очередь, подвергся слежке с их стороны. Мои несколько хищнические повадки, конечно, не мог-

ли им особенно нравиться. Раздражение, вселенное мною в аборигенов циферблатной страны, от дня к дню возрастало и ширилось. Особенно опасным оказалось для меня то обстоятельство, что среди роя отделившихся длительностей оказалось несколько мигов, еще задолго до этого сильно пострадавших от меня и давно уже сеявших недобрые слухи о непрошеном пришельце. Дело в том, что еще под действием желтой тинктуры мое тело, как вы, вероятно, помните, так быстро и внезапно сплющилось и стянулось в малый комок, что бациллы времени, ютившиеся в моих порах, внезапно были ущемлены и с трудом могли выползти наружу. Эти-то инвалиды и обвиняли меня в злонамеренном покушении на их жизнь. Так как я плохо еще понимал металлически цокающие и тикающие звуки бациллового языка, то и не мог вовремя предупредить опасность, тем более что самое время восстало тут против меня.

Началось с того, что те самые крохотные по размерам бациллы длительностей, какие сейчас, при всем моем умалении, обитали внутри меня, под давлением общего настроения решили бойкотировать меня, и на некоторое время я остался *без времени*. Мне не сыскать слов, чтобы хотя мутно и путано передать испытанное мною тогда чувство обезвремененности: вы, вероятно, читали о том, как отрок Якоби, случайно ударившись мыслью о восемь книжных значков Ewigkeit [39], испытал нечто, приведшее его к глубокому об-

[39] Вечность *(нем.)*.

мороку и длительной прострации, охватившей вернувшееся вспять сознание. Скажу одно: мне пришлось вынести удар не символа, а того, что им означено, войти не в слово, а в суть.

Бациллы времени вернулись в меня, но лишь затем, чтобы подвергнуть мучительнейшей из пыток: *пытке длительностями*. Включенный опять во время, я, раскрыв глаза, увидел себя привязанным к заостренному концу секундной стрелки: мои руки, мучительно выгнутые назад, терлись о заднее лезвие движущейся стрелы, переднее же ее лезвие, вонзаясь мне в спину, сильными и короткими толчками гнало меня по делениям секундного круга. Вначале я бежал что есть мочи, стараясь предупредить удары лезвием о спину. После двух-трех кругов я ослабел и, истекая кровью, с полупотухающим сознанием, свис со стрелы, которая продолжала меня тащить вдоль мелькавших снизу делений и цифр. Но страшная боль от копошащегося в теле лезвия заставляла меня, собрав силы, опять бежать вдоль вечного круга среди злорадно расцокавшихся и издевающихся надо мной Секунд. Во время Гражданской войны мне довелось как-то мельком видеть, как конный осетин, закинув аркан на тонконогого жеребенка, тащил его за собой: животное не поспевало за натянувшимся канатом, тонкие и слабые ноги его путались и подгибались, но веревочная петля тянула его спиной и брюхом по камням шоссе и заставляла бежать и падать, падать и вновь бежать на искалеченных и дрожащих ногах.

Пытка продолжалась без перерыва: и я знал, что моя воз-

любленная, оставшаяся там, за стеклом, каждый день заводит свои часики, толкающие лезвия, к которым я был привязан, все снова и снова вперед. Однажды, во время моего кровавого пути, какая-то легкая движущаяся тень прохладными черными пальцами прикоснулась к моей всклоченной и потной голове. Я поднял глаза: прямо надо мной медленно плыла огромным, плашмя занесенным надо мною мечом стрела, указующая часы. И вдруг среди отвратительно цокающих бацилл я услыхал тихий шуршащий голос, заговоривший со мной по-латыни:

– Omnia vulnerant, ultima necat [40].

Всмотревшись по направлению звука, я увидал у самого края повисшей надо мной стрелы привязанное, как и я, прозрачно-серое, кристаллической формы существо, сочувственно мне замерцавшее своими живыми гранями. Я было хотел ответить, но неумолимая секундная стрелка уводила меня куда-то в сторону от нежданного собеседника, и когда, протащив меня по кругу, она вернулась к прежнему делению, острия наших стрел уже развело и дальнейшая конфиденциальная беседа была невозможна. Но слова сочувствия, оброненные незнакомцем, придали мне силы – бороться и жить. До новой встречи с часовой стрелкой мне предстояло семьсот двадцать полных кругов, и каждый круг стоил доброй Голгофы.

---

[40] Надпись над секундными делениями старинных цюрихских часов: «Все ранят, последняя убивает».

Рассказ кварцевого человечка, с которым нас сводили лишь на минуту-другую наши пересекающиеся пути, чтобы тотчас же на бесконечно долгие часы развести врозь, сложился постепенно, сросся из малых кусков, как мозаика из разных камешков. Вот он:

– В это циферблатное захолустье я попал, как и вы: властью судьбы. Бесполезно пытаться разгадать ее загадки. Много веков тому назад мне довелось жить в ином, родном моей песочной природе, мире. Это не был глупый и плоский циферблат, о нет, вместе с толпами других песчин, общительно и доверчиво тершихся друг о друга, я был вселен в прекрасный из двух сросшихся вершинами стеклянных конусов сотворенный мир. – Мой новый знакомец говорил чуть витиевато, притом я слабо разбирался в латинской фразеологии и потому не сразу понял, что речь идет о песочных часах. – Вначале я находился в верхнем конусе. Там было шумно, весело и юно. В нас жили души грядущего. Мы, несвершившиеся миги, толкаясь гранями о грани, с веселым шуршанием проталкивались к узкому часовому устьицу, отсчитывающему бег *настоящего*. Каждому из нас хотелось скорей пролезть в это настоящее и прыгнуть, в обгон другим, в его узкую, схваченную стеклом дыру. Стремление *онастоящиться* охватило меня с непреодолимой силой: опадая вместе со слоями других, пробующих обогнать меня песчинок, я, пользуясь отточенностью своих граней и относительно тяжелым весом, царапая и расталкивая соперников, довольно

быстро протискался к яме. Скользнув меж двух-трех напрасно пытавшихся мне преградить дорогу бегунов, я прыгнул в вдруг разверзшуюся подо мной пустоту. Правда, в последнее мгновение какой-то страх схватил меня за грани, но было уже поздно: сверху давила масса бегущих вдогонку мне песчин, а скользкое стекло толкало внутрь новой конусом раскрывшейся остекленной пустоты. И, пролетев через нее, я больно ударился о верхний слой песчин, с трупной неподвижностью устилавших дно запрокинутого вершиной кверху конуса. Я пробовал было пошевелиться, мне хотелось назад, в тот верхний полумир, из которого я, одержимый безумием, бежал сюда, на кладбище отдоившихся мигов. Но я не мог сделать ни малейшего движения: путы, связывающие меня сейчас, ничто в сравнении с той обездвиженностью и конченостью, какие овладели мною тогда. Лежа, с гранями, недвижимо втиснувшимися меж граней других падших мигов, я видел, как новые и новые их слои все глубже и глубже погребали меня среди заживо мертвых.

Казалось, все было кончено, – вдруг резкий толчок опрокинул все наше кладбище дном кверху, и мы, отдоившиеся длительности, вывалившись из вздыбившихся могил, снова ринулись в жизнь. Очевидно, произошла какая-то космическая катастрофа, опрокинувшая бытие и заставившая оттлевшее и незатлевшее, *прошлое* и *грядущее*, обменяться местами. О да, тот двудонный мир, который мне пришлось променять на вот эту глупую черную насесть, мог то, чего иным

мирам не дано. И если бы…

Тут я прервал говорившего. Механизм часов не раз разлучал наши слова. Я боялся, что мне не хватит биений сердца до новой встречи: надо было торопиться.

– Мне все равно, – сказал я, – пусть ваша вселенная лишь простые песочные часы. Я хочу быть там, где прошлое умеет превращаться в грядущее. Бежим. Бежим в вашу двудонную родину, в страну странствующих от дна к дну. Потому что я – человек без грядущего.

Пока я говорил, лезвие стрелы успело увести меня так далеко от собеседника, что я не мог расслышать его ответного шуршания. Кричать было опасно: вокруг сновали бациллы времени. Я замолчал и, напрягая последнюю волю и последние силы, продолжал свой бег, кровавя циферблат израненными ступнями. Я потерял счет черным делениям круга, бегущим мне навстречу. В глазах у меня плыла кровавая муть, и казалось, что сердце бьется на истонченной, готовой вот-вот оборваться нити. «Конец», – подумал я в предсмертной истоме и вдруг увидел себя распростертым вдоль черных делений круга, с руками, свободно распластанными по эмали. Что-то серое и острогранное, ласково шурша, возилось около меня, стараясь оттащить меня в сторону от черных черт.

– Скорей, – прошуршало над ухом, – через полминуты стрелка вернется. Мужайтесь. Держитесь вот за эту грань: так. Идем.

И мой спаситель, переваливаясь, как танк, с грани на

грань, тащил меня к циферблатному центру.

Понемногу я стал приходить в себя и мог, хотя и с большим трудом, идти без посторонней помощи. Из двух-трех торопливых фраз, брошенных спутником, я узнал, что острые грани его кварцевого тела помогли ему перерезать путы и что сейчас нам надо спрятаться от возможной погони внутрь часового механизма. Когда я сообщил спутнику о треугольной лазейке у края циферблата, он было заколебался, но, когда мы повернули назад, было уже поздно: длинные цепи прозрачных бацилл ползали по белому циферблатному полю, стараясь охватить нас в кольцо. Я видел, как злобно ворошились их жала и как тела их, неслышно изгибаясь, не оставляя ни тени, ни отражения внутри стеклистого диска, с каждым извивом были все ближе и ближе.

– В механизм. Больше некуда, – проскрипел спутник, злобно ворочая кремнистыми ребрами.

– Но как?

– Хронометр стар; трением оси размололо эмаль: попробуем протиснуться.

Для меня это было не слишком трудно. Но моему танковидному спутнику пришлось долго хрустеть своими ломкими гранями, прежде чем околоосевая щель была взята, и мы оба, цепляясь за зубья и винты, стали осторожно нырять внутрь движущейся тьмы часового механизма. Сначала наши глаза ничего не различали: потом смутное алое свечение помогло нам различить какие-то очертания и контуры сталь-

ных выступов, шумно трущихся и со звоном ударяющихся друг о друга. Это был свет, сочащийся из самоцветного тела рубинов, вправленных в сталь: их призрачная флюоресценция вела нас своими дрожащими алыми бликами с зубца на зубец, часто спасая от их страшных ударов, протянувшихся из темноты.

– Ну, эти плоскохвостки сюда не посмеют, – презрительно выскрипела песчинка. – Только и умеют, что ползать вслед за своими стрелками, а в двудонность ни-ни. И подумать, – добрюзжал он недовольными осыпающимися словами, – до чего дожили: время и то приплющено к диску.

Я не разделял философских взглядов моего древнеримского друга: но сейчас меня интересовала не метафизика времени, а вопрос о том, как нам выбраться из-под наглухо защелкнутой задней крышки часов. Сев под шевелящимися красными лучами рубина, мы долго дискутировали на эту тему. Я предлагал, выждав время, все-таки попробовать, вернувшись на циферблат, прокрасться к лазейке. Но мой друг не желал вторично рисковать своими ребрами и предлагал более замысловатый проект:

– Отчего бы нам не попытаться остановить часы? Ведь стоит выдернуть волосок, движущий вот это все, что вокруг, и нас, вместе со всей этой стальной неразберихой, отдадут в починку: крышка отщелкнется и откроет путь.

И мы пошли, вернее, поехали на кружащих зубцах, изредка пересаживаясь с карусели на карусель. Диаметры кружа-

щей стали становились все короче, пока, наконец, самое малое колесико не подвезло нас к ровно дышащей спирали, то сжимавшей, то разжимавшей свое змеевидное тело в красных бликах, проникавших откуда-то сверху.

– Я им разрушу их мастерню времени, – прошуршал мой спутник и, переваливаясь с грани на грань, стал осторожно придвигаться к извиву стальной змеи. Я хотел ему помочь, но заботливый друг, напомнив о моих еще незаживших ранах, сказал, что управится и сам.

Я видел его наклоненным над упругим дыханием стали. Он успел уже протиснуть свои острые ребра к металлическому зажиму волоска, неуклюже ворошась у самого его корня, как вдруг, видимо, не учтя движения, попал под удар его стального извива. Миг – и тело его, сверкнув гранями, взмыло кверху и, звякнув о пододвинувшийся сверху острый зубец, тяжело рухнуло назад, в стальные тиски мерно дышащей пружины. Но верный друг и умирая продолжал борьбу: я видел, как, крошась рыхлой пылью в стальном охвате змеи, его тело продолжало втискиваться еще глубже в суживающий его зажим. И пружина, все замедлявшая и замедлявшая свои судорожные движения, дернулась раз, еще раз – и стала. С криком отчаяния я прыгнул вниз, окликая друга. Но он уже успел замолчать навсегда. И молчание смерти, будто расползшись от его неподвижного серого тела по спицам радиусов, остановило разбег колес, лязг зубцов и стук стали о сталь – и вся только что шумевшая и грохотавшая фабрика

времени вдруг замолчала, оставив меня одного в беззвучии и тьме над трупом моего единственного друга. Медленно, цепляясь глазом за рубинные блики, я подымался среди той особой «железной тишины», на которую впоследствии, кажется, покушалось перо одного из ваших писателей. Достигнув вогнутого дна глухой крыши остановившегося хронометра, я должен был еще день-два ждать, пока ее раскроют настежь, в свет. С первым же ударом солнечных лучей я, жмуря свои отвыкшие от дня глаза, быстро выпрыгнул наружу.

Мои предположения оправдались: я находился на рабочем станке часовщика и через минуту после освобождения должен был прятаться от выпучившегося на меня стекла лупы, повисшего надо мной: быть замеченным часовщиком, разумеется, не входило в мои расчеты.

Стараясь держаться неподалеку от часов моей возлюбленной, я дождался, когда ход их опять возобновился, и тотчас же запрятался поглубже в один из золотых рубчиков головки, которая, вращаясь, заводит часы. Раз или два мне пришлось прокружить, сжавшись в комок под едко пахнущими пальцами мастера. Но внезапно я услышал знакомое дразнящее благоухание и тотчас же стал выкарабкиваться из своего тайника. Прямо надо мной была роговая навись ее прозрачного ногтя: срываясь и падая, я все же успел пробраться в щель меж кожей и ногтем моей подруги и острый припадок счастья заставил меня плакать слезами встреч. Мне не хватило бы строф и слов Песни Песней, чтобы выразить то чувство,

какое рождала во мне близость к избраннице. Пусть эти пряно благоухающие пальцы, еще незадолго до того вращая золотые рубцы заводного стержня, осуждали меня на кровавую череду Голгоф, пусть и сейчас упругий ноготь избранницы мог раздавить меня, как жалкую мошку, – я благословлял и страдания, и смерть, потому что и смерть, и страдания были от нее. И когда, будто в ответ на мое счастье, стальное лезвие, нежданно сверкнув надо мной, вдруг врезалось в толщу ногтя, за край которого я цеплялся («Ножницы», – дернулось в мозгу), – во мне не было ни мига страха или гнева. Ловя губами роговой блеск ногтя, отстриженный вместе с ним, я покорно рухнул вниз. По счастью, до мягкой скатерти стола, на которую мы упали, было совсем близко: я даже не расшибся. О, мой милый юноша, если б сейчас кто-нибудь стал мне доказывать, что вся моя библиотека, выменянная на мерзлый картофель, не стоила и картофельной шелухи, я, пожалуй, не стану спорить, – но если вы захотите утверждать, что магия, таящаяся в любви, лишь вымысел дураков и поэтов, то… я с вами тоже не стану спорить, но буду твердо и четко знать, что вы еще не постигли любви: ведь это целых две магии – черная и белая, сочетающиеся, как белые и черные клетки шахматной доски. И если уж кончать сравнение, я в дни своих странствий был больше похож на шахматную деревяшку, заблудившуюся в черно-белой путанице, чем на шахматиста.

Но к делу: в тот миг обнимать отвалившийся кончик ног-

тя возлюбленной мне уже казалось малым, мне нужна была она вся, – и, охваченный жаждой возврата, я зашагал по прямой, держа путь к пузырьку, запрятанному, как точно помнил, здесь же, на столе, под металлическим вгибом чернильницы. Тут-то и пододвинулась мне под шаг черная клетка шахматницы любви: и странно, что с виду она была белым бумажным квадратом, вдруг тихо преградившим мне путь. Я, сберегая минуты, решил не сворачивать и смело ступил на белый квадрат. В ту же секунду огромные черные знаки, выползая друг из друга, с тонким скрипом ерзая по синим дорожкам бумаги, задвигались мне навстречу. Я вовремя успел отскочить в сторону и, когда знаки пронеслись со скоростью экспресса вдоль синей рельсы, продолжал путь вдоль обочины еще не просохших чернильных разводов: буква за буквой они складывались в какую-то смешную абракадабру, но когда я попробовал их сложить в обратном порядке, то мне уже было не до смеху. Круто повернув носки, я бросился вслед за убегающими словами, жадно ловя в зрачки их нарастающий, слово за словом, зловещий смысл. Недаром я читал где-то у Белого, что если слово начинается с «л-ю…», то еще неизвестно, что дальше: «любовь» или «лютик». Но помню, что, добежав до этого самого «лю», я вдруг почувствовал, что ноги подломились подо мной; вытирая холодный пот с лица, я опустился на бумагу: вокруг меня, будто вчертив в свой сомкнутый заколдованный круг, чернела своим заключительным ноликом буква «ю». И в этот мучительный миг

мне мнилось, будто весь мир, умалённый, как и я, кончался тут: внутри чернильной, крепко стянутой петли.

Пока я бездействовал, какой-то шуршащий белый потолок стал быстро надвигаться на письмо. Пока я успел сообразить, в чем дело, и принять меры, я уже очутился внутри запечатанного конверта с именем соперника, написанным где-то там поверх глухой бумажной толщи. В бешенстве я заметался из стороны в сторону, но это было бесполезно и вело лишь к тому, что, натыкаясь в полутьме конверта на новые и новые слова, присохшие твердыми горельефами к бумаге, я поневоле осмыслял их, что причиняло мне новую боль. В конце концов, отбезумствовав, я забился в угол конверта и стал покорно ждать дальнейшего.

Увы, у меня было больше чем достаточно времени и на размышления… Адрес, скрытый от моих глаз, тащил письмо сквозь сотни и сотни верст, и я соображал, что теперь мне, человечку меньше пылинки, вернуться назад, к спасительному стеклянному зигзагу, так же легко, как жителям планеты в системе Сириуса достигнуть нашей Земли. А временами я с горьким наслаждением сравнивал себя с крохотным самцом из семейства Wanessa Jo, которого природа, завлекши на ротовые щупальца его гигантизированной подруги, сначала продергивает сквозь все тайны ее тела, а затем, вместе с ее экскрементами, выбрасывает прочь.

Длились мысли – длился и путь. Бумажный слой глухого конверта плохо защищал от стужи, мучившей меня в улич-

ном почтовом ящике и частью в дороге: качаясь внутри своей нетопленой темной теплушки, я закалял себя для тех странствий, которые впоследствии нам с вами пришлось совершать в трудные и голодные годы войн.

Но прошло несколько дней, и рука адресата вскрыла конверт. О, как я ненавидел своего освободителя: еще до встречи с ним, вернее, с его манжетой, пододвинувшейся в момент чтения письма почти вплотную ко мне. Я успел сделаться опытным лазальщиком, – и мне ничего не стоило, впрыгнув в манжету, добраться до желтых бугров его кожи и меж реденькой рыжей поросли, покрывавшей склоны его руки, постепенно добраться до белого отвесного кратера стоячего воротничка, откуда, при умелом использовании кожных рытвин и прыщевых курганов, уже ничего не стоило добраться до щетины усов, обвисшей над красным жерлом рта. В данном случае, злыдневский прием перехватывания шепотов казался мне вполне целесообразным.

Но из этой затеи ничего не вышло: мимо меня проносился либо грохочущий, либо бубнящий воздух, но шороха шепотов я так и не дождался. Притом место было до чрезвычайности беспокойное: рот этого чудовища был вечно в работе: то он плюскался губами о губы, то налипал на стекло рюмки или бокала, то трясся и дергался от хохота и орудийного гула слов. Я не гожусь в Лепорелло и потому не завел каталога поцелуев, от которых мне не было покоя, особенно по ночам, когда я, спросонок, должен был крепко хвататься

за свой наблюдательный волосок, чтобы как-нибудь не ввалиться меж губ и губ. Изнуренный трудным путешествием, бессонницей, измученный длящимся унижением и ненавистью к этому грязному, нелепо огромному животному, которого искали за сотнями верст слова ее признаний, – я дольше не мог терпеть самой мысли о том, что мой гигантский соперник жив и как будто не собирается не жить.

Но что было делать? Для начала я решил предпринять разведку. Улучив час, когда чудовище захрапело, я, спустившись с своего наблюдательного поста, проник сквозь полуоткрытые губы и провал искрошившейся пломбы на поверхность его языка: под ногами у меня было кочкастое, с чавкающей слизью и влажью, втягивающей ноги, болотце. Постепенно, с кочки на кочку, я пробрался к его небу, и, раньше чем чудовище успело задвигать пастью, я уже протискивался сквозь узкий катакомбный ход евстафиевой трубы. Добравшись до среднего уха, я коротким переходом, лишь в одном месте прорвав сплетение тканей, преградивших мне путь, достиг кортиевой спирали, которой не хватало лишь пяти с половиной оборотов, чтобы превратить ее в модель Дантова ада. Чудовище к этому времени уже успело проснуться, и звуки его голоса, ввиваясь в звонкую спираль, как-то особенно навязчиво лезли мне в уши. Я стал обдумывать свой дальнейший маршрут. Случайно я вспомнил о так называемом гипотетическом человечке, измышленном Лейбницем в одном из его писем к Косту: гипотетический человечек,

пущенный ради полемических целей внутрь мозга человека, меж клеток которого он может свободно бродить, возвратился, как этого хотела математическая фантазия метафизика, с целым ворохом аргументов, якобы опровергающих материализм. Мое положение не располагало к философствованию, и если я что и хотел опровергнуть, то только право на бытие, которым пользовалось существо, в тканях которого я находился. Но лейбницевский фантазм мне понравился: я решил, что ему пора уж, давно пора, из мифа в действительность.

И вскоре я уже пробирался среди ветвистых дендритов и нейронов, спутавших свои осевидные отростки в одну мозговую чащу. Скорбная тень флорентийца, спутника всех разлученных, и тут мне напомнила о той из своих кантик, в которой описан лес самоубийц: нейронные ветви были живы и шевелились, отдергиваясь от прикосновения, и, когда я разрывал их, фибриллы сочились кровью и липкой влажью.

Я находился внутри мышления моего врага: я видел дрожь и сокращение рыхлых ассоциативных нитей, с любопытством наблюдал то втягивающиеся, то длиннящиеся щупальца нервных клеток, сцеплявших и расцеплявших свои длинные вибрирующие конечности. Я стал хозяйничать в чужом мозгу так, как это бы сделал дикарь, попавший на телефонную станцию: я разрывал ассоциативные волокна, как рвут провода в тылу у врага, кромсал концевые отростки нейронов, по крайней мере те из них, которые были мне под силу. Иные, отдергивающиеся друг от друга извилистые вет-

ви нервов я насильно связывал двойным морским узлом. Если б я мог, я бы выкорчевал весь этот мыслящий лес, но я был слишком мал и слаб и вскоре, выбившись из сил, весь в брызгах крови и рваного мозга, бросил свою жестокую, но бесполезную работу. И пока я отдыхал, живой лес уже успел вырастить новые нити и, спутав вокруг меня тысячи тысяч клеток, продолжал свой сцеп и расцеп ветвей, полз и дрожь тонких в склизких белых и серых сплетений.

Очевидно, мне одному, в пару рук, тут ничего нельзя было поделать: нужна была коллективная работа сотен и сотен таких же, как я. И мой противник, вероятно, спокойно получавший все эти вибрации и ползы в виде так называемой жизни, и не подозревал, что внутрь его мышления пробралось чужое, враждебное ему мышление, вся логика и сила которого сконцентрированы на том, чтобы истребить его навсегда. Да, пылинка захотела опрокинуть гору, столкнуть ее в ничто, и если Давид жалкой пращой свалил великана, то почему моя месть, думал я, не может посягнуть на великана в тысячи крат большего. Правда, на стороне библейского бойца было, по сравнению со мной, некоторое преимущество в росте, но на моей стороне было преимущество позиции. И, не медля ни мига, я стал готовиться к нападению.

Прежде всего надо было проникнуть к врагу в кровь. Прорвав один из ближайших капилляров, я, толкаемый током крови, по все ширящимся и ширящимся артериям быстро заскользил по направлению к сердцу. Рядом со мной плыли,

ударяясь о стенки, то сбиваясь в кучи, то расцепляясь на отдельные особи, какие-то довольно большие, круглой формы, с вздувшимися, мерно вбирающими и выдавливающими на себя кровь боками, – животные. Иногда эти красноватые пористые мешки, подплывая друг к другу, прикасались рубчатым ободом, охватывающим их тело, к такому же ободу соседа: это и был тот молчаливый язык, на котором изъяснялись эти красные камбалы, как первоначально назвал их я, не сообразив, что это попросту кровяные шарики.

Оседлав движущиеся бока одного из этих существ, я относительно легко заскользил меж круглых стен артерий. Вначале оседланное существо недовольно водило боками, стараясь сбросить меня в кровь, потом мы оба начали привыкать друг к другу. Сидя поверх одного из поперечных рубцов обода, живая ткань которого охватывала тело моего коня, я заметил, что он, в отличие от других, плывущих рядом круглых существ, норовит плыть против течения, что сильно тормозило нам путь. Соскользнув от случайного толчка на другой рубец обода, я увидел, что конь мой тотчас же поплыл в противоположном направлении. Тогда я, меняя седла, то есть систематически пересаживаясь с рубца на рубец, стал надавливать на них тяжестью тела, – и всякий раз движения красного мешка как-то менялись: так я стал совершенствоваться в разговорном языке кровяных шариков. Он оказался достаточно богатым для того, чтобы вобрать в себя то, что стало проступать все яснее и яснее в моем мозгу. Праща Да-

вида длиннила его руку в неравном поединке, на который он решился, всего лишь на пару локтей. Я же хотел размотать пращу, которая может добросить удар до самых дальних мишеней, пращу давно испытанную и выверенную в столетиях борьбы: я говорю об *агитации*.

Надавливая, как пианист на клавиши рояля, на рубцы множества живых ободов, проплывавших в вечном кровяном токе, я сыграл, обнаружив неплохую пальцевую технику, свой Totentanz [41], после которого всю эту клавиатуру пришлось захлопнуть черной крышкой навсегда. Внутри той гигантской фабрики, в которой я сейчас находился, насосы и клапаны действовали без роздыха, и несчастных тружеников крови катало вдоль вен и артерий ни на миг не прерывающимися толчками сердца. Круглые рабочие катыши денно и нощно кружили от сердца к легким и обратно. И, сгрузив баллоны кислорода, медленно ползли, чернея от натуги, под ношами молекул углекислоты и гемоглобинного груза. Им и в голову не приходило… впрочем, виноват, головы-то у них и не было, – зато она имелась у меня, – внутрь их рубчатых ободов никак не втискивалась мысль, что организация их труда построена на принципах эксплуататорства.

Мне пришлось перетрогать тысячи и тысячи рубчиков, трущихся об меня, прежде чем внутри этих врокососных мешков не возникла вложенная мною мысль о Венартпрофе и о восьмичасовом кровообращении. Идея так или иначе по-

---

[41] Танец смерти *(нем.)*.

кончить с чудовищем, мучающим и меня, и их, бедных безгласных вечных тружеников, захватила меня всецело: и вотрись сюда в кровь какой-нибудь новый Менений Агриппа, ему бы не переспорить – своими дурацкими баснями – в те дни ни меня, трибуна кровообращенческого плебса, ни лучших из моих учеников, которые, красноречиво действуя своими рубчиками, трущимися о встречные живые обода, катились быстро кружащими телами по всем разветвлениям текучей крови, всюду разнося наш лозунг: восемь часов кровообращения в день. И ни секунды более.

Сам я ни на миг не слезал с рубчатой спины моего нового друга, который научил меня не только языку кровяных шариков, но и сердечному чувству к ним: чувство это крепло с каждым ударом сердца, не дававшего ни секунды роздыха ни мне, ни им и безустанно бившего по нас захлестывающим током крови. Я называл своего нового друга Нолем (он был кругл, как и все его товарищи), и по мере того, как наши совместные скитания приобретали все более хлопотный и агитаторский характер, теплое чувство кровной дружбы с этим скромным работником крови, покорно подставлявшим свои натруженные бока под мои колени, росло и углублялось с каждым днем. Брожение, вызванное мною в венах моего Голиафа, ширилось и разгоралось с удивительной быстротой: мне, вероятно, удалось-таки взвинтить температуру моему врагу.

Не рассчитывая на одиночное выступление группы кровя-

ных шариков, примкнувших ко мне и Нолю, я, поручив последнему продолжать агитационную кампанию внутри жил, временно расставшись со своим единомышленником, проник в лимфатическую систему врага. Здесь работа протекала медленнее и труднее: сонно текущая лимфа замедляла путь и тормозила связь, а вялые мягкотелые лейкоциты, заселявшие мутно-молочную слизь этого тусклого и медлительного мирка, медленно и трудно усваивали боевые лозунги.

Правда, ценою неусыпных и упорных усилий мне, добравшись до селезенки, где рос и воспитывался молодой лейкоцитняк, удалось-таки замутить внутри его не успевших еще утолщиться и разрыхлиться оболочек. В результате целые кучи лейкоцитов призывного возраста отказались идти на микробный фронт и орды спирохеттов, бациллин, палочковидных хищников и ядовитых спирилл вторглись в кожные пределы организма.

Ноль тоже не терял времени даром: и когда я вернулся из лимфы в кровь, меня сразу же обожгло ею, как кипятком. Вокруг все бурлило и волновалось. Революционные дружины красных кровяных шариков двигались к узким капиллярам, где удобнее было принять бой. Часть микробов перешла на сторону защитников старого двадцатичетырехчасового рабочего дня. Близился момент, когда должна была (говорю нашим языком) пролиться кровь, если б она и так не лилась непрерывно из артерий в вены и обратно.

Грозно расстучавшееся сердце не давало нам скучиться

и сконцентрировать силы, разрывая канонадой пульса наши смыкавшиеся ряды. Я приказал отступить в глубь капилляров. Но рассвирепевшая кровь гналась за нами и сюда, новыми и новыми ударами отрывая дружинников от скользких стен сосудов и снова швыряя в кровообращение. Тогда был дан сигнал: *строить баррикады*.

Сначала дело не ладилось. Но постепенно, сплющивая и связывая в одно комки слизи, сгустки, комья межклеточной ткани и трупы павших бойцов, нам удалось-таки провести *закупорку сосудов*.

Но радость победы длилась недолго. Скользя на своем верном Ноле от баррикады к баррикаде, я заметил, что мой носильщик движется все медленнее и медленнее.

– Скорее, – сказал я ему, подхлестываемый лихорадкой боя, – надо торопиться.

Ноль, задвигав изо всех сил вздувшимися боками, ускорил ход. Но ненадолго. Кровь, сквозь которую мы проплывали, утратив текучесть, что ни миг, становилась все гуще и вязче, делая движение трудным и медленным. Странный холод полз по круглым трубам артерий, сближая и стягивая их медленно стеклящиеся стены.

По пути, то здесь, то там, я видел группы победителей. Бессильно копошась в густящейся с каждой секундой кровяной грязи, они протягивали мне навстречу свои побелевшие рубцы, за ответом и помощью. Мой Ноль вдруг повалился на вздутый правый бок, придавив мне ногу. Он пробовал под-

няться и не мог, смутно шевеля своими холодеющими кольцевыми бугорками. С трудом высвободив ущемленную ногу, я попробовал поднять упавшего друга, но было поздно: он умирал. И пока я тщетно искал дрожащими пальцами бугорок, прикосновение к которому на их языке означало «прости», – смерть сделала свое дело. Я бросился к еще шевелящимся бойцам:

– Назад. Разобрать баррикады. Немедля. За мной.

Но и сам я, хромая, увязал в кровяном месиве, с трудом проталкивая тело вперед. Безногие же кровяные шарики, лишенные крови, не могли двигаться. Острая игла продернулась сквозь мой мозг: *не то*.

Захваченный борьбой с человеком, которого я ненавидел, организуя его смерть, я ни разу и не помыслил о том, что вместе с моим врагом должны погибнуть и все мои друзья, доверчиво и безответно отдавшие себя мне. О, теперь смерть маленького красного Ноля значила для меня гораздо больше, чем гибель в мириады раз большего противника: я готов был отдать назад жизнь похитителю моей любви в обмен на жизнь моего спутника и боевого товарища, милого и честного Ноля. А вокруг в стиснувшихся и медленно слипающихся стенах артерий валялись миллионы таких же, как он, убитых волей моей прихоти.

Кровь, та, что вокруг меня, давно уже остановилась, но кровь, кружившая во мне, никогда еще так густо не приливала к моему лицу: мне было стыдно, до мути и отвращения

стыдно самого себя, со своей смешной любовью и бесчестным гневом. Затем ли мой учитель доверил мне силу синей тинктуры, чтобы я превратил ее в орудие своих куцых страстишек и эгоизма?

Натыкаясь, что ни шаг, на трупы своих жертв, обманутых и убитых мною, я стал искать выход из тела гиганта, тоже превращенного мною в труп.

Надо было торопиться, чтобы до погребения всей этой огромной массы стылого мяса успеть выбраться наружу. Вначале, хотя я и сильно прихрамывал, знание анатомии помогало мне находить правильный путь внутри катакомбных ходов кровеносной системы. Но, сделав какой-то неверный поворот, я скоро заблудился и в путаном переулочье мелких артерий. А время меж тем не ждало. Напрягая слабнущие силы, я кружил, увязая по колена в сукровице и почти не продвигаясь вперед. Так прошел день. Другой был почти на исходе. Запах тления, вначале слабо различимый, от часа к часу превращался в отвратительную вонь, от которой я почти терял сознание. Но лабиринт сосудов, все ниже и ниже надвигавшихся на меня своими обвисшими сводами, все не выпускал меня наружу. Мысль о том, что и мне придется разделить участь моих жертв, приобретала все большую и большую вероятность. Философам легко, зарывшись носом в свои книги, строчить что-то там о презрении к смерти; но я хотел бы их ткнуть носами в то смрадное бездвижие смерти, в ту путаницу обвислых гниющих фибр и клеток, под тол-

щами которых барахтался я, – и трансцендентальные дураки раз навсегда вытряхнули бы из своих книг, вместе с паутиной и пылью, все свои дивагации о смерти и бессмертии.

Но как ни хлестал меня ужас конца, как ни напрягал я волю и мускулы, вскоре я понял, *что не успею* обогнать погребальный обряд, который, вероятно, уже где-то там, за пределами кожи, начался. Правда, ценой последних усилий мне удалось, прорывая сочащиеся трупным ядом ткани, прорваться на поверхность какого-то широкого хода, но тут сознание мое замутилось, и я упал в ничто. Не знаю, сколько времени длился обморок: вероятно, не более часа. Придя в себя, я увидел смутно брезжущий откуда-то свет. И странно: ткани трупа, на которых я лежал, мерно и тихо шевелились. Подняться у меня еще не было сил. Я лишь повел ладонью вокруг себя: какие-то мягкие толстые стебли, на сомкнувшихся вершинах которых я лежал, будто качаемые ветром, дуновения которого я не ощущал, ритмически двигались сначала медленно-медленно назад, от света, затем быстро и стремительно вперед, к свету: от света – к свету; от – к; и с каждым толчком мое легкое тело, скользя со стеблей на стебли, придвигалось все ближе и ближе к проступям света. Несомненно, я находился на мерцательных волосках пищевода, которые сохраняют способность к движению и после смерти организма.

Вскоре я уже мог подняться на ноги и без помощи мерцательных стеблей двигаться навстречу мерцанию света, про-

бивавшегося сквозь зубы трупа внутрь ротовой полости и даже немного далее. Добравшись до мертвого зева, я мог уже ясно различить гулкие звуки панихиды, угрожавшие мне быть моей панихидой. Работая изо всех сил подошвами, я добрался до знакомой испорченной пломбы в момент, когда голоса за длинной прорезью рта, зазиявшего над моей головой, пели о последнем целовании. Приходилось пережидать, хотя ситуация и не позволяла промедлений.

Выпрыгнув на поверхность трупа, я бросился со всех ног по направлению к боковой доске гроба, стремясь достигнуть ее края раньше, чем гробовая крышка успеет сделать то же самое. Добежав до оконечины плеча покойного, я уже стал взбираться на плоский, в два уступа, срез доски, как сильный деревянный звук от толчка крышки, пододвинутой к гробу, заставил меня заметаться из стороны в сторону – черная тень уже повисла надо мной, и приходилось выбирать: или назад под крышку, или вперед под удар деревянного ранта. Я всегда выбирал и выбираю: *вперед*. Бросившись поперек ребра доски, я бежал с закрытыми глазами, каждый миг ожидая быть расплющенным. Дерево с визгом и сухим стуком ударилось о дерево и… раскрыв глаза, я увидел, что его синяя масса сомкнула свои челюсти в полушаге позади меня и что сам я, потеряв равновесие, сорвался с края ранта и скольжу вниз, задерживаясь лишь о путаницу перевившихся серебряных нитей, сверкающей бахромой свешивающихся к земле. Инстинктивно я ухватился за одну из серебряных веревок и

тотчас же закачался на ней, чувствуя, что спасен. Но, когда я прижался, ища удобного положения, головой к витому серебру, я заметил, что волосы мои были ему под цвет.

Да, мой друг, я ушел от деревянных челюстей, проглотивших моего врага. Но молодость мою в тот день, поставив на дроги, повезли и закопали вместе с миллионами трупов, схороненных в трупе…

Не буду описывать вам, как я в груде конвертов, обрамленных черными полосами, отыскал конверт с именем женщины, которую, еще так недавно, я искал и хотел. Имя это, прежде самим очертанием своим учащавшее шаг моего сердца, было навсегда отрезано от меня черными линиями квадрата, включившего его в себя.

Спокойно вошел я внутрь еще не запечатанного конверта и не стал даже тратить ни времени, ни сил на чтение траурного письма, вскоре после того повезшего сквозь стоверстное пространство меня назад: к склянке. Точнее, к склянкам, потому что мысль о той, третьей, стеклянной подорожной, ждущей меня в лаборатории моего наставника, с нежданной силой овладела мною. Сидя меж четырех углов конверта, я думал о том, что не понятая мною история о двух картонных сердцах наконец раскрыла передо мной все свои карты; я думал, что путаные медитации мои об аристотелевских большом и малом человеке распутали теперь для меня все свои узлы: теперь я, микрочеловек, познал макрочеловека до конца: мы соприкоснулись – не кожей о кожу, а кровью о кровь.

И то, мыслил я, что отняла у меня пролитая алая кровь, то вернут мне, влившись в меня, алые капли третьей склянки.

Прибыв к месту назначения, я благополучно добрался до стеклянного знака, и он снова превратил меня в *меня*. В квартире не было ни души. Я оглядел знакомый будуар. Все тот же благоуханный беспорядок. На старом месте лежали и часики, на циферблате которых чуть было не закончилось мое бытие. Отогнув рукав, я и сейчас мог видеть глубокий рубец от их секундной стрелки, разросшийся вместе со мною в длинную рваную рану, успевшую зарубцеваться. Я взял циферблат в руки; стрелки не двигались: забыли завести. Я повернул несколько раз золотую головку часов, и внутри опять зацокало время. Вспомнились жала его бацилл: пусть их живут – я не мстителен.

На золотом шитье моей любимой диванной подушки валялся грязноватый мужской воротничок. Я взглянул: 41. Я ношу: 39. Что ж, пусть. И, не глядя более по сторонам, я пошел к двери. Но дверь, будто предупреждая меня, раскрылась: за порогом стояла она, все такая же и вместе с тем уже никакая для меня, изумленно щуря овалы своих чуть близоруких глаз. Фоном для нее служила высокая широкоплечая фигура юноши, застенчиво топтавшегося позади нее, с лицом, выражавшим покорную радость: фон, по мановению портрета, скользнул в соседнюю комнату, женщина же сделала два-три робких шага навстречу:

– Вы? Но ведь дверь была закрыта: как вы вошли?

– Очень просто: меня еще вчера бросил к вам в ящик для писем почтальон.

– Как странно: вы так изменились.

– Как обыкновенно: вы так изменили.

Лицо ее стало чуть бледнее.

– Я ждала. Я бы ждала и дольше. Но…

– Ваше Но дожидается вас за стеной. Впрочем, и ему вы наступите когда-нибудь на сердце. Прощайте.

И я направился к двери. Ее голос задержал меня еще на минуту.

– Погодите. Прошу вас: ведь вы же должны понять… как человек… – слова ее не слушались.

– А вы уверены в том, что я человек? Может быть, я только так… странствующее Странно.

И мы расстались. Быстрыми шагами, даже не заходя к себе, я направился к дому учителя. Уличные шумы и грохоты охватили меня со всех сторон. Вероятно, был праздничный день: веселая и неторопливая толпа топталась на тротуаре и у газетных киосков. Но я шел, глядя себе под ноги. Только случайно, подняв глаза, я увидел кучу будто слипшихся желтых, синих и красных шаров, которые, круглясь, точно огромные капли, легко скользя сквозь воздух, плыли над толпой. Я ускорил шаг. И не прошло и получаса, как…

Рассказывавший вдруг круто замолчал.

– Учитель, я слушаю: «не прошло и получаса, вы говорите, как…»

Он рассмеялся:

– Не пройдет и получаса, как… ваш поезд отойдет. И, чего доброго, без вас. Взгляните на циферблат: пять минут десятого. Пора. Прощайте, мой сын!

И минутой позже наши глаза в последний раз взглянули друг в друга: через порог. Затем дверь затиснула створы и тайна красной тинктуры осталась позади, за звонко щелкнувшим ключом.

# Сбежавшие пальцы

## I

Две тысячи ушных раковин повернулись к пианисту Генриху Дорну, спокойно подвинчивавшему длинными белыми пальцами плетенку стула-вертушки… Фалды фрака свисли с вертушки, а пальцы прыгнули к черному ящику рояля – и мерным бегом по прямой мощенной костяным клавишем дороге. Сначала они направились, блестя полированными ногтями, от С большой октавы к крайним стеклисто-звенящим костяшкам дисканта. Там ждала черная доска – край клавиатурной коробки: пальцам хотелось дальше, – они четко и дробно затопали по двум крайним костяшкам (глаза в зале здесь-там зажмурились: «какая трель»), – и вдруг, круто повернувшись на острых, обутых в тонкую эпидерму кончиках, опрометью, прыгая друг через друга, бросились назад. У средины пути пальцы замедлили бег, раздумчиво выбирая то черные, то белые клавиши для тихого, но глубоко вдавленного в струны шага.

Две тысячи ушей пододвинулись к эстраде.

Знакомая нервная дрожь вошла в пальцы: став на втиснувшихся в струны молоточках, они вдруг, резким прыжком, перешвырнулись через двенадцать клавиш и стали на

c-es-g-b [42].

Пауза.

И опять, сорвавшись с аккорда, пальцы стремительным пассажем неслись к краю клавиатуры. Правая рука пианиста тянула назад, к медиуму, но расскакавшиеся пальцы не хотели: в бешеном разбеге они мчались вперед и вперед: промелькнула стеклистыми звонами четвертная октава, пискнули добавочные костяшки дисканта, глухо стукнуло по ногтям черным выступом клавиатурной рамы: отчаянно рванувшись, пальцы выдернулись вместе с кистью из-под манжеты пианиста и прыгнули, сверкнув бриллиантом на мизинце, вниз. Вощеное дерево паркета больно ударило по суставам, но пальцы, не выронив темпа, вмиг поднялись на распрямившихся фалангах и, семеня розовыми щитками ногтей, высоко подпрыгивая широким арпеджиообразным движением – мизинец от безымянного, безымянный от среднего, – бросились к выходу из зала.

Тупой огромный нос чьего-то ботинка загородил было путь. Чья-то грязная подошва притиснула на мгновение мизинец к ковру. И пальцы, поджав прищемленный мизинец, юркнули под свесившийся до пола занавес. Но занавес тотчас же дернулся кверху, обнажая две черных расширяющихся кверху колонны: пальцы поняли – это был подол платья одной из поклонниц Дорна. Круто повернувшись на безымянном, они отпрыгнули вбок.

---

[42] Минорный септаккорд (до – ми-бемоль – соль – си-бемоль).

Нельзя было медлить. Кругом уж возникал шепот. Шепот – в говор, говор – в гомон, гомон – в крик, крик – в рев и топ тысячи ног.

– Держи их, держи!

– Что?

– Где?!

Часть аудитории бросилась к пианисту: он, в глубоком обмороке, свис со стула; левая его рука упала на колено, пустая манжета правой еще лежала на клавиатуре.

Но сбежавшим пальцам было не до Дорна: работая длинными фалангами, сгибая и разгибая суставы, они зачастили prestissimo [43] по ковровой дорожке к уступам лестницы.

С воплем и визгами, тыча локтями в локти, люди очищали путь. Из залы еще неслось: «Держи! Где? Что?» Но лестница осталась позади.

Одним мастерским прыжком пальцы перемахнули через порог и очутились на улице. Топы и гамы оборвались. Вокруг молчала, овитая в желтое ожерелье фонарных огней, ночная безлюдная площадь.

---

[43] Очень быстро *(итал.)*.

# II

Холеные пальцы знаменитого пианиста Генриха Дорна, обычно гулявшие лишь по слоновой кости концертных роялей, не привыкли к хождению по мокрой и грязной панели.

Теперь, очутившись на липком и холодном асфальте площади, ступая по плевкам и жиже луж, пальцы сразу поняли все безумие и экстравагантность своей выходки.

Но поздно. По порогу оставленного дома уже стучали подошвами и палками: возвратиться вспять – значит быть раздавленными. Поджимая к безымянному пальцу ноющий мизинец, правая кисть Дорна прислонилась к шершавому камню тротуарной тумбы, наблюдая происходящее.

Дверь выбросила всех людей и сомкнула створы. Оторвавшиеся пальцы остались одни на опустевшей панели.

Моросил дождь. Надо было позаботиться о ночлеге. Пальцы, макая свою белую и тонкую кожу в лужи и канавы, медленно побрели, то спотыкаясь, то скользя, вдоль мостовой. Внезапно из тумана прогрохотал колесный обод: расшвыряв комья грязи, прокружил прочь.

Пальцы еле успели увернуться: брезгливо отряхая вонючие брызги, они взобрались на дрожащих и подгибающихся от волнения и устали фалангах по скосу тротуара и шли вдоль домов, вросших стенами в стены.

Был уже поздний час. С желтого циферблата простучало

два. Створы дверей были сомкнуты, сморщенные железные веки окон опущены. Близился и снова ник чей-то запоздалый шаг. Где укрыться?

На расстоянии полуклавиатуры от тротуарных кирпичей алел, раскачиваемый ветром, огонь лампады. Под огнем ввинченная в стену прямоутлая железная кружка: «На храм».

Выбора не было: по выщербам стены на карниз кирхи, с карниза на покатую крышку кружки. Отверстие кружки было узко, но пальцы пианиста недаром славились гибкостью и тониной: протиснулись в прорезь и… прыг. Внутри было темно, лишь слабый красный блик, оброненный в кружечную прорезь лампадой, лежал у окна. Рядом с бликом – мятая доброхотная кредитка. Продрогшие пальцы забились в угол железного короба, укрылись кредиткой и, свернувшись под нею в кулак, лежали без движения. Суставы ревматически ныли; в обломанных и потрескавшихся ногтях зуд; мизинец распух, и тонкий обруч кольца глубоко врезался в кожу.

Но усталь брала свое: алый блик качался из стороны в сторону, дождь выстукивал по крышке кружки упругими капельками знакомое moto perpetuo [44]. В узкую прорезь ящика глянул, щуря свои изумрудные глазки, Сон.

---

[44] Вечное движение *(лат.)* – намек на пьесу Р. Шумана.

# III

Встряхнувшись, пальцы расправили затекшие суставы и попробовали вытянуться во всю длину на жестком ложе. Алый луч зари ввился в медленно блекнущий блик лампады.

Дождь замолчал. Подпрыгнув раз и другой кверху, ударившись о крышку короба, пальцы осторожно просунулись наружу и сели на влажном скосе церковной кружки.

Предутренний ветер качал безлистными ветвями тополей. Внизу – мерцание луж, вверху – полз туч.

Как ни необычна была ситуация, многолетняя выгранная в пальцы привычка к полуторачасовым утренним экзерсисам заставила их взобраться на карниз церкви и проделать методический гамообразный бег от края до края, справа налево и слева направо, пока тепло и гибкость не вошли в суставы.

Кончив упражнения, пальцы спрыгнули вниз на кружку и, сев поперек ее отверстия, стали грезить о близком, но оторванном прочь прошлом:

…вот они лежат в тепле под атласом одеяла; утреннее купание в мыльной теплой воде; а там приятная прогулка по мягко поддающимся клавишам, затем… затем прислуживающие пальцы левой руки одевают их в замшевую перчатку, защелкивают кнопки, Дорн бережно несет их, положив в карман теплого пальто. Вдруг… замша сдернута, чьи-то тон-

кие душистые ноготки, чуть дрогнув, коснулись их. Пальцы страстно притиснулись к розовым ноготкам и…

И вдруг чья-то корявая, с желтыми грязными ногтями рука столкнула размечтавшиеся пальцы со скоса кружки. Это была подслеповатая старуха, возвращающаяся с рынка. Поставив наземь корзину, полную кульков, она подошла к кружке и нащупала дрожащей рукой прорезь, готовясь бросить свою скудную лепту. Но внезапно что-то мягкое и движущееся схватило ее за палец, отдернулось и перекувырнулось; тотчас же зашуршало в кульках – и вдруг пять человеческих пальцев *без человека*, отряхиваясь от муки, выпрыгнули из корзины – и по тротуару, наутек.

Старуха выронила деньги и долго и опасливо крестилась, шамкая что-то беззубым трясущимся ртом.

С кубика на кубик, ныряя в лужи и канавы, пальцы бежали дальше и дальше.

Двое мальчуганов, спускавших, сидя на корточках у канавы, кораблик с бумажным парусом, заметили их, когда, оттолкнувшись мизинцем от тротуарного края и присев на согнутых фалангах, пальцы готовились к прыжку через шумливую канавку. Разинули рты. Оставленный кораблик ткнулся килем о булыгу и – донцем кверху.

– Ого-го-ги! – завопили мальцы, пускаясь в погоню.

Только необычайная пианистическая беглость спасала улепетывающие пальцы: разбрасывая брызги, срывая нежную эпидерму об острые выступы камня, они бежали с быст-

ротой бетховенской Appassionat'ы, и, будь под ними не шершавые торцы, а клавиши, все величайшие мастера пассажа и глиссандо были бы превзойдены и посрамлены.

Вдруг позади что-то зарычало, и огромная когтистая лапа опрокинула убегавшую пятиножку: пальцы упали окровавленными ногтями кверху, стукнув алмазом, вкрапленным в кольцо на мизинце, о фант тротуара.

Клыкастая пасть дворового пса раскрылась над ними: в смертной истоме, судорожно скорчившись, пальцы щелкнули в псиный нос и, выиграв миг, помчались дальше, гонимые лаем и гиком.

# IV

Ночевать пришлось сперва в раструбе водосточной трубы. Поздно ночью снова полил дождь, и измученных оторвышей, забравшихся было в жестяной раструб, выплеснуло наружу: приходилось блуждать по темной панели, ища сухого пристанища.

За мутью подвального окна мигал огонь. Медленно ступая с пальца на палец по мокрой раме окна, бедные оторвыши робко постучали мизинцем в окно. Никто не откликнулся.

В стекле – дыра, заклеенная бумагой: указательный палец прорвал бумагу, за ним пролезли и остальные. Вот и подоконник. В комнате – тишь. На кухонном столе, придвинутом к окну, – ни крохи. В железной печке, ставшей на раскоряченных гнутых ножках и ткнувшейся длинным железным хоботом в отдушник, дотлевали серо-алые угли. На деревянных нарах спали кучей, прижавшись друг к другу, – женщина и двое детей: лица худы, глаза – под сине-серыми сморщенными веками, тела – под прелой рванью.

Но на углышке белой чистой наволочки, разряженной в желтые блики и искры коптилки, сидел, хитро улыбаясь, Сон: он тер изумрудные глазки перепончатыми прозрачно-стеклистыми лапками и рассказывал беднякам свои сказки. И от слов его пятна на стенах зацвели розовыми зарослями, а белье, повисшее в воздухе, стало плыть по шпагату

чередой белоснежных облаков.

Пальцы чинно сели у края стола и слушали: и под тихие разговоры Сна им вспоминался и неровный бег Phantasie-Stьcke Шумана, и таинственные прыжки и зовы «Крейслерианы».

Малым оторвышам захотелось тоже подарить что-нибудь беднякам: на припухшем мизинце мерцало алмазное кольцо Дорна: корчась от боли, оторвыши уперлись искалеченными ногтями в золотой ободок: кольцо, звякнув, легло у края стола.

Пора.

За окном рождалось утро. Сон засуетился: сошел с подушки, уложил видения, и ищи его. За ним и пальцы: осторожно прошуршав прорванной бумагой у окна, – снова на панель.

Мокрый весенний снег белыми звездами падал в жижу луж.

Замученные оторвыши не могли идти дальше: прижавшись к холодному камню панели, они собрались в щепоть и легли под тихие лёты белых звезд. И в тот же миг им стало слышимо: окостенелая земля закачалась несчетными клавишами; грохоча о черное и белое, роняя солнце с фаланг, прямо на оторвышей идут, быстро близясь, беспощадно-гигантские персты.

# V

Музыкальный критик вбежал с газетным листом в руках в кабинет Дорна.

– Читайте.

На восьмой странице номера, обведенное красным карандашом, стояло:

> «Найдены пять пальцев
> Неизвестно чьей правой руки.
> Справляться: Дессингштрассе, 7, кв. 54. Телеф. 3-45, бецирк 1–9».

Скользнув глазами по строкам, Дорн бросился в прихожую, сорвал с вешалки пальто, неловко тыча пустой манжетой правой руки в рукав.

– Маэстро, рано, – суетился критик, – «Справляться от 11–1 ч.», а теперь без четверти десять. И притом…

Но Дорн уже сбегал вниз по лестнице.

Когда получасом позже пианист Генрих Дорн увидел в картонной коробке, выстланной ватой, свои сбежавшие пальцы, он заплакал: пальцы лежали, неподвижно сжатые в щепоть, безобразным комком на выстланном ватой дне коробки. Кожа облипла грязью, изъязвилась и растрескалась; на тонких когда-то, отвратительно расплюснутых теперь, кончиках желтели наросты мозолей, ногти были сломаны и искромсаны, запекшаяся кровь чернела под сгибами

суставов.

– Мертвы, – прошептал Дорн побелевшими губами и неумело потянулся пустым раструбом манжеты к неподвижно лежащим оторвышам; но те вдруг шевельнули мизинцем: еле-еле.

Дорн, истерически стуча зубами, придвинул беспалую руку к самой коробке: пальцы, шатаясь и путаясь в клочьях ваты, чуть приподнялись на дрожащих и подгибающихся фалангах и вдруг, затрепетав, прыгнули внутрь манжеты.

Дорн смеялся и плакал разом: на коленях его, высунувшись из-под белизны манжет, лежали рядом две руки: одна с белыми, холеными, пахнущими дорогими духами, точеными пальцами, другая – коричнево-серая, заскорузлая, обтянутая грубой истертой кожей.

Через две недели после случившегося состоялся первый, по возобновлении, концерт знаменитого цикла Генриха Дорна.

Пианист играл как-то по-иному: не было прежних ослепительных пассажей, молниевых glissando и подчеркнутости мелизма. Пальцы пианиста будто нехотя шли по мощенному костяным клавишем короткому – в семь октав – пути. Но зато мгновеньями казалось, будто чьи-то гигантские персты, оторвавшись от иной – из мира в мир – протянутой клавиатуры, роняя солнца с фаланг, идут вдоль куцых пискливых и шатких костяшек рояля: и тогда тысячи ушных раковин

придвигались – на обращенных к эстраде шеях.

Но это – лишь мгновеньями.

Специалисты один за другим – на цыпочках – покидали зал.

# Чуть-чути

## I

Служу, вот уж седьмой год на исходе, в кабинете судебной экспертизы, по отделу графического анализа. Работа требует тщания и извостренности глаза. Кипы на кипы: на службе не управляюсь, приходится брать на дом. Работаю все больше над фальшивыми духовными, подложными векселями, вереницей поддельных подписей. Беру человечье имя: вымеряю угол наклона, разгон и округлость букв, уклоны строк, вывожу среднее, сравниваю силу нажимов, фигурацию росчерков – градуирую и изыскиваю запрятанную в чернильные точечки, в вгибы и выгибы буквы – ложь.

Работать приходится чаще всего с лупой: и под прозрачностью стекла правда почти всегда разбухает в мнимость. Подложно имя: следовательно, подложен и носитель имени. Подделен человек: значит, фальшива и жизнь.

От устали – перед глазами плывут цепи мутных точек, а контуры вещей качаются. Да, работа у нас трудная, кропотливая и, пожалуй, излишняя: нужно ли мерить углы букв, стоит ли считать чернильные точки, когда и так ясно: все они – фальшиволицы, лжемыслны и мнимословны. Под живых. «Что поделываете». Почему не «что подделываете»:

подделывают любовь, мысль, буквы, подделывают самое дело, идеологию, себя; все их «положения» – на подлоге. А их так называемый брачный подлог, то есть нет – полог: выдерни из слова букву, из смысла малую неприметность, отдерни полог-подлог, и там такое…

Не люблю ни своей глупой, в синие обойные лотосы, комнаты, ни своего узкого застегнутого в платье тела, ни себя, запрятанного от себя: и начни я растаскивать «я» по точкам, как вот этих, в портфеле, то… но не надо.

Раньше я пробовал уйти в работу – до боли в мозгу, до мутной ряби в глазах: лишь бы не думать. Теперь и этого нельзя. После того, что приключилось – нежданно и внезапно.

Было воскресенье. Я проснулся несколько позднее обычного. Утро – все пронизанное ясною. Морозные звезды на стеклах. У порога, на коричневой половице – желтые зайчики. За окном скрежет шарманки. Все, как вчера, до последнего блика и пятнышка, и вместе с тем все будто в первый раз: те же параллели щелей меж половиц; тот же портфель, книги на столе, то же истертое кресло и шкап, все есть, где было, – лишь нет на старом месте самого ТОЖЕ: затерялось ТОЖЕ – и все, под налетами новых смыслов, чуть сдвинуто, еле отклонено и странно ново.

Но время у меня на счету: вексель, выставившись белым углом из портфеля, ждал. У нижнего края – подпись. Накануне весь вечер провозился я с ее буквами: по видимости

– углы, нажимы, выгиб росчерка – все подлинно; по сути, чую, все лживо, поддельно. И буквы весь вечер мучили меня, выскальзывая из анализа. Теперь с утра работа пошла успешнее: у конечной буквы бумажный глянц снят: подчистка. Ага. И еще: на улитке росчерка – малое тусклеющее пятнышко. Так. Я взял лупу и приблизил стекло и глаз к строке: прямо против глаза под выгибом лупы – стоял крохотный, в пылинку ростом (если учесть увеличение), человечек: человечек не обнаруживал ни малейшего испуга, голова в точечку была гордо поднята вверх в прозрачный купол лупы, а еле зримая рука его учтиво салютовала в сторону моего глаза. Казалось, существо в пылинку хотело мне что-то сказать: я убрал стекло и, пригнув голову к столу, осторожно накрыл своей ушной раковиной незнакомца: сначала в ухе что-то смутно шуршало и копошилось, цепляясь за волосики, потом шуршание стало внятным. Прозвучало:

– Я, король ЧУТЬ-ЧУТЕЙ, покоритель Страны ЕЛЕ-ЕЛЕЙ и прочая, прочая, приветствую вас, Ваша ОГРОМНОСТЬ, в вашей бумажной стране синих лотосов и прошу гостеприимства мне и моему народу странствующих и гонимых чуть-чутей. Благоволите предоставить под территорию – поверхности вашей кожи, рукописей, книг и прочих угодий. И если…

Оторвав ухо от стола, я приготовился отвечать, но первыми же толчками моего голоса короля чуть-чутей свеяло прочь, и я долго должен был шарить лупой по столу, пока его

величество не отыскалось; оно, опрокинутое на спину, проворно встало на ножки и отряхивало смятое платье. Тогда я изловчился: прикрыв собеседника опять ушною раковиной, я заговорил шепотом и в сторону, стараясь не сдунуть высокого посетителя.

– Приветствую вас, – сказал я, – Ваше Чуть-Чутество. Листы моих рукописей, вгибы, выгибы и обрезы книг, переплеты, закладки, щели, обойные цветы, кожи картин и моя собственная эпидерма – предоставляются в полное ваше распоряжение. В награду прошу об одном: принять и меня в подданство чуть-чутева царства.

В ухе опять зашуршало:

– О, Ваша Непомерность, ваши заслуги нам ведомы: и вы, и ваше перо много потрудились, служа великому делу еле-елей и высоким идеалам чуть-чутества. Поэтому жалую вас званием первого вассала бессмертного и благородного царства чуть-чутей, дарую сан первого чутя, союз и привилегии и повелеваю всему моему народу служить вам, как мне, пока буду жив и неприкосновенен здесь, в моем новом феоде. Эй!

Шорохи сбежавшихся чуть-чутей тотчас же наполнили мое ухо; щекоча кожу, они толпами протискивались на зов своего повелителя, под края моего уха.

– Принять феод, – продолжал король, – картины по числу мазков, книг – побуквенно, рукописи – поточечно. Взять на учет все пылинки и пылины. Еле-елям, по демам и филам, расселиться на обойных цветах; старейшинам и сена-

ту отвести теплые печные щели. За работу. Подсчитать ресницы на веках Его Огромности: на каждую по дежурному чуть-чутю. Два наряда знатных еле-елей в правое и левое ухо Его Огромности. А вы, вассал и брат мой, благоволите разрешить в ознаменование дня и встречи этот вот подложный росчерк, на котором стою, преобразить в подлинный и амнистировать несчастного: эй, букводелы, сюда – оподлиннить.

И король, чуть царапнув короной о мочку моего уха, проследовал по черной линии росчерка, как по подостланному ковру, в окружении свиты и эскорта.

Изумленный, поднял я голову; оглядел стены, пол, потолок: ничего будто и не изменилось, и все было преображенным и новым: мертвые, глупо-синие лотосы чуть шевелили коричневыми обводами, одеваясь в игру бликов и маячащих теней; по мерзлому стеклу ползли стеклистые узоры; льдистые звезды сыпали синими и белыми искрами; мазки картин, приподняв прижавшую их толщу стекла, тронутые невидимыми кистями, показывали новые краски и линии, слова, вертикально запрокинутые на корешках книг – чуть-чуть, на еле-мысль сдвинулись вдоль по своим смыслам, ширя щели в иные невнятные миры.

Вдруг черная точка мелькнула у моего левого зрачка: вероятно, один из дежурных чуть-чутей сорвался с моей ресницы. Ясно, они поспели уже и сюда, потому что стоило мне поднять ресницы кверху и все исчезало, возвращаясь во вчера: зацветающие лотосы опять мертвели намалеванными

кляксами; вещи окаймлялись обводами, и во всем зримом и слышимом будто защелкивалась тысяча замков, запиравших их снова в мертвь и молчь.

Но стоило сощурить глаза, и сквозь ресницы опять гляделись и реяли новые миры. Взглянул на вексельную подпись – сначала простым глазом, потом сквозь чечевицу стекла. Сверил с подлинной: штрих в штрих. Обмакнул перо и проставил в акте: «…А посему подпись в тексте за № 1176 полагал бы нужным признать как собственноручную и подлинную».

Сердце весело кувыркалось в груди. Я подмигнул разлегистому грешному росчерку: опять зазевавшийся чуть-чуть, сорвавшись с ресницы, мелькнул у зрачка.

– Тяжелая служба, – засмеялся я.

Солнце тоже: весело продергивало оно желтые нити меж примерзших к окну лучей и звезд.

– Амнистия всем, – шептал я радостно и освобожденно, – амнистия всем поддельным, фальшивым, подложным, мнимым и неверным. Буквам, словам, мыслям, людям, народам, планетам и мирам. Амнистия!

А за окном шарманочный вал все еще ползал на стертых штифтах, кружа на оси какие-то медные скрежеты, – но в ухе уже расхлопотались чуть-чути: скрежеты преображались в нежную мелодию, обрастали призвуками и обертонами, не слышимыми другим, не принятым в подданство чуть-чутева царства.

Захотелось наружу, к скрещениям улиц и к встречам лю-

дей с людьми. Я рванул дверь и, скользя рукой по перилам, стал быстро спускаться к дну узкого лестничного колодца. Было темно: расширив глаза, я не примечал ничего нового. Но вдруг на одной из площадок распахнулась, полоснув светом, дверь. Сквозь невольно сощурившиеся веки я увидел женщину, в нерешительности остановившуюся на пороге. Вспомнилось: мы уже встречались не раз у дома, в воротах и здесь же, на лестнице: это была некрасивая, веснушчатая, с прядями белесых зачесанных за уши волос, девушка: должно быть, швея, машинистка, не знаю; при встрече всегда в сторону и к перилам, вероятно, стыдясь и заношенного платья, и блеклого своего лица. Обычно мне лень было хотя бы взглянуть на нее, но сейчас, о, сейчас, чуть-чути, дежурившие у зрачков, честно делали свое дело: дурнушка, ну да, конечно, такая же, как и вчера, но чего же так расстучалось сердце; дурнушка, но отчего же вдруг кровью о мозг?

Она стояла, прижав стертый башмачок к порогу, и в лице, охваченном солнцем, возникало и никло что-то милое-милое, в белую проступь и сквозистые тени одевшее овал щеки и беспомощную ямку на тонкой, слабой, стеблем поднятой шее. Секунды, а там дверь закрылась, запахнув свет, и я механически продолжал искать ступнями ступени. Дальше и дальше – по затоптанному кирпичу улиц, навстречу новой, будто вот-вот рожденной жизни: то, что вчера было просто «снег», стало теперь мириадами чуть приметных, но примечательных льдистых кристаллинок; протертые тряпками

окна смотрели осмысленно, как глаза проснувшихся людей; сонмы неприметностей, спрятавшихся и выскользавших всегда из сознания, глянули и выступили наружу из вещей, шагающие вертикали тел, кружения спиц, скольз и скрип полозьев, рванные ветром слова, запрятанные в вату и мех руки, ноги, жесты, игра морщин и бликов – вдруг высвободились, стали зримы и внятны. И во мне все было по-иному: мириады еле различимых мыслей терлись изнутри о лобную кость, в сердце прорастали завязи предощущений и замыслов. Тысячи чуть-чутей, вероятно загнанных морозным воздухом в поры моей кожи, дергали за жилки и капилляры, возились в путанице нервных нитей, рождая в моем теле новое, нежданное тело. От волнения ноги у меня чуть дрожали. Я прислонился спиною к футовым буквам афишного цилиндра и шептал странные мне самому слова. Лишь чуть-чутям, окружившим мои губы, они могли быть слышны.

– Клянусь, – шептал я, – о, клянусь служить жизнью и делом властителю моему королю страны Чуть-Чутей и всему славному его народу. И если, вольно ли, невольно ли, нарушу клятву, то… да будет мне смерть.

И в ушах у меня прошуршало: аминь.

# II

– Разве только так, на минуту…

Стоптанный кривоносый башмачок заколебался на пороге моей комнаты.

– Хотя бы. Я умею обращаться и с минутами.

Она оперлась ладонью в стол, прищурившись на бумажные вороха, разбросанные повсюду. Помню, по взгляду, по внезапно поднявшимся бровям было видно: заметила – мы не одни. Оробела. Мы молчали: о, тут я узнал удивительную технику чуть-чутей, работавших по тишинной части: как мастерски они владели клавиатурой тишины; как тонко изучили хроматизм от несказанности к несказанности; как, работая над музыкой тишины, ловко модулировали ее тональности – из молчания в молчь, из молчи в безглагольность.

Пальцы гостьи, прижавшись к доске стола, ждали: сначала я взял их за короткие ноготки, потом овладел кистью, а потом и худые локти задрожали в моих ладонях, а там плечи коснулись плеч и губы, разжав губы, искали обменяться: дыханиями, душами, духом.

Сердце стучало о сердце. Ресницы наши спутались, роняя слезы. Еще мгновение и… и вдруг я увидал у самого глаза – грязно-рыжее пятнышко; рядом другое: веснушки. Блеклая, в черные точечки пор, под жировым налетом, кожа; беловатый прыщ на выступе скулы. Пузырчатая налипь пены

на дрожащей губе.

В недоумении, почти в испуге, я отодвинулся назад, смотрел: дурнушка, обыкновенная дурнушка, та вот, что часто встречалась у ворот, на улице, в лестничном колодце; под дряблой кожей рыбьи кости ключиц, узкие и короткие щели слезящихся глаз; щуплое длиннорукое тело в заутюженном платье-чехле.

– Милый…

Но я ступил шаг назад:

– Простите. Бога ради. Это недоразумение…

Ее как ветром качнуло: рыбьи кости заходили в узком вырезе платья, будто пробуя прорваться сквозь кожу. И она пошла – коротким спотыкающимся шагом, как если бы путь к порогу перегородило сотней порогов.

Дверь закрылась. Я оглянул комнату: обои – опять в мертвых синих пятнах, вкруг пятен коричневый обвод; на стеклах – расползшиеся радиусами врозь ледышки; на столе – портфель, набитый поддельными именами. Но чего же смотрят чуть-чути? Или они заленились, уснули там на своих постах? Не может быть. Я схватил лупу и стал шарить стеклом по бумажным листам и столу: всюду, куда я ни вел стеклом, копошились крохотные, в пылинку, человечки. Я было обрадовался, но вскоре стало заметно: народец чуть-чутей как-то странно взволнован и обеспокоен. Вглядываясь пристальней, я увидел: все они – точечными россыпями толп – собирались к одному месту: у края стола. Я приблизил лупу:

на влажном пятнышке, поперечником в два-три миллиметра, вероятно, оставшимся от успевшей всосаться в ворсинки скатерти капли, лежал, неподвижно распластавшись, чуть-чуть. Я вгляделся еще пристальней, – и вдруг стекло задрожало в моих пальцах: на влажных ворсинах черной скатерти лежал мертвый король чуть-чутей. Сразу мне стало ясно все: очевидно, повелитель чуть-чутей, желая, по благости и любви своей ко мне, лично руководить моим счастьем, в решительный момент поместился на одной из моих ресниц, но был смыт слезой и утонул, захлебнувшись соленой влагой.

Я взялся еще раз за лупу: вокруг синего вздувшегося трупика накапливались и накапливались новые толпы. Листы бумаг выгибались и шуршали под налетами отовсюду сбегавшихся чуть-чутей. Зловещие шелесты и угрожающие шорохи росли и росли над смыкавшимися вкруг меня роями растревоженного и озлобленного народа. Я схватил со стола пресс-папье и занес его над столом. И тотчас понял всю бесполезность борьбы: ведь чуть-чути повсюду – ими полны мои глаза, уши, вероятно, они успели пробраться и в мозг. Чтоб истребить их всех, до последнего, надо проломать самому себе голову. Выронив пресс-папье, я бросился к порогу. Толкнул дверь. Да, я, глупо-большое, саженное существо, бежал от незримых чуть-чутей.

Всю ночь я пробродил по пустеющим улицам. Чувствовал: пустею и сам. Улицы разбудило рассветом. И меня. Я вспомнил слова клятвы: «…и если вольно или невольно…»

Дома закачались в моих глазах. Быстрым шагом я возвращался к себе.

В комнате тихо и пусто: да, когда чуть-чути хотят отомстить, они лишь покидают осужденного. Этого достаточно: тому, кто был хоть миги с ними, как быть без них?

Ведь у лотосов в коричневых обводах – только нарисованная жизнь. И мерзлым звездам на стекле – рано или поздно – истаять от солнца.

Весь день работал: над этим вот. Кончаю: написанному в портфель. И мне: в черный глухой портфель; защелкнется – и ни солнц, ни тем, ни болей, ни счастий, ни лжей, ни правд.

# История пророка

Став на четырех упрямо втиснутых в землю ногах, знаменитый Осел Буридана уперся лбом прямо в дилемму: любить или не любить?

Тщетно весна, касаясь смеющимися губами настороженно поднятого прядающего уха, подсказывала свои ответы.

Четыре прочно врытых в землю ноги и не дрогнули, и не шевельнулись, не покидая плоскости liberi arbitrii indifferentiae. Лишь два длинных нервных уха чуть вздрагивали.

Но Ослица Валаама была так библейски прекрасна.

Но изумрудные скрипки цикад звенели так призывно… «…но, – пишет, наконец, Готфрид Лейбниц (Opera philosophica. Ausg. Erdman.), – вселенная не может же быть рассечена на две совершенно равные части плоскостью, мысленно проведенной через середину осла, так как существует множество вещей, как в осле, так и вне осла, хотя мы их и не замечаем, которые заставят-таки осла склониться скорее в одну сторону, чем в другую» (стр. 507).

В данном случае среди вороха вещей, спорящих с вещами, находилось и ослиное сердце. Сердце билось чуть левее плоскости безразличия. Плоскость закачалась и… только весеннему небу, широко раскрывшему тысячи изумленных синих зрачков своих, дано было видеть, как Буриданов Осел

и Ослица Валаама, соединившись, зачали нечто, жизни подобное.

Новая жизнь вошла в мир на тоненьких шатких ножках, пугливо поводя длинными прозрачными ушами. Жизнь была тщательно обернута в зябко подрагивающую шкурку, крытую белым волосом с черной отметиной на ширококостном, просторном, философического склада лбу.

Хмуро – прохолодью и проголодью – встретила земля маленького Ослика. Прежде всего она отняла у него родителей.

Картина трагической смерти отца Ослика, знаменитого высокоученого Asinus'a Buridani общеизвестна: поставленный меж двух одинаковых вязанок сена, он умер смертью философа, не переоценив ни одного из двух мотивов равной силы.

Документальными данными, которые бы выяснили обстоятельства безвременной кончины Валаамовой Ослицы, не располагаю: но, судя a posteriori, на основании огромного числа накопленных историей прецедентов, можно утверждать с уверенностью, что избиение камнями – естественный конец всех пророков: а так как родительница нашего Ослика, как это всем хорошо известно, была пророчицей, то…

Так или иначе, маленькому Ослику пришлось круто. Сыну мыслителя и пророчицы не было места в мире. Пахучие луга зеленели, это правда, но для других. Закрома полнились овсом, и это правда: но не для всех. Втянуло бока. Грязно-бе-

лая шерсть свалялась клочьями. Ослик страдал, но, страдая, терпел. И упрямо, вопреки всему и всем, пробовал жить.

Куда было идти незадачливому? В настоящее ослов не пускают. Прошедшее давно все, до последней завалящей секунды, расхватано историками, консерваторами, вообще существами с мышлениями ракообразного хода. Ослику только и оставалось: грядущее.

Казалось бы, пророческий дар, унаследованный им от прославленной матери, разворачивал богатые возможности: карьеру политического предсказателя, сочинителя газетных передовиц, премьер-министра, в худшем случае, гарантировал скромный, но честный заработок гадальщика на картах, хирософа и т. п.; но перешедшая от отца философская раздвоенность мысли, наследственная склонность ко всякого рода метафизическим «или – или» расщепила у корня и обессилила пафос первых же пророческих опытов несчастного Ослика.

Так, однажды, в припадке особого голодного экстаза (кто испытал, поймет), Осел, став у скрещения путей, проревел срывающимся голосом:

– Либо дождик, либо снег. Либо будет, либо нет! – И, помедлив: – Всяко бывает!

Прохожие расплатились мелкими улыбками. Кто-то загоготал и швырнул в охваченного наитием камень. Но Осел уже был вне себя: вне видения и слышания.

– Aut, aut! – Forse che si, forse che no! – Может быть, да,

а может быть, нет! – ревел он на всех языках человеческих. А кругом гоготали и хихикали. Свистнул булыжник. За ним другой. Но начало было сделано: Ослик вошел в грядущее.

Незачем топтаться словами на терниях. Не пересчитать всех камней, не исчислить страданий и унижений, выпавших на долю провидца. Достаточно сказать, что, когда исполнились сроки и пришло *само Грядущее*, гнавшие и передающие осмеянию были посрамлены. Настали странно-страшные дни, когда одновременно и шел, и не шел – и дождик, и снег, и все, что угодно, когда завихрилось такое, что нищете «пониманий» пришел конец. Колесо зодиака соскочило с изумрудной оси. Перепутались орбиты и столетия.

И когда циклон откружил, – те немногие, что были проведены сквозь него, так и не знали: мертвы ли они или живы? Может быть: да. А может быть…

И когда снова можно было отличить снег от дождя, добро от зла, правду от лжи, кровь от воды, кто-то, раздумчивый, спросил: «А где же тот смешной Ослик, что, помните, предрек нам свершившееся? Мы были несправедливы к нему: пойдем отыщем его и венчаем лаврами».

Отправились на поиски. Нашли. У скрещения путей, под камнями рухнувшего ветхого храма лежал белый, с черной отметиной на продавленном ширококостном лбу, трупик Осла. Осторожно сняли камни. Прикрыли тело поздними лаврами. Речей не было. Только кто-то, глуша слезы, бросил вскользь:

– Один у нас был Пророк. Да и тот… осел.

# Катастрофа

Многое множество ненужных и несродных друг другу вещей: камни – гвозди – гробы – души – мысли – столы – книги свалены кем-то и зачем-то в одно место: мир. Всякой вещи отпущено немножко пространства и чуть-чуть времени: столько-то дюймов в стольких-то мигах. Все имяреки, большие-малые, покорно кружат по соответствующим колеям и орбитам. И стоит, скажем, звезде «а» в созвездии Centaurus'а захотеть хоть немножечко, хоть разок, покружить по чужой орбите – и придется: или все, от ярчайшей звезды до серейшей пылинки, переставить в пространстве, или предоставить хаосу (он только и ждет этого) опрокинуть, порвать и расшвырять все сложное и хитрое сооружение из орбит и эпициклов. Прошла ли хоть раз мысль старого Мудреца, о котором поведу сейчас рассказ, по вышеизложенному условно-разделительному силлогизму, не знаю: но знаю точно – мысль Мудреца только и делала, что переходила из вещи в вещь, выискивая и вынимая из них их смыслы. Все *смыслы*, друг другу ненужные и несродные, она стаскивала в одно место: мозг Мудреца.

Мысль с вещами, большими ли, малыми ли, поступала так: разжав их плотно примкнутые друг к другу поверхности и грани, мысль старалась проникнуть в глубь, и еще в глубь, до того interieur'а вещи, в котором и хранится, в единствен-

ном экземпляре, *смысл* вещи, ее суть. После этого грани и поверхности ставились, обыкновенно, на место: будто ничего и не случилось.

Естественно, что всякой вещи, как бы мала и тленна она ни была, несказанно дорог и нужнее нужного нужен ее собственный неповторяемый смысл: лучами – шипами – лезвиями граней, самыми малостью и тленностью своими выскальзывают вещи из познания, защищают свои крошечные «я» от чужих «Я».

Будьте всегда сострадательны к познаваемому, вундеркинды. Уважайте неприкосновенность чужого смысла. Прежде чем постигнуть какой-нибудь феномен, подумайте, приятно ли было бы вам, если б, вынув из вас вашу суть, отдали бы ее в другой, враждебный и чуждый вам мозг. Не трогайте, дети, феноменов: пусть живут, пусть себе являются, как являлись издревле нашим дедам и прадедам.

Но мысль Мудреца не знала сострадания. Катастрофа была неотвратима. Вначале все пространственно-близкое от головы философа, все «само по себе понятное» было вне круга опасности. Верхушки тополей, шумящих над сонными водами Прегеля. Шпили кирх. Недалекие люди. Предметы, крепко оправленные в пространство. События, расчисленные по святцам.

Мысль философа начинала мыслить издалека, замерцав где-то, среди мерцания дальних звезд, в Teorie des Himmels

[45]: Мудрец рылся в ворохе белых сириусовых лучей, спокойно и деловито, точно это и не небо, а бельевой ящик старого отцовского комода, что ли. Как реагировали и реагировали ли на это звезды, осталось невыясненным. Изменений во внутреннем распорядке созвездий, безусловно, не произошло. Души звезд праведны, и оттого орбиты их правильны. И самыми тщательными астрономическими измерениями не уловлено: мерцали ли звезды после Канта *иначе*, чем до Канта [46].

Тем временем от вещей к вещам стал переползать недобрый слух: Мудрец, покончив якобы со звездами, возвращается *сюда*, на землю. Маршрут: звездное небо *над нами* – моральный закон *в нас*.

События шли так: медленно отряхая звездную пыль со своих черных перьев, трехкрылый Силлогизм, смыкая и стягивая спираль тяжкого лета, близился к этим вещам. И когда те звездные пылинки коснулись этой серой пыли тупиков и переулков, зыбь тревоги и трепеты жути всколебали все земные вещи. С орбитами было покончено. Наступала очередь улиц – проселочных дорог – тропинок.

Тогда-то и разразилась *катастрофа*. Запуганные еще Платоном и Беркли, феномены, которые и так хорошо не

---

[45] Теория звездного неба *(нем.)*.

[46] Тогда (конец XVIII века) у нас еще были мудрецы, но не было точных фотометричных инструментов. Теперь есть чувствительнейшие инструменты, меряющие звездную яркость, но нет уже мудрецов. Так всегда.

знали, *суть ли они* или *не суть*, не стали, разумеется, дожидаться Разума, со всеми его орудиями пытливости: двойными крючкообразными §§-ми, зажимами точных дефиниций и самовязью парных антиномий.

Пространство и время почти на всем их земном плацдарме переполнились паникой. Первыми попробовали выскочить из своих границ некоторые ограниченные души: они создали даже особое литературное направление, по которому и началось повальное бегство из мира.

В последующем постепенном развитии паники историку разобраться трудно. Вот она у ее гребня.

Улепетывающие кирхи, цепляя за черепичные кровли маленьких филистерских домиков, опрокидывали домики, опрокидывались сами, тыча шпили в ил расплескавшихся озер. Бежали: сороконожки – слоны – инфузории – жирафы – пауки. Люди, захваченные катастрофой в своих сорвавшихся с фундамента домах, сходили с ума, снова вбегали в ум, хватали какую-нибудь ненужную цитату, перевернутую кверху словами молитву (такова уж паника), снова поспешно сходили с ума, бессмысленно кружа по своему «я» – то взад, то вперед.

Подробность: книжный шкап из квартиры Мудреца, потеряв одну из своих толстых точеных ножек, тащился, прихрамывая на трех ногах, поминутно роняя в грязь то ту, то другую из расшелестевшихся всеми своими страницами книг. Внутри книг тоже было неблагополучно: буквы – слоги –

слова, бегая опрометью по строкам, сочетались в нелепые (а подчас и до немыслимости мудрые) фразы и афоризмы на невообразимых языках.

Говорят, целая библиотека, внезапно рухнув с полок, придавила грудами фолиантов сердце одного известного поэта-романтика: и сердце это, отстукивая пульс, бросилось вон из грудной клетки. Раздвоенные души; битая посуда; пролитый суп, который как раз несли Мудрецу в судках в обычный час из кухмистерской, проворно цепляясь каплями за песчинки, крошившие друг другу стеклистые ребрышки, просачивался (пока не поздно) поглубже в землю. А земля. Земля «как яблочко покати-и-лася» (la-mi-mi), задевая о планеты, подскакивая на выбоинах пути, мощенного звездами. Шпили соборов, пики гор, иглы обелисков и громоотводов осыпались, как осыпаются иглы сосен, качаемых вихрем. Обломки и черепки, отбившиеся в космической суматохе от своих вещей, цеплялись зазубринами и выщербами за что ни попало: на миги создавались и в мигах распадались (миги, спасаясь сами, вышвыривали из себя все лишнее) сборные диковинные вещи: человечьи слезы на проворных паучьих ножках, сердца, прилипшие к окулярам телескопов, et cet, et cet.

В узком расщепе моего пера тесно хаосу.

А хаос вторгся.

Второпях некоторые рассеянные люди перепутали даже свои «я» (что особенно легко делается в местах кучной пси-

хики: семье, секте и т.д.). Иные умы, зайдя в поисках укрытия за свои разумы, обнажили разумы, ткнув ими прямо в факты. Бесстрастный Разум, не изменяя себе ни на миг, *обошелся с фактами как с идеалами, а идеалы стали мыслить как факты*. Было мгновенье, когда Бог и душа попали в пальцы, стали осязаемы и зримы, а стакан с недопитым кофе («mehr weis» [47]) представился недосягаемым Идеалом. Дискурсия и созерцание поменялись местами. В иных умах куда-то, точно в щель, провалилась бесконечность, в других затерялась категория причинности.

Повилика, бешено кружа изумрудами своих спиралей (скорость до 300 000 km в 1 сек.), пробовала вывинтиться из обезумевшего мира.

Прибой паники, ширясь и расплескиваясь неисчислимостью льдистых капель, добрызнулся вскоре и до звезд.

Эклиптики закачались.

Спутывая лучи в ослепительный клубок, выбрасываясь из привычных орбит, сталкиваясь, зажигая синие и изумрудные мировые пожары, – звезды заскользили по *безорбитью* из Raum und Zeit'a [48].

Кометные параболы, которые, как известно, издревле вели из пространств в беспредельность, стали походить на большие дороги во время продвижения по ним разбитых армий.

---

[47] Здесь: «больше молока» *(нем.)*.

[48] Пространства и времени *(нем.)*.

Солнца, планеты, пересыпанные блестками астероидов и метеоритов, теснясь у кометного пути, старались скорее нанизаться на пронизь орбиты: роняя в пустоту целые человечества с их религиями и философиями, потянулись они длинным сине-белым ожерельем, друг за другом, вдоль по изгибу параболы. Клубы звездной пыли проискрились над ними.

И когда все отблистало, когда все, до последнего обеспокоенного атома, отшумело и утишилось, остались: старый Мудрец; пространство, чистое от вещей; чистое (от событий) время; да несколько старых, в пергамент и тисненую кожу переплетенных книг.

Книги не боялись, чтобы кто-нибудь когда-нибудь мог дочитать их до смысла.

Мудрецу оставалось описать чистое пространство и чистое время, ставшие жутко пустыми, точно кто опрокинул их и тщательно выскоблил и вытряхнул из них все вещи и события. Он описал.

Фолианты ждали. Не спеша протянул к ним Мудрец костлявую, с холодными длинными пальцами руку. Началась игра: фолианты прятали свои тайны по полуслипшимся блеклым страницам. Шелестели об одном – думали о другом. Смысл из букв текста, сбивая с пути типографскими звездами, уводил в дробные значки нонпарели и петиты, прятался по оговоркам, отступлениям, таясь за притчами и иносказаниями.

Напрасно. Мудрец терпеливо и беззлобно подбирал ключи к шифрам. Открывая смысл, страницу за страницей, дверцу за дверцей, он прошел через всю анфиладу разделов и глав и вышел по другую сторону книги.

Тем временем (временем ли?) в кругах эмиграции царило ничем не прикрытое уныние.

– Проклятое безорбитье. Куда мы, собственно, идем? – сердито спрашивал знакомый нам книжный шкап.

Он потерял все книги и вторую ногу. С трудом тащился на двух.

– В небытие, – промямлила душа приват-доцента из Иены.

– Не быть миру.

– Миру не быть, – шелестели последними уцелевшими страницами руководства по логике.

Созвано было чрезвычайное собрание всех часовых механизмов.

Для них наступало тяжкое *безвременье*.

С одной стороны, как это вытекало из вытиканной старинными часами с курантами речи, всем часам, за отсутствием времени, предстояло остановиться.

Но, с другой стороны, как это объяснил в точных философских терминах и резонах, ссылаясь на авторитеты, блестящий женевский хронометр, – «время, не будучи вещью, вещно в вещах не участвует» [49]. Часовые механизмы – вещи.

---

[49] Мысль эту, в тех же приблизительно выражениях, защищал впоследствии

Ergo: с отменой времени ничего и никак не может измениться, передвинуться и перекрутиться в часовых зубцах, зубчиках и пружинах, – и те часы, завод которых до момента отмены времени не вышел, пружины которых не раскрутились, могут *продолжать* вращение своих стрелок, как *если б ничего не случалось*.

Посыпались обвинения в отсталости, консерватизме.

Хронометр попросил быть точнее и в выражениях: «желая не отстать от стрясшейся над нами катастрофы, предлагают всем стать (.)».

Вопрос поворачивался так-этак, этак-так.

Большинство башенных и стенных часов присоединились к нежному голосу курантов. Но карманные часы и часики, повыползавшие из своих жилетов и из-за корсажей [50], голосовали вместе с хронометром. Поднялось невообразимое тиканье; истерический скрежет будильников. Маятники злобно закачались.

И вдруг пришла весть, сначала было остановившая ползы всех стрелок и зубчаток, а затем восстановившая секунды и дюймы во всех правах времени и пространства: Мудреца не стало. Это случилось 12 февраля 1804 года в 4 часа пополудни [51].

---

(по восстановлении порядка) Арт. Шопенгауэр (Par. und Parae., 13, II).

[50] Недаром Мудрец еще раньше заклеймил их своим презрительным афоризмом. *(Прим. автора.)*

[51] 100-летний юбилей этого радостного события отпразднован в 1904 году всеми университетами и учеными обществами. *(Прим. автора.)*

Иные вещи, заслышав о случившемся, не дожидаясь подтверждений и разъяснений, бросились опрометью назад, в свои миги и грани: очутившись снова в таких милых, таких своих гранях, они не могли вдоволь нарадоваться, что они – они. По преданию, всех опередила душа приват-доцента из Иены. Понятно: освобождалась кафедра.

Другие, путаные, вещи были рассудительнее.

– Позвольте, – говорили они, – откуда, как и кем принесена новость? Ведь там, в чистом пространстве, ничего, кроме пары книг да Мудрецова «я», не оставалось… Провокация. Г. г. вещи, воздержитесь от времени и пространства. Терпение.

Однако вскоре все раскрылось и объяснилось, к всеобщему удовольствию.

Дело было так: Мудрец, описав «Формы чувственности», раскрыв шифр книги, погибшей за право – быть непонятой, короче, высвободив свое «я» из грез и слов, спросил: явь ли я?

У философова «я» был хороший опыт: оно знало, какая судьба постигала всегда *вопрошаемое после вопроса*.

И не успел «?» коснуться «я», как «я», выскочив из закавычки, бросилось, говоря вульгарно, наутек.

Тут и приключилась Мудрецу смерть.

Понемногу события, вещи возвращались по своим руслам – орбитам – граням.

Сначала, говорят, пришли в себя души ограниченных. За ними потянулось – остальное.

Теперь, как вы можете в этом легко убедиться, потрогав пальцами самих себя, страницы этой книги, все снова прочно и изящно стоит на своих местах.

Теперь, конечно, нетрудно и шутить. Но ведь был момент, когда испуганным умам показалось, что вся эта – такая пестрая и огромная (на первый взгляд) сферическая, со сплюснутостью полюсов, земля и крошечный сферический хрусталик человеческого глаза – одно и то же.

Время медленно подымало тяжкие веки глазу, искавшему видеть самое видение. Видение было странно и страшно, но длилось недолго. Мертвым веком снова прикрыт остекливший глаз. Теперь у нас, слава богу, земля отдельно – глаз отдельно. Сейчас, когда Мудрец отмыслил и истлел, мы вне опасности: мудрецов больше не будет. Что же касается до оставленной тем, истлевшим, книги, то повторяю: опасности и для нас почти никакой; потому что легче перелистывать геологические пласты, чем приподнимать тяжкие от смыслов страницы книги мудреца.

# Проигранный игрок

По сообщению «Daily Telegraf», мистер Эдуард Пемброк скончался в зале Гастингского шахматного клуба тринадцатого октября 19… года, в пять часов вечера, во время четвертого сеанса игры Международного шахматного турнира. В одном из некрологов, помещенном, если не ошибаюсь, в «Эдинбургском Обозрении», мистер Пемброк характеризуется как «энергичный общественный деятель, перед которым некогда развернулась было многообещающая политическая карьера, оставленная им, однако, ради шахмат». Покойный, заканчивает «Обозрение», «променял широкую арену политической борьбы на квадрат шахматной доски – *ушел от поступков к ходам*» (курсив мой).

Смерть наступила мгновенно. Покойному было пятьдесят три года. Врачи затруднились определить причину смерти.

Однако для тех, кто близко знал мистера Эдуарда Пемброка, дело объясняется чрезвычайно просто: смерть Пемброка была его последним, правда, несколько неожиданным ходом в партии, кстати, начатой не в четыре тридцать вечера 19… года, как сообщает шахматный бюллетень, а несколько раньше… Впрочем, игра покойного, как это уже отмечалось в специальных органах, всегда отличалась некоторым своеобразием и уклоном в парадокс.

История мистера Пемброка – в знаках доски – рассказы-

вается так:

1. e2–e4, e7–e5,

2. Kgl–f3, Kb8–c6,

3. d2–d4, e5: d4,

4.?..

В символах же меньшей емкости, то есть в так называемых словах, она звучит иначе:

Ход I

e2–e4, e7–e5.

Их было двадцать. Симметрично рассаженные по обе стороны длинного и узкого стола, все двадцать думали. И подошвы их ног, прижатые к светлым и темным, темным и светлым квадратам паркета, и зрачки их глаз, притянутые к темным и светлым, светлым и темным квадратикам шахматных досок, – не двигались.

Длинный и узкий стол с игроками и крохотными, поблескивающими черным и белым лаком резными фигурками был вдет, как в футляр, в длинный и узкий зал с узкими же прямоугольными прорезями окон.

Изредка, забелев манжетой, поднималась над столом – то там, то здесь – рука и беззвучно передвигала деревяшку:

Ход II

Kg1–f3…

Мистеру Пемброку, сидевшему среди фигур, склоненных над фигурками, и игравшему у длинного стола свою партию черными, было не по себе.

Делая первый ход, он глянул за прозрачный прямоугольник из стекла: иззяблый, из сплетения голых ветвей сад. Было похоже, будто кто-то развернул и притиснул к матовым мерцаниям стекла план огромного фантастического города – паутину спутанных и пересекшихся уличек, улиц, переулков и тупичков.

Не игралось. Предчувствие чего-то давно уже ищущего быть найденным, неизбежной и близкой встречи с каким-то бродячим фантазмом, заблудившимся, быть может, здесь, в этих черных по красному уличках несуществующего города, вычерченного игрою заоконных ветвей, тревожило мозг.

«Это от сумерек», – подумал мистер Пемброк и привычным движением протянул руку к доске:

…, Kb8–c6.

Но сумерки – пока – были заняты другим: не позванные никем, неслышно войдя в зал игры, они сначала осторожно перетрогали у всех вещей их углы, очертания и грани. Тихо прижимая серые пальцы к выступам подоконника, к углам стола и извилистым линиям фигур и фигурок, сумерки пробовали их расшатать. Но вещи, сомкнув свои грани, линии и углы, не давались. Тогда серые мускулы сумерек напряглись, сгустились, тонкие пепельные пальцы ухватились за контуры и грани злее и цепче. И скрепы подались: роняя линии, выступы и плоскости, очертания вещей замаячили, качнулись контуры, разжались углы, освобождая линии: вещи заструились и тихо вошли друг в друга. Их не стало: как встарь.

«Отчего не дают света?» – подумал досадливый игрок.

Ход III

– 2–4…, –

ответили сумерки, чуть слышно прошуршав пешкой, и пододвинули блик к блику: белый к черному.

Тогда-то мысль игрока и пошла знакомыми ему черными уличками заоконного города, влекомая их зигзагным бегом, останавливаемая у их скрещений.

– Если принять размен пешками, поле e8 обнажится… Теряю 0-0-0… Если же К c6: d4, то…

Пройдя сотни перекрестков, глянув в десяток тупичков, мысль стала у входа. Игрок коротким ударом ладони нажал стальную пуговку овального, шевелящего двумя тонкими стрелками, хронометра, – и одна из стрелок тоже остановилась. Взяв осторожно в пальцы смутно белеющий блик с квадратика d4, игрок бросил блик в ящик: сухой негромкий деревянный стук. Смолкло.

И тотчас же, стиснув между указательным, средним и большим пальцами правой руки круглую головку пешки на e5, он быстро шагнул ею на опустевший черный квадратик:

…, e5: d4.

Сделав ход, пальцы быстро разжались, и в то же мгновенье туловище мистера Пемброка, неестественно качнувшись, наклонилось к клеткам шахматного поля, точно игроку хотелось пристальнее всмотреться в игру, рука же с полуразжатыми пальцами упала, мягко, но четко стукнув о край

стола.

Делая последний свой ход, мистер Пемброк предвидел все возможные варианты в дальнейшем развитии партии, *кроме одного*, казалось бы, совершенно невероятного. Мистер Пемброк не предусмотрел, что в ту самую долю секунды, как рука его, ставя пешку под удар, будет отдергиваться от деревяшки, душа его, душа мистера Пемброка, оброненная мозгом, неслышно скользнет вниз по переставляющей деревяшку руке: из мозга в кисть руки; из кисти к концам пальцев; из разжимающихся пальцевых фаланг в крохотную, поблескивающую мутным черным лаком головку пешки.

Яркий свет брызнул из матовой люстры, свеяв сумерки.

«Ну вот. Давно бы так…» – с чувством некоторого облегчения подумал мистер Пемброк, не замечая еще происшедшего, и поднял веки: по глазам его ударило каким-то совершенно новым и непонятным миром. Привычный зал с привычными стенами, углами, выступами – все исчезло, будто смытое неизвестно как и чем с поля зрения. Правда, кругом, сколько глазу видно, те же знакомые светлые и черные квадраты паркета, но странно: линии паркетных полов уродливо раздлиннились, поверхности, неестественно разросшись, упирались в ставший вдруг квадратным горизонт. Стол стаял. Люстра взмыла в зенит. А стены… куда девались стены? Пешка Пемброк, продолжавшая все еще считать и самоощущать себя знаменитым шахматистом, недоумевала. Не явью, а снящимися образами глядели на нее обступившие

со всех сторон мерцающие белыми и черными выступами, изгибами и рельефами чудовищные обелископодобные сооружения, неизвестно кем, к чему и как расставленные по гигантскому черно-белому паркету потерявшего свои стены зала.

«Неужели я уснул? Во время партии?» – подумала пешка, делая усилие стать снова шахматистом: проснуться. Тщетно. Видения не никли. И странно – время двигалось будто мимо них. Секунды менялись, но в секундах ничего не менялось: белые и черные обелиски на белых и черных плитах стояли недвижно – нерушимо – безмолвно. Даже черные тени, оброненные ими, не шевелились.

Всматриваясь в застывший лес призраков пристальнее и пристальнее, начавши уже предощущать недоброе, экс-Пемброк стал понемногу различать в очертаниях их что-то знакомое, даже привычное мысли, но лишь чуждо ей данное. Смутные воспоминания зашептали ему. Еще минута, миг, доля мига напряженных биений мысли, то придвигающей, то вновь отодвигающей забытое, но близкое, – и вдруг мистер Пемброк *понял*. Нечеловеческий ужас охватил его всего – от точеной деревянной головки до подклеенной кружком зеленого сукна ножки. Затем столь же мгновенно наступила и реакция: чувство растущего одеревенения, странной легкости и малости.

Понемногу возвращалась способность логической мысли: «Если *это* действительно произошло, – оценивало свое по-

ложение существо, не умевшее сейчас себя назвать, – то я под ударом белого коня с f3. Положение ясно. И если f3 действительно занято конем, то…» – и существо, еще так недавно бывшее Пемброком – привыкшим к независимому и почетному положению в свете мастером шахматного искусства, – теперь, еле смея поднять глаза за черту крохотной, три на три сантиметра, плоской клеточки, глянуло, минуя d3, e3, наискось, влево, на белое f3: там, в желтом осиянии солнц, мнившихся ранее глазу лишь лампионами люстры, зияя пустотой глазниц, стоял бледный конь. Прямая грива его вздыбилась, ноздри злобно раздулись, обнажая оскал рта. Теперь только пешке-игроку стала ощутима вся глубина его *пойденности*. То, что было раньше Пемброком, хорошо знало беспощадную логику шахматной доски.

– К f3: «Я». Пусть. Ценою пешки – партия. И тронуло – пойдено. Поздно.

Но то в Пемброке, что успело уже одеревенеть, опешиться и знало лишь крохотный, три на три сантиметра, смысл одной своей клетки, протестовало всеми ударами внезапно закопошившегося под резной лакированною грудью деревянного сердца: не смейте трогать меня, прочь от моего d4! Хочу, чтобы я, а не мной! Прекратить игру! Понимали ли обелиски и квадраты деревянный язык, неизвестно: квадраты и обелиски хранили молчание. Цейтнот истекал.

# Грайи

## I

Теперь только профессора-филологи пишут, и то путаясь пером в словах, о Грайевом мифе. А в те, давно умершие времена любой ребенок мог складно и бойко рассказать начало истории о Грайях. Но конец истории скрыт не то что от профессоров, – даже от детей: он в нерожденных еще веках, куда и приглашаю вас, вундеркинды, последовать за мной.

Три старухи, именем Грайи, были поставлены Зевесом стеречь горные тропы Парнаса. Тропы падали вниз, от высот к долам. Там, в заоблачье, над миром, пластающимся внизу, был укрыт ни узды, ни бича не знавший крылатый конь – Пегас. Под золотым копытом Пегаса – ни травинки, но зато, нарастая буквой на букву, тянулись из земли в лазурь расчесываемые горными ветрами черные неписаные и нечитаные строки: ими и питался крылатый.

Хитрый разумом Зевес знал, что овладевшему Пегасом достанутся и взращенные им, миродержцем, высоко вознесенные над дымами долинных домов строчкастые черно-буквные луга парнасских склонов.

Оттого-то и поселил он у самых верхних поворотов троп

старых злых Грай. Грай было три, но на всех трех был отпущен лишь один глаз. Старухи никогда не разлучались. Пока одна из них, овладев глазом, вглядывалась вниз, сквозь лёты туч, другие две нетерпеливо ждали своего череда: видеть. Часто Грайи дрались из-за глаза, катаясь по острым камням шестируким и трехголовым безобразным комом, вырывая друг у друга переходившее из пальцев в пальцы зрение. Если сторожившая Грайя засыпала, другая тотчас же, сунув руку под отвислое веко спящей, крала у нее глаз.

Однажды Грайи услыхали чуть ощутимый шум: кто-то подымался по тропе из низин, роняя вниз мелкую осыпь. Шаг то ник, то возникал снова. Зрячая Грайя зорко вглядывалась вниз. Две другие, насторожившись, повернули пустые глазницы к шуму.

– Что видишь?

– Пряжу туманов.

– Отдай глаз!

– Нет.

Звук креп: кто-то, прикрытый мглой, подымался на срывы скал; изредка останавливался, будто в раздумье; и снова – гул роняемых ногою камней.

– Идем.

Сцепив руки, Грайи осторожно двинулись вниз: один глаз – шесть глазниц. Впереди зрячая, две слепых молча вслед. Опасность прерывала ссоры.

Вошли в тучи. Незрячие Грайи не раз оступались, скользя

ногой по мокрым гранитам.

– Видишь?

Мгляные нити медленно расклубливались. Снизу – квадраты полей; серые тонкие стебли дымов, вырастающих из печных труб; рыжие пятна черепицы. Извивы тропы были пусты. Зрячая Грайя, повернув глаз вправо и влево, уж хотела ответить «нет», как вдруг увидала: там, позади, у утесного скоса, отделенного от них нешироким провалом, стоял человек. Он зацепился железным крюком, вделанным в длинную палку, за выступ утеса и спокойно, не шевелясь, наблюдал Грай.

Пошептавшись, Грайи двинулись навстречу нечестивцу. На пути – щель провала. Ведущая Грайя, присев на трясущихся коленях, прыгнула.

– А мы, а мы? – зашамкали оставшиеся, протягивая руки к сестре. Слепые, они не решались на прыжок. Тогда ведущая Грайя вынула глаз из-под века:

– Ловите!

Сестры подставили ладони. Но в движении Грайи было что-то неверное: глаз, мелькнув белым бликом над пропастью, не долетел до другого ее края и канул в бездну. Четыре скрюченных ладони то сжимались, то разжимались, осязая лишь пустоту.

– Глаз у тебя? – спрашивала одна.

– Нет, у тебя, – шипела другая.

А человек, оторвав крючок от скалы, стал осторожно,

но быстро спускаться к расселине. Перепрыгнувшая Грайя, оставшись одна и без глаза, почуяла страх.

– На помощь! – кричала она оставшимся по ту сторону расселины. – Ко мне!

Тогда одна из безглазых решилась. Прыжок бросил ее легкое тело через бездну с достаточной силой, но не по прямой, а наискось, и, не достигнув земли, старуха, взвыв, рухнула в пропасть. Третья – не смела. Передовой Грайе не было выбора: назади – пропасть, впереди – враг. Слепая и одинокая, она приготовилась встретить смерть. Вонзив ногти в трещины земли, укрыв голову под острыми углами локтей, покорно ждала она конца. Камешки прянули под ударом стопы у самого ее уха. В воздухе просвистел острый крюк, и Грайя, раскинув руки, без стона свалилась вниз – вслед глазу и сестре.

# II

Человек, победивший Грай, мог продолжать подъем. Навстречу швыряла молниями гроза. Гудели ветры. Тучи били серыми крылами. Но человек шел и шел: с камня на камень, извивами тропы, уступами скал – к парнасской выси. Тучи, молнии, ветры остались внизу, над головой колосилось желтыми лучами круглое солнце, у ног же качались, буквами из букв вырастая, длинные, короткие, чернильной чернью надпитые, графитной пыльцой присыпанные строки. Меж строк с тонких стеблей гляделись махрово – расплывшиеся кляксы. А по колено в словах – белоснежный крылатый Пегас: крылья за спиной; в зубах – охапка полусжеванных строк: жует, роняя то слово, то букву, то слог.

Хотел было смельчак заарканить Пегаса, но тот раскрыл шумящие бурей мощные крылья. Тогда победитель нарвал строк с парнасского луга, тома на два, и стал спускаться назад, к жилью.

Когда в низинах стало известно, что доступ к парнасским высям свободен, люди тотчас же полезли и закарабкались по камням и тропам вверх. Толпами. Но путь по срывам и кручам был тяжек. Многим пришлось, стеная и охая, сползать вниз, бросив затею. Вернувшиеся жаловались старейшинам. Те приказали: срывать кручи, круглить излом троп, делать их шире, а в опасных местах ставить перила. И когда все бы-

ло сделано по слову старейшин, люди снова – кто в одиночку, кто с женами, детьми и слугами, mit Kind und Kegel [52] – потянулись вереницею из долины к высям.

Белые снега Олимпа, затоптанные ногами и истыканные палками, посерели и стаяли. Внизу, под черепицами, открывались издательства, платившие за каждую сорванную и доставленную с Парнаса строку по медной монете. Жадность овладела всеми. Строки и строфы рвали руками, стригли садовыми ножницами, косили косами. В суете иные поэмы попали под подошвы, сломались и спутали свои рифмы, Тогда построчная плата стала катастрофически падать; вновь организованная комиссия по благоустройству Парнаса на всех скалах и у поворотов всех троп вывесила правила:

«§ 1. Доступ на вершину Парнаса всем лицам, кроме предъявивших удостоверение с печатью Коллегии Большого Пера, с сего числа безусловно воспрещен.

§ 2. Звания поэта удостаиваются лица по выдержании соответствующих испытаний при Коллегии Большого Пера. Как то: испытания на прогон любой фразы сквозь все 24 метра и 1 идеологию; экзамена по сращиванию рифм и т.д. и т.д.

§ 3. Незарегистрированным: строк не рвать, Муз с собой не водить. За каждую незаконно сорванную букву виновные ответят перед Трибуналом критики, коему и предлагается озаботиться проведением в жизнь настоящих правил».

До указа буквы и строки росли из земли как попало: омеги

---

[52] С чадами и домочадцами *(нем.)*.

и альфы вперемежку с юсами и азами. Рядом со скромными эмюэтами и круглым омикроном цвели себе пышные дэблью, крохотные треугольники ижиц. Меж стройных стеблей пятистопного ямба трагедии, с росинками слез у острых концов, путались сорные, врозь глядящие вирши и сросшиеся рифмами газеллы.

Комиссия постановила ликвидировать беспорядок: парнасские строки были рассортированы по алфавитам, по поэтическим родам, видам и подвидам, с соблюдением строфических, ритмических и метрических классификаций.

Пегас долго оставался неуловимым. Подпустит иной раз и близко, на дюжину строк, и вдруг – крылья врозь, сверкнут копыта: ищи его на дальнем уступе. Тогда было основано Общество правильной пегасиной охоты; на Пегаса шли, вооружившись множеством гусиных и стальных перьев и остро очинённых карандашных графитов: целые тучи их, затмевая солнце, летели на Пегаса, вонзаясь в шею, в уши, в крылья. Израненный, он попробовал распрямить их – и не мог.

Стреножили: «наш». Обкорнали крылья. Поставили в стойло. Теперь всякий за небольшую плату мог прокатиться на золотокопытом коне по песчаному кругу манежа; лица с удостоверениями – вне очереди.

Вначале плененный Пегас пугался толп: надели наглазники, и, опустив черные овалы наглазников к земле, с золотой, бессильно обвисшей гривой, апатично топтался, под свист бича и крики конюхов, когда-то крылатый свободный конь

по сомкнутой дорожке манежа.

Кругом – осклабившиеся рты:

– Наш.

– Наш.

# III

Но оброненный Грайей глаз не погиб: пролежав века и века на дне ущелья, он был вынесен дождевыми потоками в низину, к околице людского поселка.

Там, зарывшись в землю, пролежал Грайев глаз еще лет сто, а на сто первую весну прозяб и стал прорастать: сначала от глазного корня пополз белый и рыхлый осевидный отросток тоненького, в волосок, нервного волоконца. Волоконце чуть утолщилось и стало члениться на никлые прозрачные фибриллы, расползаясь вправо и влево сложнящейся сетью. Из зрачка протолкнулся вверх мутный стеклистый побег: раздвинув наслойки песку и налипшую на стебель глину, он смело глянул в солнце. Еще неделя, и крохотные радужные кружки, опоясавшие стебель, вдруг разорвались пестрыми лепестками. Глаз лежал где-то на заброшенном дворике, куда редко кто и заходил, у тына, среди порослей бурьяна и высоких пыльных трав. Никто не приметил рождения диковинного деревца.

Понемногу ветвясь и приподымая с земли крепнущую крону, деревцо вытянулось кверху, поднявшись над головками трав и бурьяна. Близилась осень: на сливах синели овалы слив; на яблонях – зазолотились яблоки; и на диковинном деревце, повиснув на белых осевидных фибриллах, прокруглились свесившиеся зрачками вниз маленькие понемногу

полнящиеся и наливающиеся нервным соком стеклисто-белые глазные яблоки.

Первым человеком, увидавшим деревцо, был восьмилетний оборвыш Тэк. Он служил в поводырях у старого слепца нищего по имени Цекус и помогал ему в сборе милостыни. В тот день с раннего утра бродили они меж домов поселка, пряча в суму и пеструю деревянную чашку скудные даяния людей. К вечеру, дойдя до околицы, отыскали нежилой, как им казалось, дворик и здесь, у тына, примяв траву, стали располагаться на ночлег.

Первым открыл местонахождение дерева Грай, как это ни странно, слепой старик. Глаза Тэка не покидали донца крашеной чашки, которую нес, не доверяя поводырю, старик, и жадно считали и пересчитывали позвякивавшие в чашке монеты. Старик, перед тем как опуститься наземь, опасливо повел длинным суковатым посохом вокруг: посох ткнулся в тын, ощупал землю, прошуршал по траве и вдруг уперся во что-то странное. Старик распрямился на полусогнутых коленях.

– Что это? – обернулся он к Тэку, быстро отдергивая палку. Тэк взглянул: в трех шагах от них в сером воздухе сумерек белели какие-то странные круглые плоды, густо облепившие ветви невысокого деревца. Мальчик сделал шаг вперед. Протянул руку: пальцев коснулось что-то склизкое и холодное. Дернул за белый нитевидный черенок и поднес сорванное к глазам: из руки прямо на него смотрел – то расширяя,

то суживая зрачок – человеческий глаз. Тэк вскрикнул и отшвырнул глаз прочь.

– Ну, что… что там?.. – спрашивал Цекус с возрастающим нетерпением.

Но мальчуган с плачем зарылся лицом в платье старика и не мог вымолвить ни слова. Тогда тот, шаря руками по воздуху, сам двинулся к деревцу: когда его пальцы запрыгали по скользким ветвям, ощупывая круглые зрачкастые чуть вздрагивающие от прикосновения шершавой кожи глазные яблоки, напряженное любопытство проступило на лице слепца. Тэк умолял уйти, но старик шамкал: «Нет, нет», – и не двигался с места. Близилась ночь. Тэк перепрыгнул через плетень и прикорнул по ту его сторону.

Сквозь дыры в плетне темнела неподвижная сутулая фигура Цекуса, закрывшая страшное деревцо. Теперь Тэку приключение казалось чуть-чуть смешным. Он, улыбаясь, поднял еще раз веки: старик, не шевелясь, стоял, наклоненный над глазною яблонькой. И веки Тэка слиплись.

Ночь. Для Цекуса – всегда ночь: как пришла лет тридцать тому, так и нет рассвета. Цекус не был слепорожденным: катастрофа в шахте отняла у него глаза: один, под правым веком, был мертв, другой – вытек. Теперь, стоя у деревца с непонятными плодами, слепец грезил. Всякий раз, как Цекус оставался один, он пробовал силою слабнущей от дня к дню памяти превратить ощупи в зримости и снова зажечь среди вечной ночи солнце: оно восходило – серо-желтое, мутное,

бессильное Солнце слепых, тянулось с низкого блеклого свода короткими лучами к неясным силуэтам гор, маячащим пятнам людей и шаткому контуру домов и деревьев. Так прошел час. Старец, присев на корточки, придвинулся вплотную к деревцу. Тихо. Тэк спит. Рука снова нащупала: глаз – два – три. Упершись большим пальцем левой руки в левую бровь, Цекус осторожно потянул за слипшееся мертвое веко вытекшего глаза и, преодолевая тупую боль, стал втискивать сорванный с деревца упругий и скользкий глаз во вгиб пустой глазницы. Глаз, вначале лишь болезненно тершийся о веко и разрывавший мелкие сосудцы, вдруг дернулся в пальцах и прочно вправился в орбиту: в ту же секунду что-то больно ударило в мозг, синие искры забились в глазу и у глаза, и испуганный насмерть Цекус потерял сознание.

Очнувшись, он подумал: приснилось. И в самом деле, вокруг чернела ночь: как и всегда. Цекус поднял руку к глазу: что это? Какой-то странный пятиконечный контур быстро надвигался на него. Старик застыл с поднятой рукой, и прошло несколько секунд, прежде чем он понял, что *видит* свои пальцы.

Цекус прозрел ночью. Поднявшись на локте, он, щуря от острой боли веко, различил низко над собою черную, уходящую вдаль навись. Под черной нависью проступала узкая, полукругом изогнутая полоса. «Плетень», – шепнул Цекус и тихо захихикал. Встав с колен, он, напрягая зрение, различил (близко ли, далеко ли, он не знал) какие-то темные скво-

зистые силуэты, свисшие с нависи: вверху широкие, книзу узкие.

– Деревья, – пробормотал Цекус, удерживая рукой расстучавшееся сердце.

Правда, странная форма деревьев, свешивающихся комлями откуда-то сверху, точно сталактиты с черного свода пещеры, чуть озадачила его, но поток новых ощущений не давал времени спрашивать почему. Он вспомнил, что от деревьев до плетня – две минуты ходьбы, – и деревья сразу же вправились в определенное место пространства.

Цекус был счастлив. Самый яркий южный полдень, прихотливо разодетый в пестроты красок и неисчислимости солнечных лучей, не давал никому и никогда столько трепета, сколько дала старому Цекусу эта мглистая, кой-где маячащая скудным контуром и абрисом безлунная и беззвездная осенняя ночь. И смутное плетение трав, и узкая полоса плетня, и чуть просиневшее предутренней синью (только, странно, откуда-то снизу) светлеющее небо, казались раями, откровениями высших смыслов и радостей: и когда солнце (опять странно: будто падая диском вниз), одевая мир в цвета и блики, дало себя глазу, старый Цекус, изнемогший от волнений ночи, крепко спал. Беззубые десны его были разжаты улыбкой счастья.

# IV

Слух о чудесном деревце и прозрении Цекуса забегал, семеня словами, по всем тропинкам и путям страны. За Цекусом ходили толпы. В деревянной кружке рядом с медяшками белели и серебряные монеты. Выспрашивали.

Но прозревший был как-то странно рассеян и нетверд в своем видении: шел шатким шагом, так, как если б ставил ступни в пустоту. Глядел не под ноги, а куда-то вверх. Глаз его, избегая лиц людей, щурился в носы их башмаков. Когда спрашивали, рад ли чуду, молчал, сердито шевеля ссохшимися губами. И наконец (этой привычки Тэк за стариком раньше не знавал), любил, сев у озера, а то и просто у лужи, глядеть – по целым часам – на отражения в воде.

Однажды, проходя меж рыночных лотков, Цекус велел Тэку купить зеркальце, но, глянув в него, швырнул стекло на камни. Люди смеялись. Но Тэк не смеялся: он не покидал старого Цекуса, потому что чувствовал, что Цекусу в его прозрении нужнее поводырь, чем прежде, в годы слепоты.

Люди не раздумывали долго над происшедшим: они обвели яблоню с глазными яблоками железной оградой, к ограде приставили караул и вверили чудо особой комиссии из врачей и оптиков. Тэк часто задумывался о происшедшем, но истина слабому детскому мозгу его была не в подъем.

Между тем дело объяснялось очень просто: в хрустали-

ке, вправленном в человечий глаз, живет озорная манера – опрокидывать мир, входящий в него лучами, – кверху дном. Но за мозгом, получающим опрокинутый мир от хрусталика, водится не менее озорная привычка – опрокидывать опрокинутое. Только благодаря такому двойному кувырканию и получается достаточно серьезный мир, где верх – вверху и низ – внизу, где полы – донья – корни снизу, а кровли – комли – тучи сверху и так далее. Но у ветхого глаза и древнего мозга старух Грай не было уже силы опрокидывать миры (легко ли это!), ронять звездное небо, как свидетельствует Алмазная грамота Трисмегистоса, долу лишь затем, чтобы опять возносить его горе. И поэтому-то Грайи видели вершину утеса, доверенного им Зевесом, как и все, над бегом туч; низины же для них, как и для всех, были внизу, в прорывах туч. Но когда бессильный глаз Грай сросся нервными волокнами с мозгом человека, то все пошло по-иному: глаз Грай давал мир всерьез, не переворачивая в нем ни единого блика, а человечий мозг, как и всегда, брал его озорно: и перед расширенным зрачком Цекуса горы стали на свои вершины, деревья потянулись, точно сталактитовая поросль, комлями вниз; под ногами зазияло небо с оброненными в бездну звездами, из-под самой подошвы башмака выползали тающие тучи, и только благодаря какому-то длящемуся чуду, – как думал суеверный Цекус, – нога его не проваливалась сквозь облачный студень в разверстые пустоты. А сверху давмя давил низко нависший черный пласт земли с до-

мами, запрокинутыми кровлями вниз, неустанно грозящими рухнуть вместе с людьми в звездную бездну.

В воздухе реяли опрокинутые на спину птицы. И только тело Цекуса, выключенное осязательными, мускульными и соматическими ощущениями из общего чувства опрокинутости всех вещей, находило себя одиноким и беспомощно затерянным в этом нелепом и непонятном *мире – наоборот*. Прозревший прятал от него свои глаза, склоняясь над зеркалами озер и луж: поверхности их, снова опрокидывая опрокинутый мир, давали ему, Цекусу, хоть вмале, хоть внутри лужи, мутное и колеблющееся подобие того прежнего, чаянного мира, к которому привык Цекус с детства и о котором грезил все тридцать лет своего калечества.

«Раньше, – горько размышлял Цекус, – калекой был я, один я, теперь я исцелен, но разве весь мир не стал жалким калекой: бросил Божьи звезды вниз, уперся свисающей на головы землей, как в костыли, в свои опрокинутые горы и топчет вершинами их, будто поганую траву, ясные лучи, взращенные из солнца…»

Тем временем оптико-врачебная комиссия заседала. И снова заседала. Несколько глазных яблок были препарированы скальпелем и разрезаны по их продольным и поперечным осям. Изучили – снаружи и изнутри. Запротоколировали: «Глаза как глаза». Старый Цекус был помещен для наблюдений и опытов в изолированную камеру офтальмологической клиники. Он жаловался, как умел, на опрокинутость

мира, просил убрать потолок из-под ног, умолял спасти. Однажды в припадке отчаяния старик, жалко всхлипывая, стал просить вернуть ему слепоту: Грайи мстили. Врачи и физики поводили плечами. Выделили подкомиссию. Подкомиссия распорядилась сорвать еще три глаза: взрезали по вспомогательным и боковым осям. Вылущили хрусталики, исследовали ретину до последней молекулы. Запротоколировали: «Глаза как глаза».

Тогда было решено, принимая во внимание то, что глаза произращены деревом, запросить мнения ученого помолога.

Помолог повертел глазное яблоко в руках, лизнул языком и, положив на место, объявил: «Глаз попросту еще *не дозрел*. Цекус поторопился. Если ж дать глазам вызреть, то…»

Вокруг радостно закивали головами: причина была сыскана.

К сентябрю глазные яблоки начали сами падать на заранее изготовленную выемчатую подстилку. Дежурный оптик, совершая утренний обход, всегда находил на земле два-три глаза, пучивших на него зрачки. На общем собрании комиссии и всех подкомиссий было постановлено: оборвать глаза до единого и приступить к широко задуманным опытам глазонасаждения.

Были собраны – из больниц, богаделен, домов призрения – в одно место все слепцы. Добровольцев пока не находилось.

Пресса дебатировала вопрос: по два или по одному глазу

отпускать на душу. Глаз было мало, калек много. Приступили к опытам. Исцеленные по большей части обнаруживали те же – цекусовские – симптомы специфической тревоги и депрессии. Но их быстро изолировали в особую санаторию для привыкающих, откуда они, уже отчасти примиренные и покорившиеся факту, расходились, правда, той же – цекусовской – несколько шаткой и путаной походкой, с глазами, опасливо поднятыми кверху, по всем радиусам дорог страны.

Понемногу начали поступать заявления и от добровольно решившихся на операцию. Запас глаз был на исходе. В это время новый плодосбор дал несколько сот глазных яблок.

У исцеленных после трех-четырех месяцев тоски и страха обыкновенно устанавливалось некоторое спокойствие и даже странная и несколько дикая веселость. Правда, в своих воззрениях, укладе жизни, вседневных привычках и религиозных убеждениях грайеглазые резко отличались от остальных людей, – но они, как и все, например, женились (чаще всего друг на друге) и порождали потомство.

Новое поколение грайеглазых не обнаруживало уже признаков особой тоски и растерянности, столь характерных для людей, заблудившихся меж двух миров: одним – спрятанным в памяти, другим – данным мукою операции; юные грайеглазые уверенно шагают по тучам и звездам, спокойно топча их, но, говоря о земле и лужах, глядят ввысь.

С заключениями о жизнегодности грайеглазых не надо

спешить: они только-только нарождаются. Их еще мало. И на вопрос: где правда, в первом или во втором двусловии древнего трисмегистого надписания «Небо вверху – небо внизу», возможны четыре ответа: «Здесь», «Там», «И здесь, и там», «Ни там, ни здесь».

# Четки

## I

Я всегда предпочитал прямые и ломаные линии городских улиц извиву и кружениям полевого проселка. Даже пригородное подобие природы, с вялыми пыльными травами у обочин шоссе, с тонкоствольными чахлыми рощицами в дюжину березок, с лесом, где деревья вперемежку с пнями, а на лопастях папоротника налипь рваной бумаги, – пугает меня. Природа огромна, я – мал: ей со мною неинтересно. Мне с нею – тоже. В городе, среди придуманных нами площадей, кирпичных вертикалей, чугунных и каменных оград, – я, придумыватель мыслей и книг, кажусь себе как-то значительнее и нужнее, а здесь, в поле, подставленном под небо, я, тщетно пытающийся исшагать простор, затерянный и крохотный, кажусь себе осмеянным и обиженным. На природу с квадрата холста, из тисков рамы, с подклеенным снизу номерком, я еще скрепя сердце согласен: тут я смотрю ее. А там, в поле, небом прикрытом, она смотрит меня, вернее, сквозь меня, в какие-то свои вечные дали, мне, тленному, с жизнью длиною в миг, чужие и невнятные.

И в тот день (было прозрачное сентябрьское предвечерие) я вышел за шлагбаум не так, не просто, не прогулки ради,

а за делом: мне нужно было одолжить у небополя на часдва чувство малости и затерянности. Одно место во второй главе моей работы, требующее именно этой эмоции, никак не давалось среди стен. Делать было нечего.

Я прошел уже около версты от заставы. Глаз, привыкший кружить путаницами улиц и стен, ерзать среди пестрот, втянувшийся в дробность и разорванность городского восприятия, тщетно искал деталей и мельков: зелень – синь, небо – земля – и все. Поэтому понятна радость глаза, когда удалось-таки ему, обежав горизонт, сыскать в просторах поля – мелочь: человека. Человек возник как-то сразу и нежданно близко: он стоял в мятой траве, у края дороги, сосредоточенно шаря палкой по земле. Палка терпеливо перебирала и пригинала к земле травинку за травинкой. Человек (он был очень стар), наклонив и без того сутулую спину к земле, очевидно, искал что-то, оброненное в травы: свисшие с его носа очки недовольно круглились.

Поравнявшись со стариком, я коснулся шляпы:

– Не помочь ли вам?

Старик не отвечал и еще ниже пригнулся к травам, – и вдруг круглые стекла очков, мелькнув черной оправой, прыгнули в траву. Старик растерянно ловил воздух руками, с таким видом, как если б вместе со стеклами уронил в траву и глаза. Быстро нагнувшись, я поднял за тонкий стальной заушник очки:

– Вот видите, не надо брезгать помощью. Скажите, что вы

потеряли?

Старик долго протирал пыльные стекла:

– Тут… в траве – la#.

– Что?

– Ну да, я уронил – ля-диез: с первой приписной линейки. – И он опять принялся шарить в траве. Изумленный, следя за движениями палки, я заметил: в зеленой путанице травинок что-то вдруг сверкнуло пучком стеклистых искр: протянув руку к искрам, я держал легко мною выпутанный из трав крохотный граненый пузырек: на прозрачной грани – бумажный билетик; на билетике пометка – «1a#3”», из третьей октавы. Срок заклада – 1 авг.** г.» – и еще что-то – но я не успел дочитать: костлявые пальцы жадно потянулись к находке, стекла очков к стеклу сосудца:

– Ну да, она. Конечно. Благодарю вас.

На костистом плече старика висела серая дорожная сума: приоткрыв ее, он бросил внутрь сумы пузырек и, медленно ступая, продолжал свой путь. Я шел рядом, не отставая. Мимо по колеям, растревожив пыль, прокатила телега.

– Мне все-таки хотелось бы знать, почему вы говорили о каком-то ля-диез. Ведь в траве был просто пузырек: пустой пузырек.

Старик, не отвечая, сунул руку в суму, и в пальцах его опять просверкал граненый сосудец: придерживая его левой рукой за донце, правой он осторожно повернул притертую пробочку и, чуть улыбаясь, поднес его к моему уху: груст-

ная серебристо-звенящая нота высокого юного женского голоса прозвучала из-за стеклянной грани: плененная, будто вырванная из чьего-то голоса нота – длилась и длилась, – исходя в тоске по разлученному с ней голосу и бессильно стучась серебром дрожи в стенки стеклянной тюрьмы.

В вибрации плененного звука было что-то странно знакомое: вдруг вспыхнули рампные огни, закачались в черном провале оркестра – вверх-вниз-вверх – острые асики смычков, ведомые чистым сопрано. Кто? Отвечая, из сумерек памяти просинели аршинные буквы афиш. «Клара Рид, – вскрикнул я, изумленный, – это ее 1а#!»

Старик осклабился:

– Да. И в случае просрочки… Пусть композиторы пишут ей партии без 1а#: они это умеют.

И пузырек, сверкнув гранями, опять исчез. Старик осторожно затягивал ремни.

– Это жестоко, – пробормотал я.

– Вы находите? Гм… Тут у меня в суме – всего лишь нота, так – один из двадцати семи полутонов, одна двадцать седьмая голоса. И мне говорят: жестоко. Ну а вы, существа из-под крыш, разве вы не обеззвучили небесные сферы, не онемили ангелов и не отняли песен у просторов; вы опутали музыку струнами, придавили ее потолком, вырвали у нее язык: это не жестоко?..

Он любовно провел рукой по своему мешку:

– Ну, а что до певичкина 1а#’а – будет ему таскаться от

ушей к ушам, из зала в залы: пусть отдохнет здесь, в стекле, пусть постранствует по полям, вместе с моей дорожной сумой. Вы думаете, берегу заклад для себя. О нет, – полям возвращаю я отнятое у полей: ведь стоит повернуть пробочку и… Разве вы не слышите: поля молчат – исполосованные колеями, затоптанные и изъезженные, оглушенные лязгами и грохотами ваших городов, – поля стали немы. А встарь…

С минуту мы шли молча среди пахучих имбирей, зеленых прошв подорожника и пропыленных трав. Старик задержал шаг. Он, очевидно, устал – дыхание было часто и трудно. Взглянул на меня:

– А вы мыслью все еще в пузырьке.

– Нет, думаю о вас: кто вы?

– Я – человек, которого встречают в полях. Только в полях. И встреченный мною должен ответить: чего он ищет в них?

Глаза старика были властны, как и слова.

Я ответил:

– В поля меня послали книжные поля: я здесь по их воле. Видите ли, как бы сказать… Перу моему, не мне, ему, нужны слова, слова малости и затерянности: там, в городе, их никак и нигде не достать. У наших письменных столов слово «я» переросло горы: уперлось гнутыми ножками в землю, в чернильную петлю вкруг звезд, – мне же нужны сейчас, так, на час-два, слова самоумаления, затерянности в просторах. И вот я пришел…

– Так, так, понимаю, – старик раздумчиво пожевал губами. – Может быть, будет неблагодарно отдарить вас за помощь в розысках затерянностью. Но если вы этого хотите… Странны, странны люди из-под крыш. Вы философ?

– Так, думальщик.

– Тогда… – приостановившись, старик долго рылся рукой в дорожной суме, – не подойдет ли вам *это*?

Края сумы, растянувшись, выпустили сжатую в щепоть руку; в щепоти, нанизавшись на длинную серебристого отлива нить, мерцали белые крупные бусины четок.

В этот миг солнце, перерезанное чертой горизонта, низко нагнувшись к земле, собирало свои последние оброненные лучи. По влажным вечерним травам скользили туман и сумерки, – но все же я рассмотрел: белые бусины на связанной узлом четочной нити были как-то необычно крупны.

– Странные четки, – изумился я, но старик уже заворачивал подарок в черный, матового ворса плат, вынутый им из той же сумы.

Стянув плату за концы, он передал узелок мне:

– Вот. – Мы стояли у края оврага. По земле, вместе с туманами, стлался низким гулом дальний благовест. Старик обернулся лицом к оврагу. – Вот здесь, обходя поля, я нашел как-то труп: девочка, отроковица. Вкруг шеи – синцы от пальцев: удавлена. В выдавившихся наружу глазах мне удалось увидеть крохотное остеклелое изображение мучителя. Это, конечно, так, частный случай. Но думали ли вы, думаль-

щик, что *все* смерти насильственны: пуля в сердце, пальцы вкруг горла, каверны в легких, дряхлость, одеревенившая жилы, – все это разновидности насилия. Все губит, все отнимает жизнь, даже радость. Но максимум насилия – когда убийца: всё. Как таковое. Я говорю о людях, заболевших… миром. Да, есть и такая болезнь. И не о ней ли сказал Сократ: «Философствовать – значит умирать»? Впрочем, мой подарок, – старик притронулся к узелку, – объяснит без слов.

И, кивнув мне, он вдруг круто свернул в бездорожье; травы прошуршали у его ног; туман сомкнулся.

Я знал, что в поле поблизости нет жилья. Куда ушел странный старик и кто он, являющийся в полях? Разгадка, завязанная в черный плат, была у меня в руках. Я быстро направился к городу.

# II

Придвинув ближе ламповую розетку, я развязал узел: черный плат развернулся; на матовом ворсе его белели крупные, тесно сдвинутые бусины.

«Странные четки». Я перерезал нить: две-три крайних бусины покатились по столу. Я взял одну из них в пальцы: из руки, прямо на меня, глядел остекленившийся, с полуслипшимся белым зрачком глаз. Я с отвращением и страхом отодвинулся от стола: не может быть. Нет, правда: передо мной, на черном плате, змеевидным изгибом протянулась нить; на нити, нанизавшись на нее прорезями узких зрачков, лежали чередой – глядя друг в друга – глаза мертвецов.

Долго я не знал, что мне предпринять. Вспоминались последние слова человека, встреченного в полях.

Наконец я решился. Где-то в шкапу, среди математических и физических приборов, отыскался офтальмоскоп.

Я снизил, не без чувства брезгливости, одну из склизких глаз-бусин и придвинул к зеркальцу офтальмоскопа. Сначала мне ничего не удалось рассмотреть сквозь черную щель омертвевшего зрачка. Но я не выпускал его из поля зрения: исподволь прорезь зрачка стала расширяться, какие-то контуры и пятна проступили и замаячили на вгибе сетчатки: потом слились в одно. Я тронул винт офтальмоскопа, отыскивая зеркальцем наилучший уклон луча и понемногу как

бы вдвигаясь живым глазом в глубь мертвого, я увидел: навстречу мне стлались стеклисто-мертвенные пустые просторы. Ни блика, ни черты, ни даже точки. Безвидие. И вместе с тем – такое напряжение, такая наполненность, что жгло мозг и глаз.

«Странно, – подумал я, на минуту зажмурившись, – ведь сетчатка, даже и мертвая, должна же давать отражения».

Я взял со стола блестящую крышку чернильницы и приблизил ее к сломанному лучу прибора: ничто не изменилось, ничто не возникло в царстве бездвижия, остеклело глядевшем в меня из мертвого пустого зрачка: вещи были над ним безвластны.

И чем дольше я смотрел – живым зрачком и в мертвый, – тем больше покоя входило в меня оттуда. Однако факт был слишком странен: надо проверить повтором опыта. Не отрывая взгляда, я протянул руку к столу и механически овладел первым попавшим в пальцы предметом.

Теперь, лишь только предмет вошел в луч прибора, в поле зрения смутно завозникало: сквозь стеклистые просторы разворачивалась серая дорога. На дороге – щит черепахи: четыре коротких перепончатых лапы медленно волокут щит. Позади, на расстоянии шага, обнаженный воин, с щитом у левого локтя, плечами, наклоненными бегом: мускулы бегуна наузлены, дыхание разводит и сводит сосцы. Быстрыми прыжками бросает он тело вперед, в обгон черепахи. Та не торопится: четыре перепончатых лапы сонно ворошатся под

щитом. Воин напряг последние силы, он учащает бег, – но щит черепахи все впереди. Минута, другая: ничто не меняется. Разгневанный воин, тяжко и прерывисто дыша, обрывает бег. За спиной его – колчан и лук: стремительно оттянув тетиву, он целит в черепашье тело (оно в трех футах от острия) – стрела прянула в воздух: древко ее дрожит от быстроты лёта, перья прижаты воздушным током, но меж черепашьим щитом и стрелой – все те же три фута. И воин снова начинает бег.

Я с трудом оторвался от видения. Недоумевал: что могло нарушить покой безвещья. Взглянул. У меня – прямо против придвинутого к офтальмоскопу глаза – белел другой глаз. Тогда я понял: шаря по столу, я взял другой экземпляр из коллекции старика; и второй глаз, отразившись сетчаткой на сетчатке, наложил свое видение поверх видения первого.

Я взял их оба и осторожно нанизал прорезями зрачков на свободный конец нити: «Спите, элеаты».

Было ясно: передо мною, на черном плате, нанизанные на четочную нить, лежали глаза умерших метафизиков.

Волнение овладело мною. Толчком ладони я распахнул окно: и оттуда тоже – из черных надземных полей – глядели тысячи пристальных глаз.

Ближе к ним, – ну хоть на три фута; размотав шнур лампы, я придвинулся с офтальмоскопом в руках к подоконнику: на очереди был третий. Теперь я повернул зеркальце так, чтобы спутать короткие желтые лучи лампы с длинными лучами

звезд.

Глаз к глазу: и тотчас же ударило ярким сине-белым светом; половицы выдернулись из-под ног, роняя меня в бездну. В ужасе, не успев даже вскрикнуть, я лишь стиснул веки, но, странно, спина – к спинке стула, подошвы – крепко к полу. Преодолевая испуг, я осторожно полуоткрыл глаза: у самых ресниц, спутав синие, белые, изумрудные лучи, сияли огромные, во все небо рассиявшиеся пожары. Вначале – только они; но, понемногу привыкая к слепящему удару света, протискиваясь взглядом сквозь плетение лучей, я стал различать: где-то издалека полз – навстречу моему глазу слабый желтый луч; луч был вдет в крохотный квадрат; на квадрате – маленькое, в точку ростом, тельце; я, щуря глаза, шевельнулся, стараясь лучше перципировать затерянную точку; шевельнулось и тельце. Все еще пробуя всмотреться, я поднял руку, защищая глаз от боковых тусклящих видение лучей; и из тельца тоже выдернулось коротенькое щупальце, пытаясь прикрыть его. Тогда я понял: передо мной был мир *обратной перспективы*, мир, в котором мнящееся малым и дальним – огромно и близко, а близкое и большое съеживается, малеет и уползает вдаль. И раньше, в снах, в предчувствиях, я знал об этом мире. Теперь я его видел; опрокинутая перспектива звала меня: войти в нее и вступить на кору далеких иноорбитных планет, жить неопаленным внутри ее солнц, отодвинутых прямыми перспективами *этого* нашего мира за черные пустоты межпланетья. Я знал, обратная

перспектива грозит смертями: бездна, в полушаге от путника, кажется ему далекой и недостижимой. Но погибать в ней легко: ведь тело и самое «я» там, в обратном мире, мнится далеким, чужим и ненужным.

Я резко отодвинул от себя офтальмоскоп: снова квадрат окна пошел на меня, луч лампы подобрался к глазу, а звездные пожары, вобрав в себя планы, сжались в крохотные синие точки и прянули в черное небо.

«Да, старик сдержал слово. Продолжим опыт».

Но когда, снизав четвертый глаз с нити, я попробовал ввести его в луч аппарата, глаз вдруг резко отдернулся зрачком от света. Думая, что глазное яблоко просто скользит в пальцах, я вставил в металлический зажим и отыскал лучом офтальмоскопа отверстие его зрачка. Но глаз, продолжая противиться, тотчас же плотно стиснул свой зрачок.

«Ага, вот ты как».

Приблизив пинцет, я попробовал протолкнуть его острием в прорезь зрачка: но глаз, отчаянно водя радужным ободком, смыкал края. Похоже было, будто он, отталкивая луч, пинцет, руку, защищает из последних сил какой-то мир, таимый им в себе для себя.

«Ты в моих руках, – подумал я, прикручивая винт зажима. – Один удар лезвия – и твое будет моим».

В шкапу я нашел скальпель: подведя лезвие к схваченному в стальные тиски глазу, я собирался вонзить сталь: глаз метафизика не дрогнул: не разжимая зрачка, не отдавая ми-

ра, он ждал удара. Вдруг скальпель зазвенел об пол. Чьи-то тонкие пальцы втиснулись мне в горло, и новый мир, *мой мир*, разрывая зрачки, острыми скальпелями врезаясь в мозг, входил в меня. Слезы текли навстречу вселяющейся вселенной, встречаясь с ней у выгиба ресниц.

Меж тем глаз, пойманный сталью зажима и ждавший, когда полоснут его лезвием, вероятно, недоумевал: он осторожно приоткрыл зрачок, вглядываясь в меня стеклисто неподвижным взглядом. Я высвободил пленника, взял в пальцы и вдруг – губами к склизкому холодку его обволакивающей ткани.

– Теперь пусть меняются дни и меняется в днях: то, что вошло в мой глаз, не знает смен: остеклено, врезано на веки веков, как и в них.

Я прижал голову к черному плату, я близил свои еще живые глаза к мертвым глазам метафизиков, тихим кругом сомкнувшихся вокруг меня: милые, милые, вот и я мертв, как вы, вот и я непреодолимо жив, как вы.

Но надо было кончать. Подняв голову, я собрал глаза и отдал их нити. Нить стянул узлом.

Я, вероятно, очень устал. Нервная реакция резко повернула колки, и не помню, где кончилась явь и начался сон. Именно теперь, когда подарок старика, приняв свой первоначальный вид, свисал чередой бусин с моих пальцев, одна чрезвычайно простая мысль напомнила наконец о себе: зачем старику понадобилось *подобие четок*. Ведь если костяш-

ки на стержне для отсчета цифр, бусины на нити для отсчета молитв.

И, преодолевая усталость, я приступил к последнему эксперименту. Память моя давно растеряла заученные в детстве слова молитв. Кое-как сцепляя концы с началами, я завращал ветхие отченаши – и тотчас же глаз, зажатый в моих пальцах, стягиваясь и каменея, скользнул из фаланг и по нити вниз, я продолжал механический круговорот слов – и с каждым «аминем» еще один глаз, твердея и стягиваясь, каменной бусиной опадал долу. Однообразие поворотов окончательно спутало мне мысли, веки слиплись, четки выскользнули из рук: короткий тихий стук, стук камня о дерево – был последним восприятием, дошедшим до затмеваемого сном сознания.

* * *

Теперь я веду жизнь сидня. Незачем ходить в поля за просторами: просторы всюду – вкруг меня и во мне. Каждая пылинка значительна, как солнце. Раньше все, что за окном, казалось мне дешевой картинкой, подклеенной к стеклу снаружи. Теперь вечерами я распахиваю створы прямо в звезды и в мысль: нужны были века, чтобы понять эти крохотные пятнышки. Помыслить их как миры. Но понять – мало. Надо увидеть.

Я редко переступаю теперь мой порог. Спустившись вниз,

я, пройдя десяток домов, сворачиваю обычно в узкий кривой переулок: по обе стороны сломанной линии переулка, выводящего к серому овалу ворот и желтым крестам монастыря, справа и слева – деревянные лавчонки и рундуки; всюду: на перекладинах, скошенных подставках, крючьях – образки, кресты, крестики, цветные лампадки и четки – четки – четки. Четок много: они висят гроздьями, нанизавшись на нити, мерцая опаловыми, красными, черными – из коралла, палисандра, перламутра и агата – бусинами. Ветер тихо качает на крючьях их ленивые извивы пронизей. Иногда я подхожу к четочным вязанкам, рассматриваю, осторожно касаюсь их: да, да, точь-в-точь как *мои*. Стоит закрыть глаза, и мнится: вот орбиты, приварившиеся ссученными гнилыми нитями, покорно давшие связать себя узлом и обмотать вкруг жалких крючьев, – покинув плен, разворачивают свои эллипсы, и вот коралловые бусины, рассиявшись кровавыми солнцами, возносятся на дальние зениты. Черные агатовые камешки разбухают в черные планеты, скользящие по длинным-длинным четочным нитям – от звезд к звездам.

Открываю глаза, и снова: рундуки, на рундуках крючья, на крючьях гроздья алых, белых и черных четок. Но я не верю глазу: ведь лжет же он о звездах, показывая мне их как крохотные изумрудины. Лжет и сейчас.

Иногда я шагаю дальше: по прогнившим мосткам, меж тысяч миров, продаваемых людьми людям за какие-то пятаки и гривенники, вхожу я – сквозь овал ворот – под кресты:

там – в сизом ладанном тумане, у черных ликов и желтых свечей – простые бабы-крестьянки, и меж их иссера-коричневых, растрескавшихся пальцев все те же покорные, давшие связать себя в узлы орбиты: на орбитах, толкаемые грязным ногтем, безлучные, закаменевшие, стиснутые в крохотные точки – бессильные миры.

# Старик и море

У самых морских выплесков стояла избушка: ветром подперта, облаком прикрыта. В избушке за мутным окном жил-был старик, продававший вопросительные знаки.

Согнувшись над жужжащим станком, разложив вокруг себя щипцы, щипчики, зажимы, наждак, шершавые напильники, от зари до сумерек мастерил старик – один за другим – хитрогнутые вопрошающие знаки: выгнет, наострит знаку кончик, поставит снизу точку, потрет о наждачную бумагу, покроет черныо и швырк в ящик: готов знак. В любую книгу бери. За знаки платили: был спрос. Товар шел – на всякие там запросы – вопросы – проблемы. Так что старик еле поспевал: шуршали напильники, жужжало точильное колесо, – новые и новые глянцевитые, черненькие, искусно закрюченные, точкастые, аккуратно пригнанные и заостренные вопрошающие значки, обернувшись сто раз в худых и длинных пальцах старика, с тонким звоном падали в короб.

Старик одним-один. Даже мухи и те не зудят в избушке. И когда отшумит станок, отшелестит наждак, в избушке – тишь. Но однажды в сумерки, когда море не шумело, еле шевеля омертвевшими зыбинами, сквозь тишину – чуть-чутный, вполслыха, шорох. Наклонил старик ухо к шороху – откуда? Из сердца. Делать нечего: взял старик острое сверло и ввертел в грудь и в шорох под третье ребро слева; сунул два

длинных пальца в дыру и осторожно – осторожно – дерг, и назад: глядь – а в пальцах червь. Положил на доску станка, отодвинул напильнички и щипчики.

Червь ничего: поднял беловатую с кроваво-красными мутными глазками головку кверху и ползет по доске назад, к сердцу. Старик: э, нет. Протер очки – и осторожно пальцем ползуна.

Так и стали жить-поживать вдвоем: червь и старик. Прорез в груди начал было зарастать, – но как-то старик заметил: червь, вынутый из сердца, выгибаясь беловато-алыми члениками, ползал взад-вперед, чего-то ища. Так длилось и день, и два. Делать было нечего: разогнув пальцами левой руки края раны, старик взял изголодавшегося гостя и, придерживая за скользкий хвост, сунул головкой в щель раны: изловив присосками пульс, червь радостно задергался в ране.

Так и повелось: чуть подойдут сумерки, старик, подмигнув червю, поманит его желтым крючковатым пальцем: голодный гость ползет, посвечивая мутными глазками и вытягивая присоски. Так – день ото дня червь жирел, красные глазки его пучились и круглились, тело наливалось алым мясом. Старик же – что ни день – все хирел и крючился, делаясь схожим с вопрошающими знаками, над которыми сиднем сидел от зари до сумерек, сгорбившись вдвое. А вскормленник ползал тем временем внутри короба со знаками, осторожно вороша их колючую массу. «Забавник», – шамкал старик, продолжая шуршать напильниками.

Однажды пришел в избу юноша и, бросив на стол кошель, полный червонцев, заказал вопрошающий знак, но такого крутого выгиба, такой прочности, чтобы и целому миру, сказал он, если вдеть мир на знак, не разогнуть вопроса. Поторговались – поладили.

Стал думать мастер, прибирая напильники, щипчики и зажимы, как взяться за работу. И уж как согнулся над вновь зашумевшим станком, так и пошло: заря отгорит, ночь отойдет, забрезжит день, отплывет полдень, снова тухнет заря, – а мастер пилит – шлифует – стачивает – вострит. Долго ждал червь, ползал-ползал, деликатно трогая руку мастера, – ничего не помогало.

Кончив работу, старик разогнул спину, осклабился и стал искать червя: тот лежал поверх знаков без движения, мертвый.

Когда мудреный знак был отполирован и покрыт чернью, старик решил испытать его крепость. Оторвал он хвост у мертвого червя, вдел хвост на выгиб знака, стянул узлом вкруг подзнаковой точки длинную прозрачно-серебристую нить и открыл дверь навстречу шумящему морю. Море швыряло к порогу звонкие выплески. И, размахнувшись молча длинной дрожащей рукой, бросил старик приманку в волны. Клюнула рыбешка. Тянут-потянут: рыбешка ко дну – старик к берегу. Одолел старик. Тут бы и кончить ему ловитву. Но старик, оторвав у мертвого червя чрево, вдел на знак; размахнувшись, молча бросил длинной дрожащей рукой при-

манку в волны. Клюнуло рыбище. Тянут-потянут: рыбище ко дну – старик к берегу. Ни ему, ни не-ему; и разорвалась с тонким звоном серебристая нить, а рыбище, утащив знак, ушло в глуби. Тут бы и кончить ловитву. Но упрямый старик, осердясь, с обрывком нити в руках прыг – вслед за знаком – в волны.

К ночи пришел заказчик. Ветер стучит раскрытой дверью избушки, внутри – пусто. Короб: в коробе – выгибами в выгибы – знаки.

– Где старик?

Но знаки сами умеют только спрашивать.

# Итанесиэс

Последнее упоминание о стране Итанесиэс можно встретить в старинном «Азбуковнике», относимом к XIV–XV векам. «Страна Итанесиэс, – отмечает „Азбуковник“, – за полунощным морем; заселена большеухими; малотелы, но уши их столь огромны, что могут жить, заворачиваясь в ухо, как в одежную ткань».

Этим «Азбуковник» кончает. А я начинаю.

Слово «Итанесиэс» филологи производят от *Италонекос*, что, с одной стороны, указывает на племена италов, с другой – связывает судьбу этого народа с именем египетского царя Некоса (Νεκως), а то и просто с греческим словом νεφος, что значит «туча»: не впутываясь в излишнюю филологию, можно понять и из намеков, что родина итанесийцев – облачно-влажный, близкий Египту юг.

Итанесийцы, как явствует из «Азбуковника», были существами об одном, но (как говорилось уже) столь огромном ухе, что из-за уха человека не увидеть. Передвигались итанесийцы с трудом: их слабые бескостные ножки путались в длинных мочках, хрящ ушной раковины цеплялся бугристыми выступами за придорожные камни и стебли. Да они и не любили движений: обычно днем большеухие ползуны прятались по глухим пещерам, таились в лесной тиши. Но и здесь птичьи щекоты, щебет и свисты, шум падающих ело-

вых шишек, треск коры, даже шорохи древесного роста мучили и оглушали истонченный слух итанесийца. Прижавшись раструбом уха к земле, неподвижно распластанный, терпеливо дожидался итанесиец беззвучия ночи. И только когда гасли зори, и дни, отшумев, молкли, осторожно отрывался он, сначала краешком, потом наружным завитком, а там и всем ухом от земли и, блаженно запрокинувшись, подставлял звездящемуся небу свою чудесную чуть, вслушиваясь в то, что лишь ему было внятно. И в это время итанесийца, обычно чуткого и пугливого, можно было брать голыми руками: изловленный, он и не сопротивлялся и даже под лезвием, умирая, все еще тянулся вздрагивающим ухом вверх, в звезды.

Юг слишком шумен и криклив для нежного слуха. Как ни прятались итанесийцы в беззвучие, многим пришлось погибнуть от удара о звук: шум дальнего обвала, стук копыта, лязг обода убивали их наповал.

И, снявшись с дальних лесных становий, дивный народец, будто позванный им лишь слышимыми зовами, стал искать безвопльной и бессловной страны, куда не вхожи самые малые звуки шершавой земной коры, где самый воздух – мертв и бездвижен: короче, обетованной ему неведомо кем *Страны Итанесиэс*.

Трудно исчислить все боли и смерти, ждавшие на пути: итанесийцы продвигались лишь по ночам, среди утишенных шумов, опасливо обползая всякий шелест и шорох, грозя-

щий жизни, вдавливаясь при малейшем звуке ухом в мхи.

Долгие годы длилось скитание несчастного народа: убиваемые качанием ветра, стуком подошв, пересекавших путь, устало волоча по земле свои окровавившиеся рваные ушные мочки, итанесийцы шли и шли, вперед и вперед, ведомые им лишь слышимым зовом. Понемногу шершавые голоса земли делались реже, глуше, разорваннее и отдаленнее: передовые отряды итанесийцев вступали в пустынный, давно обезлюдевший полунощный край: в полунощном краю лишь тихие лёты снежин, трение туч о воздух да глухое шуршание мшащихся мхов. Только.

И уцелевшие итанесийцы, обессиленные, но счастливые, один за другим запрокидывались на снежный бархат, сладострастно ввивая в завитки поднятых в звезды ушных улиток – дальнюю поступь светил. Первые из достигнувших страны Итанесиэс прибыли сюда вместе с весной, в пору талого льда и блекло-зеленых ростков. За весной – лето. А там вдруг солнце оторвало лучи от земли и бросило страну в полярную ночь и холод. Для итанесийцев настали тяжкие дни: их безволосые махонькие зябкие тельца охватило и стиснуло полярной стужей. Что было делать? Спасаясь от смерти, пришельцы начали заворачиваться в свои уши, пряча обледенелые тельца под гибкий хрящ. И те, у кого хрящ был мягче и дряблее, те, которые до сих пор были презираемы за слабую чуть к гармонии звезд, оказывались лучше приспособленными; другие же, с твердой, звонко резонирующей ра-

ковиной, погибали. Стужа ставила дилемму: или, превратив ухо в одежду, перестать слышать, но остаться живым, или, не изменяя древнему дару итанесийской чути, умереть.

Большинство пошло широким путем; но были среди итанесийцев и такие, что не соглашались отдать слышание за жизнь: вскоре их обледенелыми трупиками покрылась ровная снежная гладь полунощной страны. И больше вестей оттуда нет. Лишь легенда о мировой гармонии, покинув мертвую страну Итанесиэс, и сейчас еще бродит среди людей.

# «Некто»

Еще в приготовишкины дни моей жизни, возясь с переплетенным в красный коленкор задачником по арифметике, я старался представить себе образ человека, глухо там названного: «Некто». Сотни пронумерованных задач превращались для меня в главы странной повести о жизни и приключениях таинственного «Некто»: «Некто» нанял работников; помножил монеты на аршины, поделил все это на фунты; «Некто» приобрел имение; он же вдруг взял и разделил его меж тремя сыновьями, складывая и вычитая почему-то для этого цифры их лет; «Некто» получил прибыль, и он же раздал нищим восемь монет; построил странный бассейн в две трубы: через одну вода втекает, вытекает через другую… Кто он?

Тянутся долгие зимние вечера. Лампа прикручена. И в вихрастой голове, сонно качающейся над синими клеточками тетради, под слипающимися веками в рамке из черных цифр возникает будто давно-давно знакомый облик: пожилой господин – глаза спрятаны за синими стеклами очков, щетинится седеющая острая бородка.

Из первого во второй предстояла «передержка». До экзамена пять дней. Отыскав в одном из городских парков пустую скамью против журчащего фонтана, я стал отгадывать –

и так и этак – искомую цифру работников, нанятых «Некто» для рытья колодца глубиною в две сажени. «Если один раб. вырывает в 1 час 1 ар. земли и если они работали 3 часа, то…» Работников было 2 2/3 человека.

Я глубоко задумался, стараясь представить себе наглядно 2/3 работника. Тетрадь недоуменно глядела на меня своими серыми цифрами сквозь синие клеточки.

Вдруг чья-то тень легла на страницу. Шагов я не слышал.

– Ну что? Не выхожу? – спросил чуть насмешливо чей-то тихий, но четкий голос. Я поднял глаза.

– Вы?

– Я.

Рядом со мною на скамье сидел, заглядывая в синие клетки тетради сквозь синие стекла очков, пожилой господин с острой щетинистой бородкой, одетый в просторную поношенную серую пару. Помедлив секунду, незнакомец, вежливо улыбаясь, протянул сухую, с короткими пальцами руку к цифрам.

– Ну вот, – сказал он, овладевая моим карандашом. И серые цифры покорно и юрко забегали под его нажимом. – Готово.

Задача лежала решенной на моих коленях.

– Надо вам знать, молодой человек, – продолжал мерным голосом господин в серой паре, поправив очки, – что раз я нанимаю рабочих…

Слова стучали мерно и спокойно.

– Ну что, поняли?

Я молчал.

В это время к нашей скамье подошла нищенка с двумя оборвышами: один, еще грудной, слипся губами с ее грязной, выставившейся из тряпья грудью; другой – мальчонка лет четырех-пяти, – уцепившись за юбку, волочил кривые ножки по земле.

– Подайте, Христа ради, что милость…

«Некто» перевел очки с приготовишки на нищенку; хитро улыбнулся; сунул три пальца правой руки в жилетный карман и, распрямив ладонь, разложил на ней пять новеньких медяшек.

– У меня, – начал он все так же тихо и четко, – три монеты копеечного достоинства и два двухкопеечника. Спрашивается, – «Некто» повысил голос и поднял голову, как если б обращался не к нищенке, а к цветущим клумбам и разбегающимся по радиусам дорожкам, – спрашивается: сколько я вам дам копеек, если число их равно количеству единиц в цифре, которая получится от умножения числа ваших детей, сударыня, на количество монет низшего достоинства и в результате деления полученного произведения на цифру монет высшего достоинства?

Водворилось молчание. Женщина стояла, низко опустив голову. Малыш пялил глаза на неподвижно раскрытую ладонь со сверкающими медяками. «Некто», снисходительно улыбаясь, поторопил:

– Ну.

И, опустив еще ниже голову, женщина молча пошла прочь.

Господин в сером, выждав паузу, ссыпал медяшки назад, в карман: улыбка поползала-поползала по лицу и юркнула куда-то внутрь, точно под кожу. Опять молчание; не молчит лишь фонтан.

– Вы думаете, – вздохнул «Некто», скосив на меня глаза, – вы думаете, мне жаль медяшек? Нет-с. Вы полагаете, вероятно, что мне очень прибыльно связываться с этими вот дармоедами-рабочими из задачи № 1136? А почем вы знаете, молодой человек, может быть, и до воды-то они не дорыли, а деньги плочены. Да, может быть, мне и не такая *яма* нужна, – «Некто» как-то болезненно улыбнулся, – а я вот рою – рою – рою. Пусть берут, мне цифр не жалко, но нужен порядок. Счет нужен. И чтобы «по ответу». А так, «Христа ради», не могу же я, поймите вы…

«Некто» повернулся ко мне лицом и вдруг круто оборвал речь: вероятно, вспомнил, что собеседник его слишком мал и глуп.

– Вот вы мне решите-ка лучше задачку, – заговорил он, меняя тон и мотнув острием бородки в сторону безмятежно урчащего фонтана. – Если, скажем, стенки этого вот водоема да поднять до уровня струи. Если внутрь поместить человека, а трубу, выводящую воду, заколотить, понимаете ли, *наглухо заколотить*, то, спрашивается, через сколько времени

человек утонет? А?

Я беспомощно перебирал синие клетки тетради.

– Боюсь, срежетесь на переэкзаменовке, – строго добавил «Некто». – Вам сколько? Двенадцать? Порядком. По два года на восемь классов – 2 х 8 = 16, а 12 + 16 равно 28. Эге, дела ваши плохи. Ну-ну, бросьте моргать глазами, я пошутил. Пока.

Качнув снисходительно головой, «Некто» медленно поднялся, – и его серая фигура замаячила меж цветущих деревьев парка.

На переэкзаменовке я срезался.

Отошло лет десять. Ночь. Сунув руки в карманы студенческой тужурки, я шел пустынными улицами, вслушиваясь в свои шаги и в свои мысли.

Вдруг у самого уха:

– А-а, сколько лет, сколько зим…

Голос знакомо тихий и знакомо четкий. Я обернулся: в блике фонаря – очки, острая бородка, насмешливый профиль.

– Виноват…

– Забыли?

– Нет, – отвечал я, стараясь быть развязнее, – правда, года четыре как не заглядывал к вам, под красный коленкор, но… помню. Вам что угодно?

– Да-да, – рассеянно, как бы не слыша моих слов, ронял

«Некто», – другие задачи… запросы… проблемы… Я понимаю, конечно.

Идя вслед за мной, спутник вышел из полосы света, и лица его уже нельзя было рассмотреть. Мы шагали в молчании.

– Ну, что же вы теперь поделываете? – спросил я резко, стараясь заглушить неприятное чувство.

– Я? По-старому, все по-старому. Делю капиталы, рою колодцы – помните? – бассейны, там, странствую из города А в город Б, из Б в А помаленьку… Ну а вы, конечно, молодой человек, любите, там… первую «единственную», вторую «единственную», третью «единственную»… Которая сейчас? Религиозные увлечения… как это у Мольера? «Верю, что 2 х 2 = 4, а 2 х 4 = 8». Тэк-с.

От тихого и четкого голоса спутника мне стало не по себе. Ускоряя шаги, я бросил через плечо:

– Если бы даже и так, тут нет ничего смешного: сердце, господин «Некто», не счетная костяшка, вдетая на стержень. Хочу – люблю, хочу – нет. Ударом сердца счета не веду. И вообще, я не понимаю, зачем вы вторично…

– Тысяча извинений, – проговорил спутник, все не отставая. Голоса наши гулко бились о каменные стены ночной улицы. – Тысяча извинений. Я очень и очень считаюсь с вашим мнением и всегда ценил… Десять лет два месяца и четырнадцать дней тому назад я имел удовольствие уже беседовать с вами и был чрезвычайно заинтересован уже тогда аматематичностью, если разрешите так сказать, вашего вы-

соколюбопытного мышления. Юность никогда не учитывает ни лет, ни опыта, ни правил, ни трезвого расчета. И я был молод…

– Вы?

Мы обменялись взглядами.

– Не верите? Был. Но сложилось так: видите, если у звезд – орбиты, с которых им – ни-ни, если счетная костяшка, которую вы чрезвычайно остроумно изволили приравнять сердцу, и та вдета на железо стержня, то и… Вы молчите, вы думаете, мне легко: тысячелетие к тысячелетию, век к веку, год к году, – и в каждом, вы только подумайте, 525 600 минут, нет – 31 536 000 секунд, и все они одинаковы, понимаете, одинаковы и пусты. Один – меж миллиардов пустот. Числа – числа – числа: и каждое притворилось дюймом, метром, вехой, верстой, пространством, беспредельностью; работником, сыном, братом, человеком; глубью, высью и ширью. Один, всегда один среди мириады пустот!

– Кто вы? – спросил я, внезапно остановленный самым смыслом прозвучавших слов.

Опять луч фонаря пополз, ощупывая желтым бликом серое, спрятавшее свои глаза за стекла очков лицо. Он долго не отвечал.

– Меня нельзя называть «Кто», – сказал он наконец глухо, прислоняясь спиною к горизонтальному стержню, выступившему впереди какой-то темной витрины, внезапно заблиставшей в свете фонаря. – Меня нельзя называть «Кто», я –

«Некто». Одною лишь буквою отделен я от… – И, обхватив цепкими кистями рук медный, цвета желчи, предвитринный стержень, точно пробуя нанизаться на него, он закончил: – Есть одна задача… самая трудная из всех. Я решил: в ответе – 0. Ну, идите, юноша, идите, куда шли: мне сюда, – оборвал «Некто», поворачивая голову к витрине.

Я глянул по направлению его движения: только теперь я разобрал – это было узкое окно какого-то мелкого книжного магазинчика: среди брошюр, печатного старья, дешевых книг и журналов блеснуло золотом в глаза из красного: «Задачник по арифметике».

– Мне сюда, – шепнул еще раз спутник.

Минуту я колебался.

– Прощайте, – и я быстро пошел прочь.

– До свидания, – поправил четкий, но тихий-тихий голос мне вслед.

Я обернулся: ни у витрины, ни вдоль каменного, с заколоченными дверями коридора улицы никого не было.

Отошли 31 536 000 и еще 31 536 000 секунд. Запылали зарева войн. Я не встречал в их свете «Некто», но часто чуялась близость и возможность встречи – ведь сказал же он: «До свидания».

Приходили в окопы люди, и кто-то говорил им четко, но тихо: «По порядку номеров расч…айсь» – «На первый-второй расч…айсь». Кто-то тихо писал четким почер-

ком: «1000–2000 – 100 000 штыков»; было удобно считать эти торчмя торчащие в воздухе ряды стальных заостренных единиц: там, под штыками, что-то копошилось, крестилось и охало, – но штыки одинаково чернели одинаковыми остриями. Кстати, на них так удобно, как на стержни счетов, нанизывать – костяшками – хрустящие тела. И кто-то с утра до вечера (как ясно чувствовалось тогда, что в каждом дне 86 000 секунд, страшно длинных, и что каждая замахнулась на твою жизнь нулем), какой-то некто, таящийся позади, подсчитывал людей: выстрел – выстрел – выстрел. Сбивался. Встряхивал счеты: залп. И снова принимался за подсчет: выстрел – выстрел – выстрел. И колонки цифр, одетых в серое, карандашного цвета сукно, сощелкивались прочь с земли; и убитая цифра покорно ложилась под ворсящееся травинками зеленое сукно полей.

Однажды мне показалось, я видел «Некто». Под вечер пригнали пополнение: здоровые добродушные мужики. Шепчут – вздыхают: «Владычица пречистая!» Звон манерок, щелканье затворов. Загудел автомобиль: «Стройся, по порядку номеров…»

– Который полк? – раздалось из темноты – тихо, но четко.

– 178-й стрелковый.

– Сколько штыков?

– 2060.

– Ага. Командира полка. – У автомобиля заговорили вполголоса. Доносилось: «В 4.30 наступать. Участок от вы-

соты 171 до высоты 93. Не щадя…»

– Но, важдиство…

– Ступайте! – И автомобиль, удаляясь, тихо, но четко прошуршал колесами о песок.

И еще миллионы секунд. Революция.

Где «Некто»? Наверное, под переплетом задачника; в подполье: ночует то в № 1001, то в № 666; боится: найдут, обыщут, отнимут все цифры.

И вдруг… Правда, то была лишь полувстреча.

Однажды я, вместе с другими, стоял у дверной щелки на приеме у человека, от серого карандашного росчерка которого зависело решить мою судьбу, как простенькую приготовишкину задачу №… Мне не удалось добиться аудиенции, но в узкую щель двери мелькнули и для меня – на мгновенье – синие стекла очков, серая потертая пара и остро ощетинившаяся бородка. За доской двери мерный и четкий голос чеканил: «Вы вычеркнуты из списка, товарищ; ничего не могу… Следующий». Щель закрылась.

И все же рано ли, поздно ли, а будет встреча. Последняя. Я помню его «до свидания». Пусть. И тогда: или я – или он.

# Мухослон

## I

Над мухой простерлась длань и прозвучало: «Да будет слон». Не успела секундная стрелка дернуться раз-другой по циферблату, как и… свершилось: мушиные пяточки уперлись в землю слоновьими ступнями, а завитый внутрь коротенький черный нитевидный хоботок раскрутился огромным серым хоботом. И все же в чуде этом была какая-то несделанность, дилетантизм, какое-то досадное «не то»: очки психолога, сунь он их под толстую кожу новослоненного существа, сразу бы приметили, что малая мушья душа никакого «да будет» не расслышала, что чудо, коснувшись кожи, до мушьей души не дошло.

В итоге: слон с душой мухи – Мухослон.

# II

Насекомые вообще привычны к так называемым превращениям. Но в данном случае, оглядевшись в своем новом стопудовом теле, муха испытала некую жуть и растерянность. Так, вероятно, чувствовал себя тот, сказкой придуманный бедняк, что, уснув в своей тесной каморке, проснулся – по воле феи – в просторных покоях богатого, но пустынного дворца. Побродив по новому телу, устав до смерти, напоследок заблудившись, терзаемая сонмом вопросов, душа мухи порешила так:

«Оханьем поля не перейти. Что ж – живут и слоны. Получше нашего мушиного брата. Ну и я… Чем я не слон, черт возьми…»

Началось.

# III

Оглядев своими добрыми слоновыми глазами окрестность, насекомое примечает: стоит ветхая избушка-поскрипушка в одно привычно поблескивающее оконце.

«Ползну-ка разок по стеклу».

Ползнула. Краю окно вдребезги, избушка в щепы.

Мухослон только ушами шевельнул: что за притча.

О ту пору была весна. Добрая фея ходила, каблучками травы к земле не пригибая, нежными пальцами знай себе расправляла лепестки у бутонов: оттого и расцветали цветы. Клейкие листья берез зеленели что было сил.

«Какая приятная березка», – подумал сентиментальный Мухослон и весело взмахнул лапами: тоненькое деревцо качнулось, застонало и, пошептав о чем-то медленно бледнеющими листьями, скончалось.

Став на четыре круто врывшихся в песок лапы, Мухослон стал думать тяжкую думу; слезы, в каждой из которых он мог бы утонуть, не стрясись с ним нескладное чудо, заскользили по опущенному к земле хоботу.

«Не то – не то – не то», – стучало перепуганное сердце. И, отвечая сердцу, в весенней воздушной сини затрепетали опутанные золотыми солнечными нитями крохотные перепончатые крылышки той, которую Мухослон, еще до постигшего его чуда, страстно и нежно любил.

И сразу весна стала весеннее; и сразу солнце засияло в два солнца, а хобот, просохнув от слез, потянулся к крылышкам подруги. Не только хобот, весь Мухослон, ища прежних ласк, душою и телом прильнул к возлюбленной. Миг счастья… и, содрогаясь, с круглыми от ужаса глазами, жалкий и страшный, стоял Мухослон над маленькой черной кляксой, всматриваясь в пару влипших в кляксу крылышек. Крылышки дернулись – раз, другой, – и стали неподвижны. Чей-то страшный рев загрохотал в ушах ослоненного существа. Душа существа заметалась по гигантскому телу, точно пробуя прорвать толстую серую кожу:

«Довольно. Назад, к себе, в старую темную мушиную щель».

# IV

Что дальше? Дальше неинтересно. Обыскав всю землю, перетрусив планету, пылинка за пылинкой, Мухослон отыскал наконец свою полузанесенную песком привычную узкую и извилистую щель: ветхий мушиный домик.

Полез внутрь: не тут-то было. Зовет щель, зовет извилистым тонким голоском, а в себя не пускает.

Так и стоит по сию пору трагический Мухослон над своей старой уютной щелью. И нет ему пути: ни в прямь просторов, ни в извивы щели.

# «Страница истории»

Приват-доцент Генрих Иванович Нольде прикрыл за собою дверь и нащупал ногами ступеньки: одна-две-три. Позади за дверью глухо копошились слова. Знакомый голос точно стучал ими изнутри о плотно прикрытую створу: «Страница истории переворачивается, господа… мы присутствуем при событии… мы впишем новую страницу… страница»… Приват-доцент Нольде поморщился: дома на столе его ожидали самые обыкновенные бумажные, в четвертушку листа, страницы его работы о сервитутном праве. О них-то и хотелось говорить Нольде, а между тем за дверью… Приват-доцент сделал еще четыре шага и ступил на улицу. Шум голосов позади оборвался. Перед ним молчала одетая в сине-белые лунные пятна ночная улица.

В конце марта 1917 года ночи были (помните?) ветровые. И Нольде шел, осторожно ступая по лунно-белой плоскости земли и слушая шумы весеннего ветра. Нагие еще деревья, перегнувшись через забор, стряхнули с ветвей вниз на землю свои сине-черные тени: тени шевелились на белой плоскости у ног, точно самописные чернильные знаки на колоссальном бумажном листе. Секунда затишья. И вдруг зашумело: вначале где-то далеко, потом ближе и ближе, внятнее и громче: белая плоскость у ног («Как странно», – подумал Нольде) будто качнулась, дрогнула, и всё – и самая плоскость, при-

жатая к подошвам ног, и лунный диск там, вверху, и деревья, и стены, и сам Нольде, недоуменно остановившийся и выронивший трость, и дома, столпившиеся вокруг, – всё, как-то странно качнувшись, стало, медленно-медленно дыбясь, запрокидываться неизвестно куда, выгибая свою белую поверхность. Нольде закрыл глаза. Знакомое уху долго жившего среди книг человека острое потрескивание и шелест переворачиваемой страницы, усиленное, точно микрофоном каким-то, в мириады раз, звучало все ближе и ближе, со страшной быстротой придвигаясь к нему: шелест превращался в шум, шум в гул, а гул в грохот урагана. Вот – загудело под ногами. Боясь разжать стиснутые веки, Нольде лишь слышал все, но слышал ясно: вот – дома, поднятые навзничь, падают на свои крыши; вытряхнутые из постелей и снов люди кричат, расплющиваемые спавшимися каменными стенами; коротким медным воплем ударили и стихли колокола, погребаемые под кирпичными грудами рухнувших колоколен. Вот леса хрустят, как растоптанные гигантом кучи валежника; озера – плеснулись вон из берегов; горы, прогудев обвалами, пали на свои вершины. Грохоты и гуды. Безумея, человек прильнул к стене, цепляясь за ее выступы: но стена качнулась, загрохотала и рухнула на него всеми своими камнями: сознания не стало.

Сначала это было смутное ощущение холода. Затем давление неизмеримой толщи, навалившейся сверху. Ни шороха, ни звука. Может быть, секунды, может быть, столетия то,

что было когда-то, кажется, Нольде, отдавалось странному чувству безбытийности: *было и нет. И только*. Диковинен был лишь самый факт сознания: казался чем-то лишним и ненужным. Затлевала – тухла – опять затлевала мысль: *как я, мысль, есьм*. Затем смутно обозначилось и медленно крепло ощущение своего тела: тело лежало где-то там, далеко внизу, сплющенное толщей.

Сначала возможность движения казалась фантазмом. После забрезжило: а если?.. Решимость росла, оплотневала, – внезапно там, где толща и тело соприкасались, начало происходить нечто чудесное: будто обмен тяжестями: толща делалась легче и легче – тело тяжелее и плотнее. Вдруг толща дрогнула и поползла куда-то вбок, возвращая расплющенное в плоскость тело в прежнее трехмерье. Возник бледный блик. Где возник? У глаза. Чьего глаза? Какого-то Нольде, да, Генриха Нольде… да, да, приват-доцента Генриха Ивановича Нольде. Пытались старые опрокинутые вертикали распрямиться и стать на свои места. Приват-доцент Нольде тоже попробовал подняться на локте: вокруг молчали, сросшись стенами, дома. Нольде повел рукой – ткнулась в дерево: это был сбитый из досок ставень, прикрывший ему голову и грудь. Откуда это? Нольде стряхнул с себя ставень и осмотрелся: рядом с заколоченными окнами блестело обнажившееся окно какой-то витрины, очевидно и уронившей на него, Нольде, ставень, оторванный ветром.

Нольде поднялся на чуть дрожащих ногах, отыскал на

земле трость и потрогал ею безобидный, из деревянных щелевок сбитый ставень.

– Изумительная иллюзия, – пробормотал он. Теперь все было ясно, кроме…

Нольде еще раз огляделся вокруг: было тихо. Лишь издалека близились чьи-то мерные шаги. Так же белела гигантской лунно-белой страницей с кляксами и странными знаками пляшущих черных теней на своей широко развернутой плоскости земля.

– Редкий пример иллюзии, – сказал уже смелее приват-доцент, – я где-то читал, кажется, у Лацаруса, о подобного рода феноменах. Если не ошибаюсь, в его «Исследованиях о…».

И Нольде зашагал по белой странице, тщательно прижимая подошвы к ее неподвижной поверхности. Теперь ему было все ясно, кроме…

# Жан-Мари-Филибер-Блэз-Луи де Ку

– Вы наступили мне на тень. Отойдите прочь.

– Извольте: на расстояние двух скрещенных шпаг.

Клинки из ножен – и кавалер Жан-Мари-Филибер-Блэз-Луи де Ку, наткнувшись сердцем на сталь, превратился в тень и вознесся к райскому пределу.

Звякнула связка золотых ключей, и старый привратник спросил:

– Имя вашего патрона, чтобы я мог знать, чьим благословением ввести вас в рай.

– Жан-Мари-Филибер-Блэз-Луи де Ку.

– За пятью святыми не пропадешь, – улыбнулся ключарь, – подождите за порогом, пока я сбегаю к святому Жану.

Но когда райский ключарь возвратился, лицо его уже не улыбалось:

– Придется повременить. Святой Жан сказал: «Если у кавалера есть другие заступники, к ним и иди; у меня благословений не хватит – Жаны и Жаны, будто вся Франция сплошь из Жанов, а тут еще этот пятисвятка: пусть просит у Филибера, мне некогда».

– Что же, – ответил кавалер, стараясь быть вежливым (все-таки – небо), – ступайте к Филиберу, вряд ли он завален

работой.

Но прошло малое время, и привратник, смущенно перебирая бородки золотых ключей, возвратился к порогу:

– Опять заминка, кавалер. Святой Филибер сказал: «Если вы ищете редких имен и вам нужен патрон без практики, идите лучше к Блэзу: у меня нет-нет да попадется пара-другая Филиберов, а у того – вот уж десять лет – кроме души Блэза Паскаля – ни души».

– Блэз, так Блэз, – сказал кавалер, – только торопитесь, я не привык околачивать пороги.

Ключарь ушел, и, когда снова возвратился, лицо его было печально и встревоженно.

– Плохо ваше дело, кавалер. Святой Блэз сказал: «Это правда, что за десять лет только и приходила ко мне душа Блэза Паскаля, но знаете ли вы, что за человек этот Паскаль? Ведь он имя Божие – прославляя его – вместе с игральными костями тысячу раз кряду на стол швырнул, чтоб узнать по числу очков, закону вероятия и методе больших чисел, есть Бог или нет. Когда пройдет десять раз по десять лет, напомните мне о том, который ждет за порогом, а пока… терпение: с Паскалями так сразу не управляются».

– Что ж, – сказал Жан-Мари-Филибер-Блэз-Луи де Ку, – придется просить Луи.

Но старый привратник почесал золотым ключиком темя:

– Не советовал бы. Нет: святого Луи лучше не тревожить.

– Но почему?

– Строг, очень строг: всех тринадцать Луи в ад. «Туда же, – говорит, – и остальным дорога, дайте срок, пусть только родятся – а уж я их в вечную смерть». Остается еще святой Мари: пойду к нему.

И когда снова возвратился райский привратник, то ключами оземь – и говорит:

– Нет вам благословения, кавалер. Не могу впустить: святой Мари, слово в слово, то же, что и святой Жан: будто сговорились.

– Что ж это? – закричал кавалер Жан-Мари-Филибер-Блэз-Луи де Ку. – С пятью святыми и без рая. Из-за пяти бездельников – на пять крестных мук! Ну нет. Идите, старик, к кому хотите, но без пропуска не возвращайтесь.

И ногу на порог.

Поднял старый привратник золотую связку – ключиком о ключик, ключиком о ключик – и говорит:

– Разве вот что: не попробовать ли нам с вами, по тождеству имен, не к святому Мари, а к святой Мари? Вряд ли из этого что-нибудь получится, притом грешить мне тут в раю не пристало, но уж очень мне вас жалко, кавалер.

Ушел ключарь, и видит де Ку: тщетно ждать. Повернул уже спину к порогу, как вдруг слышит: звенят ближе и ближе, радостным золотым звоном звенят ключи ключаря. Обернулся, а тот уж здесь и говорит:

– Благословите удар и клинок, приведшие вас к горнему преддверию; кто б мог думать: пречистая Мари, чуть заслы-

шала ваше имя: «Это не тот ли де Ку, о котором трижды на дню докучает мне слезами, огнями свеч и молитвами маленькая Мари, что служит поломойкой в гостинице „Синяя черепаха“ на третьем лье от Парижа?» Вы, конечно, помните свою заступницу и молитвенницу, маленькую Мари из «Синей черепахи». Ну, я открываю врата…

– Погодите, погодите, добрый ключарь, – ответил кавалер де Ку и отшагнул от порога, – это правда, мне приходилось бывать проездом в «Синей черепахе», раз или два мы поили там лошадей и пережидали ночную непогоду, но никакой Мари-поломойки я не помню. Да и мало ли их было, Марий, Жанн, Иветт и снова Марий, – разве можно упомнить всех.

– Но как же мне вас пустить, человек, который забыл? – сказал привратник, пряча ключи за спину.

И в это время слышат они – к райскому порогу частыми шагами сама пречистая Мари:

– Впустите – впустите, строптивый ключарь, – раскройте шире врата: мы дадим душе покой блаженных и вечность: они помогут… вспомнить.

# Прикованный Прометеем

Факт, сообщаемый ниже, не включен в книги по истории: черепичная кровля и каменные стены маленького домика, в котором он произошел, позаботились защитить факт от стилоса, не то бы стилос передал эту историю гусиному перу, гусиное перо пересказало бы стальному перу, стальное перо – свинцовым буквам типографщика. Притом факту повезло: он возник и изник темною февральскою ночью, когда все, кроме ветра да песчинок, шевелящихся внутри стеклянных часов, крепко спали, в их числе и историк.

Итак, за стенами дома, врытого в почву Афин, в полустадии от восточных ворот, на исходе зимы третьего года LXXIX Олимпиады шестидесятилетний старик Эсхил, сидя у стола, дописывал «Прометея, принесшего огонь». Оставалось стихов сорок-пятьдесят, антистрофа и заключительная песнь хора. Поэт упрямо боролся со снами: маленькие сны и снишки, уцепившись что было мочи за ресницы поэта, тянули ему веки книзу – поэт же пробовал поднять их кверху. Близились весенние Дионисии. Надо было кончить трагедию возможно скорее.

Придвинув новую вощенку поближе к желтому языку огня, качающемуся в медной светильне, он взял было в руку стилос. Но проказливые сны, уцепившись за пальцы, разжали их: с легким звоном стилос упал на пол. Свесив руку, за-

прокинув голову, с полуоткрытым ртом – старец уснул.

Бодрствовал только огонь. Огню было скучно: покачался на тонкой сине-желтой ножке вправо-влево, потянулся изогнутым жалом вверх, подмигнул неповоротливой тьме и затем, наклонившись над вощеной табличкою, стал от нечего делать всматриваться в царапины. Судя по длине строк, по размещению букв, это была какая-то писанная пятистопным ямбом трагедия. Сначала было неинтересно. Огонь шатнулся было желтым телом назад. Но тут же рядом белели и другие тронутые стилосом вощенки. Буква за буквой, строка к строке – и вдруг Огонь, нервно дернувшись из устьица светильни, с расширенными желтыми глазами наклонился над одной из табличек так низко, что легкий восковой налет ее начал таять: там, среди путаницы слов, Огонь ясно различил *свое имя*. Трудно было связать разбросанные строки. Но старик не просыпался; черная ночь, овитая в ветры, длилась и длилась, и понемногу, знак за знаком, слово за словом, глаза Огня ссучили строки в единую нить. Таблицы рассказывали о боге Прометее, похитившем с неба Огонь («То-то меня всегда тянет ввысь», – подумал читатель). «Огонь ранее жил лишь среди бессмертных, – читал он. – Теперь стал достоянием людей». Но Прометею грозит кара; в длинном монологе Зевеса исчислялись пытки, грозящие похитителю: изгнание, распятие на выступе скалы, скармливание Зевесову орлу, слетающему с Олимпа, печени несчастного. За строками чуялось: стилос – против клюва; Эсхил – против Зевеса; со-

страдание – против страдания. Каждая буква человека говорила карающему: «Нет».

Но Огонь весь трепетал от негодования:

– Так вот кто сорвал с меня синюю звездную одежду и облачил в эти грязно-желтые лохмотья. О Прометей! О нечестивый вор, будь проклят! Ты говоришь, Зевес, он пострадает; но если ты умел создать мир, почему ты не умеешь создать кару нечестивцу? Ранящий выступ скалы, клюв коршуна – мало. Взгляни на меня, о Зевес: за что мне, ни в чем перед тобою не повинному, посланы муки, перед которыми все твои кары – ничто? Подумай: мне – седмиустному Пламени, ясноокому Πυρος [53], небожителю, блистающему средь небожителей, – быть брошену сюда, на черную землю, к людям, бороться с мраком их пещер, униженно ползать по сучьям и поленьям, вымаливая в пищу капли масла и ветви сухого хвороста; служить грязным, дрожащим от холода и страха тьмы животным; тлеть на их грубых алтарях и треножниках; спать, зарывшись в золу из печей и жаровен. Пусть он, обидчик, прикован к камням – поделом; но за что прикован я, за что мое звездное тело прижато кирпичами к днищам их очагов? О, горе, горе святотатцам! Горе земле, похитившей меня!

Отчаянным рывком Огонь попробовал оторваться, взвиться ввысь пламенеющим блеском, но раскаленный край медной светильни крепко держал его, не отдавая небу. Си-

---

[53] Огню *(греч.)*.

ние искры зажглись внутри пламени: рванувшись еще раз, Огонь лизнул острым жалом край деревянной дощечки.

– Глупый человек, – зашипел он, – спит. Доверился блику лампады, а вот я встаю во весь свой рост, одетый в сверкание искр, скованный, но мстящий земле бог. Ты, сонная тварь, не приносишь мне жертв, – и вот я сам приношу себе жертву: имя мое Пожар, подножие мне – не край лампады, а твой дом, твоя жизнь.

Краешек вощенки зашевелился, выгнулся, затлел, но в тот же миг Огонь резко качнулся вспять: «Но если сгорит дом, – никто, нигде и никогда, ни там, у светил, ни здесь, у светилен, не вспомнит о моих страданиях, не затоскует моею тоскою, ни на земле, ни в небе не прозвучит ни слова, не напишется ни буквы о моей судьбе. Нет».

Старец спал. Взволнованные блики огня дрожали на его покойном, точно в два сна одетом лице; оно, с закрытыми очами, точно гляделось в какую-то глубь. Огонь впервые видел, вытянувшись к краю стола, лицо старца: серебряная его борода легла на теплую коричневую ткань зимней тоги; ряды морщин на челе, точно строки, вписанные ступившимся стилосом; выпуклые твердые жилы на обнажившейся руке; короткое и слабое дыхание.

– Скоро умрет, – затеплилось что-то в Огне, – еще не кончит трагедии. Бедный старик. Но почему ты, убогое человечье существо, назвало свой стих не моим лучезарным именем, а темным именем вора и нарушителя правд? Разве я не

прикован, как и он? Разве я не разлучен с небесами, как и он? Разве не я здесь мерцаю над твоими строками, защищая их от тьмы! Разве не я, божественный Пир, грею твое старое, холодеющее тело! О человек, глупое, бедное разумом существо, – и ты не можешь мне подарить всех твоих слов, царапанных по воску: я мог бы растопить их, сжечь и их, и тебя, и твое жилище, и всю твою землю, – но вот служу вам, одетый в желтые одежды раба, укрытый в серый плащ из пепла, – я, страдающий бог, похищенный у звезд и отданный кирпичным очагам, я, светлейший из светлых, – Pur. Были миги – я горел в зигзаге молнии, брошенной десницею Зевеса с неба на землю; теперь таюсь, все тот же, в кривых царапинах твоего стилоса, брошенных землею в небо.

Смолк. И великая сладостная жалость к себе овладела Огнем, он закачался от боли, обжигая семью устами своими края грубой бронзовой светильни. Синие искры замерцали ярче внутри желтого обвода пламени, что-то обожгло Огонь изнутри, точно родился в нем огонь огня, что-то ужалило в глаз, и вдруг… Огонь заплакал. Это было необычайно: Огонь плакал – синими прозрачными слезами, стекавшими к краю раскаленной светильни и с легким шипом растворявшимися в воздухе. Огонь плакал, безутешно раскачиваясь на шаткой, тонкой ножке, и медленно тушил себя самого своими же слезами. Качнулась сонная Тьма: подползла к самым строкам – посмотреть, в чем дело, – и прикрыла строки. Осмелев, попробовала и дальше. Качнувшись никнущим

синим тельцем своим, Огонь сделал последнее усилие и, оттолкнув Тьму, бросил луч на лицо спящего. «Будь прославлен в веках», – прозвучало шипящим шепотом у края светильни, – и Огонь потух: он убил себя слезами. Тьма попробовала: нельзя ли дальше? Можно: сомкнулась.

Старец Эсхил беспокойно застонал во сне: ему снилось – трагедия о Прометее, принесшем огонь, встречена тихим, но злобным шипением: ошикана.

# Кунц и Шиллер

В немецком городке (название забыл [54]) – две достопримечательности: театр и памятник. Театр – несколько казарменного сложения, с овальным гербом над трехдверием входа. Памятник Фридриху Шиллеру поставлен посредине Marktplatz'a [55] в профиль к ратуше: на гранитном цоколе на фоне цветных вывесок и кирпичных стен домов, обступивших рынок, мраморный человек с худым и длинным лицом. Сидит он в удобном мраморном кресле, прислонившись к круглой его спинке. На острых коленях – свернутая тетрадь.

Естественно, что в юбилейные Шиллеровские дни, весной 1905 года, первая достопримечательность чествовала вторую и последнюю достопримечательность города: на театре поставили торжественный спектакль, произнесли речи и направились опять-таки от театра к памятнику многолюдной, но чинной толпой, возглавляемой магистратом и учеными обществами, для завершения празднества. Орга-

---

[54] «Кунц и Шиллер» – тема-подкидыш. В ранней юности был мною прочитан в одном из немецких журналов рассказ; название журнала, имя автора, заглавие, сюжетная разработка – одним словом, все, кроме экспозиции рассказа, исчезло с годами из моей памяти. И вот сейчас я стараюсь – с пером в руках – вспомнить чужую тему, в надежде, что читатель поможет мне отыскать ее настоящего автора. Все творчески привнесенное в текст прошу считать ошибкой моей памяти. *(Прим. автора.)*

[55] Базарная площадь *(нем.)*.

низатором чествования был уважаемый всеми директор театра герр Готгольд Кунц, что опять-таки вполне естественно: во-первых, он был директором театра, во-вторых, автором еще в молодости писанной и всеми, до Кунца включительно, забытой статьи о Фридрихе Шиллере, помещенной в «Allgemeine Literarische Zeitung» [56], ко дню юбилея умершая статья опять проявила знаки жизни, зашевелившись тремя-четырьмя пространными цитатами в местном Blatte [57]. В статье, как это теперь узнали все, от старого профессора Виндельмана до юной фрау Бальц (хорошенькой хозяйки овощной лавки, на вывеску которой пристально, не отрываясь вот уже пятнадцать лет сряду, смотрит мраморный Шиллер), доказывалось, на основании точного сличения разрозненных мест переписки поэта, неисчислимых «idem» [58] и «loco citato» [59], комментариев и музейного материала, что в бумагах поэта должна была находиться, очевидно, впоследствии затерянная, ни разу не опубликованная, пьеса. Ни заглавия, ни содержания ее герр Кунц, конечно, не знал, но он полагал, опираясь на строго научные резоны, что это было самое лучшее из всех произведений великого поэта, и, не без восклицательных знаков, скорбел о невознаградимой утрате для родной литературы и сцены, выражая лишь к концу сла-

---

[56] «Всеобщая литературная газета» *(нем.)*.

[57] Листок *(нем.)*.

[58] Тот же самый *(лат.)*.

[59] В упомянутом месте *(лат.)*.

бую надежду на возможность отыскания затерявшегося манускрипта.

В обширной речи в театре и в кратком слове перед цоколем памятника почтенный герр Готгольд повторил, под хлопание ладоней, стук палок и зонтиков, свои доказательства, назвав даты, заглавия и номера страниц.

Официальная часть торжества была окончена. Вечером в большом зале местного Kaiser Hotel'a состоялся полуинтимный ужин с участием местных поэтов и артистов. Тосты. Декламация. Престарелый профессор Виндельман делился воспоминаниями о встрече с троюродным племянником поэта в Штутгардте, но героем вечера оставался герой дня – герр Кунц, – он был первым из живых, собравшихся вокруг имени великого мертвеца.

Ободряемый стуком и трением кружек, ходивших по столу, возгласами «просим-просим», герр Кунц (это было уже позднею ночью, когда количество опорожненных бутылок начинало брать верх над бутылками еще не откупоренными) встал и, выждав минуту молчания, заявил, что отчаиваться преждевременно: утраченная пьеса великого мастера еще может быть отыскана и он, Кунц, сделает все возможное для… Грохот аплодисментов заглушил слова, но герр Кунц еще не кончил. Стихло. «Как знать, – восклицал он, – далек ли, близок ли день, когда я, Кунц (тут голос оратора оборвался от волнения), буду держать вот в этих самых руках гениальный манускрипт. И тогда…» Но оратора уже окру-

жили. Поздравляли, дыша в лицо пивным перегаром. Образовалась очередь: для пожатия руки герру директору Кунцу.

Понемногу стали расходиться. Одни распевали «Песнь о колоколе», неизменно застревая в первых двух строках, – дальше никто не помнил. Кто-то, перевирая слова, декламировал из «Телля».

Когда Готгольд Кунц подходил к двери своей холостяцкой квартиры, пустынная улица была залита луной; предутренний ветер шевелил листья каштанов. Кунц нащупал в кармане ключ и, открыв дверь, поднялся по четырем ступенькам лестницы. В комнатах было темно. Только лунный блик обеспокоенно ползал по полу. Ни спичек, ни свечки на столике в спальной не оказалось.

«Разиня Фриц», – подумал герр Готгольд, но так как настроение его было благодушно, решил не будить слуги и раздеться в полутьме.

Герр Кунц, собственно, вот уже лет двадцать как забросил всякие литературные изыскания и даже помыслы о поэзии, стихах, разысканных и неразысканных пьесах (вне пределов утвержденного Репертуарным советом списка) – но сейчас, возбужденный вином, аплодисментами, поощрением, чувствовал себя самоотверженным разыскателем книжных раритетов, записным библиофилом, знатоком… В ушах шуршали пыльные томы архивных бумаг: вот – рукопись… Не то… Тетрадь, заложенная в старый фолиант… Не то… И вдруг – она!

Директор Кунц развязывал шнурок на левом ботинке. Новооткрытая рукопись Шиллера публикуется с предисловием скромного, но полного достоинства советника Готгольда Кунца… Газеты-журналы оповещают миру. Сенсация. Боннский университет присылает звание доктора. Отовсюду – из Кенигсберга – Мюнхена – Берлина – предложения кафедр…

Герр Кунц стряхнул с левой ноги башмак и потянулся к правому. Но вдруг постучали в дверь: робко, но отчетливо.

– Войдите, Фриц… Вы принесли мне свет?

– Да, – послышалось за дверью.

Голос звучал странно глухо и незнакомо. Затем кто-то, лица которого в полутьме (луна как раз задернулась облаками) Кунц не мог разглядеть, просунул сначала голову, затем и острый угол плеча, наконец, и всю странно высокую фигуру (остановившись на пороге полуоткрытой двери).

Герр Кунц не испугался, только слегка удивился.

– Виноват, – сказал он, шаря левой ногой по полу, в надежде нащупать-таки башмак.

– Я решился, – заговорил незнакомец (речь его была очень тиха, почти шепот, с призвуками южнонемецкого акцента). – Эта ночь, столь для нас с вами знаменательная… Мне хотелось бы вам сказать… Если слова вашей речи не обманули меня… Вы разрешите?

И внезапно, сделав два шага к креслу с полукруглою дубовой спинкою, повернутой к окну, гость странно тяжело опустился на его сиденье и, вынув из кармана какого-то старо-

модного, каких давно никто не носил, камзола рукопись, развернул ее, не спеша, на острых своих коленях.

Было что-то знакомое во всей его фигуре.

– Правда, мы с вами где-то видались, милостивый государь, – начал сдержанно хозяин (при этих словах незнакомец медленно качнул головой), – но даже правила самого короткого, я позволю себе сказать, приятельского, больше, дружеского знакомства, не предвидят… не оправдывают, – подчеркнул герр Кунц, – столь странных ночных посещений. Вы приходите к человеку, когда все спят, если не ошибаюсь, с какой-то там рукописью и…

– В другое время, – робко возразил гость, хмуро сгорбившись над раскрытыми на остриях колен листьями, – я не могу. Мое отсутствие на Marktplatz'е могло бы вызвать толки. Особенно после празднеств. Вы легко поймете, что…

– Я ничего не понимаю, – отрезал Кунц, – мне совершенно неинтересно, чем вы там занимаетесь на Marktplatz'е («Какой-нибудь приказчик… пописыватель стишков», – дернулось в сознании). Но согласитесь, что врываться, именно врываться до света к человеку, который только что вернулся с чествования имени великого Шиллера, к человеку, достаточно заслужившему права на уважение… усесться с какою-то там «рукописью» в руках и заставлять…

– Вот именно это и понудило меня, – пробормотал проситель. – Ваша прекрасная речь, ваша статья, мудро вскрывшая одну, как я думал, навсегда похороненную тайну, – все это и

побудило меня преодолеть свою обычную неподвижность… Может быть, я слишком назойлив.

Герр Кунц начал понемногу смягчаться. «Чудак, – думалось ему, – провинциальный поэт, сгорающий от желания услыхать мое мнение о своих начинаниях. В конце концов, это молодо и заслуживает снисхождения».

– Ну, хорошо, – заговорил он, – хотя это с вашей стороны, молодой человек, и несколько экстравагантно, но ничего, я не придаю излишнего значения формам. Сейчас я постучу слуге, нам принесут свечи, – и мы позаймемся вашим «манускриптом», хе-хе. Давно пишете? – И с этими словами развеселившийся директор протянул руку к тетради.

– Я не так молод, – глухо отвечал гость, и странная грусть зазвучала в его голосе, – я не пишу уже около ста лет… Пожалуй, больше – сто два – сто три года.

Рука директора Кунца упала, не дотянувшись до рукописи. «Сумасшедший, маньяк, – качнулось в его мозгу, – близко день. Придут люди, и завтра же весь город будет болтать о том, как какому-то графоману удалось дурачить всю ночь директора Кунца. Э нет – надо кончать».

– Милостивый государь, – зачеканил Кунц, внезапно поднявшись с места, – милостивый государь, я попрошу вас убрать вашу рукопись и оставить меня в покое. Я не желаю знать, слышите, не желаю знать, кто вы и что вы там намарали. А если вы настаиваете, то прошу покорно: контора театра; Schillerstrasse, 2. От одиннадцати до часу дня. Засим.

Лицо незнакомца будто осунулось и стало мраморно-бледно; он тяжело повернулся в застонавших креслах, и в предутреннем брезге яснее забелел его острый четко прочерченный орлий профиль. Поднялся: точно глухо ударило камнем о пол. Свернул рукопись. И хлипкие ступеньки лестницы заскрипели под тихим, но тяжким шагом уходящего.

Кунц стоял неподвижно, как статуя, посреди комнаты; попробовал понять происшедшее; в висках стучало, мысль скрещивалась с мыслью. Связывались в одно слова – жесты – детали события… И вдруг, беспомощно качнувшись, Кунц стал тихо опускаться на постель: «Он, ведь это же он».

В мгновение ока Кунц вдел ногу в башмак.

Два шага к двери. Остановился – в мучительном раздумье. И внезапно, как стоял, полуодетый, без шляпы, опрометью вслед за ушедшим.

Светало. Улицы были еще пустынны: двери закрыты; створы ставен сомкнуты. Ни души. Только влево, за скрещением Karl– и Friedrichstrasse, звучал чей-то каменный мерно удаляющийся шаг. Кунц бросился за звуком. Звук то рос, мощно ударяясь о двери и глухие ставни, точно будя сонный город, то внезапно ник и утишался. Сначала Кунц шел быстрым шагом, затем побежал: достигнув перекрестка, он увидал в мерцании рассвета белую узкую спину гостя, уходившего медленным, но широким шагом прочь; тонкие белые ноги, обтянутые чулками, кудри, падающие к плечам, все это мелькнуло, миговым видением, и скрылось за

углом Kaisergasse. Кунц побежал изо всех сил; достигнув Kaisergasse, снова увидел, и уже значительно ближе, белую фигуру: она шла, не оборачиваясь, медленным, но гигантским, каменно звенящим шагом, вперед и вперед: старинный камзол лег белыми неподвижными складками вдоль тела; голова низко склонилась над развернутым в руках свитком.

«Рукопись! – крикнул Кунц прерываемым одышкою голосом, но в это время плохо завязанная тесьма на левом башмаке развязалась. Кунц наклонился над башмаком, и когда через три-четыре секунды снова поднял голову, фигура поворачивала за угол. – Боже, он идет к площади», – с отчаянием выстонал Кунц и из последних сил ринулся вперед.

Поворот, еще поворот: площадь. Добегая до Marktplatz'a, Кунц снова увидел фигуру гостя. Рассветало. Алым порфиром горела черепица кровель. Предутренний туман опасливо, хлопьями, уползал вверх. Распрямившись во весь свой гигантский рост, неузнанный гость шел, звеня мрамором подошв о булыжник. Белый и гордый, с чуть ироническим, засиявшим в свете солнца лицом, он направился прямо к центру площади. Кресло, вознесенное гранитом постамента, было не занято.

Кунц упал, зацепившись за тумбу. Поднялся – и к цоколю. Фигура была уже там. С тяжким лязгом нога ударилась о гранит постамента; острые колени согнулись; голова запрокинулась назад, камень наморщился двумя складками меж над-

бровных дуг и застыл; а рукопись стала медленно-медленно сворачиваться в окаменевающих пальцах гиганта. Кунц был уже здесь. «Рукопись», – прохрипел он, хватаясь пальцами за край свитка. Тетрадь еще шевелилась, еще выгибалась под их прикосновением, он дернул ее – и рука, скользнув по мрамору, сорвалась. Теряя равновесие, Кунц пошатнулся и, ударившись головой о выступ цоколя, грузно скатился вниз. И лежал ничком, точно мертвый.

Башмак с левой ноги, покинув при падении пятку, ударил носком оземь, подпрыгнул и, отчаянно взмахнув тесемками, кинулся в лужу.

# Бог умер

## I

Случилось то, что когда-то, чуть ли не в XIX столетии, было предсказано одним осмеянным философом: *умер Бог*.

В ангельских сонмах уже давно затлело и разгоралось предчувствие недоброго. И в сомкнутом круге серафимов давно шептали, роняя шептание в шелесты крыл, о неизбежном. Но никто не смел взглянуть, пустота зародилась и ширилась, черной ползучей каверной, там, где был Он, развернувший пространства, бросивший в бездны горсти звезд и планет. Ничто холодило воскрылья, оперенные груди, ползало на беззвучно ступающих черных лапах по эллиптическим и круговидным орбитам миров, – но никто не смел взглянуть.

Был херувим именем Азазиил.

– Хочу видеть, – промолвил он.

– Погибнешь, – зашептали вокруг.

– Как может погубить погибший? – отвечал Азазиил и, распахнув крылья, глянул.

И раздался вопль Азазиилов: умер Бог! умер Бог! Ангелы повернули лики к средине средин и узрели там зияющее черною ямою Ничто.

– Умер… Умер Ветхий Днями, – пронеслось от сонмов к сонмам, от звезды к звезде, из земель в земли. А херувим Азазиил разверстыми зеницами вбирал даль: ничего не менялось. Бог умер – и ничего не менялось. Миги кружили вкруг мигов. Все было, как было. Ни единый луч не дрогнул у звезд. Ни одна орбита не разорвала своего эллипса.

И слезы задрожали в прекрасных очах Азазиила.

# II

Томас Грэхем, шлепая туфлями, подошел к книжному шкапу. Потянув за его стеклянную дверцу, он ясно видел, как по скользкой поверхности дверцы поползло и скрылось хорошо знакомое старое бритое морщинистое лицо с чуть прищуренными глазами; за отползшим вбок отражением блестели цветными корешками – книги. Мистер Грэхем повел глазами по переплетам и не нашел. Помнил ясно: зеленый невысокий корешок с золотой строкой, опрокинутой на свою начальную букву: θ.

В рассеянности потрогал пальцами шероховатые переплеты у двух-трех книг: нужный корешок не зазеленел ниоткуда. Доктор Грэхем досадливо потер ногтем большого пальца переносицу: где бы ему быть?

Доктор Грэхем, престарелый и заслуженный профессор Лондонской высшей школы по кафедре истории религиозных предрассудков, был большим чудаком и любил, особенно в минуты недоумения и досады, старинную, вышедшую из людских обиходов, фразеологию, поэтому-то он, проведя еще раз пальцами по корешкам, пробурчал:

– Бог знает, куда она девалась.

Но Бог не знал, куда девалась книга мистера Грэхема: даже этого. Он был мертв.

# III

Мистер Брудж, сидя перед фотометром в круглом малом павильоне № 3а Гринвичской обсерватории, спешил закончить скучное поверочное вычисление суммы звездного света в созвездии Скорпиона. Подведя изумрудно-белую Бету к пересечению нитей внутри рефрактора, он левой рукой повернул закрепляющий винт, а правая быстро нажала стальную пуговку: и тотчас же зашуршал часовой механизм.

Вокруг было тихо. Мистер Брудж притиснулся глазом к окуляру. Щелкнул зажим: в поле зрения зажглось электрическое пятнышко. Оставалось повернуть раз-другой микрометрический винт… – как вдруг произошло нечто странное: звезда Бета потухла. Лампочка горела, а звезда потухла.

Мистер Брудж не растерялся. «Часовой механизм», – подумал он: но вертикально натянутая стальная нить мерно вращала колесико, с прежним ритмическим шуршанием. Не веря стеклу, Брудж откинулся на спинку кресла и простым глазом посмотрел в черный сегмент ночного неба, наклонившегося над круглым раздвижным сводом павильона. «Альфа на месте, Гамма на месте, Дельта тоже, Беты – нет», – сказал вслух Брудж, и голос его как-то странно и мертво прозвучал в пустом павильоне. Придвинул лампочку; всмотрелся в звездную карту: Бета. Странно – была и нет. Брудж глянул на часы: отметил на полях карты – «anno 2204.11.11. 9° 11»

Scorpio β / / – obiit [60]. Надвинул шляпу, потушил свет. Долго стоял в темноте, пробуя покончить с какой-то мыслью. Вышел, тихо прикрыв за собой дверь: ключ не сразу выдернулся из замка, так как руки мистера Эдуарда Бруджа чуть-чуть дрожали.

[60] Звезда Бета созвездия Скорпиона умерла (погасла) *(лат.)*.

# IV

Это произошло одновременно, миг в миг, с исчезновением звезды Бета.

Виктор Ренье, прославленный поэт, работал у зеленого колпачка лампы над поэмой «Тропинки и орбиты»: из-под пера выпрыгивали буквы. Рифмы звучали остро-созвонно. Мозг укачивало мерным ритмом. Черты длинного лица Ренье заострились и разожглись румянцем. Счастье поэтов – припадочно. Это и был – редкий, но сильный приступ счастья: и вдруг – что за черт? – мягкий толчок в мозг, – и все исчезло, от вещи до вещи, будто свеянное в пустоту. Правда, ничто не шевельнулось: все было там, где было, и так, как было. Но из всего – пустота: будто кто-то коротким рывком выдернул из букв звуки, из лучей свет, оставив у глаз одни мертвые линейные обводы. Было все, как и раньше, и ничего уже не было.

Поэт глянул на рукопись: буквы, из букв слова; из слов строки. Вот тут пропущено двоеточие: поправил. Но где же поэма? Огляделся вокруг: у локтя – раскрытые книги, рукописи, зеленая шляпка лампы; дальше – прямоугольники окон: все – есть, где было, и вместе с тем: нет.

Ренье зажал ладонями виски. Под пальцами дергался пульс. Закрыл глаза и понял: поэзии нет. И не будет. Никогда.

# V

Если бы в феврале 2204 года газетам сообщили о смерти Бога, то, вероятно, ни одна из них, даже тридцатидвухстраничное «Центро-Слово», не отвела бы и двух строк петита этому происшествию.

Самое понятие «Бог» давно было отдумано, изжито и истреблено в мозгах. Комиссия по ликвидации богопочитаний не функционировала уже около столетия за ненадобностью. Правда, историки писали о кровавых религиозных войнах середины XX и начала XXI столетия, но все это давно отошло и утишилось, – и самая возможность существования и развития вер в богов была объявлена результатом действия болезнетворных токсинов, ослаблявших из века в век внутричерепную нервную ткань. Был открыт и уловлен стеклом микроскопа даже особый fideococcus – вредитель, паразитирующий на жировом веществе нейрона, деятельностью которого и можно было объяснить «болезнь веры», древнюю mania religiosa, разрушавшую правильное соотношение между мозгом и миром. Правда, мнение это оспаривалось Нейбургской школой нейропсихологии, – но массы приняли fldeococcus'a.

Заболевавших верою в Бога (таких было все меньше и меньше) тотчас же изолировали и лечили особыми фосфористыми инъекциями – непосредственно в мозг. Процент из-

лечимых был доведен до 70–75, человеческий же остаток, сопротивлявшийся инъекционной игле, так называемых безнадежно надеющихся, селили на малом острове, прозванном – неизвестно кем и почему – островом Третьего Завета. Здесь, за сомкнувшейся высокой стеной для неизлечимо верующих, была построена даже «опытная церковь»: дело в том, что некоторые авторитеты, опираясь на древнее медицинское правило «similia similibus curantur» [61], находили, что morbus religiosa [62] имеет тенденцию в самых ее тяжелых и, казалось бы, неизлечимых формах самоизживаться и что опытная церковь и лабораторное богослужение могут лишь ускорить естественное разрешение процесса в ничто.

Опытная церковь была просторной сводчатой комнатой с верхним светом. Она была оклеена серыми обоями с чередующимися вдоль длинных полос четкими изображениями: крест – полумесяц – лотос; крест – полумесяц – лотос. У центра комнаты – круглый камень. На камне – курильница. Все.

В миг Азазиилова вопля больные верой, расставленные шеренгами вокруг круглого камня, молились под наблюдением врачей. Они стояли молча, даже губы их не шевелились. И только сизому ладанному дымку в кадильнице разрешено было двигаться: покружив серо-синими спиралями, дымок потянулся было прозрачной нитью вверх, точно пробуя доползти до неба, но, закачавшись, стал мутными нале-

---

[61] Подобное излечивается подобным *(лат.)*.

[62] Болезнь веры *(лат.)*.

тами оседать вниз. И вдруг дальний-дальний еле внятный крик, оброненный небом, ударился о купол, скользнул вдоль стен и, точно разбившись о землю, смолк. Врачи не слышали крика: они лишь видели ужас, скомкавший лица и разорвавший шеренги внезапно сбившихся в кучу, стонущих и шепчущих больных. Затем все вернулось in ante [63]. Но изумлению врачей не суждено было закончиться сразу: в течение недели больные – один за другим – выписывались, заявляя кратко: «Бог умер». Расспросы оставляли без ответа. Последним ушел ветхий старец, бывший священником и как бы последним апостолом опытной церкви островка.

– Мы оба были стары, – сказал он, опуская голову, – но мог ли я думать, что *переживу его*.

Остров Третьего Завета – опустел.

---

[63] К прежнему *(лат.)*.

# VI

Мистер Грэхем отыскал нужную книгу. Оставалось навестить цитату, проживающую, кажется, на странице 376. Улыбаясь, мистер Грэхем согнул палец и легонько постучал в переплет: можно? (он любил иной раз пошутить с вдовствующими мыслями мертвецов). Из-за картонной двери не отвечали. Тогда он приоткрыл переплет и – глазами на 376: это была та давно забытая строка старинного автора, начинавшаяся со слов «умер Бог». Внезапное волнение овладело мистером Грэхемом. Он захлопнул книгу, но эмоция не давала себя захлопнуть, ширясь с каждой секундой. Схваченный новым ощущением, мистер Грэхем с некоторым страхом вслушался в себя: казалось, острошрифтные буквы, впрыгнув ему в зрачки, роем злых ос ворошатся в нейронах. Пальцы к выключателю: лампы погасли. Грэхем сидел в темноте. В комнату уставились тысячью оконных провалов сорокаэтажные дома. Грэхем спрятал глаза под веки. Но пляска бурь продолжалась: «Бог умер – умер Бог». Боясь шевельнуться, он судорожно сжал пальцы: ему казалось – стоит коснуться стены и рука продавится в пустоту. И вдруг мистер Грэхем заметил: губы его, шевельнувшись, выговорили: Господи!

В эту ночь первый черный луч из Ничто, сменившего Все, прорвав крылатые круги, достиг земли.

И затем началось что-то странное. Краткое сообщение Бруджа об утерянной Бета Скорпиона не переступило круга специалистов. Но факты, опрокидывающие цифру и формулу, стали множиться что ни день: звезды то и дело не загорались в заранее исчисленные секунды у пересечения нитей меридионала. Внезапно в созвездии Весов вспыхнул изумрудный пожар, осиявший отблесками полнеба. Звезды сгорали и гибли одна за другой. Спешно измышлялись гипотезы для покрытия фактов. Древнее слово «чудо» затлело в толпах. Радио успокаивало, предсказывая близкий конец катаклизма. Электрические солнца, повисши на проводах от небоскреба к небоскребу, заслоняли бело-желтыми лучами беззвездящееся, пустеющее небо. Но понемногу и орбиты соседних планет стали разрываться и спутываться. Тщетно выпученные стекла телескопов обыскивали черную бездну, пробуя изловить хоть один звездный блик. Вокруг земли зияла черным-черная тьма. Теперь нельзя было скрывать от масс: укрощенная числами, расчерченная линиями орбит бездна, расшвыряв звезды, смыв орбиты, восстала, грозя смертью и земле. Люди прятались на холодеющей и одевшейся в вечные сумерки земле, за камни стен, под толщи потолков, ища глазами глаз, дыханием дыхания: но к двум всегда приходило и незваное третье: стоило отвести взгляд от взгляда – и тотчас, – у самых зрачков – слепые глазницы третьего; стоило оторвать губы от губ, – и тотчас – черным в алое – ледяной рот третьего.

Сначала умерла поэзия. А после и поэт Ренье – омочив обыкновенное стальное перо в баночку с FSN, он проколол им кожу: этого было достаточно. За ним и другие. Но профессор Грэхем продолжал пользоваться пером для прямых его целей: он написал книгу – «Рождение Бога». И странно, автора не заключили на остров Третьего Завета, как это сделали бы раньше, а книга к концу года шла сорок первым изданием. Впрочем, территории опустевшего островка и не хватило бы теперь для всех, захваченных эпидемией morbus religiosa. Островок точно раздвинул берега, расползся по всей земле, отдавая ее царству безумия. Люди, запуганные катастрофами, затерянные среди пустот, прозиявших из душ и из пространств, трепещущим стадом сбились вокруг имени Бога. «Это кара за века неверья», – гудело в массах. И, указывая на разваливающийся вокруг умершего Бога мир, пророки у перекрестков кричали: «Вот чудеса Господни!», «Покайтесь!», «Прославьте имя Творца!». Под «имя» спешно подводились алтари. Над алтарями нависали своды. Храмы, один за другим, бросали в черное небо золото крестов и серебро лун.

Происходило то, чему и должно было произойти: был Бог – не было веры; умер Бог – родилась вера. Оттого и родилась, что умер. Природа не «боится пустоты» (старые схоласты путали), но пустота боится природы: молитвы, переполненные именами богов, если их бросить в ничто, несравнимо меньше нарушат его нереальность. Пока предмет предмет-

ствует, номинативное уступает место субстанциональному, имя его молчит: но стоит предмету уйти из бытия, как тотчас же появляется, обивая все «пороги сознания», его вдова – имя: оно опечалено, в крепе и просит о пособии и воспомоществованиях. Бога не было – оттого и сказали все, искренне веруя и благоговея: есть.

Реставрировался древний культ: он принимал старые католические формы. Был избран первосвященник, именем Пий XVII. Несколько стертых камней давно срытого Ватикана были перенесены с музейных постаментов снова на пеплы Рима: на них, обрастая мраморами, возникал Новый Ватикан.

Настал день освящения новой твердыни Бога. День ли: сумерки теперь не покидали землю; черное беззвездное небо раззиялось вкруг планеты, все еще ведомой слабнущими и гаснущими лучами солнца по одинокой последней орбите мира. На холмах, вокруг нового храма, собрались мириады глаз, ждавших мига, когда престарелый первосвященник поднимет триперстие над толпами, отпуская и их в смерть.

Вот у мраморных ступенек закачалась старинная лектика; и старческое «in nomine Deo» [64] пронеслось над толпами. Дрожащая рука, благословляя, протянулась к черному небу. На хоругвях веяли кресты. Тонкие ладанные дымки струились в небо: но небо было мертво. Тысячи и тысячи губ, по-

---

[64] Во имя Господа.

вторяя «имя», брошенное им urbi et orbi [65], звали Бога, тысячи и тысячи глаз, поднявшись кверху вслед за триперстием и дымками кадилен, искали там, за мертвым и черным беззвездием, Бога.

Тщетно: Он был мертв.

---

[65] Граду и миру *(лат.)* – формула из традиционного благословения римского папы, означающая, что благословение распространяется на «град» (Рим) и на весь мир.

# Страна нетов

*Объявившихся на службу великого государя почитать в естех, а протчих людишек писать нетами.*
***Из писцовой книги конца XVII в.***

## I

Я *есть* – есьм. И потому именно есьм, что принадлежу к великому народу естей. Не могу не быть. Думаю, это достаточно понятно и популярно.

Но изъяснить вам, достопочтенные ести, как бытие терпит каких-то там нетов, как оно где-то, пусть на глухой окраине своей, на одной из захолустнейших планеток, дает возникнуть и разрастись странному мирку нетов, – это для меня будет чрезвычайно трудно. Однако Страна нетов – факт. Я сам был среди них и нижеизложенным свидетельствую правду моего заявления.

Один расфилософствовавшийся нет сказал: «Бытие не может не быть, не превращаясь в небытие, а небытие не может быть, не становясь от этого бытием», – и это настолько справедливо, что трудно поверить, как нет, несуществующее существо, могло – десятком слов – так близко подойти к ис-

тине.

К делу: диковинная Страна нетов, которую довелось мне посетить, – это кажущаяся им, нетам, плоской сфера; над кажущейся плоскостью через равные промежутки времени, которое, как доказано наимудрейшими нетами, само по себе не существует, происходят кажущиеся восходы и заходы, на самом деле неподвижного относительно мирка нетов солнца, порождающего тени, которые то малы, то велики, то возникают, то никнут, – так что нельзя сказать с уверенностью, существует ли тенное тело или не существует. Правда, неты учат своих малых нетиков, что тени отбрасываются какими-то там вещами, но если рассудить здраво, то нельзя с точностью знать, отбрасываются ли тени вещами, вещи ли тенями – и не следует ли отбросить как чистую мнимость и их вещи, и их тени, и самих нетов с их мнимыми мнениями.

# II

Неты живут кучно. Им всегда казалось и кажется, что из многих «нет» всегда можно сделать одно «да», что множество призраков дадут себя сгустить в плотное тело. Это, конечно, мысль безнадежная, чуть-чуть даже глупая, и опыты с такой мыслью наперед обречены на неудачи, но из этих-то длительных и упрямых, опрокидываемых бытием и вновь тщащихся попыток быть и состоит их так называемая жизнь.

Отсюда – их любовь, их общество, их религия.

Любовь – это когда нет влечется к нете, *не зная, что неты нету*. Страстное незнание это длится, в зависимости от сцепления случайностей, миги, минуты, месяцы, а то и дольше; кстати, любят они друг друга обычно в темноте, и, может быть, только в эти редкие миги мнимые существа из Страны нетов искренни, признавая, что и при свете они видимы не лучше, чем в темноте.

Веснами, когда в их мирке расцветают, дурманя нетов, их никлые травы и нетовые цветы, когда и у нас, великого Народа естей, явь оборачивается сном, сон просыпается явью, – и им, мнимым, мнится, что и им доступна *любовь*. И как ветер спутывает стебли трав, так весенний порыв, перепутывая «я» с «я», заставляет и их обменяться тем, чего не имеют: телами и душами; и только когда отвеет вихрь, когда осыплется лепестками весна, видят неты: а ведь ничего не было.

# III

Ученые неты, уединяясь по кельям, целыми годами доказывают – при помощи букв – себе и другим, что они суть; это излюбленная тема их трактатов и диссертаций; буквы им послушны, но истина всегда говорит нету: нет.

Казалось бы, вместо того, чтобы доказывать себе себя, сучить мысли о жизни, гораздо *проще* – жить; казалось бы, закончившему первый том «Этики» вместо того, чтобы приняться за второй том «Этики», проще и нужнее свершить хоть один этический поступок. Но нет: окружив себя книжным шелестом, выгнув деревянные доски полок грудами букв, нет доказывает себе себя. Время, дергаясь острыми стрелами на их циферблатах, кружит и кружит; и как подчас ни остры нетовые мысли – они умеют лишь кружить вокруг себя самих. Так или иначе, смена событий в голове нета такова: сперва душа, потом кусок мертвой ткани, потом гниющая труха, потом, если глянуть сквозь черные отсмотревшие глазницы черепа, обыкновеннейшее ничто: нет сведен на нет.

Один искусник нет начинал так: «Мыслю, следовательно, существую». Но ведь не существование следствие мысли – мысль следствие существования. И так как даже нетовская логика строго воспрещает умозаключение от бытия следствия к бытию основания, то, выводя свое существование из

своей мысли, неты сами себе себя самих запрещают всеми параграфами своих же логик. Притом многие ли из нетов мыслят? Одиночные мыслители, кучка кой-каких думальщиков… И все. Больше не припомню. Остальные, значит, не только не существуют, но *даже и не мыслят*. Ученые неты, отгородившись стенками келий и страницами книг от мира, делят обычно *свое* все на «я» и «не я». Таким образом, для нета А и нета Б, рассаженных по разным кельям, – для А – Б «не я», для Б – «не я» А. То есть и тот и другой для кого-то всегда остается в «не я». Этим постоянным «кто-то» (даже их мудрецы этого не подозревают) был я, есть, свершающий свое путешествие по путям их страны.

Надо признать: среди философствующих нетов иным удавалось силою догадки подняться до нетствующей философии. В их смутных, как зимний брезг их рассветов, измыслах порою мне удавалось угадать вечную, все страны и миры объемлющую Правду. У иных из них была великая отвага, решимость на необычайное: рассеять себя самого силою своей же мысли. Так, один мудрый нет, уйдя из мира мнимостей в малую и тихую келью, долгие годы одиноко мыслил, не открывая даже створ окна в так называемый внешний мир; и отвык от мира, как бы отделившись от него чувствилищем и мышлением. Однажды, случайно подойдя к подоконнику, он вспомнил о том заоконном мире и потянул за шнурок штору. Каково же было удивление нета, когда там, за окном, он не увидал никакого мира, точно весь мир, сверкающий звезда-

ми и солнцами, одетый в зелень и лазурь, куда-то отвалился от окна, отклеился от его стекол, как дешевая картинка, прилепленная снаружи и отмытая дождем. Ученый, зажав в руке шнурок, долго глядел в зияющую тьму. Не было никакого сомнения: это было ничто, обыкновеннейшее ничто. Ученый освободил шнурок – штора, прошелестев, упала. Подойдя к столу, он начал работу над своим ставшим впоследствии знаменитым трактатом о том, что внешний мир – это просто скверная привычка так называемой нервной системы.

Правда, злые языки утверждали: якобы факт, легший в основу трактата, легко объясним – окно было снаружи прикрыто ставнем, и философ, подняв штору, не учел по рассеянности этого обстоятельства: простую деревянную, выкрашенную в черное ставню он принял за внешний мир и поспешно сделал свои выводы. Бывает.

Другой мудрец, наблюдая кружение часовых стрелок своего карманного хронометра, глубокомысленно подметил, что они хоть и движутся непрестанно, но никуда из кармана не уходят. Остальное в его системе было простой аналогией.

Но это – отдельные случаи. Вообще же, как уже упоминалось, неты, возникнув в бытии вследствие какого-то непостижимого просмотра или ошибки, естественно, должны бояться и боятся истины, так как истина есть нечто, по самой своей сути их, нетов, отменяющее. И хотя в своих книгах они льстят этому слову, но на самом деле нетам невыгодно искать истину, и они спасаются в тайне. Их религия, например, –

это довольно сложный лабиринт тайн или таинств, как они их именуют, в которых они что-то таят сами от себя, искусно упражняясь в удивительном *умении не знать*, порою достигая в нем поразительного мастерства. Священные книги нетов сообщают, что мир сделан из ничего. Это правда: при изучении их мира везде и через все явственно проступает тот странный материал, из которого он создан – ничто. То там, то тут отысканы мною при просмотре их книг проруби в истину, постепенно затянувшиеся у нетов словами и софизмами. Например, в их Книге Бытия сказано, что прародители нетов вкусили от древа познания, но *от древа жизни не вкушали*.

Здесь я должен ознакомить вас, достопочтенные ести, с чуждым нам специально нетовским понятием – *смерть*. Хотя нетам и удается подчас с чрезвычайной натуральностью притворяться существующими, но, рано ли, поздно ли, неизменно происходит раскрытие обмана, и это-то у них и называется «смерть». Нет, о котором сегодня еще говорили невероятное: «Нет есть», – внезапно слабеет, обездвиживается, бросает игру в жизнь и перестает быть: истина вступает в свои права. Правда, неразоблаченные пока неты, собравшись вокруг так называемой могилы уличенного смертью нета, поют что-то о «вечной памяти», говорят над ямой о бессмертии души и т.д., но и говорящие, и слушающие этому не верят: «вечная память» бывает у них обыкновенно в несколько оборотов стрелки по циферблату; иные, впрочем, особен-

но честолюбивые, цепляются за «бессмертное имя», но из-за нескольких букв, которые называются у них именем, и спорить нет надобности.

Так или иначе, но смерти неты не любят: она тревожит их совесть, портит им их игру в кажимости и мучает дурными предчувствиями. Удивительному искусству казаться, будучи ничем, уметь быть всем, я особенно изумлялся в специфически нетовом учреждении, *театре*. Мы, есть, неизменно пребываем в своей самости; неты же с поразительным проворством рядятся в чужую жизнь; там, в их театрах на ненастоящей, из досок сколоченной земле, при свете лампочек, подменивших свет солнца, среди ненастоящих, нарисованных вещей, неты живут придуманными жизнями, плача над несуществующими горями, смеясь измышленным радостям. Присутствуя при этом, я не мог не согласиться с их лучшими художественными критиками, заявлявшими, что для них, нетов, театр – это «школа жизни».

# IV

Вот фрагмент из мифологии нетов.

Вначале был Хаос. Хаос выплеснул из себя Океан. Океан взял в супруги Судьбу. И родилось от Судьбы и Океана три сына: Εν [66], Και [67], Πα‘ν [68]. Старший, Πα‘ν, непомерного роста, властолюбивый и сильный, был нравом в мать, в Судьбу; средний, Εν, любил одиночество и прихотями и угрюмостью схож был с дедом Хаосом; а младший, Και, был никакой: подражал братьям – и общительному Πα‘ν‘у, и замкнутому Εν‘у. Братья ревновали его друг к другу, и каждый из них любил и учил его по-своему.

Πα‘ν, когда Και был еще совсем маленьким, часто, изловив в огромные пальцы свою жемчужину, а то и до смерти перепуганную, трепещущую в пальцах водяную каплю, показывал Και‘ю его собственное изображение внутри жемчужины и капли. Και смеялся.

Когда Και чуть подрос, старший брат научил его играть в прятки. Огромный Πα‘ν умел ловко прятаться: и в текучую волну, и меж створок крохотной раковины, и меж лепестков качающихся на стеблях цветов, и даже по крохотным, еле зримым зыбинкам. Και искал его, расплескивая ручонками

---

[66] Одно *(греч.)*.

[67] И *(греч.)*.

[68] Всё *(греч.)*.

волны, перебирая пухлыми пальцами лепестки у цветочных чашечек, разжимая створки раковинам. И какова была радость дитяти, когда вдруг меж крохотных лепестков или искристых зыбинок ему удавалось отыскать брата.

– Нашел! – кричал он, и огромный Πα‘ν, распрямляясь до самого неба, подымался из зыбинки во весь свой гигантский рост, грохоча громоподобным смехом.

Но Εν глядел молча на игры гиганта с малюткой. Улучив час, когда Και оставался один, он уводил его к себе, под нависшие камни пещеры, и там учил его одиночеству и гордости: приблизив тонкие и цепкие пальцы к своему внезапно расширяющемуся зрачку, он осторожно вынимал из глаза мир, со всеми его звездами и лазурями, морями и землями. Хитро улыбаясь, показывал он эту новую пеструю игрушку изумленному ребенку. Заслышав тяжкий шаг Πan+‘a или плещущую поступь отца, Εν быстро, придерживая пальцами левой руки свой растянутый зрачок, вкладывал мир назад в глаз, скромно опускал ресницы и уходил бесшумным шагом в свою одинокую пещеру. Ребенок так пристрастился к этой игре, что, издали завидев брата, уже тянулся ручонками к его глазам.

Однажды Πα‘ν услыхал плач маленького баловня. Бросившись на голос, он увидел малютку, тщетно пробовавшего вытянуть из своего правого зрачка что-то огромное, пестрое и многовидное, отливающее сиянием всех солнц: это «что-то» застряло в зрачке дитяти и, не повинуясь слабым его ручон-

кам, не шло ни взад, ни вперед. Πα‘ν бросился к брату и, быстро втолкнув огромное и многовидное, жалящее лучами всех солнц, внутрь Και‘ева глаза, гневно ударил его по дрожащим пальцам, крича: «Не смей этого делать, слышишь! Никогда». Και, перепуганный насмерть, молчал.

Когда Океан одряхлел и покрылся пенными сединами, то стал он тяготиться своей безбрежностью. Судьба сказала ему: «Отчего бы тебе, Океан, не приобрести берегов? За добрую цену».

Старик было не хотел, но Судьба повторяла: «Так нужно, так нужно», пока Океан не призвал сыновей и не сказал им: «Εν, Και, Πα‘ν, мне тяжко от моей безбрежности. Я дал вам жизнь, дам и смерть, если не выполните свято воли моей: идите в мою безбрежность и достаньте мне – не скупясь ни на жизнь, ни на цены – берега». Тогда маленький Και взял за руки братьев, и они пошли в безбрежность за берегами: Πα‘ν, Και, Εν. Шли и шли. Однажды, застигнутые ночными снами, они легли отдохнуть. Πα‘ν‘а и Εν‘а посетил один и тот же сон: явилось им Ничто, безглазое и безвидное, и сказало глухим могильным голосом: «Я Ничто, не являюсь в явях, но лишь в снах. Есть у меня берега, но я голодно и отдам их лишь тем, кто скажет: „Да, не буду“. Меньше двоицы не беру».

Ночь отошла. Εν рассказал сон Πα‘ν‘у, Πα‘ν – Εν‘у, и молвили братья друг другу: «Уж что отец наш Океан влил себе

в мысль, тому не выплеснуться. Вернемся втроем без берегов – убьет троих; лучше умереть двоим. Жалко нам расставаться с сладостной жизнью; того жалче – с милым братцем Και‘ем, но если так хочет мать-Судьба, – то да, не будем». И, сказав это, снова уснули, но сон их был беспросыпен. Долго маленький Και теребил и толкал слабыми руками неподвижные тела спящих братьев; оглянулся, ища помощи вокруг, и видит: лежат перед ним новенькие, ненадеванные берега: где покруче, где поуступистей, а где и покато. Стал Και звать: «Εν! Πα‘ν!» Сев на кручах и уступах берегов, передразнивало его Эхо: «Εν… Πα‘ν…» Και заплакал. Поплакав, взвалил берега на плечи и, царапая кожу о выступы утесов и изломы круч, понес, сгибаясь под тяжестью, дорогую покупку отцу. Старый Океан обрадовался берегам; влился в них, ласково плескаясь; успокоился и заснул. А Και остался на попечении матери-Судьбы.

Потеряв братьев, Και затосковал.

– Милые Εν, Πα‘ν, что я без вас? – плакался он. – Когда вы, большие и сильные, вели меня, взяв за руки, ты, Εν, за правую, ты, Πα‘ν, за левую, то и я был силен вашей силой, и я был велик вашим величьем. Ты уже не будешь играть со мной в прятки, братец Πα‘ν, таясь от меня под зыбинками и лепестками. Ты уже не будешь мне показывать мира, укрытого в твоем глазу, мой милый братец Εν. И я без вас только «Και», только малое бессмысленное «Και» – «и», ничего не соединяющее.

И маленький Και стал чахнуть и никнуть: умалился из Και в Και. Тут миф обрывается. Лишь в так называемых учебниках логики нашел я его досказ, но слишком уж краткий и сухой: «Все люди смертны. Кай – человек. Следовательно, Кай – смертен». Очевидно, если верить вышеназванным учебникам, Και стал смертен; от него и пошли неты, или «смертные», как названы они в мифе, другими словами – существа, суть которых заключается в способности умирать, то есть не быть. От отдаленного предка своего они унаследовали, что видно из всех их книг, его тоску по Πα‘ν – Εν‘у. Расселенные у безбрежности взятого в берега Океана, они все еще повторяют старую легенду о Кае, лишь искажая ее от поколения к поколению: Каева тоска по погибшим братьям укоротилась у них до тоски о себе самих; самое имя Кай произносится ими как Каин; и эпизод об исчезновении возлюбленных братьев Каевых исказился в историю Каинова братоубийства.

# V

Самое противобытийное в нетах – это их рассудок, строитель многого множества: «итак» – «поэтому» и пр. Даже какой-нибудь жалкий кактус, растущий в стране нетов, и тот растет от корня к колючке; мысль же нета, прячущаяся внутри восьми хитро сложенных в так называемую голову костей, вопреки всей Природе, текущей от причин к следствиям, толкающей рост от корней к листьям, – тянется от колючки к корню, течет от следствия к причине. «Рассудок» нета, получив раздражение (как бы укол) извне, переворачивает все восприятия доньями кверху, мыслит против течения времени, переходя лишь после «после» к «прежде», двигаясь от следствия к причинам. «Рассудок» бунтует не только против движения часовой стрелки, показывающей III после II, II после I, но и против всей Природы, кружащей планетами по орбитам, кровью по жилам и соками по клеточным ходам растений и не терпящей идущего против нее. Неты сочинили легенду о корабле «Argo» [69], но их мнимая жизнь не сказка ли о крушении ergo [70]. Кстати, пользуюсь случаем заметить, что глубокомысленная система панлогизма, пользующаяся признанием среди ученейших нетов, сводится к истории об одном чрезвычайно беспокойном ergo, которое со-

---

[69] «Арго» – корабль (см. греч. миф об аргонавтах).

[70] Следовательно *(лат.)*.

валось во все проблемы до тех пор, пока не потеряло одной из своих букв. Нашедшего «г» и «ego» [71] просит возвратить по принадлежности.

Незадолго до моего отбытия из страны мнимых я был свидетелем случая, чрезвычайно меня возмутившего. Увидав однажды группу из нескольких маленьких нетят, окруживших большого нета, я, любопытствуя, подошел к группе. Нет рассказывал нетикам… о чем бы вы думали, достопочтенные ести! – о нашей жизни, жизни *Народа естей*. Правда, рассказ его был спутан и бессмыслен, но все же, глубоко взволнованный и изумленный слышанным, я шагнул к нему, разрывая круг испуганно раскрывших рты нетят:

– Откуда *вы* могли узнать это? – воскликнул я.

– Ниоткуда, – сонно протянул нет, чуть улыбнувшись, – это так… сказка, рассказ о том, чего не было.

– Если вы, – резко оборвал я, – хотите небылиц, то расскажите лучше о своих жизнях, честно и не припутывая бытия.

И, повернувшись, я пошел прочь. За спиною я услыхал пискливый смех маленьких нетенышей.

После этого, казалось бы, пустячного случая странная, неотвязная тоска вселилась в меня, милые братья ести. Но я решил твердо продолжать странствие.

В мирке нетов я пробыл недолго. Продвигаясь все дальше и дальше, все глубже и глубже в пустоты небытия, я покинул нетовую страну, где тени отбрасываются вещами, а вещи

---

[71] Я *(лат.)*.

отброшены тенями; солнце там еле подымается над кривой горизонта, ощупывая слабыми дрожащими лучами зыбкие, колеблющиеся очертания вещей; наконец, двигаясь еще далее, проник я в Мертвую страну, где нет ни солнц, ни вещей – лишь вечное кружение и молчаливый ползз теней. Тут тоска, вошедшая в меня еще там, в Стране нетов, стала непереносной: я представлял себе мою далекую, осиянную солнцами родину и вас, моих сущих и несомненных, оставленных в далях, за пустотами миров естей, – и я повернул назад. Снова пересек я миры: мир теней без вещей; мир вещей, оброненных тенями; мир теней, трусливо дрожащих у подножия вещей (здесь я окончательно простился с моими знакомцами нетами), – и наконец достиг страны, где вещи без теней: здесь все было залито не покидающим зенита светом.

«Близко», – подумал я и продолжал свой быстрый возврат в солнце. Последние сроки пути. Под укорачивающимися и крепнущими ударами лучей бестенные вещи никли, роняли контур, колебались, пока не рассеялись и они – как тени; и я снова возвратился на родину, к вам, мои братья ести.

# Воспоминания о будущем

## I

Любимой сказкой четырехлетнего Макси была сказка про Тика и Така. Оседлав отцовское колено, ладонями в ворс пропахнувшего табаком пиджака, малыш командовал:

– Про Така.

Колено качалось в такт маятнику, такающему со стены, и отец начинал:

– Сказку эту рассказывают так: жили-были часы (в часах пружина), а у часов два сына – Тик и Так. Чтобы научить Тика с Таком ходить, часы, хоть и кряхтя, дали себя заводить. И черная стрелка – за особую плату – гуляла с Тик-Таком по циферблату. Но выросли Тик и Так: все им не то, все им не так. Ушли с цифр и с блата – назад не идут. А часы ищут стрелами, кряхтят и зовут: «Тик-Так, Так-Тик, Так!» Так рассказано или не так?

И маленький Макс, нырнув головой под полу пиджака, щурился сквозь суконные веки петлицы и неизменно отвечал:

– Не так.

Теплый отцовский жилет дергался от смеха, шурша об уши, сквозь прорезь петлицы видна была рука, вытряхиваю-

щая трубку:

– Ну а как же? Я слушаю вас, господин Макс Штерер.

В конце концов, Макс Штерер ответил: но лишь тридцать лет спустя.

Первая попытка вышагнуть из слов в дело относится к шестому году жизни Макса.

Дом, в котором жила семья Штереров, примыкал к горчичным плантам, уходящим зелеными квадратами к далекому изгибу Волги. Однажды – это было июльским вечером – мальчуган не явился к ужину. Слуга обошел вкруг дома, выкрикивая по имени запропастившегося. Прибор Макса за все время ужина оставался незанятым. Вечер перешел в ночь. Отец вместе со слугой отправились на розыски. Всю ночь в доме горел свет. Только к утру беглец был отыскан: у речной переправы, в десяти верстах от дома. У него был вид заправского путешественника: за спиной кошель, в руках палка, в кармане краюха хлеба и четыре пятака. На гневные окрики отца, требовавшего чистосердечного признания, беглец спокойно отвечал:

– Это не я, а Так и Тик бежали. А я ходил их искать.

Штерер-отец, дав и себе и сыну отъесться и отоспаться, решил круто изменить свою воспитательную методу. Призвав к себе маленького Макса, он заявил, что сказки дурь и небыль, что Так и Тик попросту стук одной железной планки о другую и что стук никуда бегать не может. Видя недоумение в голубых широко раскрытых глазах мальчугана, он от-

крыл стеклянную дверцу стенных часов, снял стрелки, затем циферблат и, водя пальцем по зубчатым контурам механизма, объяснил: гири, оттого что они тяжелые, тянут зубья, зубья за зубцы, а зубцы за зубчики – и все это для того, чтобы мерить *время*.

Слово «время» понравилось Максу. И когда – два-три месяца спустя – его засадили за букварь, в, е, м, р, я были первыми знаками, из которых он попробовал построить, водя пером по косым линейкам, слово.

Узнав дорогу к шевелящимся колесикам, мальчик решил повторить опыт, проделанный отцом. Однажды, выждав, когда в доме никого не было, он приставил к стене табурет, взобрался на него и открыл часовую дверцу. У самых глаз его мерно раскачивался желтый диск маятника; цепь, натянутая гирею, уходила вверх в темноту и шуршание зубцов. Затем с часами стало происходить странное: когда садились обедать, Штерер-старший, глянув на циферблат, увидел: две минуты третьего. «Поздновато», – пробурчал он и поспешно взялся за ложку. На новый взгляд, в промежутке между первым и вторым, часы ответили: две минуты пятого. «Что за цум тайфель? Неужели мы ели суп два часа?» Штерер-младший молчал, не подымая глаз; когда вставали из-за стола, стрелки достигли пяти минут восьмого, а пока слуга успел сбегать за часовым мастером, жившим поблизости, часы заявили о близости полночи, хотя за окном сияло солнце.

Мастер, явившись на зов, прежде всего снял стрелки и,

протянув их маленькому Максу, попросил подержать. Пока он, обнажив механизм, вместе с хозяином осматривал винты и колесики, у напроказившего мальчугана было достаточно времени, чтобы сдернуть крохотный протез на ниточке с короткорукой часовой стрелы. Тщательно все осмотрев и выверив, мастер заявил, что часы в полной исправности и что незачем было его, человека занятого, напрасно беспокоить.

Выведенный из себя Штерер-старший закричал, что своим глазам он верит больше, чем чужим знаниям, и потребовал починить взбесившиеся часы. Мастер, обидевшись в свою очередь, заявил, что если кто и взбесился, то во всяком случае не часы, и что он не намерен тратить время и брать деньги за починку неиспорченного. И, поставив стрелы на место, хлопнул сначала часовой дверцей, затем дверью. И часы, точно довершая издевательство над своим хозяином, вдруг круто изменив ход, стали отстукивать минуты с хронометрической точностью.

Весь остаток дня отец и сын провели, не обмолвившись ни словом. Изредка то тот, то этот с беспокойством поглядывали на циферблат. За окном уже чернела ночь, когда Макс, преодолевая смущение, подошел к отцу и, притронувшись к его колену, сказал:

– Про Така.

И легенда о Тике и Таке, изгнанная было из штерерского дома, возвратилась восвояси. Штерер-младший, производя свой первый опыт, заставил часовые стрелки поменять-

ся осями: минутную на часовую – часовую на минутную. И он мог убедиться, что даже такая простая перестановка нарушает ход психических механизмов.

Вытянув руку, экспериментатор потрогал одну из стрел – ту, что покороче. Другая уводила свое длинное черное острие вверх. Необходимо было обследовать и ее. Привстав на цыпочки, он дотянулся. Над головой что-то хрустнуло, а в пальцах у него чернел отломавшийся кончик стрелы. Как быть? Из шва курточки топорщилась черная нитка. Через минуту отломавшийся кончик был аккуратно привязан к ближайшему острию. Правда, короткая стрелка от этого стала длинной, а длинная короткой, – но не все ли равно. В это время по коридору шаги. Мальчуган захлопнул дверцы часов, спрыгнул и оттащил табурет на место.

Старые терпеливые цюрихские часы не рассердились на любознательного мальчугана, повредившего им их черный палец. Безустанно шагая из угла в угол на своей длинной ноге внутри своей тюремно-тесной стеклянной клетки, они снисходительно разрешали паре детских глаз посещать себя в своем настенном одиночестве. Размеренно отчеканивая секунды, механический учитель из Цюриха, как и большинство учителей, был напружен, точен и методичен. Но гений и не нуждается в том, чтобы его учили фантазии; страдая от своей чрезмерности, он ищет у людей лишь одного – меры. Таким образом – преподаватель и ученик вполне подходили друг к другу. Всякий раз, когда за стеной захрапит послеобе-

денным храпом отец, Штерер-младший, придвинув табурет к проблеме времени, начинал свои расспросы. Он тянул учителя за гири, ощупывал его круглое белое лицо, пробирался пытливыми пальчиками внутрь его жесткого и колючего мозга. И однажды случилось так, что механический учитель – очевидно, озадаченный каким-то трудным вопросом – вдруг свесил ногу и перестал отчеканивать урок. Макс, полагая, что часы обдумывают ответ, терпеливо дожидался, стоя на табурете. Молчание длиннилось. Стрелы застыли на белом диске. Из-за зубцов – ни звука и ни призвука. Испуганный ребенок, спрыгнув наземь, бросился к спящему отцу; теребя его за свесившийся рукав, он, сквозь всхлипы, бормотал:

– Папа, часы умерли. Но я не виноват.

Отец, стряхнув с себя просонье, зевнул и сказал:

– Что за вздор. Умереть – это не так просто, успокойся, мальчик: они испортились. Только и всего, и мы их починим. А плачут только девочки.

Тогда будущий мастер длительностей, вытерев кулачками глаза, спросил:

– А если испортится время – мы его тоже починим?

Отцу, следуя примеру старых часов, пришлось замолчать. Распрямившись, он с некоторым беспокойством оглядывал свое порождение.

# II

Случаи из детских лет Макса Штерера, – их нетрудно было умножить, – свидетельствуют только об одном: о рано установившейся психической доминанте, о внимании, как бы сросшемся со своим объектом, об однолюбии мысли, точнее, первых зачатков ее, в чем иные исследователи и полагают основу одаренности. Ребенок, затем отрок, как бы стремился вглядеться в протянувшийся впереди путь, не делая по нему ни единого шага. Склонность сына к контемпляции, вслушивающаяся в себя речь, неохота к движению и играм – все это казалось отцу обыкновенной флегмой. Он полагал, что жизнь, как лекарство, надо взбалтывать: иначе не будет должного действия. На десятом году Макса взболтали, отправив в Москву, в первый приготовительный реального училища. Отец Штерер, оставшись один, недохват в беседе компенсировал двойным числом трубок, дымил и скучал. Однажды в длинный зимний вечер пришлось искать помощи даже у книжной полки. Среди десятка лежащих вповалку книг был разрозненный том далевских пословиц (Штерер, обрусевший немец-колонист, считал пристойным разговаривать с русским народом, изъясняясь его пословицами, Sprichworter, старательно затверженными в алфавитном порядке). Листая том, Штерер вдруг увидел на одном из его полей почерк сына: рядом с поговоркой «Время на дудку не

идет» трудными детскими каракулями было:

«А я заставлю его плясать по кругу».

Штерер-отец так и не понял, про какого «его», собственно, шла речь, но биограф Макса Штерера Иосиф Стынский называет эту запись «первой угрозой» и отмечает образ круга, которым и впоследствии, в отличие от символизирующей обычно время прямой, пользовался изобретатель при осуществлении своего плана. Первые два-три года учения отец и сын регулярно встречались и прощались в начале и в конце каникул. С каждым приездом сын делался длиннее и худее; рукава и брюки еле поспевали за его ростом; даже волосы, прежде светлыми прядями опадавшие к плечам, теперь, сколько их ни стригли, топорщащимся ежом вытягивались кверху. Но подошедший вскоре 1905-й надолго разлучил Штереров. Сперва отец, опасавшийся аграрных беспорядков, просил сына повременить с приездом, затем и сын, ссылаясь на какую-то свою работу, отдалил встречу. Таинственная «работа» поглотила и следующие очередные каникулы. Отец прислал было телеграмму и деньги на выезд, но в ответ на телеграмму – телеграмма: «Время отнято временем. Не жди», а деньги немедленно превратились в книги и реактивы. Под кроватью пансионера Максимилиана Штерера, к ужасу хозяйки и любопытству товарищей, давно уже завелась импровизированная физико-химическая лаборатория. Владелец ее ревниво оберегал свой ящик с колбами, приборами по электростатике и прочей ученой утварью. Ле-

том он уносил свои запаянные трубки, склянки с реактивами и спиртовую горелку в угол двора, за сарай; зимой работал лишь по праздникам и воскресеньям, стараясь использовать отсутствие товарищей по пансиону. Занятый своими мыслями, ученик четвертого класса Штерер не мог уделять много времени приготовлению уроков. Среди учителей и сверстников он слыл лентяем и среднеодаренным. Впрочем, бывали случаи, несколько спутывающие сложившееся мнение: так, однажды, вызванный вместе с двумя другими к доске, когда на ее отчерченной мелом трети не хватило места для геометрических знаков, решавших чертеж, – Штерер, обозлившись, вдруг снял губкой длинную черту равенства и несколькими ударами мелом дал решение задачи методом аналитической геометрии; учитель физики, преподававший пятиклассникам капиллярность и батавские слезки вперемежку с мировыми законами Ньютона, несколько побаивался одного из своих учеников, обнаруживавшего неприятную осведомленность в области новейших открытий. Впрочем, Макс, не обращавший ни малейшего внимания на пятерки, которыми пытались от него отмахнуться, не прочь был при случае даже помочь учителю в расширении кругозора: однажды он вручил учителю математики немецкий мемуар об эллиптических функциях; учитель, вероятно, ничего бы не понял, даже если бы понимал по-немецки; через неделю он возвратил книгу, с поощряющим снисхождением похлопал ученика по плечу и, взмахнув фалдами, скрылся в учительскую.

Пятикласснику Штереру, придумавшему в одну из бессонных ночей опровержение основных тезисов мемуара, так и не удалось найти себе собеседника.

Вообще он был очень одинок уже в годы ранней юности. В дортуаре пансиона стоял в ряд десяток кроватей; у кроватей столики; на столиках лампы под зелеными абажурами. Старшее население дортуара говорило голосами, срывающимися из баса в дискант, скребло перочинными ножами пух на подбородках и, урывая копейки, накапливало четвертаки для приобретения презервативов. Младшие аборигены, которых презрительно звали кишатами, по вечерам благоговейно подслушивали великовозрастных, которые, присев на корточки у открытой печки, курили дымом в дверцу и обсуждали, что есть баба и какая система кастета может считаться наилучшей.

Только двое не принимали участия ни в обсуждении, ни в подслушивании: Макс Штерер, отгораживавшийся книгами и мыслями, и Ихиль Тапчан, короче Ихя, тонконогий и безгрудый отрок с лицом человека, которому не жить. Ихя сидел обычно сгорбившись на своей кровати, зрачками в себя, с желтыми костяшками рук вкруг колена; синие веки его дергались, как мерцательная перепонка птицы, а сквозь тонкое оттопыренное ухо, если сощуриться, можно было различить зеленый контур лампы.

Гимназисты иной раз пробовали подразнить Тапчана:

– Ихя, а скоро тебя повезут на халабуде на кладбище?

– Напиши маме в Гомель, Ихя, чтобы прислала тебе талес.

Но Ихя молчал, и только птичьи перепонки его дергались, а к острым скулам скатывались красные кляксы румянца. Макс Штерер, чаще других останавливавший свое внимание на Ихе, не глумился, но и не сострадал, он просто наблюдал и думал о процессе распада, обгоняющем процесс восстановления; это была задача на разность скоростей, аналогичная арифметической задаче о курьерском поезде, нагоняющем товарный. Надо было, соответственно усложнив условие, решить и, проверив ответ, перевернуть страницу задачника дальше. Уму исследователя времени хилый еврейский мальчик из Гомеля представлялся, вероятно, сосудом, дающим высокую утечку времени, быстро падающего к дну, механизмом с нарушенным статусом регулятора, чрезмерно быстро освобождающим завод спирали. В прерывистом, расклиненном паузами звонком кашле Ихи Штерер научился различать смену своеобразных интонаций: казалось, больной беседует с кем-то короткими придыхательными, из одних шипящих и гортанных, словами и, выждав ему лишь слышимую реплику, отвечает приступом новых – из присвистов и хрипов – протестующих слов. И, вслушиваясь в эту беседу, наблюдатель иногда – так ему казалось – угадывал второго собеседника: ведь именем его полнились все его мысли.

По воскресеньям с утра пансионеры разбредались, дортуар пустел, оставалось только двое: Ихя сидел сгорбившись на своей постели, а из-под постели Штерера, позвякивая стек-

лом и металлом, выползал ящик-лаборатория. Один, щуря птичьи пленки, наблюдал в себе ширящуюся смерть. Другой, над путаницей проводов, системой контактов и переключений, стеклянными горлами реторт и прыгающей с атома на атом цифрой, грезил о капкане, в который будет изловлено время. Они никогда друг с другом не переговаривались. И только раз, почувствовав, что можно, Ихя робко спросил:

– Вы никогда не гуляете?

– Мне нет никакого дела до пространства, – отрезал Штерер и снова наклонился над своим ящиком.

– Я так и догадался, – качнул головой Ихя и ждал.

– Люди передвигаются в пространстве. От любых точек к любым. Надо, чтобы и сквозь время: от любой точки к любой. И это будет, я тебе скажу, прогулка!

Ихя восторженно улыбнулся: да-да, это будет прогулка, каких не бывало!

И закашлял в платок. Макс, складывая толчки кашля в безбуквые, но внятные ему слова, слышал: «Иди и дойди ты, а мне – мне конец, и все».

Он было сделал шаг к встопорщившимся острым лопаткам Тапчана и вытянул руку. Но в это время в передней зазвучали голоса. Ящик-лаборатория быстро пополз под кровать.

Прошла неделя-другая. Как-то в сумерки, подойдя к своей кровати, Штерер увидел поверх подушки прямоугольник книги. Он зажег свет – на желтой обложке стояло: «Маши-

на времени». По хитрой улыбке Ихи легко было догадаться, чей это тайный подарок. Штерер не чувствовал благодарности – руки его, быстро закопавшиеся в страницах, скорее выражали гнев. Кто-то, какой-то сочинитель романов посмел вторгнуться в его, исконно штереровскую, мысль, которую из мозга можно взять лишь вместе с мозгом.

Весь вечер глаза и книга не разлучались. Ихиль Тапчан, следя из своего угла движение страниц, видел сначала хмурящийся над ними лоб, потом – спокойно раздвинувшиеся брови, потом – чуть брезгливую улыбку вкруг неподвижно сомкнутого рта.

Через день было воскресенье. Ихиль, которого температурило с утра, прилег лицом от света. Вдруг прикосновение к плечу. Вскинув глаза, он увидел наклонившееся лицо Штерера:

– Тебе надо теплее укрыться. Дай я. Вот так. И возьми свою книгу: мне она не нужна.

– Не понравилось? – растерянно пробормотал Ихя.

Гость присел на край кровати:

– Видишь ли, тут дело не в том, чтобы нравиться людям. А в том, чтоб напасть на время, ударить и опрокинуть его. Стрельба в тире – это еще не война. И после, в моей проблеме, как и в музыке: ошибка на пять тонов дает меньший диссонанс, чем ошибка на полутон. Ну, взять хотя бы внешний вид конструкции: какие-то провода, даже нелепое велосипедное седло. Ничего подобного: даже наружный профиль

машины, идущей сквозь время, будет совершенно иной. О, как это ясно я вижу.

Говоривший стиснул виски и оборвал. Ихиль подался навстречу недосказанному:

– А какой?

– Темпоральный переключатель, как я его сейчас вижу, будет иметь форму стеклянной шапки с острым верхом, плотно охватывающей лобную и затылочную кость. Истонченные до предела оптические флинтглассы темпоратора скрестят свои фокусы так, чтобы аппарат уже до своего пуска в ход был выключен из видения. Оптически это вполне возможно. В дальнейшем, с первого же такта машины, невидимость должна постепенно распространиться с включающего на включенное, то есть на охваченный прозрачными тисками мозг, череп, шею, плечи, ну и так далее. Так никелевая шапочка пули выключается своим лётом из видения, хотя и находится в пространстве. Впрочем, не в этом суть: время, прячущееся под черепом, надо прикрыть шапкой, как мотылька сачком. Но оно миллиардо-мириадокрыло и много пугливее – иначе как в шапку-невидимку его не изловить. И я не понимаю, как смысл шапки-невидимки, придуманной сказочниками, остался… невидимым для ученых. Я беру свое отовсюду. Ты видишь, и сказки могут на что-нибудь пригодиться.

– Но как же…

– Как она будет работать, спрашиваешь ты? Очень про-

сто. Впрочем, нет: очень сложно. Ну, вот хотя бы это – я о самом понятном: любой учебник физиологической психологии признает принцип так называемой специфичности энергии. Так, если бы можно было, отделив внутреннее окончание слухового нерва, врастать его в зрительный центр мозга, то мы *видели бы звуки* и при обратного рода операции *слышали бы контуры и цвета*. Теперь слушай внимательно: все наши восприятия, втекающие по множеству нервных приводов в мозг, либо пространственного, либо временного характера. Разумеется, длительности и протяженности спутаны так, что никакому ножу хирурга их не разделить. Впрочем, и мысль моя, по-видимому, не изостреннее стального острия, ей тоже трудно расцепить миги и блики, но уже и сейчас я на верном пути, уже и сейчас я, пусть смутно, но угадываю разность в интенсии этих двух типов восприятий. И когда я научусь отделять в мозгу секунды от кубических миллиметров, как молекулы масла от воды, мне остается только доработать идею моего нейромагнита. Видишь ли, и обыкновенный магнит отклоняет электроны с их пути; мой нейромагнит, охватывающий в виде шапки мозг, будет проделывать то же, но не с потоком электронов, а с потоком длительностей, временных точек, устремляющихся к своему центру: перехватив поток на полпути, мощный нейромагнит будет перенаправлять лёт временных восприятий мимо привычных путей в пространственные центры. Так, геометр, желая превратить линию в плоскость, принужден отклонять ее

от нее самой под прямым углом к ее обычному длению. И в миг, когда он, так сказать, впрыгнув в блик, отрёхмерится, настоящее, прошлое и будущее можно будет заставить как угодно меняться местами, как костяшки домино, игра в которое требует минимум двух мер. Третья мера – для беспроигрышности. Ведь для челна, потерявшего весла, один только путь – по течению вниз, из прошлого в будущее, и только. Пока не разобьет о камни или не захлестнет волной. То, что я даю им, людям, это простое весло, лопасть, перегораживающая бег секунд. Только и всего. Действуя им – и ты, и всякий, – вы можете грести и против дней, и в обгон им, и, наконец, поперек времени… к берегу. Но у тебя горит лицо, Ихя. Тебе нехорошо?

Влажные горячие пальцы охватили Штереру ладонь:

– Хорошо. Так хорошо, что никогда уже не будет так.

Штерер улыбнулся:

– Неправда: когда я построю свою машину – пусть это будет через десять, двадцать лет, все равно – я вернусь, обещаю тебе, в этот вот день, в наше сейчас: мы будем снова сидеть вот так, пальцы у тебя, которого уже не будет, будут влажные и горячие, и ты скажешь: «Хорошо. Так хорошо, что…» Но я трону рычаг и…

– И к берегу?

– Нет, Ихя, мимо и дальше. Сквозь лёт лет.

Дальнейшие высказывания Штерера не состоялись. Здоровье Ихиля с каждым днем ухудшалось. По вызову заведу-

ющей пансионом за Тапчаном приехали из его родного городка. В одно из утр, как бы в подтверждение насмешливых предсказаний о талесе, Ихя, укутанный в полосатое одеяло, сидел в коляске, запрокинув голову на кожаную подушку. Макс Штерер, привстав на подножку, осторожно сжал хрупкие пальцы Ихи. Лиловые птичьи перепонки благодарно трепыхнулись. Штерер освободил подножку.

Они обменялись двумя письмами. Третье письмо, посланное из Москвы, вернулось нераспечатанным и с пометой: за смертью адресата.

Стынский, пользовавшийся, в числе других материалов, сохранившимся дневником Тапчана и копией с первого московского письма, которое тот за день до кончины любовно переписал в свою тетрадь, утверждает, что в дальнейшем попыток к дружбе за Штерером не числится.

# III

О первых двух годах студенческой жизни Штерера известно чрезвычайно мало. Товарищи по факультету, подсовывавшие вместе со Штерером матрикулы под подписи профессоров, помнят, что бородка у него была с рыжью, что и летом и зимою на нем было короткополое холодное пальто, но о чем он говорил, с кем говорил и говорил ли с кем, – никто из опрошенных ответить не мог. Вероятнее всего, последний вариант: ни с кем, никогда, ни о чем. Можно считать установленным, что Максимилиан Штерер, как и многие незаурядные умы, переболел в эти годы черной философической оспой шопенгауэризма. По крайней мере, некоторые смутные записи в его лекционных тетрадях излагают довольно странную теорию, объясняющую происхождение прошлого. Согласно записям, прошлое является результатом *вытеснения* восприятия А восприятием Б. Но если усилить *сопротивляемость* А, Б принуждено будет стать не на место А, а *рядом*. Так, нотный значок может присоединиться к предыдущему и по горизонтали, и по вертикали: в первом случае мы будем иметь дело с мелодическим временем, во втором – с гармонической его формой. Если предположить столь обширное поле сознания, что восприятия, накапливаясь в нем, не теснили бы друг друга, то на всех бы хватало настоящего. Ведь два предмета, находящихся на равном отстоянии от

глаза, мнятся – один близким, другой дальним, в зависимости от яркости своего цвета, света и ясности контуров. Что же заставляет сознание отодвигать в прошлое те или иные элементы накапливающегося настоящего, или, по терминологии записей, – что заставляет сознание строить прошлое, в которое можно было бы *отодвигать*? «Боль», – отвечал «тогдашний Штерер» (как ретроспектирует Стынский). Ведь в пространстве всякий организм естественно отодвигает или отодвигается от объекта, стимулирующего боль: так как обжигающую мне пальцы спичку можно отшвырнуть, рефлекс ее и отшвыривает; но так как обжигающего меня солнца отшвырнуть нельзя, то я сам прячусь от него в тень. И так как, – вступал в аргументацию пессимизм, – все восприятия суть боли, различающиеся лишь в степени своей болезненности, то и во времени и в пространстве сознанию только и остается что удалять их или от них удаляться при посредстве так называемых перспективы и прошлого. Комментируя это место в скудном рукописном наследии Штерера, Стынский отмечает влияние теории Спенсера, истолковывающей болевые восприятия как сигналы, даваемые нервной периферией центру об опасностях извне. Штерер (по Стынскому), дошагав вместе с английским эволюционистом до пропасти, шагает и в пропасть: сознание, не предупреждающее об опасности болью, излишне; следовательно, все его восприятия суть сигналы и все сигналы – сигналы бедствия sum-SOS; отдалять свою гибель и, значит, жить.

В самых своих определениях понятий времени и боли Штерер этого периода стремится их как бы наложить друг на друга. «Время, – дефинирует он, – подобно лучу, убегающему от своего источника, есть уход от самого себя, чистая безместность, минус из минуса; боль есть испытание, проникнутое тенденцией к неиспытыванию; боль постигаема своим настигаемым – и никак иначе».

Сейчас трудно учесть все причины и полупричины, перегородившие путь метафизикой, притом метафизикой, перебрасывающей свое «мета» через тьму в мглу. Несомненно некоторое разочарование в силе своей пращи и окончательная дооценка роста и мощи противника. Естественно, что Штереров полуигрушечный ящик-лаборатория не выдержал столкновения с инструментариями университетских лабораторий, новые, более точные и в развернутых масштабах проделанные опыты не подтвердили прежних кустарных полуопытов, ряд смелых домыслов оказался ошибочным, многое и многое пришлось перечеркнуть и начинать сначала. В одной из тетрадей Штерер с горечью отмечает: «Сегодня мне исполнилось 22. Я медлю и медитирую, а тем временем время в борьбе за тему времени выигрывает темп». И несколькими строками ниже: «Время побеждает всегда тем, что *проходит*. Или оно отнимет у меня жизнь, прежде чем я отниму у него смысл, или…» На этом запись обрывается. Скоро, впрочем, и самый пессимизм, подобно тени от облака, уносимого ветром, покидает сознание Штерера. Мо-

жет быть, так и нужно: оттянуть тетиву назад, чтобы бросить стрелу вперед, замедлить мысль, чтобы определить смысл. Ближайшие после перерыва полтора года дают максимум в конкретизации Штерерова замысла. И весьма прискорбно, что большинство материалов этого периода, частью уничтоженных самим автором, частью обстоятельствами Гражданской войны, могут быть восстановлены лишь в разрозненных фрагментах, и то требующих шифра.

Первой работой этого периода является статья Штерера, исследующая вопрос о так называемом *поперечнике времени*. Автор статьи, представленной в порядке зачетной работы профессору-психологу, предвосхищая на два-три года работы американских ученых «о длительности настоящего», старался опрокинуть обычные представления о настоящем как о некоей точке, занимающей «ноль длительности». Время не линейно, это «анахронизм о хроносе», – оно имеет свой поперечник, известный «потребителям времени» под именем настоящего. Поскольку мы проектируем свое «nunc» [72] поперек длительности, постольку, меняя проекцию, можно укладывать nunc вдоль длительностей: таким образом, можно сосчитать, сколько настоящих помещается на протяжении, скажем, минуты. Так называемые темпограммы, приложенные к реферату, показывали «поперечник времени», точнее, его характеристику, колеблющимся в пределах от десятых долей до трех целых секунды (впоследствии более точные измере-

---

[72] Ныне *(лат.)*.

ния американцев дали возможность наблюдать длину настоящего, достигающего пяти секунд). Так или иначе, попытка второкурсника измерить интервал, отделяющий «конец прошедшего от начала будущего» (цитирую рукопись), не встретила сочувственной референции профессора. Университетская кафедра, как и следовало ожидать, оказалась деревянной и пустой внутри.

Не выяснено, это ли обстоятельство заставило Штерера повернуться к официальной науке спиной. Известно лишь, что деньги, присланные отцом к ближайшему семестру в уплату «за правоучения», сын предпочел потратить на закупку нужных ему препаратов и, по истечении положенных сроков, был исключен за невзнос.

К краткому университетскому периоду принято относить изобретение *хиэмсэтатора* и проект *«семипятничной недели»*.

Хиэмсэтатор, по сообщению Стынского, представлял собою своеобразную научную игрушку. Штерер полагал, что зима и лето, сменяющие друг друга через многомесячные промежутки, могут быть даны воспринимающему нервному аппарату, так сказать, «в порошкообразном виде». Год, в пределах которого совершается медленная смена зеленого лиственного покрова, накладывающего свои раздражения на ретину глаза, белым снежным покровом зимы, может быть размолот на хиэмсэтаторе, как кофейное зерно на ручной мельничке, с сохранением всех своих свойств в каждой ча-

стице размола. Принцип конструкции в том, что глазам испытуемого, изолированным от всех иных световых воздействий, предносится вращающийся с той или иной скоростью диск, разделенный на два сектора: зеленый и белый. По очереди включаясь в поле зрения, зеленое и белое сменяет друг друга как листва и снег в круговороте природы. Набор дисков с многоразличностью соотношений площадей белого и зеленого, подобно набору стекол у оптика, дает возможность приискать наиболее удобные для глаза соотношения секторов. Около полутораста опытов, произведенных над жителями различных климатических зон России, дали – по утверждению того же Стынского – следующий результат: жителям края, где, по статистическим данным, снежные месяцы к месяцам зеленого покрова относятся как 2:1, наиболее удобным, «пригнанным к глазу», оказался диск, на котором площади белого и зеленого относились как те же 2:1; глаза южан наименее утомляло вращение диска, на котором зеленое и белое соотносились как 3:2, – и т.д. Поскольку сам изобретатель не придавал серьезного значения этой вертушке, чрезвычайно грубо, разумеется, имитировавшей круговращение времен года, дольше останавливаться на хиэмсэтаторе незачем.

Проект сконструирования «недели о семи пятницах», как называл его шутя Штерер, сводился, в сущности, к проблеме построения *искусственного дня*. «Дни, – читаем мы в этой незаконченной рукописи, – вкладываются в апперципирую-

щий аппарат, как валики внутрь шарманки. Дни от валиков резко отличаются тем, что штифты на них, то есть стимулы воздействия на психофизику, непрерывно перемещаются. Но если закрепить стимулы в гнездах, превратить дни в единообразные равномерности, завращать восприятия, как стрелу по циферблату, то кругообразный ход времени, точнее, его содержаний, должен будет – после того или иного числа оборотов – передаться и на психику, кругообразя и ее». Изолятор, изготовляющий искусственный день, должен был представлять собой комнатный куб, выключенный из шумов двойным слоем пробки, охватывающий его со всех сторон, глухой и герметически огражденный от каких-либо воздействий извне. Потолок (достаточно высокий – на случаи каких-либо посягательств испытуемого) должен был воздействовать при посредстве ряда световых и звуковых сигнализаторов, свисавших с него, на находящегося внутри изолятора человека. Часовой механизм по ту сторону пробки сменяет в строгой последовательности звуки и лучи, цикл которых, закончившись к исходу 24-го числа, возобновляется в той же последовательности и в тех же интервалах сначала и опять сначала. Любопытно тщание, с которым составитель проекта разрабатывал механизацию не только пробкового футляра, но, поскольку возможно, и движений тела испытуемого, охваченного системой упругих тяжей, которые должны были управлять человеком и его отправлениями.

Стынский прав, полагая, что все это больше похоже на

пытку, чем на опыт, и пахнет застенком, а не лабораторией. Впрочем, сам он тут же оговаривается, что, помимо ожесточенности молодого ума, в проекте этом сказывается и нежелание расстаться с давнишней мечтой «заставить время плясать по кругу». В конце концов, «странная затея сотворить неделю семи пятниц, из которых все… Страстные» (слова Стынского), может быть, является лирическим порывом человека, загнанного внутрь единой, непрерывной, вращающейся вкруг себя идеи, отдавшего все дни проблеме дней.

Так или иначе, освободившись от потолка свисающими сигнализаторами, разрядив образ вовне в чертежи и цифры, Штерер выходит наконец в то бесстрастное из световых пронизей мышление, которое можно сравнить с тихим беспыльным днем, когда распахнутый солнцем горизонт открывает невидимые обычно дальние очертания островов и гор. Первой мыслью, выведшей его на тропу к овеществлению замысла, была идея *моделирования времени*.

Исходя из предположения, что мера всегда сходна с измеряемым (ряд аналогий оправдывал это), Штерер допускал в виде гипотезы, что и часы (точнее – схема их устройства), и время, ими измеряемое, должны быть в чем-то сходны, как аршин и доска, черпак и море и т.д. Все механизмы, отсчитывающие время, – делают ли они это при посредстве песчинок или зубцов, – сконструированы по принципу *возврата*, вращения на воображаемой или материальной оси. Что это – случай или целесообразность? Если аршин, разматы-

вающий штуку материи, вращаясь в руках, наворачивает на свои стальные концы ткань, то движения его строго определены *свойством измеряемого материала* и никоим образом не случайны. Отчего не допустить, что и круговращательный ход аршинов, меряющих время (иначе – часов), определяется свойством материала, ими измеряемого, то есть времени. И, ткнув пером в чернильницу не более трех-четырех раз, Штерер инстаурировал древнее пифагорейское представление о времени как о гигантской кристальной сфере, охватывающей своим непрерывным вращением все вещи мира. Конечно, элементарный образ прафилософа был похож на Штерерово представление о многоосности времени не более, чем зародышевый бластомер на завершенный организм или десяток геометрических теорем, открытых дальним предшественником, на ту сложную сеть тонких математических стимулов, которые толкали мысль последователя. Гению, уладившему отношения между гипотенузой и катетами, вряд ли бы удалось сразу разобраться в скрещении формул Штерера, но и положение Стынского, пробующего не отстать от мысли своего современника, надо признать чрезвычайно трудным. Желая подняться вровень, он то и дело пользуется услугами библиотечной лесенки. Так, по поводу гипотезы о многоосности времени он реминисцирует Лейбница: создатель монадологии, отвечая на вопрос, как при непрерывности материи, заполняющей все пространство, при занятости всех мест возможна перемена мест, то есть движе-

ние, – утверждал: единственное движение, возможное внутри такого сплошного мира – это вращение сфер вкруг своих осей. Если представить, додумывает Стынский, что сплошность этого мира не из материи, а из движения (время и есть чистое движение), то его нельзя мыслить иначе как в виде системы круговращений, стремящихся из себя в себя. Как в механизме часов вращающие друг друга круги передают – в известной пространственной *последовательности* – с зубцов на зубцы толчок пружины, так и в механизме времени специфически присущая ему последовательность перебрасывает «вращающийся миг» с оси на ось в длиннящееся *далее*; но оси, отвращав, остаются там, где были, – короче, время дано *сразу* и все, но мы клюем его, так сказать, по зерну, в раздерге секунд.

Изложение Стынского можно заподозрить в импрессионистичности. Штерер же аргументирует, не вдаваясь ни в импрессии, ни в метафизику, примером чему может служить хотя бы следующий отрывок:

«На одноколейной дороге нельзя *обогнать*, не съехав в сторону. Пока время представлялось нам линейным, точки перегораживали дорогу точкам. Открытие *поперечника времени* дает мне возможность проложить *вторую колею*. Точкам придется посторониться, когда я пойду им в обгон.

Часовой циферблат. Внутри часового минутный циферблат, который стрелка обходит, проделывая 60 шагов-секунд; но на часовом циферблате есть еще место для секунд-

ного круга (это нетрудно сконструировать), – стрелке на нем придется пробежать 60 делений в одну секунду; но если б часовой мастер захотел пустить острие стрелы по кругу, требующему 60 движений в 1/60 секунды, мы б восприняли 60 движений как одно, так как время, отпущенное нам на восприятие этих последовательных движений, не превышает по длительности нашего *настоящего*, которое не допускает в себя никакого последования. Если, пригнав быстроту движения стрелки к нашему апперципирующему аппарату так, чтобы острие обегало круг, разделенный на деления в течение одного мига, воспринимаемого нами неделимо, если сосредоточить внимание на каком-нибудь одном, скажем, отмеченном красной краской, делении, то сознание сольет момент ухода острия с моментом возврата к данной черте в одно *настоящее*, стрелка успеет, так сказать, отлучиться, обежать круг, задерживаясь на десятках других делений и вернуться, не будучи ни в чем «замеченной». Несомненно, внутри каждого мига есть некая сложность, некое, я бы позволил себе сказать, несвоевременное время; можно перейти время, как переходят улицу, – можно проскочить меж потока секунд, как проскакивают меж мчащихся колес, не попав ни под одну».

Несколькими строками ниже: «Надо колесо с оси на ось. Это будет несколько сложнее пресловутой Аристотелевой головоломки о двух радиусах. Да, мой обод не вкруг оси, а с оси на ось. В этом своеобразие транстемпоральных путеше-

ствий».

И еще ниже: «Наш мозг *темперирует время*. Если детемперировать tempus [73], то…» Дальше следует формула, начинаемая выгибью интеграла, но все ее знаки перечеркнуты накрест, и сверху карандашом: «Здесь переходить через время опасно!»

Но на обороте листка новая попытка прорыва: «Энергия времени обнаруживает себя как разность потенциалов T – T = t: по минусу, как по сходням, можно пройти из большого T в малое и обратно. Если принять…» И снова формула, в знаках которой заблудиться много легче, чем в лесу. В беллетристике же можно лишь от опушек к опушкам.

Все эти цитаты, выхваченные из немногих уцелевших тетрадей Штерера, невозможно датировать. Автор, стремившийся опрокинуть власть дат, естественно, не помечал чисел и годов. Можно лишь с некоторой приблизительностью догадываться, что все эти обрывки мыслей, случайно заглянувших на бумагу, относятся к 1912–1913 годам, когда Штерер, исключенный из университета, продолжал еще жить на студенческой квартире в одной из комнаток, забравшихся под самую крышу громадного каменного короба, выставившегося окнами на Козиху. Получки из дому были довольно скудны, Штерер принужден был искать прокармливающих работ. Так, именно к этому времени относится урок, который взамен 20 ежемесячных рублей отнимал ежедневно по

---

[73] Время *(итал.)*.

10 000 шагов. Штерер, выставив локти из кармана, терпеливо проделывал маршрут Козиха – Замоскворечье – Козиха, и, когда, после полугода занятий, проходя по улице, случайно наткнулся на даму и гимназиста, приветливо ему закивавших и заулыбавшихся, так и не мог припомнить «кто такие», хотя это были ученик и его мать.

А между тем замоскворецкая дама не первый раз делала попытку пробраться под опущенные веки хмурого молодого человека. Каждый день за час до прихода репетитора она присаживалась к зеркалу и приготовляла наружность с гораздо большим прилежанием, чем ее сын уроки. В стекле отражались щипцы, красный карандаш, трущийся о губы, но в репетиторе ничего не отражалось. Однако преимущество малой цели перед великой в ее досягаемости. Однажды Штерер, отшагав первые 5000, узнал, что урока не будет, так как «мальчик просил, вы уж извините, отпустить его на сегодня к…», не дослушивая, он повернул к порогу, но почувствовал прикосновение к локтю: его просили отдохнуть, выпить чаю с брусникой: «Что вас гонит?» Штерер согласился, вернее – согласилась усталость. На стене висела пустая клетка. Глядя в укачиваемые дыханием сонно-синие розы пеньюара, гость спросил: почему пустая? Последовал скорбный рассказ об обкормленной канарейке, незаметно модулировавший в тему о безвременном вдовстве, о трудности одной, без мужской руки, управляться с шалостями мальчишки. Затем несколько беспредметных вздохов, на которые гость отвечал

тычками ложечки о сахар, противящийся теплу:

– Не ровен час, донце продавите. И что это вы глаза в стакан спрятали? С брусникой надо, а не с глазами. Думаете всё, а о чем: о разном?

Собеседник отвечал: нет – не о разном.

– Об одном, значит. А не об одной?

Из улыбки – две серебряные пломбы. Синие розы пахли синькой. Штерер, отдернув зрачки, сказал, что в шашечной партии возможен случай, когда оба игрока побеждают: это когда один ведет игру в крепкие, другой, точнее, другая – в поддавки. При этом теоретик не заметил, что одна из шашек уже тронута.

Через четверть часа после первого афоризма сторонний наблюдатель мог бы ознакомиться с теорией о купюрах времени, излагаемой прямо в хлопающие глаза замоскворецкой дамы.

Применительно к любви теория эта строилась так: память, «развертывающая свой длинный свиток», и кинолента, разматываемая с катушки, могут быть подвергнуты монтажу. И из ленты, и из времени можно вырезать куски, убрать длинноты. Так, если между первым свиданием женщины с ее первым и первым свиданием с ее вторым, третьим, ну и так далее, сделать купюры, то есть оставить наиболее чистое и искреннее, глубоко западающее в память, то кинолента, на которую мы перенесем ряд примкнутых друг к другу первых свиданий, покажет нам женщину – с быстротой шарика ру-

летки, перепрыгивающего с номера на номер, – переключающуюся из объятия в объятие и стареющей на наших глазах; юристу это, конечно, напомнило бы ту статью Уголовного закона, которая трактует о массовом насилии. Попробуйте убрать лишнее – из чего бы то ни было оставить лишь самое нужное, и вы увидите, что оно вам не…

И через час после этого последнего афоризма Штерер мог убедиться в жестокой его правильности. Сторонний же наблюдатель… впрочем, в подобной ситуации таковые излишни.

На следующий день репетитор впервые оглядел своего ученика: наклонившись безбровым лбишкой над Евтушевским, гимназистик тянул себя за встопырившиеся на темени волоски, точно пробуя выдернуть из головы искомое число; сквозь красное ухо мальчугана просвечивал огонь лампы.

«Как у Ихи», – подумал Штерер.

В «я» у него было словно в нетопленой комнате.

# IV

Это произошло в феврале 1914 года. Штерер, проделав свой обычный маршрут, не заметил крыльца, выставившегося поперек тротуара одного из замоскворецких переулков, и подошвы его продолжали скрипеть о снег. Он был похож на человека, идущего по следам. Две-три женских головы обернулись на него, беля дыханием меха. Но преследователю нужно было нагнать свою голову, точнее, одну из ее мыслей, казалось, легкой предвечерней тенью скользившую впереди по снегу. Переулки безлюдели; шаги, выпутываясь из перекрестков, хрустя сквозь синий воздух, настигали силлогизм. Обмерзлые столбы заставы остались позади. Снег, наползая на щиколотки, начал спутывать найденный ритм, большая и малая посылки, улучив паузу сугроба, разомкнулись, но в это время, перерезая им путь, по параллелям стали – грохочущая спираль дыма с бегущими за ней кругами колес. Штерер остановился, тяжело дыша; лицо его горело гневной радостью: последний знак последней формулы был изловлен – о, наконец-то! – под лобную кость.

Стоя по колени в снегу, он поднял случайный примерзлый к насту тычок и вчертил в поле свою формулу. На следующий день началась оттепель, и документ, открывающий тайну Штереровой машины, был перечеркнут лучами солнца. В дальнейшем изобретатель работал, не доверяясь ни людям,

ни бумаге.

Впрочем, записи были ему теперь и не нужны: настало время строить машину, закапканивающую время. Для этого нужны были деньги. Штерер подсчитал: цифра колебалась в пределах пятизначья. Сын и отец обменялись письмами, в которых сын просил, отец отказывал. Строитель сжал смету до минимума: четырехзначное число засерело из бумажного складня телеграммы. Отец, сдернув с носа очки, швырнул их на пол. Первой страницей ответного письма он грозил лишить наследства, третьей – увещевал дождаться его смерти и тогда брать себе все, а в постскриптуме обещал выслать половину.

Получив перевод, Штерер-младший, не дожидаясь второго слагаемого нужной ему суммы, решил начать постройку машины. Сотня дверей, окружавших его комнату, угрожала, как казалось Штереру, его тайне. Надо куда-нибудь подальше от людского любопытства, догадок и подглядов. Штерер отыскал в одном из переулков, пересекающих окраинную Хапиловку, достаточно изолированную и тихую квартиру. Это был деревянный, в три крохотных оконца мезонин, две низких комнаты, лестница во двор. В наружной комнате – койка и груда книг (здесь Штерер принимал своих чрезвычайно редких посетителей). Внутренняя комната, куда никто не допускался, должна была служить обиталищем машине.

Новый хапиловский житель редко появлялся на ступеньках, сводящих с мезонина. Под одним локтем его были все-

гда какие-то бутылевидные и цилиндрические свертки, другой локоть скользил по крутому поручню. За стеклами мезонинных окон никогда не размыкающиеся занавески, и даже весна распахнула все стекла всех стен – только оставила три рамы мезонина нераскрытыми.

Чахлая Яуза, прятавшаяся подо льдом невдалеке от обиталища Штерера, порвала берега и в течение недели-другой пробовала вспомнить, какой она была в те уплывшие века, когда по ней скользили – векам вслед – не пестрые пятна нефти и помет, а струги и паруса. Солнце, глядящее в лужи, как пьяница в вино перед тем, как его выпить, опорожнило их все.

Рты, лузгавшие семечки у хапиловских крылечек, раза два обсуждали странного поселенца. Сперва было решено, что жилец за тремя окнами одиноко и беспросыпно пьет, порожня свои бутыли и цилиндры. Но однажды у перил лестницы была замечена фигура женщины, подымавшейся наверх. По ночам за окнами мезонина всенощничал свет. Рты, истолковав занавески по-другому, удовлетворенно склабились.

К концу мая деньги были на исходе. Штерер описал мыслью радиус: ниоткуда, ни из единой точки. Случайно на глаза ему попалось два-три конверта, валявшихся нераспечатанными в углу. Штерер вскрыл: красное просвечивающее ухо, горячие синие розы, пахнущие мылом, пустая клетка и опять край наклонившегося над цифрами уха. Машину надо достроить. Во что бы то ни стало. Брезгливо щу-

рясь, Штерер выковырял из иссохшейся чернильной жижи несколько строк, вследствие которых досужие соседи и могли увидеть на лестничке, вводящей в мезонин, женскую фигуру. Встреча дала нечто вроде шашечной партии, в которой оба игрока проиграли: произошло это оттого, что крепкие, дойдя до последнего хода, решили поддаться, а поддавки вдруг уперлись, жестчась крепкой купеческой кряжью. Короче: узнав, что какая-то машина требует такой-то суммы, замоскворецкая гостья очень подозрительно отнеслась к аргументации Штерера, говоря, что прекрасно знает устройство машин, на которые молодые люди тратят свои и чужие деньги. Когда изобретатель, открыв дверь, ведущую внутрь, предложил убедиться, Замоскворечье, прижимая к груди ридикюль, осведомилось, а зачем, собственно, ему так приспичила эта затея. Штерер терпеливо разъяснил: конструкция нужна ему затем, чтобы он, Штерер, мог перебросить себя в другие века и тысячелетия.

– Ну а я? – спросило Замоскворечье.

Изобретатель смутился:

– Конструкция одноместна. Вы подождете, пока я вернусь из…

– Из тысячелетий?

– Да.

Ридикюль не разжал своего узкого, на железных застежках рта: это его не устраивало. Одна сторона осталась без поцелуев, другая – без денег. Впрочем, не прошло и неде-

ли, в замоскворецких переулках заблагоухали желтые осыпи акаций; вечера стали душны и рдяны. Ридикюль, как рыба, выбросившаяся в пору нереста на берег, отчаянно разевал рот, отдавая сотню за сотней. Штерер смог возобновить работу. Придвинувшаяся вместе с июлем жара разжала наконец шесть стеклянных створ мезонина, и случайный прохожий, следовавший в глубокий ночной час мимо окон мезонина на Хапиловке, мог слышать толчкообразный, как бы колющий воздух, звук, дробным пунктиром прострочивающий тишину. Вслушавшись лучше, запоздалый прохожий заметил бы в смене звуковых уколов, что… но запоздалый прохожий Хапиловки неизменно пьян и предпочитает оглашать тишину, вместо того чтоб подставлять под нее свои гудящие уши.

Поглощенный работой, Штерер из-за своей единственной вещи, медленно ввеществлявшейся в бытие, не видел иных вещей, жил мимо фактов, скапливавшихся вокруг его трех окон. Слово «война», сначала затерянное в газетном петите, постепенно укрупняя шрифты, выставилось из всех заголовков всех газет. Слово это привлекло на 2–3 секунды взгляд Штерера лишь потому, что начальной буквой и числом их напомнило другое: «время». Пять знаков, скользнув по ретине, исчезли, как возникли, и в течение нескольких дней конструктор продолжал ввеществлять свой тончайше сдуманный капкан, излавливающий время.

Штерер привык: к вечеру шумы улицы утишались, что

давало ему возможность наивысшего сосредоточения. Более трудные процессы слаживания аппарата изобретатель отодвигал на ночные часы. Однако случилось так, что подошли сумерки, за ними тьма, а шумы внизу под окнами не утишались. Слышалась раздробь шагов, роение голосов. Штерер сначала морщился, потом – несмотря на жару – отгородился стеклами от непривычно громкой ночи и продолжал кропотливую сборку.

Понемногу нелепая шумливость и разворошенность там, за стенами, улеглась. Но не успела отойти ночь, как, отдаваясь дребезгом в стеклах, застучала череда колес. Штерер, нахмурив брови, отодвинулся от работы, пережидая. Но ободный стук не прекращался. Земля, вздрагивая, шевелила приборы, расставленные на столе, раскачивала уровни внутри реторт и склянок. Продолжать сборку было невозможно. Штерер подошел к окну и отодвинул завесь. Улица была полна телег, груженных длинными плоскими ящиками. Из-под полуоторванной крышки одного из них – сомкнутые в гребень штыки.

К полудню обода угомонились. Можно было продолжать работу. Но какое-то мутное и вязкое чувство спутывало пальцы и мысли. Штерер прилег на койку: сначала – замедляющееся кружение чисел и знаков, затем черной тугой повязкой на глаза – сон.

Усталость, накопленная длинным рядом бдений, вероятно, длила бы забытье и дальше, если б не стук в дверь. Разбу-

женный звуком, Штерер поднял голову: комната была полна сумерек; по ступенькам лестницы медленно спускался скрип. Штерер подошел к двери, открыл и выглянул наружу. Скрип пополз снизу наверх, и смутный в сумерках контур человека протягивал ему белый листок. Оставалось вернуться в комнату, зажечь свет и прочесть: в левом углу стоял штамп воинского начальника, в трех строках текста, предлагавшего «явку», – имя «Штерер».

Это был удар из-за угла. Застигнутые строками зрачки оглядели четырехуглый листок, – карта, выброшенная из рукава, ход шулера, крапленая смерть, выигрывающая его машину. Впрочем…

Штерер толкнул дверь во внутреннюю комнату: поверх стеклянного штатива в затисках микрометрических винтов сцепом прозрачных спиралей росла занесенная над временем, как меч над щитом врага, легкая и мощная конструэма.

Штерер, присев к столу, с карандашом в руках расчислил дни. Если работать по 19 часов в сутки, через две – две с половиной недели машина времени будет закончена; от проверки хода, запасных частей, системы двойного торможения придется отказаться. Лучше разбиться о будущее, выбросившись в безвестные века, чем сдать свой замысел, позволить раздавить себя листком отрывного календаря, перечеркнуть идею лётом случайной пули, вечность – датой сегодняшнего дня.

Это была своеобразная партия a tempo, которую человек и

время вели в течение бессонной и судорожной недели: время ходило событиями, человек – ростом своей машины. Для человека было ясно: если опередит время – машина времени проиграна; если опередит он – время проигрывает себя самое.

Уже к концу третьего дня состязания пришла вторая повестка. Призываемый подумал: хорошо бы переменить место стройки.

Невозможно: конструкция слишком хрупкая и незавершенная, чтобы выдержать перевозку. Скрыться на время самому? Но могут прийти, взломать дверь, и машина будет обнаружена. Нет, стиснуть зубы и длить борьбу.

Измученному сознанию Штерера ясно предстоял тот миг, когда, наложив последнюю скрепу, включив последнюю деталь в машину, он повернет рычаг, и – вырвавшись из преследующих дней, слыша за спиной отдаляющийся грохот войны, в обгон длинению длительностей, на бешено раскружившихся часовых стрелах, вперед и вперед – в грядущее.

К утру седьмого дня Штерер обнаружил недохват в одном из реактивов. Надо докупить. Собрав последние рубли, он набросил пальто и толкнул наружную дверь: за порогом стояло двое вооруженных в сером солдатском сукне. На записке, перегораживающей путь: подвергнуть приводу. Не далее чем через двое суток Штерер был признан годным и включен в войну: ему занумеровали плечи, пометили лоб кокардой и обрили голову. Несколько часов, оставленных ему

«для устройства личных дел», Штерер потратил на разборку своей почти завершенной машины: в лихорадочной спешке иные наиболее тонкие части были уничтожены, другие легли на дно глубокого ящика, и поверх разъятой машины – острия гвоздей. Так некогда Роланд, застигнутый в ущельях Ронсеваля, разбил о камни свой меч.

# V

Рядовой Штерер, как и прочие рядовые, положенное число недель маршировал под «ать-два», по команде «стой» прищелкивал каблук к каблуку, а по команде «кругом», подворачивая левую пятку, вращал тело на 180°; с винтовкой наперевес бросался на соломенное чучело, а в полдень стаскивал зубами «порцию», нанизанную на деревянный стержень: можно бы добавить, что, приходя к коробу раздатчика обычно последним, рядовой Штерер получал общупанный всеми сорока ладонями взвода и всеми ладонями отвергнутый щуплый костожилок, по вкусу немногим отличавшийся от протыкающего его деревянного тычка.

Механически занумерованное сукно перечислялось из запасного батальона в маршевые роты. И в одно из ясных осенних утр Штерер шел – плечи меж плеч – под многорядьем штыковых стеблей, колышущихся, как всколосившееся поле под ветром. Вслед движущейся к вокзалу колонне махали шляпами и платками, и рядовой Штерер подумал, что белый платок, поднятый на штыке, – его последний шанс.

В первые дни солдатчины Штерер был подавлен и как бы оглушен случившимся. Но вскоре ему удалось вернуть спокойствие и волю к борьбе: пусть время и обогнало его на полголовы, пусть машина сломана и заколочена гвоздями, но идея его еще не брошена вместе с ним самим в братскую

яму; пусть иск человека к времени спрятан под серое сукно – пусть; отождав мораторий, он предъявит его снова.

Позиция встретила Штерера путаницей кротовых ходов и синими выгибами ракет. Впереди окопов, на линии полевых караулов, перещелкивались выстрелы. Но если вслушаться, можно было различить стрекот кузнечиков и трение ветра о травы. Штерер, действовавший осторожно, но решительно, не дал пулям освистать свою идею, запрятанное под его черепными костями было достаточно весомо, чтобы добавлять к нему шесть золотников свинца. И он воспользовался первой же боевой операцией для того, чтобы, как выражался он сам впоследствии, «сдать себя на хранение немцам».

Последущие два с половиной года жизни изобретателя обведены колючей проволокой концентрационного лагеря. Плен тяготил его меньше, чем любого из соседей по бараку. Даже звездчатые шипы вдоль параллелей проволоки, внутри которой любил прогуливать себя и свою идею Штерер, раздражали его не более, чем настоящие звезды там, на концентрах орбит, сомкнувшихся вкруг Земли. Вообще к пространству и его содержаниям Штерер относился как *неспециалист*, равнодушно и сбивчиво, путая просторное с тесным, никогда не мог запомнить, высок или низок потолок в его жилье, и неизменно ошибался в счете этажей. Впрочем, в концентрационном лагере таковых не было, а были низкие и длинные крыши корпусов, внутри которых в четыре ряда нары. В течение долгих месяцев Штерер так и не научил-

ся различать друг от друга людей, занимавших нары справа, слева и перед ним; это казалось ему столь же ненужным, как умение различать доски, из которых сколочены нары: при упражнении можно бы, но ни к чему. Зато все его соседи надолго, вероятно, запомнили стянутые к межбровью складки лба, наклоненного над какой-то неуходящей мыслью, пальцы, впутанные в нестриженую медноволосую бороду, и глаза, щурящиеся сквозь людей, как сквозь стекло.

Долгие досуги плена давали возможность не торопясь передумать все прежние мысли; в голове моделировалась, демоделировалась и вновь возникала воображаемая конструкция. Только теперь Штерер видел, как несовершенна была та, отнятая войной, недостроенная машина: отправляться на ней через время было так же опасно, как на речном пароходике через океан. Сработанное наспех, из дешевых материалов, судно не выдержало бы ударов набегающих секунд и грозного прибоя развороченной спиралями машины вечности. Все это было слишком утло, без точного расчета на сопротивление материала длительностей, без учета, наконец, трения времени о пространство. Последний принцип был открыт Штерером только здесь, в долгих медитациях прогулок вдоль проволочной стены. Может быть, именно война, расчертившая землю фронтами, заставила его открыть факт как бы некоей вражды, противонаправленности времени и пространства. «Я обследовал, – сообщил впоследствии Ште-

рер в классическом „Raum und Zeit“ [74], – его «und» и увидел, что время, поскольку оно дано в приложении к пространству, неизменно *запаздывает*, не успевает, вследствие своего рода трения секунд о дюймы, гармонически соответствовать, быть коррелятивным своему пространству». Это влечет за собой, по терминологии Штерера, «отставание событий от вещей, а следовательно, и общую неслаженность мироконструкции, выражающуюся, кстати, в недогоняемости так называемых счастий, которые возможны лишь при совпадении идеального времени с реальным. Войны и иные катаклизмы объяснялись, согласно этой теории, усилением трения времени о пространство…

Вся эта несколько странная терминология прикрывает какую-то так и оставшуюся нераскрытой систему усовершенствований, направленных к овладению центром равновесия аппарата, предназначенного для странствия по времени. Новый, облегченный тип Штереровой машины обещал не короткий прыжок, прорывающий сотню-другую дней, а длительный и ровный лёт. Пальцы изобретателя, снова охваченные жаждой осуществлять, вчерчивали в воздух зигзаги и углы, но колючая ограда концентрационного лагеря преграждала дорогу к материи. Дни скапливались в недели, недели в месяцы; воздух, глотая углы и зигзаги, оставался пустым. Временами, ища, как укоротить бездействие, Штерер пытался отстраниться от трущейся о мозг идеограммы. Так, он с

---

[74] «Пространство и время» *(нем.)*.

разрешения комендатуры в два-три дня перестроил реостат электростанцийки, освещавшей лагерь, что дало экономию в расходе тока на 30 %; затем он занялся системой автоматической сигнализации, которая бы абсолютно ликвидировала возможность побегов. Товарищи по плену замолкали при его приближении, комендант подымал углы губ кверху и чиркал двумя пальцами правой руки о козырек. Но человек, запрокинувшийся зрачками в мысль, был вне каких бы то ни было житейских досяганий. Все, что не было его мыслью, представлялось ему лишь извне, распестренной однородностью (Россия – Германия, чужие – свои), и всякая работа, не связанная с его идеей, казалась ему раскладыванием пасьянсов, а спор о преимуществах одного пасьянса перед другим лишенным смысла.

Штерер свободно говорил по-немецки. Несколько знакомств за чертой лагеря (начальство, благоволившее к нему, разрешало, правда не частые, отлучки) обеспечивали ему возможность – по окончании войны – обосноваться в соседствующем с лагерем городке и продолжать здесь, в более спокойной и культурной обстановке, свою работу. Штерер, не любивший лишних переездов и вообще перемещений в пространстве, склонен был поступить именно так, но два известия из-за черты фронта, одно вслед другому, заставили его изменить решение.

Первое, пришедшее в марте 17-го года, сообщало о революции в России. Второе – двумя месяцами позже – о смерти

отца.

«Революцию», как и «войну», конструктор представлял в виде чего-то грохочущего, бьющего ободами, снарядами и миллионами ног о землю, отчего половицы ходят ходуном, приборы враскачку, работа спутана, нечетка, а то и из пальцев вон. Сосуд, осаждающий кристалл, не переносит встрясок; оберегая рост граней, ему должно подальше от толчков и взболтов: естественно, что голова Штерера отодвигалась от революций, массовых потрясений, войн.

Но конверт, принесший ему весть о кончине отца, до чрезвычайности осложнял вопрос. Душеприказчик сообщал Штереру о наследстве, дожидающемся его в одном из банков Москвы. Для выполнения формальностей необходимо было личное присутствие наследоприемника. Сумма, названная в письме, перечеркивала все материальные трудности по осуществлению дела его жизни. Овладев ею, можно начать и кончить стройку, не урезая сметы, из наилучших и стойких материалов, давно отцеженную сквозь все клетки мозга замкнутую конструкцию, легко скользящий о секунды, стремительный, с запасным ходом времярез.

Да, деньги его, они почти в кармане, только протянуть руку… взволнованно шагавший по обычному прогулочному кругу ученый протянул – и пальцы ткнулись в стальные колючки проволоки; тотчас же сверху шмелиным зудом звонок, сквозь креп сумерек внезапные лезвия лучей и голубые пятна бегущих на него солдат, – Штерер не сразу понял, что

привел в движение им же измышленную сигнализацию.

Инцидент, внешне закончившийся опросом в комендатуре, привел виновника его к более быстрому и ясному осознанию ситуации. Сомкнутая вкруг линия проволоки, за ней – ломаная линия окопов, за ней – хаотический разбег, перекрест и свив линий – революция. И все их, одну за другой, надо прорвать, иначе ладонь, наткнувшаяся на первую же преграду, так и останется пустой, а изобретение – неосуществленным.

После дня раздумья Штерер написал душеприказчику, прося принять все нужные меры по закреплению за ним наследства, на случай, если плен надолго продлит его отсутствие. Новое письмо душеприказчика извещало о передаче дела одному из московских поверенных. Штерер снесся и с поверенным и вскоре получил лист, заштампованный у левого угла: завещание судом утверждено, давностные сроки приостановлены.

Казалось, сумятица линий, перегородивших путь, распутывалась в параллели, чинные и понятные и в чем-то похожие на параллели строк на заштампованном листе.

Однако слухи о событиях по ту сторону фронта заставили Штерера отказаться от системы пассивного ожидания; неизвестно, куда повернут факты ближайших недель, с неизвестным же можно бороться, лишь опережая его; если раньше было разумно сдать себя на хранение так называемым врагам, то теперь необходимо получить себя обратно, и гаран-

том, так думал, по крайней мере, Штерер, могло послужить письмо о дожидающемся своего собственника наследстве.

В ряде официальных и неофициальных записок, прошений, писем, адресованных душеприказчику, коменданту лагеря, поверенному в Москве, амту, ведающему разменом пленных в Берлине, Красному Кресту, врачебной комиссии, пленный просил, требовал и опять просил разменять его, посодействовать возврату, оказать давление, вообще убрать расстояние, отделявшее его, Штерера, от принадлежащего ему по праву капитала. Половина его домогательств застревала в военной цензуре, другая странствовала по делопроизводствам. Прошло два и три месяца. Штерер продолжал гнать свое перо – с прошения на прошение: теперь он напоминал, просил присоединить к ранее изложенному, дополнительно сообщал и т.д. Вначале ничего, кроме двух-трех отписок и сообщений о том, что «заявление ваше от… числа получено». Затем – дело было уже к осени – Штерера позвали в одно из утр в канцелярию лагеря. Незнакомый жидкоусый человек в топорщащемся мундире полистал толстую папку, задал несколько незначащих вопросов и, шевельнув улыбкой усы, сказал:

– Я не встречал еще юноши, mein Kerl [75], который был бы так влюблен в свою невесту, как вы в свое наследство.

На что военнопленный, глядя в землю, отвечал:

– Да, но если оно хочет мне изменить.

---

[75] Здесь: мой юный друг *(нем.)*.

Усы задергались от смеха: витц не из плохих. Чиновник отчеркнул что-то в папке. А через месяц «военнопленный рядовой Штерер Максимилиан» был включен в партию, отправляемую в порядке размена в Россию.

Есть задача по элементарной арифметике, начинающаяся со «Сколько оборотов сделает колесо, если расстояние…»: казалось, поезд, раздумчиво скрипя осями, раскачивая сотней лобастых буферов, медленно делил расстояние на окружности их ободов; просчитавшись, он проверял сложение вычитанием, медленно отползая вспять, буферными лбами в лбы; не было ни одного тупика и ржавой запасной колеи, на которой бы он ни стоял, решая свою задачу. Сначала крыши станций опадали круто, потом двуграмь их угла стала раздаваться, меняя острый угол на тупой; вместо прямых разбегов шоссе, пересекающих путь, – витиеватые извивы ныряющего под шлагбаум проселка: Россия. Содержимое теплушки, в которой помещался Штерер, систематически пересчитывалось или перекликалось; шестнадцать раз кряду Штерер отвечал своему имени: «Я»; на семнадцатый не ответил. Еще накануне, во время долгого стояния в длинном тупике, поднимавшем свои железные, закованные в деревянную колодку конечности к небу, Штерер почувствовал гудящий в ушах жар, продергивающийся иглой сквозь тело озноб и горький вкус во рту; после – по сознанию темные пятна, и к вечеру следующего дня носилки перенесли под раскаленным жаром тело из теплушки в санитарный барак.

Диагноз был быстр и прост: тиф.

# VI

Болезнь хотела было дальше: из барака на кладбище. Но крепкое сердце отчаянно отбивалось, не уступая тела яме. Тифозный яд поднялся в мозг: после шести недель сыпняка еще несколько недель функционального расстройства психики. Когда наконец сознание очистилось и Штерер, худой и повосковелый, завязал свой вещевой мешок, чтобы продолжать путь, ему показалось, будто он и не начинался: мимо платформы тянулись немецкие составы и повсюду шевелилось сине-серое сукно. Германский рейхсвер расставлял свои батальоны, отрезая спящие под снегом озими Украины от Москвы.

Понадобились еще дни и дни, пока Штерер, сшагнув со ступеньки вагона, увидел над собой длинную полуцилиндрическую навесь Брянского вокзала, будто разросшийся барак. Вскинув на спину мешок, он двинулся вслед за мешками и спинами в город. Улицы были тусклы и грязны, лишь кой-где – красные заплаты флагов. Над горбящимися вдоль тротуаров людьми – распрямленные в аршинный рост буквы плакатов и лозунгов. Штерер, волоча за собой недавнюю болезнь, шел, с трудом разгибая тугие колени и морщась от ударов воздуха о легкие.

Прежде всего – отыскать поверенного. Штерер поднял глаза к синим цифрам: справа нечеты – слева четы. Пере-

улок: справа четы – слева нечеты. Здесь. Длинный дом. У подъезда рядом с обнаженной спиралью звонка – выпуклый квадрат, заклеенный бумагой. Штерер поскоблил наклейку – и из-под ногтя – сперва «прис», потом «пов», оставив фамилию под клеем, Штерер дернул за ручку двери, ведущей к ее носителю. Но дверь не отпускала створы – подъезд был закрыт. Надо было со двора. На стук сначала спросили через дверь, затем осмотрели через цепочку. Человек в валенках с золотыми очками на румяном носу не пригласил даже раздеться. Отщелкнув двумя звонкими поворотами ключа ящик письменного стола, он вынул нотариальную выпись из завещания и протянул наследнику.

– Лист чистой бумаги, – сказал он, вежливо улыбаясь, – стоит по нашим временам дороже.

И в фразах, круглых, как нули, поверенный объяснил, что события Октября, приведшие к национализации банков, лишают Штерера прав на отказанную ему сумму и что, выражаясь юридически, единственным наследником всех наследств является, так сказать, народ.

Видя исказившееся лицо клиента, поверенный сочувственно развел ладони: если б месяц тому назад, можно бы еще успеть – так сказать, из-под захлопывающегося оконца кассы, а сейчас…

И адвокат склонил голову, не то выражая покорность судьбе, не то прощально раскланиваясь с посетителем.

Выйдя за порог, Штерер с минуту постоял спиной к чер-

ному лестничному пролету; посторонился, пропуская помойное ведро; затем, скользя рукой по поручню, крутыми поворотами ступенек – назад, на улицу.

Он понимал все сказанные ему слова и не понимал смысла: как может меньшее заступить дорогу большему, как может их маленькая революция помешать его великой, которую он несет меж своих висков, которая над всем над; что они могут, люди, развесившие флаги, кроме как отметить трем-четырем столетиям и выкликать грядущее – только выкликать? А он – его машина – бросит человечество через века и века вперед.

Мимо по узкому тротуару, подогнув спину под мешок с картофелем, плелась старуха. Навстречу, шагая враздробь, – серые шапки, озвезденные красным; винтовки и обрезы висли с ремнем дулами в снег.

Штерер медленно пошел вдоль стен. Воздух перегородило сотнями дымов из сотен труб, выставившихся сквозь камень и стекло наружу. Казалось, дома дышат чадно и трудно сквозь множество трахей. Изредка к камню то здесь, то там липли буквы. Остановившись у одного из текстов, он увидел, что строки к концу укорочены и присыпаны знаками восклицания:

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЛАСТЬ СОВЕТОВ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ГИБЕЛЬ КАПИТАЛИЗМА!

Где-то из пестрых плоскостей плаката мелькнуло скошенными буквами слово: авангард. Остановившаяся было мысль

Штерера, зацепившись за знаки слова, опять пришла в движение. Незаметно для себя он очутился перед домом, где жил человек, которому были доверены некоторые из частей конструкции. Но оказалось, человек уже не живет и уже не жив. Штерер отыскал дворника и требовал выдать ему вещи, сданные на хранение. Дворник смутно помнил о двух каких-то ящиках, отнесенных, кажется, на чердак. Но за ключом посылал в домовый комитет. Штерер не понимал, что это такое. Наконец только к вечеру ему удалось отыскать где-то под крышей среди груды пыльного хлама свои ящики. Очевидно, их перебрасывали с ребра на ребро, пока не засунули под тяжелый, кованный в железо сундук: планки были продавлены и полуоторваны, и хрупкие части его излюбленного, вогнанного в тончайшее сплетение спиралей замысла раздроблены и убиты.

Штерер стер пыльные ладони о шинель и молча проделал лестничную кривую от крыши к земле. В город уже вошла ночь. Но ни окна, ни фонарные дуги не защищались от нее огнями. Только кое-где тусклый, за мутью стекол, слабый гнилушечий свет коптилок. Штерер шел, изредка натыкаясь на патрулей. Иные пропускали, другие ползали светящейся махоркой по строчкам «документа». Ночь он провел на одном из деревянных крылечек с ногами, подобранными под шинель, и головой, прижатой к войлочной двери. С утра нового дня Штерера и его документ закружило в длинных очередях, а еще через два-три дня, присоединив к докумен-

ту документ, он получил четырнадцать аршин в четвертом этаже дома, что у скрещения двух Зачатьевских переулков.

Жилец квадратной комнаты обходился без слов. Единственное, что слышали от него соседи, это шаги. Шаги внутри квадратной комнаты возникали внезапно, чаще всего среда ночи, и двигались как будто по диагонали, накапливая неровный тихий стук, часто в течение целых часов.

Может быть, человек с застенного квадрата обходился и без… но список всяческих *без*, длиннясь с каждым днем, и слагался в скудную жизнь его соседей, и никому не смотрелось дальше своего *ем* и *есмь*. Люди подсчитывали число крупинок в крупе, и один и тот же селедочный хвост, переплывая из супов в супы, никак не мог доплыть до небытия.

Однажды, – это было уже к весне, когда из камня навстречу солнцу выползли звездчатые кляксы сырости, – худая, но ширококостная фигура Штерера с лицом в рыжих лохмотьях бороды появилась в одной из обширных, в два света, канцелярий столицы. Стоя среди примкнувших углы к углам столов, он смотрел на них, как если б это была какая-то странная, многоногая и под квадратными шляпками, разновидность гриба, взращенного случайным ливнем. Потом сделал шаг к одному из сидящих за пустым сукном. В руках у Штерера была бумага, сложенная вчетверо. Но человек за столом схватил в руку двуухую трубку, как если б собирался ею защищаться:

– Покороче.

Штерер начал:

– Я предлагаю рейд в будущее. В обгон дням. Мои точнейшие формулы…

– Так-так. Алло. Сортировочное? Товарища Задяпу.

– В зависимости от результатов разведки во времени вы можете или занять подступы к будущему, или от…

– Задяпа, ты? Слухай, вот какое дело. Немедля… койчерт там разъединяет? Алло!

Говоривший поднял глаза на просителя, но увидел лишь медленно удаляющуюся спину.

В вестибюле Штерер еще раз огляделся вокруг. Затоптанный грязью мраморный марш. Часовой с пропусками, нанизанными на штык, группа небритых и усталых людей с кольтами, вжатыми в бедро, на площадке. Пулемет, выглядывающий со ступенек подъезда на улицу.

Ждать. Опять ждать.

Штерер шел, стиснув зубы, вдоль все тех же покорных, забитых миллионами ободов и подошв улиц. Календарные даты – он ясно видел – одна за другой, длинным и нудным чередом нанизывались на штыковую трехгрань.

Впоследствии Штерер не любил вспоминать переход через все 700 дней голодной степи, как он называл этот период. Биограф умалчивает о нем, если не считать нескольких догадок о том, каким образом Штереру еще раз удалось обойти

кладбищенскую яму. Кажется, некоторое время он служил сторожем на одном из окраинных складов Москвы, добросовестно охраняя пустоту, запертую висячими замками. Затем… но важно одно: идея, вдетая в мозг, и мозг, вдетый в черепную коробку, уцелели, и только кожу, обтягивающую коробку с мышлением, кое-где поморщило и ближе притиснуло к костям.

# VII

Случилось это в один из нечастых для Москвы дней, когда небо – круглым голубым плафоном в легком орнаменте из белых облаков. Впрочем, прохожего, шагавшего вдоль тротуара, расцветка неба интересовала не более чем пыль и паутина на квадратном потолке его комнаты, только что оставленной позади. Он шел, весь погруженный в свои мысли, то внезапно останавливаясь вместе с ними, то продолжая путь вслед за сдвинувшимся с места силлогизмом. Очевидно, проблема была трудной и вязкой, потому что шаги были медленны и подошвы больше времени отдавали камню, чем воздуху. Иные из встречных, может, и улыбнулись бы этой странной методе хождения, но все улыбки сейчас были разобраны ясным сине-белым днем.

Случилось так, что легкий толчок ребром доски о колено совпал с некоей логической стеной, на которую наткнулась в своем продвижении мысль. Подошвы мгновенно стали, и размышляющий далеко не сразу осознал и доску, и чей-то крик: «Куда? Куда полез?!» Поскольку крик мешал додумать, надо было от него уйти. Прохожий сделал шаг, но шага не получилось: земля, уцепившись за подошву, не пускала дальше. Тут Штерер взглянул и увидел, что правая его нога по щиколотку в жидком стынущем асфальте. Он дернул ногу сильнее – нога вышагнула, увлекая за собой нелепый,

асфальтным сапожищем напялившийся на ступню ком.

Провожаемый руганью рабочих и веселым пересвистом мальчишек, привлеченных происшествием, Штерер продолжал путь, но ощущение равновесия ног, впутываясь в следование посылок, нарушало равновесие мыслей. Притом от поверхности земли, чего доброго, можно ждать и еще каверз. Штерер шел теперь, внимательно глядя в тротуар. И если б не это обстоятельство, вероятнее всего, что встреча пары глаз с парой лакированных тупо-новых ботинок так бы и не состоялась. Ботинки вошли в поле Штерерова зрения, деловито поблескивая черным лаком, и тотчас же ассоциация, сдернув лак, подставила серый войлок. Штерер провел глазами от ботинок к голове и увидел круглые золотые очки на круглом лице: это был его прежний поверенный, чьи валенки три года тому назад, мягко ступая, в тот первый день возврата в Москву, вынесли приговор делу его жизни. Узнал ли своего клиента обладатель лакированных штиблет, неизвестно, – известно лишь одно, что лакированные штиблеты, почти наткнувшись на кожаную рвань, подвязанную шпагатом с безобразным асфальтовым комом, вздувшимся вкруг ступни, отдернули свои носы и участили шаг.

Впрочем, Штерер не нуждался в поклонах. Ему нужно было лишь расшифровать факт, точнее, проинтегрировать цепь фактов: валенки – три года на переобувание – и вот… не успевший закаменеть асфальтный ком, своего рода приблудившийся ботинок, назойливо возвращавший мысль к

отприключившемуся приключению. И Штерер мгновенно удлинил интегрируемый ряд: если под пятки – не войлок, а кожа, как прежде, то и под кожу – не грязь и ямы, а гладкий асфальт; но если так, то, значит, не только на их тротуарах, но и над тротуарами, на высоте, может быть, даже голов, а то и в головах… и Штерер, вскинув зрачки, внимательно и настороженно, вероятно, впервые за эти годы, огляделся по сторонам.

Над заштопанным стеклом шляпник и часовщик поделили красной чертой жесть вывески. У перекрестка в ржавом котле под штопорящимся дымком варился новый тротуар. Фотограф подвязывал к чахлой акации сине-белую горную цепь. Над диском, пересеченным стрелой, черныю букв: «Сила – красота человека». Из-под каменной ниши, сбившись в бумажную груду, снова выставлялись корешками в жизнь книги. Казалось, будто из-под струпьев то здесь, то там проступями – обновленная эпидерма города.

Вернувшись к себе в Зачатьевский, Штерер отыскал вчетверо сложенный лист. Буквы его успели уже выцвести, текст тоже казался автору недостаточно доказательным и ясным. Он стал писать заново. К следующему дню проект и смета, сухая вязь терминов и цифр были закончены. И Штерер снова нес их по мраморному лестничному маршу в двухсветный зал, заставленный столами. Но теперь, в обгон ступеням, полз неслышный лифт, а столы были расставлены аккуратным трехлинейным «покоем» и придавлены кипами папок.

Из-за двери стрекотали, точно кузнечики из травы, машинки. К толстой регистрационной книге тянулась очередь.

Штерер стал за последней спиной. Спина была в черном, тронутом прозеленью годов, по краю воротника – выцветший кант. Через секунду он увидел и истертые выпушки, так как воротник живо повернулся в сторону новопришедшего.

– Пока тут достоишься! – вздохнул кант, процедив улыбку сквозь серебряные усы. – Я вот в шестой раз. Экономический паяльник хочу запатентовать. А у вас что?

– Времярез, – отрезал Штерер.

– Это как же разуметь?

– Разуметь – для вас – не обязательно. Очередь продвинулась на аршин.

– Время – времякол – ледокол – времяруб – мясорубка, – бормотал прозеленный воротник, и вдруг Штерер снова увидел в футе от глаз серебряные усы, под которыми уже не было улыбки: – Это что же? Транзит через врехмена-с? Или…

Штерер не отвечал. Но прозеленный успел заглянуть под нависъ Штерерова лба:

– Ну, а ва-ша машина, или, не знаю как назвать, у нее есть и задний ход?

– Да.

– Чрезвычайно любопытно. Если только это не… не… – и глаза соседа пододвинулись совсем близко, – послушайте, отойдем в сторонку. Какое-нибудь лишнее ухо, знаете, и…

Штерер не шевельнулся.

– Сколько вам нужно? Назовите сумму. Здесь вы все равно ничего не добьетесь, а если и добьетесь, то… или у вас много лишнего времени?

Последний аргумент оказал действие. Стоя с нежданным меценатом на лестничной площадке, Штерер раскрыл свои листы. Глаза прозеленного успели доскользить лишь до половины текста, как Штерер выдернул бумагу и пошел по ступенькам вниз. Но выцветший кант, не отставая, следовал за ним:

– Я не все улавливаю, но… чую, что пахнет смыслом. Конечно, мне – путейцу, знающему лишь свои шпалы да рельсы… ваши транстемпоральные маршруты, как вот вы изволите писать, моему умишку непосильны. Но не знатьем, так чутьем. Вот я сведу вас с Павлом Елпидифоровичем. Пусть проконсультирует, и если все это не пуф, то… Знаете, у вас удивительная форма лба. Я сразу же заметил.

Через четыре дня произошло нечто вроде импровизированного заседания. Путеец ввел Штерера по черной лестнице в узкую и длинную комнату. Ладонь Штерера наткнулась на шесть рукопожатий. Лиц он сразу не разглядел, тем более что комната была наполнена конспиративными сумерками. Человек, сидевший на подоконнике, как бы облокачиваясь спиной в желтый закат, заговорил первым:

– Вы сообщили, господин Штерер, лишь часть идеи, мы собрали лишь часть суммы. Но если вы докажете правиль-

ность схемы до конца, раскроете нам, то есть мне, все иксы, то и мы, в свою очередь…

Штерер поднял взгляд на темный овал, выбрасывающий слова:

– Мне гораздо легче доказать правильность моих мыслей, чем вам, что вы их не украдете. Предлагаю начать с труднейшего.

– Господа, господа, – засуетился совершенно растворившийся в сумеречье блеклый кант, – зачем так сразу лбом об лоб? Павел Елпидифорович, разрешите мне. Тут собрались, так сказать, первые пайщики акционерного общества на вере… на вере в вас, скажем так. Извольте, учитывая право изобретателя на тайну, мы готовы купить, так сказать, контур предприятия. Чем черт не шутит. Ваше превосходительство, перекувырните выключатель, и давайте обсудим смету.

Абажур бросил зеленый свет. Лицевой овал над подоконником, дергая углом рта, заговорил снова:

– Нам нужна по возможности дешевая и вместе с тем двухместная или трехместная конструкция, которая могла б нас доставить, ну, скажем, за…

– Да уж не ближе чем до 1861-го, ну и еще с десяток годков, и стоп. Или не довезет, кракнет, а? – рявкнуло у настенного конца лампового шнура.

Штерер повернул голову на звук: два веселых, острыми шилами из обвислых подглазных мешков, зрачка; на красном из-под тугого воротника лице следы тупой, но усердной

бритвы.

– Не перебивайте, генерал, – и человек на подоконнике хотел продолжать.

– Вы нанимаете меня, как извозчика, – бросил Штерер.

На минуту наступило молчание.

Затем путеец, не спуская глаз со складки, сдвинувшей брови Штереру, потратил сотню слов, стараясь ее разгладить. Это ему плохо удавалось. На вопросы сметы Штерер отвечал сухими цифрами: двухместный времярез потребует повышения расходов на 50 %. Внезапно, вкалываясь в слух, задергался острый голос:

– Я не дам больше ни гроша. Я отдала вам все: столовое серебро, кружева, кулон, бриллиантовые серьги. Больше ни карата. Хорошо, ну, вы высадите меня в прошлое, а в чем я там буду ходить: в своей собственной коже?

– Пусти бабу в рай, так она с собой и корову. Да поймите вы, сударыня, что стоит лишь на десяток вспятевых годов, и вам возвратят все ваши…

– А там, – врезался в генеральский бас голос путейца, – капитализировать недвижимое, деньги за границу и самому вслед. И оттуда, знаете, сквозь «Матэ-ны» и «Таймсы», всю эту распроархиреволюцию спокойненько в бинокль; как это у Лукреция Кара: «Сладко, сидя на бреге, гибель другого в бурных волнах наблюдать».

В конце концов строптивого пайщика удалось уговорить.

– Ну, хорошо. Но только одно условие: я первая.

– Почему?

– Очень просто: мое прошлое дает мне право…

– Если уже так, – зашевелился в углу лысый человек с глазами, запрятанными под синие стекла, – если уж на то пошло, мое прошлое попрошлее.

Реплика скрестилась с репликой. Но в это время Штерер резко отодвинул стул и распрямился. Спор смолк. Штерер вышагнул в переднюю, ища в темноте выходной двери. Но вокруг него уже суетился путеец, приникая к локтю и вшептываясь в уши изъясняюще-извиняющимися словами. Они спустились вместе по узкой лестнице. Вопросов было больше, чем ступенек. Ответов не следовало. И, только стоя на последней ступеньке, с рукой, охваченной двумя потными ладонями, Штерер наконец сказал:

– Все равно.

Ладони выпустили руку.

Очутившись на вечерней панели, Штерер вздохнул до самых глубоких альвеол и запрокинул голову: тысячи прищуренных изумрудных зрачков внимательно всматривались в землю.

# VIII

Жизни – вписанная в квадрат, что на Зачатьевском, и вкруг квадрата описанных – никак не пересекали друг друга. Единственное, что отметили застенные соседи, это превращение звука шагов в черте квадрата в какие-то другие, более тихие и приглушенные шумы; если присоединить к этому непериодические посещения какого-то человека с шеей в канте, с пакетами под локтями, обычно спешно провалившегося внутрь квадрата, то это и все, что могли бы вытряхнуть из своих памятей, даже при самых сильных ударах по памятям, обитатели квартиры на четвертом этаже.

Впрочем, памятям было и не до того: они, препираясь с анкетами, раскладывали по коробам – от 1905-го по 1914-й, с 1914-го по 1917-й, с 1917-го по, и опять от и по – всю, легко ли сказать, жизнь; в памяти наспех забывали, переучивали свое прошлое и затверживали по свежим номерам газет настоящее.

А между тем здесь же рядом подготовлялся старт машине, с первым тактом хода которой все короба до и после опрокидывались, а прошедшее и будущее превращались лишь в два тротуара одной улицы, проходящим по которой предоставляется идти и по будущей, и по прошедшей стороне – кому как удобнее.

Теперь ничто не застопоривало работы Штереру. Самая

конструкция, столько раз профильтрованная сквозь мысль, получила настолько логически завершенную форму, что осуществление ее требовало значительно меньших усилий, чем при первой встрече Штереровой схемы с материей. Казалось, идея, так долго разлучаемая со своим осуществлением, сама спрыгивает с пальцев в вплетения электронных орбит, переключает атомные сцепы, прорубая потайной ход из столетий в столетия. С материалами было трудно. Но пронырливый истертый кант доставал все неведомо какими путями. Штерер требовал, чтобы никто не совал носа в работу, пока она не будет довершена. Покорный каждому слову строителя, прозеленный делал лишь шага два внутрь от порога и то на цыпочках: «Ни-ни, только в глаза разрешите; священный огнь-с, аж жутко; ну-ну, бегу, бегу, не смею ни секундочки», – и, взмахнув ладонями, как птица, готовящаяся к лёту, исчезал за тихо прикрытой дверью. Но однажды посетитель нарушил счет шагов и секунд. Наклонившись к уху Штерера, с недовольством отодвинувшегося от работы, он зашептал: «С Иван Елпидифоровичем неблагополучно. Ищут. Оставаться в настоящем ему дольше никак. Нельзя ли как-нибудь на недостроенной? Погибнет человек. Ну, и потом – нитка по нитке, понимаете?» На этот раз посетителю незачем было просить показать глаза, Штерер взглянул сам. И прозеленный, пятясь и приседая, открыл спиной дверь и – исчез за неслышно вжавшейся в стену створой. Штерер, тотчас же забыв и лицо, и слова гостя, спокойно продолжал

работу.

После этого прошло довольно много дней, и ни одно слово не вторглось в тихие, приглушенные, стеклистые шелесты начинающей оживать конструкции. Штерер проверял регуляторы и внимательно вслушивался в пущенный на холостой ход пульс машины. Весь этот день в стекла стучались дождевые капли, к вечеру через крыши перебросилась пестрая радуга, а к ночи захолодало, и окна, замолчав, все же не раскрыли стекол.

У жильца, занимавшего прилегающую к квадрату квадратуру, сырость разболелась во рту, выписывая острые спирали под зубной коронкой. Жилец, дыша в подушку, сначала считал шаги за стеной и глотал кислую слюну. Потом шаги оборвались. Боль продолжала спирали. И вдруг сквозь стену ударило сухим и коротким ветром; легкий, но звонкий всплеск и дробные убегающие уколы – как если б сотня циркулей, скользя остриями ножек по стеклу, бросилась по радиусам врозь. Затем все смолкло, и только в виске четко цокало что-то, отдаваясь мягкими эхами в мозг. Боль исчезла. Жилец натянул на виски одеяло, и через минуту клетки мозга ему расцепило сном.

Наутро квадратная комната была до странности тиха. К полудню прозудел звонок: продолжительный и два коротких. Квадратная комната, к которой относилось это звоносочетание, не откликалась. Еще раз: длинный и два кратких. Пауза. И опять: зудящее тире и двоеточие. Квадратная молча-

ла. Сосед с обвязанной щекой, подхватывая пядями опадающие туфли, дошаркал до двери и снял цепь; вежливо качнувшийся навстречу кант был ему привычен; но грузная, в сером сукне офицерского кроя фигура, прятавшая лицо в поднятый воротник, показалась ему не совсем понятной. Сосед квадрата замедлил на пороге своей комнаты, наблюдая посетителя. Двое, пройдя через полутемную переднюю, остановились у Штереровой двери: сначала кантастый косточкой указательного пальца отстучал мелкую дробь – комната безмолвствовала; к стуку указательного сгиба прикостился сгиб среднего; секунда ожидания – и вдруг в дверь бухнул кулак второго посетителя; дверь загудела, но изнутри никто не отзывался. Окантованная шея пригнулась к замочной скважине, отдернулась и прошелестела: «Ключ оттуда, значит…» – и, мягко оцарапав дверь, тихо, как если б хотела вдуть голос сквозь щель: «Максимилиан Федорович, ведь это же мы, свои, как условлено…»

Дверь продолжала перегораживать вход. Зато две соседних дверных створы приоткрылись. Выглянули любопытствующие носы, и кто-то произнес слово «милиция». Спутник окантованного подтянул воротник к глазам и повернул тупые носки к выходу. Но истертый кант продолжал тереться около скважины, шаря ладонями по глухой доске. Не прошло и пяти минут, как трахнул замок, и дверь, отшатнувшись, показала дюжине глаз квадрат комнаты. У левой стены – пустой матрац, вытянувшийся вдоль половиц, в правом уг-

лу – пачка книг, придавленных сверху ящиком с торчащими из него горлами пустых склянок, прямо у окна – некрашеный стол в пестрых пятнах, втравленных какими-то жидкостями. Впрочем, кроме пятен на нем еще находилось нечто, сразу же остановившее на себе всю дюжину зрачков: это был подсвечник, моргающий слепнущим желтым огнем из своей круглой металлической глазницы. Вошедшие еще раз обыскали глазами пустоту – человека, зажегшего свечу, не было. Сосед с обвязанной челюстью потрогал торчащий из сломанной колодки ключ: человека, запершегося внутри, не виделось и следа. Милиционер, послюнив карандаш, приступил к протоколу, но, как начать, он не знал. Тем временем желтый огонь, моргнув в последний раз, погас.

Встреча пассажиров несостоявшегося путешествия была краткой и безрезультатной. Они были похожи на людей, мимо которых пронеслись освещенные окна экспресса, канувшего из тьмы в тьму. Истертый кант казался совершенно уничтоженным; прозелень с его пальто всползла на лицо, усы дергало судорожью: «Кто бы мог знать – кто мог…»

– Вы, – скрипел тугой щетиной воротник-генерал, – выдумали цацу – «изобретатель, гений!»; сцапать деньги и дать тягу – это-с старое изобретение.

– Пусть мне отдадут мои бриллианты!

– Ну да, и бриллианты. Надо поймать молодчика за пятки. Идите в МУР и…

– Слуга покорный. Я в МУРы не ходок. Идите вы да смотрите, как бы…

И разговор угас. Правда, было еще много злых, вклевывающихся друг в друга слов, но поступательной силы в них не было.

Пустой квадрат в Зачатьевском переулке, разумеется, вскоре лишился своей пустоты. Непонятный подсвечник не успел еще до конца остынуть, как уж в комнату вдвинулась, визжа ножками об пол, чья-то кровать, на стенку, цепляясь гвоздями, полезла полка. Москва, гигантский сплющенный человечник, тотчас же втиснулась в пустые аршины в лице тихошагого и бритолицевого, с гнутой спиной и портфелем, вросшим в локоть, человека.

Новый постоялец, обменявший ордер на квадрат, мало интересовался своим обиталищем. С утра и до черной ночи портфель водил его из заседания в заседание, от папок к папкам, из «номерованных дел» к «делам»; к вечеру портфель разбухал, а портфеленосец сплющивался и, с трудом проделав четыре этажа, искал поддержки у четырех ножек своей кровати. Время его было так точно поделено между отсутствием в присутствиях и отсутствующим присутствием, если только так можно назвать крепкий, начисто выключающий сон, что постоялец далеко не сразу наткнулся на незначительный, но все же странный феномен, требующий некоторой тишины и настороженности слуха. Феномен этот был

обнаружен новым постояльцем в ночь с 7 на 8 ноября: в этот день портфель – как ни странно – отпустил человека одного; человек вернулся к сумеркам и прилег затылком в ладони; за стенками было тихо – праздник увел людей в клубы и театры; постоялец, прикрыв глаза, продолжал видеть плывущую реку знамен, колыхание тысячетелых толп – и вдруг он осознал тихий, до чрезвычайности тихий, но ритмический и четкий звук. Вначале звук ощущался лишь призвуком, идущим обочиной шумящего еще в мозгу дня, пунктиром перфораций вдоль разматываемой ленты, но затем, набирая объективности, звук стал резче и четче, и человек, приподнявшись с постели, ясно его локализовал: механически мерные, колющие воздух стеклистые звуки слышались где-то в средине сумерек, заполнивших комнатный куб, не то над столом, не то на аршин вправо. Постоялец спустил ноги с кровати и хотел сделать шаг к феномену, но в это время стукнула выходная дверь, ноги соседей затопали по коридору, и хрупкий, у пределов слышимости, звук был оттеснен за предел. Однако обитатель квадрата, почему-то встревоженный этим, казалось бы, пустяком, решил все-таки подкараулить пустяк и еще раз проверить перцепцию. В ту же ночь, когда дом угомонился и вкруг квадрата сомкнулась тишина, человек оторвал ухо от подушки и стал вслушиваться: шум кровати в ушах сначала мешал изловить звук, но понемногу сквозь утишающуюся кровь стал выпунктироваться тихий, но четкий отсчет. Жилец промучился ночь и еще ночь. За-

тем обратился к врачу. Черная трубка аускультировала сердце и дыхание; ребро докторской ладони проверило коленный рефлекс, и пациенту предложено было припомнить болезни отца, деда и прадеда. Ладонь, прикрючив пальцы к перу, прописала бром, рукопожимающе сложилась и смахнула кредитку.

Бром не справился с феноменом. Пунктирный игляной звук, дождавшись тишины, неизменно возникал все с той же монотонической машинной четкостью. Жилец стал избегать встреч со счетчиком тишины. Две-три ночи кряду он, выискивая предлоги, провел у сослуживца, наконец, не умея придумывать дальше, рассказал о счетчике тишины, как он это называл. Сослуживец сначала поднял брови, потом растянул рот:

– Э, да вы, я вижу, мистик, не угодно ль в вистик. Стыдно: от червячка паникуете.

– Как – от?

– А так: есть такой премирнющий червячишко, всверлится в стену или там шкап, доску стола и стучит: цок, цок, цок. Дотошная древоточина, не помню только, как его на латинском. Во Франции прозывают его: Судьба, дестин, или как там по-ихнему. Ну, вот вы этой червычуги, дестина-то, и испугались. Ясно, как на ладони.

Ночлежник с Зачатьевского недоверчиво переспросил, затребовал подробностей, наутро погряз в энтомологических справочниках, нашел, прочел, перечел и вдруг почув-

ствовал себя освобожденным от психического затиска.

К вечеру этого же дня он спокойно включился в квадрат своей комнаты и спал без снов, не будимый ни тишиной, ни ее счетчиком.

# IX

Приливы и отливы дней, солнечные нахлыни и схлыни, незаметно с каждым разом нечто приносили и нечто уносили. Шеренга взгорбий у Кремлевской стены медленно длиннилась. Пятиголовые вратастые храмы проваливались в отливы, и почва над ними зарастала булыжинами. Грузовики перестали пить спирт и дышать пьяным перегаром. Над скатами кровель радиозвук стал плести свою проволочную паутину; круглоротые рупора собирали вокруг себя тысячи жадных ушных раковин. Автобусные короба, надсаживая рессоры, закачались из ухабов в ухабы. За старым Петровским дворцом вытянулся каменным эллипсом гигантский стадион на 40 000 глаз. Переулок Сорока Мучеников переименовали в Динамовскую улицу. На Новоблагословенной задымил трубами первый водочный завод. Нос посетителя премьер среди запахов пота и рублевого одеколона нет-нет да натыкался на дуновение заграничного «Шипра». Обитатель Зачатьевского квадрата вдевал дугу спины уже не во френч, а в пиджак. Поверх пестрых пятен стола легла скатерть, закрепленная в собственность тремя ударами аукционного молотка. Портфель, хоть не сильно постаревший и стертый дожелта, продолжал водить в безысходность исходящих и входящих от четырех ножек кровати к четырем ногам канцелярского стола и обратно. Ключ – из скважины в карман и опять

в скважину. И только однажды перед ключом разверзлась – не скважина и не карман, а, скажем, пропасть. Можно, конечно, сунув ключи в пропасть, дважды повернуть его слева направо, жилец так и сделал, но… незачем нарушать логику хроноса или, как принято говорить, хронологический порядок.

К двери своей комнаты жилец подошел, как обычно, после одиннадцати ночи. В коридоре было темно, так как квартира уже спала, но жилец, знавший эту темноту наизусть, не нуждался в помощи света. Остановившись в полушаге от дверной доски, он переложил портфель из правой руки в левую и полез в карман за ключом. В этот-то момент он ясно услышал: внутри комнаты по диагонали звучал чей-то негромкий, но четкий шаг. Шаг был неровен и прерывист. Дойдя до угла, он останавливался и после двух-трех секунд паузы возобновлялся вновь. Вор? Надо разбудить квартиру. Ну а если это та, старая болезнь, дестин, разросшаяся галлюцинация, слышимая лишь ему одному? И после – вору незачем маятником из угла в угол. И еще: если вор, то дверь взломана. Следуя за мыслью, рука к двери. Закрыто. Следовательно… жилец стоял в темноте, чувствуя мучительные толчки сердца. Галлюцинация, обостряясь, множила и множила псевдошаги. Мурашки в пальцах напомнили о ключе. Открыть, распахнуть дверь в мнимость и изобличить нервы. Резкое движение – и портфель, выскользнув из-под локтя, грузно шлепнулся об пол. Шаги оборвались. С минуту жи-

лец вслушивался в тишину. Ни звука. «Кончилось». Сердце сбавляло удары. Почти спокойно он нащупал замочную дыру и дважды повернул сталь. И тотчас же вслед тихому шороху двери – короткий, но громкий вскрик: прямо против порога, наклонясь высокими плечами вперед, черным контуром на фоне осиненного ночной улицей окна стоял человек.

Из всех стен защелкали выключатели. Десяток босых ног – на помощь крику. Но на освещенном теперь квадрате, наклонив плечи, в позе спокойной невыключимости стоял человек: на нем была полуистлевшая одежда, длинное и худое лицо – в охвате рыжего пожара волос, а поперек огромного лба, точно перечеркивая его, синел фосфористыми отливами рубец. В волосах ртутным червяком запуталась судорожно свивающаяся спираль. Он сделал движение рукой – и спираль пеплом истаяла в воздухе. Босые пятки обитателей зачатьевской квартиры, выдернутые столь нежданно из постелей и снов, недоуменно переминались с половиц на половицы. Оглядев их, человек с перечеркнутым лбом сказал:

– Далеко ли до восемнадцатого? Мне нужно…

И еще раз обвел круг глазами, понял: далеко. И замолчал. Зато голоса других, до этого, казалось, тщетно усиливающиеся проснуться, зазвучали вперебой. Еще и утро не успело привстать над башнями Крестовской заставы, как за интрузом звонко хлопнула выходная дверь, и Штерер, ежа плечи от холодного и черного воздуха, зашагал вдоль каменной извилины безлюдного Зачатьевского переулка.

Пространство, прорываемое мускулами, казалось ему тугим и трудным. Непривычный, после стольких дней отлученности, воздух был вязок и труднопроницаем. Ни единый лист на деревьях бульвара, до которого, слабея от усилий, дошагал Штерер, не шевелился, но воздух был весь из неподвижного ветра со скоростью, равной нулю, и силой удара, возрастающей в беспредельность. Возвращенный назад из длительностей в протяжение, он чувствовал себя как пловец, рассекавший вечно взволнованную и лечащую тело поверхность моря, которого вдруг перебросило в неподвижное, под прозеленями ряски, в тесном квадратном сцепе берегов, пресноводье.

Первая же скамья подогнула ему колени. Штерер сел, отирая пот. Он не сразу заметил, что другой край скамьи был непуст. Но с непустого конца его заметили уже давно. Женщина, бодрствовавшая меж двух стен с потушенными окнами, была профессионально внимательна к ночным прохожим. Мужской контур, как-то странно, толчкообразным и качающимся шагом, близившийся, как знать, мог еще обменять остаток ночи на рубли. Пошатнулся, и еще раз – тем лучше: пьяные реже мимо.

С минуту женщина молчала, раскачивая ногой, переброшенной через колено. Гость, сидевший на другом конце скамьи, не придвигался и молчал. Тогда женщина, повернув голову в его сторону, сказала:

– Гуляете?

Ответа не последовало. Хуже того: винный запах отсутствовал; опытный взгляд очертил высокую, вперившуюся в тьму фигуру незнакомца. Не было никаких сомнений: голье пустокарманное. Женщина натянула юбку на выставившееся колено и – сквозь зевок:

– Приезжий?

Фигура чуть наклонила голову. Женщина присвистнула:

– И чего вас сюда несет? Чего вам тут делать: скамьи задом вытирать? Чего тебе от Москвы захотелось? Вчерашнего дня, что ли?

Фигура повернулась плечом на вопрос:

– Да. – И после секундной паузы вслед двузвучию: – Вчерашних лет. Раз я не понял, надо снова и снова сквозь них, пока…

Голос и удар интонаций о слоги были предельно серьезны и сосредоточенны. Женщина опасливо вглядывалась в соседа: не с Канатчиковой ли?

Воздух чуть тронуло ветром. Желая перенаправить разговор, она сказала:

– Ночи уж мало и осталось.

Сосед постепенно яснеющим в предсветии контуром наклонился ниже к земле:

– Я знаю ночь, о которой нельзя так сказать.

Это было мало похоже на предложение пойти вместе спать. Притом сосед коротко засмеялся и отвернул голову. Женщина встала, отряхнула юбку и пошла. На полусотне

шагов она оглянулась: высветленный предзорьем высокий и остроуглый контур продолжал сидеть, наклонив плечи к земле, и неизвестно почему она подумала о последнем госте последней ночи, который придет, навалится сверху и втиснет в землю.

Между тем заря, подымавшаяся красной опарой где-то там, за каменными грудами домов, переплеснула через кровли, перекрашивая воздух исчерна накрасно. Штерер не покидал неподвижности. За решеткой бульвара прогромыхала пустая колымажка, объезжающая мусорные ящики. Меж деревьев заскребла о землю метла. Протащились мимо, глухо колоколя друг о друга, молочные бидоны. Где-то вдалеке заскрежетал на выгибе рельса трамвайный вагон. Двое загульных пропойц, разыгрывая в четыре ноги сложный экзерсис, путая аппликатуру, проделали свой зигзаг вдоль бульвара. Иные торопились к сну, другие еще не сбросили с себя просонок, и фигура, сидевшая в наклоненной позе, с обнаженным лбом, подставленным под прибой мысли, долго не задерживала ничьих шагов. И жаль, что среди проходящих, кстати – и среди живых, не могло уже быть одного специализировавшегося по призракам писателя, который в недавние еще годы любил проводить рассветы на песчаных орбитах московских бульваров: встреча с бессонной фигурой Штерера могла бы заставить его существенно перередактировать рассказ о Елиазаре. Город постепенно отщелкивался из-под ключей. Уже то тот, то другой прохожий, торопящийся вдоль

дорожки бульвара, вскидывал взгляд на Штерерову скамью. Бонна, выведшая за утренней порцией кислорода двух крохотных человечёнышей, обойдя Штерерову тень, хотела было присесть рядом, но, наткнувшись спицами глаз на закаменелую фигуру, потащила детей дальше. Один из человечёнышей, увлекаемый зажимом сухих и твердых пальцев, пискнул:

– Чужой дядя.

Молодая цыганка, перебирая затканными в грязный шелк бедрами, наступила на тень, неподвижно вчерненную в песок, и, ударив трепаной колодой по ладони, начала:

– Гражданин хороший, не погадать ли? Счастливый будешь. Много денег получишь. Любит тебя одна королевна червовая. Дело в казенном доме. И за границу поедешь.

Внезапно глаза ее встретили глаза человека с неподвижной тенью. Ноздри цыганки испуганно дрогнули, зрачки под черными выгибями бровей раздулись, как искры на ветру. Спрятав колоду в рукав, она отошла торопливо и неслышно, кружа свивающимися и развивающимися вкруг гибких ног шелками.

День шел мимо все быстрее и быстрее. Впиливались и всверливались в воздух автомобильные сирены. Вдоль бульварных стволов скользили крикливые имена газет. По песку, сползая неподвижно в черненую тень, дергались рассуставленные торопливые тени мимо идущих. Чей-то пятак сунулся было к закаменелой фигуре и, испугавшись, ерзнул назад,

в карманную щель. Наискосок у соседней скамьи запрыгали локти и щетки чистильщика. Пыль мириадами серых точек металась, ища пристанищ на глянцах, стеклах и в мешках с дыханием.

Внезапно Штерер услыхал свою фамилию. Она прозвучала раз и еще раз, заставив и тень и ее носителя слегка шевельнуться. Против вскинутых век Штерера торчало распяленное 3/5 руки. Распял был так настойчив, что Штерер чисто рефлективно сделал ответное движение и пожал трехпалую ладонь.

– Не узнаете, ну где уж вам нас! А вот я – пальцы у меня, изволите видеть, пооборвало, а память нет. Как же, как же, в четырех койках от вас, в концентре, в пленении. Или и про то забыли?

Штерер смотрел, продолжая не узнавать. Человек с восемью пальцами, подогнув пядь под тяжелую шнуровую книгу, вжатую в его левый бок, энергично скрючивал и раскрючивал остальные:

– И тогда еще я приметил: умоватый человек, не нашинским чета. Вроде как из немцев вы, да сортом выше. Нам, конечно, рассуждать об этом трудно, потому что мы есть: один комар на всех на нас глузду принес, да и тот крылом не затомил. А только не знатьем, так чутьем – мысль из вас, из глаз ваших, вот споткнись о нее, так и не встанешь.

Говоривший, не встречая реплик, сконфузился и взялся трехпальем за козырек картуза. Но картуз, вместо того чтобы

прощально кивнуть, повернулся от левого виска к правому, потом от правого к левому:

– Жужелев. Пров Жужелев. Одежонка на вас, вижу я… просто сказать, в фьюить вы одеты. Ну, и после, нельзя голове без приклону. Скрипка, и та, скажем, в чехле живет. Идем.

И прежде чем солнце перекатилось через зенит, Штерер водворился в некое подобие квартиры. Деятельный Жужелев, оказавшийся дворником одного из домовладений на Крутицком валу, недолго размышлял над изысканием площади. Под лестницей, прикрытая косой линией ступенек, втреуголивалась крохотная безоконная каморка; под висячим замком ее складывались дрова. Восемь пальцев Жужелева выселили поленья и вселили Штерера. На место березовых обрубков, забивавших треугольник, вдоль его основания выстлался штопаный сенник, с гипотенузы свисла близорукая лампа, а к стыку катетов стал замстолом коротконогий табурет.

– Вот вам и чехол, – ухмыльнулся Жужелев, разглаживая усы и улыбку встопорщенным трехперстием, – тут захоти разжиреть, стены не пустят.

После этого оставалось водворить и имя жильца в шнуровую книгу прописок. В домкоме сперва заперечили, потом притиснули печать.

Штерер, утомленный после долгого пути, вытянулся на сеннике и сквозь наплывающую диафрагму сна слушал по-

дошвы, перебирающие ступеньки над ее головой взбегающими и сбегающими пассажами и перебросами арпеджий.

Среди десятков пар подошв, отстукивавших по каменной клавиатуре, незасыпающий слух мог бы выделить резкое стаккато человека, взбежавшего к себе на верхний этаж, – это был Иосиф Стынский, встреча которого со Штерером оказалась, как это будет видно из последующего, знаменательной для обоих.

# X

Перо литератора Иосифа Стынского отличалось на редкость непоседливым характером: то оно суетилось внутри короткострочий фельетона, то увязало в медленных смыслах и периодах экономико-социологического трактата; окунувшись в чернильницу, оно никогда не высыхало вместе с несостоявшейся фразой; знало искусство скользить, но не поскользнуться; умело росчеркнуться перед каждым новым фактом и идеей. Два серых глаза Стынского, врезанные асимметрично, с капризным узким раскосом, жадно подставляли себя под тени и свет; сегодня был спрос на свет, завтра тени подымались в цене, и Стынский, сдвинув тему на полутон, переводил ее из мажора в минор. На книжной полке его рядом с амюзантными желтокожими парижскими книжечками стоял сухопарый том Гуссерля и Марксова «Нищета философии». Короче говоря, Стынский знал, как обращаться с алфавитом. По признанию его благо– и зложелателей, он обладал несомненным литературным дарованием и мог бы, пожалуй, если бы… но уже года два тому перо его, зацепившись за это досадливое *бы*, очутилось за чертой перворанговой витринной литературы, потеряло доступ в пухлый журнал и персональную полистную ставку. Разгонистое, оно, как это ни странно, все-таки поскользнулось на, казалось бы, невинной статье, озаглавленной так: «Револю-

ционный молот и аукционный молоток». В статье, написанной по заказу редакции, доказывалось, что, как только отстучит дробящий стекло и кующий металл молот революции, начинается дробный и деловитый перестук аукционных молоточков, по мелким мелочам добивающих старый, в рамы картин, под крышами резных ящичков и армуаров прячущийся, старый, вышибленный из всех своих уютов мир. Редакционный портфель оказал гостеприимство статье о двух молотах, но волею случая она залежалась в нем несколько дольше обычного; напечатанная с запозданием, статья сбилась с ноги, попала не в ту актуальность, и после этого автору никак не удавалось нагнать такт. Деквалификация ведет, как известно, к деквантификации доходов. В конце концов Стынскому пришлось питаться «Великими людьми» – так называлась дешевая серия листовок, расправлявшихся с любым гением десятком-другим страниц. Стынский быстро набил руку, и «великие» так и сыпались из-под его пера, превращаясь в дензнаки. Автор серии не переоценивал своей работы. «Живого тут только и есть, – говорил он, – что живая нитка, на которую все это сшито». Но в желчевые минуты Стынский выражался много резче: «Черт возьми, опостылели мне, чтоб их мухами засидело, эти великие мертвецы; ну хоть бы на одного живого набрести; подвеличивающихся видимо-невидимо, а великих, видимо, не увидим». И он снова принимался за очередную листовку, обычно начинавшуюся так: «Это было в ту эпоху, когда торговый капитал…», или:

«Капитал, которому было тесно на континенте Европы, рано или поздно должен был открыть Америку. Венецианец же Ко…», или: «Сократ, сын повивальной бабки, принадлежавший к мелкобуржуазной интеллигенции древних Афин…».

Прежде чем встретиться с подлестничным жильцом, обитатель верхнего этажа совершенно случайно наткнулся на запись в домовой книге, задержавшую его взгляд сначала странностью почерка, потом и иной странностью: вправо от остробуквого «Штерер Максимилиан» тянулось по графам: 34 – холост; в графе «Откуда прибыл» значилось – из Будущего. Правда, чья-то старательная, но неумелая рука, которую Стынский тотчас же, впрочем, разгадал, вытянула строчное «б» в пропись и прикорючило к нему слева серповидное «с». Получалось: из с. Будущего. Стынский, который брал шнурованную книгу для прописки временно гостившего приятеля из провинции, возвращая ее Жужелеву, вдел на вопросительный знак и осторожно, чтобы и не зарябить глади, забросил слова:

– Скажите, Пров, в какой это губернии село Будущее, что-то я не припомню?..

Глаза Жужелева смотрели сквозь ухмылку:

– Может, оно и не село, а иначе как, но так уж для порядку, чтоб в милиции не придрались. Ну, и если человек, от така ли, от сяка ли, только при одном уме остался, незачем его выспросами тревожить: то были дрова, а то человек, дрова вороши, а человека…

Но Стынский, получивший комментарий только к одной букве странной записи, решил разгадать и остальные семь знаков. В тот же день и на следующее утро, проходя подъезд, он оглядывал сомкнутые, точно половины косого складня, створы подлестничной двери. Они были неподвижны и за их крашенными нажелто досками – ни единого звука. К вечеру, когда, как говаривал Стынский, волки должны пользоваться тем, что их не отличают от собак, он имел обыкновение отправляться по сердцевым делам (опять-таки выражение Стынского). С веселым переливом, сосвистывающимся с губ, и цветком, качающимся в петлице, скользил он по поручню лестницы вниз, когда вдруг в треугольном подлестничье зашумело. Стынский, перегнувшись через перила, увидел: косой складень распахнул створы и изнутри, точно под толчками пружины, выдвинулась и распрямилась, как-то вдевшись на вертикаль, высокая, в широком раскрылье плеч фигура. Литератор наклонился еще ниже, стараясь прорвать глазами сумерки, и скользкий стебель цветка, наклонившегося тоже, выпрыгнув из петлицы, бросился в пролет:

– Виноват. Не нагибайтесь, я сам.

Но человек из складня и не собирался нагибаться. Первое, что услышал Стынский, сбежав вниз, это хруст перелюбопытившего его цветка, на который он сам в полутьме и торопи наступил. Лицо нового вселенца было в аршине от глаз; оно так поразило Стынского, что рука его не сразу нашла путь к

шляпе, а язык к словам:

– Очень рад встрече. Иосиф Стынский, Пс. Неясно? Пс. – это наша «известняковская» аббревиатура «писателя». Вместо: гражданин писатель Тыльняк или там досточтимый метр Силинский – просто «эй, пс», – и идут, представьте себе, пс. за пс. сюда вот вкруг пролета: по четвергам у меня весь литературный «известняк» (известь тут ни при чем). Вы, я вижу, давненько не были в Москве; что, изменилась старуха, а?

– Да, с 1957-го. Если хотите, изменилась: да.

Ответ был так странен, что Стынский откачнулся на шаг:

– Извольте, но ведь у нас сейчас только…

После этого разговор продолжался, не покидая ступенек, еще минут двадцать. Последней фразой Стынского, просительно вжавшегося ладонью в ладонь Штереру, было:

– Следующий четверг жду. Нет. Нет. Непременно. Ведь это опрокидывает мозг, черт возьми. Я сам приду за вами, и «неволей иль волей», х-ха. То-то накинутся на вас пс. – ы!

Придя на свидание, взъерошенный Стынский на «я думала, вы уже не…» не ответил ни слова. «Предмет», бывший на этот раз желтоволосой поэтессой-беспредметницей, как и подобает предмету страсти, задолго обдумал туалет, реплики, сощур глаз и поцелуи. Но все пошло куда-то мимо поцелуев, и глаза пришлось не щурить, а, скорее, расширять. Стынский, фамилия которого не вызывала никогда обидных для него ассоциаций у женщин, на этот раз как-то взволно-

ванно отсутствовал. Держа себя за петлицу, он нервно дергал пиджачный отворот, точно пробуя бросить себя куда-то вперед или вверх:

– Кажется, я встретил, страшно даже выговорить… ну да, одного из тех, о которых я клепаю свои листовки. Это непередаваемо, это нельзя ни в каких словах. Теперь я знаю, что значит очутиться на ладони у Гулливера: сожмет в пясти – и пшт. Наружно он похож на этакого мунляйтфлиттера, но…

– Послушайте, Иосиф Непрекрасный, если вы пришли к женщине, разрешившей вам tête à tête [76]…

– Tête à tête: вот именно, это было первое подлинное tête à tête в моей жизни – голова к голове, мысль о мысль. Обычно во всех этих поцелуйных свиданиях tête от tête на миллион верст.

– Неблагодарный, он же еще и привередничает. Сядьте ближе.

– Сквозь сумерки я успел разглядеть слова, но не лицо. Оно показалось мне бледным, но я все же почему-то вспомнил…

– А теперь обнимите меня за талию.

– Ах да, за талию? а почему не за Мельпомену? И я все-таки вспомнил легенду о лице Данта, обожженном и солнцем, и пламенем адских кругов. Нет, таких, как этот, никогда не жалеют и незачем жалеть: они ведь все равно не замечают жалостей, клянусь моей серией и построчными пятаками!

---

[76] С глазу на глаз *(фр.)*.

Надо спустить «пс. – ов» и… четвертовать. Мы вспрыгнем на цыпочки, да, но пусть и он нагнется, хоть раз.

# XI

Еще в канун четверга Жужелеву было строжайше наказано следить за обиталищем Штерера. Стынский леденел при мысли, что «гвоздь» его вечера может как-нибудь выгвоздиться.

К девяти «известняк» стал понемногу собираться. Большая, в беленых стенах комната верхнего этажа распахнула не только дверь, но и два высоких окна, гостеприимно раскрывших створы светящимся пунктирам московских огней. Уже через полчаса над головами качался сизый дым и от уха к уху кружила чья-то вцарапывающаяся в мозг эпиграмма. За спинами гостей, плющась по стене, из-под стекла – окантованные нажимы и разбеги угля и карандаша. В углу меж сбившимися в кучу головами кувыркался каламбурным клубом последний политический анекдот. Среди московского «известняка», рассевшегося по прямоногим скамьям и табуретам, можно было натолкнуться глазом на: модного поэта с лирическим накалом в рыбьей груди; ученого лингвиста, не размыкающего рта, о котором говорили, что он «молчит на двадцати шести языках»; знаменитого кинорежиссера, которого мысль, выжестикулировываясь, делала похожим на шестирукого Вишну; длиннолицего беллетриста, с ногами, затиснутыми в гетры, на скулах которого дергался тик, а в фразах – «так вот»; мясистый, с седыми заездами лоб маститого

критика; глубокое декольте беспредметницы; круглящуюся, будто глаз на затылке, тщательно зачесанную лысину издателя; изогнутую из-под манжеты нервную кисть художника-карикатуриста. Ложечки откружили в стаканах. Лирик встал и, теребя бант над рыбьей грудью, прошепелявил:

– Меня тут просили прочесть э…

Но Стынский, шагнув на середину зала, коротким движением руки перевел глаза гостей от лирика к человеку, высокая и неподвижная спина которого вчерчивалась в темный распахнутый прямоугольник окна:

– Виноват. Сегодняшний вечер мы отдадим человеку, расправившемуся с этим словом: «сегодня». Дорогие пс. – ы, гражданин Штерер, изобретатель времяреза, расскажет нам то, что он найдет возможным рассказать о своем первом пробеге сквозь время.

В ответ на свое имя Штерер повернул лицо к собранию; он продолжал стоять там, где стоял, охватив руками выступ подоконника; из-за его плеч гляделись желтые и синие огни города. Все замолчали. Пауза. В чьем-то пустом стакане жалобно, никелевым всхлипом прозвенела ложечка. Штерер начал:

– Самая грубая схема конструкции, рассекающей время, требует специальных знаний, на которые я не могу рассчитывать здесь, среди вас. То, что изложу, будет похоже на подлинный предмет изложения не более чем (пользуясь словами Спинозы)… чем обыкновенный пес на созвездие Пса. Нау-

ка, некогда резко отделявшая время от пространства, в настоящее время соединяет их в некое единое Space-Time [77]. Вся моя задача сводилась, в сущности, к тому, чтобы пройти по дефису, отделяющему еще Time от Space, по этому мосту, брошенному над бездной из тысячелетий в тысячелетия. Если в своих работах Риман-Минковский отыскивает так называемую мировую точку в скрещении четырех координат: x + y + z + t, то я стремлюсь как бы к перекоординированию координат, скажем, так: x + t + y + z. Ведь, подымаясь сюда по ступенькам лестницы, вы вводили в пространство ступенчатость, последовательность, то есть некий признак времени: идя обратным путем, так как примысливая к понятию времени признаки пространства, мы…

В углу под росчерками угля чье-то ухо наклонилось к шепоту; из рук в руки заскользили записочки. Штерер спокойным движением от плеча к плечу оглядел аудиторию:

– Уже непонятно? Не так ли? Попробую еще проще. Время – это не цепьё секунд, проволакиваемых с зубца на зубец тяжестью часовой гири; время – это, я бы сказал, ветер секунд, бьющий по вещам и уносящий, вздувающий их, одну за другой, в ничто. Я предположил, что скорость этого ветра *неравномерна*. Против этого можно спорить. И я первый начал спорить с собой (мышление – это и есть спор с самим собою), но как измерить время протекания времени; для этого нужно увидеть *другое* время, усложнить четырехзначную

---

[77] Время – пространство *(англ.)*.

формулу Римана пятым знаком t. Опять непонятно?

На этот раз вопрос растворился в молчании. Записочки лежали не шевелясь.

– Но как мы относимся к… точнее, как мы движемся в этом неутихающем ветре длительностей? Совершенно ясно, как: как флюгера. Куда нас им поворачивает, туда и протягиваются наши сознания. Именно оно, восприятие времени, линейно, само же время радиально. Но я постараюсь обойти термины, постараюсь обогнуть вместе с вами все углы и поперечины формул. Мы держим путь по времени, по ветру секунд, но ведь можно же плыть и на косом парусе, поперек поперечника t, по кратчайшей, по прямой, в обгон изгибу t-мерностей. Ну, как бы это вам яснее…

Глаза Штерера, ища аналогии, обежали стены и, дочерчивая круг, повернулись к провалу окна. Внезапно рука говорящего протянулась вслед за стеклянными створами, в ночь. Кой-кто приподнялся, два-три табурета пододвинулись к жесту.

– Вот там, меж огней, – продолжал Штерер, ускоряя шаг слов, – привычная, извилинами сквозь город, река; все вы знаете, что там где-то, в стольких-то километрах от нас, извив этот впадает в другой извив и этот последний в море. Но если, взяв реку за оба ее конца (я говорю о притоке), вытянуть ее прямым руслом, то она сама, без помощи подсобного извива, дотянется до моря и станет впадать не в узкобережье, а в безбрежье. Я хочу сказать, что течение времени

извилисто, как и течение рек, и что, распрямив его, мы можем переместить точку А в точку В, то есть переброситься из сегодня в завтра.

Я не буду останавливаться на том, как строилась сперва в моей голове, годы вслед годам, моя конструкция; бесполезно описывать и то, как я ее вынул вот отсюда, из-под лба, и взял ее в пальцы. Конечно, это было нелегко, она противилась овеществлению, была долгая борьба, и я не в силах вложить в десяток минут то, что раздлиннилось на два десятка лет. Для этого мне пришлось бы прибегнуть к моей машине, но она разбилась о… но об этом после. На море длительностей тоже возможны кораблекрушения. Но рано или поздно я попытаюсь еще раз бросить «поздно» в «рано» и «рано» в «поздно».

На минуту слова оборвались. Беллетрист, шевельнув гетрами, наклонился к соседу:

– Не правда ли, лобная кость его, как заслонка фонаря: приподнять – и глазам будет больно?

Сосед хотел ответить, но Штерер покончил с паузой:

– Лобачевский впервые отметил, что линия АВ есть в то же время и ВА, то есть представляет собой геометрический луч, который может быть проведен как от А к В, так и от В к А. Следовательно, через две точки можно провести не только одну прямую и, следовательно… Но пора следовать во времени, как это обещал вам Стынский.

Я дал себе старт в одну из летних ночей. Окно моей ком-

наты было открыто, как вот это, у которого я сейчас: оно должно было превратиться для меня в окно вагона, мчащегося из эпох в эпохи. Я не мог выбирать, но уже до пуска машины понимал всю неблагоприятность одной из пространственных координат. Горизонт был почти отрублен стеной брандмауэра, только за левым остекленным отворотом рамы можно было видеть короткий отрезок улицы и грязный фасад, истыканный тремя рядами дыр, а из-за них несколько кровель – и всё. Я не случайно отправлялся, так сказать, с ночным поездом: темнота и сны защищали старт от возможности подгляда и вмешательства непрошеных ушей в те звуковые феномены, которые легко могли возникнуть при переключении из воздуха в эфир. Из предосторожности я погасил даже электричество и пользовался при посадке простой свечой, которую можно было потушить толчком дыхания, в то время как выключатель был отделен от машины шестью-семью шагами.

Я был законтрактован, я продал, не стану скрывать от вас, несколько маршрутов в прошлое. Надо было сделать небольшой прыжок на пять-шесть лет вспять, проверить ход времяреза и точность регулирующих механизмов и снова «подать» конструкцию к той же дате. К утру я думал обернуться. Но в последний момент перед включением в аппарат я заколебался. Материалы, из которых строился времярез, были далеко не высшего качества, где у нас их было достать? Бросить свою непроверенную формулу сразу же в прошлое, то есть

против течения времени, против ветра секунд – это могло привести к ее повреждению, а то и… я хотел быть честным по отношению к людям, но я не хотел быть нечестным по отношению к машине. После короткого колебания я переобратил имдикцию с осолони на посолонь и замкнул цепь. Надо вам знать, что существеннейшая часть моего аппарата – под цвет воздуху свитая из паутинно-тонких спиралей воронка. Стоит только втиснуть голову в эту шапкообразную – выходным отверстием кверху – воронку, свои виски и дать контакты и… Мозг наш, как известно, капельно-жидок, и воронка моя, переливающая его, точнее – растворенное в нем мышление из пространства во время… это не так легко было сделать: ведь комплекс ощущений запрятан под три мозговых оболочки плюс костяной футляр – надо было в чистое t сорвать все это опеленывающее и поднять лобную кость как заслонку простого фонаря и дать выход свету. (Гетры теснее прижались одна к другой.) Я включил электронный вихорь – и время стало втягивать меня сначала за мозг; мозг, вывинчиваясь сквозь спироворонку, тянул на нервных нитях тело; мучительно вдавливаясь и плющась, оно не хотело пройти сквозь: казалось, еще немного, и натянутые нервные волокна оборвутся, уронив подвешенный к мозгу балласт; я не выпускал из струящихся моих пальцев контактов и регуляторов; миг – и я увидел себя… то есть именно я не увидел себя. За квадратом окна происходило нечто фантасмагоричное: как если б гигантская светильня, догорая, то вспы-

хивала, то затухала, бросая окно то в свет, то в тьму. По сю сторону окна тоже что-то происходило: что-то маячило вертикальным, то придвигающимся, то отодвигающимся в рост мне контуром и сыпало прерывистой дробью шагов.

Очевидно, я сразу рванул на предельную скорость, вокруг меня беззвучно вибрировала конструкция; в левой руке оневидеменный временем, вынесенный на полный поворот вперед, вздрагивал рычаг. Я потянул его на себя, и картина за стеклом стала четче: слепящее глаза мелькание осолнцелось – я видел его, солнце, – оно взлетало желтой ракетой из-за сбившихся в кучу крыш и по сверкающей выгиби падало, блеснув алым взрывом заката, за брандмауэр. И прежде чем отблеск его на сетчатке, охваченной ночью, успевал раствориться, оно снова из-за тех же крыш той же желтой солнцевой ракетой взвивалось в зенит, чтобы снова и снова, чиркая фосфорно-желтой головой о тьму, вспыхивать новыми и новыми, краткими, как горение спички, днями. И тотчас же в машине моей появился колющий воздух цокающий звук. Конечно, я сделал ошибку, дав сразу же полный ход. Надо быть начеку: я отвел рычаг еще немного назад – солнце тотчас же замедлило свой лёт; теперь оно было похоже на теннисный шар, который восток и запад, разыгрывая свои геймы, перешвыривают через мой брандмауэр, как через сетку. Занятый этим странным зрелищем, я позабыл о внутрикомнатном. Когда ход времяреза выровнялся, я оглянулся наконец и на шаговую раздробь у половиц. Это было

смешное и чуть жалостливое зрелище. Хотя дверь моей комнаты была обыкновенной глухой и одностворчатой дверью, но сейчас она производила впечатление вращающейся двери сутолочного щелевого подъезда, по крайней мере, человек, или люди, или нет, человек с портфелем под локтем, никак не мог выпутаться из ее движущейся створы – он проваливался наружу и тотчас же, будто забыв что-то, возвращался внутрь, срывал с себя все, нырял под одеяло и, снова вспомнив, впрыгивал в одежду и исчезал за дверью, чтобы тотчас же появиться вновь. И все это под вспыхивающими вперебой солнцем и электрической нитью. Эта чехарда дат казалась мне, повторяю, по непривычке чуть забавной, самое ощущение бешеного темпа моей машины ширило мне сердце, я снова чуть толкнул рычаг скоростей вперед – и тут произошло нежданное: солнце, взлетевшее было, точно под ударом упругой ракеты, из-за крыш, внезапно метнулось назад (запад отдавал шар), и все, точно натолкнувшись на какую-то стену, там, за горизонтом, остановилось и обездвижилось; лента секунд, продергивающаяся сквозь мою машину, застопорилась на каком-то миге, какой-то дробной доли секунды – и ни в будущее, ни в прошлое. Там, где-то под горизонтом, орбита солнца пересеклась с вечностью. Брр, препоганое слово «вечность», для того, кто ее видел не в книгах, а в… Воздух был пепельно-сер, как бывает перед рассветом. Контуры крыши, косая проступь улицы были врезаны в бездвижье, как в гравюрную доску. Машина молча-

ла. Нерассветающее предутрие, застрявшее меж дня и ночи, не покидало мертвой точки. Только теперь я мог рассмотреть все мельчайшие детали жалкого городского пейзажа, притиснувшегося к пыльному окну: на стене вгравированного дома над каменной рябью булыжника выставлялся конец синей, в золотом обводе вывески; по сини белым: «…АЯ», остальное было отрезано выступом соседнего дома; каверна подворотни, прячущая под своей навесью черную, бездвижным контуром в тротуар выставившуюся тень; над каверной – из железного зажима красный флаг, застывший в воздухе ветер задрал ему кумачовый подол, и материя, будто вырисованная в воздух гальванопластическим средством, застыла над улицей; у тумбы задняя нога пса, приподнятая кверху – спазм вечности остановил ее. Исчерпав улицу, я перевел внимание на внутренность комнаты. То, что я увидел, заставило меня… нет, неправда, на то, чтобы вздрогнуть, нужно хоть одну десятую секунды, время же, окаменев, отняло все, до мельчайшей доли мельчайшего мига. Итак, прямо против меня на кровати, упершись ладонями в тюфяк и выставившись навстречу моему взгляду круглыми, распяленными страхом глазами, сидел человек.

Я смотрел на, казалось, вылупленную из воска куклу ужаса, и стереоскопическое бездвижье мертвого мира всачивалось в меня. Долго ли это длилось, я не могу сказать, потому что это было, поймите, вне длиннений. Самые мои мысли, волей инерции продолжавшие скользить сквозь воск, по-

степенно застывали и останавливались, как облака в безветрии. Слабеющим усилием, тем надчеловеческим напряжением, какое бывает лишь в кошмарах, я толкнул рычаг, дотянулся до другого, и времярез, разрывая песок секунд, снялся с отмели. Теперь я шел медленно на тормозах. Дни, сливавшиеся, как спицы быстро кружащего колеса, в неразличимость, стали теперь раздельно видимы. Будущее делалось доступным для наблюдения. Окно, выходившее в конец тридцатых годов нашего столетия.

– Ну, и что же было там, за окном?! – врезался в рассказ вибрирующий любопытством женский голос.

Штерер улыбнулся с некоторым смущением:

– Видите ли, машина времени оттягивала мое внимание от самого времени. Мне очень неприятно, что я не смогу… но машинисту у перегретой топки нет времени на пейзажи, трущиеся об окно его машины. И у меня не было ни мига для времени: в десяти годах от настоящего на дающей перебои конструкции, принужденной выравнивать дефекты на ходу, я не мог же…

– Значит, – резко подогнулись под табурет внимательные гетры, – значит, глаза, по-вашему – подглазники для наглядников. Но если их не запорошило, простите, ни единым фактом, если вы умудрились не увидеть в грядущем ничего, кроме ровного поля, беговой дорожки для вашей машины, если вам нечего предложить собравшимся здесь товарищам, то я не понимаю, собственно…

Штерер провел рукой по надбровью:

– Ровного? Постойте, кой-что я все-таки припоминаю. Да, да.

Кольцо молчания снова сомкнулось вкруг слов:

– Ну вот, например, это произошло как раз, когда ничего не происходило. Я имею в виду одну из пауз в работе машины. Незачем возвращаться к ощущению, я уже пробовал вам его передать. Опишу только факт. На этот раз нить секунд разорвалась в середине яркого дня. Солнечный луч, ткнувшись в столб с разбега в 300 000 километров, стал на 0. Пылины в луче не шевелились; казалось, будто воздух засижен золотыми мухами. Под пятном луча была брошена газета (человек, оставивший ее, отсутствовал). Это был номер «Известий» от 11 июля 1951 года. Протянувшийся в бесконечность миг впрессовал в мой мозг, помимо воли, все, от заголовка до последней буквы впластавшегося против глаз листа, и если угодно…

– Купюра, – перегородил дорогу словам резкий вскрик Стынского, – разве вы не видите, что вы среди перьев? Этот номер стоит много дороже пятака. Дальше. Машина пошла; пылинки снова закопошились в луче. Слушаем.

– Но позвольте…

– Почему вы не даете ему?..

– Как раз когда…

Табуреты возмущенно задвигались. В углу прошелестело: «Понимаем-с».

Стынский слегка побледнел:

– Ни пса не понимаете, пс. – ы, и ни единого «как раза» не получите. И вообще, дорогие гости, куш. Штерер продолжает.

– Если… с купюрами, то осталось немного. Поскольку мой рейс был пробным, пора было поворачивать назад. Но конструкция настолько расшаталась, что я боялся крутого поворота, грозящего аварией, и продолжал уступать течению времени, уносившему меня все дальше и дальше в будущее. Погруженный в выравнивание дестабилизирующейся машины, я не сразу заметил, что заоконное пространство укорачивается. Так, однажды случайный взгляд мой наткнулся на уходящую вверх из камня и стекла стену (очевидно, пока я отвернулся, новый гигантский дом затоптал трехэтажный корпус с его «…АЯ» и каверной под флагом). В другой раз (я шел на учащенном темпе) кирпичный занавес брандмауэра на моих глазах стал быстро уходить в прошлое, а из-за него выставилось… но это несущественности. Только теперь, оставив далеко позади настоящее, я начал ощущать неполноту, оплощенность и недоощутимость предвосхищенного времени, сквозь секундные поры которого, вдогонку за будущим, пробирался я все выше и выше. Мое будущее, искусственно взращенное, как растение, до природного срока выгнанное вверх, было болезненно тонким, никлым и бесцветным. Всё, решительно всё… ну, например, красный флаг, о котором я уже, кажется, упоминал, постепенно пре-

вращался из красного в…

– В?

– В? – Два-три табурета беззвучно пододвинулись ближе.

– Нет, не то, – отмахнулся Штерер, – он не отдавал своей краски, но в нее, как и во все, постепенно вместе с секундами стала подпепливаться какая-то серость, бесцветящий налет нереального. Странная тоска вклещивалась в сердце. И хотя я знал, что тот, обогнанный, еще не досчитанный вами до конца год на двадцать корпусов позади, меня не покидало чувство погони: топот секунд поверх секунд. Я наддал скорости – серая лента дней терлась о мои глаза: я закрыл их и, стиснув зубы, вслепую мчался на выброшенных вперед рычагах. Не знаю точно, как долго это длилось, но когда я снова открыл глаза, то увидел такое… *такое*…

Голос Штерера, качнувшись, стал. Руки его крепко стискивали выступ подоконника. Даже тик на лице беллетриста не шевелился.

– Отсюда и машине, и рассказу крутой поворот на сто восемьдесят градусов. Теперь, после того, что нежданно ударило меня по зрачкам, я не боялся быть опрокинутым поперечными ударами длительностей. Катастрофа? Пусть. И представьте, случайность была на моей стороне – поворот удался, и я шел против ветра секунд. Движение было медленным, солнце желтым диском перекатывалось от запада к востоку, знакомая обочина дней тянулась от Futurum [78] к Perfektum [79].

---

[78] Будущего *(лат.)*.

Теперь я точно знал свое *куда*. Несомненно, была допущена ошибка: не в конструкции – в конструкторе, во мне. Время не только синусовидно, извилисто, оно умеет то расширять, то суживать свое русло. Этого я не учел; экспериментируя над t-значениями, я оказался плохим наблюдателем. За спиной у меня был *пропуск*, сцеп из трех-четырех годов, начисто выключенных из моего сознания. Нельзя вживаться в жизнь, если позади нежизнь, пробел в бытии. Эти нищие, кровью и гневом протравленные года, когда гибли посевы и леса, но восставал лес знамен, – они мнились мне голодной степью, я проходил сквозь них, как сквозь пустоту, не зная, что… что в ином настоящем больше будущего, чем в самом будущем. Люди отрывают свои дни, как листки с отрывного календаря, с тем чтобы вымести их вместе с сором. Даже своим богам они не дают власти над прошлым. Но мои длительности были листами единой книги: мой времярез был много сложнее разрезального ножа, вскрывающего непрочитанные листы, – он мог вернуть меня к непонятным страницам и лечь закладкой меж любых двух, пока я буду перечитывать да пересчитывать реконструированное прошлое. Даже в области грубой пространственной техники мы уже близки к тому, чтобы достигнуть скорости вращения Земли – стоит удвоить ведущую силу пропеллера, и можно пытаться настигнуть ускользающее за горизонт Солнце. Этого я и хотел: бросив рычаги на полный ход, идти прямиком на *пробел*, настичь отнесен-

---

[79] Прошлому *(лат.)*.

ное назад и переподготовить свое *вперед*. Я двигался медленнее. Но навстречу мне шло само время, то вот реальное, астрономическое и общегражданское, к которому, как стрелки компасов к полюсу, протянуты стрелки наших часов. Наши скорости ударились друг о друга, мы сшиблись лбами, машина времени и самое время, яркий блеск в тысячу солнц заслепил мне глаза, беззвучный толчок вырвал контакты из моих рук. Я стоял среди своей комнаты, снова видимый себе даже сквозь полумрак. Сумрак не двигался. Но внутри его глухо шевелился город. Машина моя погибла на полпути. Ожоги на пальцах и поперек лобной кости – единственный след, оставленный ею в пространстве.

Как странно, давно ли я заставлял звезды синей стаей светляков мчаться сквозь ночь, а теперь я вот, вместе с вами, снова на этом нелепом и сонном плоту, умеющем лишь вниз и лишь по течению, который принято называть: настоящее. Но я не согласен. Пусть машина разбита, мозг не разбит. Рано или поздно я докончу начатый маршрут.

Штерер оборвал и, отвернувшись от аудитории, смотрел на отражение огней в оконном стекле. Издалека протянулся сиплый свисток ночного поезда. Табуреты за его спиной задвигались. Голоса – сначала приглушенные, затем чуть громче. Бродячий огонек спички. Щеки, раздумчиво втягивающие дым. На вешалке опросталось два-три крюка. Внезапно лингвист, отведя рукой услужливый огонек, нарушил свое двадцатишестиязыкое молчание:

– Вы разрешите… вопрос?

Штерер, поглядев через плечо, кивнул: он слушает. Беллетрист, вдевший уже правую руку в рукав пальто, выпустил левый и ждал. Двое или трое у порога приостановились.

– Вопрос мой в следующем: есть некоторое несоответствие, так мне, по крайней мере, кажется, между длительностью вашего пребывания в… ну, скажем, в преждевременном времени и количеством обыкновенного, вульгарного, скажем так, времени, протекшего, пока вы… Я понимаю, t и t разноязыки, но все-таки как вы успели?..

– Совершенно верно, – Штерер в некотором недоумении сделал шаг навстречу брошенным словам, – как я успел? Вот вопрос, который мучит меня все эти дни. Конечно, отсчет t внутри t вещь не слишком легкая. Но мои вычисления заставляют меня думать, что, может быть, я и *не успел*, что, возможно, встречи с реальным временем и не произошло (моя конструкция могла разбиться и о менее серьезное препятствие) и что я, извините меня, среди призраков, порожденных призрачными длительностями. Мне хотелось быть по возможности популярным и… вежливым, и я довольствовался в своем изложении гипотезой о t, ударившемся о t. Но если вы сами… если эта гипотеза не удовлетворяет вас, то мы можем предположить, что машина не успела достигнуть реальности, она расшиблась о выставившуюся вперед тень t-времени и… наблюдения над окружающими теперь меня людьми дают ощущение, что это люди без

*теперь*, с настоящим, оставшимся где-то позади их, с проектированными волями, словами, похожими на тиканье часов, заведенных задолго до, с жизнями смутными, как оттиск из-под десятого листа копирки. Впрочем, возможна и третья гипотеза: я, Максимилиан Штерер, – сумасшедший, которому отказано даже в смирительной рубашке, а все изложенное мною – бред, дивагация. Мой искренний совет – остановиться именно на этой точке зрения: она наиболее для вас выгодна, устойчива и успокоительна. Засим имею честь.

Штерер прошел мимо повернутых вслед ему голов. Трое или двое у порога стояли словно на ввинченных в пол подошвах. Беллетрист шарил в воздухе, не попадая в выскользнувший левый рукав пальто; тик дергал его за губу, пробуя вытряхнуть слово.

– Да, нафилософил, – присвистнул лирик и оглядел собравшихся в надежде, что хоть на прощанье вспомнят о его непрочитанных стихах. Никто не вспомнил.

Кинорежиссер взъерошил волосы шестируким жестом:

– Закадровать бы и – в фильм!

Беллетрист наконец поймал рукав:

– Что ж, ввертите. Только все это времярезничество – блеф. Штереровщина…

И, почувствовав себя освобожденными, две-три пары подошв двинулись вслед за вышагнувшими за порог желтыми гетрами.

– А вот у меня, – наклонился к Стынскому лингвист, –

такое чувство, будто он вчертил мне новую извилину в мозг.

Стынский устало улыбнулся:

– Когда-нибудь историк, описывая эти вот наши годы, скажет: «Это было время, когда повсюду ползала, присасываясь к концевым буквам имен, слепая и склизкая „щина“. Впрочем, я бы так, вероятно, и начал биографию Штерера, если б…

# XII

На следующее же утро в подлестничный треугольник стукнуло тростью.

– Кто?

– Вставайте. Идем продавать купюры.

– Не понимаю.

– Тем не менее идем.

Через минуту двое покидали подъезд. Стынский, зацепив крюковатой ручкой трости локоть Штереру, смеясь, тащил его за собой, имитируя вожака медведей:

– Все машины делаются из денег, не так ли? Следовательно… следите за мною. Иметь ум, дорогой Штерер, этого недостаточно: надо еще иметь ум, умеющий умно с умом обращаться, приводной ремень к идеям. Ну, вот разрешите мне быть лоцманской лодчонкой, ведущей за собой корабль. Я уже созвонился с издателем. Он вчера слушал вас – этакая зачесанная лысина, помните? Теперь мода на мемуары. Кронпринцы – революционеры – метрессы – экс-премьеры – кооператоры и императоры – все подрабатывают на вспоминательстве. С завтрашнего дня вы принимаетесь за книгу. Я уж и заглавие придумал: «Воспоминания о будущем». Звучит тиражно. Сколько вам нужно на машину? Ого! Но если этак четыре-пять изданий и… то вам можно будет снова обряжаться в дорогу. Редколлегия у этой зализанной лысины

в руках; но мало пробраться под лысину, надо идти дальше – к кассе.

В тот же день прелиминарные переговоры были успешно закончены. В издательстве хотя и сквозь недоверие, но заинтересовались. Что ж, в крайнем случае если не по отделу истории, то по беллетристике, se non e vero [80]… И «Ундервуд» отстучал договор. Аванс? Можно и аванс.

На обратном пути Стынский, весело отмахиваясь шляпой на поклоны встречных знакомцев, наставлял спутника:

– Теперь, Штерерище, безотлынно за работу. От чернильницы к бумаге и обратно и больше никуда. Если вам там под ступеньками неудобно, строчите у меня. Ничего? Ну, как хотите.

И перо Штерера потянулось по синей строке, повторяя путь словами пишущего. Спиною в стену, над подпертыми коленями строчками, строитель времяреза вспоминал свое будущее: он не давал спрятаться ни одной секунде и собирал дни, как придорожные травы, в ушах у него вперемежку с пульсом стучал ход погибшей машины, а в межбровной складке была защемлена упорная мысль.

Стынский, спускаясь по лестничному зигзагу, беззвучил шаги над каморкой Штерера. Иногда – раз или два в неделю – он стучал, свесившись с перил, тростью в складень:

– Алло, говорит двадцать восьмой. Где вы?

– В сорок третьем, – глухо отзывалось из-за створ.

---

[80] Если и неправда… *(итал.)*.

– Ого! И не ослабела чернильная сила? Везет перо, хотя и скрипит? Ну, не ворчите, ухожу.

Иногда Стынский не ограничивался стуком в дверь и выманивал обитателя треугольника на прогулку, для ознакомления, как он говаривал, с «глубоким тылом грядущего, сиречь сегодняшним днем». Они подымались по крутому откосу Крутицкого переулка мимо древней, с каменными балясинами поверху, Успенской стены к легкому надвратному теремку, подымающему над грохотами Москвы свою из дальних веков сине-зелеными глазурями и поливами мерцающую чешую. Над извивами воротной бронзы – перегораживающая путь жесть: карантинный пункт. И двое поворачивали назад.

– И в самом деле, – улыбнулся однажды Стынский, когда они подходили уже к дому, – какая шурумбурумная ветошь этот сегодняшний день, эта вот верхняя кожица на бумажных налепях афишного столба, женщины, подкрашивающие губы, и мужчины, краснящие то, что с губ, – и все это точно из старой, со слипшимися листами, книги.

Иногда Стынский увлекал подступенного жителя на более дальние прогулки и экскурсии, знакомя его с «археологией новостей», как он выражался. Штерер, покорно сгибая плечи, появлялся вслед за своим чичероне на многолюдных литературных и научных собраниях, отслушивал речи митинга, смотрел под подымающийся занавес театра, и по глазам его, в которые не раз украдкой заглядывал Стынский,

никак нельзя было угадать, напоминает ли ему вся эта пляска секундной стрелки о пережитых годах будущего или нет. Присутствие Штерера не порождало осложнений, если не считать, впрочем, мелких случайностей, – вроде той, какая приключилась на лекции о предстоящей мировой войне: докладчик, плавно закругляя итоги, по несчастной случайности наткнулся зрачками на Штереровы зрачки, перепутал листки, потерял нить и не мог выкарабкаться из паузы. Было и еще два-три самоуладившихся эпизода, но, в общем, люди, ошивающиеся у буфетных стоек и барьера раздевалки, были слишком заняты глотанием пузырьков лимонада, пересчетом серебряной сдачи, локтем соседки и номерком, болтающимся на пальце, чтобы заметить высокого человека, спокойно проходившего за их спинами.

Правда, кой-кто в литературном мире не успел еще забыть рассказ о времярезе, врезавшийся в череду четверговых чтений у Стынского: слух о договоре на «Воспоминания» о том, чего еще не было, заставлял иных негодовать, других – осторожно нащупывать почву… почем, так сказать, будущее и нельзя ли как-нибудь и им? Кой-кто пытался расспрашивать Стынского как человека, стоящего ближе всего к совершающейся в подлестничной каморке работе, но Стынский, что ни день, становился все менее и менее разговорчивым, ответы его были желчны, кратки, энигматичны или их вовсе не было. Вообще, по наблюдению знакомых, характер хозяина четвергов стал меняться, и как будто не к лучшему. Са-

мые четверги нарушили свой регулярный ход и затем стали. Общительный созыватель пс. – ов, веселый организатор «известняка» стал отстраняться от встреч, пересудов и литературных кулис.

Однажды во время обычной прогулки к Крутицкому теремку – это было серебристо-серым сентябрьским вечером – Штерер сказал:

– Теперь я понял, почему то *буду*, в котором я *был*, виделось мне так мертво и будто сквозь пелену: я получил лишь разность меж «буду» и «не буду»; я хочу сказать: мертвец, привязанный с седлу, может совершить взъезд на крутизну, но… это, конечно, глупейшая случайность, и, если б не она, вы понимаете…

Дойдя до надвратных, в серый воздух вблескивающихся древних полив, двое остановились, глядя сквозь плетение бронзовых створ на скучный булыжник карантинного двора. Помедля минуту, Штерер добавил:

– Завтра я допишу последнюю страницу.

Обратно шли молча.

Через несколько дней рукопись, вспоминающая о будущем, прописанная по входящим, переселилась в портфель редакции. Автору было предложено «наведаться через недельку». Однако не истекло и двух суток, как телефонный звонок стал разыскивать и выкликать Штерера. Штерер явился на прием. Волосы, встопорщенные вкруг наклоненной над знакомой тетрадью лысиной, нервно взметнулись на-

встречу вошедшему:

– Ну, знаете, это что же такое?! Подумали ли вы о том, что написали?

– Мне бы хотелось, чтобы это сделали другие: мое дело факты.

– Факты, факты! Кто их видел, эти ваши факты? Где тот свидетель, спрашиваю я вас, который придет и подтвердит?

– Он уже идет. Или вы не слышите? Я говорю о самом будущем. Но если вы подозреваете…

Рука Штерера протянулась к тетради. Издатель притиснул ладонями листки к столу:

– Нет-с. Торопом только блох бьют. Не такое это дело, чтоб ах да рукою мах. Изрядувонный казус. Поймите: заплатить за эту вот удивительнейшую рукопись двумя бессонницами я могу, подставить под ее перечеркивающие строки все вот это, – говоривший пнул рукой кипы наваленных по обе стороны стола тетрадей и папок, – это уже труднее, и притом, пока там ваша улита, или как вы ее называете, едет…

Издатель пододвинулся ближе к Штереру:

– А может быть, вы бы согласились кой-что подправить, опустить, ну и?..

Штерер улыбнулся:

– Вы предлагаете мне перепутать флажки и сигнализировать: путь свободен.

Лысинный крут вспыхнул алой фарбой:

– Я прекрасно понимаю, что нельзя вмалевывать в зеркало

отражения, еще лучше знаю я, что, ударяя по отражению, я…

– Разобьете зеркало.

– Хуже: подставлю *отражаемому* вместо зеркала спину. Время надо брать с боя, заставляя его отступать… в будущее. Да-да. Видите, я усвоил ваш стиль. О, это-то я знаю. Но лучше всего мною изучен – сейчас речь не об отражениях, а о штемпельном оттиске – этакий узкий прямоугольничек с десятью буквами внутри: «Не печатать».

Разговор оборвался меж «да» и «нет». Рукопись осталась под тугими тесемками редакционной папки. Но тексты обладают способностью к диффузии; отдельные абзацы и страницы «Воспоминаний» как-то просочились сквозь картонную папку и, множась и варьируясь, начали медленное кружение из рук в руки, из умов в умы. Листки эти прятались по боковым карманам, забирались внутрь портфелей, протискиваясь меж служебных отчетов и протоколов; разгибали свое вчетверо сложенное тело, чтобы вдвинуться в круг абажуров; буквенный налет листков оседал в извивах мозга, вкрапливался отрывами слов в кулуарные беседы меж двух официальных докладов, искривлялся в анекдот и перифразу.

В одно из ветровых, бьющих осенними дождинами в лицо утр Стынский и лингвист-безмолвствователь столкнулись плечами у перекрестка. Сквозь гудящий воздух Стынский все же уловил свеваемые слова:

– Рождение легенды.

И, глядя в вжавшийся рот, бросил:

– Пусть. Изгнанное из глаз найдет путь к мозгу и через черепные швы. Пусть!

Лингвист, очевидно, хотел ответить, но рот ему забило свистящим ветром, и слова не состоялись. Пригибаясь под ударами воздуха, они разомкнули шаги и шли, придерживая поля своих шляп. Ветер слепил острой, как соль, пылью, бил в литавры кровель, кричал в органные трубы желобов, рвал струны телеграфных цитр, возводя до предельного dis [81] грозную партитуру хаоса; казалось, еще немного – и вслед за сорванными шляпами полетят сорванные головы, а еще сверх – и Земля, свеянная с орбиты, листом, потерявшим ветвь, заскользит от солнц к солнцам.

Синяя машина проделала дугу Крутицкого вала по первопутку. Рубчатый след ее шин, стлавшийся по снежному налету, остановился у подъезда как раз в то время, как Жужелев, разнося метлу движением косца, сбрасывал с тротуарных кирпичей первый сев зимы. Воздух был стеклисто-мертв. Флаги распрямляли складки, точно зачем-то развешанное красное белье. Шофер, поманив дворника, спросил: затем, повернувшись к окошечку автомобиля, почтительно козырнул: здесь. Дверь машины откачнулась, и Жужелев едва успел попятиться, пропуская спокойный упругий шаг посетителя, подымающегося по ступенькам подъезда. Лица его, отраженного сотни раз бумажными листами, пла-

---

[81] Ре-диез *(нем.)*.

стающимися по киоскам, нельзя было не узнать. Преодолевая оторопь, Жужелев метнулся распахнуть створы парадного. Но посетитель уже вшагнул внутрь. Взбежав по ступенькам, Жужелев увидел его слегка сутулящуюся спину у досок Штереровой клетки. Затем доски разомкнулись, и спина высокого посетителя исчезла внутри каморки. Жужелев вбежал на четвертый – оповестить Стынского; но из квартиры не отвечали. Жужелев поскреб трехпалою рукою макушку и, стараясь распутать из гордости и страха спутанные чувства, спустился в подъезд. Два голоса за подлестничным складнем разменивались глухими до неразличимости словами. Отойдя к выходным дверям, он стал в позе часового, стоящего у знамени. Всех сбегавших по лестнице или вталкивавшихся в дверь снаружи останавливал повелительный шепот: «Тшш… на носках, не молотить ногами, а то обошли б с черного», – и за этим следовало тихое, как шуршание, имя. И от звука его пятки жильцов сами вздергивались на носки, чтобы обойти с черного крыльца.

Разговор, зажатый глухими планками, длился, голос высокого посетителя умолк – говорил один Штерер. Глядя сквозь стеклянные призмы подъезда, Жужелев видел мелкую копоть сумерек, сгущающуюся вокруг неподвижной фигуры шофера, зажавшей огонек меж зубов. Затем позади, за досками, наступила длительная пауза. Жужелев вытянулся, ожидая выхода. Но молчание длиннилось утоняющейся нитью. Голос посетителя, хриповатый и сниженный еще раз,

рванулся на вопрошающуюся ноту. Ответа не последовало. Внезапно складень распахнулся, и посетитель вышагнул наружу. Жужелев проворно дернул за ручку подъездной двери, и высокий гость проследовал к автомобилю, даже не взглянув: лицо его было неразличимо сквозь сумрак, но плечи казались чуть сутулее, а шаг отяжелел и замедлился. В автомобиле вспыхнул свет, и мотор, мягко зарокотав, рванул машину. Жужелев вытер с лица пот и подошел, стараясь неслышно ступать, к снова сомкнувшимся створкам и молчанию. Постояв с минуту в нерешительности, он ощутил, что после того, сверху, ему, простому человеку, не след.

К полуночи стал падать снег. Мягкая бесшумь снежин стлала белые стлани поверх чуть припудренных булыжин. Ровные просыпи снегопада торопились, пока улицы безлюдны и сны не обернулись жизнями, приготовить зимний фарфорово-хрупкий пейзаж. И единственную послеполуночную колею, западающую в сугробы, заботливо затянуло льстиво-мягкой, мягкой снежью.

Стынский, вернувшийся очень поздно, проснувшись перед полуднем, с удовольствием увидел усевшийся на оконных рамах, как на насестах, снег. Набросив одежду, он подошел к стеклу: крыши опадали снежными горами, деревья оделись в белую цветень, и даже фантастические контуры облаков, остановившихся над городом, казались вылепленными из снега. «Хорошо б послушать снежного скрипа», – подумал Стынский и, не дожидаясь следующей мысли, на-

дел пальто и стал спускаться привычными поворотами ступенек вниз. Над створчатым треугольником он, как обычно же, приостановил шаги крикнул:

– Алло, Штерер.

Никто не откликнулся.

Стынский, спустившись еще на три-четыре ступеньки, перегнулся через перила и повысил голос:

– Алло, Штерер, не притворяйся деревом. Идем.

Ответа не последовало.

Стынский, сбежав с лестницы, стал у створ клетки и постучал: стук был тупым и обрывистым. И ни звука в ответ. Тогда он распахнул створы: вся подлестничная каморка от низу доверху была забита поленьями дров; их плоские распилы, тесно вжатые друг в друга, тугим влажным кляпом торчали из распяленного горла дверей.

Стынский отшатнулся с ширящимися зрачками: темные пятна скользили сквозь поле зрения; казалось, это падает плоскими хлопьями черный снег.

Исчезновение Максимилиана Штерера не было одиночным. Шепоты превратились в шелесты. Самое молчание боялось слишком громко молчать. Впрочем, ни Стынский, ни двадцатишестиязыкий молчальник лингвист, ни издатель, заблаговременно выселивший рукопись «Воспоминания о будущем» из архивов Центроиздата, не удивлялись: именно это – на ближайшие сроки – и предсказывала рукопись.

Иногда комната в Крутицком переулке собирала их всех

троих над уцелевшими листками Штерера. Стынский, которому удалось, следуя вскользь брошенным фразам создателя времяреза, отыскать местонахождение некоторых его старых тетрадок и записей достартного периода, не решался доверить их глазам специалистов. Перекладывая и приводя в порядок поблекшие листы, они радовались отыскивающимся среди иероглифически непонятных знаков, сцепляемых в сугубые непостижимости формул, ясные – точно прогалины в лесу – слова.

Так было и в этот вечер. Трое среди ледяных декабрьских звезд, пластающихся на стеклах, за закрытой дверью с опущенным на замочную скважину железным веком молча наклонялись каждый над своей бумажной стопкой. Было уже за полночь. Вдруг лингвист приподнял голову:

– Тут вот прислонившаяся к формуле фраза: «Здесь через время переходить опасно». И все-таки он перешел и…

– Да, – пробормотал издатель, поправляя роговые заушники очков, – а вы читали сегодняшний вечерний листок? Точка в точку, штрих в штрих.

Стынский, недослушивая, оборвал:

– На своей биографии Максимилиана Штерера я поставлю эпиграфом… – И, глядя в сторону, отскандировал: «Уведи меня в стан понимающих».

– «Погибающих», – поправил лингвист.

– Одно и то же.

И трое продолжали работу.

# Мишени наступают

Их было много, этих плоских солдат, намалеванных яркими красками поверх кое-как сколоченных досок. Они были расставлены цепью у края стрельбища. Во избежание дипломатических осложнений маляры одели их в мундиры своей же страны, сунули им в охряные руки плоские коричневые винтовки системы своей же страны. Возле людей-мишеней были вырыты длинные могильные рвы, в которых прятались во время учебной стрельбы еще живые и не плоские солдаты-махальные. Их задачей было: отмечать попадания, прикладывать яркий флажок на длинном шесте к деревянной раме деревянного солдата всякий раз, как пуля проскакивала через его тело.

Ран этих – с годами – накапливалось все больше и больше. Офицеры, сидя на ранцах у стрелковой цепи, отмечали их в журнале огня крестиками. Когда неплоские, кончив ученье с плоскими, уходили, вскинув винтовки на плечо, людям-мишеням затыкали их раны паклей и деревянными колышками. Но снова наступал день стрельбы, и снова пули щелкали по телам намалеванных людей. Намалеванные стояли, вытянувшись во весь рост и держа винтовки наперевес.

Это случилось пасмурным осенним днем. С неба дождило тяжелыми свинцовыми каплями. В этот день была назначена

стрельба.

Дежурному по стрельбе было приказано еще с рассветом расставить оцепление и проверить мишени. Плоских людей оцепили. Дежурный – это был старый строевой офицер – в сопровождении субалтерна и нескольких солдат начал обход молчаливой шеренеги мишеней. От его взгляда не ускользало никакой мелочи. Одна из мишеней наклонилась, вопреки уставу, несколько вперед. Офицер приказал подправить. У другой из круглой ранки вывалился деревянный тычок. Офицер сделал знак глазами одному из солдат. Но тут случилось нечто странное. Не успел солдат шагнуть к такому же, как он, только плоскому изрешеченному пулями солдату, как тот вдруг с винтовкой наперевес сделал шаг навстречу.

– Ну, ты, не видишь – ветер… – прикрикнул офицер на замешкавшегося солдата, но тотчас же сам отбежал назад.

Вся длинная шеренга людей-мишеней, держа винтовки наперевес, молча двинулась вслед. Не было слышно команды, не было слышно и шага, но мишени шли. Оцепление уже через минуту было разорвано и разбросано в стороны, как брызги кружащегося колеса. Некоторые из беглецов наткнулись на подходившие к стрельбищу войска. Узнав, что мишеней на месте нет, командир недоуменно пожал плечами и скомандовал «кругом». Тем временем подошел запыхавшийся дежурный по стрельбе, который шепотом, задыхаясь, что-то сказал командиру. Тот заколебался, потом приставил к глазам бинокль, который через десяток секунд выскольз-

нул из его рук. Привстав на стременах, командующий приказал надбавить шагу, а сам, вместе с адъютантом, поскакал рысью по направлению к городу.

Это была первая победа, одержанная мишенями.

Они шли мерным деревянным шагом, прижав винтовки к груди, иссеченной сотнями пуль. Несколько автомобилей, ехавших из города по шоссе, наткнувшись на наступающую цепь, круто, под углом в сто восемьдесят градусов, повернули назад. Один из них увяз передними колесами в канаве: пассажиры, выскочив на шоссе, пустились бегом к городу.

Начиналась паника. Люди наспех собирали свой скарб, готовились к бегству. Неустанно звонили телефонные звонки. В полчаса автомобильные гаражи опустели. Магазины загородились железными решетками. Места в поездах брались с бою. Губернатор города с балкона здания магистрата пытался успокоить многоголовую толпу, говоря, что бежать от мишеней столь же нелепо, как «от этих вывесок, развешенных над нашими головами», – закончил он, ораторским жестом указывая на груды домов и паутины улиц. Но возбуждение, с каждым ударом секундного маятника, с каждым шагом наступающих, росло и росло. Губернатора на балконе сменил начальник полиции: он обещал толпе, что не пройдет и пяти-шести часов, как все увидят войска противника, сложенные повзводно штабелями – вот на этой самой площади, как на складе.

Но не успел он закруглить свою мысль, как в подвале ма-

гистрата, точно из-под земли, с шумом распахнулось окно и чей-то резкий и высокий голос крикнул: «Да здравствуют мишени, смерть убийцам». Так же мгновенно створы окна захлопнулись. Несколько сыщиков нырнуло по ступенькам лестницы вслед за скрывшимся под землею криком. По толпе зыбью проскользил смутный говор. И тотчас же смолк.

В штабе положение расценивалось гораздо серьезнее. Военный совет, экстренно созванный, знал, что каждая минута на весу. У карты, развернутой на столе, сидело трое: генерал с длинными и тонкими, как крысиные хвосты, бровями; генерал с безбровым лицом; генерал с подоткнутой стеклышком монокля правой бровью. Против стола навытяжку знакомый уже нам полковник. Он отрапортовал о происшедшем и ждал.

Генерал с хвостатыми бровями, председательствовавший на совете, постучал карандашом о доску стола и выдвинул предложение: поступить с потоком наступающих мишеней по методу сплавщиков леса, которые перегораживают путь несущимся по реке бревнам запрудой. Отвести войска внутрь города, поставить у застав баррикады, и люди-мишени, наткнувшись на баррикадную стенку, собьются в кучу, попадают наземь, после чего их можно будет вылавливать поодиночке, голыми руками.

Оба других генерала согласно качнули головами – и председательствующий уже протянул руку к телефону, чтобы

бросить в трубку приказ, но телефон предупредил его длинным звонком.

Пока старший генерал слушал, лицо его резко менялось: сперва крысиные хвосты бровей резко выгнулись кверху, потом вильнули кончиками, затем срослись у переносья, образовав подобие фигурной скобки.

– Что? На заводе центрального треста? Полиция не может справиться? Хорошо, прикажу выслать.

И, кончив свой ответ трубке, генерал повернулся к членам совета:

– Новости не из самых лучших. Пока мы здесь совещаемся, рабочие тоже собрали митинг, какой-то там их вождь, или как там называют этих оборванцев, призвал бросить станки и взяться за оружие. Наш план, хотя я и сам его выдвинул, должен быть отодвинут. Баррикада, господа, может работать на обе стороны. Строить ее для себя имеет смысл, но *для других* абсолютно нерационально. Кто имеет предложения?

Наступила длительная пауза. Воспользуемся ею, чтобы перенестись на минуту на обведенный каменным забором двор сталелитейной фабрики. Двор был до отказу забит рабочими. Все головы были повернуты в сторону человека, стоявшего на двух нагроможденных друг на друга ящиках. Человек говорил, рассекая воздух ладонью правой руки:

– Я слышал выкрики: «Они деревянные, они плоские». Да, плоские и деревянные. Но разве мы, рабочие, для капи-

талиста не существа с плоскими желудками и плоскими легкими, не имеющие права трехмерно дышать и есть? Разве мы для них, для богатых, не простые мишени, а наши тела, тела рабочих, разве для них, для мешков, набитых золотом, не из того же дерева, из которого делают дешевые гробы? Пусть мишени плоски, но они нам братья, каждый из них принял на себя сотни и сотни пуль, и кто знает – может быть, теперь очередь за нами. Я предлагаю помочь товарищам мишеням…

Первым ответил на вопрос генерала безбровый:

– Я бы вышел в поле противнику во фланг и открыл бы сосредоточенный продольный огонь…

– Разрешите дол… – вытянулся еще более полковник.

– Вам что? – открысились на него красноватые глазки председателя.

– Разрешите почтительнейше доложить, что мишени по самому, так сказать, телосложению своему рассчитаны на обстрел с фронта, пули же, летящие сбоку, в ребро, даже с близкой дистанции дадут ничтожнейший процент попадания, почти нулевое поражение.

– Тогда, э, я бы применил газы…

– Виноват, господин генерал, но осмелюсь напомнить, что газы действительны лишь против существ, имеющих возможность вдохнуть их, но поскольку наличие легких в данном случае сомнительно, то…

– Разрешите мне, – вмешался третий, выбросив из-под дужки брови сверкнувшее стеклышко, – полковник, по-моему, прав. Кстати, зачем вы стоите? Присядьте. Так. Мой проект прост: надо бросить в лоб наступающим мишеням конницу – и она их изрубит саблями на дрова.

– К сожалению, – полковник придвинулся со стулом ближе к членам совета, – действие, производимое внешним видом солдат противника, как я уже рапортовал, на наших людей, делает ваш блистательный план, господин генерал, несколько рискованным. Ведь если даже допустить, что наши доблестные кавалеристы и не дрогнут, то лошади, животные, как известно, легко пугающиеся непривычных им объектов, в то время как всадники ринутся на врага, лошади могут вдруг взять да и…

– Ну да, – почти взвизгнул председатель, стукнув ногтями левой руки по столу, – хорошо. Вернее: плохо. Ну, а вы, полковник, нет ли у вас какой-нибудь идеи? Дьявол, уймите этот телефон!

– Так, некий контур плана, может быть, не вполне точный…

– Ну?

– Предлагаю следующую диверсию. Малая часть войска с музыкой и раскрытыми знаменами выходит навстречу противнику, к городской черте. Главные же силы на автокарах делают глубокий обход и ударяют в тыл войску мишеней.

– Да, ну, а если вместо того, чтобы ударить, они ударятся

в бегство? Ведь вы же сами говорили об устрашающем действии людей-мишеней. Не уясняю, в чем нерв вашей операции. Не годится. Отставить.

– Минуту терпения – и я обнажу нерв. Мишень, движущаяся на стрелке, деморализует его. Но что такое та же мишень с тыльной стороны? Так, несколько голых, кое-как сколоченных досок, лишенных всякого человеческого обличил. Страшен человеку лишь человек. На все остальное, живое и мертвое, нам свистать в оба кулака.

– Гм, пожалуй, ну, дальше, дальше.

– Дальше – просто, – заканчивал автор проекта, забросив ногу на ногу и раскачивая лакированным носом сапога в такт словам, – открываем огонь с тылу по пустым доскам – противник поворачивается лицом к дождю пуль; отходим, не принимая боя и самого вида враждебных цепей, в то время как заслон наш у заставы, в свою очередь, очутившись перед пустыми досками, сыплет в них градом пуль. И так до полного истребления. Бить в спину, только в спину и отступать перед лицом.

– Ага, понятно. Как вы находите, господа? – И председатель царапнул ногтем по сукну стола.

– Принять.

И машина боя, разбуженная коротким рывком рычага, задвигала своими ротами, батальонами, копытами коней, колесами легких автокаров и стальным гусеничным ползом тяжелых танков.

Лейтенант Энде еще накануне случайно расшиб колено. Проснувшись поутру и увидев ползущие по окну капли дождя, он не без удовольствия ощутил легкую боль в ноге. Встал, набросил халат и подошел, чуть прихрамывая, к телефону. Сонный голос батальонного врача (лейтенант служил в отдельном егерском) обещал заехать, освидетельствовать и оформить. Энде, чтобы не покидать второй раз теплой постели, присел к столу и начал писать рапорт о болезни. В это время в дверь постучали: на пороге стоял вестовой, торопливо доложивший, что батальону приказано стать под ружье и всем быть на местах.

Энде, оставив рапорт недописанным, оделся с помощью денщика; когда тот натягивал на больную ногу сапог, лейтенант поморщился и выругался сквозь зубы: чего им захотелось – стрелять по воробьям или сражаться с облаками?

Лейтенант еще не успел дойти до казарм, как уже увидел голову батальона, частым шагом во взводных колоннах движущегося на него. Примкнув к своей роте, он зашагал вместе с другими, спрашивая на ходу, в чем дело? И кто противник? Лица у солдат были веселые: им, очевидно, нравилось, что ведущий знает обо всем этом меньше их, ведомых.

– Не знаю. Говорят, против плоских каких-то.

– Нет, – послышался негромкий голос из рядов, – это расстрелянные взбунтовались, господин лейтенант.

Энде подумал было: «Может быть, я дописал рапорт, лег

– и это мне снится». Но боль в ноге, с каждым шагом усиливающаяся, возрастала. Нет – вот знакомый поворот на шоссе, вот под ногами зазвенел железом мост, переброшенный через железнодорожную выемку, вот потянулись низкие дома предместья, дальше огороды, а впереди виднеется и поле. Разговоры примолкли, слышался только мерный шаг сотен ног. Энде с трудом удерживался в строю, на правом фланге второй полуроты. Каждый шаг точно железной иглой впивался в больное колено.

Шоссе было пусто. Вдруг, на закраине его, показался оркестр. Зачем?

Ветер, дующий в спину, гнал и людей и тучи вперед. В голубых просветах заблистало солнце; заблестели и трубы оркестра, который вдруг показался лейтенанту сбившимся в кучу стадом зверей, над суконной шерстью которых торчали медные пасти, клыки и вытянутые раструбчатые морды. Вдруг стадо заревело, раскачивая воздух в такт и толкая колонну туда же, куда гнал все крепчавший, до свиста в ушах, ветер. Боль в ноге исчезла. Почти переходя в бег, колонна достигла вершин небольшого всхолмья, откуда было видно на несколько километров вперед. Навстречу, по разрыхленному полю, скакали два всадника на вспененных конях. «От кого они бегут?» – подумал Энде и поднял глаза к тому направлению, откуда двигался конный патруль. Прямо на колонну шла длинная – от края до края поля – шеренга странных плоских человечьих пестрых существ. Хотя солнце про-

рвалось сквозь синие окна меж облаков, но впереди колонны ползли клочья тумана – и шеренга наступающих мишеней была недостаточно ясно видна. Но можно было различить молча идущие пестрые (как это ни странно) тени людей, которые, прижав к грудям тени винтовок, молча, без единой тени звука, шли и шли вперед.

Энде слышал голос батальонного, старающийся не быть унесенным ветром, несущимся в сторону мишеней-людей:

– Солдаты, сколько раз мы учились колке соломенных чучел, неужели теперь…

Ветер оторвал конец фразы. Лейтенант увидел, что в первой полуроте примыкают штыки. Он автоматически повторил не услышанную им команду. Наступающие мишени были в трехстах шагах. Передняя цепь, наклонив штыки, вслед за серыми струями тумана, побежала вперед. Энде поднял руку (голоса в горле не было) – и резервная цепь двинулась вперед. И именно в это мгновение, меж началом и концом безмолвной команды, вокруг головы Энде засвистали так знакомые его уху пули.

– Мишени стреляют.

– Эти плоские тоже умеют.

– Носилки.

– Убитых не убьешь, а они…

Что-то острое и тугое, как растянутая до предела резина, ударило под хрящ левого плеча Энде. Он терял сознание не сразу, а по дробям: сначала он видел бегущих вокруг него

людей – потом рваные тучи запрокинулись над его глазами – потом одинокую плоскую фигуру человека-мишени, который шел прямо на него: все тело мишени было из тысячи глаз, раскрытых тысячью пуль. Она шла, эта грубо раскрашенная мишень, качаясь на деревянных ногах и тупо глядя вперед круглыми, как пули, глазами: дальше – но дальше сознание лейтенанта Энде защелкнулось, как объектив фотоаппарата.

Войска бежали. В плане была, как и предупреждал автор плана, неточность. Две части армии, заслон и бьющие в тыл мишеням главные силы, были разлучены стратегической тайной. Одна часть армии стреляла по другой, – и узнать об этом было нельзя, поскольку их разделяла линия движущихся мишеней. Лейтенант Энде не мог бежать, с ним было кончено, но все окружающие его многоножие бежало, роняя винтовки и знамена. Еще раньше оставили город, штаб и магистрат. Все препятствия, все барьеры, стоящие перед наступательным маршем расстрелянных мишеней, пали.

Но все же того, чего ждали все, не произошло. Когда большее становится наименьшим, тогда малое претендует на роль наибольшего. У края огородов, куда уже подходила первая цепь (за ней шли неисчисленные другие цепи) наступающих, был брошен тлеющий костер собранного огородниками мусора. Под ударами ветра костер, как раз в ту минуту, когда подходила цепь мишеней, вспыхнул и зажег одну из них. Человек-мишень скорчился своим плоским телом и за-

сычал, поднимая к небу огненные языки. Новый удар ветра – и огонь, перебрасываясь с мишени на мишень, охватил все войско наступающих. Миллионноязыкий пожар наполнил дымом и огнем все пригородные поля. И когда огонь упал к земле и дымы ушли в небо, на поле битвы остались лишь кучи серого стынущего пепла.

Прошло около года. Новые события оттеснили старые. Палец, поставленный меж солнцем и глазом, является достаточным заслоном от солнца. В центральном ресторане города, где происходили описанные выше события, совершенно случайно – прогулка наткнулась на прогулку – встретились знакомые уже нам генерал с крысиными бровями и полковник, в одной из петлиц которого поблескивала синяя орденская ленточка. Помимо официанта почетным гостям служил сам *главный* ресторации.

Полковник скользнул глазом по карточке вин, генерал внимательно изучал список закуски. Требуемое было подано. Лакей, вильнув черным хвостом фрака, исчез. Шеф продолжал почтительно стоять на расстоянии двух шагов от стола. Тронули вилками овощной салат; присосались губами к спарже. Генерал поднял красноватые глаза к носу и сказал одобряющим голосом:

– У вас в этом году очень хорошие овощи. Чем вы это объясняете, любезный?

Шеф наклонился:

– Тем, ваше превосходительство, что овощи мы получаем с огородов у западной заставы, там, где в прошлом году произошел бой между нашими доблестными войсками, ведомыми десницей вашего превосходительства, и этими мишенями, или как их звать… Пепел же, древесный пепел, с примесью отходов от расплавленной огнем краски, является лучшим удобрением для корнеплодов.

– Ах так… – протянул генерал и движением кончиков бровей дал понять шефу, что тот может идти.

В течение минуты или двух был слышен хруст капустных листов и сосущее движение губ, справляющихся со спаржей. Затем генерал вытер салфеткой узкий рот и сказал:

– А все-таки мне часто приходит на ум, почему мы тогда, дорогой полковник, не ввели в дело артиллерию и не уничтожили их с воздуха?

– Потому, – отвечал полковник, притронувшись губами к своему бокалу, – что мишени, с которыми нам тогда пришлось иметь дело, были обыкновенными стрелковыми, для полевого боя, мишенями. Мы привыкли разговаривать с ними пулями, привычка эта вросла в нас, как корень в землю, – и быстрый бег событий (ведь вы же помните) не дал нам времени психологически перестроиться…

– Гм, вы, полковник, как почти всегда, подчеркиваю, – *почти* правы.

Бокалы собеседников с тихим хрустальным звоном – встретились.

# Серый фетр

## I

На разгороженных полках – как урны в колумбарии – круглые белые цилиндры. Приказчик, придвинув лестничку, взбежал наверх – и одна из урн с картонным стуком опустилась на прилавок. Приказчик сдул пыль с крышки и отбросил ее на сторону.

– Вот!

В пальцах его вращался, охорашиваясь, серый, цвета сумерек, фетр: тулья его была охвачена темной лентой: из-под края ее белел номерок. Поймав зрачками одобрительный кивок покупательницы, приказчик выдернул из кармана талонную книжку и отогнул ей листы.

# II

Это нельзя было назвать мыслью. Оно было похоже на мысль не более, чем сумерки на ночь. Но всякий раз, когда на извивах мозга появлялось это серое, еще не оконтуренное пятно, все мысли настороженно щетинились, как псы, учуявшие шакала. И поэтому серый вползень выбирал время, когда огни сознания в нейронах потушены и ветви дендритов отенены снами. Предмысль осторожно ступала по окрашенным предместным извилинам мозга, не находя нигде себе приюта.

Так было и в эту ночь. Серый вползень, пользуясь тем, что веки мозговладельца наглухо закрыты, прокрался в мозг, замешавшись в толпу идущих из далей в дали переселенцев – снов. Но внезапно мозг ударило голосом, сны бросились врассыпную, и веки распахнулись. Человек, приподнявшись на локте, увидел: женино лицо – поперек лица улыбка – под улыбкой на подогнутых ладонях серый фетр.

– Этак можно проспать свои именины!

Муж провел рукой по срезу полей шляпы.

– Сколько раз я просил! Людям, сделавшим себе имя, все дни именины. Ну, а именины безымянных – это как перчатки для безрукого. Не надо…

– Ты все-таки примерь.

– Наверное, тесная. Ну вот, так и есть. У меня голова, а

не колодка для растягивания шляп. Отставить!

В это утро чайная ложечка громче обычного тыкалась о стекло. Складень газеты остался неразогнутым. Под глазами, наклоненными к желтому чаю, желтились сердитые мешки, казалось, глаз прячет в них излишки солнца, недовиденные образы, как обезьяна непрожеванную пищу за щеку. Именинник отодвинул стакан и быстро прошел в переднюю. Пальцы его скользнули по вешалочным крючьям, не находя нужного.

– Кой черт! Где моя старая шляпа? Глаша!

Сквозь комнаты сначала топот ног, затем голос:

– Приказано было выбросить.

Именинник, досадливо хмурясь, протянул руку к полке и снял новую шляпу. Он даже вшагнул в комнату, чтобы внимательнее осмотреть подарок: серый обег полей, аккуратно вдавленный суконный пробор и даже шелковый снурок дважды вокруг тульи. Но было что-то в самом прикосновении ворса, в цвете и контуре фетра, заставившее подглазные мешки шевельнуться и выпятить обвись, как если бы в них вложили новый – меж глазом и мозгом перехваченный – образ.

Держа шляпу в руках, человек открыл выходную дверь, и ступеньки закружили его шаги вкруг пролета.

И в это-то время серое пятно, давно уже блуждающее по закраинам мозга, внезапно оконтурилось и превратилось в мысль. Точно черной молнией по мозгу. Фетр выпал из рас-

цепленных пальцев, человек нагнулся, поднял, даже механически отер обшлагом шляпу, но весь он был во власти внезапно охватившей его мысли.

Он шел среди раздроби шагов, меж торопящихся оттопыренных портфелями локтей и думал: зачем жить?

Шаги вели его мимо вращающихся на афишных осях букв, мимо серых шин, расталкивающих толпу, сквозь воздух, полный пыли, криков, вони и перекланивающихся шляп, мимо своего отражения, падающего в стекло витрин, на расцифренную жесть, резину, картон и манекены, и повторял: зачем?

Это было нестерпимо. Все в нем возмущалось, все мысли поднялись против вторгшегося *«зачем»*. Мысль ширилась, как брызг серной кислоты, расползающейся по ткани. Он чувствовал, что власть над собой переходит от него к ней. Кто-то из прохожих, наткнувшись глазами на его лицо, остановился и опасливо поглядел вслед. Лоб его облип потом. Стараясь побороть психический спазм, человек, защищая себя от взглядов, быстро надел фетр и низко надвинул поля. В то же мгновение мысль, как нить, выскользнувшая из иглы, выпала из его сознания. Все оборвалось так же внезапно, как и возникло.

# III

Человек, растерянно оглядывавший – в поисках причины – пространство вокруг себя и время позади и впереди *«сейчас»*, не догадался лишь сделать одно: заглянуть себе под шляпу.

Любая мозговая извилина, как и линия любого переулка, имеет свою хронику происшествий. Мысли бродят по серой панели мозга то в строю силлогизма, то враздробь, одинокими прохожими; одни из них гнутся под грузом смысла, другие – головами кверху, как пустые колосья. Мысли в голове человека, висящего на телефонном проводе, тоже висят весь день на ассоциативных нитях, переассоциируясь друг с другом. Иные мысли живут одиноко, домоседами своих нейронов. Другие шмыгают по извилинам мозга, предлагая себя к домышлению. К ночи мозгогород, прикрытый черепной макушкой, засыпает. Перекидные лестнички дендритов отдергиваются друг от друга. Мысли засыпают – и только ночные сторожа, сны, бродят по опустелым извилинам мозга.

С рассветом светает и в сознании. Мысли выходят из своих нейроспален, прилаживая субъект к предикату. Умозаключение делает утреннюю зарядку: малая посылка чехардно прыгает через большую, большая – через вывод. Проснувшееся миросозерцание созерцает изо всех сил.

Нетрудно себе представить, что произошло, когда в од-

ну из таких солнечных минут, в полном ярком мыслесвете, возник среди подчерепного мирка мыслей сумеркосветный Зачемжить. Зачемжить шел, конфузливо волоча за собой свою тень и стараясь разминуться с неприятными ассоциациями. Но ассоциации тотчас же заметили его и, хмуря свои смыслы, внимательно всматривались вслед Зачемжитьевой походке. Кто-то сказал короткое: «Бей!» – другой кто-то: «Зачем жить Зачемжитю?» Мысли, смыкаясь в толпу, шли позади Зачемжитя, пододвигаясь все ближе и ближе к его шагу. Он попробовал было юркнуть в одну из мозговых извилин, но навстречу ему выставилось несколько сцепившихся руками враждебных ассоциаций. Зачемжить ускорил шаг. Но расстояние между ним и преследующими укорачивалось. Шаг перешел в бег. Мыслетолпа надвигалась, грозя нахлынуть и размыслить в ничто. Зачемжить, напрягая последние силы, свернул в пустынный мозговой извив и добежал до черепной стенки. Преследование не утихало, он слышал близящийся колючий шаг догоняющих мыслей. Надо было решаться. Впереди, поперек височной стены, зигзагился черепной шов. Зачемжить протиснулся в шов и выпрыгнул наружу. Прямо перед ним, прижавшись желтой кожей к коже виска, топырилась фетровая внутритульевая закладка. Беглец, еле переводя дух, впрыгнул меж сукна и кожи и застыл, вслушиваясь в зачерепной шум.

Преследование как будто утихло, оборвавшись там, где-то позади, за стеной лба. Мысль сидела, стараясь не шелох-

нуться в своем убежище. Так произошел единственный в истории мыслестранствий случай: крайняя необходимость заставила идею переселиться из мозга в его окрестности, из головы – в шляпу.

# IV

Жена типично изменяла с типичным любовником. У любовника были воротнички 42 и тридцативосьмисантиметровые бицепсы. В юности его мышление было рассеяно более или менее равномерно по всей нервной системе, но затем оно стянулось к четвертому и пятому поясничным позвонкам, заведующим, как известно, сексуальными рефлексами. Любовник полагал, что женщины различаются лишь цветом юбок, в сумерках, кстати, неразличимым. С сумерками он вообще был в дружбе. И когда после энных объятий где-то в прихожей зашуршал английский ключ, любовник нырнул в самый темный угол, ища помощи у сумерек. Совсем недалеко – мимо приоткрытой двери – прошагали знакомые прижимистые шаги. Справа хлопнула створа двери. Любовник, приведя себя в порядок, вышел на цыпочках в прихожую и, разменявшись беззвучным поцелуем, сдернул с вешалочного крюка шляпу. Второпях он не заметил, что шляпа была шляпой мужа. Серый фетр покорно вшершавился меж указательного и большого пальца левой его руки.

# V

Любовник шел по уснувшим улицам города, обмахиваясь шляпой. Небо сигнализировало зелеными звездами: путь в жизнь свободен.

Грудь легко вбирала черный воздух. Думалось: как хорошо, что у жизни никакого смысла, как хорошо вот поужинал с женщиной, а там, дома, на столе ждут ветчина и бутылка белого вина, как хорошо, что там где-то кто-то думает за тех вот, тут вот, которым можно не думать. Человек взглянул вперед: навстречу ему близилось взгорбие моста. Огни послеполуночного города хотели утонуть в реке – и не могли; она и ветер колыхали их на черных рябях. Он дошел до середины излучины и нагнулся над мостовым барьером. Сверху ударило легкой россыпью дождевых капель. Надо надеть шляпу. Ну вот, готово.

Зачемжить, почувствовав притиск горячей человечьей кости к коже его временного жилища, зашевелился. Черт побери, он не создан для внечерепных мытарств. Вспомнилось мозговое тепло, мякоть серой коры, уютная глубь мыслевых извилин. Зачемжить, выкарабкавшись из кожаной пазухи, подобрался к теменному шву и осторожно впрыгнул в мозг незнакомца.

Бывают мозги вечно бодрствующие – под нетухнущими лампионами смыслов, – умоцентры, извилины которых пе-

ресекаются, как перекрестки нью-йоркских авеню. Бывают умы тихие, но трудолюбивые, как рыбацкая деревня. Они любят сонные паузы (Декарт спал одиннадцать часов в сутки), но, проснувшись, они забрасывают свои многоузлые мрежи в истину и терпеливо ждут улова. Бывают умы, которые были умами, но обветшали, растратили населявшие их мысли, легли под леты секундных песков, превратились в музейные мозги, редко посещаемые мыслями-туристами. Таким именно был мозг человека, надевшего шляпу с чужим Зачемжитем, запрятанным под кожаную закладку. Мысль, соскучившаяся по мозгу, впрыгнула внутрь чужой головы и стала быстро, с рвением подлинного туриста, обегать все его – самые потаенные – закоулки. Следы Зачемжитя прикоснулись ко всем нейронам, ко всем нервным нитям и перетяжкам. Человек, охватив руками мостовые перила, стоял – лицом в полузатонувшие огни. Меж шляпой и лбом капелился холодный пот. «Зачем жить?» – дернулось с губы, человек нагнулся ниже, потом еще ниже, и всплеск разомкнувшихся огней ответил кратко и холодно на двусловие.

# VI

Дедушку Ходовица любили все в округе. Он служил сторожем и водным сигнальщиком в шести километрах. Считая по течению реки. Сегодня, как и вчера, и позавчера, он встал с первой прожелтиной зари и, закинув удочки за сутулое плечо, спустился по песчаному скосу к берегу реки. Сигнальные знаки – белые и красные свеси на гэобразной мачте – были в порядке. Наживив червяков, Ходовиц забросил крюки в утреннюю еще спящую воду. Какая-то мелкая рыбешка пошутила со своей смертью, слегка потормошив поплавок, и уплыла вглубь. Через двадцать три минуты надо было быть пароходу из города. Ходовиц нагнулся к удилищам, чтобы проверить червячков. Первое – в порядке. Второе – тоже. Третье – что за черт! – увязло в руке, вытягивая струной свою лесу. Старик потянул крепче: прямо на него плыло что-то серое и круглое с высоким вздоньем. Через десяток секунд Ходовиц, удивленно покачивая головой, рассматривал серую измокшую шляпу, снятую с крючка. Чудеса.

# VII

Сторож Ходовиц по воскресеньям имел обыкновение заходить за двумя-тремя глотками пива в близлежащую кнайпу. Два-три глотка – это надо понимать, конечно, условно. Над пивной пеной всплывала лопающаяся пустотами пена воспоминаний, дружественные чоки звенели стеклом в стекло, дым из трубок пробовал живьем вознестись на небо. А щеки кельнера – подкумачиться под цвет кумачового передника.

На этот раз старина Ходовиц был встречен особенно торжественно. Десяток кружек почтительно поднялся навстречу вошедшему. Триумф был подготовлен самим триумфатором: тщательно высушенный и выутюженный серый фетр, подаренный ему рекой, городской фетр, который он, не без чувства робости, нес всю дорогу в руках, завернув его в фуляр, сейчас красовался, сверкая графитной лентой, изящно выгнутой тульей и серым шелковым снурком над сединами старика.

В этот день пиво особенно легко булькало сквозь воронки горл. Фетр наполз на виски старику и внимательно слушал тосты и перезвяк кружек. Старик пил, отвечал на шутки и поздравления и с каждым глотком становился мрачнее и непонятнее себе самому.

Дело в том, что Зачемжить, промокший и продрогший в

шляпе, в которую он успел выпрыгнуть из мозга утопленника, как выпрыгивают из тонущего судна в спасательную шлюпку, искал тепла человечьей крови и внутричерепного крова. Проникнув – при первом же притиске головы к шляпе – в рыхлый склеротический мозг старика, он тотчас же начал распоряжаться в нем по-своему.

Полужилой, напоминающий селение, через которое прошла чума, мозг старика был не густо населен мыслями-инвалидами и мыслями-пенсионерами. Они получали свою скудную плату одобрения, дружеские похлопывания по плечу, «верно, старина», «расскажи-ка еще раз», но передвигались они на логических костылях, с прихромью и ковыляньем. При виде вторгшегося Зачемжитя нейронные инвалиды запрятались по своим норам, и мозг поступил в полную власть Зачемжитя.

Старик хмуро отодвинул стакан и, несмотря на уговоры, оставил веселую компанию. Он шел домой сквозь ночь и теплые удары ветра, нахлобучивая на лоб неприятно тесную шляпу и бормоча: «Зачем жить?..»

Утренний пароход, подплывший из города, не встретил обычного сигнального огня. Старик висел в петле под потолком сторожки. Снизу, под выгнутыми смертным спазмом пятками, лежал опрокинутый табурет.

# VIII

Манко Ходовицу не хватало шести дней до восемнадцати лет. Эти шесть дней нужны были до зарезу. У Манко была невеста, а жениться ранее восемнадцати – день в день – нельзя.

Манко читал по слогам. Но слогов в телеграмме, присланной из большого города (в городах Манко не бывал), было немного, и он овладел их смыслом. Смысл был прост: его дядя, водный сторож у города, о котором он смутно знал по рассказам покойной матери, умер; его, Манко, вызывали в город – получить небольшое, но большое своей нежданностью наследство. Манко прикинул в своем не слишком поворотливом мозгу: из денег можно сделать избу, купить корову, пожалуй, и лошадь. Все это очень и очень подымет его вес в глазах родителей невесты. С вечерним поездом Манко отправился в город.

Все шло как нельзя лучше. Манко получил деньги, которые он тотчас же запрятал под рубаху в нагрудный мешочек, продал соседу кой-какую утварь в казенной сторожке покойного дяди. Все было в порядке. Поезд через полтора часа. И только уже в минуту ухода, окинув глазом молчаливую сторожку, Манко заметил в углу на деревянном тычке сереющий сквозь серость сумерек фетр. Он сдернул его с тычка и вышел, вжав двери в стену.

Сперва – до города – он нес серую шляпу в руке. Но два-три прохожих, остановившие его словами «Продаешь?», заставили Манко изменить отношение к этой детали наследства. Он снял с головы свой порядком просаленный картуз, сунул его в карман и надел поверх пружинно-упругих черных волос серую франтоватую городскую шляпу. Чем он хуже других! Манко шел к вокзалу, закинув голову и весело посвистывая. Но с каждым шагом его и Зачемжить делал шаг внутри головы, и свинцовая тяжесть опускалась на мозговые излучины парня. У него был нехитрый деревенский мозг. Как деревня тянет череду своих изб вдоль одной улицы, так и мысли парня тянулись одноулично. И тянулись они к одному: к невесте. Но сейчас, пристально вглядываясь сквозь себя, он никак не мог различить ее образа. Между нею и им стоял, корча препоганые рожи, Зачемжить. Манко взял билет, автоматически вшагнул в вагон с деревянными сиденьями, сел.

Рядом, у локтя, кто-то копошился, разузливая сундучные узлы, кто-то выдергивал губами из длинной дудки короткие носовые тюкающие звуки. Женщина напротив Манко, покачав добрым лицом, сказала: «Хорошая шляпа, паренек», – а старик, покопавшись костистой пядью в бело-желтой бороде, прослюнявил: «Да сам-то паренек – шляпа». Манко не заметил, как поезд завращал своими осями. Что-то змееносное присосалось к сердцу и жадно заглатывало жизнь. Манко повернул лицо, орошенное потом, к окну: за стеклом бежа-

ли, замахиваясь на него деревянными руками, деревья; грязно-серое облако вползало липким кляпом в глаза. Тоска стала непереносной, как подбирающаяся к горлу рвота. Манко, поднявшись, быстро вышел в тамбур. Под колесами загрохотал мост. За отмельком фермовых решеток – свободный воздух, а снизу – отвесный скат насыпи. Перегнувшись с верхней ступеньки, Манко оторвал левую руку от поручня. Зачем жить?

И в это мгновение – резким ударом ветра – с головы его сорвало шляпу. «Зачем жить?» еще не успело оставить белеющих губ, но Зачемжить, стараясь разминуться со смертью, успел выпрыгнуть в свое ставшее привычным обиталище. Манко висел лишь на сцепе трех пальцев правой руки. Крутым поворотом колес его рвануло вниз, в бездну, – один палец сорвался с поручня, но два еще цеплялись за поручень и жизнь. Нечеловеческим усилием Манко отшатнул свое тело от ската внутрь. Ветер трепал его волосы и бил по раскаленным щекам. Стараясь поймать выпрыгивающее из горла дыхание, он вернулся в вагон. Его встретили сперва недоуменными улыбками, потом смехом: «Шляпу-то! Забрал ветер? Жди, когда ветер отдаст…», и под раздвинутые насмешкой рты Манко весело засмеялся, показывая белую клавиатуру зубов. О, в шляпе ли дело, когда дело в шляпе: вот тут, под рубашкой, топырящиеся деньги, а впереди – любовь, жизнь, рождающая жизнь, и снова любовь.

# IX

Между тем шляпа с Зачемжитем, спрятанным за кожаный привисочный ее полог, цепляясь за стебли трав, скатывалась по насыпи вниз…

И пусть себе. Слову моему я, автор, говорю: стоп, ни с места. Новелла эта написана по методу нанизывания. Самый дешевый способ, за который тем не менее почему-то платят построчной платой и читательским вниманием.

Ну куда мог попасть в дальнейшем планирующий Зачемжить: в руки железнодорожного сторожа, пропойцы, превратившего свою жизнь в сплошную зачемжизнь; в руки случайно проезжающего велосипедиста, прикрывшего Зачемжитьевой скоростью свои туристские мозги; в раздевалку летнего театра, где так легко перепутать номерки и тем заставить Зачемжитя еще раз переменить квартиру… И вообще – мало куда. И стоит ли на это тратить воображение?

Важно только одно. Серый фетр, переходя из рук в руки, должен был превратиться – рано ли, поздно ли – в грязный фетр, в старую, заношенную и затертую шляпу, от которой брезгливо отдергиваются все сколько-нибудь уважающие себя лысины и темена. Короче, к последней главе новеллы бывший фетр – с оборванной шелковой нитью, затерханной лентой вокруг тульи и обвислыми полями – попадает – в виде подаяния – к нищему.

Как я ясно вижу последнюю главу меняющего головы фетра! Нищий стоит под зенитным солнцем. Солнце бьет желтыми бичами по его облезлому черепу.

Но по нищенскому этикету не принято надевать шляпу на голову – ее надо держать в руке, протянутой под пятаки.

И бедный Зачемжить, сидя под ударами пятаковых ребер, тщетно мечтает о впрыге в человечий мозг. Нет, теперь это вряд ли для него возможно, – так, видно, и жить ему, Зачемжитю, под тычками медяков, хлестом солнечных лучей и ударами дождевых капель. И отщепенцу Зачемжитю надо решать – на этот раз уж для себя самого – проблему: зачем жить?

# Когда рак свистнет

Между двух стран озеро без имени, над зыбями ивы, под зыбями рыбы без голосу, на зыбях звезды без времени, вокруг озера нивы колос-к-колосу; далее, от озера без имени – зеленый пар, на пару коровы без вымени, волос-к-волосу, сто-ста-сот пар. Направо идти – придешь к аво-сям; налево – к небосям.

Искони – кони у небосей не расседланы; искони они, небоси, без опаси, войной на авосей шли. Авоси живут – беды не ждут: стоят авосевы города не горожены, авоськины дети не рожены. Придут – и пустят все с дымами, угонят коров без вымени, возьмут в полон, кто не рожен; долго потом озеро без имени кроваво стоит, ниже никнут ивы, косами не кошены, а уж копытами вымолочены нивы, и плачут малые авосята не-роженые, еще пуще авосевы жены, и того пуще старые авосихи:

– Когда небосевой неправде конец?

Отвечают авоси:

– Когда рак свистнет.

И еще:

– Когда рыба запоет.

Из озера без имени выплывала река: плыла река без устали до самого моря. А у самого дна («одна голова не бедна») в песке и тине, вместе с женой актинией, жил старый рак-

отшельник. И когда первую кровь из озера без имени – речным плывом – в море синее занесло и береговые пены залило, повел рак длинным усом и:

– Не пора ль мне, Актиньюшка?

Но та, нежными аконтиями колыхнув:

– Крови мало, моря много. Уйдем.

И ползет рак задом, а сказка передом.

Кабы мог старый рак поперек моря на другой край, увидали бы его пучьи глаза страну Какнибудию: живут какнибуди ни в два – ни в полтора, никто на двор, все со двора; тяп-ляп – выше корапь, и сели б на корабль, да ни ветру, ни тех, чтоб гребли. Сидят у моря – ждут погоды, а поверх моря белые пены бегут. Ждут.

Ждут и авоси: ждут и терпят, авось небоси Бога побоятся, но не боятся небоси: и за заревами, за ревом рев, за кровью кровь, у авоськиных деток не-роженых головы можжены, а жены… таково уж их женское дело. Пришли времена, когда авось и рыбака толкает под бока: «Вези, рыбак, через озеро без имени». Везет рыбак через озеро без имени, а с весел кровь. Пришли времена, когда иной авось в лес уйдет, а за ним еще и еще; и, в лесу затаясь, держат, авосясь, совет авоси:

– Авось пронесет.

– Жди, когда рак свистнет.

– И рыба запоет.

И порешили: ждать в лесах, меж ох да ах, еще жданки съе-

дят; пошлем мы послов в Какнибудиеву страну, а ну как из-за синего моря придут какнибуди и помогут горю.

Как решили, так и сделали.

Стоят тяп-ляп-корапи, якоря в дно вкляпя. Сидят у моря какнибуди, сидят – ждут погоды. Видят – белые пены, а за белыми пенами алые пены – а за алыми пенами малый парус – и во сё авоси челом бьют: небоси, мол, бьют, нельзя ль какнибудь беде помочь.

Какнибуди не прочь: то да сё, так ли, сяк, помочь готов всяк. Но тяп-ляп-корапи подняли якорям лапы и по шатущему мору – помогать горю.

Кораблевы донья под зыбями плывут, черные тени донья по дну волокут. Доползала кораблева тень до старого рака-отшельника; шевельнул спросонья клешней и:

– Не пора ль…

Но актиния, изгибью аконтий обняв:

– Спи-спи, старый; тени мало, тины много: глубже в тину и, клешней окстясь – в имя отца и сына, – спи.

Как приплыли какнибуди, в железо кованы груди, в руках палицы: Царство Небесное валится. Стонет небось: хоть брось. Прошли какнибуди вкруг озера без имени, хлещет кровь, как из вымени; прошли и по прямям, и по криви, и по коси, легли небоси кровавым покосом. И пришло время, какой уцелел небось, рыбака толкает под бока, а тот. «Как везу – весло в сукрови вязнет».

И бежали иные небоси с опасью в леса, небосих и небосят

босых и безымущих уводя, и, малость погодя, собрали небоси совет и надумали всем советом навет. Пришли к какнибудям небосевы послы и говорят:

– Побило нас, небосей, небо. Будь что будь. Какнибудии покоряемся, богам какнибудиевым поклоняемся. Были мы небоси – стали мы боси. И босы. Только не верьте авосям. Искони о них сказано: от авоси добра не жди; на авось и кобыла в дровни лягает; авосю не вовсе верь.

Какнибуди, им будь что будет, вместе с небосями пошли на авосей: взяли авосевы города не горожены, побили авось-деток не роженых, а жен их… таково уж женское дело. Кровавым крапом травы окропило, трупами озеро без имени запрудило – и не Христос бы как посуху прошел.

Похваляются какнибуди:

– Мы-де и авосей, и небосей, как траву, косим. Авосю не вовсе верь, да и небосю вовсе не верь.

И пошли тут: авось на небося, небось на авося, а какнибудь – и на этих, и на тех. Плывет кровь из ран в землю, земными жилами в озеро и реку, а там, речным плывом к морским приливам, с волны на волну, красным крапом к морскому дну.

Вспучил из тины старый рак глаза:

– Уж не пора ль мне…

Но актиния дрожью нежных аконтий к шершавой кожуре – и:

– Много боли, моря боле. Ползи, старый, вглубь, ползи.

Был среди небосей некто именем Канеав. Отца-мать Канеава извели авоси, сестру Канеава увели блудные какнибуди. Но у бедра Канеав не носил меча, а в сердце Канеав не носил зла. Взял Канеав в руки посох странника, пошел от небосей к авосям, от авосей к какнибудям и учил:

– Живите, небоси, по-христосьи. И какнибуди – люди. Авоська небоське набитый брат.

Пошла про Канеава слава: свят.

И сказали авоси небосям, а небоси авосям: станем жить по-христосьи. И, соединившись, решили вместе, как набитые братья, пойти на какнибудей и перебить без изъятья. А когда стал Канеав их удерживать, говоря: простите и какнибудям, ведь и какнибуди люди, – разгневались на него и авоси, и небоси: мил тебе какнибудь, так туда тебе и путь. И изгнали Канеава. Пошел Канеав берегом озера без имени: под зыбями рыбы без голосу, под ногами поля без колосу. Застигла Канеава в пути ночь. Лег он наземь рядом с посохом, и привиделся ему сон: будто вознесли его белые облака в горний сад, где золотые яблоки висят, и думает небось: «небо» – «ось»: идет по небесным тропам – цветет вокруг троп райский крин, но только видит Канеав, что он один: не топтаны тропы, не хожены дороги, не рваны золотые яблоки, не тронуты жемчужны желуди. И спрашивает Канеав: а где же люди? Невидимый голос ему в ответ: помни, Канеав, и знай – все люди погибли за свой рай.

И тут проснулся Канеав и, опечаленный, длил путь. Встре-

тился ему в поле ратный какнибудь. «Не имею меча у бедра, а зла в сердце». И какнибудь его не тронул, а указал путь к своим. Пришел Канеав в какнибудиев стан и стал учить:

– Авось-небось да третей какнибудь. Братом друг другу будь, кто ты ни будь, хоть бы и какнибудь. Не вынимайте мечей из ножен, но жен их суженым отдайте.

Посмеялись над Канеавом какнибуди. И порешили какнибудь и судь: посадив на доску святого небоську, бросить в море – пусть слезами посолонит море.

И как бросили на волны пророка какнибуди, он им: верую, буди-буди. Но ударило ветром – и доску и небоську волной унесло, а какнибуди опять за мечевое ремесло: мечи из ножен, авосей-небосей косят, но жен небосьих-авосьих любить хоть как-нибудь их, какнибудей, просят.

По морю – по синим зыбям – доска; на доске Канеава тоска; плывет сердце в тосковом тиске; роняют очи горе в море; солоней стало солено-море; сушат очи с ночи до утра ветра, а с утра до ночи мчат доску что есть мочи – по волнам-глубинам с бурями в размин, тихо, невредимо к острову нелюдимому, а остров тот не без имени: Курия-Мурия.

Был Курия-Мурия мал и дик, все паруса издалека и мимо, только волн плеск и птиц крик на острове нелюдимом. Тут Канеав, изгнанный какнибудью, авосью и небосью, дыша полной грудью у морских просиней, вспоминая их брани и рати, написал невеликую хартию. Называлась хартия так: «Когда же наконец свистнет рак».

А тем временем вновь бьются авоси да небоси с какнибудями, днем им светит солнце – ночью зарево, на костях и мясе кровавое варево: мечами замешено, слезами засолено, бьет в него алым паром, пузырится-пучится из земли могилами, сходятся в полях ратные силы с ратными силами.

Поначалу стали одолевать какнибуди. И захвастали: держался-де авоська за небоську, да оба упали.

Но потом стали одолевать какнибудей. И запечалились какнибуди: авоська, мол, веревку вьет, небоська петлю накидывает. Не бейте нас, какнибудей, ведь говорил ваш пророк Канеав, что и мы люди.

Но те не слушают, жгут и бьют, веревки вьют, петли накидывают. А судьи-какнибудьи тем временем умом раскидывают: уж не послать ли нам малую тяп-ляпину, быструю карапину, на остров Курию-Мурию, куда своею же дурью сослали мы мудрого Канеава, – пусть спасет нас от неправой напасти.

И тяп-ляпина подняла снасти. Плывут какнибуди к Канеаву, и, воздав Канеаву славу: так и так – уйми авосей с небосями, хотим с ними жить по-христосьему. Отвечает Канеав: «Не нужно мне ваших слов; одно мне нужно, чтоб мужья были женны, а жены были мужьи; чтобы жили вы друг с дружкой по-дружьи; чтобы детки были рожены, а города горожены; чтобы пришла на кровь схлынь, а на зло сгинь. Аминь». И, приплыв к берегам, где все враги врагам, где идет на полк полк, а человек человеку волк, идет Канеав к авосям и небо-

сям и слезно просит:

– Не меч, но мир, не смерть, но серп; послушайте меня, Канеава, не живите кроваво, а живите братней семьей: авось, небось да какой-нибудь третей.

Озлились авоси, а небоси и того пуще:

– В нас кровь гуще – в тебе жиже; ведь ты же из нас, из небосей, родом, а с какнибудиевым народом заодно.

Прибили небоси к бревну бревно, а раскрестив Канеава, пять и пядь, кисть и кисть – вверх, вниз, влево и вправо – гвоздями к бревну, и говорят: ну, дали тебе какнибуди мзду, вот тебе и наша плата – в каждую ладонь по гвоздю, по заплате.

И, оголив мечи, бросив труп Канеава в ночи, пошли небоси-авоси, грудь к груди, добивать какнибудей. Но случилось тут у озера без имени такое, что и не сыскать ему имени. Клюнул старый ворон тело Канеавово и с первого же клева насытился; насытившись, вынул клюв закровавленный и полетел к морю дальнему: прилетев к морю дальнему, опускался ворон на тихую волну, и чуть клюв в воду, чтоб кровь омыть, – заворошилось море и ну – волной о волну бить, перекатами через вал – вал. А старый рак в это время крепко спал. И слышит: сквозь сны острыми клиньями колют-будят его стрекальца актиньевы. Клешни рачьи в песок врыты, но глаза пучьи у старого рака всегда раскрыты:

– Дай доснить, Актиньюшка, не буди.

А та:

– Буди-буди, старый, иди-иди.

Рак было:

– Над нами не каплет.

А та:

– Иди!

Он было еще:

– Стрекай стрекалами, свистни.

А та свое:

– Иди, иди, свистни.

Видит рак, делать нечего; клешню за клешней, задом наперед, назад головой сквозь волнный вой, выполз на берег, клешнями в песок, огляделся, сел и, подумав «пусть», поднял свой правый ус и… засвистел.

Понесли ветры рачий свист из страны в страну. Просыпались авоси, какнибуди и небоси и говорили: ну-ну, или: – что за дивный свист? А от свиста на деревьях стал зеленее лист, воздух благоуханен и чист, золотистее золота заря, и мечи вдруг стали мягки, как актиниевы стрекала (не рубят – щекочут), и вражды на земле как не бывало, всякому вольно жить всяко, кто как хочет. Вкруг озера без имени стада коров без вымени, волос-к-волосу, в полях колос-к-колосу, никто – ни авось, ни небось, ни какнибудь – не толкает рыбака под бока и в грудь; сидит рыбак, ноги свеся, глядит в зоревую полосу и слышит: рыбы без голосу, подняв из зыбей прозрачные рты, выводят тонко, как на клиросе: «Блажен, еже милует и скоты». На росе, рядком с рыбаком, неразмо-

танные удочки. На дудочке играет пастух. И с той поры никто не скажет: «Небоси, или авоси, или какнибуди», – а говорит просто: люди.

# Дымчатый бокал

– Может, вам угодно посмотреть коллекцию старинных монет? Нумизматы хвалили. Или…

– Вы хотите, чтобы я купил у вас деньги, давно потерявшие способность покупать? Лучше…

– Тогда посмотрите мою коллекцию миниатюр. Если вы возьмете лупу…

– Скажите, а что это за бокал, вон там – слева, на полке?

– Угодно взглянуть? Сию минуту.

Антиквар, сдвинув черную шапочку с лысины на лоб, приставил к полке лесенку – и бокал, мерцая дымчатым стеклом, стал своей круглой прямой ножкой поверх прилавка.

– Странно: он как будто не пуст. Что в нем?

– Вино. Как пристало бокалу. Тысячелетней выдержки. Рекомендую. Пыль мы снимем вот этой ложечкой работы венецианского Мурано.

Посетитель антикварной лавки приподнял бокал за тонкую ножку, держа его меж окном и глазом: за дымчатым стеклом была темная дымчатая влага с легким рубиновым отсветом.

Покупатель приблизил бокал к губам и тронул несколько капель. Дымчатая поверхность вина осталась сонной и неподвижной. Во рту терпкий – как укол сотни игл – вкус.

– Похож на укус змеи, – сказал покупатель и отодвинул

бокал. – Кстати, мне говорили, у вас есть подбор джайновских статуэток. Я хотел бы… но странно – мой глоток не понизил уровня в этом вот вашем бокале.

Губы антиквара виновато раздвинулись, обнажая золотые пломбы:

– Видите ли, бывают, пусть в сказках, не только неразменные червонцы, но и невыпиваемые бокалы.

– Странно.

– О, слову «странно» не грозит безработица в нашем мире.

– И вы продаете этот бокал?

– Если в хорошие руки: может быть.

– Сколько вы хотите?

Антиквар выдернул из-за уха карандаш и написал на прилавке.

– Это моему кошельку не по силам.

– Хорошо. Я перечеркну ноль справа. Главное: в хорошие руки. Разрешите завернуть?

– Пожалуйста.

Покупатель вышел из лавки. В правой руке он держал бокал, обернутый в бумагу. Мимо него прошел человек с глазами, заплатанными дымчатыми стеклами консервов. Кто-то задел локтем о локоть: на бумаге у донца бокала проступили темно-красные пятна. «Пролил», – подумал человек и пошел вдоль стен домов, оберегая покупку от толчков.

Однако, когда он пришел домой и развернул хрусталь, бо-

кал был по-прежнему полон до краев, хотя по круглой ножке его и скользили расплеснутые капли.

Человек, ставший собственником невыпиваемого бокала, не сразу приступил к испытанию своей покупки. День скользил по откосу вниз. Солнце падало в закат. Вскоре сумеречный воздух стал под цвет тонконогому стеклу. Человек взял молчаливый бокал в пальцы правой руки и приблизил его к губам. Терпкое вино ожгло губы. И отодвинутый бокал стоял снова – полный до краев, прижимаясь рубиновой влагой к верхней золотой каемке стекла.

Первые дни одноногий гость, вшагнувший своей круглой стеклянной пяткой в жизнь любителя раритетов, вел себя скромно и почти добродушно. Отдавая глотки, он тотчас же аккуратно задергивался винной влагой по самый золоченый краешек своего стекла. Он умел быть разнообразным: один глоток давал чувство пряной неги, другой – ядовитыми иглами вкалывался в язык, третий – опутывал мозг в дымчато-алую паутину. Бокал стал вскоре для человека, приобретшего его, чем-то вроде вкусовой лампы. При свете его кровавящихся капель человек читал и перечитывал свои книги, делал наброски в тетрадях. Опорожненный почти до дна, бокал тотчас же наполнялся по золотой край, снова предлагая себя губам. Человек стал пить… Он запрокидывал бокалу прозрачную пятку раз за разом. В мозгу плясали рдяные капли. Мысли ударялись друг о друга, рассыпаясь огненной пылью искр. Опорожненная влага восходила вновь, как вос-

ходит солнце, казалось бы, наповал убитое закатом и погребенное ночью. Человек пил при свете дня, при свете луны и в тьме безлунья. Стекло цокало о зубы: «Еще и еще!»

Однажды человек, засыпая, опрокинул бокал. Наутро, проснувшись, он увидел всю комнату залитой темно-красной жидкостью. Жидкость, дыша терпким винным дыханием, подступала к свесившемуся краю одеяла. Посреди комнаты, тычась о ножки стола, плавал ночной туфель. Снизу, из соседской квартиры, пришли узнать, в чем дело: сквозь потолок проступали какие-то непонятные красные пятна. Человек, засунув руку по локоть, с трудом отыскал виноточащий бокал. Он поставил бокал, облепленный винной сукровицей, на стол, и тотчас же вверх, к золотому ободку, вспрыгнула темно-красная влага. Человек выпил залпом и стал приводить комнату в порядок.

Иногда дымчатые грани бокала – особенно после десятка-другого прикосновений к ним – казались владельцу его стеклистым дымком, подымающимся от костра. Иной раз в золотом ободке, обегающем край стеклянной вгиби, мнилась какая-то смеющаяся золотыми пломбами подлая улыбка.

Однажды – это было в ясный солнечный день, когда внутрь красных капель впрыгивали рдяные искры, – человек, запрокидывая бокал, случайно заметил, что у дна его какой-то зигзаг, сочетание знаков, пожалуй, букв. Но проступь знаков тотчас же задернулась новым наплывом вина, подступившего к самому верху бокала. Человек опять опо-

рожнил бокал, стараясь схватить глазом убегающие буквы. Но темно-красная жидкость вновь задернулась раньше, чем он успел выхватить смысл надписи. Помнилась только первая альфовидная буква – и смутное ощущение десяти или одиннадцати знаков, следовавших за ней.

«Еще раз», – подумал человек и снова быстро выпил бокал. Где-то из середины – тонкой мачтой с реей поперек – взметнулось, – и через мгновение слово затонуло в вине, как корабль, давший пробоину. Человек еще раз поднял бокал к губам. Он пил медленно, с усилием. Слово, шевеля одиннадцатью буквами, вплывало в глаза, но их задернуло мутью, и человек не мог понять, что он видит.

С этого дня началась игра глаза с бокалом. Шансы были явно неравными. От двух-трех толчков алкоголя мозг задергивало в дымчатый туман. Человек, ставший собственником непрочитанной надписи, редко когда переступал теперь порог своего дома. На подоконниках его окон на палец наросло пыли. Занавеси не разжимали своих желтых век. Владелец дымчатого бокала редко расставался со своим стеклянным гостем. Лишь раз или два его видели идущим вдоль набережной; пуговицы пальто были встегнуты криво, не в свои петли; он шел, не замечая поклонов, не слыша окликов.

* * *

В лавку антиквара вошел сутулый, с серой щетиной на ще-

ках человек. К нему любезно пододвинулся стул, но вошедший продолжал стоять.

– Чем могу служить?

– Есть ли у вас дубликат того, дымчатого?

– Яснее.

– Дымчатого бокала. Я ближе к нищете, чем к бедности. Но вы тогда, помните, зачеркнули ноль. И если…

– Виноват, я вижу вас в первый раз. Тут, через площадь, другой антикварный магазин. Наверно…

– Нет. Та же шапочка и… Улыбнитесь!

– То есть?

– Без «то есть». Ну вот: те же золотые пломбы, тот же лисий оскал. Ошибки нет. Притом же, когда я его бросил, невыпиваемый бокал, в реку, с моста Святого Стефана, самая река… но это меж четырех ушей, иначе… Вот.

Посетитель сунул руку в пальто и вынул бутылочку. Повернул ей притертую пробку:

– Вот. На другой же день я спустился к реке и взял пробу. Вот эту. Оказывается, у него, у дымчатого, хватило силы окрасить воду Дуная, всего Дуная (каково?) в кровянисто-красноватый цвет. Кстати, у нее стал чуть терпкий вкус. Не верите? Глотните. Не хочешь? Так я заставлю тебя…

Только прилавок разделял двоих. Но зазвучал наддверный звонок, и в магазин вошел третий. На нем была аккуратно пригнанная шуцмановская форма.

– А-а, – радостно протянул антиквар, щедро распахивая

золотой рот, – вы по поводу налога? Охотно-охотно… Ну, а вы, – повернулся он к посетителю, все еще державшему в руках пробу, – вам через площадь! «Antiquités» [82] – черным по желтому. Ошиблись дверью.

Посетитель, хмуря брови, спрятал бутылочку, предварительно аккуратно затиснув ее горло пробкой, потом спросил:

– И много их, этих… дверей?

Антиквар поднял плечи. Шуцман только брови.

Посетитель шагнул за порог.

* * *

Дня через два знакомый нам хозяин антикварной лавки, просматривая газетную хронику, наткнулся на строку: «Вчера с моста Св. Стефана бросился в…»

Наддверный колокольчик оборвал чтение.

---

[82] «Антиквариат» *(фр.)*.

# Боковая ветка

Рельсовые стыки отстукивали стаккато пути. Фуражка, свесясь козырьком с настенного крюка, раскачивалась из стороны в сторону, точно пробуя вытряхнуть из суконных висков мигрень. Квантин, отстегнув портфель, вынул газету. Но в чуть тлеющих под потолком угольных нитях было ровно столько света, чтобы мешать спать. Жухлые петиты листа неохотно осмыслялись в слова. Квантин сложил газету и придвинулся лицом к стеклу: сутулые контуры сосен, закрываясь черными распялами ветвей от света, падали в ночь. Было как-то зябко: не то тянуло от окна, не то лихорадило. Квантин попробовал было голову поверх портфеля и ноги под пальто. Но короткая и скользкая ткань свесью рукавов – вниз, и под плечом вздрагивала жесткая доска. Лучше встать и дободрствовать. Недалеко уже. Паровоз сиплым и слабогрудным звуком взвыл и оборвал. «Как заблудившийся», – подумал Квантин и приподнялся на локте. Козырек на крюке по-прежнему, но чуть медленнее и раздумчивее, раскачивался с таким видом, как если б под ним были запрятаны глаза. «Если представить себе страну или мир, в котором под тульи шляп, под кожаные подкладки их, иногда – ну, пусть редко-редко – забредали бы так, по соседству, окраинные причерепные мысли, какие-нибудь пустячные мыслишки, отлучки которых из головы в шляпу совер-

шенно незаметны для мышления, то… – мягкий толчок, точно не буферами о буфера, а подушечьим пухом о пух, вдруг остановил поезд, – то (должно быть, семафор)… нет, лучше не вдоль *то*, а по боковой. Если предположить, что самый наш мозг поверх другого мозга, как шляпа поверх головы, что тот внастоящую думающий, подкорковый, раскланивается моим мышлением, приветственно приподымает его при встрече с…» Но вперерез мысли, точно тень опустившегося семафора, и о слух ватным прикосновением:

– Прошу предъявить ваши сновидения.

Квантин приподнял голову. Под кондукторским кантом рыжая борода, сквозь бороду улыбка:

– Будьте любезны, приготовьте ваши сны-с.

Квантин, не понимая, – следуя ритму, не смыслу, – вынул из кармана билет:

– Это?

Щипчики, остро вщелкнувшись в картон, снова в ладонь; снизу голубой круг фонаря – и сквозь выщелкнутые дырочки, как сквозь крохотные оконца, реющие спутанные нити лучей – пестрые точки, линии и контуры; Квантин, сощурясь, пробует вглядеться, но и оконца уже прыгнули в ладонь, голубой фонарь отвернулся и сквозь бороду, вперемежку с улыбкой:

– Торопитесь. Легко прободрствовать. Пересадка.

Квантин хочет спросить – куда и при чем тут сны. Но спина кондуктора уже выскользнула из двери, и вдоль вагонов

где-то из-за десяти стенок слышится его веселое: «Попрошу предъявить ваши сновидения».

Делать нечего. Квантин поднялся и – к выходу. Ноги его как-то ватно легки и пусты, портфель под локтем мягок и упруг, как взбитая к ночи подушка. Ступеньки сводят шаги вниз. Под подошвами теплая земля. В стороне от остановившихся колес – новый состав. Квантин идет сквозь темноту навстречу столбу искр над часто дышащим паровозом. Они бьют радужным костром вверх и опадают гаснущими осыпями к земле. В блеске их вычерчивались очертания трубы. Это старая распялая воронка, круглый лунный кратер, подпертый кривой ногой, напоминающей еще Стефенсоновы времена, когда поезда только-только учились ходить, расталкивая поршнями пространство, сонно разлегшееся поперек рельс. И вагоны: под низко осевшими крышами с топорщащимися суставчатыми ступеньками, каких давно уже не строят. «Боковая ветка, – подумал Квантин, – ржавая узкоколейщина, саркофаги на колесах, как бы не заехать в катастрофу». Но вдоль темного низкокрышья уже скользил голубой глаз фонаря. Свисток на высокой сверчковой ноте проиглился сквозь тьму. Наткнувшись на ступеньку, Квантин схватил подставившийся поручень и впрыгнул в вагон. Лязгнули тимпанным переплеском буфера, и поезд тронулся. Сначала окна вагонного кузова медленно терлись о воздух. Старый паровичок, шаркая паром, казалось, шел сквозь ночь, волоча мягкие ночные туфли, то и дело спадающие с

пят. Но постепенно колеса надбавляли скорости; рельсы сматывались с них, как нити с катушек, раскручиваемых быстрящимся вращением шпулек. Кривые рессоры вагонных кузовов ахали на стыках, из всех щелей шуршал рассекаемый паровозной грудью воздух. Обгоняя ночь, окна скользили уже сквозь голубое предсветье, замахивающееся вслед бегу колес, сшибом углов и выгибей быстро – до слиянности – мелькающих контуров. Ловя отпрыгивающую от пальцев стенку, Квантин дернул за кожаное ухо стекло, и оно, тонко звякнув, скользнуло вниз. Мягкий тропический влажный ветер ударил в лицо. Мимо поезда в пролазоренном воздухе неслись очертания непривычных глазу деревьев – их стволы, редкими семьями разбросанные но холмам, выгибали свои голые чешуйчатые тела кверху, чтобы там, у вершины, распасться гигантскими зелеными лопастями. «Пальмы», – вместе с ветром скользнуло вдоль лба. Квантин хотел доосознать: как так, среди порослей приболотных ив, зябких берез, наиглившейся хвои, – и вдруг?? Но, казалось, скорость поезда на полумысль, на полуоборот колеса опережала логику. И после этот теплый, крылом о душу, ветер. Вместе с искрами из раскала трубы мимо глаз неслись пестрые стаи птиц, об уши бились их курлыканье и клекот; в раскрытое окно то рушился гул дальнего обвала, то всплеск струн, оторванный ветром от невидимой деки; благоухание неведомых трав, горькое и пряное, врывалось в ноздри; вброшенная ударом голубого воздуха, в вагон впорхнула бабочка и билась

смятыми крылышками над подпотолочной сеткой. Квантин узнал узоры ее пыльцы: urania ripteus, притропический вид, не перелетающий и двадцатой параллели. Страница энтомологического атласа, приподнявшись – своими пестрыми подобиями – в память, снова опала под переплетную крышку. И Квантин заметил: скорость поезда убывает. Разгоряченные бока вагона еще раскачивает инерцией, но скрип рессорных дуг ниже и реже; контуры в раме окна четче и медлительнее; под колесами, раздельно стуча стыками, прогудела пустота мостового пролета. Перещелк стрелок, длинный – оборвавшейся нитью – свисток, астматический выдох и вскрик паровоза, и ступеньки вагонов повисли над землей, Квантин отыскал свой сброшенный на пол портфель и, оглядываясь по сторонам, вышел на перрон. Под стеклянными стенами было пусто и беззвучно. «Неужели они везли меня одного», – еще раз разгляделся по сторонам недоуменный пассажир. Никого. Ни души. Ни полдуши. Только протянутая в воздухе плоская рука указывала путь. Квантин прошел, ощущая за собой вытянутый вслед огромный, под голубым лаком, ноготь. Свет был слишком прозрачен для сумерек и слишком смутен для дня. Одинокий пассажир отыскал глазами циферблат: но цифры и стрелы, запрятанные под навес, казалось, были замотаны в траурный креп ночи, и глаз не мог различить часа. Стены смыкались в коридор. Приезжий, еще раз оглянувшись на пустоту, пошел, куда вели стены. Сначала ничего, кроме примкнутых друг к другу камней и бьюще-

го о них шага, потом в дальнюю прорезь туннеля яснеющая проступь. «Скорей бы уж», – Квантин надбавил шаг и увидел: навстречу из-под каменной навеси – большой бумажный плакат. Оставалось поднять голову к буквам:

!ВСЕ НА ТЯЖЕЛУЮ ИНДУСТРИЮ ТЯЖЕЛЫХ СНОВ!

Два черных палицеобразных восклицательных знака сторожили слова, став справа и слева от лозунга. «Лучше вернуться», – но молчание, сомкнувшееся за спиной, толкало дальше. Сердце все скорее и громче – шаги тише и замедленнее.

Внезапно туннель оборвался. Квантин стоял на ступеньках, выводящих на широкую площадь. Вместо каменной навеси над головой теперь голубело небо, а прямо против глаз над озабоченно шевелящимися группами людей, среди брошенных в воздух тросов и паутинно-тонких сетей шевелились, меняя текучие контуры, какие-то причудливые дымчатые массы. Люди работали молча и сосредоточенно. Взбрасываемые вверх нити, лассообразно раскручиваясь, постепенно опутывали дымящиеся бока вплывших в площадь громад. Иные из них пробовали было вверх, но сотни рук тянули их вдоль земли, как загарпуненных китов, колышущихся мертвыми спинами среди вспененных волн. Квантин понял не сразу. Лишь когда один из изловленных контуров, случайно выскользнув из сети, всплыл поверх крыш и, подхвачен-

ный течением ветра, стал быстро уходить, шевеля прозрачно-перистыми очертаниями, стало ясно: перед ним происходит ловля облаков, густыми стаями плывущих сквозь горы.

Квантин спустился со ступенек и, держась закраин площади, попытался выбраться из сплыва туч. Промысел был в разгаре, все глаза и руки в работе, и никто не заметил фигуры приезжего, осторожно пробирающегося, с портфелем под мышкой, внутрь сети городских улиц.

Сперва Квантин шел, натыкаясь на выступы и углы домов, затем воздух постепенно размглился, цвета и очертания стали яснее и четче. Прямо перед ним протянулась широкая – под сомкнутыми ветвями деревьев – улица. Одетая в тени и свет чуть притушенного солнца, она звала шаги дальше и дальше. Казалось, был день, но все окна – за зажмурью жалюзей и опавшими складками занавесок. На скамьях, поверх мягко подостланных теней, кое-где сидели люди. Изредка попадались неторопливые прохожие. Один из них, с лицом, спрятаным под широкие поля шляпы, прошел совсем близко, почти плечом о плечо. Он дышал длинными выдохами меж коротких вдохов – как дышат в глубоком сне. Квантин хотел повернуть вслед, но в это время внимание привлекло иное: человек, стоя у подножья телеграфного столба, подвязывал к ногам тяжелые металлические хватай. Одежда его для простого чинильщика проводов была несколько необычна. Элегантный фрак, белый жилет и лаковые ботинки, затиснутые в громоздкие полукружья железных приве-

сей; рядом – вместо ящика с инструментами – нотная папка. Квантин, остановившись, продолжал наблюдать. Затянув последний ремень, человек во фраке вщелкнулся сначала одним, потом другим хватаем в столб и стал взбираться, медленно переставляя щиколотки, к проводам. Несколько людей, застывших на скамьях, приподняли головы. Два или три прохожих приостановились. Манжета вспорхнула над параллелями телеграфных струн, и металлическое арпеджио прозвучало над улицей. Жалюзи, чуть приподняв зеленые веки, ждали. И музыкант, взмахнув повисшими в воздухе крылышками фрака, запел:

Леди и джентльмены, сницы и сны,
Солнце – лишь грош из рваной сумы,
Оно упало в закат, как в щель.
И снова о пальмах грезит ель.
Жизнь – стлань теней, лёт лет над Летой.
Уснуть-умереть: «За власть поэтов».

И глухой аккорд загудел в проводах, от столбов к столбам. Артист раскланялся с вновь смыкающимися жалюзями и стал спускаться.

Улица снова замолкла и замерла. Чтобы нарушить беззвучье хотя бы стуком шагов, Квантин двинулся дальше.

Вдруг поперек панелей, из-за черной створы, ныряя в тень и выныривая в свет, – юркая черная дробно семенящая фигура. Подбирая длинную, цепляющую за земь сутану, пово-

рачивая остроносый профиль то вправо, то влево, фигура, точно втиснувшись меж двух домов, изникла из глаз. Но в гравюрном абрисе исчезнувшего лица, в лбе, вквадратенном в прямоуглый, с опадающими к плечам складками, убор, было что-то до странности знакомое, веющее тлелым запахом старых, исчервленных книг. И Квантин, убыстряя шаги, бросился вслед. Это был переулок. Глухой, под двойным перекровом теней, он скользил прямо, потом вкось. Ныряя вслед за фигурой меж стен, Квантин успел поймать глазами сворачивающую за угол черную спину и острый выступ локтя, вздергивающего черный подол. Нагоняемая памятью и человеком, фигура зачастила еще быстрей. Но шаг нагонявшего был шире и сильнее. Подгибаясь на слабнущих складках, сутана метнулась от глухой стены к стене, потом, как мышь, настигаемая когтями, остроносым оскалом навстречу: на злобно и вместе с тем испуганно вытянувшейся из-под воротника шее кровавилась узкая, в лезвие толщиной, от кадыка к затылку, щель. «Мор», – вскрикнул Квантин и, точно споткнувшись об имя, стал. Томас Мор, не роняя ни мига, бросился к ступенькам, сбегающим в какой-то подвал. Не слыша за собой шагов, он обернулся еще раз и оглядел чужестранца. Сухой палец его распрямился восклицательным знаком, и нити губ шевельнулись:

– Полезный гигиенический совет: не занашивать головы на плечах. Сначала – под мысль, потом – под топор. И в расчете. Разумею: голова с главой.

Прежде чем Квантин успел раскрыть рот, створы подвала сжались. Подойдя ближе, он мог рассмотреть лишь повисшую над пустыми ступенями старую тяжелоуглую вывеску. Буквы ее, полусъеденные ржавчиной, говорили:

ОПТОВАЯ ПОСТАВКА УТОПИЙ. ФИРМА С… –

цифры были стерты о время до неразличимости.

«Да, если этот у них заведует экспортом утопического социализма, то…» – Квантин опустил уже ногу вслед за опадающей ступенькой, но внезапный шум заставил его насторожиться: прямо на него – по извилистому руслу переулка – двигался хор стеклистых пузырчато вздувающихся и звонко лопающихся звуков, какой-то нестройный, но весело булькающий и клекчущий оркестр. Еще минута, и сквозь поющее стекло ровный топ и притоп ног, затем метнувшееся из-за поворота древко знамени, а там и само шествие. Сперва Квантин ухватил взглядом качающийся на шестах лозунг: СЛАВА ВСЕМ НЕПРОБУДНЫМ, затем и тех, кто шел не менее шатким шагом за буквами лозунга. Оркестр двигался беспорядочной, как куча листьев в ветре, массой; из ртов музыкантов торчали поднятые кверху стеклянные бутыли без дна; щеки их, раздутые дутьем и отеком, выбрасывали сквозь вливающуюся пьяную влагу звонкий марш лопающихся пузырей. Навстречу непустеющим стеклянным раструбам торчали пурпурные вздутые эрекцией желания носы. Процессия, хватаясь сотнями ладоней за стены, шла, роняя тела, как длинная и скользкая многоножка, любящая узкие и сырые

щели.

Несколько минут Квантин с брезгливым любопытством шел за процессией, думая, что она не случайно, вероятно, выбирает переулки поуже, где легче просить помощи у стен, но длинное мелкобуквое объявление, выставившееся нежданно с одного из камней, пододвинувшихся к самым глазам, задержало внимание, а с ним и шаг. Объявление тоном корректной, не слишком навязчивой рекламы напоминало о преимуществах так называемых *тяжелых снов*. Мозг приезжего, однажды уже наткнувшийся на эту тему, внимательно вбирал – строка за строкой – влипшее в камень мелкобуквье. «Основное преимущество тяжелой индустрии кошмаров, – зазывало мелкобуквье, – перед легкой – из золотых нитей, вонзаемых в канву мозговых фибрил, – продукцией и т. н. приятных сновидений в том, что, сбывая кошмары, мы можем гарантировать их *сбываемость*, можем вручить покупателю «сны в руку». Легкий сон не выдерживает трения о действительность, сонная греза изнашивается быстрее носков, связанных в одну нитку, в то время как полновесный тяжелый сон просто, но хорошо сработанный кошмар, легко ассимилируется с жизнью. Если не отягченный ничем сон исчезает, как капля в песке, то видение сна, несущее в себе некую жесткость и твердость, испаряясь под солнцем, оставляет на своде пресловутой платоновской пещеры свое жесткое зерно: осадок нарастает на осадок, постепенно нависая сверху мечевидными сталактитами.

Но если говорить более современными терминами, – подставило мелкобуквье новый абзац, – то давящие сверху на мозг кошмары, вырабатываемые нашей фирмой, постепенно срастаются в своего рода моральный потолок, грозящий каждую минуту рухнуть на голову: некоторые из наших потребителей называют это, кажется, всемирной историей. Дело не в названиях, а в прочности, беспробудности и высокой депрессивности и вместе с тем общедоступности наших кошмаров, что может достигаться лишь широким массовым потреблением, рассчитанным на все эпохи и классы, на ночное и дневное сновидчество, при луне и при солнце, с закрытыми и открытыми глазами», – Квантин хотел читать дальше, но нижний край листа был оборван – вероятно, кем-нибудь из проходивших пьяниц. Оторвавшись от текста, он вслушался: гимн непробудных звучал издалека и еле внятно. Боясь заблудиться, он пошел вслед за отголоском. Но навстречу – развилье двух тесных улиц. Вправо или влево? Квантин двинулся наугад и вскоре увидел, что ошибся. Улица, выгибая каменные ребра, уводила прочь от шумов и звучаний. Вместо щелистых жабр жалюзей – глухой затиск ставень. Казалось, забреди сюда случайная волна звука, и та будет скользить, пригибая свои извивы и пугливо отдергиваясь от ушных раковин. Квантин покорно прибавлял к шагу шаг. Ни перекрестка, ни встречи. В мускулы входила усталость, в виски терлась тяжелеющая кровь.

Вдруг из-за поворота негромкий, но внятный шум. Кван-

тин стряхнул с мозга усталость, как пыль со шляпы, и жадно бросился навстречу. Дверь в одной из стен была распахнута на улицу. Возле ступенек – телега на остановленных ободах. Несколько человек, молча подымающихся и опускающихся по ступенькам, грузили люлькообразное днище мягко вздувающимися один над другим тюками. Нетрудно было узнать с первого же взгляда: это были подушки, четырехрогие, жирные, влипшие пуховыми животами друг в друга подушки. Квантин приблизился. Человек в зеленом фартуке, цедивший дым из своей трубки, изредка разжимал зубы для короткого приказания, и гора подушек быстро росла. Увидев постороннего, человек повернулся трубкой навстречу его взгляду:

– Да-с, с делом поставки снов спать не приходится. Работаем. Недреманно. Хорошо проснённая подушка – старое, обслуживающее миллионы изголовий орудие грезопроизводства. Достаточно легчайшего прикосновения к пуху, спрятанному под наволочкой… и вот – не угодно ли?

Человек, отерев ладонь о фартук, притиснул ее к одному из вздутий. И тотчас же – сквозь прощелки пальцев – легкий пестрый дымок, медленно склубливающийся в какие-то неясные и шаткие контуры. Свободная рука мастера нырнула под фартук, и перед Квантином вспучился прозрачный глаз лупы.

– Так будет виднее.

Вщуриваясь сквозь стекло, он ясно теперь видел: из по-

душки, выдавленные ладонью, высачивались образы людей, деревьев, свивающихся спиралей, тел и реющих одежд; казалось, пестрый воздух, качающийся над пальцами, сделался решетчато раскрытым в множество текущих друг сквозь друга миров.

Мастер отдернул лупу:

– Ну вот. Что такое перья, полнящие эти вот дутыши? Крыло, разорванное на многое множество крохотных крылатостей, взлет, раздерганный в пух. Зашитые в подушку, эти крохотные крылатости бьются внутри ее, пытаясь освободиться и взлететь ввысь. Это им не удается, они тщетно распирают подушку, пока чей-нибудь мозг не подставит себя под атомизированный взлет, и тогда… Что же касается до склонности человечьего мозга к общению с подушками, то она вполне естественна: они, я бы сказал, в родстве – подушка и мозг. Ведь в самом деле, что у вас под макушкой? Так – серо-белая, пористо-перистая мякоть, обернутая в три наволочки. (Ваши ученые называют их оболочками.) Да, я утверждаю, что в головах у каждого спящего всегда на одну подушку больше, чем он думает. Незачем прибедняться, дас. Трогай.

Последнее слово, очевидно, относилось к телеге. Лениво шевеля спицами, она двинулась с места, укачивая на рессорах груды проснённых подушек. Квантин, прикоснувшись к полям шляпы, хотел вслед за ободами, но человек в зеленом фартуке удержал его:

– Пройдем на минуту. Не зацепитесь за порог. Вот. Теперь я покажу вам нашу последнюю модель, somnifera ultima [83], замаскированный тип подушки.

Он дернул за шнур, одна из перегородок склада опустилась, и изнутри по склону хлынули черным потоком вспученные, прыгающие четырехуглиями через четырехуглия портфели.

Рука мастера выхватила один из напруженных концов портфеля:

– Вот, не угодно ли: усовершенствованное подмыслье. Впрочем, у вас уже есть – ага, узнаю нашу марку. Ну вот. Чернокожаная наволочка, набитая цифрами, проектами, графиками, итогами и перспективами, – это, я вам скажу, большой шаг вперед по сравнению с обыкновенной дедовской постельной подушкой. Никаких матрацев, выключенного света и прочих прочестей. Вам незачем даже утруждать голову и прятать зрение под веки. Стоит лишь сунуть вот эту штуку под локоть, и вы, не меняя даже вертикального положения на горизонтальное, с раскрытыми глазами, при ярком дне, погружаетесь в глубочайший сон: вам снится, что вы деятель, вершитель, общественник, измыслитель новых систем – и портфелевидная подушка, выпруживаясь из-под локтя, толкает из снов в сны. Вздуваются: печень – честолюбие, наконец, мозг – он распяливается вширь, последние мозговые извилины и морщины на нем выравниваются, он

---

[83] Наводящую последний сон *(лат.)*.

делается гладок и чист от мысли, как хорошо взбитая подушка. Вот-с. Правда, мы делаем пока лишь так, первые опыты с подлокотной подушкой. Не более. Но результаты таковы, что и сейчас нетрудно предсказать: в технике убаюкивания будущее принадлежит портфелю!

Выходя из склада, Квантин заметил, что голубой воздух улицы стал чуть синее и сумрачнее. Оглядевшись по сторонам, он двинулся дальше. Вскоре узкая улица влилась, как ручей в озеро, в круглую, в крутых берегах из домов площадь. Взгляд Квантина сразу же притянулся к средине площади, занятой всхолмьем газона: здесь, под прозрачными ветвями фонтана, росли, густо кустясь, маки; их широко раскрытые, влажно-кровавые губы выдыхали пряный опийный аромат. Вкруг газона – тесно составленные скамьи; на скамьях плечом к плечу – склоненные фигуры; лица, упавшие в ладони, опадающие к плечу головы, свесь рук, рты, разжатые навстречу пурпурным ртам мака.

Квантин, утишая шаги, подошел ближе. Острый запах проникал сквозь ноздри в мозг. Притягиваемый алыми пятнами мака, он хотел сделать еще шаг, но чья-то рука тронула его за локоть. Человек в маково-красной куртке с разползшимися во весь глаз зрачками предупреждающе улыбнулся:

– Посторонним воспрещается. Отойдите.

– Я не понимаю…

– И понимание строжайше воспрещено. Сновидения не лишены права видеть сны. Не так ли? Отойдите.

Но в это время легкий ветер качнул стебли маков, их выдохи задели о мозг, и Квантин не успел отшагнуть: маковая пыльца – под ударами воздуха, – оторвавшись сквозистым облачком от стеблей, заскользила над землей. Охваченное воздухом облачко быстро оплотневало и обрастало контуром; нижний край его коснулся земли – и Квантин с изумлением различил нагую тонкопалую ступню; над ступней выклубились колена и излучия бедер; какие-то неоформленные хлопья трепались еще вкруг вычертившегося женского тела, но последним ударом воздуха их свеяло прочь, и фигура, ведомая ветром, безвольно заскользила вперед. Квантин, боясь выронить из глаз хотя бы единый блик, шел, тая дыхание, позади. Женщина, не оборачивая лица, медленно, как туман вдоль скал, скользила мимо сомкнутых дверей. Квантин осторожно, стараясь быть неслышимым, учащал шаг. Они уже были близко друг к другу, его дыхание нагоняло ее плечо, как вдруг одна из дверей с шумом открылась. Резкий сквозняк ударил по телу видения, спутывая и комкая ее формы; на миг стало видимо запрокинувшееся – в муке исчезновения – лицо, распростертые руки и тающая грудь. Прежде чем Квантин успел броситься на помощь, пред ним не осталось ничего, кроме пустого воздуха.

Створа двери, убившей фантом, продолжала оставаться открытой, как бы приглашая войти. Квантин поднял голову – над дверью чернела четкая надпись:

ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ НОЧНЫХ ВИДЕНИЙ.

Он вшагнул внутрь. Ступени, ведущие извивами спирали вверх, были пусты; откуда-то из-за стен слышался ровный, изредка останавливаемый паузами голос. Очевидно, занятия начались. Ступеньки выводили на хоры. Здесь было пусто и полутемно. Квантин подошел к перилам и заглянул вниз. Высокая чинная кафедра. Над ней – круг неяркого света, напоминающий медленный разряд Круксовых трубок. Под спадом лучей голый, с вспузырившейся шишкой над теменем, затянутый в потную, разблескивающую рефлексы кожу череп. Свесясь с кафедры к нескольким десяткам внимательно наставленных лбов, череп методически раскачивался в такт словам:

– Итак, для нас выяснилось, для них выяснилось: наступает момент, когда царству снов надо перейти в наступление. До сих пор мы принуждены были ютиться меж двух зорь, меж расцепа нейронов, в темных щелях, в какой-то там «трети жизни». Эта треть, уступленная нам их солнцем, достаточно третирующа. Подушкам и головам давно пора обменяться местами. Если до сих пор, в течение стольких тысячелетий, мы позволяли их ртам храпеть на подушках, то теперь мы заставим их захрипеть под притиском подушками. Это, конечно, образ, не более. Но суть в том, что пора кончать. Пора. Миллионы наших ночей накопили достаточный запас снов, чтобы противопоставить их армии фактов, напасть на факты и обратить их в бегство. Боевая задача схематизиру-

ется так: загнать явь в «я» и отрезать «я» все «в», так сказать, отстричь солнцу его лучи наголо, предварительно, разумеется, усыпив его, как в свое время было сделано с Самсоном. О, людям и не грезится о том, чем им грозят сны! То, что происходило до сих пор, было лишь глубокой разведкой, схваткой голов с изголовьями. Нам удавалось, ударив тьмой, опрокидывать и пластать противника, но лишь на короткие часы, не более. С каждой зарей мы попадали под миллионы раскрытых зрачков и принуждены были отступать назад, в ночь. Противник наш силен, – незачем скрывать это, – он знает технику творческих бессонниц, зорок, предприимчив и переимчив. Так разве не у нас усвоил он искусство – нападать на лежачего?

Но теперь ситуация резко меняется в нашу пользу. Еще Паскалю удалось точно отграничить мир действительности от мира снов. «Действительность, – утверждал он, – устойчива, сновидения же – шатки и изменчивы; и если б человеку снился всегда один и тот же сон, а пробуждался бы он всякий раз среди новых людей и нового окружения, то действительность показалась бы ему сном, а сон получил бы все признаки действительности». Яснее не скажешь… Но каждому – и им и нам – не менее ясно: действительность с Паскалевых времен много утратила в устойчивости и неизменности, и события последних лет качают ее, как волны палубу; утренние газеты чуть ли не каждый день дают пробуждениям новую действительность, в то время как сны… разве не

удалось нам уже и сейчас унифицировать сны, разве не навеяли мы человечеству сладчайший миллионномозгий сон братства, единый сон о единении. Знамена цвета маковых лепестков колышутся над толпами. Действительность защищается. Но выхлынувшее наверх подполье не боится раскала ее солнц. Глаза спящих под щитами век. То, что вчера еще было утопией, сегодня стало наукой. Мы сломаем факты. Мы разобьем наголову всех их status quo [84]: вы увидите убегающие статусквовые спины. Если «я» восстанут против *мы*: в ямы, в колодцы с кошмарами, мозгом о дно. Мы спрячем солнце под черные пятна, мы погрузим весь мир в бездвижный непробудный сон. Мы усыпим самую идею пробуждения, а если пробуждение будет противиться, мы выколем ему глаза.

Голая макушка говорившего свесилась с кафедры навстречу ближе сдвигающимся лбам:

– В этот час неслышно вступающей ночи, когда уши наших врагов затиснуты подушками, я могу снять печать с одной тайны. Слушайте: когда реальность будет наконец повержена, когда мы увидим ее слепой и бессильной, в путах неразрывных снов, тогда мы, выполняя свой издавна таимый план…

Голос лектора, не теряя четкости, звучал теперь точно из-под притиска сурдины. Квантин, пододвигаясь навстречу близящимся словам, подал туловище вперед, упираясь лок-

---

[84] Здесь: позиции *(лат.)*.

тями в перила хор. Притягиваемый словами, он забыл о своем портфеле: высвободившись из-под отодвинутого локтя, набитая бумагами кожа, внезапно выскользнув из-под плеча, описала дугу в воздухе, задела о колпак лампы, ткнулась в выступ кафедры и, перекувырнувшись, с громким шлепом разлеглась на полу. Свет метнулся от стен к стенам. Протянутая рука оратора застыла в воздухе. Все лбы вскинулись кверху:

– Лазутчик. Шпион. Держите.

Квантин понял: каждая доля секунды на счету. Мускулы рванули его тело. Ударяясь пятками о спирально падающие ступени, он слышал бегущие наперерез голоса: «Закрыть все выходы» – «Обыскать хоры» – «Скорей». Квантин, перебросив ногу через поручень, рискуя сорваться в пролет, скользнул по спиралям вниз и, опережая близящийся топот, выпрыгнул на улицу. Не далее сотни шагов был перекресток. Квантин, сломав линию пути, нырнул под какие-то низкие ворота: двор; снова ворота; еще один многоугольник двора: улица. По счастью, проход оказался сквозным. Квантин замедлил шаги; и только дыхание его продолжало бег частыми вспрыгами вдохов. Осторожно разглядываясь по сторонам, он увидел, что город торопливо переодевается из голубого воздуха в черную рабочую одежду ночи. Под фонарными дугами, сгорбившимися над улицей, кружили стеклисто-прозрачные катушки, с них сквозисто-черными нитями сматывалась тьма. Черные нити-лучи постепенно заполня-

ли все пространство, и смутно различимые кружащиеся тела фонарей были похожи на испуганных каракатиц, выделяющих сепию. Это было на руку выскользнувшему из капкана «лазутчику». Слово это, внезапно вброшенное в слух, звучало теперь для Квантина как отщелк ключа, как пароль в явь, больше – как лозунг, осмысляющий все страхи, блуждания и опасности здесь, в паутине улиц города, экспортирующего сны. «Лазутчик», – беззвучно артикулировал он, чувствуя, как слоги смешиваются с улыбкой, первой улыбкой, выглянувшей на поверхность губ здесь, среди тесных стен фабрики кошмаров; девятизвучье пульсировало, припадая к ударам сердца. Да, лазутчик, он выследит все извивы их замыслов, он разорвет, хотя бы ценою гибели, все это черное миллионоузлие, он остановит эти проклятые катушки, сматывающие ночь. «Кто это сказал, кажется, какой-то немецкий гелертер: „О, если бы день знал, как глубока ночь“. И день узнает, промерим по самое дно, не извольте переворачиваться в гробу, герр. Не будь я шпионом дня!»

И ему представился вдруг – здесь, в бессветном городе ночи, – его дневной, залитый солнцем мир: колыхание полей, протягивающих вызолоченные лучи навстречу колосящемуся золотом солнцу; сизая пыль, пляшущая вкруг колесных спиц; яркие спады кровель и краски одежд, смешивающиеся на площадях, как на гигантских палитрах; румянец щек, красные ленты лозунгов над колыханием толп и после глаза, человеческие глаза, окольцованные радужью, весело щу-

рящиеся из морщинок на солнце, а здесь… Квантин почувствовал сцеп судороги вкруг горла и сжал кулаки.

Темнота, будящая сов и летучих мышей, разворошила недвижье города снов. Улицы, еще так недавно мертвые, как дорожки кладбища, были полны теперь всевозрастающим оживлением. Жалюзи уползли вверх, обнажая черные дыры окон. Лишь кое-где за их открытыми рамами затлевал и ник мутный гнилушечий свет. Створы дверей, распахиваясь, как крылья ночных птиц, начинающих лет, выбрасывали в улицы торопливые силуэты людей.

Очевидно, подходил час ночной страды, и заготовщики видений, кошмароделы и экспедиторы фантомов торопились на работу. Сутулящиеся молчаливые контуры их ныряли в щели ворот, вдавливались в землю по ныряющим в подвалы ступенькам. Одни из ворот были оставлены приоткрытыми. Никто не входил и не выходил из-за их створ. Квантин, оглянувшись, нет ли слежки, сунул голову внутрь: вдоль длинного двора тянулся ряд круглых колодезных ям; отверстия их были придавлены массивными конусовидными заслонами, издали они могли бы напомнить гигантизированные крышки чернильниц. Вокруг одного из колодцев, то припадая к земле, то распрямляясь, двигалось несколько фигур. Конус, под давлением их плеч медленно вращаясь, осторожно высвобождал зажатое горло колодца с кошмарами. Еще один поворот – и… за спиной Квантина послышались шаги. Он быстро перешел на другую сторону улицы и продолжал путь,

стараясь выбирать самые затененные места. Окно, мимо которого он проходил, полуспрятанное в подвал, светило ярче других. Из-за его решетки слышалась негромкая, будто придавленная землей, музыка. Наклонившись, сквозь решетку окна можно было видеть цепкие спирали какого-то растения, ползущего с подоконника на панель, и мельканье смычкового асика, длинными стежками вшивающего в воздух мелодию. Он узнал ее с первых штрихов – это была та, потерянная и отысканная в нервюрах переулков песнь воздушных проводов:

УМЕРЕТЬ-УСНУТЬ: «ЗА ВЛАСТЬ ПОЭТОВ».

Квантин прислонился плечом к стене и слушал. Он не мог понять, что это: печаль или просто усталость. Вдруг – чье-то легкое касание к ладони опущенной руки. Отдернул руку. И снова – еле ощутимое. Квантин нагнул голову к окну: спиральная выгибь плюща, дотянувшись ворсинчатыми усиками до его ладони, униженно и робко напоминала: без слов – без слов – без слов.

Квантин взглянул вдоль улицы. В перспективе ее вычерчивалась гигантская арка. Он двинулся прямо на нее.

Перебежка цепи огней, вспыхивающих из-за арочной фермы, и приглушенные, но длинные свистки предсказывали: вокзал. Внимание Квантина стало упругим и стянутым. Наконец-то. Теперь он увидит товарные рампы для отправки сновидений. Погрузка кошмаров, транзит образов, обер-

нутых в ночь, – вся техника экспорта фантомов раскроется перед ним.

Через минуту над головой его плыл легкий скелет арки, а под ногами стеклился зеркальными отливами слегка наклонный, падающий вперед пол: в нем отражались и скрещения ферм, и суета движущихся вкруг локтей и спин, и синие точки звезд. Боясь поскользнуться, Квантин осторожно переставлял ступни, тормозя влекущую вперед силу наклона. Внезапно протянутая вперед ладонь наткнулась… на воздух.

Да, это был воздух, неясно очерченная пустота, которая, однако, противилась толчкам и не пускала вперед шаги.

– Осторожнее, – рука человека в серой блузе легла поверх его руки, – кой черт, этак вы разобьете нам все цели жизни. Партия целей высшего качества. Этикет: этика. А вы тычете ногой, как в мешок с песком.

– Н-да, – подтвердил голос из-за спины, – товар на любителя. Цель – это не всякому по средствам.

И, подчиняясь жесткой и сильной руке, Квантин обошел тюк с прессованной пустотой. Глаза его, искавшие разгадки, наткнулись на буквы, лепившиеся над понурой низкой дверью:

БЮРО ОНЕВИДИМЛЕНИЯ.

Наученный событиями, он понял: сны, как тати притчи, приходят невидимо, прокрадываются под лбы, стараясь разминуться с глазами, и лишь там, под черепным кровом, в

безопасности, разлегшись на мозгу, сбрасывают с себя невидимость.

И действительно, под гигантскими дугами вокзальных ферм нельзя было рассмотреть ничего, кроме ряда наклоненных спин, топырящихся локтей и напруженных плеч, которые, упершись в воздух, проталкивали его сквозь воздух. Это было довольно странное зрелище, отвлекающее мысль от рампы вокзала к рампам театров, – но, когда Квантин опустил глаза вниз, ему трудно было удержаться от вскрика: зеркальная гладь пола швыряла в зрачки мириады самых причудливых контуров, взблесков, пересыпь искр; очевидно, бюро оневидимления, незримя товар, оставляло ему в виде некоей оптической тары способность отражаться. Квантин, отдернувший было глаза от пестрого потока окружений, принужден был, преодолевая испуг, все чаще и чаще взглядывать вниз. Стеклистый наклон, вначале еле заметной пологой серебряной стланью торопивший шаги вниз, становился все круче и круче. Подошвы ног, точно лыжи по снежному скату, переходили из шага в бег, из бега в скольз. Не за что ухватиться; внизу – поток отражений, вокруг – воздух и сны. Блузы рабочих мелькали все реже и реже. Быстрящееся реянье пестрот. Квантин и не заметил, как очутился за пределами станции. Ловя глазами пустое пространство, он увидел наконец впереди фигуру, фигура подымалась навстречу, изредка припадая на ладони и тяжело волоча свою левую ногу вверх по наклону. Квантин, налетев сверху, схватил хромого

за плечо, едва не сшибив его с здоровой ноги.

– О, чтоб тебе увидеть солнце! – выругался тот, подымая испуганное, серой блузе под цвет, лицо. – Правый присос отскочил в тартарары. А тут еще тебя принесло, чтоб тебе солнцем в глаза. Пусти.

Но Квантин, сшибленный ударом локтя, успел ухватиться за свисающую ногу рабочего; теперь он видел: под правой ступней сероблузого вспучивалась колоколообразная полая подошва, напоминающая резиновый наконечник стрелы, выбрасываемой пружинным пистолетом; налипая пустотой на поверхность наклона, ступня сейчас с трудом удерживала два сцепленных страхом тела.

– Пусти, – рабочий сделал усилие высвободиться, но пальцы Квантина ползли по свисающей ноге; ему удалось уже уцепиться за край серой блузы, когда сверху – прямо в межглазье – упал удар; пальцы Квантина разжались, роняя тело.

Теперь уже не было надежды. Он скользил вниз и вниз с нарастающей скоростью. Под ним – по зеркальному скату – неслись пестрые стаи отражений. Быстрота была такова, что он уже не различал их контуров: вихрь слепящих пятен рушился вместе с ним в пустоту. Он хотел вскрикнуть, но несущимся навстречу воздухом забивало рот. Лишь мгновеньями он видел свое разорванное лётом отражение в раскаленном серебре наклона. Какой-то невидимый тюк ткнулся о темя. Вниз и вниз. И вдруг впереди – плотиной поперек сереб-

ряного спада – стена, неподвижная каменная толща, быстро близящаяся навстречу его несущемуся, как бессильная щепа в крутенях водопада, телу. В одно мгновенье он представил себе свою мозжащуюся о камень голову и разбрызг мозга. Стена, раздвигаясь вширь и ввысь, беззвучно неслась навстречу сшибу. Лучше не видеть. Стиснуть веки и… Но что-то острое и светлое, как лезвие ножа, втиснутого под тугую покрышку, насильно расщепляло веки; уступая, он раздернул их – и тотчас же яркий дневной свет вхлынул в зрачки.

Прямо напротив, в метре от глаз, – желтая вагонная стена. Сверху – подоткнутые железом полки. Квантин поднял голову с доски и, щуря глаза, огляделся по сторонам. Поезд стоял. В проходе – спина носильщика, придавленная тюком, за пыльным окном – знакомая стеклянная навесь Московского вокзала. Упершись ладонью в скамью, он все еще медлил включиться в день.

Пора. Он сбросил ноги со скамьи и протянул руку к портфелю. Что такое! Ладонь ткнулась о дерево – портфеля не было ни в изголовье, ни у стены. И тотчас же сквозь память: сумеречные хоры – синий свет – вытянутая рука лысоголового – и падающий вниз, к тем, четырехуглый черный портфель. И вслед – новым оборотом карусели – один за другим – окружившие образы ночи.

– Снесем?

Квантин, вздрогнув, поднял голову. Над фартуком и бляхой – веселое, в веснушках и капельках пота лицо.

– Портфель вот от вас сбежал. Ишь куда его затрясло, – носильщик нагнулся, вытащил забившийся за ножки скамьи портфель и отер с него фартуком пыль, – потяжелей чего не найдется? Снесем-с.

– Спасибо, – пробормотал Квантин, – я сам. – Он продолжал сидеть с портфелем поверх колен. Спина носильщика скрылась за перекрытиями полок. Вагон пустел. Снаружи, прыгая с обода на обод, вдоль неподвижного поезда странствовал нежный молотковый постук. Квантин опустил на портфель ладонь и осторожно притиснул: меж пальцами – воздух. И только. Он резко встал и направился к дверям. Со ступенек вагона медленно ползал неповоротливый, лениво ворочающий сбитыми углами заузленный в веревки запоздалый тюк. «И все-таки, – подумалось Квантину, – единственно возможная техника подмены светлой карты черной, дня ночью – это стремительность, мгновенье, умеющее быть быстрее „мгновения ока“.

# Тридцать сребреников

*И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился.*

*Первосвященники, взявшие сребреники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную; потому что это цена крови».*

*Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников.*

*Посему и называется земля та «землею крови» до сего дня.*

## I

Этими четырьмя стихами берусь накормить дюжину томов и развернуть их в десяток авантюрных романов. В самом деле, пересмотрим образы: горсть монет, брошенных на плиты храма; удавленник в петле; корыстолюбец-горшечник, не слишком принюхивающийся к запаху денег; эффектное заглавие – «Цена крови»; кладбище для расстранствовавшихся странников; наконец, мастерски сделанный последний стих, который, взяв квадрат земли, отчужденный под покойников, за четыре ее конца, растягивает кладбище до… Ну, это уж будет зависеть от того, реалист, символист или романтик возьмется за разработку темы.

Я давно уж брожу вокруг третьего стиха цитаты и однажды вошел в него, но не через те двери: я постарался представить себе отмер земли, иссохлой и расщеленной зноем, под порослями сухоиглых тернов, локтей сто на сто или около того; вокруг пути и тропы, паутина дорог, поставляющая отстранствовавших странников. Тут тема задавала мне вопрос: почему первосвященники, приобретая землю под кладбище, заботились исключительно о чужестранцах, а не о своих, не о иерусалимлянах, или, наконец, не о своем первосвященничьем часе. Стих четвертый разъяснял: цена крови. Первосвященники, ведшие процесс против Иисуса с тонким знанием канонического права, и в данном случае не заслуживают упрека в бесхозяйственности: никоим образом нельзя зарывать в опоганенную кровью землю своих, ну а с чужими можно не церемониться. Но дальше тема начинала морщить: ведь странников было много, а земли мало, трупов прибывало, кладбища – нет. Таким образом, земля крови, как бассейн без отливных труб (таких ни в одном задачнике не бывает), слишком скоро наполнялась по самую ограду и тема застопоривалась; приходилось прибегать к призракам, бродящим над могилами, апеллировать к непоседливости странников, которые даже и в могилах не могут, мол, лежать спокойно до судной трубы, одним словом, пускаться на обветшалые романтические трюки, которые ни цензура, ни хороший вкус (редкое совпадение!) не пропускают.

Тогда я, обойдя стих кругом, вошел в него через «купи-

ли» и выбрал в герои тридцать сребреников: это неромантично, звонко, доступно счету и относительно нетленно. Ведь в самом деле, кто и что осталось от евангельской истории о смертях: одного распяли, другой повесился, третьих, говорю о странниках, одного за другим врыли в землю крови. В обращении остались лишь тридцать звонких монет: за ними, куда бы ни покатились сребреники, пойдет мой рассказ. Начинаю.

# II

Сребреники как сребреники: гладкий круглый край, четкий оттиск цифр, металлически острый голос. Но, очевидно, было в них вчеканено нечто, свойственное только им, тридцати: сребреники, купившие успокоение странникам, сами были странниками, не знающими успокоения, – вчеканенный в них сребреный зуд отдергивал их от пальцев к пальцам, перебрасывал из кошельков в кошельки, пока не… но давайте по порядку.

Каиафа отдал их Иуде; от Иуды они тотчас же вернулись в сокровищницу Каиафы; но она не приняла их, – и деньги перешли к горшечнику. Горшечник, замотав все тридцать в тряпицу, зашагал не спеша из улицы в улицу, направляясь к северным воротам; жил он в Прииерусалимии, за городской стеной, и к закату рассчитывал добраться до своей лачуги. Но сребреникам не лежалось под тугим узлом, и, свернув в харчевню, горшечник размотал тряпицу. Сначала он выпил на один сребреник, потом на другой, – и все тридцать, весело звеня о прилавок, перекатились от горшечника к трактирщику. Тут, соблюдая традиции легендописцев, легко было бы сочинить, что горшечник спрашивал белого вина, но ему приносили красное, с привкусом крови и т.д. и т.д., – но так как я не сочиняю, а рассказываю подлинную правду, то мне придется ограничиться сообщением, что до ворот гор-

шечник дошел, хватаясь руками за городскую стену; за воротами не за что было хвататься, кроме как за землю, что горшечник и не преминул сделать. Утренний холод разбудил его: голова была налита свинцом, в руках – ни сребреника.

# III

Но сребреный зуд, вчеканенный в тридцать, только-только начинал свое странствие с ладони на ладонь, из пальцев в пальцы. Трактирщик, получив сребреники, стал дожидаться новых. Но тут оказалось, что тридцать сыграли с ним плохую шутку. Когда завсегдатаи харчевни узнали, что выручка за кровь пророка, – об этом только и было речи в те дни в Иерусалиме, – попала в кассу заведения, в котором они угощались, – тотчас же, повыплескивав вино из чаш, они стали расплачиваться и требовать сдачи. Хозяин придвигал им сребреники – кому один, кому два, а кому и более; но набожные пьяницы подняли крик:

– Цена крови.

– Нечистые деньги.

– Давай другие.

Трактирщик клялся, что это и есть другие, но так как все сребреники одинаковы, то посетители харчевни, приглядываясь к монетам, недоверчиво покачивали головами и требовали других и других. Монеты прыгали из пальцев в пальцы, стукались о столы и скоро, спутавшись – чистые с нечистыми, – в бешеной сребреной пляске кружили от стен к стенам. Потом скамьи опустели и хозяин долго ползал по полу, сгребая в кучу свою расползшуюся кассу.

Прошел день и еще день: ни один человек не переступил

порога харчевни. Вино, заждавшись гостей, стало киснуть. Сняв крышку с глиняного сосуда, хозяин зачерпнул и попробовал: как оцет.

– Проклятый горшечник, – пробормотал он и решил действовать. Открыв кассу, он стал, вздыхая и причитая, отбирать те тридцать: трактирщик помнил, что монеты горшечника были не истерты и новы, только что из чекана. Но все же он тотчас же запутался в сребреной груде; прибирая монету к монете, несчастный получал коллекцию то в двадцать девять, то в тридцать один сребреник: те или не те – как докажешь?

Тем временем горшечник, проспавшись, вернулся восвояси и снова стал лепить свои горшки. Но не прошло и трех дней, как дверь его лачуги раскрылась и вошел трактирщик. Швырнув на пол сребреники, он сказал:

– На все тридцать.

И, подняв палку, стал бить горшки. Изредка он останавливался и, отирая пот, спрашивал:

– Ну что, много еще? Почем амфора? Два дидрахма: ч-чах! А эта? Полсребреника. Отсчитай: дз-зинг! Светильник. Пять динариев? И светильник. Р-раз!

И, кончив расправу, трактирщик швырнул поверх черепков палку и повернул спину.

– Эй, господин! – закричал ему горшечник вслед. – Вы не добили на десяток лепт. Мне не нужно лишнего. Получайте!

И в спину трактирщику полетела глиняная миска.

Вернувшись домой, трактирщик ждал, что дела его пойдут по-старому. Столы были чисто вымыты, в кувшинах пенилось новое вино, двери были настежь. Но никто не переступал порога харчевни. Суеверный трактирщик снова стал рыться в монетной груде: не запрятался ли там еще один из проклятых тридцати? Многие из сребреников казались подозрительными, – он отбирал их – один за другим – с тем, чтобы раздать нищим. Но нищие, знавшие, откуда к трактирщику пришли сребреники, отказывались принять подаяние. Он отнес деньги блуднице, но и та не захотела продать ночь за цену крови. Поздно ночью он бросил деньги на дорогу. Но и это не помогло. Несчастье не покидало дома. «Может быть, из-за какого-нибудь одного?» – подумал трактирщик и снова стал разглядывать, испытывая на звон и на глаз оставшиеся монеты. И с наступлением новой ночи новая горсть сребреников упала в прах дорог. Неизвестные монеты находили странники, с рассветом начинавшие свой путь, крестьяне, подвозившие еще с ночи к городу продукты: опоганенное серебро расползалось по кошелям и сумам, по городу и миру. Посев Иуды обнаруживал некую всхожесть. А несчастный трактирщик, расшвыряв почти все свои деньги, разбил свою голову о стенку, как если б и она была грошовым горшком. И очень хорошо сделал, так как, останься он в живых, история моя о тридцати сребрениках растянулась бы на тридцать глав и стала б подозрительной по романтизму и, пожалуй, даже мистике. Поэтому, покончив с трактир-

щиком, пора перейти из эпизода в эпизод: от размозженной головы к битым горшкам.

# IV

Горшечник сгреб черепки в кучу и выбросил их за порог; собрал сребреники, но за порог их не выбросил, а стал думать, куда сбыть нечистые деньги. Трактирщик, наверное, раззвонил всюду о случившемся. Надо переждать. Но не прошло и дня, как в дверь к горшечнику постучался пристойного вида старик, который, оглядевшись по сторонам, спросил:

– Те тридцать у тебя?

– Какие тридцать? – притворился недоумевающим горшечник. – А если б и были, что кому до них?..

– Плачу за тридцать двадцать. Больше никто не даст.

Поторговались. Сошлись на двадцати пяти. Первая в мире валютная сделка – состоялась. Старик, стараясь не дотронуться пальцами до сребреной нечисти, подставил под тридцать монет кожаный мешок, стянул его в три узла и, поклонившись изумленному горшечнику, скрылся в сумерках.

Придя в свой дом, набожный старик омыл руки и прочел очистительные молитвы. А наутро тридцать сребреников пересыпались из кожаного мешка в холщовую суму мытаря, пришедшего за сбором податей.

# V

Мытарь, получивший под расписку сребреники, был тем самым «добрым мытарем», послужной список которому может заменить притча. Это был честнейший человек, которого знала и уважала вся округа. Погоняя голыми пятками своего осла, он ездил от дома к дому, вызванивая колокольцем налоги и недоимки. За десятки лет своей работы он не утаил ни единой драхмы; может быть, и сейчас ему удалось бы довезти тридцать сребреников до казнохранилища, но мытарю, только что начавшему свой объезд, предстояло еще постучаться у сотен дверей и сделать долгий и медленный путь, а сребреникам было невтерпеж, сребреный зуд тянул их из мешка в мешок, из пальцев в пальцы, от людей к людям, из стран в страны. И беспорочный мытарь растратил сребреники. Как это случилось – он и сам не мог понять. И если б только тридцать. Можно было б пополнить. Но у мытарева осла был тряский ход: Иудино серебро перемешалось с другими монетами; сребреники растолкали сонную медь и неповоротливые литые мины и, увлекая их за собой, выпотрошили начисто мешки. Мытарь не стал ждать суда: он сам себя судил и осудил. Следуя совету Писания, мытарь, бывший некогда добрым, привязал к шее камень и бросился головой в колодезь. И его со счетов.

# VI

Растраченные монеты расползлись – как это всегда бывает – по игорным столам, по притонам разврата, – в прах человеческий; на монетах, попавших сюда, никогда не бывает ржавчины, они скользки и юрки и не знают угомона.

Тем временем и дом самоубийцы-трактирщика опечатали, оставшиеся деньги с запрятавшимися в них сребрениками Иуды конфисковали и препроводили в Рим, в государственное казнохранилище. Десятка одержимого странническим зудом монет оказалось достаточным, чтобы разбудить полуоплесневелое серебро и золото римских подвалов. Разворошенные груды монет стали искать выхода за пределы мешков и государственных границ; мириады крохотных металлических дисков стали на свои рубчатые и гладкие обода и покатились по всей земле, ища рынков и территорий. Дорогу серебряным дискам прокладывали железные щиты: так начались империалистические войны, трудолюбиво выравнивавшие путь беспокойным, вечно убегающим от себя самих тридцати сребреникам. Не прошло и несколько десятков лет, как они, ведя за собою армию Тита, вернулись в Иерусалим, свалили ему стены и бросили их в прах, как некогда бросили их, сребреники. Тогда преданный огню и мечу город пророков и ростовщиков познал наконец цену крови.

# VII

С каждым новым абзацем мне все труднее и труднее поспевать за сребрениками. Ведь слова обращаются медленнее, чем монеты. История, которую я безуспешно пробую догнать, похожа на колесо о тридцати спицах: вначале оно кружит медленно, потом скорее и скорее, мелькание спиц сливается в сплошной металлический диск, как бы в громадный сребреник, который никак не спрячешь ни в ладонь Иуде, продавшему Христа, ни в кожаный кошель учтивого старичка, купившего валюту. Если раньше я мог задерживаться на эпизодах о горшечнике, мытаре и не помню каких там еще, то сейчас приходится, отбросив образы, просить помощи у длинноногих сухих схем.

Дознано: один из сребреников впрыгнул в церковную кружку и тотчас же стал бить о ее стенки тревожно. В ответ, грохоча латами, поднялось рыцарство: начались крестовые походы. Другой пролез в карман к ученому-экономисту, и тотчас же из кармана в голову проникла идея, впоследствии разработанная в так называемую теорию денежного обращения: оказывалось, что богатства не в богатстве, а в быстроте обращения денежных единиц. И сребреники, наддав скорости, еще стремительнее закружили по кружащейся земле. Вот мелькнуло бритое лицо Бритта Джона Ло с выпяченным

ртом, похожим на отверстие копилки: на смену «credo» [85] – кредитки; у сребреников вырастают бумажные крылья. Карусель вертится все скорей и скорей. Тридцать звонких катышей раскатились по всему миру. Раскройте любой справочник: он вам сообщит, что все тридцать европейских государств… нет, я положительно не поспеваю за сребрениками. Они ерзают из пальцев в пальцы, звенят о сетки касс, перешвыриваются с континентов на континенты. Время истерло их чекан и знаки: сейчас любой из тридцати можно принять и за франк, и за марку, и за лею, и за шиллинг. Обезличенные, безотличные, истертые о миллионы ладоней, тридцать сребреников стали неуловимы, и я не могу вам обещать, терпеливый читатель, что в последнюю вашу получку вам не всучили одного из них. Конечно, нехорошо быть мнительным, но я вот не могу отделаться от мысли: стоит ли обменивать эту вот итоисётину на построчную плату; а вдруг за мою историю о сребрениках заплатят… сребрениками?

---

[85] Вера *(лат.)*.

# Рисунок пером

Директор Пушкинского кабинета Долев чувствовал себя в этот день очень утомленным. Четыре экскурсии, работа с машинисткой, ответ на тринадцать настоятельных писем и, наконец, этот маститый пушкиновед профессор Гроцяновский плюс, как его, ах да, поэт Самосейский.

Пушкиноведу нужно было собрать материал по поводу того, в бане или у колодца возникли пушкинские стихи по поводу вод Флегетона. Профессор долго, не выпуская из рук полы пиджака Долева, втолковывал ему, что в деревянной баньке села Михайловского вода не могла «блистать», поскольку баня была парной и в ней не было электрического освещения, что же касается до поверхности воды в колодце села, у которого, как нам достоверно известно, Александр Сергеевич неоднократно останавливался, то тут возникает ряд проблем, требующих точной документации и анализа материалов.

Самосейский выражал горестное недоумение по поводу того, что в альбоме музея, собравшем в себя литературные высказывания о Пушкине, нет его стихотворения, обращенного к Пушкину, напечатанного в газете такой-то, там-то, тогда-то и как раз о том-то.

Дело было уже к сумеркам, когда Долев услыхал внизу звук защелкивающегося замка и вошел к себе в свой став-

ший внезапно очень тихим директорский кабинет. Наконец-то можно взяться за свою работу. Долев посидел минуты две молча, положив руки на поручни кресла, затем придвинулся ближе к столу. Он уже вторую неделю писал, черкал и снова начинал писать статью о «Медном всаднике». Перо побежало по строчке.

«…Учитывая литературные и внелитературные влияния, толкавшие руку Пушкина во время его работы над „Медным всадником“, нельзя забывать, как это все обычно делают, о возможности воздействия образов мифологических и геральдических. Славянская мифология, как известно, христианизировалась; древний палеологовский герб государства Российского получил, как раз во времена Петра, новое изображение на своем щите: Георгий Победоносец на коне, топчущем змея. Если убрать копье, то оказывается, что фигура Фальконетова Медного всадника и геральдическая фигура Георгия Победоносца совпадают. Что же нам говорит дохристианский миф о Георгии? В древности приносились человеческие жертвы на алтарь „духам вод“. Волны, грозящие поглотить все живое, изображенные и на гербе, и на памятнике волнообразным, извилистым телом змея, пробовали умилостивить, бросая в море людей. Но пришел Георгий Воитель, попрал волны, и – как говорит миф – приношение человеческих жертв было отменено. Таким образом, если…» На стене прозвенел телефон. «…Образом, если принять во внимание, что…» Телефон повторил звонок. «…

Несмотря на, я бы хотел сказать…» Телефон напомнил о себе еще раз. Долев отшвырнул перо и подошел к трубке: «Как, ах да, да-да, знаю. Статью о рисунках Пушкина? Видите ли, у меня тут своя научная работа. Но, конечно, с другой стороны, я понимаю. Гм, хорошо. Пять страниц на машинке? Пожалуй. Рисунки? Это я подберу».

Прежде чем вернуться к столу, Долев вышел в соседнюю залу музея. Теперь рядом с чернильницей и стопкой белой бумаги легли две толстые папки с пронумерованными рисунками поэта.

Часы за стеной пробили семь, потом восемь, а Долев все еще сидел над листами своих любимых папок. Они проходили перед ним, эти небрежные, прижатые к краю рукописных полей чернильные рисунки, блуждания пера. Вот покосившиеся крест и несколько стеблей, изогнутых вокруг заглавия «Странник»; вот странная процессия, точно сделанная из чернильных клякс пером, в расщепе которого застряла крохотная ниточка: рисунок к «Гробовщику» – с длинным гробом, поднятым кверху на упругих рессорах катафалка с длинным бичом возницы и коротенькими фигурами провожающих катафалк; а вот и веселый росчерк, оторвавшийся от подписи поэта и вдруг крутыми спиралями распахивающий чернильные крылья, превращающие росчерк в птицу.

Но особенно долго автор будущей статьи задержался на таинственном рисунке, который много раз и до того притягивал его внимание: это было изображение коня, занесшего

передние копыта над краем скалы; две задние ноги и хвост, как и у Фальконета, упирались в каменный ступ скалы; как и у Фальконета, под конем извивалась попранная змея; как и в «Медном всаднике»… но всадника не было. Поэт как бы подчеркнул это *отсутствие*, пририсовав к спине коня, к желтоватому контуру его вздыбленной фигуры, чернилами более темного оттенка некоторое подобие седла. Где же всадник, где звучала его медная поступь и почему седло на рисунке № 411 было пусто?

Долев, сосредотачиваясь на той или иной мысли, имел привычку закрывать глаза. Так и теперь. Веки были странно тяжелыми, как свинцом давили на зрачки. Он сделал усилие раскрыть глаза. Что за диковина? Конь, как и прежде, стоял на профиле каменной глыбы, но длинная морда его, в ракурсе, была повернута в сторону Долева и чернильные точки-глаза шевелились. Надо было стряхнуть с себя иллюзию, протереть глаза, но руки чугунными перилами вросли в подлокотники кресла, и Долев мог только одно: наблюдать.

Конь сделал легкий прыжок и широкой рысью двинулся вперед. Плоское пространство бумажного листа разворачивающимся свитком неслось впереди него. Волнообразный гад, высвободившись из-под копыт, уцепился ртом за конец длинного конского хвоста, от чего тот казался втрое длиннее. Рысь перешла в карьер. Секунда – и конь, точно упругий мяч, оттолкнувшись от земли, взлетел, снова ударился копытами оземь – и тут у его движущихся лопаток, вывин-

чиваясь из плоского тела чернильными росчерками, стали быстро расти легкие крылья. К двум парам ног пришла на подмогу третья, воздушная, – и конь несся теперь высоко над нижним краем листа, ныряя в облака и из них выныривая. Долев (пульс все чаще стучал в висках) еле поспевал глазами за полетом.

Но вот конь прижал крылья к вздымающимся бокам и скользнул вниз. Копыта его остро цокнули о каменистую землю, и из-под них, прозрачной струей, брызнул искристый луч. «Иппокрена!» – мелькнуло в мозгу у Долева. Конь, отдыхая, спокойно щипал чернильно-черные штрихи травы, выросшие из нижнего края свитка. Местность уходила в глубину мягкими холмами, за контурами которых виднелась вершина какой-то горы, одетая в легкие росчерки туч. Седло, пририсованное к спине коня, по-прежнему было без всадника.

И тут внезапно Долев почувствовал, что он не один. Справа и слева от его закаменевших рук было еще по паре глаз. Одна принадлежала, как он это увидел, скосив взгляд, запыхавшемуся Самосейкину, другая – почтенному пушкинисту профессору Гроцяновскому. Через мгновение оба они очутились на рисунке, так что не надо было поворачивать головы к плечу, чтобы их видеть. Оба они были покрыты чернильными брызгами пыли; галстук Самосейкина съехал почти что на спину, а из прорванных локтей черного сюртука профессора торчали его голые натруженные мозолистые

локти. Сейчас оба они подходили, профессор со стороны узды, поэт – со стороны хвоста, к мирно щипавшему штрихи травы коню. Тот шевельнул острыми ушами и, приподняв узкую голову, оглядел их веселым юмористическим оком. Профессор протянул руку к узде, поэт – к хвосту, но в тот же миг конь резко вздернул голову и хлестнул учетверенным хвостом. Профессор взлетел вверх и тотчас же рухнул наземь; поэт, получивший размашистый удар хвоста змеи, присосавшейся к хвосту коня, отлетел далеко назад. Оба они, привстав, с испугом смотрели на норовистое четырехкопытное существо.

В то же время в глубине рисунка появились, вначале неясно для глаза, два человеческих контура. Они подходили все ближе и ближе. Через минуту уже можно было различить, что один одет в белую складчатую тогу, другой – в черный, как клякса, узкий в талии и широкими раструбами расходящийся книзу сюртук. Контуры шли по змеевидной извилистой тропинке среди лавровых кустов и фантастических росчерков наземных трещин. Белый, теперь уже это можно было разглядеть, держал в левой руке вощеные таблички, в правой – поблескивал стальной стилос; черный размахивал в воздухе изогнутым, как запятая, хлыстом. Белый иногда вчерчивал что-то в свои таблички, черный, обнажая улыбкой белые, под цвет бумажному листу, зубы, вписывал свои мысли острым кончиком хлыста прямо в воздух. И от этого, точно черная летучая паутинка, на белом пространстве ли-

ста возникали строки, строки вырастали в строфы и плыли, меж трав и неба, чуть колеблемые слабым дуновением ветра. Это были какие-то новые, не читанные никогда никем стихи поэта. Гроцяновский и Самосейкин сперва раскрыли рты, потом опрометью кинулись навстречу скользящим в воздухе строкам. Но от резкого движения воздуха строки эти теряли контур и расплывались, как дым, потревоженный дыханием. Однако исследователь и поэт продолжали их преследовать. Спотыкаясь о камни, они падали, подымались снова. Гроцяновский, одышливо дыша, рылся в карманах, отыскивая записную книжку. Но она, очевидно, затерялась. Самосейкин, вынув вечное перо, тщательно подвинтил его и, подражая человеку в черном сюртуке, пробовал вписывать свои заметы в воздух. Тот не терял при этом своей гладкой белизны. Движения Самосейкина с каждым мигом делались все лихорадочнее и некоординированнее. Он искал причину неудачи в несложном механизме вечного пера, встряхивал им, пробовал писать на ладони: ладонь была покорна его воле, но бумажный воздух упорствовал.

Впрочем, вскоре оба они, увлеченные погоней, скрылись за чернильной линией холма.

Тогда конь, стоявший до сих пор почти без движения, оторвал копыта от земли и, кругля бегом ноги, приблизился к тем двоим, черному и белому.

Человек в тоге ласково потрепал его по вытянутой шее. Конь, выражая радость, нервно стриг воздух ушами. Затем

он подошел к человеку в черном и положил ему голову на плечо. Тот, бросив в сторону толстую палку, на которую опирался, нежно обнял шею коня. Так они простояли, молча, с минуту, и только по радостно горящим глазам человека и по вздрагиванию кожи на шее коня угадывались их чувства.

В это время из-за линии холма показались снова Самосейкин и Гроцяновский. Они были измучены вконец. Пот градом сыпался с их лбов. Вместо сюртука с плеч профессора свисали какие-то разрозненные черные кляксы. О штанах Самосейкина можно было вспомнить «с благодарностию: были».

– Александр Сергеевич, – простонал задыхающимся голосом пушкинист, – маленькую справочку, только одну справочку…

Самосейкин в вытянутой руке держал какой-то томик, вероятно, своих собственных стихов: взор его молча молил об автографе.

– Александр Сергеевич, не откажите, дайте за вас Бога молить, обогатите нас датой, одной крохотной датой: в ночь с какого числа на какое (год нам известен), с какого на какое изволили вы начертать ваше «Пора, мой друг, пора!» э цетера?!

Человек в черном улыбнулся. Потом тронул коня за повод и поднял ногу в стремя. Уже сидя в седле, он наклонил голову к груди. И прозвучал его такой бесконечно милый сердцу, знакомый воображению каждого голос:

– Да, пора.

Несколько секунд длилось молчание. И снова его голос:

– Ночью. А вот какого числа, запамятовал, право.

И последнее, что видели на его лице Самосейкин, Гроцяновский и Долев: вежливая смущенная улыбка. Конь сверкнул черныю четырех копыт – и видение скрылось.

Настойчивый стук в дверь заставил Долева проснуться. В окно смотрело солнце. Циферблат часов показывал час открытия музея. Долев встал, бросил беглый взгляд на рисунок коня без всадника, лежащий на прежнем месте, и на не тронутую пером стопку писчей бумаги. Сделав нужные распоряжения, директор Пушкинского кабинета вернулся к стопке бумаги. Он попросил не тревожить его до полудня. Без десяти двенадцать звонок в редакцию извещал, что вместо статьи о рисунках Пушкина получился фантастический рассказ. Как отнесется к этому уважаемая редакция? Уважаемая редакция в лице замреда недоумевающе пожала плечами.

# Неукушенный локоть

Вся эта история так бы и осталась запрятанной под крахмальной манжетой и рукавом пиджака, если б не «Еженедельное обозрение». «Еженедельное обозрение» предприняло анкету: «Ваш любимый писатель, ваш средний недельный заработок, в чем цель вашей жизни», разосланную при очередном номере подписчикам. Среди множества заполненных анкет (у «Обозрения» был огромный тираж) при сортировке материала был обнаружен бланк за № 11111, который, пространствовав по пальцам разборщиков, так и не нашел себе подходящей папки: на бланке № 11111 против графы «Средний заработок» было проставлено: – «О», а против «В чем цель вашей жизни» – четкими круглыми буквами: «Укусить себя за локоть».

Бланк за разъяснениями был отправлен к секретарю; от секретаря – под круглые, в черной оправе очки редактора. Редактор ткнул в звонковую кнопку, курьер прибежал, затем забегал, – и через минуту бланк, сложенный вчетверо, полез в карман к репортеру, получившему дополнительно и словесную инструкцию:

– Говорите с ним тоном легкой шутки и постарайтесь раскусить смысл: что это – символ или романтическая ирония? Ну там вообще, вы понимаете…

Репортер изъявил понимание и тотчас отправился по ад-

ресу, проставленному вдоль нижнего края бланка.

Трамвай довез его до последней окраинной остановки; затем зигзаги узкой лестницы долго вели его под самую крышу; наконец он постучал в дверь и стал дожидаться ответа. Ответа не последовало. Еще стук, еще ожидание – репортер нажал ладонью дверь – она подалась, и глазам его предстало следующее: нищая комната, заклоплённые стены, стол и деревянная лежанка; на столе – отстегнутая манжета; на лежанке – человек с заголенной рукой и ртом, подобравшимся к сгибу локтя.

Человек, погруженный в свое, не слышал, очевидно, ни стуков в дверь, ни шагов, и только громкий голос вошедшего заставил его поднять голову. Тут репортер увидел на руке № 11111, в двух-трех дюймах от выставившегося навстречу ему острого локтя, несколько царапин и след от укуса. Интервьюер не переносил вида крови и, отвернувшись, спросил:

– Вы, кажется, всерьез, то есть, я хочу сказать, без символики?

– Без.

– Романтическая ирония тут тоже как будто ни при чем…

– Анахронизм, – пробурчал локтекус и снова припал ртом к царапинам и шрамам.

– Оставьте, ах, оставьте, – закричал интервьюер, зажимая глаза, – когда я уйду, пожалуйста, – а пока не предоставите ли вы свой рот для краткой информации? Скажите, и давно вы так?.. – И по блокноту зашуршал карандаш.

Кончив, репортер вышагнул за дверь, но тотчас же вернулся:

– Послушайте, укусить себя за локоть – хорошо, но ведь это же недостижимо. Это никому не удавалось, все и всегда терпели фиаско. Подумали ли вы об этом, странный вы человек?

В ответ два мутных глаза из-под сжатых бровей и короткое:

– El possibile esta para los toutos [86].

Захлопнувшийся блокнот приоткрылся:

– Простите, я не лингвист. Было бы желательно…

Но № 11111, очевидно, затосковав по своему локтю, прильнул ртом к искусанной руке, и интервьюер, отдергиваясь глазами и всем телом, скатился по зигзагам лестницы, кликнул авто и помчался назад в редакцию: в ближайшем же номере «Еженедельного обозрения» появилась статейка, озаглавленная: «El possibile esta para los toutos».

В статейке в тонах легкой шутки рассказывалось о наивном чудаке, наивность которого граничит с… Тут «Обозрение», применив фигуру умолчания, заканчивало назидательным изречением забытого португальского философа, которое должно вразумить и обуздать всех социально опасных беспочвенных мечтателей и фанатиков, ищущих в наш реалистический и трезвый век невозможного и неосуществимого: следовало таинственное изречение, проставлен-

---

[86] Это возможно для всех *(португ.)*.

ное и в заглавии, с добавлением краткого: «sapienti sat» [87].

Кое-кто из читателей «Еженедельного обозрения» заинтересовался казусом, два-три журнала перепечатали курьез – и вскоре все бы это затерялось в памятях и газетных архивах, если бы не полемизирующее с «Еженедельным обозрением» толстое «Ежемесячное обозрение». В ближайшем номере этого органа появилась заметка: «Сами себя высекли». Чье-то больно царапающее перо, отцитировав «Еженедельное обозрение», разъясняло, что португальское изречение на самом деле испанская пословица и что смысл ее таков: «Достижимое для дураков». Ежемесячник добавил к этому лишь: «et insapienti sat» [88], а к краткому «sat.» затянутое в скобочки «(sic)» [89].

После этого «Еженедельному обозрению» больше ничего не оставалось, как в следующем же номере в пространной статье объяснить, перекрывая одним «sat.» другое «sat.», что не всем доступно понимание иронии: достоин сожаления, конечно, не наивный (ведь и все гениальное наивно) порыв в недостижимое, не фанатик своего локтя, а продавец своего пера, существо в наглазниках из «Ежемесячного обозрения», которое, имея дело только с буквами, и понимает все *буквально*.

Разумеется, «Ежемесячное» не захотело остаться в дол-

---

[87] Умному достаточно *(лат.)*.

[88] И неразумному достаточно *(лат.)*.

[89] Так *(лат.)*.

гу у «Еженедельного». Но и «Еженедельное» не могло уступить противнику последнего слова. В возгоревшейся полемике фанатик локтя превращался то в кретина, то в гения и попеременно выставлялся кандидатом – то на вакантную койку в доме умалишенных, то на сороковое кресло академии.

В результате несколько сот тысяч читателей обоих обозрений узнали о № 11111 и его отношении к своему локтю, но особенного интереса в широких кругах полемика не пробудила, тем более что в это время подоспели другие события, отвлекшие внимание на себя: произошло два землетрясения и один шахматный матч: каждый день два дураковатых парня присаживались к 64 клеткам – у одного было лицо мясника, у другого – приказчика из модного магазина, – и каким-то образом получалось, что парни и клеточки – в центре всех интеллектуальных интересов, запросов и чаяний. А в это время № 11111 в своей квадратной, похожей, пожалуй, на шахматную клеточку, комнатушке, с локтем, притянутым к зубам, одеревенелый и неподвижный, как мертвая шахматная фигура, ждал, когда им пойдут.

Первым человеком, сделавшим локтекусу реальное предложение, был директор окраинного цирка, искавший освежения и пополнения программы. Это был предприимчивый человек, и старая книжка «Обозрения», случайно попавшая ему на глаза, решила ближайшую судьбу локтекуса. Бедняк не сразу согласился на ангажемент, но когда циркач стал ему

доказывать, что это единственный способ сделать и локоть питательным, что, получив средства к жизни, он сможет разрабатывать метод и уточнить приемы профессии, унылый чудак пробурчал что-то вроде «угу».

Цирковой номер, декларированный в афишах «Локоть против человека. Укусит или не укусит? Три схватки по две минуты. Арбитр Бэлкс», был финальным – после женщины с удавом, римских гладиаторов и прыжка из-под купола. Подавался номер так: оркестр играл марш, и на арену выходил человек с заголенным локтем; у него были подрумяненные щеки, а рубцы вокруг локтевой кости тщательно запудрены и забелилены. Оркестр замолкал – и начиналась схватка: зубы, цепляясь за кожу, подбирались к локтю, сантиметр за сантиметром, ближе и ближе.

– Врешь, не укусишь!

– Смотрите, смотрите, кажется, укусил.

– Нет, и близок локоть, а…

Но шея чемпиона, натягивая жилы, длиннилась, глаза, вперенные в локоть, наливались кровью, кровь капала из прокусов на песок, и толпа, постепенно стервенея, вскакивая с мест, с биноклями, нацеленными на локтекуса, топала об пол, лезла через барьеры, улюлюкала, свистала и кричала:

– Бери его зубами!

– А ну еще, хватай локоть!

– Локоть, держись, локоть, не поддавайся!!!

– Неправильно! Лавочка!

Схватки кончались, и арбитр объявлял локоть победителем. И ни арбитр, ни антрепренер, ни расходящаяся публика не угадывали, что цирковая арена вскоре сменится для человека с заголенным локтем ареной мировой славы и что вместо песчаного круга – 20 метров в диаметре – под ноги ему ляжет плоскость земной эклиптики, размахнувшейся тысячеверстиями своих радиусов.

Началось это так: модный лектор Юстус Кинт, пробравшийся в славу сквозь уши пожилых, но богатых дам, после одного из юбилейных обедов был завезен – случайно, под веселую руку – приятелями в цирк. Кинт был философом-профессионалом – я с первого же взгляда уловил метафизический смысл локтекуса. На следующее же утро он принялся за статью «Принципы неукусуемости».

Кинт, принесший еще несколько лет назад до этого на смену выцветшему лозунгу «Назад к Канту» подхваченный многими и многими новый лозунг «Вперед к Кинту», писал с изящной непринужденностью и стилистическими росчерками (недаром в одной из своих лекций он, под гром аплодисментов, заявил, что «философы, говорящие людям о мире, видят мир, но не видят, что их слушателю, находящемуся в этом самом мире, в пяти шагах от философа, попросту скучно»); ярко описав борьбу «человека против локтя», Кинт обобщил факт и, гипостазируя его, называл цирковой номер *метафизикой в действии*.

Мысли философа шли как всякое понятие (на языке вели-

ких немецких метафизиков «Begriff») и лексически, и логически от «greifen», что значит – «схватывать, зацеплять, кусать»; но всякое Begriff, всякий логизм, додуманный до конца, превращается в Grenzbegriff, то есть так называемое предельное понятие, выскальзывающее из постижения, несхватываемое познанием, как локоть несхватываем зубами. «Далее, – размышляла статья о принципах неукусуемости, – объективируя неукусуемое вовне, мы приходим к идее трансцендентного: это понимал и Кант, но он не понимал, что трансцендент вместе с тем и имманент (manus – „рука“, следовательно, и *«локоть»*); имманент-трансцендент всегда в «здесь», предельно близок к постигающему, почти включен в апперцепирующий аппарат, как свой локоть почти доступен схватывающему усилию челюстей, но – «близок локоть, да не укусишь», и «вещь в себе» – в каждом *себе*, но непостижимо. Тут непереходимое *почти*, – заканчивал Кинт, – «почти», которое как бы персонифицировалось в человеке из балагана, исхитряющегося укусить себя за локоть. Увы, каждая новая схватка фатально заканчивается победой локтя: человек побежден – трансцендент торжествует. Снова и снова – под рев и свист невежественной толпы – повторяется грубо, но ярко моделированная балаганом извечная гносеологическая драма. Идите все, торопитесь в трагический балаган, созерцайте примечательнейший феномен: за горсть медяков вам дастся то, за что избранники человечества платили жизнью».

Черные крохотные буквы Кинта оказались сильнее огромных красных литер цирковых афиш. Толпы хлынули покупать по дешевке метафизический раритет. Номер с локтекусом пришлось перенести из окраинного балагана в центральный театр города; а там № 11111 стал демонстрироваться и в университетских залах. Кинтисты тотчас же закомментировали и расцитатили мысль учителя; сам Кинт превратил свою статью в книгу, озаглавленную «Локтизм. Предпосылки и выводы». В первый же год книга выдержала 43 издания.

Число локтистов разрасталось с каждым днем. Правда, находились скептики и противолоктисты; какой-то престарелый профессор пробовал доказать асоциальность локтистского движения, возрождающего, по его мнению, старое штирнерианство и логически приводящее к солипсизму, то есть в философский тупик.

Были и более серьезные противники движения; так, некий публицист по имени Тник, выступив на конференции, посвященной проблемам локтизма, спросил: а что, собственно, произойдет, если пресловутому локтекусу в конце концов и удастся укусить себя за локоть?

Но оратора, не дав договорить, освистали и стащили с кафедры. Несчастный больше не делал попыток к выступлениям.

Появились, конечно, подражатели и завистники; так, некий честолюбец заявил в печати, что ему удалось такого-то числа и в таком-то часу укусить себя за локоть. Немедлен-

но была образована проверочная комиссия; честолюбец был изобличен и вскоре, преследуемый презрением и негодованием, покончил с собой.

Случай этот еще больше прославил № 11111: студенты и особенно студентки университетов, где демонстрировался локтекус, ходили за ним толпами. Одна прелестная девушка, с печальными и робкими глазами газели, добившись свидания с феноменом, жертвенно протянула свои полуобнаженные руки:

– Если вам это необходимо – укусите мой: ведь это же легче.

Но глаза ее наткнулись на два мутных, прячущихся под брови пятна. В ответ она услышала:

– На чужой локоток не разевай роток.

И угрюмый фанатик своего локтя, отвернувшись, дал понять, что аудиенция кончена.

Мода на № 11111 росла уже не по дням, а чуть ли не по минутам. Какой-то остроумец, истолковывая цифру 11111, сказал, что человек, означенный ею, «пять раз единствен». В магазинах мужского платья стали продавать особого кроя куртки – «локтевки», как их называли, с отстегивающимся (на пуговицах) клапаном, позволявшим в любой момент, не снимая платья, заняться улавливанием собственного локтя. Многие бросили курить и пить, превратившись в локтеманов. У дам вошли в моду глухие, с длинными рукавами платья с круглыми вырезами для локтей; вокруг локтевой ко-

сти делались изящные красные наклейки и гримировальные штрихи, имитирующие свежие укусы и царапины. Маститый гебраист, сорок лет кряду писавший об истинных размерах Древнего Соломонова храма, отрекшись от прежних своих выводов, признал, что стих Библии, говорящий о глубине в 60 локтей, должно понимать как символ 60-кратной непостигаемости сокрытого за завесой. Депутат парламента, ища популярности, выступил с законопроектом об отмене метрической системы и восстановлении древней меры: локтя. И хотя законопроект был провален, но рассмотрение его прошло под барабанный бой прессы, сопровождалось бурными парламентскими инцидентами и двумя дуэлями.

Локтизм, захватывая широкие массы, естественно, вульгаризировался и терял тот строгий философский контур, какой старался придать ему Юстус Кинт. Копеечные газетки, перетолковывая учение о локте, популяризировали его так: прокладывай себе дорогу собственными локтями; надейся только на свои локти – больше ни на что.

И вскоре новое течение, прихотливо выгибая русло, стало столь стремительным и так раздвинуло свои масштабы, что государству, числящему в массе своих подданных и № 11111, естественно было использовать его для целей своей бюджетной политики. Случай вскоре представился. Дело в том, что некоторые спортивные органы, чуть ли не с самого возникновения интереса к локтю, стали печатать периодические бюллетени о колебании сантиметров и миллиметров,

отделяющих зубы локтекуса от его локтя. Правительственный официоз начал с того, что стал печатать эти же бюллетени на предпоследней странице, меж отчетами о рысистых и футбольных состязаниях и биржевой хроникой. Через некоторое время в том же официозе была помещена статья известного академика, приверженца неоламаркианства, который, исходя из положения, что органы живого организма эволюционируют путем упражнения, приходил к выводу о теоретической *укусуемости* локтя. При постепенном растягивании поперечно-полосатого мускульного вещества шеи, писал авторитет, систематическом упражнении в выгибаний предплечья и т. д.… – но на академика обрушился логически непререкаемый Юстус Кинт, парировавший удар по неукусуемости; возник спор, во многом повторявший спор Спенсера с мертвым Кантом. Момент был подходящим: банковый трест (все знали – в числе его пайщиков члены правительства и крупнейшие капиталисты страны) возвестил летучими листками о грандиозной, возобновляемой каждое воскресенье лотерее-аллегри УЛ («Укуси локоть»). Трест обещал каждому держателю билета выплатить по 11111 денежных единиц за одну (за ОДНУ!!!) немедленно после того, как локоть локтекусом будет укушен.

Под звуки джазов, при свете переливающихся всеми цветами спектра лампионов лотерея была открыта. Завертелись «колеса счастья». Белые зубы дам-продавщиц, открытые улыбками, приветствующими покупателей, и тронутые

красным бликом обнаженные локти, ныряющие внутрь стеклянных многогранников, полных билетами, работали от полудня до полуночи.

Вначале распространение билетных серий шло вяло. Идея неукусуемости слишком крепко сидела в мозгах. Престарелый ламаркианец отправился к Кинту, но Кинт явно фрондировал:

– Даже Господу Богу, – заявил он на одном из митингов, – нельзя сделать так, чтобы дважды два было не четыре, чтобы человек мог укусить себя за локоть, а мышление – переступить за предел предельного понятия.

Число так называемых укусуевцев, старавшихся поддержать начинание, было в сравнении с числом неукусуевцев незначительно и умалялось с каждым днем; бумаги падали, обесцениваясь почти до нуля. Голос Кинта и его приверженцев, требовавших раскрытия имен подлинных инспираторов этой финансовой затеи, отставки кабинета и перемены курса, звучал все громче и громче. Но в одну из ночей в квартире Кинта был произведен обыск. В письменном столе нашли большую пачку выигрышных билетов треста. Приказ об аресте лидера неукусуевцев был тотчас же отменен, факт предан оглашению, и к вечеру того же дня биржевая цена на билеты поползла кверху.

Говорят, движение лавин начинается иногда так: ворон, сидя на вершине горы, ударит по снегу крылом, ком снега скользнет вниз, зацепит снежинами снежины и, обрастая,

кружащим клубнем – вниз; вслед за ним камни и снежные обвалы – глыбы на глыбы, – и лавина, бороздя горы, движется вперед, все затопляя и плюща. Так вот: ворон ударил сперва одним крылом и, повернувши сутулую спину к последствиям, задернул пленками глаза и заснул; слишком сильно разгрохотавшаяся лавина разбудила птицу; ворог сдернул пленки с глаз, рассутулился и ударил другим крылом; на смену неукусуевцам пришли укусуевцы, и река событий потекла от устья к истоку. Локтевки можно было видеть теперь только у старьевщиков. Но № 11111, о котором каждому напоминали множащиеся билеты аллегри, являвшийся теперь живым обеспечением капиталовложений, стал доступен всеобщему обозрению и проверке. Тысячные очереди проходили мимо стеклянной клетки, в которой денно и нощно трудился над своим локтем № 11111. Это укрепляло надежды и увеличивало подписку. Официальные бюллетени, переселившиеся с третьей страницы на первую в крупный шрифт, иногда сбавляли миллиметр-другой, и тотчас же новые десятки тысяч билетов находили себе покупателей.

Целеустановка локтекуса, заражая всех и вся верой в достижимость недостижимого, ширя кадры укусуевцев, – был момент – заколебала даже финансовое равновесие биржи. Случилось, что в один из дней число миллиметров между ртом и локтем так умалилось (это, разумеется, создало новый спрос на билеты), что на тайном правительственном совещании заволновались: а что, если произойдет непроисхо-

димое и локоть будет укушен? Министр финансов разъяснил: удовлетворение даже десятой доли держателей билетной массы, из расчета 11111 за 1, разорвет в клочья весь фонд государства. Президент треста резюмировал: «Если бы это произошло, укушенный локоть для нас то же, что перекушенное горло: революция неизбежна. Но этого не произойдет, пока законы природы не уступили места чудесам. Спокойствие».

И действительно, со следующего же дня миллиметры стали нарастать. Казалось, локтекус пятится зубами от торжествующего локтя. Затем наступило неожиданное: рот локтекуса, как насосавшаяся пиявка, внезапно отвалился от закровавленной кожи, и человек в стеклянной клетке целую неделю, уставясь мутью глаз в землю, не возобновлял борьбы.

Металлические вертушки, пропускающие очередь у клетки, вертелись все быстрей и быстрей, тысячи обеспокоенных глаз проплывали мимо расфеноменленного феномена, глухой ропот и волнение нарастали от дня к дню. Продажа бумаг треста стала. Правительство, предвидя осложнения, удесятерило полицейские наряды, а трест увеличил льготность подписки.

Специальные надсмотрщики, приставленные к № 11111, старались натравить его на собственный локоть (так зверей, противящихся дрессировщику, подбодряют железными тычками); но тот, глухо урча, угрюмо отворачивался от, каза-

лось, опостылевшего ему блюда. И чем неподвижнее становился человек в стеклянной клетке, тем сильнее разрасталось движение вокруг нее. И неизвестно, к чему бы это все привело, не произойди такое: однажды перед рассветом, когда стража и надсмотрщики, отчаявшись стравить локоть с человеком, выпустили из глаз № 11111, тот, вдруг оборвав бездействие, бросился на врага. Очевидно, за мутью глаз все эти дни происходило нечто мыслеобразное, приведшее к новой тактике боя. Теперь локтекус, заходя локтю в тыл, устремился к нему по прямой – сквозь мясо внутреннего сгиба руки. Кромсая зубами прослои тела, прорываясь лицом все глубже в кровь, он уже почти дотянулся сцепом челюстей до внутреннего локтевого сгиба. Но впереди костяного стыка, образующего локоть – как известно – схождение трех артерий: arteriae brachialis, radialis et uluaris – прокушенный артериальный узел ударил кровью, бессиля и безжизня тело; зубы, почти коснувшись цели, расцепились, рука разогнулась – и кистью о землю; вслед ей и все тело.

И когда надсмотрщики, заслышав шум, бросились к стеклянным стенкам клетки, поверх расползающейся кровавой кляксы пластался мертвый № 11111.

Поскольку и земля, и ротационные машины продолжали кружить на своих осях, то этим история о человеке, захотевшем укусить себя за локоть, разумеется, не заканчивается. История, но не сказка: обе они – и Сказка, и История – постояли было рядком. История – ей не впервой – через труп

и дальше, но Сказка ведь старая суеверка и боится дурных примет: вы уж ее не вините и не бессудьте.

# Смерть эльфа

Не установлено, жил ли этот эльф вместе с Горчичным Зернышком и Фасолевым Стручком, которые имели честь быть знакомы с Виллиамом Шекспиром, или он так – без встреч и прощаний – эльфствовал по свету, пока не попал в ту сложную и трудную ситуацию, о которой говорит этот рассказ.

Если, как утверждает наука, у тел есть антитела, у аэробов – анаэробы, то все читатели легко согласятся с тем, что у эльфов были антиэльфы. Иногда побеждало эль, в другой раз – антиэль, в данном случае эльф, биографию которого, точнее сказать – последнюю главу его биографии пишет настоящий правдивый рассказ, попал, в борьбе с антиэльфами, в тяжелое положение, эмигрировал из своего царства прозрачнокрылых существ и искал укрытия от врагов.

Фридрих Флюэхтен таскал свою музыку под левым локтем. Музыка была запрятана в коричневый чехол и, когда Флюэхтен втискивался вместе с ней в набитый людьми трамвай, издавала жалобный четырехструнный стон.

Флюэхтен учился много и прилежно. Он водил своим смычком, как швея иглой, но не сшил себе даже caivioro малого подобия славы. Фрицхен, как называла его года четыре назад умершая мать, давно уже примирился со скромным местом виолончелиста в одном из почтенных кафе большого

города. Изредка ему разрешали исполнить перед публикой, слушающей композиторов и ударами ложечек или вилок зовущей кельнеров, какие-нибудь не воспринимаемые никем вариации на давно забытую тему или рондо каприччиозо все равно кого или…

Случилось так, что в ту ночь эльф, о котором идет рассказ, спасаясь от антиэльфов, искал безопасного пристанища. Это было перед вечером. Время года – не помню точно – не то конец июня, не то начало июля. Окно комнаты музыканта на шестом этаже оставалось открытым, когда он защелкнул дверь на ключ, чтобы уйти пообедать в ближайшем ресторане против его дома.

Именно в это-то время и влетел испуганный эльф в пустую комнату музыканта. Он метнулся от стены к стене, ища укрытия. Рыжее горло виолончели было расстегнуто. Эльф нырнул внутрь, задел правым крылышком о четвертую, тонко пропевшую струну и скользнул в один из эфообразных вырезов инструмента, в спасительную теплую молчащую темноту.

Флюэхтен, кончив свой скромный обед, вернулся к инструменту, застегнул пуговицы на его длинном горле и – как всегда – отправился в привычное кафе, где его ждали столь же привычные лица посетителей, лакеев и композиторов, произведения которых он механически рисовал своим смычком.

Два-три рукопожатия. Кивок подправленной красками

женской головки (четвертый столик справа у стены). Дирижирующий правый локоть скрипача, острый асик смычка которого, точно игла, лишенная нити, дергал вверх и вниз. Вначале никто не слышал из-за грохота джаза, стука тарелок, топота входящих и уходящих шагов того нового тембра, того хора обертонов, которые, непонятным образом для виолончелиста, возникали сейчас под его смычком, трущимся о струны. Флюэхтен слышал, но, боясь быть услышанным, он прятал новый, непонятный ему звук и только после властного взмаха смычка дирижера, требовавшего форте, позволил звуку стать более громким. Две-три головы за столиками повернулись в сторону оркестра. Но звон рюмок, скучный стук тарелок, шаркающие шаги официантов заглушили звуковой феномен. Через какие-то секунды кончился и музыкальный номер.

Сам исполнитель лишь смутно воспринимал новый призвук, вселившийся в струны его инструмента. Он был очень утомлен: перед глазами его бежали черные хвостатые нотные точки, пальцы механически скользили по грифу, а сам он думал, что завтра последний срок платы за квартиру и что если он…

После полуночи, когда огни в городе гаснут, он возвращался, экономя двадцать фартингов на трамвай, наставив воротник пальто, чтобы капли мелкого плаксивого дождя не заползали за шею.

Виолончель стала на свое привычное место у нотной пол-

ки. Флюэхтен постелил постель, присел к столу, где его дожидался пустой лист нотной бумаги, зевнул, отложил в сторону карандаш, снял с носа круглые очки в черной оправе, разделся, потушил свет и вытянулся под одеялом. В окно глядела – с миллионного этажа – луна. Флюэхтен закрыл от ее света голову краем одеяла и заснул. Время повернулось к нему спиной. Внезапно что-то толкнуло его сердце, и он приподнялся на локте. За стеной часы тихо, но внятно отсчитали пять ударов. Луна ушла за пределы оконной фрамуги – и лишь ее отраженный свет скользил по столу и листу линованной нотной бумаги, лежавшей поверх его сукна. Оттуда, из угла комнаты, где на короткой деревянной ножке стояла виолончель, слышался тихий струнный шорох. Это было похоже на звук от осторожного касания пальцев, когда солист, пользуясь паузой, пока вокруг грохочет аккомпанирующий ему оркестр, пробует строй своего инструмента. Но было и отличие: невидимые пальцы не подкручивали колков, а взбирались по хрупкой лесенке звуков – выше и выше, создавая странную, непривычную человеческому уху мелодию.

Флюэхтен, не зная, сон это или явь, привстал на кровати и придвинул к себе нотный лист. Карандаш побежал по линейкам. Звуки из темного угла комнаты вдруг оборвались. Точно их что-то вспугнуло. Музыкант почувствовал, что руки его каменеют, снова укутался в одеяло, а сверху его прикрыло еще и черным сном без сновидений.

Шум утренних рожков, звонков и грохота колес разбудил

виолончелиста. Все шло по порядку: сперва поверх ступней ног – носки; поверх носков – желтые туфли; поверх туфельной кожи – желтый гуталин. Флюэхтен, шагнув к столу, хотел смахнуть с него пустой лист нотной бумаги. Но лист – странным образом – оказался заселенным серыми, прыгающими по линейкам знаками. Флюэхтен прочел знаки и удивленно поднял голову. Значит, это был не сон. Значит…

Он подошел к виолончели, отстегнул пуговицу на холщовом вороте, охватывающем ее длинную шею, и, освободив инструмент от одежды, проиграл на нем мелодию, которая нежданной и непрошеной гостьей посетила его этой ночью. Сначала карандашная запись показалась Флюэхтену путаной и неясной; затем внимание его притянула одна из ее каденций; а там и вся пьеса заставила его смычок теснее прижаться к струнам; при этом музыкант заметил, что и струнам пьеса очень нравится – хотя бы потому, что они поют какими-то новыми, чистыми, как звоны лесных ручьев, голосами.

В этот день музыкант опоздал на четверть часа к своему пюпитру в кафе. Заведующий предприятием, пряча глаза под насупленные брови, сделал ему строгий выговор. Флюэхтен, растерянно улыбаясь, сел на свое место и вытер носовым платком четыре струны виолончели. Предстояло исполнить популярную песенку, где только в двух местах виолончель пробегает в одиночку вдоль четырех тактов, после чего другие инструменты и удары медных тарелок нагоняют и глушат ее соло.

Обычно номер этот не вызывал особого интереса. Но сейчас пение опередившей на десяток секунд ансамбль виолончели вдруг заставило людей, громко шагавших меж столиков, приостановиться, лакеев с дымящимися целлулоидными блюдами в руках застыть на месте, а несколько десятков стульев, повернутых спинками к эстраде, осторожно приблизить к ней свои передние ноги. Номер заставили повторить. Кое-кто, бросив свои столики, подошел к эстраде. Песню сыграли в третий раз. Кто-то из завсегдатаев спросил у заведующего, как зовут этого – вон там – виолончелиста.

Через два дня Флюэхтену был предоставлен сольный номер. Он сыграл пьесу, неведомо как посетившую его в ту лунную ночь. С первых же тактов в зале все затихло. Даже принципиальные отрицатели музыки, приравнивающие ее к шуму вентилятора или стуку перемываемой посуды, весь вечер перелистывающие газетные листы, вдруг потеряли строчки, путая Берлин с Лондоном и Рим с Афинами. Лакеи шли на цыпочках, прижимая левым локтем салфетку к надсердным ребрам. Алкоголь в хрустале не пошевелил ни единой каплей. Когда артист снял смычок со струн, все ладони били друг о друга. Привстав, он смущенно кланялся, присаживался на край стула, но новый прилив аплодисментов заставлял его вставать.

По окончании программы хозяин ресторана позвал Флюэхтена в свой кабинет. Они вошли, виолончелист и виолончель, в небольшую комнату и стали у порога, упершись тре-

мя ногами в желтую щетину околодверного коврика. Любезный жест шефа указал на кожаное кресло. Музыканту было объяснено, что жалованье его с сегодняшнего числа удваивается. Глаза под высоко поднятыми бровями, оглядев люстриновый пиджак и протертые серые брюки маэстро, как называл сейчас шеф виолончелиста своего ресторанного ансамбля, опустились к блокноту, лежавшему на директорском столе рядом с черным телефонным ухом, – и через минуту блокнотный листок, очутившийся в руках Флюэхтена, обещал ему скромный, но все же солидный аванс на экипировку, необходимую артисту, выступающему перед публикой, если и не фешенебельной, но, во всяком случае, ну, скажем…

Когда Флюэхтен вышел из ресторана, прижимая к левому бедру деревянную спутницу своей музыкальной жизни, улицы были уже пустынны. В мглистом небе смутно вычерчивался полудиск луны. Она была на ущербе, но слава Флюэхтена, как это он ясно чувствовал, стараясь заглушить в себе голос недоумения, только начинала свое торжественное шествие вверх и вверх.

Музыкант не понимал. Он терялся в догадках. Но эльфу все было ясно. Получив приют и кров внутри виолончельной коробки, он не хотел оставаться неблагодарным. Как все честные эльфы, скажу проще – как все добросовестные жильцы, он старался аккуратно уплачивать свою квартирную плату. Но чем может платить эльф? Ничем, кроме сказок,

мелодий и снов. И эльф делал, что мог. По ночам, когда музыкант спал, он, расправив свои прозрачные крылышки, вылетал сквозь эфовидную дверь инструмента и, опустившись на ушную раковину спящего, суфлировал ему сны. Музыканту слышались легкие, как запах трав и цветов, песни, глаза его, разбуженные слезами, раскрывались; торопливо присев к столу, он записывал звучащий сон и снова возвращался к подушке.

В ночи, когда Флюэхтен, взволнованный своими выступлениями, овациями, которыми теперь неизменно встречала его публика, не мог уснуть, эльф, не покидая темной кубатуры инструмента, перепархивал со струны на струну, с лада на лад, рождая новые и новые мелодии. Сперва музыкант принимал эти еле слышимые звуки за звуковую галлюцинацию. От психиатра, к которому он обратился, музыкант узнал, что существуют и так называемые псевдогаллюцинации. Немного позднее он решил, что это явление внутреннего слышания, огромной яркости музыкального мышления, свойственное дарованию или… Музыкальные критики не замедлили помочь ему в решении этого вопроса. Сейчас имя Флюэхтена печаталось уже не под ресторанным меню, указывавшим, что вечером подача блюд и напитков сопровождается музыкой ансамбля, состоящего из первоклассных (как первоклассна и кухня) артистов. Нет, имя Фридриха Флюэхтена – красным и черным по белому – останавливало шаги и глаза прохожих на центральных улицах и площадях города. Критики писа-

ли сперва: «Своеобразное явление, хотя…», потом «хотя» было изгнано из рецензий, позднее: «Исключительное явление», неделей позже: «Талант», три дня спустя: «Огромный талант, какого не…»

Первый же концерт в большом зале филармонии прошел с триумфом. О новоявленных виртуозах принято говорить, что они – в то или иное утро – просыпаются знаменитыми. Точность требует поправки: Флюэхтен заснул знаменитостью, хотя ему довольно долго не давали этого делать десятки телефонных звонков, поздравляющих с необычайным успехом. Рано утром его разбудил пряный запах цветов, которыми был заставлен и завален его скромный гостиничный номер.

Последующий цикл виолончельных концертов проходил со всевозрастающим подъемом. Дело в том, что эльф очень любил цветы, напоминавшие ему о его лесных обиталищах, любил он и блеск электрических лампочек концертного зала, напоминавший ему о сиянии светляков и звезд. Обычно во время исполнения эльф усаживался на кончике острого асика смычка и подпевал тихим, слышимым лишь концертанту, тонким голоском мелодию, подсказывая ритм движением своих прозрачных крылышек.

До конца объявленного цикла оставалось два выступления. Флюэхтен с огромным успехом провел первое отделение. В артистической его ждали рукопожатия, блокноты музыкальных критиков и две-три надушенные записки.

Второе отделение было посвящено классической виолончельный сонате. Открывающее ее аллегро прошло при напряженном внимании аудитории. Эльф был сегодня в особенном ударе: он прыгал со струны на струну, перепархивал с ладов на лады и, скользя, как конькобежец, по наканифоленным нитям смычка, придавал им ту вибрацию, которой владеют лишь величайшие виртуозы земли.

Перед анданте кантабиле сопровождающий Флюэхтена оркестр на минуту умолк, солист вытер носовым платком струны своего инструмента и, сунув в боковой карман белого жилета два пальца правой руки, вынул сурдину. Прижимая ее к нижним оконечинам струн, он услышал какой-то скользящий, похожий на прикосновение ногтя к фарфору, звук.

Дирижер поднял палочку.

Флюэхтен уверенно опустил смычок на струны и взял первый аккорд. И что же? Вместо гармонического созвучия слуха его коснулось какое-то скрипучее, с деревянным призвуком сочетание элементов аккорда. Продолжая играть, он на протяжении первых тактов анданте недоумевал, потом растерянность и страх вошли в сознание исполнителя. Рука механически водила по струнам. На лбу проступили капли холодного пота. Наконец дирижер положил свою палочку на край пюпитра. Флюэхтен поднялся на дрожащих коленях, но его остановил грохот рукоплесканий. «Не заметили», – подумал он, уходя за кулисы. Его поздравляли, как и сорок минут тому назад, жали руки, – и только старый плешивый критик,

с лбом, уползавшим куда-то на затылок, стоя в стороне, что-то угрюмо отмечал в своей записной книжке.

Флюэхтен отказался от участия в ужине, устроенном его поклонниками в центральном ресторане города. Сославшись на нездоровье, он поспешил к себе, в номер фешенебельной гостиницы, где он теперь жил. Выдернув вилку телефона, он запер дверь на ключ и долго сидел, не снимая пальто, у окна, за которым копошились разноцветные огни ночного города.

Часы пробили два. Флюэхтен сбросил пальто и прошел в спальную. Разделся. Лег. Потушил свет. Но чувствовал, что не заснет. Часы отзвонили один удар. А там и три. Флюэхтен снова включил свет и, вдев ступни в туфли, подошел к своему инструменту, угрюмо кутавшемуся в коричневый матерчатый чехол.

Сперва Флюэхтен потрогал пальцами струны сквозь материю. Они отвечали глухо, будто спросонок. Затем резко сдернул чехол и пробежал пальцами по ладам. Он ничего не понимал.

А между тем все объяснялось просто. Надвигая – во время концерта – деревянную сурдину, нечаянным движением он раздавил своего гостя, божественного эльфа, поселившегося в виолончели. Эльф умер. С ним умерла и музыка. Дерево осталось, остался резонатор, смычок, остались струны и колки, но музыка, жившая в них, ушла.

В течение двух дней Флюэхтен не выходил из своего номера. На утро третьего дня поверх афиш о его концертах по-

явились косые наклейки, предлагавшие лицам, взявшим билеты, получить деньги обратно.

А вечером маэстро Флюэхтен потребовал счет, вызвал авто, которое отвезло его на Северный вокзал.

Горничная отеля, пришедшая убрать опустевший номер, обнаружила в углу его, очевидно, забытую недавним постояльцем виолончель. Чехол ее был аккуратно застегнут на обе пуговицы. Об этом было немедленно доложено хозяину отеля. Тот досадливо пожал плечами: жилец освободившегося номера не оставил адреса.

Местопребывание и дальнейшая судьба Фридриха Флюэхтена так и остаются до настоящего времени нераскрытыми.

# Тринадцатая категория рассудка

Всегда так бывает: сперва ходишь к друзьям, а потом – как развезут их на катафалках – к могилам. Настал и мой черед променять людей на могилы. Кладбище, куда я – все чаще и чаще, за высокими зубцами стен и извне как крепость: все бойцы полегли, и только тогда открылись ворота. Войдешь – сначала сутолока крестов, а дальше – за внутренней стеной – новое бескрестное кладбище: в нем нет ни монументальной статики старых человечьих могильников, ни громоздких склепов, ни каменных ангелов, с крыльями по-пингвиньи в землю: красные металлические звезды на тонких проволочных стеблях беспокойно ворошатся в ветре.

Сейчас еще весенне тало и земля липнет к подошвам, мягко удерживая остаться подольше, а то и навсегда. Вот уж четвертый раз я встречаю его: медленным чавком заступа в тугую и трудную землю – старик могильщик; сначала он мне виден по пояс, затем по плечи, еще немного, и голова его нырнет в развороченную глину. Но я подхожу ближе, стараясь разминуться с швырками земли из-под мерно звенящего заступа, и говорю:

– Здравствуйте.

– А что ж, здравствуйте, – оглядывает он меня из ямы. Есть одно обстоятельство, которое привлекает меня к этому человеку: старик явно выжил из ума и живет внутри ка-

кой-то апперцептивной путаницы, узлы которой не развязать бы и самому Канту. Кстати, ведь все (не буду искать другого определения) выжившие или, точнее, выжитые из своих умов, выселенные, так сказать, из всех двенадцати кантовских категорий рассудка, естественно, принуждены ютиться в какой-нибудь тринадцатой категории; этакой логической боковуше, лишь кой-как прислоненной к объективно обязательному мышлению. Если принять во внимание, что на эту тринадцатую категорию рассудка мы даем явки, в сущности, всем нашим вымыслам и алогизмам, то старик могильщик может быть полезен затеянному мною циклу «фантастических» новелл.

Итак, предлагаю закурить, старик тянет потную руку за папиросой; присев на корточки, я огоньком к огоньку – и тринадцатая категория рассудка распахивает для меня свою потайную дверь:

– Что это за аллея там, под тополями?

Старик сощурил глаза на шеренгу дерев и:

– Актерский ряд. Вот потеплеет, барышни с тетрадками придут, цветов нанесут, друг дружке из книжек зачитают: небогато, а уважительно.

– А там вот? – скольжу я глазами дальше по стене.

– Для сочинителей. Писательский тупик прозывается.

Дед-могильщик хочет поподробнее, но я перебиваю и перевожу глаза к стыку двух стен: могилы здесь прикрыло зубчатой длинной тенью, и кой-где меж ржаво-желтых взгорбий

белые кляксы нестаявшего снега.

– Ораторский угол, – поясняет голос из ямы, – тут ночью лучше издали.

– А что?

– Неспокойно. Ораторы, известно: чуть стемнело, заговорят все сразу, – случится, идешь мимо ихнего угла, а из земли так и шепотит. Лучше издаля.

– Видно, правду про вас говорят, дед, что из ума выжили: где ж это видано, чтоб закопанный человек – и вдруг шепотил?

– Я и не говорю, что видано, – упирается старик, – а что слыхано, так это так. Вот недавно случай был. Хоронили зампреда какого-то – вот тут, в ораторском угле, левая с краю. Папироски не найдется еще? Красный гроб, венков не счесть, и народу видимо-невидимо. Оратор, говорят, был знатный. Ну вот. Спустили фоб, веревки наверх, ну, как водится, речи. Говорили-отговорили, потом и нам, мне с Митькой (сподручник мой), за лопаты. Плюнул я на ладони – и вдруг, что вы скажете: снизу из-под крышки: «Прошу слова. Выслушав, мол, предыдущих…» Но тут – и боже мой! – и предыдущие, и всякие, кто ни был, все наутек. Даже Митька-дурак, лопату бросив, туда же. Разгляделся я, а вокруг только штук несколько калошек из снегу торчит да портфель чей-то, забывшись, на крестовине качается. А тот – из земли ему да сквозь крышь, понимаете, не видать, – так и частит, так и: «Граждане и товарищи, не закапывайте меня в тот свет

– всё одно и трубы суда заслышав, крышкой надвинусь и не отзовусь, как отзовист, я, и…» – а что, есть такое слово, или почудилось мне, старику? Не учен я…

– Есть. Ну, дальше.

– Дальше? Как бы не так. Захотел было он дальше, но я, как обидно мне стало, Митьки не дожидаясь, за заступ, и единым духом и суесловца, и речи его землей закидал. Ведь, скажите, какой беспокойный народ пошел. Слыхано ли дело, чтобы раньше такое вот случалось?

– Э, дедушка, ни раньше, ни не раньше. Прибредилось вам. Полечиться бы надо. К районному врачу не ходили?

– Земля вылечит, сынок. Недолго уж мне тут с вами. А только, если не верите, идем – могилку покажу.

И, отставив лопату, старик уж локтями о края ямы, но я удерживаю его:

– Ну, ладно, верю, верю.

– То-то же, – и, успокоенный, он продолжает свои путаные россказни:

– Этот что – глотнул с лопаты землицы и нишкни. А вот с другим безупокойником таким вот долгая у меня канитель была. Живу я – тут вот сейчас за воротами, домок в два окна у пустыря на отшибе. Мимо меня, катафалка за катафалкой, везут и везут. И вот как-то, к вечеру это было, зажег я ночничок и к столу повечерять сел, как вдруг что-то в дверь: торк. «Кто бы?» – думаю; подхожу, окликаю, а в ответ опять: торк. Снял я крючок, глянул за дверь, ну, и много я их пере-

видел, сразу мне понятно, кто таков: стоит, руки скостенелы и к груди вжаты, длинен и желт. «Чур тебе, – говорю я, – откуда таков?..» А он: «С катафалку. На огонек. Впусти».

«Ну, – думаю, – как бы не так!» И, рукой порог перегородивши: «Непорядок: из вони на огонь – и, гляди, хватятся там, что пустоту хоронят; и как это ты изловчился?» – «А так, – говорит, – как закачало по ухабам, крышка возьми и сдвинься – и в щелочку огоньком меня поманило: последний ведь, последний, думаю. Оглянулся назад: какие поотстали и поразбрелись (далеко до вашего кладбища, дедушка), другие еще бредут, но глаза по земле, потому – лужа на луже. Сдвинул я покрыть, снова приладил и тишком… впусти, дедушка». – «А если, – говорю, – не успеешь, на похороны свои не поспеешь, чудак?» – «Поспею, катафалка еле спицами ворошит, не откажи на последний огонек перед тьмою вечной в останный раз глянуть». И так это просит неотступно, жалко мне стало. «Входи, – говорю, – но только чтоб раз-два – и в яму».

Я к ночнику, он за мной и, рук с плеч не раскрестив, ликом завосковелым к свету. А потом: «Тронь, дедушка, за ресницы: застеклило что-то, еще заплутаюсь и дороги к домовине своей не найду. Ох, пора мне, пришли мои сроки, пора». И в раскрытую дверь как пришел, так и ушел. Посмотрел я вслед: сумерком все заволокло, ударили встречные звоны. «Поспеет, – думаю, – или не поспеет?»

Повечерело. Дверь на крюк. Молитвы отчитав, лег я и хо-

чу на ночничок дунуть, как опять там за дверью: шорх. «Ишь ты, неладная его носит». Но только делать нечего – открываю. «Не поспел?» – «Не поспел, – отвечает, – прихожу, а уж могилу мою лопатами заровняли». «Непорядок, – думаю, – но только контора уже закрыта, придется до утра».

«Что же в дверях стоять, – говорю, – избу холодить, будь незваным гостем, ложись уж, господь с тобой, там в сенцах у стены: тесновато, но не обессудь, в гробу и того теснее». И рогожки ему бросил. Легли. Проснулся я о полуночи, может, сон это все, и хотел на другой бок, но только тут почуял: тленью тянет. «Эге, – думаю, – видно, снами от этакого не оборониться». И, засветив ночничок, – все равно глаз мне с незваным не сомкнуть, – в сенцы. «Ну, как там тебе?» – «Спасибо», – и, вздохнув тяжко, молчит. «Евангелие над тобой читали?» – спрашиваю. «Нет». – «Ну, вот то-то же», – и, по силе грамоты, книгу раскрыв, зачитал я над ним. Только вижу, слушает он, слушает, а потом: «Умилительно это, дедушка, но мимо правды». Ну, тут уж я не стерпел: «Твое дело покойничье лежать – и ни бровью, ни ухом, а он туда же, с алтыном под полтину. Чина своего не блюдешь». Замолчал и не шелохнется. А тут и утро. «Ну, вставай, – говорю, – пойдем закапываться». – «Тяжко мне, закостенило всего». – «Вставай-вставай, сам напутал, иди и распутывай: нечего». Тяну его за руки и плечи – и что же, подается, нестибень заледенелый, встает вслед за мной и ногами о землю, как ходулями: тык-тык.

Пришли в контору. «Так и так», – говорю, а конторские на смех и, как вы вот: «Из ума выжил, дед», – и из ворот прочь и меня, и его. «Ишь, лодырь, – перемигиваются, – в покойники наниматься вздумал; проваливай, откуда пришел».

«А откуда ты пришел?» – за ворота выведши, спрашиваю. «Кривоколенный, квартира 39, а дому моему нумер…» Ну, что ж, подсадил я его – под скрещенные руки – на трамвай, а там уж народ и сам: «Граждане, вперед», «Пройдите, граждане», – на себе понес: им что живой, что мертвый, все равно. Взошел и я и к уху чьему-то: «Уступите место покойничку». Тот шарах, а я моему незваному коленки подогнул (еще туже скостенели), спиной его к скамье, и затрясло нас всех. Ну, нога за ногу, нога за ногу, пришли мы на Кривоколенный. Лестница. «Не могу, – говорит, – пусть спустятся и внесут». Вижу, и впрямь трудно ему. Прислоня к стене, поднялся я – от нумера к нумеру: 39. Звонюсь – открывают: «Не дохоронили вы жильца, – говорю, – получайте обратно». – «Какого жильца, откуда?» – «Известно откуда: с кладбища. Насилу довез; внизу дожидается». И – как закричат на меня в десять голосов: «Да он пьян! Из ума выжил, не видите! (Вот как вы давеча.) Звоните в Антирелигиозное, пусть-де его заберут, куда надо! Тут и живым друг на дружке, а они еще с кладбищ полезли! Вон, шарамыга, пока поленом ног не перешибло!»

Делать нечего, ну их, вернулся я к бесприютнику своему, тронул плечо и говорю: «Пойдем дале». А он уж, – и челюсть у него свисла, и глаза белы, – шепчет тихмя: «А может, это

уже душа моя по мытарствам идет?» – «Где там, – говорю, – мытарства впереди, под крестом ждут мытарства-то, а это у нас жизнь прозывается…»

Ну, долго про все. На другом дню вволок я его опять на 17-й, и повезло нас; на катафалке оно б поспособнее, но где уж тут. Как стали слезать на Театральной – народ сзаду наддал и кричат: «Сходите!» – «Не задерживайте!» – «Да что он, как мертвый, копается!» Обернулся я и говорю: «Правильное слово, мертвый, мертвый и есть». И опять как закричат и локтями в спину: «Ну, вот и этот!» – «Да сходите вы, так вас и так!» Ну, я понимаю, народ занятой, бегут, глаза растерявши, что им до того, что вот человека недохоронили?

Намучился я еще с ним, с незакопой несчастным, пока до биржи труда – по стене и по стене – не доволок. Там, на Рахманном, легче пошло: вставил я его в очередь, – передний подастся, задний толканет, – и вижу я: дело на лад. Ну, сунул я ему в щепоть документ, а сам: «Дай, – думаю, – за табачком сбегаю, да и знакомца одного неподалеку, в Кисельном, проведать, авось присоветует что доброе». И пошел. Ну а тот, знакомец-то, и скажи. «Ты, – говорит, – трупьяна своего брось, потому что это дело незапараграфленное!» (Так и сказал.) И вот от слова того от незап… второй раз и не выговоришь, верите, вдруг страшно мне стало. Дось не было страшно, а тут…

Бреду назад – по Рахманному, – и одна надежа у меня, ось документ вывезет. Стал я искать своего: стоят спины за спи-

нами и за спинами спины – окостенело и в бездвижье – и не разберешь: которые тут мертвые, которые живые. Поднялся я по лестнице, вхожу, а моего-то к загородке притиснуло, головой в оконце застрял – и ни туда, ни оттуда. К оконцу и я – и слышу, чиновник волнуется: «Да что вы, – кричит, – гражданин, глухонемой, что ли? Документ ваш не тот, не было распоряжения, не задерживайте! Следующий!» Вытянул я его за локти из оконца, руки мои старые еле держат… тяжел стал, и к земле его клонит, – а тут любопытствующие: «Не зарегистрировали? Почему? Какой документ, покажите?» Я и показал. «Вот, – говорю, – люди добрые, что же это такое: по метрике о смерти, и вдруг перестали регистрировать? И если б неправильная какая, – а то вот и нумер, и печать, и все. Как же так?» И сразу вокруг нас, знаете, попросторнело.

И опять мы с ним, с никудышей безмогильным, в сутолочье и в суету. Машины отовсюду гудут. Люди бегом – и так, и сяк, и этак, пóртфелями в пóртфелья, глаза растерявши. Плюнул это я в сердцах, очень уж меня это знакомцево «не распагр…», тьфу, не выговорю.

– Не распараграфлено, – подсказал я.

– Вот-вот… «рафлено» растревожило. «Прощай, – говорю, – незваный». А он уж и губ разжать не может. И тут хлынуло народом, расцепило нас – его в одну сторону, меня в другую, – и вижу: плывет мой незакопа, как вот пузырь по канавке, несет его людьем людящимся все дале и дале. Снял

я картуз и перекрестился: царствие небесное, аминь.

И сколько раз потом ни случалось в город наведаться, кого ни встречу, смотрю: уж не безмогильный ли мой? Только не довелось вдругажды, не свело судьбой. Ну а вам часом не попадалось?

С минуту мы оба молчим. Потом прикуриваем. Старик берется за заступ:

– Это что – так, обыкновенность. А вот был у меня случай…

Но в это время на надвратной колокольне вздрогнули колокола и из-за стены, как сквозняком, потянуло тонким и протяжным пением. Спина старика тотчас же провалилась в яму – и сквозь звяк лопаты и бьющую о землю землю я расслышал:

– Вот, заговорили вы меня, а могилка и не готова. Неладно выходит: то яма без новопреставленного – то новопреставленный без ямы. Отойдите, еще землей зашибет.

Я направился к выходу. Одни ворота, потом другие. Здесь, под каменной навесью, я посторонился, пропуская процессию. И, шагая из ворот, думал: Леонардо был прав, говоря, что у пятен плесени можно иной раз научиться большему, чем у созданий мастера.